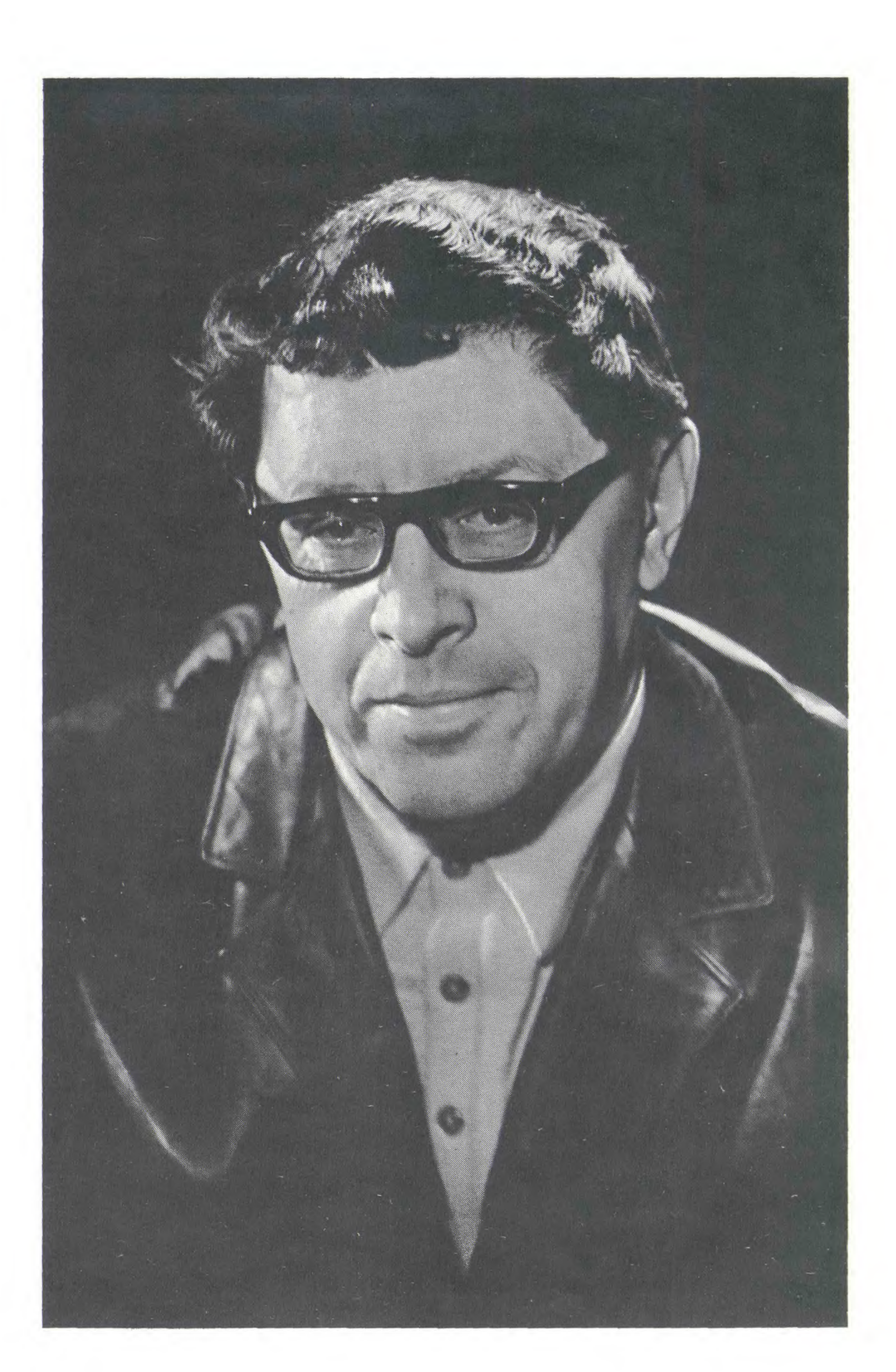


ЮРИЙ ТРИФОНОВ

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

1



ЮРИЙ ТРИФОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

◆



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

СТУДЕНТЫ

ПОВЕСТЬ

УТОЛЕНИЕ ЖАЖДЫ

РОМАН



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

Р 2
Т 69

Вступительная статья
Ф. Ф. КУЗНЕЦОВА

Оформление художника
М. З. ШЛОСБЕРГА

Т $\frac{4702010200\text{-}341}{028(01)\text{-}85}$ подписное

В БОРЬБЕ ЗА ЧЕЛОВЕКА

Юрий Валентинович Трифонов (1925—1981) вошел в литературу повестью «Студенты» в начале 50-х годов, активно поддержанной и критикой и общественностью.

Основу «Студентов» (1950), написанных им в Литературном институте им. М. Горького, составили впечатления юности писателя.

Но действительный, подлинный успех пришел к Юрию Трифонову десятилетие спустя, когда в журнале «Знамя» появился его роман «Утоление жажды» (1963), произведение принципиально важное как для творчества писателя, так и для литературного процесса той поры.

Путь Юрия Трифонова к новому роману был продолжителен и труден. Он шел к нему через новеллистику, через глубинное знакомство с жизнью, через продолжительные поездки по стране и, в первую очередь, в полюбившиеся ему республики Средней Азии.

Обширное познание трудовой народной жизни и дало писателю материал для его романа о строительстве канала в пустыне.

«...И где-то уже строились шлюзы, заливалась бетоном арматура, и вырастали в песках — пока еще над сухим руслом — мосты для железной дороги, и возникали на пустом месте (вот уж истинно на пустом, среди пустыни!) улицы некоего города... и рабочие выкладывали из кирпичей ограду вокруг несуществующего виноградника, и втыкали в песок тощие прутья акации, а далеко впереди всех, заброшенный в барханные дебри, какой-то одинокий экскаватор остервенело рвал землю, и по ночам была кромешная тьма и кричали шакалы.

И в этой необозримости целого заключалось величие. Но понять это было непросто»,— читаем мы в романе «Утоление жажды», точно выразившем время, внутренние потребности его в нравственном осмыслении тех сложнейших духовных и экономических процессов, которые были вызваны к жизни стремительной динамикой второй половины XX века.

Последнюю фразу в этом патетическом вступлении к роману (а с течением времени Юрий Трифонов все реже и реже будет обращаться к патетике, к прямому публицистическому выражению своей позиции, своих мыслей и чувств) легко не заметить, принять за малозначительную оговорку.

А между тем — в ней ключ к роману. Да, по моему убеждению, в значительной мере — и ко всему творчеству Юрия Трифонова.

В своих произведениях он внимательно и зорко вглядывался в высокие и святые революционные традиции нашей жизни (вспомним его биографическую книгу об отце «Отблеск костра» — 1965, роман о народовольцах «Нетерпение» — 1973), в героику социалистического созидания (роман «Утоление жажды», многие его рассказы). Но, отстаивая величие сделанного народом, он стремился понять нашу жизнь в реальности ее житейских и нравственных противоречий, всем творчеством своим доказывая, что понять ее и в самом деле было непросто, как непросто понять и творчество самого Трифонова — в силу трудности и сложности задач, которые писатель ставил перед собой. Правильно осознать его можно только в том случае, если брать в неразрывном единстве и в полном объеме оба крыла его творчества — прозу социально-аналитическую («Утоление жажды» и «Нетерпение», «Отблеск костра») и прозу нравственно-психологическую (повести «Обмен» — 1969, «Долгое прощание» — 1971, «Предварительные итоги» — 1970, «Дом на набережной» — 1976, романы «Старик» — 1978, «Время и место» — 1980), если понимать, что оба крыла трифоновской прозы свободно и естественно — как в идейно-нравственном, так и эстетическом планах — соотносятся друг с другом, обогащают, одухотворяют и объясняют друг друга. Единство социально-психологического и духовно-нравственного поиска писателя очевидно уже в новеллистике Трифонова, но с особой силой оно проявилось в общей системе его романов и повестей, если внимательно их читать, а точнее — перечитывать одно за другим. Повторю мысль: верно судить о прозе Юрия Трифонова, правильно понимать ее можно только в том случае, если брать ее целостно и в полном объеме, не вырывая то или другое отдельное произведение из контекста творчества, не занимая односторонней и субъективистски выборочной позиции в оценке столь сложного и неоднозначного явления, как проза Ю. Трифонова.

В романе «Утоление жажды» страницы, связанные, в частности, с образом журналиста Саши Зурабова, как бы предвосхищали его будущие «городские» повести с их обличением опасности бездуховности, с их тревогой по поводу духовного вакуума, подстерегающего, по мнению писателя, какую-то часть наших людей. Но в том же романе было немало вдохновенно написанных страниц, составляющих, на мой взгляд, его пафос, посвященных массовому

героизму строителей, их самоотверженной борьбе со стихией. При этом и здесь прозаику особенно важно проследить, какие нравственные и психологические залоги подготовили этот подвиг тысяч людей.

В пристальном внимании к духовному, нравственному миру покорителей пустыни, к психологическим конфликтам их труда — своеобразие романа «Утоление жажды».

Мы в полную меру ощущаем дыхание огромной стройки, масштабы «дела» — «огромного, гораздо больше старости, больше разлук и болезней и всего остального, что приходится испытать человеку». Мы видим людей этого «дела», сегодняшних «большевиков пустыни и весны» (Вл. Луговской), которые отдают делу все — здоровье, душу, разум, сердце. Таков начальник стройки Ермасов, начальник участка «Пионерный» Карабаш, его правая рука — инженер Гохберг, строители Мартин Егерс, Бяшим Мурадов, Беки Эссенов. Люди крутые, сильные, своеобразные, романтики нашей эпохи.

Среди них есть характеры, выписанные рельефно (Карабаш), есть персонажи эскизные (Ермасов, Егерс) или едва намеченные (Беки Эссенов), но нет фигур надуманных. Досадуешь не на искусственность характеров, а на то, что такие интересные, увиденные в жизни личности, как Ермасов или Мартин Егерс, художественно не раскрыты, не осмыслены писателем.

«...Если нет дела, которое любишь, которое больше тебя, больше твоих радостей, больше твоих несчастий, тогда нет смысла жить». Эти слова произносит в романе Ермасов, но они выражают суть и многих других героев книги.

Для Ермасова и Карабаша таким делом стала стройка.

«...Сколько мы ругаемся, спорим, топчем друг друга, обижаем смертельно! И сколько вокруг мелких страстишек, сколько несправедливостей мы терпим и сами творим, и ошибаемся, и черт еще знает что, но канал строится, и вода идет на запад, пускай медленно, тихо, но идет, идет! Несмотря ни на что. И вот для этого — для того, чтобы шла вода,— надо жить». Ермасов не преувеличивает: стройка и в самом деле расколота повседневной, непрекращающейся борьбой.

О чем идет спор?

Как лучше вести канал? Как лучше вести землеройные работы? И об этом спорят на строительстве — до остервенения, до хрипоты, до личной вражды.

Спор идет по коренным вопросам бытия: как жить, ради чего жить?

Конфликт враждующих сторон в романе «Утоление жажды» — технический, производственный, трудовой. И одновременно и прежде всего это конфликт идейный, нравственный.

Ермасов и Карабаш отстаивают партийное, честное отношение к порученному им делу. Они живут этим делом. Это люди принципов и убеждений. И к тому же люди творческие. Меньше всего они озабочены личным преуспеванием, больше всего — темпами и качеством строительства. Они всерьез служат людям, обществу. Это — коллективисты, бессребреники, новые люди времени.

Для их антагонистов — карьериста Хорева, чинуши и бюрократа Лузгина — интересы дела и общества полностью подчинены заботе о личном благополучии. Отсюда их беспринципность, безыдейность и карьеризм. Они приспособленцы и обыватели, ловко маскирующие высокими и громкими словами свою эгоистическую суть. Они умеют служить и прислуживать, но не умеют работать. Люди склада Карабаша и Ермасова — инициативные, творческие — для Лузгина и Хорева опасны. Они не принимают ни этих людей, ни время, которое их поддерживает. Прав писатель, замечая, что главные причины вражды Ермасова с Хоревым и ему подобными «были гораздо глубже», чем представлялось: «Они отражали ту борьбу и ломку, которая происходила повсюду, иногда открыто, но большею частью замаскированно, скрытно и даже иной раз бессознательно. Люди спорили о крутизне откосов, о дамбах, о мелочах, но на самом деле это были споры о времени».

Прав писатель и в том случае, когда показывает, что эта борьба нелегка для Ермасова и Карабаша, несмотря на то, что время — за них. Почему?

Да потому, что активно было все то, что являет собой идеологию современного мещанства.

Обыватель Саша Зурабов противник нового на стройке отнюдь не потому, что Лера, его жена, полюбила Карабаша. Жажда личного благополучия магнитом притягивает Зурабова к Хореву и Лузгину. Их жизненный пример и житейское поведение для него чрезвычайно заразительны. «Самое главное... перестать барахтаться». Перестать думать о чем бы то ни было, о ком бы то ни было, кроме себя. Он убежден, что так живут все. И Зурабов, который вместе с Хоревым «клепает на Ермасова, Карабаша и Гохберга», «ищет что-то для себя», «преследует свои цели». В этом для него смысл жизни.

Удивительно хорошо чувствуют друг друга такие люди! Времени, наступающему им на пятки, они противопоставляют социальную мимикрию и круговую поруку.

Так, у себя в редакции чинуша Лузгин опирается на Зурабова, на канале в его «дружках» ходит Хорев, а в Управлении водными ресурсами — приспособленец Нияздурдыев. Их объединяет потребительское отношение к жизни. Вот почему для Ермасова и Карабаша эти люди не только личные, но и общественные, идеологические враги. Борьба идет сегодня на баррикадах сердец и душ, и

водоворот ее всюду: и на строительстве канала, и в редакции газеты, и в Управлении водными ресурсами, и в таджикской деревне, где люди вчерашнего дня убили комсомольца — строителя Бяшима Мурадова.

«Пустыня била ветром в берега, она далеко чуяла врага...» — писал Владимир Луговской.

Война пустыни с каналом — это не только зверское убийство Бяшима Мурадова. Это и пережитки культа личности в психологии Лузгина, и карьеризм, мертвящая бюрократия Хорева, это и низкое приспособленчество Зурабова, и жадность к деньгам, испепелившая душу Нагаева.

Характер «знатного» экскаваторщика Нагаева — один из самых удачных в романе — с большой типической силой воплощает губительную власть собственничества и стяжательства.

Достоверно рисует автор характер этого человека, где-то в глубинной основе своей даже привлекательного, способного на искреннее чувство к своей Марине, которую, рискуя жизнью, спас в буране и полюбил. Любовь Семена Нагаева должна быть именно такой: «рослой, плечистой, с красно-загорелым простоватым лицом», крепкой по-лошадиному, примитивной и добросердечной. Но даже Марина не в силах принять то, что в жизненном поведении Нагаева является определяющим.

Слава к Нагаеву пришла заслуженно. Он действительно изо дня в день перевыполняет нормы выработки, по десять — двенадцать часов не выходит из забоя, работает в пронизывающий холод и опустошающую жару, первым бежит к экскаватору и последним покидает его.

Но главным стимулом трудовых успехов Нагаева были деньги. Ради них он исколесил всю страну — от Мурманска до Сибири, работал лесорубом, плотником, трактористом, шофером и, наконец, экскаваторщиком.

Немаловажное знамение времени: этот наивный, обнаженный инстинкт стяжательства вызывает брезгливое, недоброжелательное чувство строителей к Нагаеву.

Итак, еще один стяжатель, собственник, «куркуль», но только на этот раз в обличье «передовика».

Однако откуда же наша тревога и боль за него, наша надежда, когда он вернулся в бригаду, чтобы что-то «доказать»?..

Особенностью советской литературы на современном этапе ее развития является все более глубокое проникновение в реальную сложность нравственных противоречий действительности, все большая острота зрения в исследовании духовных коллизий, проявляющих себя в самых разных сферах жизни общества.

Процесс этот наложил свою печать и на развитие творчества Ю. Трифонова.

Неприятие бездуховности, обывательского существования — последовательный мотив у Ю. Трифонова. Начавшись в романе «Утоление жажды», пройдя через новеллистику, эта тема, усиливаясь, стала главенствующей в его поздних повестях.

Рассказы Ю. Трифонова «Доктор, студент и Митя», «Дети доктора Гриши», «Маки» или «Голубиная гибель», «Был летний полдень», «В грибную осень» в известном смысле готовили повести «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Дом на набережной», роман «Старик».

Как уже подчеркивалось выше, война с пустыней в человеческих душах — одна из сквозных тем в прозе Юрия Трифонова. И хотя его рассказы в отличие от романа внешне почти лишены рельефной, резко обозначенной социальной мускулатуры, их отличает все та же неуступчивая гражданственность. При видимой мягкости письма в них действуют характеры жестко очерченные, четко определенные в своей жизненной позиции, в отношении к делу, к нашему общему делу.

Доктор Ляхов из рассказа «Доктор, студент и Митя» поначалу представляется нам малоприятным брюзгой. Впрочем, он будто бы и является таковым на самом деле. Его мелочная раздражительность в разговорах с шофером Митей, его завистливость к случайному попутчику-студенту, который, как думается Ляхову, в любой момент может расстаться с пустыней и отправиться в Москву, домой, возможность, которой сам Ляхов, по-видимому, уже навсегда лишен,— далеко не лучшие черты человеческой натуры. Ляхов нам откровенно и все более несимпатичен, но лишь до той минуты, пока он не открывается в деле, в своем святом деле врача. Заблудившиеся в пустыне путники, усталые, голодные, они натыкаются на человека, которому необходима немедленная врачебная помощь,— и Ляхов преображается. Он оказывается воистину нравственным человеком, для которого клятва Гиппократа не пустой звук.

Нет, он не совершает подвига, он будничен, деловит и решителен, он делает свое дело, но так, что спутники его, вмиг притихнув, бросаются исполнять его приказания. И по этой деловой суровости, по профессиональной сноровке, по славе, идущей о нем в округе: «...Ясхан доктор... Хорош доктор»,— нам ясно, что вся жизнь этого, как нам казалось раньше, несимпатичного ворчуна в этих пустынных местах не что иное, как подвиг во имя человека.

О таких людях, близких и дорогих его писательскому сердцу, Трифонов пишет сдержанно, предельно строго относясь к слову, в неброской, почти аскетической манере, он всячески оберегает этот характер от любой — сентиментальной, возвышенной, риторической — фальши.

Пафос творчества Юрия Трифонова — в утверждении качественно новой человеческой нравственности, условием возникновения которой стали новые социальные взаимоотношения людей. У писателя есть выверенные внутренние критерии нравственности и человечности — они и воплощаются для него в таких людях, как доктор Ляхов.

Эти критерии, определяющие чувство кровной сопричастности к людям борьбы и труда, растут из нашего революционного самосознания, из ленинских идеалов революции и социализма, исследованных писателем в документальной книге «Отблеск костра», посвященной его отцу, революционеру и старому большевику, в романах «Нетерпение» и «Старик», романе остроконфликтном, где исследуется сложнейшая коллизия, в которой находятся революционная традиция, с ее высоким, одухотворенным, гуманистическим идеалом, и потребительская психология, потребительская философия жизни, иссушающая человеческую душу.

Юрий Трифонов в избытке наделен даром ощущать опасность бездуховности. Даже в мелочах, в бытовой повседневности ему свойственны обостренность нравственного зрения и непримиримость к наималейшему отступлению от истинной человечности.

В этом смысле автору, на мой взгляд, более всего удалось психологическое исследование духовного падения Дмитриева, главного героя повести «Обмен», который из-за своей внутренней слабости и зыбкости моральных принципов уступает напору бездуховности, воплощенной в характере его жены Лены и ее семьи. В повести с художнической неопровержимостью вскрыта диалектика нравственного предательства, этического приспособленчества, приводящая Дмитриева к «обмену» — не только квартиры, но нравственных, а в конечном счете и идейных позиций. К обмену неравноценному, потому что обменял он убеждения высокие, истинные и подлинно человеческие на низменные, бездуховные и безнравственные. А в итоге — разменял себя как личность и превратился в человека, отчужденного от правды, честности, совести, от самого себя.

Когда герой повести, уступив настояниям жены, предложил умирающей матери обменять квартиру, чтобы съехаться с ним, дабы таким путем сохранить «освобождающуюся» в ближайшее время «жилплощадь», он по справедливости услышал в ответ: «Ты уже обменялся, Витя. Обмен произошел... Это было очень давно. И бывает всегда, каждый день, так что ты не удивляйся, Витя. И не сердись. Просто так незаметно...»

Но кто же такой Дмитриев — жертва или хищник?..

С Лукьяновыми, из семьи которых вышла Лена, все ясно: это потребители, так сказать, патентованные мещане. Как ясно с тетей Фросей из рассказа «В грибную осень» или с драматургом Смоля-

новым из «Долгого прощания»: этот перенес жизненные принципы Лукьяновых с их природной хваткой и жаждой личных благ в литературу и успешно ею кормится, претендуя даже на то, чтобы быть законодателем вкусов и моды. Если Смолянов из «Долгого прощания» представляет собой время прошлое — двадцатилетней давности, то кандидат наук Гартвиг из «Предварительных итогов» уже ультрасовременная модель. Свой разлагающий жизненный цинизм и зоологический эгоцентризм он прячет под новомодной маской интеллектуальности и интереса к старине, к традициям русского идеализма. Впрочем, маска может быть любая — от увлеченности проблемами византизма до парапсихологии и «летающих тарелочек», но главная суть: изощренный и вместе с тем циничеcкий эгоцентризм.

В прозе Ю. Трифонова последних лет его жизни мы наблюдаем целую галерею вполне типических характеров, выявляющих суть современного социального эгоизма с его потребительским отношением к людям и жизни; она начинается Лукьяновыми, ближе других стоящими к прежним «окуровцам», так сказать, сохранившим во многом первоначальное, первородное обличие мещанства, и кончается тем же Гартвигом или Левиным из рассказа «В грибную осень» — фигурами, внешне облагороженными и видоизмененными временем.

Человек проходит в прозе Ю. Трифонова проверку высшим, конечным, пониманием цели жизни, смысла бытия. Не случайно в его творчестве так часто люди проверяются смертью близкого человека: смертью матери в рассказе «В грибную осень», то же самое и в повести «Обмен». Впрочем, через такую проверку проходят герои не только Трифонова, но и герои книг «Последний срок» В. Распутина, «Привычное дело» В. Белова, «Белый пароход» Ч. Айтматова, «Сотников» В. Быкова — книг философской, точнее, философической прозы. И центральной, на мой взгляд, во всех этих произведениях является проблема духовных ценностей, осмысления бытия.

Вопрос о смысле жизни — общечеловеческий и вечный, но каждым человеком и каждой эпохой на новом витке исторической спирали он решается как бы заново. Этот вопрос чрезвычайно важен для человека. От ответа на него зависит повседневное нравственное бытие личности. Как утверждает этика, ответ на вопрос «Как жить?» (то есть как должно жить) опосредован вопросом: «Для чего жить? Во имя чего жить?» Без ответа на второй вопрос невозможно получить ответ и на первый, если мы хотим осознанно воспринимать нормы нравственности: почему так надо, а так не надо, почему это хорошо, а это плохо.

Религия, претендующая на монополию решения проблемы смысла жизни, утверждает, что вне идеи бога ответа на этот во-

прос быть не может. Из этого постулата в первую очередь и исходят наши идейные противники, обвиняющие социализм в «бездуховности».

Но разве русские революционеры прошлого — революционные демократы, народники и народовольцы,— будучи убежденными материалистами и атеистами, не являли собой пример высочайшей одухотворенности и нравственности? Разве люди, «штурмовавшие небо» (К. Маркс), совершившие первую в мире социалистическую революцию, отстоявшие ее завоевания в годы гражданской, а потом Великой Отечественной войны, были без «святого за душой»?.. Другое дело, что суть нашего «святого за душой» качественно отлична от того понимания, которое вкладывают в это выражение церковники и спиритуалисты, что революционеры и коммунисты решают проблемы жизни не на небе, а на земле.

Человек стремится к осмысленности своего личностного бытия, а через него — и своих поступков, поведения.

Сельский шофер в одном из рассказов Василия Шукшина говорит старику соседу: «Как вы-то жили, я так сумею. Мне чего-то больше надо...» И вдруг,— замечает писатель,— не дурашливо, а с какой-то затаенной тревогой, даже болью сказал: «А правда, ведь не знаю, зачем живу... Удивляюсь. Я же не дурак. Но чем успокоить душу? Чего она у меня, сволочь, просит?..»

Для Лукьяновых, для людей, порабощенных социальным эгоизмом и индивидуализмом, вопрос этот решен. Для них смысл жизни — в накоплении материальных благ, материальных ценностей, в удовлетворении потребностей самого первого ряда. Бездуховная суть эта в век научно-технического прогресса может усложняться, приобретать самые утонченные, разнообразные формы — и при этом оставаться собой.

Потребительство способно, в частности, расширяться и за счет использования духовных ценностей. Человек — тот же Гартвиг — может быть рафинированным потребителем, скажем, музыки, изящных предметов искусства, становиться эстетом, снобом. И тем не менее до той поры, пока пусть самое изысканное, но потребление ценностей жизни ему представляется целью и смыслом бытия, пока он ни в чем не отдает себя людям, он остается личностью бездуховной, отторгающей себя от человеческой сущности, от человеческого в себе.

Истоки такого рода отчуждения человека от своей человеческой сущности, вне всякого сомнения, социальные. В буржуазном обществе они порождены частнособственническими производственными отношениями. Печать бездуховности в наших условиях — удел прежде всего и главным образом людей с пережитками мелкобуржуазного, мещанского нравственного сознания.

Итак, бездуховность Лукьяновых, Смолянова и даже Гартвига не подлежит сомнению.

А как быть с Дмитриевым?.. И шире: как быть с Дмитриевыми? С Дмитриевыми не в переносном, обобщающем значении, но в прямом: с семьей Дмитриевых, из которых вышел «олукьянившийся» муж Лены?

Дмитриев в творчестве Ю. Трифонова занимает место на перекрестке двух нравственных противостояний. С одной стороны выстраивается такой ряд: сам Дмитриев; Володя из рассказа «В грибную осень»; Геннадий Сергеевич, переводчик с подстрочников в «Предварительных итогах», женатый на своей Лене,— только ее зовут Рита; наконец, Гриша Ребров, литератор-неудачник из повести «Долгое прощание».

Но есть и другой ряд, к которому принадлежал до «Обмена» и сам Дмитриев: это его мать Ксения Федоровна, его дед Федор Николаевич, условно говоря, родословная всей этой семьи. Это ряд «интеллигентных людей», противостоящих «мещанству».

Но ведь Лена Лукьянова-Дмитриева — тоже лицо интеллигентной профессии, даже учебник какой-то написала. Почему же она не «интеллигент»?

Впрочем, автор ставит тот же вопрос несколько иначе: «Почему две интеллигентные, всеми уважаемые женщины, горячо любившие Дмитриева, тоже хорошего человека, и его дочь Наташку, упорно лелеяли в себе твердевшую с годами взаимную неприязнь?»

Противостояние этих двух характеров — Лены и Ксении Федоровны, матери Дмитриева,— выражает в повести противостояние двух различных нравственных начал. Какое начало представляет здесь Лена, понятно: «лукьяновское». И ведет себя сообразно ему: «Лену всегда отличала некоторая душевная — нет, не глухота, чересчур сильно,— некоторая душевная неточность, и это свойство еще обострялось, когда вступало в действие другое, сильнейшее качество Лены: умение добиться своего»,— с первых страниц повести сообщает нам автор. И далее он искусно показывает нам ее «какую-то недоразвитость чувств, что-то недочеловеческое».

Какое нравственное начало выражает собой Ксения Федоровна? Что — в реальности — стоит за этим характером?

В первую очередь те духовные традиции нашего общества, которые связаны с передовой русской интеллигенцией прошлого века,— наиболее цельное и законченное воплощение этой традиции, конечно же, дед Дмитриева, Федор Николаевич. «Таких стариков осталось в России немного, а юристов, окончивших Петербургский университет, еще меньше, а тех из них, кто занимался в молодости революционными делами, сидел в крепости, ссылался, бежал за границу, работал в Швейцарии, в Бельгии, был знаком с Верой Засулич, и вовсе: раз, два — и обчелся...» Об этих

людях, о их нравственности Ю. Трифонов напишет позже свой роман «Нетерпение», к ним он вернется и в романе «Старик». Вот из какого рода был этот дед «с сизовато-медной дубленой кожей на лице, с корявыми, изуродованными тяжелой работой, негнущимися руками». Неожиданная на первый взгляд деталь, не правда ли?..

И был он «настолько чужд всякого лукьяноподобия — просто не понимал многих вещей»... Не понимал, когда жена Дмитриева, «распрекрасная Елена», и не менее прекрасная теща говорили рабочему, который перетягивал кушетку, «ты»... Не понимал их способности дать взятку, обмануть... Лена, смеясь, говорила: «Федор Николаевич, вы монстр! Хорошо сохранившийся монстр...»

Вряд ли случайно и то обстоятельство, что жили Дмитриевы, куда приехали к ним позже погостить Лукьяновы, в поселке Красный Партизан, дачном поселке старых большевиков.

Заметим, что не только повесть «Обмен», но и многие другие произведения Ю. Трифонова так или иначе связаны с традициями лучшей части интеллигенции прошлого. Вот родословная Гриши из повести «Долгое прощание»: «Одна его бабушка из ссыльных полячек... прадед крепостной, а дед был замешан в студенческих беспорядках, сослан в Сибирь...» Сам Гриша все свободное время отдает историческим изысканиям о шестидесятнике Прыжове...

Именно об этом — о причастности Дмитриевых к лучшим традициям русской интеллигенции, об этой фамильной гордости — центральный спор в «Обмене» между Леной и Ксенией Федоровной... «Сколько людей кичится непонятно чем, какими-то мифами, химерами. Это так смешно!» — говорит по этому поводу Лена матери Дмитриева.

И вот отсюда, с невинного препирательства, возник тот разговор, который завершился ночным припадком у Лены, вызовом «неотложки», криками Веры Лазаревны (матери Лены.— *Ф. К.*) об эгоизме и жестокосердии, а затем отъездом Ксении Федоровны и тишиной, наступившей на даче, когда остались двое: Дмитриев и старик. «Они гуляли у озера, подолгу говорили. Дмитриеву хотелось разговаривать с дедом о Лене... Но дед не произнес ни о Лене, ни о ее родителях ни слова. Он говорил о смерти и о том, что не боится ее. Он выполнил то, что ему было назначено в жизни... Дед говорил о том, что все, что позади, вся его бесконечно длинная жизнь его не занимает, нет глупее, как искать идеалы в прошлом».

Характер Федора Николаевича при всей его эскизности чрезвычайно значителен для Ю. Трифонова. Да и для читателей тоже. Этот характер помогает нам осмыслить нравственную концепцию автора. Федор Николаевич в представлении Ю. Трифонова являет собой доподлинно русского интеллигента. Нравственным уровнем таких людей и мерит автор лукьяновский и дмитриевский мир.

Вне этой авторской концепции не понять и духовных традиций Дмитриевых, не понять, что же «обменял», по мнению Ксении Федоровны, Дмитриев, когда он «олукьянился».

Вспомним в этой связи другую повесть Ю. Трифонова «Предварительные итоги», и в частности спор с Гартвигом. Гартвиг молится на тех самых русских философов-идеалистов, которые составили ядро «Вех» и были последовательными и яростными врагами миропонимания Федора Николаевича. Герой «Предварительных итогов» Геннадий Сергеевич в раздражении называет даже предмет увлечения Гартвига крайне неуважительно — «белибердяевы», что, конечно же, аргументом в споре служить не может. Да и спор этот сам по себе в глубину не идет, он существен лишь как резкое выражение неприятия Ю. Трифоновым современных спекуляций на этом чуждом ему направлении идей.

К сожалению, авторская позиция в этих повестях, и особенно в «Предварительных итогах» и в «Обмене», не во всем проявлена.

Что касается прошлого, то тут все ясно. Но как справедливо говорит в повести «Обмен» Федор Николаевич, «...нет глупее, как искать идеалы в прошлом». Следовательно, искать их надо в настоящем, естественно, не обрывая духовных и нравственных связей с традициями прошлого. Где же искать их в современной нам жизни, что же противостоит в нашей сегодняшней действительности угрозе «олукьянивания», этому проявлению мещанской бездуховности, вполне реальной для некоторых людей?

Если брать творчество Ю. Трифонова в целом, если обратиться к его роману «Утоление жажды» или лучшим его рассказам, то мы встретимся с характерами, которые содержат ответ на этот вопрос. Разве инженер Карабаш и начальник строительства Ермасов из романа «Утоление жажды» или доктор Ляхов из рассказа «Доктор, студент и Митя», «доктор Гриша» из рассказа «Дети доктора Гриши» — люди бездуховные? Разве они лишены духовных и нравственных ценностей, гражданской, идейной, подлинно нравственной позиции в жизни? В повестях же — и это отмечалось в критике — одухотворенных характеров, которые принадлежали бы настоящему, практически нет.

В чем же тут дело? Видимо, в том, что в повестях своих писатель попытался поставить и решить вопрос об угрозе бездуховности, не выходя за пределы быта. «Быт — это великое испытание,— замечает Ю. Трифонов в статье «Выбирать, решаться, жертвовать» (1972).— Не нужно говорить о нем презрительно, как о низменной стороне человеческой жизни, недостойной литературы. Ведь быт — это обыкновенная жизнь, испытание жизнью, где проявляется и проверяется новая, сегодняшняя нравственность. Взаимоотношения людей — тоже быт. Мы находимся в запутанной и сложной структуре быта, на скрещении множества связей, взглядов, дружбы, зна-

комств, неприязней, психологий, идеологий. Каждый человек, живущий в большом городе, испытывает на себе ежедневно, ежечасно неотступные, магнитные токи этой структуры, иногда разрывающие его на части. Нужно постоянно делать выбор, на что-то решаться, что-то преодолевать, чем-то жертвовать. Устали? Ничего, отдохнете в другом месте. А здесь быт — война, не знающая перемирий». И это правильно. Но для человека важен не только быт, но и бытие, то есть жизнь духа, внутренняя причастность к движению жизни общей, к человеческой истории. Если характеры Карабаша и Ермасова, Ляхова и «доктора Гриши» раскрываются в «деле», деле, которое «больше их», потому что это не только их личное, но общественно значимое, народное дело, если в этом «деле» они занимают социально активную гражданскую, высоконравственную и идейную позицию, что и сообщает им одухотворенность, то герои «Обмена», «Предварительных итогов» и «Долгого прощания» все как один лишены такого «дела». Авторской волей они изъяты из процессов реальной, действительной трудовой жизни и заключены в быт. Мы знаем, что Дмитриев служит в какой-то организации, что он «специалист по насосам»; больше о его работе мы ничего не знаем. Похоже, что значение «ГИНЕГИ» (название института, где он работает) в жизни Дмитриева сводится к присутствию там и получению зарплаты. Труд в жизни Геннадия Сергеевича, переводчика-профессионала, не более как ремесло, которым он кормится. То же самое и в повести «Долгое прощание», только здесь герои «кормятся», а не живут, не горят литературой, театром, журналистикой. Так в чем же проявиться, где завязаться их гражданскому чувству?.. Интеллигенты из поселка Красный Партизан времен 20-х годов потому и «засиживались до утра, выясняя великие вопросы мироздания», что им эти вопросы были интересны. Это были одновременно и всеобщие, и глубоко личные их вопросы, ибо они были «за все в ответе», более того, сами являлись творцами, демиургами социального мироздания.

Дмитриев или Геннадий Сергеевич в повестях Ю. Трифонова — «демиурги» лишь личного благосостояния. Они остро ощущают «недоразвитость чувств», «недочеловеческое» в лукьяновых, но давно успокоились «на той истине, что нет в жизни ничего более мудрого и ценного, чем покой, и его-то нужно беречь изо всех сил». Из интеллигентов в истинном значении этого слова они давно превратились в псевдоинтеллигентов, в мещан, в самгиных. Потому-то они и не могут, да и не хотят противостоять лукьяновым — они так же отчуждены от социальной, общественной сферы деятельности, от широких общественных интересов, от ответственности за жизнь, за людей, более того, за самих себя. Даже Ксения Федоровна, чье существование в течение долгих лет также не выходит за пределы быта и родственных взаимоотношений, при всей

своей личной порядочности и доброте, при всей гордости семейными традициями не в силах противопоставить лукьяновым ничего, кроме презрения к ним. И ее отношение к лукьяновым, особенно поначалу, далеко не определенное — она в чем-то в глубине души даже завидует им. Их жизненной цепкости, что ли. Вначале-то, сообщает нам автор, она считала Лукьянова «человеком недурным, в чем-то даже симпатичным, хотя, конечно, вовсе, к сожалению, не интеллигентным. И он и Вера Лазаревна были другой породы — из «умеющих жить». Ну что же, не так плохо породниться с людьми другой породы. Впрыснуть свежую кровь. Пользоваться чужим умением. Не умеющие жить при долгом совместном житье-бытье начинают немного тяготить друг друга — как раз этим своим благородным неумением, которым втайне гордятся».

Очевидно, что при самом добром к ней авторском отношении все-таки Ксения Федоровна хранитель наследия, воплощение сегодняшнего и завтрашнего дня нашей жизни. Так кто же? Ответа на этот вопрос в повестях нет.

Ю. Трифонов сам как бы не сопрягает инженера Карабаша из «Утоления жажды» и Федора Николаевича из «Обмена» как звенья одной цепи — предоставляя это читателю. Может быть, поэтому его Карабаш получился в чем-то условным, схематичным: действительное богатство его внутренней жизни, его гражданский, социальный взгляд на мир, для читателя романа во многом скрыт. Автор только прикоснулся к нему, познав и показав лишь часть внутреннего мира своего героя.

Остро чувствуя угрозу бездуховности для какой-то части людей, утрату ею высокой одухотворенности, подлинной осмысленности бытия, Ю. Трифонов пока что не вскрывает с достаточной глубиной и ясностью причины этого. Он даже оспаривает самую мысль о том, что его повести — о мещанстве.

Подводя итог попыткам критики проанализировать диалектику соотношения «мещанства» и «интеллигенции», выявленную в его повестях, Ю. Трифонов отвечал на страницах журнала «Вопросы литературы», что как раз об этом-то он и «не хотел писать». «Не хотел я писать об интеллигенции и мещанстве. Ничего подобного даже в уме не держал». И далее объяснил причину своего отрицательного отношения к такого рода толкованию повестей: «Слово «интеллигент» столь безбрежно расширилось, что включает в себя всех имеющих высшее и даже частично среднее образование. Таких людей многие миллионы. Если иметь в виду это, то тогда, пожалуй, верно — повести об интеллигентах.

Я имел в виду людей самых простых, обыкновенных. Ну, там инженеров, скажем (видите, как изменилось у нас понятие «простого, обыкновенного человека»! — *Ф. К.*), домохозяек, преподавательниц, научных работников, заводских мастеров, драматургов,

студентов и так далее. Как их можно назвать всех вместе? Может быть, так: горожане. Жители города. Раньше было такое спокойное слово: мещане, то есть как раз то самое — жители города, «места». Но слово «мещане» с течением времени уродливо преобразилось и означает теперь совсем не то, что означало когда-то. Что-то малоприятное и, честно говоря, подозрительное. А если говорят: «интеллигентствующий мещанин», то это уж такая отвратительная гадость... Смысл перевернулся, слова изменились, и против этого не попрешь. Однако еще раз повторяю: ни о каких мещанах я писать не собирался. Меня интересуют характеры».

Что стоит за этим утверждением? Быть может, боязнь примитивизации, упрощения в толковании сложной художественной ткани произведения, свойственная писателю? Так или иначе, но Ю. Трифонов резко опротестовал попытки критики социально трактовать его повести, предложив иной к ним подход. «Почему Лена, жена Дмитриева, отрицательный персонаж? — спрашивает писатель.— Что она: ребенка бьет? Ворует деньги в кассе взаимопомощи? Пьянствует с мужчинами? Никудышный работник? Ничего подобного, ребенка любит, вина не пьет, семью свою обожает, работает прекрасно и успешно, даже составила какой-то учебник для технического вуза. Она — человек на своем месте, приносит безусловную пользу обществу. Ну, есть у нее какие-то недостатки в характере, а у кого их нет? У вас, что ли, ангельский характер?..»

Мы присутствуем при яростном споре писателя — с кем? — с читателем, вернее, с самим собой. Однако никакими, самыми страстными логическими доводами автору не убедить своего читателя, воспринимающего Лену не умозрительно и функционально («какой-то учебник для вузов составила», «работает успешно» и т. д.), но целостно и эмоционально, что его героиня «положительный персонаж». Да, оказывается, так не думает и сам писатель. Его опять-таки тревожит опасность упрощения его позиций. На самом-то деле он вовсе не закрывает глаза на бездуховность Лены, он только осуждает не Лену, а «некоторые качества» Лены, он «ненавидит» эти качества, которые присущи не только одной Лене. Однако считает, что за это нельзя «выбрасывать человека» (это бесспорно). «Человек есть сплетение множества тончайших нитей, а не кусок голого провода под током, то ли положительного, то ли отрицательного заряда...»

«Характер человека,— продолжает писатель,— меняется не так быстро, как города и русла рек. Не будем обольщаться, для того чтобы выдавить из человека такую, например, болезнь, как эгоизм, должны пройти годы и годы. Это ведь самая старая из человеческих болезней. Ученые утверждают, что эгоизм помогал выжить в борьбе за существование. Однако они же, ученые, говорят, что

и альтруизм был очень полезен в этой борьбе. Так или иначе, оба свойства существуют в человеческой природе рядом, в вечном противоборстве. И задача, может быть, в том и состоит, чтобы помогать мощными силами литературы одному свойству преодолевать другое, человеку меняться к лучшему».

Как вы помните, один из своих романов — посвященный народовольчеству, этой драматичнейшей странице в истории русского освободительного движения — Юрий Трифонов назвал «Нетерпение». Нетерпение в высоком и благородном стремлении как можно скорей, причем — раз и навсегда, разрешить все «проклятые вопросы», на протяжении веков и тысячелетий мучившие человечество.

Однако сложнейшие социальные и, особенно, духовно-нравственные вопросы решаются гораздо медленнее, чем хотелось бы, чем думалось революционерам в самом начале их героического пути.

Одна из заветных идей в творчестве Юрия Трифонова, как мне представляется, в том и состоит, чтобы трезво исследовать, понять и осознать всю реальную сложность нашего пути в будущее, показать, что исторически неизбежный и благодетельный процесс преобразования человека и общества в духе святых революционных идеалов минувших времен — неизмеримо более сложный, а главное — исторически более длительный, чем мечталось. Об этом и его последний роман «Время и место».

Храня верность этим идеалам отцов и дедов, считая их главенствующим, определяющим вектором исторического развития, Юрий Трифонов стремится в своем творчестве к правдивому постижению непростого величия времени во всех реальных сложностях и непростых противоречиях нашего пути в будущее.

И в этом — современность творчества писателя, ибо время требует от литературы правдивых картин нашего общества во всей сложности, противоречивости и многогранности, выражающих кардинальные тенденции развития жизни действительной, глубокого осмысления особенностей переживаемого нами социального, общественного развития, трезвого, без тени утопии, определения достигнутой нами социально-экономической и духовной зрелости нового общества.

Феликс КУЗНЕЦОВ

СТУДЕНТЫ



ПОВЕСТЬ



ГЛАВА 1

Две остановки от дома он проехал в троллейбусе — в новом, просторном, желто-синем троллейбусе,— до войны таких не было в Москве. Удобные кресла были обиты мягкой кожей шоколадного цвета и узорчатым плюшем. Троллейбус шел плавно, как по воде. А он не ездил в троллейбусах пять лет. Он не видел московского кондуктора пять лет.

Пять лет не спрашивал он деловитой московской скороговоркой: «На следующей не сходите?» И когда он теперь спросил об этом, голос его прозвучал так громко и с таким неуместным ликованием, что стоявшие впереди него пассажиры — их было немного в этот будничный полдень — удивленно оглянулись и молча уступили ему дорогу.

Гармошка пневматической двери услужливо раздвинулась перед ним, и он спрыгнул на тротуар.

И вот он идет по Москве...

Июльское солнце плавит укатанный уличный асфальт. Здесь он кажется синим, а дальше, впереди, серебристо блестит под солнцем — будто натертый мелом. Дома слева отбрасывают на асфальт короткую густую тень, а дома справа залиты солнцем. Окна их ослепительно пылают, и отражения этих пылающих окон лежат на теневой стороне улицы зыбкими световыми пятнами.

Из-за угла выползает громадный голубой жук с раскрытыми водяными крыльями. В каждом крыле, сотканном из миллиардов брызг, переливается радуга. Асфальт влажно чернеет и дымится, а дождь на колесах медленно ползет дальше, распространяя вокруг себя облако прохлады.

Москва.

Он идет по Москве!

Здесь все знакомо и незабываемо с детства, здесь его родина, та простая человеческая родина, которую вспоминали солдаты на войне, каждый — свою. В полуночном Венском лесу и в диких горах Хингана ему вспоминалось: Замоскворечье, Якиманка, гранитные набережные, старые липы Нескучного сада...

И вот все вернулось к нему. Все, все, что так бережно хранила память. Вон в том особняке, у Спасо-Наливковского, осенью первого военного года он служил в пожарной команде Ленинского района. Служил! Шестнадцатилетний мальчишка... Теперь на особняке опять, как и до войны, вывеска: «Детский сад № 62». Из раскрытых окон выглядывают лаковые листья фикуса, поет радио.

Он идет все быстрее, почти бежит.

Он выходит на мост, перекинутый через канал — знаменитую московскую Канаву. Возле кинотеатра «Ударник» толпится народ, все почти молодежь,— ну да, теперь ведь каникулы.

Москвы-реки еще не видно, но уже чувствуется ее свежее дыхание, угадывается ее простор за рядами домов. Когда-то он жил здесь, на Берсеневской набережной, а учился на Софийской, прямо напротив Кремля. Он ходил в школу под аркой моста — там всегда было сумеречно и гулко, и можно было вызывать эхо. А после уроков они занимались «закалкой воли»: ходили по каменному парапету набережной, расставив руки для равновесия. Потом это заметил кто-то из учителей и попало всему классу.

Он останавливается на могучем бетонном взгорье — на середине моста.

Большой Каменный!

Самый красивый мост в мире. Теперь он не сомневается в этом,— он видел мосты в Праге и в Вене и множество других мостов в разных странах.

Отсюда город кажется беспорядочно тесным — улиц не видно, дома воздвигаются один над другим в хаосе желто-белых стен, карминных крыш, башен, облепленных лесами новостроек, искрящихся на солнце окон.

Но по отдельным знакомым зданиям можно угадать улицы: вон блестит стеклянная крыша Пушкинского музея, левее, у самого берега, раскинулась строительная площадка — еще до войны здесь начали строить Дворец Советов,— как огромные зубья, торчат в круге массивные опоры фундамента.

А по правую руку — высоко на холме Кремль. Старинные башни, подернутые сизой, почти белой у подножия патиной, и гряда зелени за стеной, на кремлевском дворе, а над зеленью — стройный, белогрудый дворец с красным флагом на шпиле.

Сколько раз до войны видел он эти башни и ели и этот гордый дворец, видел зимой и летом, на солнце и под дождем, из окна троллейбуса и с набережной,— сейчас у него такое ощущение, словно он видит все это впервые. И впервые видит сказочную красоту Кремля, чудесней которой нет ничего на земле.

Потом он идет через площадь у Боровицких ворот к библиотеке Ленина.

Он вглядывается в лица встречных людей и удивляется: почему не видно знакомых? Ему кажется, что он всех должен увидеть сегодня же, встретить на улицах.

Сейчас он поднимется на Красную площадь. Уже близко, близко...

Он в центре Москвы. Город окружает его неутихающим звонким гулом, голосами и смехом толпы. Перед ним возвышается белый утес гостиницы «Москва», и налево, в гору, уступами многоэтажных домов взбегает самая людная и живая, сверкающая зеркалами витрин улица Горького.

Как он мечтал об этом дне!

Он идет между людьми, касается их плечами, влюбленно заглядывает им в глаза, вслушивается в разговоры. Ведь все это москвичи — его земляки, к которым он вернулся сегодня после пятилетней разлуки. И этот широкоплечий мужчина в сером плаще и шляпе, и веснушчатый мальчуган в теннисной майке, и румяная женщина с ребенком на руках, и другая, в очках, с портфелем под мышкой, из которого торчит бутылка молока, и девушки — их так много! Девушки в белых, розовых и сиреневых платьях, загорелые и быстрые, глаза их блестят, и они все улыбаются ему, а он им. Он улыбается им в ответ, и ему кажется, что все эти люди — его старые знакомые, он просто немного забыл их за пять лет. Вероятно, и он изменился. Но они вспомнят друг друга, очень скоро!

Брусчатка Красной площади отливает раскаленной синевой неба. Он идет выпрямившись и подняв голову. Здесь все по-прежнему, как до войны,— торжественный строй голубоватых елей вдоль Кремлевской стены, два

солдата застыли у дверей великой гробницы. Их юные лица загадочны и надменны. Кажется, эти же самые парни стояли здесь и тогда, пять лет назад.

Медленно, с бьющимся сердцем, он проходит через площадь и все время смотрит направо. Он видит, как на часах Спасской башни прыгает золотая стрелка и в ней на одно слепящее мгновение вспыхивает солнце.

А когда он спускается на набережную, к нему подходит молодой парень, скуластый и черноглазый, тоже в гимнастерке и сапогах, и спрашивает с виноватой запинкой:

— Случайно не знаешь, друг, как в Третьяковскую галерею пройти?

— Как не знаю! — почти кричит он, чему-то вдруг очень обрадовавшись.— Конечно, знаю! Я сам бы с тобой пошел, но я уж решил — Третьяковку на завтра. Вот слушай: иди через Каменный, нет — лучше через Москворецкий мост...

И он старательно и подробно объясняет парню, как пройти в Третьяковскую галерею. Тот уходит, благодарно кивая. А он смотрит вслед и улыбается счастливо и изумленно: подумать только, завтра и он пойдет в Третьяковку! А если захочет, то пойдет и сегодня. Стоит ему захотеть — и через пятнадцать минут он будет в Третьяковке!

И вот он в вестибюле метро, залитом рассеянным электрическим светом, от которого мраморные стены, одежда и лица людей приобретают матово-оранжевый оттенок.

Напористый людской поток проносит его к одному из двух эскалаторов.

Ему явственно кажется, что он спускался по этому эскалатору совсем недавно — неделю назад, вчера. Здесь все знакомо, ничто не изменилось со вчерашнего дня — который был пять лет назад...

Люди легко сбегают с эскалатора и расходятся в разные стороны. В однообразное гудение эскалатора и шум множества разговоров врываются нарастающий лязг и громыханье. Это подходит еще невидимый поезд.

Кто-то трогает его за рукав — деревенская старуха в платке.

— Сынок, а на «Сокольники» мы здесь посадимся ай нет?

— Что вы! Нет, нет! Вы не туда идете: вам надо подняться обратно и перейти на другую станцию! Вы сейчас...

Но чей-то бас спокойно прерывает его:

— Вовсе не обязательно. Идите, бабуся, вниз и пройдете по новому переходу на станцию «Охотный ряд».

— Какому переходу? — спрашивает он высокомерно, уязвленный тем, что кто-то вздумал поправлять его.— Вы путаете. Это на «Библиотеке Ленина» есть переход.

— Я никогда не путаю, товарищ. Если не в курсе, не надо учить других. А вы, бабуся, не слушайте его, а спокойно идите по новому переходу и своего достигнете.

Да, ведь верно! Он же читал в газетах о новых станциях, открытых еще в войну, и о новом переходе в центре. Надо немедленно все это осмотреть.

После июльской жары так приятна мраморная свежесть подземелья! Он идет по новому переходу, пытливо разглядывая алебастровые украшения, выложенный цветными плитками пол, и с наслаждением вдыхает знакомый, всегда присутствующий в метро чуть сыроватый запах — запах свежей известки или влажных опилок.

Он идет медленно, и все обгоняют его. Кажется, он единственный праздный человек в этой торопливо бегущей торпе.

Через час, утомленный всем виденным, он выходит на своей любимой станции. Площадь Маяковского ослепляет его голубизной и солнцем, окунает в зной.

Он читает афиши: выступление Ансамбля железнодорожников... Армянский хор... Гастроли польского скрипача, профессора Варшавской консерватории... Вечер юмора... Командное первенство по борьбе... Сколько новых, незнакомых ему имен!

Вдруг кто-то хватает его за плечи.

— Вадим!

Круто обернувшись, он видит Сергея — Сережку Палавина, своего самого старинного друга еще со школьной скамьи. Вот она, встреча! Он будто чувствовал, что это должно случиться сейчас.

Они обнимаются неуклюже и в первые секунды не находят слов.

— Я звонил тебе утром,— говорит Вадим.

— Знаю, знаю! Ну, как ты? Черт! — Сергей стискивает Вадима в объятиях, трясет его и хохочет.— И здо-

ров же ты стал! Нет, ты смотри, какой здоровый! Отъелся на армейских харчах, а?

— Да и ты не из тощих.

— Ну-у, куда мне! И в лице у тебя этакое бывалое, солдатское... Как мы встретились-то, а? Блеск!

— Я думал вечером зайти...

— Ну вот и встретились!.. У тебя, значит, Красная Звезда и медали в два наката,— нормально!

Вадим смотрит в сияющее лицо друга: в общем Сергей не изменился, только вырос, стал шире в плечах. Такие же пушистые светло-русые волосы, голубые глаза с веселым татарским разрезом, а загорелый выпуклый лоб слегка рассечен морщинами — их не было пять лет назад. Вид у него глубоко штатский и праздничный: летний костюм кремового цвета и сандалеты из белой кожи. Ну как же! Сережка всегда любил пофрантить.

Они идут по Садовой, еще неловкие и напряженно-взволнованные этой долгожданной и такой внезапной встречей.

Что можно рассказать в первые полчаса? Кажется, ничего. Они рассказывают о том, что давно знают из писем. Сергей работал до конца сорок третьего года в Свердловске, в научно-исследовательском институте, потом его призвали и направили на Северо-Западный фронт, там он и служил до конца войны. С декабря сорок пятого — вот уже больше полугода — он в Москве.

— Ну, а где наши ребята? — спрашивает Вадим.— Где Ромка, Людочка? Где Митя Заречный?

Сергей видел одного только Ромку — он в Москве, работает на часовом заводе. Людочка уехала куда-то с мужем — кажется, в Казахстан. Митя Заречный служит в оккупационных войсках, в Берлине. А вот Петя Кирсанов погиб. Еще в сорок втором.

— Да, я знаю, мне писали. Жаль Петьку...— Вадим помолчал.— А что ты делаешь, Сергей? Учишься?

— С этого года начну.

— Где?

— Еще не решил. Или в МГУ, или где-нибудь еще.— Сергей вздыхает и озабоченно покачивает головой.— Пора, пора начинать! Я же полгода без дела болтаюсь, надоело...

Вадим давно решил — он поступит в педагогический, на литературный факультет. Но ему пока не хочется говорить о себе.

— Не женился, надеюсь? — спрашивает вдруг Сергей.

— Да нет, где же...

— Ну правильно,— говорит Сергей наставительно.— Нам, брат, с тобой нельзя раньше времени обзаводиться семейством. Никак нельзя. Теперь начнем учиться, пробиваться, как говорят, в люди, а это легче одному, необремененному, так сказать...

Вадим плохо слушает, точнее — он плохо понимает Сергея. Радостное возбуждение этого огромного солнечного дня все еще не покидает его и кружит голову.

Потом они приходят к Сергею — в большой старый дом на улице Фрунзе, с угловыми башенками, кариатидами, балкончиками. Четыре верхних этажа — современная надстройка из красного, еще не оштукатуренного кирпича.

Их встречает мать Сергея, Ирина Викторовна. Она заметно состарилась, сгорбилась, черные волосы ее потускнели, но она все такая же — та же необычайная для ее рыхлой фигуры подвижность, та же привычка разговаривать шумно и неустанно, перебивая других. Ирина Викторовна встречает Вадима как сына — целует, разглядывает ревнивым и пронзительным взглядом, умиленно восклицает:

— Господи, да ты совсем мужчина! Боже, какие плечи, голос!..

В квартире беспорядок, какой бывает, когда собирают кого-то в дорогу,— Ирина Викторовна держит в руках шпагат, на выставленном в коридоре чемодане лежит свернутое летнее пальто, а на столике под телефоном блестит никелированной макушкой термос. Оказывается, сегодня отправляют в пионерлагерь Сашу — младшего брата Сергея. Вот он и сам выбегает в коридор, что-то напевая и шлепая себя по лбу покрышкой от волейбольного мяча. Увидев Вадима, Саша сконфуженно застывает на месте.

— Сашуня, а этот дядя — Вадим. Ты не узнаешь?

Саша смотрит на Вадима исподлобья и качает круглой, стриженой, будто обсыпанной золотыми опилками головой. Нет, он не узнает Вадима. Да и Вадим не узнал бы Сашу,— пять лет назад это был четырехлетний карапуз, а теперь уже школьник третьего класса.

Из комнат доносится женский голос:

— Ирина Викторовна, а где мыльница? На комоде нет!

— Возьмите в ванной, Валюша! — отвечает Ирина Викторовна поспешно.— Возьмите мою, мраморную.

В дверях появляется темноволосая, худенькая девушка лет двадцати, она близоруко щурится, увидев Вадима, и неуверенно кивает.

— Это Вадим, ты знаешь его по моим рассказам,— говорит Сергей.— А это Валя.

— Я вас представляла совсем другим,— говорит Валя, протягивая Вадиму очень красивую, белую, обнаженную до локтя руку.

— Интересно, каким?

— Почему-то черным, низкорослым, таким крепышом. И в очках.

— Воображаю, что Сережка нарассказал про меня! — смеется Вадим.

— Нет, он просто говорил, что вы очень серьезный и положительный человек. Он часто говорил о вас.

В разговор вступает Ирина Викторовна:

— Валюша, это же друзья детства! Я помню их вместе еще вот такими,— она дотрагивается до Сашиного живота, отчего Саша недоверчиво усмехается.— Серьезно, Саша, я помню Вадима таким крохотным! Мы жили на даче. Помню, как они носились с этими змеями, какой-то телефон проводили, помню... да господи, чего только не было! А потом школа, Дом пионеров. И слезы были, и ссоры — все-таки пятнадцать лет! Ребята, и опять вы вместе! А? Ну, не чудеса ли? Оба живые, орденоносные... Ну, обнимитесь же!

— Я, кстати, не орденоносный, а только медаленосный,— бормочет Сергей усмехаясь и притягивает Вадима к себе за плечи.— Эх, Вадька, мать-то у меня какая сентиментальная! Прямо сказительница...

— Ну, идите, ребятки, идите в комнаты! Поговорите!

Валя извинилась, сказав, что ей надо помочь Ирине Викторовне по хозяйству, и ушла в глубь коридора.

— Кто это — Валя? — спрашивает Вадим, оставшись с Сергеем в его комнате наедине.— Родственница ваша?

— Нет, знакомая просто... Учится в медицинском. Очень толковая девушка, умница.

В комнате Сергея на редкость чисто и прибрано — так всегда бывало на его столе в школьные годы. Два больших застекленных книжных шкафа аккуратно заставлены книгами. Переплеты так безукоризненно пригнаны один к другому, так свежи их краски, что биб-

лиотека похожа на выставку,— кажется, не хватает таблички: «Руками не трогать».

— А ты, я вижу, в отцовский кабинет переселился,— говорит Вадим, с удовольствием оглядывая знакомую комнату,— ведь это кабинет Николая Степаныча? А где ружья охотничьи,— я помню, вот здесь висели? — Он показывает на стену, где висит теперь несколько фотографий артистов, и среди них портрет Лермонтова.— Николай Степаныч, наверно, в командировке? Все разъезжает?

Сергей чуть хмурится.

— Папаша-то с нами не живет! Забыл?

— Ах, да... я забыл,— бормочет Вадим, смутившись. И как это он, в самом деле, забыл!

Перед войной родители Сергея разошлись. Вадиму вспомнился жаркий июньский день — экзамен по алгебре в девятом классе,— когда Сережка пришел в школу бледный, с красными глазами и говорил всем, что пережарился на солнце и заболел. Экзамен он сдал на «посредственно». А после экзамена признался Вадиму, что вчера вечером он провожал отца и потом не спал всю ночь. Отец его уехал навсегда в другой город, на Кавказ... Через три недели после этого экзамена по алгебре началась война.

Вадим и Сергей садятся друг против друга, закуривают. И оба молчат, словно обо всем уже наговорились. И кажется, уже не о чем говорить.

Вадим замечает под стеклом на столе карандашный портрет Сергея,— коротко подстриженный, улыбающийся подросток в курточке с молнией. Это Сергей, не то в восьмом, не то в девятом классе, и рисовал его сам Вадим. Под рисунком надпись «Кекс», и еще ниже, почему-то по-латински: «Pinx. W. B.»[1]

— Кекс! — Вадим улыбается, глядя на рисунок.— Вот мы и встретились, Кекс... Кстати, я уже забыл, почему тебя так прозвали?

— И я не помню. Меня уже много лет никто так не называет. Действительно, почему Кекс?

Вадим с недоумением пожимает плечами.

— Странно. Совсем вылетело из головы...

— Да, многое позабылось... А я помню, когда ты делал этот портрет — в восьмом классе, для новогодней газеты.

[1] Рисовал В. Б.

— Это-то и я тоже помню.

Они молчат некоторое время и оба серьезно и внимательно рассматривают рисунок. Этот листок из тетради в клетку, чернильный след пальца в углу вмиг оживляют в их памяти многое-многое из той светлой, шумной и уже далекой жизни, которая называлась — школа...

— Ты хорошо рисовал, тебе бы учиться этому делу,— говорит Сергей задумчиво.— А фронтовые зарисовки у тебя есть?

— Есть кое-что, мало.

— Ну, понятно. Ты, значит, дошел до Праги? Ты был на Третьем Украинском?

— Нет, на Втором. Мы шли через Румынию, Венгрию...

— И Будапешт брал?

— В первых уличных боях мы не участвовали. Нас бросили на север, к Комарно, а в это время Третий Украинский завязал бои в Будапеште. А потом... Ты помнишь, немцы подкинули к Будапешту одиннадцать дивизий?

— Да, да, да! Как будто припоминаю...

— Ну вот, и мы рванули, значит, обратно к Будапешту. На танках. Вообще-то это был рейд на Комарно...

— Ты в танках все время?

— Да, я в танках...

И начинается долгий разговор о войне.

За окном синий с золотом душный вечер московского лета. Как много рассказано в этот вечер и как мало! Разговор будет продолжаться завтра, и послезавтра, и еще много дней.

Вадим выходит на улицу. Завтра они пойдут с Сергеем в Третьяковку. И надо уже готовить документы для института, сходить туда и все узнать, достать программы, купить книги...

Улицы полны людей — это уже не дневные, торопящиеся пешеходы, а вечерняя, плавно текущая толпа. Лица людей, оживленные, молодые, веселые, озарены сиянием фонарей и световых реклам и звезд, щедро рассыпанных по высокому синему косогору.

С Гоголе́вского бульвара веет пахучая волна запахов — зелени и цветов. Бежит через площадь, позвани-

вая, совсем пустой трамвай,— москвичи в такой вечер предпочитают ходить пешком.

И Вадим идет домой пешком.

Идет по бульвару, через Метростроевскую и Крымский мост...

Он как будто пьян, и даже трудно сказать — отчего. От рюмки водки, которую он выпил за ужином у Сергея, или от сладкого чая, или от этого родного московского вечера, плывущего над городом в облаке тепла, в зареве уличных светов и в шуме человеческих голосов, смеха, сухого шороха ног по асфальту, музыки из распахнутых окон?

Вчерашний старший сержант Вадим Белов пьян главным образом от счастья.

Он счастлив оттого, что вернулся в родной город, к своим старым и еще неизвестным друзьям и к новой жизни. К той мирной и трудовой жизни, о которой он мечтал на войне, ради которой он вынес столько лишений, одолел так много трудностей и прошел в кирзовых сапогах полсвета.

Здравствуй, новая жизнь, которая начинается завтра!

ГЛАВА 2

И Вадим Белов, так же как и Сергей Палавин, работал теперь за отцовским письменным столом. Осенью, в холодные дни, в дождь, он надевал кожаное отцовское пальто с широким поясом и такими глубокими карманами, что руки в них можно было засунуть чуть ли не по локоть. Это было старое, но очень крепкое пальто: отец купил его еще на Дальнем Востоке.

Над письменным столом висит фотография отца в этом пальто — он без шапки, седоватые волосы вьются буйно и молодо над широким лбом, а глаза чуть прищурены, улыбаются насмешливо и проницательно, все видя, все понимая... Глаза у отца были темно-синие, а на фотографии они совсем черные, южные, очень живые.

Старые знакомые часто говорят матери:

— Дима стал очень похож на отца. Вылитый Петр Андреевич!

Вадиму приятно это слышать — ему хочется быть похожим на отца. А Вера Фаддеевна, улыбаясь грустно и сдержанно, отвечает:

— Да, много общего... есть...

Отец погиб в начале войны, в декабре сорок первого года. Это была его третья война, хотя профессия у отца была самая мирная — учитель. Последние пятнадцать лет он работал директором школы. Когда отец вместе с другими ополченцами уезжал на фронт — это было в июле, на Белорусском вокзале,— провожать его пришло много учителей и школьной молодежи. Все они стояли вокруг отца шумной, тесной толпой, говорили, перебивая друг друга, теплые прощальные слова, а завуч отцовской школы Никитина, седенькая старушка в очках, даже всплакнула, и отец утешал ее и обнимал за плечи.

Сам он был спокоен, говорил шутливо:

— Я же с немцами третий раз встречаюсь. Третий раз не страшно...

Вадиму непривычно и странно было видеть отца в тяжелых солдатских сапогах, со скаткой шинели на плече, в пилотке. И пахло от него незнакомо: грубым сукном, кожей, табаком — он снова начал курить. Вадиму казалось, что отец весь как-то неуловимо и сурово изменился, и хотя они стоят рядом, держась за руки, но отец уже очень далек от него, уже не принадлежит ни ему, ни матери, ни этим многочисленным добрым друзьям. Тот широколицый, рябой паренек в гимнастерке, туго заправленной за пояс, с двумя кубиками на петлицах, который пробежал, хрипло покрикивая: «По вагонам, по вагонам, товарищи!», был теперь во сто раз ближе к отцу, чем все они, вместе взятые.

Прощаясь с Вадимом, отец сказал:

— Главное — крепко верить, сынок. Это самое главное в жизни. Крепко верить — значит, наполовину победить.— И, сильно, по-мужски, сжав руку Вадима, добавил вполголоса: — Мать береги! Ты, брат, глава семьи теперь, опора...

Когда возвращались с вокзала, Вадим первый раз взял маму под руку. С другой стороны Веру Фаддеевну держала под руку старушка Никитина — новый директор школы — и что-то бесконечно рассказывала о своих сыновьях-летчиках, о муже, погибшем еще в гражданскую, о трудностях школьной работы... По привычке школьных учителей она говорила очень подробно, каждую мысль повторяла и разъясняла много раз.

— Мы должны быть вместе, Вера Фаддеевна. Держаться друг друга, помогать друг другу. Мы, женщины, проводившие мужчин на войну, должны взяться за ру-

ки — вот так. Если вам что-нибудь будет нужно, Вера Фаддеевна...

Вадим всю дорогу молчал. Он думал о словах отца: «Ты теперь глава семьи, опора». Значит, он уже не мальчик, отец поручил ему беречь мать. Отец и раньше, уезжая в командировку или на курорт, говорил Вадиму нарочито громким и строгим голосом: «Смотри — маму береги!» Сегодня он это же сказал тихо и назвал маму необычно сурово — мать... Да, теперь начнется для Вадима новая жизнь, полная забот и ответственности. И Вадим раздумывал: когда же и с чего именно начинать ему эту новую жизнь?

А на следующей неделе «глава семьи» тайком от семьи пошел в военкомат и попросился на фронт. Ему отказали, так как у него еще не было паспорта, никто не поверил его словам, что ему уже семнадцать лет. Об этой неудачной попытке он не сказал никому.

Наступил сентябрь. Вадим должен был бы заканчивать в этом году десятый класс. Но занятия все не начинались. Он поступил вместе с Сергеем в молодежную пожарную команду Ленинского района и два месяца трудился день и ночь: ночью стоял на дежурстве, тушил зажигалки, ловил ракетчиков, а днем работал вместе со всей командой на дровяном складе, на разных вокзалах, чаще всего на речном — разгружал баржи с боеприпасами. Спать приходилось то вечером, то утром.

Стоя осенней ночью у чердачного окна в каком-нибудь доме на Полянке или на Коровьем валу, глядя на вспышки зениток в небе и мгновенно возникающие розовые нити трассирующих пуль, Вадим проникался новым ощущением — он был уже опорой не только семьи, но и опорой всей своей улицы, всего района, десятков, сотен семей, невидимо спящих или бодрствующих в кромешном мраке затемненного города. Он отвечал за жизни тысяч людей, за целость их домов. Позже, на фронте, это чувство ответственности еще больше укрепилось в нем, и уже не улица, не город, а вся страна, казалось ему, стояла за его спиной, и он был ее опорой и отвечал за ее судьбу.

В конце октября молодежная команда Ленинского района была расформирована: ребята призывного возраста ушли в армию, а кто помоложе — на военные заводы в Москве. В это время учреждение, где работала Вера Фаддеевна, эвакуировалось в Среднюю Азию и Вадим скрепя сердце уехал вместе с ней в Ташкент.

Вера Фаддеевна была по специальности инженер-зоотехник, она окончила Тимирязевскую академию. В Ташкент ее направили работать главным зоотехником в большой пригородный совхоз в трех километрах от города. Она по неделям не бывала дома — в маленьком домике, сложенном из саманного кирпича, где они жили с Вадимом.

В середине года Вадим поступил в десятый класс, благополучно его закончил и весною получил аттестат, написанный на двух языках — русском и узбекском.

В Ташкенте, шумном, многоязыком, страшно перенаселенном в ту пору и грязно-дождливом — снег там почти не выпадал, а было промозгло и слякотно,— Вадим чувствовал себя неважно. Город сам по себе был неплохой и даже красивый — с живописными базарами, тополями, с выложенными кирпичом арыками вдоль тротуаров. Верблюды с огромными тюками хлопка плелись по улицам, равнодушные к гудкам автомобилей. Трамвай вдруг останавливался на полпути, потому что на рельсы улегся ишак и ни погонщик, ни милиционер не в силах его поднять... Все это было ново и в другое время показалось бы интересным и забавным, но Вадим ничего не замечал как следует и ничему не удивлялся. Самым ярким впечатлением ташкентской жизни были свежие, пахнущие краской полосы «Правды Востока» с фронтовыми сводками.

И хотелось в Москву. Вадим часто видел Москву во сне, просыпался среди ночи — и не узнавал своей низенькой тесной комнаты на окраине Ташкента: в окно глядело незнакомое черное небо с очень крупными, выпученными звездами, сонно кричал ишак, пели лягушки в арыке. Тоска томила неотступно. И не было писем от отца. А в марте пришло извещение о том, что отец погиб.

В Ташкенте уже была весна, пахло цветущим урюком, сварливая речонка Боз-су стала еще злее, пожелтела и вздулась, заливая мостки...

— Я чувствовала...— сказала Вера Фаддеевна шепотом, прижимая скомканный листок к глазам, и беззвучно заплакала, затрясла головой. Вадим обнимал ее, сжав губы, подавляя отчаянные, рвущиеся из горла рыдания. Он должен был молчать. Он был главой семьи, опорой, и уже не временной, а навсегда... Он только сказал угрюмо, подумав вслух о своем:

— Подожди вот... встретятся они мне...

Но «они» встретились с ним не скоро — через два года. Ему шел семнадцатый, и он только летом получил приписное свидетельство. А армия сражалась далеко на северо-западе, за тысячи километров от среднеазиатской столицы...

Вадим поступил на чугунолитейный завод на окраине Ташкента. Сначала работал гвоздильщиком на станочке «Аякс», делал гвозди, болты, потом перешел в литейный цех и стал формовщиком. На заводе были две маленькие вагранки и производились чугунные печки-времянки, небольшие тигли и еще какие-то несущественные предметы. Работа да и сам заводик с двумястами рабочих казались Вадиму слишком мелкими, обидно незначительными. Он решил перейти на один из крупных заводов, которых было много в Ташкенте, как местных, так и эвакуированных с запада. Но эта мечта его не осуществилась, зато осуществилась другая: в мае сорок третьего года Вадима приняли в военное училище, готовившее стрелков-радистов. Он уехал в маленький городок на севере Казахстана.

Училище находилось за городом, и сразу за ним лежали голые пески с редкими колючими кустарниками. В летние месяцы в этих местах стояла нестерпимая жара, а зима была свирепая, с сорокаградусными морозами, снеговыми буранами. Занятия в училище шли ускоренным темпом — двухгодичная подготовка проходилась за шесть месяцев. От раннего утра до позднего вечера учились курсанты трудным солдатским наукам: шагали в песках по страшной азиатской жаре с полной выкладкой, рыли окопы, учились пулеметной стрельбе, вскакивали сонные по тревоге и шли куда-то в ночь, в степь десятикилометровым маршем, причем обязательно в противогазах. И ежедневно по многу часов отрабатывали надоевшую «ти-та-та» — морзянку. Вадим считался лучшим радистом в роте.

В ноябре шестимесячный курс обучения закончился. Весь выпуск направили на формировку. Эшелон остановился на одной из подмосковных станций — это было дачное место, где Вадим отдыхал однажды летом в пионерском лагере. Теперь, зимою, все здесь казалось чужим, впервые увиденным: вокзал, переполненный военными, заколоченные ставни дач, пустые, холодные под снегом поля... И все-таки это было Подмосковье! И где-то совсем близко — Москва!

В первый же день Вадим взял увольнительную и на

пригородном поезде поехал в Москву. Он хотел увидеть маму. Она уже три месяца жила в Москве и работала на прежнем месте — в Наркомземе.

Военная Москва встретила Вадима неприветливым морозным утром. Был час перед первой рабочей сменой — люди спешили, обгоняя друг друга, в метро и на трамвайные остановки, и только военные патрули с красными повязками на рукавах расхаживали по улицам неторопливо и степенно. Витрины магазинов были забиты фанерой, завалены мешками с песком. По Калужской везли огромный серебристый аэростат, он чуть колыхался и был похож на фантастическое животное.

Вадим всю дорогу бежал, боясь, что Вера Фаддеевна уйдет на службу. Телефона в доме не было, его сняли в начале войны. Лифт не работал. Вадим одним духом взлетел на шестой этаж, вбежал в квартиру — и остановился перед замком на двери своей комнаты. Вера Фаддеевна ушла... Он сел на сундук в коридоре, обессиленный, злой, несчастный. Попробовал замок, подергал дверь. Потом выломал фрамугу над дверью и, словно вор, пролез в свою комнату. Там было все по-прежнему: книги на полках, пианино, покрытое вышитой дорожкой, старинные бронзовые часы и его кровать, аккуратно застланная зеленым одеялом. На столе, прикрытая салфеткой, стояла тарелка с сухим ломтем хлеба, головкой лука, яичной скорлупой...

Под лампой на комоде Вадим увидел недописанное письмо: «Здравствуй, дорогой мой мальчик! Однако ты не держишь своего слова — писать раз в неделю. Ты писал, что, возможно, будешь в Москве. Когда примерно тебя ждать...»

На этом же листке бумаги Вадим быстро написал письмо, которое начиналось так:

«Мама! Я уже в Москве, вчера приехал. Видишь, как я заботлив: твое письмо еще не дописано, не отправлено, а ты уже получаешь ответ. И ты еще обижаешься на меня...»

Так он и не повидал Веру Фаддеевну в этот день. Не хватило времени, надо было возвращаться в часть... И только на обратном пути с вокзала Вадим позвонил ей на службу.

— Что? Это кто? Кто говорит? — услыхал он знакомый голос, почему-то очень испуганный.— От Димы?

— Мама, я — Дима! Слушай...

— Кто это? Кто?

— Я — Дима! Я — Дима! — повторял он терпеливо, по привычке радиста.

Вера Фаддеевна переспрашивала, не веря. Она заволновалась, голос ее вдруг ослаб, и разговор получился жалкий, бессвязный, торопливый. Люди, стоявшие у автомата в очереди, стучали гривенниками в стеклянную дверь.

— Береги себя, сын!..

— Хорошо, мама.

— И... пиши! Счастливо...

Она заплакала. А может быть, ему это показалось.

Через несколько дней Вадим в составе новой, только что сформированной части отправился на Второй Украинский — танковым стрелком-радистом.

Вадим попал на фронт в тот великий год, когда сокрушительные удары отбрасывали врага все дальше на запад. Вадим участвовал в разгроме гитлеровцев под Корсунью и в августовском наступлении под Яссами. Стремительный марш на Бухарест и потом через Трансильванские Альпы в Венгрию, битва за Будапешт и кровопролитные бои у озера Балатон, взятие Вены и освобождение Праги — вот путь, который прошел Вадим со своим танком по Европе.

Он оказался счастливчиком — ни разу не был ранен. Только однажды его контузило: под Яссами, летом, во время позиционных боев.

После победы над Германией танковый полк, в котором служил Вадим, перебросили на Дальний Восток. Началась война с Японией — труднейший марш через безводную, сожженную солнцем пустыню и Хинганские горы, бои с самурайскими бандами в Маньчжурии и, наконец, Порт-Артур.

И на Тихом океане
Свой закончили поход...—

пели на набережных Порт-Артура наши моряки, высадившие в городе десант еще до подхода танков.

На краю материка, в городе русской славы, завершила Советская Армия победоносный путь.

Два военных года закалили Вадима, научили его разбираться в людях, научили смелости — быть сильнее своего страха. Они показали ему, на что способен он, Вадим Белов. Кое на что, оказывается, он был способен. В бою под Комарно его танк был подбит и окружен врагами, из экипажа в живых остались двое — Вадим и

тяжело раненный башнёр. Вадим отстреливался до ночи, побросал из люка все гранаты, а ночью вынес башнера из танка и с пистолетом в руках пробился к своим.

Вадим очень окреп физически, вырос, лицо его огрубело, стало таким же широким, большелобым, обветренным, как у отца. На войне он научился многому из того, что было необходимо не только для войны, но и просто для жизни. На войне он увидел свой народ, узнал его стремления и характер и понял, что это его собственный характер, собственные стремления. Он повидал заграницу — не ту, о которой он читал в разных книгах, что была нарисована на красивых почтовых марках и глянцевитых открытках,— он увидел заграницу вживе, потрогал ее на ощупь, подышал ее воздухом. И часто это бывал спертый, нечистый воздух, к которому легкие Вадима не привыкли. Он видел нарядные, белоснежные виллы на берегу озера Балатон и черные, продымленные лачуги на окраине Будапешта; он видел упитанных, багровых от пива венских лавочников и ребятишек с голодными, серыми лицами, просивших у танкистов хлеба; под Пильзеном он видел, как четверо американских солдат избивали огромного старого негра-шофера, а два офицера стояли поодаль и с интересом смотрели; он видел жалких продажных женщин, оборванных рикш на улицах Порт-Артура и потрясающую нищету китайских кварталов в Мукдене.

Да, многое следовало переделать в этих странах, раскорчевать, вспахать, засеять; многому еще предстояло научиться людям, живущим за чертой нашей границы.

В Европе окрепло у Вадима решение стать учителем. Оно созревало исподволь, бессознательно, с того горького дня, когда он узнал о гибели отца. Он, Вадим, должен был заменить отца, продолжить его дело. Во время войны дело отца было — воевать, защищать свою землю. Но вот смолкли пушки — мирная жизнь наступила не сразу, но она была теперь близка, и о ней стоило подумать.

Вадиму нравилось работать с людьми, быть всегда в большом, дружном коллективе — то, к чему он привык в армии. Его глубоко волновала сложная и разнообразная жизнь людских масс, тысячи несхожих меж собой судеб и характеров, могучей волей слитых воедино и порождающих в своем единстве волю титанической силы. Мерный шаг идущей в походном строю колонны до сих пор — на третий год военной службы — вызывал

в нем почти вдохновенный трепет. Он любил хоровые солдатские песни и завидовал запевалам. Он завидовал своему полковому командиру, которому солдаты — и он вместе со всеми — верили беспредельно.

Высшим проявлением человеческого гения, казалось ему, был гений вождей, умение внушать людям волю к высокой цели и вести за собой. И теперь Вадим вспомнил слышанные им в детстве слова отца о воспитании людей — новых людей, борцов за коммунизм. Отец говорил, что это дело, вероятно, самое нелегкое, требующее самого большого упорства, таланта, ума из всех дел человеческих.

Почти год после победы над Японией прослужил Вадим в армии на маленьком, заброшенном в сопках забайкальском разъезде. Его демобилизовали в сорок шестом, и он поехал в Москву с твердым, окончательно сложившимся намерением посвятить свою жизнь учительству.

Первые месяцы студенческой жизни дались нелегко. Пришлось все начинать сначала, вспоминать позабытое, приучаться заново — и к учебникам, которые надо было читать, вникая в каждое слово, да еще конспектировать, и к ежедневным занятиям дома или в библиотеке, и к слушанию лекций, к сосредоточенному вниманию... И все же не учебные трудности были главными трудностями для Вадима. На первой зимней сессии у него была одна тройка — по английскому языку, весеннюю сессию он сдал хорошо, а на втором курсе уже стал отличником.

Трудности другого порядка осаждали его в первые месяцы студенческой жизни. В педагогическом институте, куда поступил Вадим, девушек было значительно больше, чем ребят, а от этой шумной, юношески веселой, насмешливой, острой среды Вадим, надо сказать, здорово отвык в армии. Он и раньше-то, в школьные годы, не отличался особой бойкостью в женском обществе и на школьных вечерах, на именинах и праздниках держался обычно в тени, занимал позицию «углового остряка», чем, кстати, сам о том не догадываясь, он и нравился девочкам. Танцевать он выучился, но не любил это занятие и предпочитал наблюдать за танцующими или — еще охотнее — подпевать вполголоса хоровой песне.

Придя в институт и сразу попав в непривычный для него, шумный от девичьих голосов коллектив, Вадим сначала замкнулся, напустил на себя ненужную сухость и угрюмость и очень страдал от этого фальшивого, им самим созданного положения. Из ребят его курса было несколько фронтовиков, остальные — зеленая молодежь, вчерашние десятиклассники. Но Вадим завидовал этим юнцам — завидовал той легкости, с какой они разговаривали, шутили и дружили с девушками, непринужденной и веселой развязности их манер, их остроумию, осведомленности по разным вопросам спорта, искусства и литературы (Вадим от всего этого сильно отстал) и даже — он со стыдом признавался в этом себе — их модным галстукам и прическам. Вадим целый год проходил в гимнастерке и только ко второму курсу сшил себе костюм и купил зимнее пальто. И стригся он все еще под добрый, старый «полубокс» и никак не решался на современную «польку».

Первый год в институте был годом присматривания, привыкания к новой жизни, был годом медленных сдвигов, трудных и незаметных побед и — главное, главное! — был годом радостного, несмотря ни на что, и жадного наслаждения миром, работой, ощущением верно начатого, основного для жизни дела. Иногда на лекции, в читальне или вечером дома за письменным столом, где он читал газету или перелистывал книгу, а Вера Фаддеевна, усталая после работы, дремала на диване, и у соседей тихо играло радио, и с улицы доносились гудки машин и детские голоса,— внезапно охватывало Вадима ощущение неподдельного, глубочайшего счастья. Ведь как он мечтал сначала в эвакуации, а потом в армии об этом мирном рабочем столе, о книгах, о тишине лекционного зала — обо всем том, что стало теперь повседневной реальностью и буднями его жизни!

Уже ко второму курсу это ощущение полноты достигнутого счастья сбывшейся мечты стало тускнеть, пропадать и, наконец, забылось. И об этом не следовало жалеть. Новая жизнь пришла с новыми заботами, устремлениями, надеждами. Зато исчезли постепенно и всяческие помехи и затруднения первых дней (над ними можно было теперь посмеяться), все эти ложные страхи, вспышки копеечного самолюбия, неуклюжая замкнутость и угловатость — все вошло в норму, уравнялось, утопталось, и жизнь потекла свободнее, легче и, странное дело, быстрее.

Вадим по-настоящему стал студентом только на втором курсе — до этого он все еще был демобилизованный фронтовик. Он прочно и накрепко вошел в коллектив и одинаково легко дружил теперь со своими ровесниками и с теми не нюхавшими пороха юнцами, на которых он когда-то косился и отчего-то им втайне завидовал. Студенческая жизнь с общими для всех интересами уравняла и сблизила самых разных людей и укрепила их дружбой. Вот когда стало легко учиться. Несравнимо легче, чем в первые дни и месяцы. И появился подлинный вкус к учебе, и уже рождалась любовь к своему институту.

Теперь лучшими минутами, которые проводил Вадим в институте, были не одинокие вечерние занятия в читальне (как ему казалось прежде), а шумные собрания в клубном зале, или веселые субботние вечера, или жаркие споры в аудиториях, которые продолжались потом в коридорах и во дворе. Лучшие минуты были те, когда он бывал не один.

Во многом помог ему Сергей Палавин. Вадиму повезло, он пришел в институт вместе с другом,— Сергею не удалось поступить в университет, и он решил, чтобы не терять года, пойти в педагогический.

Сережка был человеком совсем иного склада. Никаких трудностей, кроме обычных экзаменационных, для него не существовало. Он сразу, удивительно легко и естественно включился в студенческую жизнь, быстро завязал знакомство с ребятами, сумел понравиться преподавателям, а с девушками держался по-дружески беспечно и чуть-чуть снисходительно и уже многим из них, вероятно, вскружил голову.

Вадим гордился тем, что у него такой блестящий, удачливый друг. В присутствии Сергея он чувствовал себя увереннеи, на лекциях старался садиться с ним рядом и первое время почти не отходил от него в коридорах. А Сергей, наоборот, стремился как можно быстрее перезнакомиться со всеми окружающими: с одними он заговаривал о спорте, с другими авторитетно рассуждал о проблемах языкознания, третьим — юнцам — рассказывал какой-нибудь необычайный фронтовой эпизод, девушкам улыбался, с кем-то шутил мимоходом, кому-то предлагал закурить... Вадим поражался этой способности Сергея мгновенно ориентироваться в любой, самой незнакомой компании.

— У тебя, Сережка, просто талант какой-то! — ис-

кренне говорил он другу.— Как ты скоро с людьми сходишься!

— Ну, брат!..— самодовольно усмехался Сергей.— Я же психолог, человека насквозь вижу. А сходиться с людьми, кстати, проще простого... Расходиться вот трудновато.

Сергей часто бывал у Вадима дома, они вместе ходили в кино, на выставки, иногда даже вместе готовились к экзаменам и семинарам, но это бывало редко: Вадим не любил заниматься вдвоем. По существу, у Вадима, когда он вернулся из армии, были лишь два близких человека: мать и Сережка Палавин. Из старых школьных друзей в Москве никого почти не осталось, а с теми, которые и были в Москве, встречаться удавалось редко.

Веру Фаддеевну Вадим нашел очень изменившейся — она постарела, стала совсем седая. Работала она помногу, как и прежде, уходила рано утром, приходила поздно. Часто уезжала в далекие командировки — в поволжские колхозы, в Сибирь, на Алтай. Часто приезжали в Москву ее знакомые по работе, зоотехники и животноводы из тех краев, и останавливались на день-два в их квартире. В большинстве это были люди немолодые, но здоровые, загорелые, простодушно-веселые и очень занятые. Все приезжали с подарками: кто привозил арбузы, кто мед, а один ветеринар из Казахстана привез как-то целый бараний окорок. Днем они бегали по своим делам, приходили поздно вечером усталые и голодные и, вместо того чтобы сразу после ужина устраиваться на диване спать, обычно заводили с Верой Фаддеевной разговоры до полуночи — о ремонте телятников, травосеянии, о настригах, привесах, удоях... Потом они уезжали, обязательно приодевшись в столице, и если не в новом пальто, то в новом галстуке, с чемоданом московских покупок и гостинцев. И вскоре приходила телеграмма: «Доехал благополучно привет сыну ждем гости».

С матерью у Вадима давно уже установились отношения простые и дружескис. Вера Фаддеевна и в детстве не баловала сына чрезмерной лаской, не сюсюкала и не тряслась над ним, как это делают многие «любящие» матери. С юношеского возраста он привык считать себя — потому что так считала Вера Фаддеевна — самостоятельным человеком...

Так в работе, постепенной и упорной, проходили

дни Вадима. Вначале, на первом курсе, он занимался, пожалуй, больше, усидчивей и азартней, чем впоследствии, когда студенческая жизнь вошла в привычку и он научился экономить часы и понял, что на свете, кроме конспектов и семинаров, есть еще множество прекрасных вещей, которым тоже следует уделять время.

И вот окончился второй курс. Полдороги осталось за плечами, а то, что предстояло, казалось уже нестрашным, не пугало ни трудностя́ми, ни новизной.

И на рубеже третьего курса, в эту пору студенческой зрелости, пришла вдруг к Вадиму любовь. Была она неожиданной и несколько запоздалой — первая любовь в его жизни, и потому много в ней было странностей и несуразностей, и трудно было разобраться Вадиму, что в ней — горечь и что — счастье...

ГЛАВА 3

Вадим барабанил в дверь. Долго не открывали, наконец зашлепали в глубине коридора войлочные туфли: это Аркадий Львович, сосед,— как медленно!

— Что вы грохочете, Вадим? Пожар?

— Я опаздываю в театр! — радостным и прерывающимся от бега голосом проговорил Вадим.— Через сорок минут. А мне еще надо к Смоленской площади. Представляете?

— Заприте дверь как следует,— сказал Аркадий Львович, удаляясь. Однако у дверей своей комнаты он остановился и спросил с интересом: — Как вы думаете ехать на Смоленскую площадь?

Аркадий Львович был поклонником всяческой рационализации и особенно в области транспорта. У него всегда были какие-то оригинальные идеи на этот счет и целая система самых быстрых и экономичных маршрутов в разные концы города, которую он пропагандировал. Зная эту страсть Аркадия Львовича, Вадим ответил отрывисто и категорично, чтобы сразу кончить разговор:

— На метро.

— На метро? — изумленно произнес Аркадий Львович.— Вы с ума сошли! Я вам укажу чудесное сообщение: вы едете до Калужской на любом, идете через площадь...

— На метро, на метро!..— сказал Вадим, скрываясь в своей комнате.

Но Аркадий Львович продолжал настойчиво советовать за дверью:

— Вадим! Вы бежите к Парку культуры, это две минуты, вскакиваете на десятку или «Б»...— дверь отворилась, и в комнату просунулась голова Аркадия Львовича, в очках, с черной шелковой шапочкой на бритом черепе.— Послушайте: ровно семнадцать минут...

— Не хочу слушать, я опаздываю! Скажите точно: который час?

— Вы просто безграмотный москвич! — воскликнул Аркадий Львович, рассердившись, и захлопнул дверь. Потом он вновь заглянул в комнату и таким же разгневанным голосом крикнул: — Без двадцати семь!

На письменном столе Вадим увидел записку: «Задержусь на работе, собрание. Если очень голоден, обедай без меня. Чайник с кипятком под подушкой. Мама».

Хотя он с завтрака ничего не ел, сейчас даже думать о еде не хотелось. Это было странно похоже на приподнятое нервное состояние перед экзаменами. И главное — он опаздывал!

«Какую надеть рубашку: голубую или в полоску, с пристежным воротничком? — напряженно думал Вадим, расставляя на столе бритвенный прибор.— Голубую, конечно! С воротником закопаешься, эти запонки... А где же билет?»

В десятый раз он пугался, что потерял билет, и шарил по всем карманам.

Вадим с минуту разглядывал в зеркале свое лицо — разгоряченное, с красными от мороза носом и щеками и бледными скулами. Темно-русые волосы, примятые над лбом шапкой, торчат с боков жесткими густыми вихрами — какой шутовской вид! Надо как-то пригладить их, смочить...

Когда он намыливал щеки, пришел Сергей.

— О-о! «Надев мужской наряд, богиня едет в маскарад»? Я, кажется, не вовремя,— сказал Сергей, останавливаясь на пороге.

— Ничего, проходи! Раздевайся,— сказал Вадим, не отрываясь от зеркала.— Я ухожу в театр. Через десять минут.

— С Леночкой Медовской?

— Да, да.

Вадим произнес это «да, да» так равнодушно и будто бы механически, словно это было нечто само собой разумеющееся, хотя на самом деле вопрос Сергея несколько удивил его: «Откуда он знает?»

— Да-с, с Леночкой Медовской,— повторил он с той же напускной рассеянностью.— А кстати, как ты угадал?

— А Лена вчера говорила кому-то в институте, что ты рыцарски преподнес ей билет. Я случайно услышал.

— Даже рыцарски?

— Да, но вся грусть в том, что я совсем забыл об этом и пришел к тебе по делу. Обидно.

— Какое дело? Надолго?

— Десять минут, конечно, не устроят. Ну ладно...— Сергей вздохнул и стал снимать пальто. Потом он сел в кресло рядом с Вадимом и вынул из кармана какую-то свернутую толстую рукопись.— Это реферат Нины Фокиной о повестях Пановой. Я ведь назначен оппонентом и должен на той неделе выступать в НСО. А реферат тусклый, ой какой тусклый! Ругать буду.

— Тусклый? Странно. Ведь Нина девица серьезная, «умнеющая», как выражается Иван Антоныч...

— Да что — серьезная! Слушай, она взяла свое сообщение, какое мы все делали на семинарах советской литературы, слегка расширила его и преподносит в виде научной работы. Где тут серьезность? Общие места, фразеология, ни одной своей мысли... А ведь НСО — это как-никак научное общество, пусть студенческое, но научное! Что ни говори, а такими работами смазывается вся идея НСО. Чем оно отличается тогда от наших бесконечных семинаров и коллоквиумов? Ничем! Ты не согласен?

— Н-да... конечно,— ответил Вадим. Он слушал Сергея внимательно, потому что порезал щеку и теперь всячески старался остановить кровь и как-то сделать порез незаметным.

— Я хотел тебе прочитать кое-что из этого «научного» труда и посоветоваться. Ну, услышишь сам на обществе... Выступать я буду резко. И вообще все это навело меня на очень мрачные размышления.

— Что, о бренности всего живого?

— Хуже,— Сергей серьезно покачал головой.— На мне ведь тоже висит реферат, а я и не брался. И никакого желания нет. Стимула нет.

— Это действительно хуже.

— Не шути, Вадим. А я начинаю сомневаться — стоит ли дальше тянуть эту резину? Ты уверен в том, что наше общество на самом деле научное?

— Мы должны его сделать таким,— сказал Вадим.— Все зависит от нас.

Сергей иронически усмехнулся.

— Ты отвечаешь, как на пресс-конференции. По-моему, научное общество должно как-то обогащать науку, а это пока не в наших силах. Мы пересказываем друг другу давно известные науке вещи. Одни пересказывают более грамотно, другие менее грамотно, вот и все. Получается «Дом пионеров».

— И ты, что же...— сказал Вадим, хватая полотенце и мыло и стремительно направляясь в ванную,— собираешься уйти из общества?

Когда он вернулся из ванной, влажно-раскрасневшийся и взлохмаченный, Сергей ответил:

— Уходить я пока не собираюсь, но считаю, что надо как-то преобразовать все дело. А вот реферат, если я его буду писать, я постараюсь написать по-другому. Это будет совсем не то. И потребует времени.

— Ну, дай бог. Сережка, точно — который час?

— Без семи семь... Нет, ты ответь мне: я прав?

— В общем — да. Работа, конечно, идет не блестяще,— торопливо сказал Вадим.— Ох, я опаздываю! Она уйдет без меня...

— Может быть, дело в том,— сказал Сергей,— что в общество записалось много лишних людей? Надо оставить только тех, кто хочет и кто может работать серьезно, а всю бездарную шушеру, весь балласт отсеять безжалостно. Конечно, будут шум, вопли, но это необходимо для пользы дела. Не все же способны к научной работе, в конце концов.

— Да, да... Кинь-ка мне галстук! Лежит под словарем!

Сергей подал ему галстук и безнадежно махнул рукой.

— Нет, ты сейчас невменяем. С тобой невозможно говорить.

— Ничего подобного! Я слушаю очень внимательно,— возразил Вадим.— И, например, не согласен: как ты можешь определить сейчас, кто шушера, а кто не шушера? НСО существует только полтора месяца, многие еще никак себя не проявили.

— Вот это и плохо. Ну ладно, поговорим завтра, а то ты трясешься от страха, что опоздаешь на минуту. Если б ты так трясся, чтоб на лекцию не опоздать...

— Чудак, она же уйдет без меня!

Вадим быстро надел костюм и причесался перед зеркалом.

— Ну, как я парень — ничего? — спросил он, зачем-то встав к зеркалу боком.

— Ничего, ничего. Вполне.

— А галстук как? Ничего?

— И галстук ничего. Только никогда не застегивай пиджак донизу.— Сергей подошел к нему и расстегнул нижнюю пуговицу.— Однобортный пиджак застегивается на одну среднюю.

Они оделись и вышли на улицу. Вадим вдруг вспомнил, что забыл взять платок, и Сергей дал ему свой — шелковый, в ярко-зеленую и коричневую клетку.

— Ну, всех благ! — сказал Сергей, подмигивая.— Передай Леночке привет от меня.

Лена Медовская училась в одной группе с Вадимом. До третьего курса Вадим как-то не замечал ее, вернее — он относился к Лене так же, как и к остальным двадцати трем девушкам своей группы.

Но однажды осенним днем он понял, что это было ошибкой. Это случилось совсем недавно, в начале года. И ему самому еще было неясно, что произошло: то ли изменилась после летних каникул Лена, то ли он сам стал другим. А может быть, его надоумили ребята с чужих факультетов, его знакомые,— так тоже бывает.

Они часто спрашивали его, отведя в сторону: «Что это у вас за дивчина в группе — кудрявая такая, все время смеется?» Он догадывался: «А-а, Леночка? Есть такая! — и шутливо предлагал: — Хочешь познакомлю? Чудесная девочка, веселая, поет замечательно». Потом он стал сдержанней: «Это Лена Медовская. Между прочим, неплохая девушка». И совсем равнодушно в последнее время: «Кто? А, это отличница наша, Медовская, член редколлегии».

С театром все получилось неожиданно. На прошлой неделе Лена и Вадим оставались делать курсовую стенгазету — Вадим был главным художником газеты, а Лена возглавляла сектор культуры и искусства. Одна из девушек рассказывала о спектакле, который она недавно видела в театре оперетты.

— Я так смеялась, девчата, просто безумно! И все

время боялась, что завтра буду целый день плакать. И не плакала — удивительно, правда?

Редактор газеты Максим Вилькин, или попросту Мак, худой остролицый парень в очках с толстыми стеклами, всегда ходивший в синем лыжном костюме, поднял от стола кудрявую голову.

— В таком случае Лена хитрее всех нас. Она смеется целыми днями — ей просто некогда плакать.

— Что ты, Мак?! — воскликнула Лена со смехом.— А над твоими остротами? Это же чистые слезы! Ох, мальчики, плохо острить вы умеете, а никто вот не догадается купить билет в театр, пригласить своих — ну, скажем, подруг по учебе. А? Вы не бледнейте, это можно в календарный план внести как культмассовую работу. И для отчета пригодится.

— А мы не бледнеем,— сказал Вадим, который, лежа на полу, рисовал карикатуру.— Вот возьмем да и купим!

— А вот слабо́!

Спустя мгновение Вадим поднял голову и увидел, что Лена смотрит на него. Он задержал свой взгляд в ее глазах — ясно-карих и как-то серьезно поддразнивающих — немного дольше, чем этого требовала шутка. И усмехнулся своему внезапному решению.

На следующий день в городской кассе Вадим купил два билета на ту самую вещь, о которой говорили.

— Вот твой билет. На субботу,— сказал Вадим на другой день, подойдя к ней в коридоре института.

Лена ничуть не удивилась.

— Серьезно? Вот молодец! — Она даже рассмеялась от удовольствия.— Сколько я тебе должна?

— Ничего, пустяки.

— Какие пустяки? Ты покупал билеты?

— Нет, ну... Ничего ты мне не должна.

Лена решительно качнула головой и протянула билет обратно:

— Тогда я не пойду. Новости еще!

— Ну хорошо...— Вадим вдруг смутился. Он подумал, что, может быть, надо уменьшить цену, но потом решил, что это будет вовсе глупо.— Билет стоит восемнадцать рублей. Я думал, что лучше поближе...

— Чудесно! Я тебе отдам в стипендию — согласен?

Ну конечно, он был согласен!

— Я так рада, Вадим,— сказала Лена улыбаясь.— Правда! Я давно не видела ничего веселого.

...И вот он стоит, запыхавшийся и не очень смелый,

с только что зажженной папиросой в зубах, перед знакомой дверью. Он был у Лены однажды по делам стенгазеты. Но тогда... Тогда-то он ни о чем не думал и трезвонил в квартиру, как к себе домой.

Ему открыла мать Лены, Альбина Трофимовна, миловидная и еще не старая женщина с белокурыми косами, уложенными вокруг головы короной,— эта прическа еще более молодила ее,— и с очень черными ресницами.

— Здравствуйте, здравствуйте! — сказала она, приветливо улыбаясь.— Снимайте пальто, Вадим, проходите. А Леночка только встала, спала после обеда.

— Как? Она еще не готова?

— Не беспокойтесь, Леночка умеет очень быстро собираться. Не в пример другим девушкам.

Пока Лена с помощью Альбины Трофимовны одевалась в своей комнате, Вадим сидел на диване в столовой и перелистывал свежий номер «Огонька» — не читалось. Он отложил журнал. Он был взволнован — но вовсе не тем, что грозило опоздание в театр и надо бы, наверное, уже ехать в метро, а Лена все еще наряжалась... Нет, он и думать забыл о часах. Пристально и внимательно оглядывал он эту комнату с нежно-сиреневыми обоями и легким, как облако, розовым абажуром над столом, тяжелый буфет, пианино, на котором выстроилась целая армия безделушек и лежала заложенная ленточкой книжка в старомодном, с мраморными прожилками, переплете — Вадим издали прочитал: Данилевский. «Наверное, Альбина Трофимовна увлекается,— подумал он,— Лена говорила, что ее мать очень много читает и особенно любит историческое». И Вадиму почему-то понравилось то, что Альбина Трофимовна увлекается Данилевским (хотя узнал бы он это о своей матери — наверно бы посмеялся), и вообще она показалась ему приятной, образованной женщиной и очень красивой — похожей на Лену.

Все в этой комнате, до последней мелочи, казалось Вадиму необычайным, исполненным особого и сокровенного смысла. Ведь здесь живет Лена, здесь она завтракает по утрам, торопясь в институт и поглядывая на эти часы в круглом ореховом футляре, и вечером сидит за чаем, и лицо ее — смугло-розовое от абажура, здесь она играет на пианино, читает, забравшись с ногами на диван — вот так же сидит она в институте на подоконнике, поджав ногу... И Вадиму никуда вдруг не захоте-

лось уходить отсюда — зачем этот глупый театр, что в нем? — он с радостью отдал бы оба билета Альбине Трофимовне, лишь бы остаться здесь, побыть хоть немного с Леной вдвоем.

В это время из соседней комнаты раздался веселый, повелительный голос Лены:

— Вадим! Можешь войти!

Он взглянул на часы — прошло пятнадцать минут, на первое действие они безусловно опоздали.

Лена стояла перед зеркалом в длинном темно-зеленом платье, оттенявшем нежную смуглость ее обнаженных рук и открытой шеи. Она казалась в нем выше, стройнее, женственней. Вадим, удивленный, остановился в дверях — он и не знал, что она такая красивая.

— Вадим, скорее советуй! Что лучше: эта брошка или ожерелье? — Она повернулась к нему, приложив к груди круглую гранатовую брошь, и кокетливо склонила голову набок.— Ну, хорошо?

Глядя не на брошку, а на ее светлое и радостное лицо, Вадим сказал убежденно:

— Хорошо, очень хорошо, но первое действие погибло.

— Так я же давно готова! — воскликнула Лена, беря с подзеркальника флакон духов и капая себе на ладонь. Она быстро провела ладонью по груди, потом капнула еще и так же быстро пошлепала себя за ушами.— За ушами дольше держится, знай,— объяснила она деловито.— Тебя подушить?

— Нет, не люблю.

Наконец они оделись, попрощались с Альбиной Трофимовной и вышли на улицу. К подъезду вдруг подкатила «Победа», остановилась, и из машины быстро вышел человек в широком черном пальто и в шляпе. Лена подбежала к нему.

— Папка! Можно нам доехать до Маяковской? Мы опаздываем в театр, а это Вадим Белов из нашей группы, познакомься!

Человек в шляпе молча пожал руку Вадиму и сказал без особого сочувствия:

— Опаздываете в театр? Это неприятно... Я не знаю, спросите у Николая Федоровича, если он согласится, пожалуйста. Если у него есть время.

Вадим как будто почувствовал в его тоне сдержанное неодобрение, и ему показалось даже, что Медовский поздоровался с ним не слишком дружелюбно. Лена

принялась уговаривать шофера, называя его «Коленькой» и «голубчиком», и дело решилось в две секунды.

Они быстро сели на заднее сиденье. Вадим захлопнул дверцу, и машина понеслась. Замелькали освещенные окна, фонари, неразличимые лица прохожих... На повороте их качнуло, и Лена на мгновение прижалась к Вадиму и вскрикнула, засмеявшись: «Ой, Коленька, осторожней!» А Вадиму хотелось сказать, чтобы Коленька только так и ездил и как можно дольше не подъезжал к театру.

Через несколько минут машина остановилась перед театром, и Вадим и Лена с третьим звонком влетели в зрительный зал.

И вот они уже сидят в партере, близко от сцены. Занавес еще не поднят. В зале шум, скрип кресел, шмелиное гудение разговоров — все это понемногу стихает. Касаясь плечом Вадима, Лена разглядывает в бинокль ложи.

— Знаешь, я люблю смотреть на людей в театре,— говорит она вполголоса,— и угадывать: кто они такие, как живут? Это очень занятно... Правда? Вот, например...— Не опуская бинокля, Лена придвинулась к Вадиму и заговорила таинственно: — Вон сидит молодой парень... рабочий, наверно... Это его премировали билетом, да? Потому что он один... А вон студентки болтают, справа — видишь? Обсуждают кого-нибудь из своей группы. Вроде нас, мы тоже — соберемся и давай обсуждать... Наверно, с биофака МГУ, у них там все в очках.

Люди из переднего ряда стали оборачиваться на Лену, одни с любопытством, другие осуждающе. Но все, кто оглядывался на нее, не сразу отводили глаза — мужчины особенно долго и внимательно смотрели ей в лицо, а женщины изучали главным образом платье. Лена точно не замечала всех этих взглядов, а Вадим испытывал чувство некоторой неловкости и одновременно гордости. Ему было приятно сидеть рядом с этой красивой девушкой, на которую все обращают внимание.

— Фантазерка ты,— сказал он, кашлянув в ладонь.— На тебя уже солидная публика оглядывается.

— Почему, кто? Ну и пусть! — сказала Лена беспечно и заговорила громче: — Знаешь, я хотела бы иметь много-много друзей, как в этом зале. И от всех получать письма...

Она не договорила, потому что потух свет и стал

подниматься занавес. В оркестре что-то зазвякало и зашипело — очевидно, изображался поезд, потому что сцена представляла собой вокзал. Лена докончила шепотом:

— ...получать письма, ездить к ним в гости. И встречать их в Москве на вокзале... Я так люблю встречать!

Вадим взял руку Лены и сжал ее в тонком запястье.

— Вадим! Что это значит? — спросила Лена строго и довольно громко.

В переднем ряду зашикали. Вадим пробормотал, смутившись и радуясь темноте:

— Я, просто... надо уже смотреть...

На сцене произошло что-то смешное — в зале смеялись, на балконе кто-то даже аплодировал. Вадим не понял, в чем дело, и все первое действие он понимал плохо, потому что смотрел на сцену, а думал о другом. Там кричал и суетился какой-то толстячок в узеньких штанах, каждое его слово зал встречал хохотом. Два красавца — один усатый, а другой с бакенбардами — ухаживали за высокой блондинкой с гордым лицом.

— Ведь она же старуха! Это не ее роль! — прошептала Лена.— Какие у нее костлявые руки, смотреть противно!

Вадим кивнул, хотя блондинка вовсе не казалась ему старухой,— наоборот, она казалась ему изящной, очаровательной женщиной. Потом он понял, что по-настоящему любит ее только бедный юноша, аптекарь, который стоял все время в стороне и молчал. В пьесе было много смешного, но Вадим все никак не мог сосредоточиться и понять, над чем смеются. Он в смятении думал о том, каким тупицей, должно быть, он выглядит со стороны. Лена хватала его за руку от смеха. На глазах ее были слезы. Она вытирала их платочком, а потом вдруг начинала махать им, обдавая Вадима нежной волной духов.

И Вадим был занят тем, что вовремя подставлял Лене руку. Только один раз он расхохотался довольно удачно, но как раз в этот момент зал вдруг затих.

Ему было жарко. Душно пахло деревом декораций и густой смесью разных духов, витавших над залом. Когда окончилось действие, они пошли в буфет, и Вадим купил два пирожных и бутылку фруктовой воды. Лена, веселая, улыбающаяся, напевала только что услышанные мелодии и спрашивала оживленно:

— А как тебе сцена на перроне понравилась? А как полковник — правда, хорош?..

Потом они ходили по фойе и рассматривали фотографии артистов. Лена знала почти всех — кто когда начал, где играл прежде, кого в чем надо смотреть. Вадим был позорно малосведущ в этой области и почувствовал облегчение, когда зазвенел звонок.

В последних действиях Вадим уловил несложный водевильный сюжетец пьесы. Оба красавца строили коварные планы против блондинки. Она ничего не подозревала и любила одного из обманщиков — с бакенбардами. Толстяк в узеньких штанах, ее отец, тоже был слеп и — добрый, смешной человечек! — любил обманщиков, как детей. Но вот все раскрылось! Старик разорен, дочь обманута.

Вадим смотрел на сцену, следил за действиями героев, но у него было такое чувство, словно все это он видит во сне; и люди на сцене — из сна, воздушные, ненастоящие, и он сочувствует им и горячо их любит не за их нелепые, смешные страдания и вымышленную любовь, а за то, что они каким-то необъяснимым образом изображают его собственные чувства, которые переполняли его теперь. Он смотрел на блондинку с гордым лицом, и она казалась ему прекрасной, потому что на ее месте он видел Лену. И когда бедный одинокий аптекарь ушел ночью от любимой, которая не поверила ему и прогнала прочь, Вадим вдруг почувствовал, что к горлу его подкатил теплый ком и в глазах зарябило.

Но конец был счастливым, и снова толстячок всех смешил, и Вадим смеялся вместе со всеми.

Его только угнетала мысль, что после всего этого яркого и веселого он сразу покажется Лене очень скучным, будничным. О чем они будут говорить?

Когда все кончилось, как обычно, вызывали артистов, но Вадим уже потерял всякий интерес к ним. Он покорно стоял в проходе и хлопал, безучастно глядя на артистов, которые со страшно озабоченными лицами убегали со сцены и тут же возвращались, скромно и сладостно улыбаясь.

— А все же пустая вещица,— сказала Лена, когда они вышли на улицу.— Сегодня смеялись, а завтра и не вспомнят над чем. И музыка средняя.

— Да,— согласился Вадим.— В общем чепуха.

Он поехал на метро проводить Лену. Оба долго молчали.

— Вот так всегда, пересмеешься, а потом грустно отчего-то...— сказала Лена, зевнув.

У нее был усталый вид, и она то и дело закрывала глаза, покачиваясь на мягком сиденье. Вадим искоса поглядывал на нее. Она казалась ему еще красивее теперь — побледневшая, с длинными тяжелыми ресницами. Когда они вышли на площадь, Вадим сказал фразу, которую долго обдумывал в метро:

— Мы должны пойти с тобой на что-нибудь серьезное.

— Да,— Лена кивнула и переспросила: — Что?

— Я говорю: нам надо пойти на что-нибудь серьезное. В МХАТ, в Малый...

— А-а... Да, только времени теперь не будет. Коллоквиумы начались. У нас в понедельник Козельский?

Вадим кивнул.

— Я его так боюсь! Он придирается ужасно. И вообще он смотрит на нас свысока — ты заметил? Как на героев посредственного писателя. Лагоденко до сих пор ему не сдал?

— Нет.

— Вот видишь! Я так боюсь...

— А ты не бойся. Он к девушкам не придирается.

Снова замолчали.

— Ты, Вадим, странный стал на третьем курсе,— сказала вдруг Лена,— раньше такой простой был, всегда шутил. А теперь каким-то молчальником стал. И со мной держишься как новичок. Что с тобой, а?

— Это тебе кажется.

— Да нет! И Сережа заметил, мы с ним как-то говорили... А уж он-то тебя знает, слава богу!

Вадим не ответил. Он с тревогой и удивлением убеждался в том, что не находит слов для продолжения разговора. И вообще не находит слов — какая-то неуверенность, робость сковывала его движения, мысли, слова. Молча он злился, называя себя мальчишкой, но преодолеть это дурное и раздражавшее его состояние не находил в себе сил.

— Да, Сергей тоже это заметил,— повторила Лена.— Он даже высказал одно предположение... конечно, глупое...

Лена умолкла, закусив губы, как будто в замешательстве, но Вадим чувствовал, что она умолкла намеренно, ожидая, что он заговорит на эту тему или по крайней мере спросит: что за предположение высказал Сергей?

Однако Вадим сказал:

— Кстати, тебе привет от него. Он заходил сегодня ко мне.

— Спасибо... Он часто к тебе заходит? Вы, кажется, друзья детства?

— Да, еще со школы.

— Как хорошо — учиться вместе в школе, потом в институте, потом работать вместе! Он, наверное, настоящий твой друг,— сказала Лена задумчиво.

— Сережка? Еще бы! Конечно, настоящий! — Вадим почувствовал неожиданное облегчение и прилив энергии, он заговорил горячо: — Знаешь, мы с ним встретились два с половиной года назад как раз возле этого театра, где мы были сегодня. В тот день я только что приехал в Москву, бродил по городу, и вот мы встретились. Совершенно случайно — понимаешь?

— Представляю, как вы обрадовались!

— Мало сказать — обрадовались! Ошалели! От неожиданности, радости, от всего этого...— Вадим засмеялся, покачал головой.— Вообще тот день мне запомнился на всю жизнь... Сергей хотел поступать в МГУ, на филологический.

— Я знаю.

— Да, туда он не попал и, чтобы не терять год, решил идти вместе со мной. Он очень способный человек! Он будет большим ученым, я абсолютно в этом уверен. Ты знаешь, какая у него память! Он может прочесть один раз хронологический список в нашем учебнике по всеобщей истории — и сразу повторить его наизусть! Представляешь? Серьезно! Ведь два языка он знает в совершенстве, а сейчас изучает третий — французский. Язык для него пустяки...

— Правда? — с интересом спросила Лена.— Какой молодец...

— Да, да. И потом он вообще талантлив — он и стихи пишет, а в школе писал и прозу — рассказы. И очень удачно. Ты читала его стихи в стенгазете?

— Читала, мне понравились. Насчет Уолл-стрита?

— Да, политические. Но у него есть и лирика. И потом Сергей технически образован, он работал во время войны техником по инструменту. В научном институте — это не шутка! Недаром ему два года броню давали. Нет, Сережка определенно талантлив, и многосторонне. Он и спортсмен...

Вадим долго и с искренним увлечением говорил о Сергее. Он превозносил его начитанность, остроумие,

знание наук и искусств, его характер и практический ум, и хотя сам Вадим уже начинал понимать, что берет лишку, и тревожно предчувствовал в этом разговоре смутную опасность для себя, он почему-то не мог остановиться. И продолжал, доставляя себе странное удовольствие, наделять друга все новыми качествами и добродетелями.

Лена слушала его очень внимательно.

— Я где-то читала, что русский человек, если ему нечем похвалиться, начинает хвалиться своими друзьями,— вдруг сказала она, улыбнувшись,— я шучу, конечно! А в детстве вы так же дружили?

— Ну еще бы! У нас была масса историй, приключений. Мы ходили с ним в туристические походы, лазили по пещерам, один раз чуть не заблудились в старых каменоломнях, вообще... Много было всего!

— А я в детстве любила дружить с ребятами, у меня все друзья были мальчишки. А девчачьи игры, всякие сплетни, пересуды, эти «дочки-матери», «молву» я прямо терпеть не могла!

— Это, кстати, все девушки говорят,— сказал Вадим.

— Почему ты так думаешь? Наоборот, другие очень любят...

Лена обиженно умолкла. Они уже долго шли по широкой, пустынной в этот час улице, которая блестела под фонарями тускло, как заледеневшая река. К вечеру ударил морозец, на тротуарах образовалась гололедь, и идти было скользко. Вадим вел Лену под руку.

— А у Сергея, между прочим, красивое лицо. Тонкое,— сказала Лена,— хотя для мужчины это не главное.

Вадим усмехнулся:

— Спасибо. Ты великодушна.

— Вадим, ты начинаешь говорить глупости! — строго сказала Лена.

Они вошли в переулок и остановились перед двухэтажным домом. В окне за оранжевым тюлем горел свет.

— Ну, вот и пришли! Мама не спит, ждет меня.

Они стояли у подъезда — Лена на ступеньке, он внизу. Ее лицо неясно светлело в темноте, и пепельно-русые волосы, выбившиеся из-под шапочки, казались совсем черными. Вадим словно ждал чего-то. И как в дремоте — не мог ни шагнуть к ней, ни уйти...

— Я очень рада, что мы пошли с тобой,— сказала Лена тихо и протянула ему руку.

— Пошли или пришли?

Лена не ответила и покачала головой. Она улыбалась. Вадим не различал ее улыбки, но чувствовал, что она улыбается, и даже знал как: верхняя губа чуть вздернута, зубы тонко белеют, и среди них один маленький серый зуб впереди.

— Правда, Вадим, очень...— Она сказала это совсем тихо.

Он все еще держал ее руку в своей. И так они стояли — на одно мгновение потонувшие в бездонной ночной тиши переулка.

— А что для мужчины главное? — пробормотал Вадим и вдруг обнял Лену за плечи, с силой привлек к себе. Она прижалась к нему на секунду, пряча лицо, но сразу уперлась ладонями в его грудь и откинула голову.

— Нет, это тоже не главное, пусти! — быстро прошептала она.— Не надо, Вадим! Мы же друзья, правда?

— Конечно, друзья, Леночка...

— Ну вот, а это... это другое. И так не бывает, нельзя, понимаешь? — Она говорила все это шепотом и так мягко и убеждающе, словно разъясняла что-то ребенку.— Это не бывает так просто, сразу...

— Почему же сразу? — тоже шепотом и растерянно спросил Вадим.— Мы знаем друг друга третий год.

Но руки его уже разжались. Лена выпрямилась и, стоя на верхней ступеньке, поправляла шапочку. Он смотрел снизу вверх в ее улыбающееся лицо, которое отчего-то еще больше потемнело — от смущения или от мороза?

— А ты, оказывается, сильный... Ну, до свиданья! До послезавтра!

— Лена!

Но она уже вбежала в подъезд и на лестницу. Вадим подошел к дверям.

— Лена, но мы пойдем на что-нибудь серьезное?

— На что-нибудь серьезное? — Лена помолчала, остановившись на ступеньках, и вдруг сказала весело: — Ну безусловно, Вадим! Как только сдадим коллоквиум, пойдем хотя бы в Большой. На «Раймонду» — пойдем?

Вадим кивнул. Лена помахала ему рукой и скрылась за поворотом лестницы. А в морозном воздухе подъезда остался томительный, нежный запах ее духов, который — Вадим теперь знал это — может держаться очень долго, если с ними обходиться умело.

ГЛАВА 4

— Когда я вижу, что на моей лекции засыпает студент, я повышаю голос, чтоб разбудить нахала! — вдруг слышит Вадим гремящий бас. Это излюбленная шутка Кречетова.

Он вскидывает голову — голубые, хитро прищуренные глаза Кречетова смотрят на него, и все студенты тоже обернулись к нему, смеются.

— Что вы, Иван Антоныч! Даже не думал,— говорит Вадим смущенно.— «Трагедии Пушкина явились воплощением его мысли о...» — пожалуйста!

— Ну-ну,— Кречетов кивает головой, от чего его очки на мгновение пронзительно и ядовито вспыхивают.— Допустим, это вам приснилось. Шучу, шучу. Ну-с, дальше...

Кречетов ведет спецкурс по Пушкину. Записывать за ним невозможно: он говорит быстро, горячо, стремительно перебрасываясь от одного образа к другому. Следить за ним трудно и увлекательно. Однако Палавин, сидящий рядом с Вадимом, всю лекцию что-то неутомимо пишет. Вадим заглядывает через его плечо,— длинные листы исписанной бумаги, над одним жирная надпись печатными буквами: «Глава первая». А, он же говорил на днях, что начал писать какую-то повесть!.. Зачем он принес ее в институт? Сергей изредка оборачивается к окну, покусывая ногти, думает. Лицо у него необыкновенно озабоченное.

Староста курса — толстая, пучеглазая Тезя Великанова — пересылает Вадиму записку: «Вадим, скажи своему другу, чтобы он не грыз ногти. Очень неприятная привычка». Вадим пожимает плечами — какая чепуха! Только слушать мешает. Эта толстая Тезя строит из себя классную даму, всем делает замечания.

Вадиму любопытно знать: что это за новое увлечение у Сергея — повесть? О чем она? В глубине души ему не очень-то верится, чтоб у Сережки открылся вдруг писательский талант. И все же... Сережка такой человек, что от него всего можно ожидать. Однако на расспросы Вадима Сергей отвечал уклончиво: «Потерпи, брат, скоро, скоро узнаешь...»

В перерыве Вадим спрашивает у Сергея:

— Ну как, закончил «Войну и мир»?

— Нет, что ты! Я принес первую главу, хочу отдать нашей машинистке перепечатать. Но там надо было

кое-что доделать, отшлифовать, а я вчера не успел. Вот и пришлось на лекции, к сожалению. Ты же знаешь, как я люблю Ивана Антоныча...

Подошла Лена. Она сегодня в новом платье и волосы уложила по-особому, с большим бантом сзади. Она стала похожа на десятиклассницу.

— Кто закончил, какую главу? — спрашивает она живо.

— Сергей повесть пишет.

— Ты, Сережа? Ой, как интересно! О чем, о войне?

— Нет, Леночка.

— А о чем же? Или это секрет?

— Нет, это вовсе не секрет. Но дело в том, что повесть далеко не кончена, что выйдет — неизвестно. Может быть, и ничего не выйдет.

— Почему это?

— Ну, почему...— Сергей скромно улыбается и разводит руками.— Талант нужен, Леночка. А шут его знает, есть ли он? Вот я и не говорю раньше времени.

«Ишь как скромен! — думает Вадим, усмехаясь.— А сам небось уверен, что талант у него есть». Ему вдруг хочется подшутить над новоиспеченным писателем. Он подмигивает Лене и говорит серьезно:

— А ты заметила, с каким подъемом читал сегодня Иван Антоныч? Шутка ли, даже Палавин стал записывать?

— Правда? А, он писал свою повесть? — Лена смеется.— Нет, а я действительно хочу почитать. Может быть, ты станешь когда-нибудь великим писателем, лауреатом, будешь разъезжать по разным странам...

К Лене подбегают несколько девушек и сразу начинают говорить очень громко, торопливо и все вместе. Громче всех, конечно, Люся Воронкова — голос у нее крикливый, пронзительный, тонкие руки так и мелькают в воздухе.

— Лена, ты записываешь Кречетова?

— Да, немного.

— Вот видишь! Это просто ужасно. Я его очень люблю, но подумай сама — нам же его сдавать! Этот фейерверк, сравнения, импрессионизм какой-то...

— Да, да, Люся, правда! У меня пальцы отнялись...

— Лекции слушают мозгами, а не пальцами,— говорит Нина Фокина, плотная, широколицая девушка в роговых очках.

— Ах, как умно! Не все же такие гении, как ты.

— Вот Козельский читает,— говорит Воронкова,— и не спецкурс, а общий курс, и — пожалуйста! Все ясно, определенно...

— Разжевано, да? — перебивает Фокина.— Ивана Антоныча с Козельским даже сравнивать нельзя!

— А сдавать? А сдавать как?

— Девочки, вы не правы,— говорит Лена.— Мы же не в школе, верно? Пушкин родился в тысяча семьсот девяносто девятом году, умер в тысяча восемьсот тридцать седьмом. И него была няня, он учился в лицее и так далее... Иван Антоныч предполагает, что мы достаточно знаем и биографию Пушкина и его творчество. Он разговаривает с нами как со своими коллегами.

В разговор ввязывается Сергей:

— Что вы галдите? Если для вас Кречетов не понятен, это факт вашей биографии. Зачем же весь курс тянуть назад?

— Конечно,— говорит Вадим.

Раздается звонок, и в аудиторию входит Кречетов с группой студентов, продолжая с ними начатый еще в коридоре разговор.

— А ты, Вадим, молчи! — кричит Воронкова, отбегая к своему месту.— Ты-то, ясно, будешь Леночке подпевать.

Вадим хмурится, краснеет, бормочет что-то невнятное о «бестолковых кликушах» и садится.

Зимнее утро сумеречно, как вечер. В аудитории жидкий электрический свет, его потушат после второго перерыва, когда посветлеет.

«Я? нет. Я звал тебя и рад, что вижу.
...Я гибну — кончено — о Дона Анна!
(Проваливаются.)»

Вадим много раз, и в детстве и недавно, перечитывал эту пушкинскую трагедию, и всегда ее последнее слово — «проваливаются» — звучало для него неожиданно иронически. Теперь он ощущает вдруг глубокий смысл этого конца. Дон Гуан «проваливается» оттого, что впервые в жизни полюбил! А он — неизменный счастливец и герой бесчисленных легких побед — не имел права на счастье. Он должен умереть. Вадим представляет себя на месте Дон Гуана. В то мгновение, когда руку его сжимает каменная рука Командора, он

даже видит свое лицо: бледное, искаженное смертельной тоской и страхом. Да, бесстрашный и всегда улыбавшийся перед лицом смерти Дон Гуан дрожит от страха за свою жизнь... А как несчастна эта жизнь и как одинока! Никто не видит ее конца. Даже Дона Анна: она, кажется, упала в обморок...

Лена изредка что-то записывает. Лица ее не видно. Белый бант отсвечивает холодной синевой окна. Он так аккуратно разглажен, этот единственный на курсе бант. «Дон Гуан Пушкина — это человек страсти, это не мольеровский волокита...» О чем она думает сейчас? Локти ее, круглые и полные, так спокойно лежат на столе. Вот она обмакнула перо, сняла с него волосок, вытерла пальцы о промокашку. Ведь о чем-то она думает?

Вадим держал портфель Лены, пока она надевала боты и шапочку. Потом он помог ей надеть пальто. Лицо ее покраснело оттого, что она долго стояла нагнувшись и кровь прилила к щекам.

— Ну вот, спасибо,— сказала она, натягивая перчатки и внимательно их разглядывая.— Здрасте, уже рваться начали.

— Перчатки? — спросил Вадим.

— Ну да! Папка купил какую-то дрянь... Вы, мужчины, ничего не можете толком купить!..— Лена шутливо ударила Вадима перчаткой и сказала назидательно: — Учти, когда женишься, сам ничего жене не покупай! Только конфеты и билеты в театр.

— Так точно-с, учту-с! — сказал Вадим, выпучив глаза и козыряя.— А кого же она в таком случае пилить будет за плохой товар? Это ж для нее полное неудобство...

Шутливый тон разговора был Вадиму в тягость. Он отдалял его от Лены, а ему надо было заговорить серьезно. Этим пустым фатовским языком почему-то было принято болтать с девушками, но Вадиму никогда не удавалось это искусство. А с Леной и вовсе выходило фальшиво, грубо. Когда они вышли из ворот, он сказал:

— Можно посмотреть сегодня новую картину. В газетах хвалят. Сценарий, между прочим...

— Да, я знаю,— сказала Лена.— Я ее видела на просмотре, в Доме кино.

Они прошли несколько шагов молча. Потом он сказал, уже без всякой надежды:

— Я так давно не был в Пушкинском музее...

— И я,— сказала Лена.

— Нам велели сходить туда по курсу Возрождения.

— Я бы с удовольствием, Вадим, но я сегодня занята. Я не смогу.

— Занята,— повторил он машинально, не зная, о чем ему теперь говорить.

— У меня что-то голова разболелась,— сказала Лена, томно вздохнув.— В аудитории ужасно топят...

Вадим усмехнулся.

— Ты видела ее на просмотре. Ты сегодня занята. У тебя что-то разболелась голова, и, наконец,— в аудитории ужасно топят.

— Ну и что? Зачем ты меня цитируешь?

— Просто так, из любви к анализу.

— Глупо! — Лена пожала плечами.— Если ты вздумал обижаться, это очень глупо... Сегодня я занята, пойдем в субботу. Ну, в субботу — хорошо?

Ее правдивые, ясно-карие глаза стали вдруг очень серьезными, на мгновение почти испуганными. И он глядел в них уже примиренный, все простивший за это одно мгновение. Вот чего не могли бы сделать никакие слова.

— Ну? Хорошо? — настойчиво повторила Лена и тронула его за руку.

— Хорошо,— сказал он и улыбнулся.— Кстати... Если б мы пошли в кино, у меня бы на обед не хватило.

Между первой и второй сменой в столовой обычно часы «пик». Веселая теснота, пахнущая паром и котлетами. Бодрый обеденный шум, беготня официанток. С разных сторон разговоры: о зимней сессии, которая вот-вот, о соревнованиях по боксу, о последнем романе Федина, о том, что Трумэн все же лучше Дьюи, о Новом годе, о Курильских островах, о мухе-дрозофиле, о любви и о мясных тефтелях.

В громкую русскую речь вплетаются мягкий украинский говор, гортанный смех и голоса кавказцев. За одним из столиков сидит группа молодых албанцев, поступивших в этом году на первый курс. Они говорят о чем-то весело, очень быстро и все сразу — кажется странным, что они понимают друг друга. Потом к ним

подсаживается русская девушка, и голоса албанцев сразу стихают — они старательно и медленно выговаривают русские слова, помогают один другому и больше смеются, чем говорят.

Вадим и Сергей пришли в столовую, как обычно, вместе. Они подсели к столику Кречетова. Рядом с профессором сидел Се Ли Бон — юноша-кореец со второго курса, худенький, большеголовый, со смуглым серьезным лицом. Он уже кончил обедать и разговаривал с Кречетовым, держа на коленях толстую пачку книг. Увидев Вадима и Сергея, Ли Бон поспешно поднялся.

— Садитесь, товарищ, я кончился,— сказал он, вежливо улыбаясь,— пожалуйста, до свиданья!

— Чудесный малый этот Ли Бон! — сказал Кречетов, глядя ему вслед.— Вы помните, в прошлом году он не знал по-русски ни слова. А теперь уже Пушкина читает, Горького. Удивительно упорный человек. Он прочел недавно «Полтаву» — сейчас расспрашивал меня о Петре, о Мазепе. У нас, говорит, тоже есть Мазепа — Ли Сын Ман, но мы его все равно бросим в море, как собаку. Он — «продатель народа». И так он, знаете, грозно и с гневом это сказал, что я даже не поправил его. А что ж — слово выразительное, не правда ли? — Иван Антонович обратился к Сергею: — Ну-с, а как поживает ваш реферат о Гейне?

Сергей сказал, что реферат «поживает прекрасно» и будет готов через две недели. Работать ему трудно, времени не хватает, но реферат будет готов в срок. Он сказал это серьезно и с таким убеждением, что Вадим удивился про себя: «Ведь он говорил недавно, что еще не брался за работу и никакого желания нет».

— Поспешайте, Палавин, поспешайте, чтобы кончить до сессии,— говорил Кречетов.— «Гейне и фашизм» — очень серьезная тема, я бы сказал — философская. Вы у Нины Аркадьевны консультируетесь? Обратите внимание на высказывание Гейне об Америке в «Людвиге Берне» — он говорит о расизме в этой «богом проклятой стране». Обязательно найдите это место! А главное, будьте смелее, делайте обобщения, не копайтесь в пустяках. Это беда начинающих — вы пьянеете от бытовых мелочей, мемуарного хлама, анекдотов. Это всегда уводит. А вы держитесь магистрали. У вас получится, я в вас верю! — Он ободряюще похлопал Сергея по плечу.— Ну-с, я покидаю вас, юноши. Заседание ка-

федры в три часа, опаздываю. Да, а у вас как с рефератом, Белов?

— Я, вероятно, не успею до Нового года,— сказал Вадим.

— Что так?

— Не успею, Иван Антоныч.

— Не успеете? А жаль. Я на вас надеялся. Ну, мы еще поговорим! — Иван Антонович сурово погрозил пальцем и, взяв портфель, пошел к выходу. Портфель его всегда был так набит, что замок не закрывался, и Иван Антонович носил портфель под мышкой.

— А почему, собственно, ты не успеешь? — спросил Сергей.

— Я всегда работаю медленно, ты же знаешь.

Да, он работал медленно и кропотливо, с трудом подчиняя себе материал,— и не умел иначе. Сам себя он называл тугодумом, и ему казалось, что его метод и стиль слишком тяжеловесны, скучны, обыкновенны, что он никогда не сумеет в своих работах блистать легкостью языка, полемическим задором, неожиданной и остроумной мыслью,— всем тем, чем отличался Сергей.

И, однако, Вадим сказал не полную правду. В последнюю неделю он работал более чем медленно, дело совсем застопорилось. Он слишком много думал о Лене. Как только он оставался один и садился дома за стол, он начинал думать о Лене. Если бы каждый день он не встречался с нею в институте, ему было бы легче. Вот и сейчас Сергей что-то оживленно рассказывал, шумно прихлебывая суп, а он уже не слышал его, потому что думал о Лене...

К столику подошел Андрей Сырых — громоздкий, плечистый юноша в очках, с застенчивым лицом. В руке он держал стакан компота.

— Ну, жара...— сказал он, садясь и снимая запотевшие очки. Лицо его без очков стало совсем отроческим и кротким.— Невозможная жарища!..

— Не надо так много кушать,— сказал Сергей.— Тебе надо худеть. Ты безобразно жирный.

— Я жирный? Чудак! — Андрей беззлобно рассмеялся и, наклонив лицо к стакану, вытянул правую руку: — На, потрогай, какой это жир.

— Все равно ты какой-то слишком мясной. И поэтому тебе в любви не везет,— верно, Вадим? Мужчина должен быть сухопарым.

— Это справедливо. Мне не везет.

— Сгоняй вес! Когда боксерам не везет, они сгоняют вес и выступают в другой категории. А почему тебе не везет?

— Не знаю даже... времени не хватает.— Андрей допил компот и вытер губы бумажной салфеткой.— Вот мне и не везет,— повторил он, глядя на Сергея и улыбаясь.— И живу я за городом, на дорогу три часа уходит. И потом: кружки, научное общество... теперь еще в агитколлектив ввели. Так вот и не везет.

— Да... хороший ты парень,— сказал Сергей задумчиво.— Знаешь, ты на чеховского Дымова похож. Такой же наивный и положительный. И очень здоровый — как рыбий жир. А? Ха-ха...

— И такой же противный, как рыбий жир?

— Ну что-о ты, что ты, брат! Я бы хотел такого мужа своей двоюродной сестре. Родной, к сожалению, нет...

— Что-то ты расшалился сегодня,— сказал Андрей, добродушно усмехаясь.— С чего бы это веселье?

У столика появился вдруг Алеша Ремешков, которого все называли Лесик,— долговязый кудрявый парень, весельчак и острослов с третьего курса. Он с живостью обратился к Андрею:

— А ты разве не знаешь? Он же повесть пишет! Повесть!

— Какую повесть?

— Ну да! Говорят, нечто гениально-эпохальное. А другие говорят, нечто эпохально-гениальное. Идут страшные споры. А он между тем пишет и пишет. Повесть! — И Лесик продолжал громко, на всю столовую: — Палавин пишет повесть! Повесть Палавина! В печать!

С соседних столиков начали оглядываться с любопытством. Кто-то крикнул издали:

— Алло, кто там повесть пишет?

— Палавин! По буквам: Пушкин — Алигер — Лермонтов...

— Ну хватит, черт! — хохотал Сергей, хватая Лесика за рукав.— Перестань, черт же...

Андрей встал и попрощался. Его тоже зачем-то вызвали на заседание кафедры. Грузный, широкоплечий, он осторожно двигался между тесно стоящими столиками, боясь кого-нибудь случайно задеть и, по привычке сильных людей, широко растопыривая локти. Сергей, прищурясь, смотрел ему вслед.

— Он похож на комод моей тетушки,— сказал Сергей неожиданно.— Всегда молчалив, замкнут, и неизвестно, что там, под очками. И комод моей тетушки всегда заперт на все замки и такой же широкий, тяжеловесный... Я никогда не видел его открытым, и мне почему-то казалось в детстве, что там должны быть какие-то чудеса, удивительные вещи. А там, может, и не было-то ничего — пустые полки, какое-нибудь старое тряпье... А?

Они уже кончили есть, и Вадим поднялся.

— Идем?

— Да, идем. Подожди минутку! По-моему, это неплохо, с комодом. Надо его...— Сергей вынул записную книжку и что-то быстро записал.— Пригодится. Я теперь все записываю. Если не записывать, многое забывается,— сказал он озабоченно.— Ты знаешь, я в последнее время научился как-то по-новому все видеть. Ты заметил, как у нашего официанта блестит лысина? А мне сразу пришло в голову: «Лысина была единственным светлым пятном в его жизни». А? Ха-ха-ха... Это уже образ. А? Вадим?

— Ничего,— сказал Вадим.

Столовая находилась в доме напротив института, через улицу. Пока они одевались в вестибюле, потом вышли на улицу и шли через голый, с пустыми скамейками институтский сквер, Сергей все рассказывал о различных сравнениях и образах, которые приходят ему в голову, о том, как он трудно пишет и какая это увлекательная работа. О теме своей повести он так и не сказал. «Вот буду читать, тогда узнаешь». Уже второй день Сергей курил не папиросы, а красивую прямую трубку с янтарным мундштуком. И пахло от него хорошим табаком.

Вадим слушал его рассеянно. Он думал — в том, что Лена сегодня занята, нет ничего удивительного. Она всегда много занимается, зубрит иногда целыми днями, и, кроме того, у нее — «вокал». Хм, «вокал»... Ему долго казался смешным, чересчур торжественным и пышным этот консерваторский термин, и он подтрунивал над Леной, а она обижалась: «Что за глупые шутки? Так все говорят, это принято в нашей среде». Как бы там ни было, а этот «вокал» требует времени. Не каждый может и учиться и заниматься общественной работой и «вокалом». Нет, она молодец! Но какое это отврати-

тельное слово — «занята»... И как еще далеко до субботы! Три дня!

И, однако, несмотря на то что Вадим тщательно объяснил себе, почему Лена была сегодня занята, осталось в нем чувство досады за испорченный день. Да, день был испорчен. И все оттого, что он раньше времени строил разные планы относительно сегодняшнего дня и теперь все порушилось. И никто в этом не виноват. А что порушилось, в сущности? Просто он уже настроился, а теперь надо расстраиваться. Лучше всего прийти домой и сесть за «Капитал». Самое трудное в этой сессии — политэкономия. Надо сегодня же сесть и законспектировать одну-две главы. Сразу же, не откладывая на вечер... Но ведь у Лены «вокал» по средам и понедельникам, а сегодня — вторник?

Когда Вадим и Сергей, миновав сквер, вышли к бульвару, их кто-то сзади окликнул. Нина Фокина быстрым шагом догоняла их и махала рукой:

— Подождите! Сергей!

Вадим и Сергей остановились.

— Сережа, моя работа у тебя с собой? — спросила Нина, запыхавшись. Ее широкое веснушчатое лицо раскраснелось от быстрой ходьбы, и очки сползли на середину носа.

— А что такое? — спросил Сергей.— Протри окуляры, потные же...

— Дело в том, что я хочу отложить завтрашнее обсуждение. Я дала прочитать Андрею, и он мне сделал несколько замечаний, очень серьезных. Он даже вызвался помочь мне развить одну тему — о судьбе личности в социалистическом обществе, у меня это только намечено. А тема эта настолько важна, тем более в работе о Пановой, что ее нельзя мимоходом — понимаешь? Он совершенно прав! И он обещал дать мне некоторые теоретические материалы, журнальные статьи, о которых я не знала. Так что ты мне верни реферат, я переработаю...

— У меня его нет с собой,— сказал Сергей.— И вообще... Мне кажется, это не метод.

— Что не метод?

— Да вот — брать назад, перерабатывать не вовремя, срывать заседание. Ты что — боишься, что тебя будут критиковать?

— Нисколько. Я как раз хочу, чтобы меня дельно критиковали. Но зачем выносить на обсуждение то, что

меня уже не удовлетворяет? Если я вижу ошибки и вижу, как их можно исправить,— почему не сделать это до обсуждения?

— Да потому, что ты срываешь заседание! — сказал Сергей раздраженно.— Я читал, думал над твоей работой, составил конспект выступления, потратил время, и все попусту? Придут люди, понимаешь... Все знают, готовятся... Почему нельзя провести заседание, выслушать критику и потом перерабатывать?

— Нет, я этого не хочу. В четверг я встречаюсь с Андреем, мы с ним вечер просидим, и на той неделе я все закончу. А завтра можно другую какую-нибудь работу...

— Да где ее взять?

Нина молчала, растерявшись от резкого тона, каким заговорил Сергей.

— Отчего ты кипятишься? — спросил Вадим, удивленно глядя на приятеля.— Нина права, если она хочет взять работу, чтобы доделать ее, и ничего страшного тут нет.

— Да пожалуйста! Делайте что хотите!.. Только второй раз я оппонировать не буду.

— Это, по-моему, неумно.

— Позволь уж мне знать, Вадик!

— Ну хорошо,— сказала Нина, помолчав.— Я тебя предупредила. Если ты считаешь, что зря потратил на меня время,— извини, конечно... А завтра не забудь принести. До свиданья!

Сергей шел, нахмуренно глядя под ноги, и носком ботинка подталкивал перед собой обледенелый камешек. Вдруг он ударил ногой с размаху, и камешек отлетел далеко вперед.

— Вот бестолочь! Все мне расстроила...

— Да что она тебе расстроила? — спросил Вадим, все еще недоумевая.

— Как что? Ты пойми: я же собирался говорить не только об ее реферате, но и о всей нашей работе. А ее реферат был как раз иллюстрацией к моей мысли — об отсутствии мысли. Ясно тебе?.. Да я уверен, что ничего существенного она там не изменит, разведет воды еще на десять страниц — и все! Просто перетрусила. И Андрей еще тут, благодетель... Ох! — Сергей сокрушенно вздохнул и сделал рукой жест полной безнадежности.— Научное общество, н-да... Один другому что-то подписывает, подделывает.

— Да что подделывает? Если Андрей взялся помочь...

— Ну, ясно! Иначе мы не можем! — перебил Сергей насмешливо.— Привыкли друг у друга все списывать — и английские экзерсисы и конспекты, теперь и научные работы будем скопом писать!

— Да подожди! Не скопом, а, так сказать... Не понимаю, неужели тебе надо простые вещи объяснять? — сказал Вадим, уже начиная сердиться.— Чепуху ты городишь.

— Я не против помощи, но это надо делать вовремя! Вовремя! — проговорил Сергей тем особым, резким и довольно гнусавым голосом, который появлялся у него внезапно в минуты раздражения.

— Еще бы ты был против!

— Я против школярства — понял? Школярства!

— Да где школярство? Ты сам не знаешь, против чего ты — да, да! А просто ты... захотелось тебе завтра блеснуть, а вот не придется.

— Ну, посмотрим!

— Дело-то ведь не в выступлениях, Сережка, не в разгромах. Что бы ты запел, если бы тебя заставляли выступить с работой, которую ты сам считаешь неготовой?..

Они спорили долго и шли по улице от остановки к остановке, забывая, что им надо садиться в троллейбус. Сергей понемногу сдавался и наконец заявил: может быть, он и не прав, требует невозможного, но просто ему хочется, чтобы научное общество было действительно научным. А с Ниной он, правда, переборщил — надо бы повежливей. Характер дурной, черт его знает, нервы... В общем, он недоволен тем, что срывается завтрашнее заседание, но выступать завтра он будет все равно.

Вадим слушал все это молча, с удовлетворением чувствуя, что Сергей немного растерялся от его неожиданного отпора и теперь ему неловко, он даже старается замять разговор.

Помолчав и посопев трубкой, Сергей сказал со вздохом:

— Нет, а вот Андрей для меня действительно закрытый комод... Как студент он поразительно способный. Ты помнишь, как он сдавал историческую грамматику? Наш старик глаза вытаращил.

— Я помню. Ты тогда чуть не засыпался.

— Да, я эту схоластику терпеть не могу. И все же вытянул на четверку — помнишь? Книжки в руках не держал. Но Андрей... и все-таки он скучный человек.

— Почему скучный? — Вадим пожал плечами.— Тоже манера — всем привешивать ярлыки! А я не скучный? А ты не скучный? Каждый человек чем-то скучен, чем-то интересен и смотря для кого...

— Нет, Андрей определенно скучный. Активно скучный. Не спорь, Вадим, ты теперь споришь по инерции. Он скучен потому, что он все делает с одинаковой старательностью. У него нет главного предмета, нет своего. Учеба вообще, понимаешь? Как процесс. И ты не спорь, он ограничен. Что? Да, да, он знает, что говорили и писали другие, а вот самому раскинуть мозгами... Аппарат звукозаписи. В будущем это компилятор, если он будет ученым.

— Что ты вдруг набросился на него? — спросил Вадим удивленно.

— Ты споришь, а я доказываю. Я против него ничего не имею. Он очень хороший парень, добрый, честный, но... скучный. Да и еще потому, что он слишком помногу молчит. И неизвестно — все ли он понимает или ему нечего сказать.

— Просто он никогда не говорит о себе.

— Ну... это уж не аргумент!

— Нет, милый Кекс, он способнее всех нас, а ты... Уж не завидуешь ли ты этому «скучному человеку», а?

— Я? Завидую?! — Сергей расхохотался.— Вот уж глупость! Чему же мне завидовать?.. Тому, что он целыми днями чахнет над своими толстыми тетрадями в коленкоровых переплетах? «Прожигает жизнь» в библиотеках? У меня другие методы учебы, а знает ли он больше меня — сомневаюсь! Я завидую! Блеск! Ха-ха-ха... Я только сказал, что Андрюшка скучен. Я не мог бы близко дружить с ним, стал бы зевать через два дня.— Помолчав и сделав пару затяжек трубкой, он добавил: — Самое страшное в дружбе, когда человек становится скучен. Это та ржавчина, от которой нет спасения.

— Запиши в книжечку,— сказал Вадим, усмехнувшись.

Они вышли к площади. Памятник Пушкину был весь седой от инея. Но снег еще не выпал, и земля была сухая и твердая, как камень. Сергей постучал трубкой о чугунный столб фонаря и спрятал ее в карман.

— «В тот год осенняя погода стояла долго на дворе...» — сказал он, глядя на памятник.— Да, гнусная погода... Ты чудак, Вадим! Я, главное, завидую... хм, чудак! Я его люблю, Андрюшку, так же как и все на курсе. Его же все любят... А это, кстати, скверно, когда человека все любят.

— Еще афоризм. Запиши.

— Нет, Вадька, я непримирим, понимаешь? — продолжал Сергей с жаром.— Я не терплю обыденщины, золотой середины. И не верю в ангелов. Посмотрим, кто из нас добьется большего: Андрей, безгрешный, как святая Цецилия, или я, с тьмою недостатков.

— Которые ты, кстати, не считаешь недостатками.

— Нет, просто я отношусь к ним философски. Ибо я знаю, что наши недостатки суть продолжения наших достоинств. Значит, у меня есть какие-то достоинства, верно ведь? — сказал Сергей, подмигивая.

— Удобная диалектика! — рассмеялся Вадим.

— А если говорить серьезно,— продолжал Сергей,— то цыплят, как полагается, будем считать по осени.

— Это когда же, через сорок лет?

Сергей не ответил, уклончиво покачав головой и усмехнувшись с таким видом, словно хотел сказать: «Ну, брат, ты ничего не понял, и объяснять тебе, видимо, бесполезно». У остановки Вадим вместе с Сергеем подождал, пока подойдет трамвай.

— Я хочу, чтобы ты забежал как-нибудь послушал отрывки.

— Обязательно. Мне интересно самому,— сказал Вадим. Ему на самом деле было интересно.

С площадки трамвая Сергей крикнул:

— А завтра я выскажусь и уйду! Можете сами там, как хотите...

ГЛАВА 5

Научное общество студентов литературного факультета организовалось в начале года. Председателем его был выбран старшекурсник Федор Каплин, один из тех много знающих и начитанных юношей, которых еще в школе называют «профессорами» и с первого курса уже прочат в аспирантуру. Научным руководителем НСО был профессор Козельский, читавший русскую литературу девятнадцатого века.

В общество сразу записалось много студентов, и одним из первых — Вадим. Его обрадовала возможность попробовать свои силы в самостоятельной исследовательской работе, хотя будущность ученого-теоретика почти не привлекала его — он готовил себя к деятельности практической.

Когда-то в детстве, в школьные годы, Вадим по собственному почину изучал разные науки — геологию, астрономию, палеонтологию. И даже писал «научные труды», например о вулканах, о вымерших рептилиях, для чего безжалостно вырезал картинки из старых энциклопедий и наклеивал их в тетради. «Труды» эти обсуждались в разных кружках, кочевали по школьным выставкам, и Вадим гордился ими и в тринадцать лет твердо считал себя будущим ученым. А теперь ему казалось, что для того, чтобы быть настоящим ученым, необходимо иметь такое множество разнообразных дарований, о котором ему, тугодуму, не приходилось и мечтать.

И все же Вадим вступил в НСО и решил работать в нем серьезно. Школа, которую он прошел на войне, научила его ценить простые вещи — мир, работу, книгу, научила его каждое дело свое делать основательно, честно и видеть в нем начала новых дел, предстоящих в будущем.

Часто Вадим спорил с Сергеем. Тот говорил, что учительская работа — удел людей особого склада, ограниченных по своим творческим способностям. «Ты не должен идти в учителя,— говорил он.— С твоим упорством, дотошностью, с твоей памятью ты будешь прекрасным ученым. Тебе надо идти в аспирантуру». О себе самом он не задумывался ни на секунду: он-то безусловно будет ученым. Вадим всегда злился, когда Сергей заводил этот разговор.

— Зачем ты пошел тогда в наш институт? — спрашивал он с раздражением.

— Чтобы получить, во-первых, образование, а затем — поступить в аспирантуру. А здесь это легче, чем в университете. На общем фоне.

И действительно, на общем фоне фигура Сергея Палавина выглядела весьма заметно. Он скоро завоевал уважение профессоров своей эрудицией и способностью сдавать экзамены бойко, самостоятельно, без натужливых ученических бормотаний, что всегда нравится экзаменаторам.

В работе НСО Сергей сразу принял активное участие. Его кандидатура на пост председателя выставлялась наравне с кандидатурой Каплина, и последний взял верх только благодаря своему четвертому курсу и тому, что он имел уже несколько курсовых работ, одобренных кафедрой, в то время как у Сергея таких работ на третьем курсе еще не было. Однако спустя два месяца Сергей вдруг остыл к обществу, стал пропускать заседания и заговорил о них скептически. Вадим в общем понимал причины этой перемены. Честолюбию Сергея пришлось пережить два удара: сначала выборы Каплина, а потом реферат Андрея Сырых, получивший на обсуждении самую высокую оценку. У Сергея уже была к тому времени написана небольшая работа о Грибоедове, довольно поверхностная, торопливая и прошедшая незаметно.

И Сергей заговорил о необходимости перестройки, о школярстве, кустарщине, о лишних людях и прочем. Вероятно, кое-что в этой критике было правильным. Но Вадиму казалось, что все недостатки происходят от одного, главного — от руководства. Профессор Козельский не сумел еще сделать общество тем, чем ему следовало быть: центром увлекательной творческой работы студентов. Не сумел — и сумеет ли когда-нибудь? Вадим за последнее время начинал в этом все больше сомневаться...

Очередное заседание НСО происходило в самой светлой и просторной аудитории, где обычно занимался первый курс. Вадим и Сергей вошли вместе.

— Вперед пойдем, к окну,— сказал Сергей, потянув Вадима за рукав, и добавил тише: — Мне надо всех видеть...

Он собирался сегодня выступать. Вадим и Сергей прошли к окну и сели рядом с Петром Лагоденко, тоже третьекурсником — приземистым смуглым крепышом сурового вида, одетым во флотский клеш и фланельку. Лагоденко не был членом общества, но приходил на все последние заседания и часто выступал в обсуждениях. Прямо перед ними за длинным столом сидел внушительно-строгий Федя Каплин, гладко выбритый, толстощекий, с кругло-покатыми плечами,— что-то непрерывно писал, не поднимая головы. Пришла сегодня и Лена — в качестве гостьи — и села сзади, вместе с девушками. Вадим слышал ее голос за спиной, даже шепот — она шепталась о чем-то с Ниной Фокиной,— по-

том смех. Он не оглядывался, но ему было приятно, что Лена здесь, хотя она сидела далеко от него и они, может быть, не скажут сегодня друг другу и слова. В аудитории было шумно, все разговаривали между собой, пока не вошел Козельский.

Профессор Борис Матвеевич Козельский выглядел довольно молодо для своих пятидесяти с лишним лет. Он был высок, ходил быстро, голову с гладко зачесанными назад седоватыми волосами держал гордо, подбородком вперед — и казалось, на всех, даже на людей выше его ростом, он смотрит сверху вниз. Цвет лица у него был неизменно свежий, румяный: профессор Козельский занимался спортом — играл в теннис.

На первом курсе Вадиму казался интересным этот высокий седой человек с выправкой спортсмена, всегда куривший трубку и окруженный ароматным запахом «Золотого руна». На первом курсе Козельский еще не читал лекций, и Вадим наблюдал его издали, встречаясь с ним в коридорах. Читать он начал с четвертого семестра и тоже первое время нравился Вадиму — главным образом колоссальной своей памятью и многознанием. Козельский никогда не читал по конспекту, на его кафедре не было ничего, кроме пепельницы. Иногда он цитировал наизусть целые страницы прозы.

Но чем ближе узнавал Вадим Козельского, тем меньше этот профессор ему нравился. Профессорское многознание, если оно не оживлено остроумной, свежей, пытливой мыслью, бывает подчас раздражающим, невыносимым. Вскоре Вадим убедился, что сдавать зачеты Козельскому очень нелегко. Козельский спрашивал придирчиво, требовал буквальных формулировок и не любил самостоятельных мнений, споров, вопросов — вообще не любил шума. Сам он был очень спокойный человек и никогда не повышал голоса.

Войдя в аудиторию, Козельский поздоровался со всеми кивком головы и быстро прошел к своему столу. Федя Каплин сейчас же вскочил и, наклонившись с озабоченным лицом к профессору, заговорил с ним вполголоса. Козельский слушал его, удивленно подняв брови.

— Фокина! — спросил он негромко.— Ваш реферат, оказывается, не готов?

— Да, Борис Матвеевич, я прошу извинить меня,— сказала Нина, вставая.— Я решила еще поработать. На той неделе представлю.

— Так... Ну что же, ваше право,— благосклонно со-

гласился Козельский, и Вадиму показалось, что он даже обрадовался этому обстоятельству: можно пораньше уйти.— Ваше право, ваше право...— задумчиво повторил Козельский, набивая трубку.— Ну что ж, подождем недельку... Ведь у вас, кажется, реферат о произведениях Караваевой?

— О повестях Веры Пановой, Борис Матвеевич.

— Ах да, совершенно верно... Скорее критическая статья, не так ли? Ну, мы всегда успеем ее прочесть, обсудить, это не проблема.

Сергей уже несколько минут нетерпеливо ерзал на месте, чиркал что-то карандашом в блокноте и наконец попросил слова. Он заговорил с места, полуобернувшись к аудитории:

— Товарищи, сегодня по вине Фокиной наше рабочее заседание не состоится. Но это, вероятно, к лучшему. Давайте поговорим. Нам давно пора серьезно обсудить нашу работу, поговорить начистоту. Я считаю, товарищи...— Сергей заглянул в блокнот, захлопнул его и небрежно бросил на стол.— Я считаю, что до сих пор, товарищи, мы работали из рук вон плохо. Почему? Причин тут много. У нас нет единого плана, который вытекал бы из научного плана кафедр. Такой перспективный план необходим, а то ведь работа ведется у нас настолько стихийно, беспорядочно, что никакого толку от этой работы — простите меня, товарищи, за резкость — нет и не будет. Ведь как несерьезно берутся у нас темы рефератов! Один товарищ, например, взялся писать об Ульрихе фон Гуттене, две недели сидел в библиотеке, а потом вдруг заявил: «Ты знаешь, что-то мне Гуттен надоел. Скучища какая-то. Возьму, что ли, Маяковского». Смеетесь? «Над кем смеетесь?..» Да, товарищи, грустно... А другая девушка взялась исследовать купринский «Поединок». Спрашиваю — почему именно «Поединок»? Там, говорит, интересно про любовь написано, и потом он коротенький...

В аудитории засмеялись, кто-то спросил громко:

— Как фамилия?

— Фамилия ни к чему. Я говорю о фактах. Конечно, эти случаи единичны, но они показывают, куда ведет такая бесплановость в работе. И еще — эти случаи говорят о том, что в общество записалось много людей, которым здесь не место. Да, да! У нас, товарищи, не научное общество получилось, а какой-то литературный кружок — записываются все, кому не лень. Оттого и

работы пишутся ученические: общие рассуждения, натасканные из учебников, популярные статейки без проблеска оригинальной мысли. Кому это нужно, я спрашиваю?.. Вот я был оппонентом Фокиной, знаю ее работу о повестях Пановой. Правда, я знаю вариант, забракованный самим автором. Но все равно скажу тебе прямо, Нина,— ты пишешь научную работу, а не рецензию в журнал «Дружные ребята». И это относится не только к Фокиной, но и ко многим другим товарищам. Одним словом, я кончаю: если положение в обществе не изменится, то я лично не вижу большого интереса для себя в такой работе. Просто, знаете ли, жалко времени. У нас, студентов, не так-то его много... Я кончил, товарищи...

Сергей сел, с решительным видом засовывая блокнот во внутренний карман пиджака.

— А кто виноват, что такое положение создалось? — низким басом, глядя не на Сергея, а в сторону председательского стола, спросил Лагоденко.

— Мы сами виноваты,— быстро ответил Сергей,— в том, что у нас беспорядок. И сами должны выправлять.

— Сами-то сами...— пробурчал Лагоденко.

— Лагоденко, ты хочешь что-то сказать? — спросил строго Федя Каплин.

— Погожу пока...

Придвинувшись к Сергею, Вадим сказал вполголоса:

— Петр прав — не только мы виноваты. А Козельский? Он же руководитель, его дело интересно работу поставить...

— Да нет же, нет! — досадливо сморщившись, прошептал Сергей.— То есть в какой-то мере — конечно... Но Борис Матвеевич милейший человек, он готов хоть весь институт в общество записать. А сейчас надо вычистить половину...

— Так что же ты, Палавин, конкретно предлагаешь? — спросил Каплин.

— Конкретно вот что: сократить число членов общества в два раза. Лучше меньше, да лучше! Многим серьезная научная работа не по плечу, и они тянут назад остальных, и от этого заседания у нас такие убогие, неинтересные. Пусть меня товарищи правильно поймут...

— Мы тебя поняли,— сказал Лагоденко.

Несколько человек заговорили сразу, вперебой:

— Что ж, это общество — для избранных?

— Да прав он! Слишком нас много...

— Ну и хорошо!

— Чепуха, не в количестве дело!

— А кто будет отбирать, не Палавин ли?..

— Федор, дай мне слово! — сказал Лагоденко, поднимаясь. И все сразу притихли: просто потому, что когда говорил Лагоденко, все равно никого больше не было слышно.— В выступлении Палавина была, я бы сказал, обычная его «палавинчатость». Тш, не смейтесь!.. Он прав, говоря, что в нашем НСО работа идет несерьезно, беспорядочно и нудновато. Это так оно и есть. Но он не прав, когда объясняет это тем, что людей много. Глупости, не в том секрет! А в том...— Лагоденко трубно кашлянул, расправил плечи и засунул обе ладони за свой широкий ремень с бляхой,— в том, что руководство общества, и уважаемый Борис Матвеевич и почтенный Федор, очень мало по-настоящему интересуется нашей работой. Я говорю «нашей», потому что хотя я еще не вступил в общество, но думаю вступить, и меня это дело кровно задевает. Темы рефератов берутся у нас не только случайно, беспланово, но и безыдейно — да, в том смысле, что они слишком уж академичны, литературны и очень мало связаны с современностью. Вот корень всего. А ведь задача руководства предлагать студентам темы...

Лагоденко говорил, по своему обычаю, самоуверенно, напористо и несколько даже нескромно. В его речах всегда звучала басовая нота поучительства — Вадим не любил этого тона, как вообще не любил ничьих поучений. И все же Лагоденко был более прав, чем Сергей, и глубже понял, в чем суть. Федя Каплин слушал его, хмуря тонкие рыжеватые брови, вздыхая, покашливая и всем своим видом выражая беспокойное недовольство. Козельский же, казалось, и вовсе не слушал Лагоденко — невозмутимо курил свою трубку, рассеянно оглядывал аудиторию, потом принялся листать какой-то лежавший на столе журнал.

Когда Лагоденко кончил и шумно уселся на место, выступил наконец Козельский. Он говорил так, будто и действительно не слышал ничего, кроме выступления Палавина. Но этот прием мог обескуражить кого угодно, только не Лагоденко.

— У меня есть одно добавление к горячей и очень содержательной речи Сережи... нашего уважаемого то-

варища Палавина,— поправился Козельский, улыбнувшись.— В части выбора тем для рефератов я считаю целесообразным такой принцип: студент должен выбирать темы, которые совпадают с темами историко-литературного курса, который он в данный момент прослушивает. Это будет полезней и для рефератов и для студентов — они легче усвоят лекционный материал. Как вы находите?

— Что ж, это разумно, Борис Матвеевич,— с серьезным видом кивнул Сергей.

— Не правда ли? Работа над рефератом будет, так сказать, естественным продолжением прослушанного в аудитории.

— Профессор, у меня вопрос! — вновь загудел неугомонный Лагоденко.— Есть одно «но». Не каждого привлекает то, что он сейчас слышит на лекциях. Мне читают, сказать к примеру, «Остромирово евангелие», а меня интересует, допустим, Новиков-Прибой. Так? Безусловно, что так оно и бывает. И получится, что, например, работы по советской литературе будут писать только четверокурсники, потому что советская литература читается на последнем курсе...

— Справедливо, но позвольте,— быстро сказал Козельский, повернувшись к Лагоденко.— Хочу напомнить вам, так сказать, ab ovo:[1] для чего организуются в институтах научные студенческие общества, подобные нашему? Для того, чтобы привить студентам любовь к науке, обогатить их опытом самостоятельной работы над материалом. Если мы слишком увлечемся произведениями современности, наша цель не будет достигнута.

— Это почему же не будет? — спросил Лагоденко удивленно.

— Потому, молодой человек, что произведения современности слишком пахнут типографской краской. Они не обросли еще библиографией, критики сами часто путаются, ошибаются в их оценке. А вам тем более будет трудно.

— Добро. Чем трудней, тем интересней,— сказал Лагоденко.— Но больше всего нас интересует наша литература, вы понимаете?

— А меня интересует дать вам навыки научной работы,— сказал Козельский, чуть заметно повысив го-

---

[1] С самого начала (*лат.*).

лос,— дать вам знания. Это моя задача — давать вам знания. Развлекаться философствованием вы можете в другие часы, на других семинарах, а у меня извольте учиться. Я делаю из вас ученых и педагогов, а не краснобаев. Вам понятна моя мысль, Лагоденко? Вот, не ловите меня на слове, а постарайтесь понять: хоть вы и бородаты и, возможно, имеете потомство, но вы еще школьники, вы учитесь. А учиться надо на классических образцах, вокруг которых накопились пуды литературы, скрещивались мнения, гремели споры. В этом вы должны уметь разобраться и вынести свое самостоятельное суждение. Попутно вы будете приобретать фактические знания, пополнять свой багаж. Это серьезная, кропотливая работа. А поверхностные статейки, где одна голая идея, и даже не идея, а тенденция, и никаких конкретных фактических знаний,— мне они не нужны. Прошу вас, увольте! Газетного рецензента можно натаскать за месяц, а ученый формируется годами.— Козельский помолчал мгновение, пригладил ладонью свои и без того гладко зализанные волосы и, вздохнув, сказал негромко, но с чувством: — Наука — это труд, напряженнейший ежедневный труд. Кто не может или не хочет понять это — грош тому цена, он никогда ничего не добьется.

«Все-таки он позер,— думал Вадим, неприязненно глядя на Козельского.— В нем все показное. И эти величественные жесты, и трубка, и эти благородные седины, и его знания — он и знания свои носит напоказ. Ну да, наряжается в знания, как в этот свой вязаный жилет с красными костяными пуговицами...»

— Так. Правильно, конечно,— заговорил Лагоденко, и Вадиму уже нравились его самоуверенный тон, его неуступчивость, резкость.— Но почему же, профессор, вы не считаете советское литературоведение наукой?

— С чего вы взяли? — нахмурился Козельский.— Кто вам сказал? Вы передергиваете, это недопустимо. Еще раз повторю: я всячески приветствую работы о произведениях современности, но серьезная работа в этой области вам еще не под силу.

— Вы, профессор...

— Лагоденко, прекрати! — сказал Каплин, неожиданно вскочив и покраснев так, что его румяное лицо побагровело.— Если хочешь спросить, возьми слово. А что это за базарная перекличка? И с кем — ты отдаешь себе отчет?..

Козельский спокойно перекатывал в зубах мундштук трубки, пристально глядя на Лагоденко. Вдруг он спросил голосом еще более ровным и тихим, чем обычно:

— А кстати, Лагоденко, почему вы посещаете заседания НСО? Мне кажется, у вас нет для этого оснований. Вы, вероятно, знаете это и сами.

Лагоденко промолчал, насупившись. Все поняли, что имел в виду Козельский: в весеннюю сессию Лагоденко провалил экзамен Козельскому, его перевели на третий курс условно. В октябре он сдавал вторично — и опять не сдал. Отношения между ним и профессором, и без того натянутые, обострились за последнее время до крайности.

Вадим удивлялся упрямству Лагоденко: как тот мог при всех обстоятельствах приходить на заседания, выступать так свободно, почти докторально и даже спорить с профессором!

— Вы думаете сдавать мне экзамен? — спросил Козельский.

— Не беспокойтесь, профессор, я сдам,— отчетливо проговорил Лагоденко.— Не вы от этого страдаете, а я — сижу без стипендии. На той неделе сдам.

— Хорошо. Я беспокоюсь за вас, а не за себя.

В этот день так ничего и не решили по поводу перестройки общества. Козельский с полчаса еще поговорил со студентами об их работе над рефератами, потом взглянул на часы и заторопился уходить. Он уже взял портфель, направился к двери, как вдруг остановился и досадливо тряхнул рукой.

— Да, чуть не забыл! Совсем вы меня с толку сбили...— сказал он, улыбаясь, и поставил портфель на стол.— Я должен был сообщить вам следующее: вчера я разговаривал с директором по поводу нашего общества, и он сказал, что им получено в министерстве разрешение на...— Козельский выразительно умолк на мгновение и произнес торжественно, выделяя каждое слово: — ...издание — отдельного — сборника — научных — студенческих — работ! Объемом до десяти листов, товарищи. Это не маленький объем. Но, конечно, печатать мы будем только лучшие работы, наиболее интересные, так что вам открывается широкое поле для соревнования.

Студенты, которые уже повставали с мест, окружили профессора, заговорили оживленно и весело, все разом:

— Борис Матвеевич, а когда должны выпустить? В конце года?

— А это точно? Знаете — обещать можно...

— А как печатать, на стеклографе?

— Нет, нет, товарищи! — сказал Козельский, серьезно покачав головой.— Если я говорю — я зря не скажу. Совершенно реально. И это будет настоящая книжка, отпечатанная в типографии одной из московских газет.

— Бра-авво! — крикнул Федя Каплин восторженно и, забыв о своей председательской солидности, вскочил на стул и захлопал в ладоши.

Несколько студентов закричали «ура» и, вдруг схватив Федю, начали его качать.

— Стой... За что? За что меня? — со смехом кричал Федя, отбиваясь.— Бориса Матвеича качайте! Бориса Матвеича!

Сергей подошел к Козельскому, деловито спросил:

— А какой, интересно, предполагается тираж?

— Ну, тираж, конечно, небольшой. Двести — триста экземпляров, больше незачем. Продавать же мы его не будем.— Козельский даже позволил себе лукаво улыбнуться.— Разве только родственникам или знакомым девушкам...

— Скажите, Борис Матвеевич, а кто будет составлять сборник и редактировать?

— Вероятно, Иван Антонович Кречетов, профессор Крылов и я. Так намечалось, а может, что-либо изменится...

Вадим долго издали наблюдал, как менялось лицо Сергея, приобретая выражение все большей озабоченности и напряженного интереса. Решив разыграть приятеля, он спросил громко:

— А что ты, Сережа, интересуешься? Ты-то в сборник не попадешь!

— Это почему? — насторожился Сергей.

— Да ведь ты уходишь из общества.

— Да, да! Как же, как же! — подхватил Козельский, засмеявшись.— Вы же нас покидаете? Говорите — времени жалко? Досадно, но что ж...

— Ну не-ет! — Сергей шутливо замотал головой.— Теперь-то я просто так не уйду, дудки! Ха-ха-ха...— И сейчас же серьезно: — Я, кстати, не собирался в буквальном смысле... И моя критика — что ж, я от нее не отказываюсь. Вы же со мной согласились, Борис Матвеевич?

— Да, безусловно — частично. Я сейчас тороплюсь, товарищи, но на следующем заседании мы подробно обсудим все о сборнике. До свиданья, друзья!

— До свиданья, Борис Матвеевич! — хором ответило несколько голосов.

Козельский ушел, но большинство студентов осталось в аудитории. Всем хотелось еще поговорить о сборнике, высказать свои догадки, предположения,— новость была неожиданной, радостной для всех, и в аудитории сразу стало шумно и весело. Вадим посматривал на Лену, которая в группе девушек говорила особенно громко и оживленно:

— А ведь замечательно, что у нас будет свой журнал,— правда, девочки? Как жалко, что я не член общества!

— Кто мешает тебе вступить? — спросила Нина.

— Нет, Ниночка, я никак не могу. У меня же вокал, совершенно нет времени... Ребята, а как мы его назовем? Надо же назвать журнал, обязательно, и как-нибудь оригинально!..

Сергей подошел к Лагоденко, который, усевшись на столе, курил с задумчивым видом и сосредоточенно разглядывал свою ладонь.

— А ты, Петр, напал на старика не очень-то честно,— сказал Сергей укоризненно.— Действительно передернул...

— Это что же?

— Ты не понял или не захотел понять его: он советует нам обращаться к темам классической литературы для того, чтобы мы приобрели опыт, литературоведческие познания,— понимаешь? Нам будет легче тогда работать над современными произведениями. Это же элементарно!.. Ну, а какая могла быть у него другая причина? Ну?

Лагоденко разглядывал свою ладонь — вертел ее перед глазами, раздвинув пальцы, собирал горсткой, потом сжал руку в кулак и тяжело оперся им о стол.

— Другая? Да очень простая,— он сощурил на Палавина упрямые угольно-черные зрачки.— Он равнодушен к советской литературе. Даже просто не знает ее, не читает.

— Во-первых, по советской литературе у нас есть специальный консультант — доцент Горлинков. А вовторых, это неверно, ложь! Он выписывает на дом все

толстые журналы! Я знаю, видел! Да как может профессор русской литературы...

— Выписывать-то он выписывает,— перебил его Лагоденко.— Ясно, он должен быть в курсе событий. Но главным образом он читает рецензии на книги, это не так утомительно.

— Да откуда ты знаешь?!

— Так. Чую.— Лагоденко с серьезным видом потянул носом. Он притушил папиросу в чернильной лужице на столе, спрыгнул на пол и с хрустом выпрямил свое плотное, широкое в груди тело.— Вы вот щебечете: ах! ах! Сборник!.. Ах, Борис Матвеевич!.. А Борис Матвеевич только лишний раз доказал свое равнодушие к нашим делам — чуть не забыл о самом главном сказать. Хорош руководитель!

Аспирантка Камкова, величественная, полная блондинка в очках, похожая лицом и бюстом на мраморную кариатиду, внушительно отчеканила:

— Я вам все-таки советую, Лагоденко, уважительнее говорить о своих профессорах. На третьем курсе излишний гонор вредит.

— Когда вы были на третьем курсе, девочка, я был уже на последнем курсе войны,— сказал Лагоденко, смерив Камкову небрежным взглядом.— Но дело не в том. Я что толкую — у меня не лежит душа писать тысяча первую работу об Иване Сергеевиче Тургеневе, тем более что ничего оригинального об Иване Сергеевиче я сказать пока не могу. А я хочу подумать над новыми советскими книгами, постараться понять, что в них хорошо, что плохо, и пусть моя работа будет еще не глубокой, не всегда убедительной, но она будет искренней, верно направленной и нужной. И главное, интересной для меня! В тысячу раз более интересной, чем тысяча первое разглагольствование о Базарове или Данииле Заточнике!

— Петя, это уже крайность,— сказала Нина.

— Лучше эта крайность, чем обратная!

— Нет, не лучше! Это опасная, это вредная крайность! — взволнованно и сердито заговорил Федя Каплин, подступая к Лагоденко.— Что значит «мне интересней»? Что за вкусовщина? У нас здесь научное общество, а не «Гастроном»! Мы учиться должны, работать!.. А то, подумаешь, выискался защитник советской литературы! Это демагогия!.. Да и в конце концов... в обществе ты не состоишь, а только всех баламутишь! До-

вольно! Мы не позволим тебе наскакивать на Бориса Матвеича и вообще... всех тут разлагать!

— Ну, Федя, ты уж слишком! — сказал Сергей примирительно.— Петр никого не разлагает...

— А надо бы,— усмехнулся Лагоденко.— Пора койкого разложить.

— Так вот, изволь вступить в члены общества, тогда и будешь говорить. Все ему нипочем, никаких авторитетов — подумаешь, сверхличность! Учиться надо, вот что!

Сергей вздохнул и закивал озабоченно:

— Это главное, конечно. А тебе, Петр, особенно важно учиться, не забывай...

Вадим заметил, что Лагоденко помрачнел вдруг, хотел что-то ответить, но сжал губы, только желваки напряглись на скулах. И Вадиму стало неприятно, точно эти обидно-снисходительные слова относились к нему самому.

— Да что вы напали на него? Учителя! — сказал Вадим, решительно шагнув к Лагоденко.— Напали и грызут, грызут... Ведь он же прав в основном? Прав! Козельский действительно равнодушный к нам человек. И вообще равнодушный. И относится он к нашему обществу так же, как к новой литературе,— иронизирует в душе. Я в этом на сто процентов убежден. Формалист он, кладовщик от науки — вот он кто!

— Да с чего ты взял? — возмущался Федя.— Где доказательства?

Вадим не любил затевать споры на людях, но если уж затевал — не умел сохранять при этом хладнокровие, быстро раздражался, повышал голос. Он и теперь сразу же нахмурился, заговорил резко:

— Да, он не считает советское литературоведение наукой! Он сам говорил: «Я, говорит, не газетный борзописец-рецензент, которому копейка цена, я ученый и занимаюсь классикой». Ну конечно! Там-то спокойней: есть установочки, формулировочки, все много раз обговорено, гремели споры — слава богу, давно отгремели. Там безопасно! А здесь самому надо думать, спорить — того гляди ошибешься. И главное, неинтересно ему это. Ведь воспитан он на старой русской литературе...

— А мы на чем воспитаны? — спросил Сергей.— Мы-то с тобой...

— Всякое бывает воспитание,— жестко перебил Вадим.— Советская литература не на пустом месте вырос-

ла, тоже на русской классической воспитывалась. А как же?.. Но еще больше — на новых идеях, на коммунистических идеях...

Разговор перекинулся к последним советским романам. Тут уж началась в полном смысле словесная драка. Каждая книга вызывала самые яростные и противоречивые суждения: «Ерунда!», «Фальшивка!», «Лучшая вещь о войне!», «Дамское рукоделье!», «Это все для детей!», «Это настоящая правда!» Сергей и Каплин наседали на Лагоденко, пытаясь вернуть его в область теоретического спора:

— Ну хорошо, а основное отличие соцреализма от критического?

— Да возьмите Горького...

— Только без цитат — своими словами!..

— Ну, я вижу, вы тут до ночи засели,— сказала вдруг Лена, которая долгое время молчала и задумчиво сидела среди споривших.— Мне домой пора.

Она поднялась, перекинула через плечо свою кожаную сумку на ремне, с монограммой «Е. М.» и попрощалась. Вадиму хотелось сейчас же пойти за ней, но почему-то он не мог встать с места. Он уже не слушал спора. Несколько минут просидел он в аудитории и вдруг встал с такой поспешностью, словно куда-то опаздывал.

— Я, пожалуй, пойду. Время позднее,— пробормотал он, глядя на часы.

— Ты уже наполовину ушел,— сказала Нина, усмехнувшись.

Никто, кроме Вадима, который так потерялся, что не сумел ответить, не услышал этого замечания. Сергей и Лагоденко рассеянно пожали ему руку.

Он вышел в коридор. Из аудитории несся ему вдогонку раскатистый голос Лагоденко:

— ...не доказательство? Ну хорошо. Ли Бон! Кого из русских писателей тебе было интересней всего читать?.. Да, на родине!

Ли Бон заговорил что-то невнятно и взволнованно, тонким голосом. Торжествующий бас Лагоденко прервал его:

— Ты понял? Советская литература стала мировой, потому что всему миру интересно узнать нашу жизнь...— Вадим шел по коридору, и голос Лагоденко быстро затихал: — И это простые люди, не формалисты...

Вадим выбежал из дверей института во двор. Лены

нигде не было. Она ушла и была уже далеко, наверно, ехала в троллейбусе.

Голые деревья тихо шумели на ветру в пустом сквере. Вадим остановился возле ограды. Ему захотелось теперь вернуться обратно, в аудиторию, где шел интересный и увлекший его спор, но нелепое, ложное чувство неловкости удерживало его, и он знал, что не вернется.

«Я веду себя глупо,— подумал он с раздражением.— Нет, надо быть проще. Ведь так или иначе, все уже видят...»

Известие о подготовке сборника сразу оживило деятельность НСО. Заметно оживился и Сергей Палавин — он уже не заговаривал о своем выходе из общества, активно выступал на заседаниях и, по собственным его словам, «как проклятый» сидел над рефератом. Всем хотелось попасть в сборник, а Сергею особенно. Неудача с первым рефератом, о котором многие, вероятно, давно уже забыли, мучила Сергея до сих пор, сидела в его честолюбивой памяти как заноза.

Реферат Нины Фокиной прошел успешно, и этот успех еще более подстегнул Сергея. На следующее заседание он не пришел и сказал Вадиму, что явится в НСО, как только закончит реферат.

Но в конце ноября он неожиданно заболел, простудившись на катке.

ГЛАВА 6

Вадим работал над рефератом о прозе Пушкина и Лермонтова в оценке Белинского. Он не написал еще ни одной строчки самого реферата — до сих пор перечитывал Пушкина и Лермонтова, читал других русских писателей того времени: Карамзина, Марлинского, Одоевского. Работа, намеченная им, была так обширна, что, казалось, он не закончит ее не только к Новому году, но и к весне. Вадим не спешил. Он не стремился попасть в первый сборник, да и вообще мало думал о том, чтобы куда-либо попасть,— работал планомерно, упрямо, никуда не торопясь, и получал от этой работы полное удовольствие.

Между тем уже близилась зимняя сессия и предшествующие ей различные «малые» испытания: коллок-

виумы, семинары, контрольные работы. Все меньше времени оставалось для реферата.

В середине декабря должна была состояться контрольная работа по английскому языку. Для Вадима это было большим и грозным испытанием. У него не было счастливого дара к языкам, каким обладал Сергей. То, что Сергей схватывал на лету, давалось Вадиму ценой многочасовых упражнений памяти, упорным трудом. Сергей носил с собой и читал в троллейбусе английский detective story[1] в триста страниц, в то время как Вадим мучился со словарем над брошюркой адаптированного, то есть изувеченного до неузнаваемости, «Тома Сойера». Для того чтобы лучше запоминать слова, Вадим придумывал всяческие ухищрения: завел себе словарь-блокнотик и всегда носил его в кармане, читая где попало, выписывал слова на отдельные листочки — на одной стороне английское, на другой русское и играл сам с собой в детское лото.

Преподавательница английского языка Ольга Марковна уважала Вадима за то единственное, за что преподаватели языков уважают студентов,— за трудолюбие. К Сергею она относилась придирчиво. Стоило ему согрешить в контрольной или случайно не выучить какое-нибудь grammatical rule[2], заданное на дом, Ольга Марковна обрушивалась на него безжалостно. Она распекала его по-английски, и очень сердито, а Сергей оправдывался тоже по-английски, улыбаясь и щеголяя своим произношением. Часто такой разговор был понятен только им двоим, и это было для Сергея, очевидно, самым приятным.

Вообще Ольга Марковна была женщина справедливая, энергичная и с выдумкой. Со студентами она говорила исключительно «на языке» и умела каждую лекцию построить по-новому, интересно, избегая шаблонов. Она устраивала на лекциях игры в шарады, литературные викторины, обсуждения институтских событий, последних советских книг и кинокартин. И в эти часы Ольга Марковна была весела, насмешлива, любознательна, с молодым увлечением принимала участие в играх и спорах.

Но как изменялась она в дни экзаменов или контрольных! В ее остроносом, напудренном добром лице

---

[1] Детективный роман *(англ.)*.
[2] Грамматическое правило *(англ.)*.

сорокалетней женщины появлялось неизвестно откуда выражение непреклонной, почти надменной суровости и что-то, как говорил Сергей, «робеспьеровское». Она теряла чувство юмора, переставала понимать шутки и всем своим видом олицетворяла латинскую поговорку: «Да свершится правосудие, пусть хоть погибнет мир».

Весь курс, кроме Палавина, Андрея Сырых, Фокиной и еще нескольких завзятых отличников, ожидал декабрьской контрольной с привычным трепетом.

В первое декабрьское воскресенье группа Вадима решила совершить экскурсию в Третьяковскую галерею. Собралось человек пятнадцать, и к ним присоединилось еще несколько студентов других курсов, соседей по общежитию. Единственный человек, кто шел в Третьяковскую галерею первый раз, был Рашид Нуралиев, молодой узбек, в этом году только поступивший в институт.

Вадим успел уже подружиться с этим черноволосым юношей, широколицым, плечистым, с могучими ладонями потомственного кетменщика. Вадиму нравилось его скуластое, веселое лицо, его неизменная жизнерадостность, его улыбка, сверкающая всеми зубами — белыми и плотными, как зерна в кукурузном початке. Рашид все хотел знать сейчас же, подробно, не стеснялся казаться невежественным или смешным, всем надоедал вопросами — и никому не надоедал. Он ведь приехал в Москву учиться и занимался этим делом добросовестно, не теряя ни минуты.

Жил Рашид Нуралиев в общежитии, в комнате, где жили Лагоденко, Лесик и Мак Вилькин, и потому Вадим так скоро с ним познакомился. Он знал уже всю двадцатилетнюю жизнь Рашида — отец его был колхозником, Рашид закончил среднюю школу в Янги-Юльском районе, мальчишкой работал водоносом на Ферганском канале, а во время войны участвовал в стройке Северного Ташкентского канала, уже бригадиром кетменщиков. Тогда же он вступил в комсомол. В кишлаке у него осталась невеста — Рапихэ, дочь кузнеца.

— Совсем молоденькая, а уже десятый класс кончает! — с гордостью говорил Рашид.— А красивая, знаешь! Брови такие — у нас говорят, как арабская буква лим. Большая красавица! А умная — вай, вай! Умнее меня на три головы...

Вместе со студентами пошел в Третьяковку и Иван

Антонович Кречетов. Всю дорогу он шел с Андреем, держа его под руку,— Андрей был любимцем профессора. «Надежда кафедры!» — шутливо называл его Иван Антонович.

Идя по широкому тротуару Каменного моста, Кречетов рассказывал о художнике Поленове, которого знал лично. От Ивана Антоновича ни на шаг не отставала Лена. Вадим шел сзади и то и дело слышал ее смех и оживленный голос, перебивающий профессора, очень звонкий на свежем воздухе.

День был безветренный, не по-зимнему теплый. Белое небо — одно бескрайное облако — склонилось над городом, и, казалось, не солнце, спрятанное где-то в вышине, освещает землю, а это прозрачное белое небо, похожее на огромную лампу дневного света под матовым абажуром. В этом ровном небесном свете терялись краски, оставались одни полутона и общий на всем налет дымчатой голубизны — одни дома чуть желтее, другие чуть сероватей.

Возле кино «Ударник» река не замерзла. Вода была черной, тяжелой и в стелющихся клубах пара казалась кипящей. Над куполом «Ударника» с криком носились галки, и лишь эта птичья суетня в небе нарушала ощущение покоя и безмятежности. В Москве это ощущение очень редко — оно бывает только зимой и только в такие тихие, слабо морозные воскресенья, в какие-то неуловимые промежутки дня, между двумя и четырьмя часами...

По пути в Третьяковку Вадим рассказывал Рашиду о Москве — они шли мимо Кремля, Дома правительства к Кадашевской набережной. Вадим заранее радостно предвкушал, как он будет водить Рашида по лабиринту залов, знакомых ему, как его собственный дом, рассказывать о художниках, наблюдать за восхищением Рашида. Как в детстве он любил показывать товарищам свой альбом марок, интересные книги из отцовской библиотеки, так теперь он нетерпеливо ждал минуты, когда он покажет Рашиду свою галерею, с любимыми своими картинами — точно готовился сделать ему драгоценный подарок...

И вот он — узенький, скромный, выбегающий к гранитному борту Канавы, знаменитый Лаврушинский переулок.

Как всегда по воскресеньям, в переулке было людно — одни торопились в галерею, другие медленно шли

навстречу. Пробежала стайка ребятишек-ремесленников в черных форменных шинелях; громко стуча ботинками, посередине переулка прошагала, обгоняя студентов, группа матросов, за нею медленно ехала какая-то посольская машина с иностранным флажком.

До Вадима доносился голос Кречетова:

— ...в девяносто втором году они передали галерею в дар Москве. Было уже больше тысячи картин, сотни рисунков, скульптура, гобелены — неплохой дар, а? В миллион триста тысяч рублей оценили все собрание. Павел Михайлович был замечательный человек...

За оградой появилось невысокое красно-белое здание, похожее на старинный княжий терем, со славянской вязью на фасаде.

Каждый раз, входя в этот чистый асфальтированный двор, Вадим вспоминал свое первое детское посещение Третьяковки, лет пятнадцать назад. Необъятность жизни, которую он, мальчишка, вдруг открыл для себя в один день, потрясла его тогда почти до головокружения.

Потом он часто бывал здесь с Сергеем. Состязались: кто лучше знает художников. Сергей всегда знал лучше,— он был находчивей и легче запоминал фамилии. Вспомнился школьный учитель рисования Марк Аронович — «Макароныч». Смешной был старик, слезливый и сентиментальный. А бас у него был оглушающий, и он любил театрально восклицать. В Третьяковке Макароныч поучал: «Искусство надо чувствовать спиной. Если, глядя на Сурикова, вы не чувствуете божественного холода в спине, значит, вы не дети, а куча дров». В сорок первом году Макароныч ушел в московское ополчение и погиб под Ельней.

— Приготовьте студенческие! — крикнула Лена, обернувшись.

— Билеты, да? Зачем? — спросил Рашид.

Вадим объяснил ему, что входная плата для студентов втрое ниже. В гардеробе густо толпились посетители — много молодежи, военных, пионеров. Бородатые старички с кроткими нестеровскими ликами не успевали подавать и принимать пальто.

В первый зал, поблескивающий многовековым золотом икон, студенты вошли все вместе и сразу — словно очутились в другом воздухе — начали двигаться осторожно, бесшумно, заговорили шепотом. Потом компания постепенно разбрелась. Иван Антонович с Леной

и Андреем остались позади, в залах древнерусского искусства. Лесик, Нина и Мак Вилькин пошли вперед.

Вадим остановился вместе с Рашидом у картины Верещагина «Перед атакой под Плевной».

— Плевна, Болгария...— сказал Рашид тихо.— У меня брат в Болгарии воевал, Джалэль-ака. Ранен был, без ноги пришел.

Он пристально вглядывался в лица русских солдат, лежащих густыми рядами в своих темно-синих мундирах, со скатками шинелей через плечо и винтовками, изготовленными для штыкового боя. До свистка атаки остались короткие часы, может быть минуты. Темное предрассветное небо тревожно, и тревожная суровость во всем — в насупленных лицах солдат, их сутулых спинах, надвинутых на глаза фуражках... Готовится, очевидно, одна из последних атак на редуты Осман-паши, глубокой осенью.

— Верещагин тоже был ранен в Болгарии,— сказал Вадим.— А мы прошли северней, через Румынию. Я только на болгарской границе был, на Дунае у Калафата.

Рядом висела другая картина Верещагина: «Нападают врасплох», из эпохи завоевания царизмом Средней Азии. Те же усатые русские солдаты, только в белых рубашках и шароварах, похудевшие, с коричневыми от загара лицами, отражают внезапное нападение бухарцев. Они сейчас только выбежали из палаток, сбились маленькой группой, ощетинились штыками, а бухарцы летят на них конной лавой. В лицах русских — отчаянная решимость биться до конца, и они не дрогнут, будут биться прикладами и штыками, пока не изойдут кровью, падут все до единого на жаркий песок, затоптанные конями, порубанные кривыми азиатскими саблями.

Долго стояли Вадим и Рашид перед этой страшной картиной. И думалось каждому: может быть, тот высокий, с русыми кудрями солдат без фуражки, застывший впереди своих с обнаженным клинком в руках,— дед Вадима, а дед Рашида, чернобородый, в зеленой чалме, мчится ему навстречу со злобно перекошенным лицом и взнесенной для смертельного удара саблей. Через секунду сойдутся они — и оборвется хриплая русская брань или пронзительный крик мусульманина.

Это было семьдесят лет — один только человеческий век назад.

— Да-а, старинная картина! — с уважением сказал Рашид, прицокнув языком.— Очень историческая.

Они постояли некоторое время молча, потом Рашид взял Вадима за руку и они перешли в соседний зал. И сразу пахучим и васильковым обняло их очарование русской природы — перелески во влажной дымке, светлая шишкинская даль...

Вадим подумал о том, что в Третьяковку надо ходить не часто. Тогда испытываешь то удивительное чувство обновления, какое бывает весной, когда впервые после долгой зимы выедешь за город, в зелень. Много раз в жизни ты видел прозрачное небо весны и вдыхал запах земли, молодых трав и речной свежести, но каждый раз это волнует по-новому. И эти тихие светлые залы каждый раз волнуют по-новому.

Здесь словно вся Россия, великая история родины: вот васнецовские богатыри, дымное утро стрелецкой казни, вот снежная Шипка, и немая тоска Владимирки, и понурые клячи у последнего кабака, и гордое, белое во мраке каземата лицо умирающего. И вот — октябрьское кумачовое небо, матрос с железными скулами, победные клинки Первой Конной и Владимир Ильич в скромном своем кабинете, созидающий великое государство...

Сквозь стеклянный потолок уже густо синело вечернее небо. В залах зажглись лампы. Посетителей к вечеру стало еще больше — то в одном, то в другом зале встречались экскурсии, много людей ходили с блокнотами в руках, что-то озабоченно записывали. В нижнем зале, на выставке советской графики, Вадим и Рашид встретили свою компанию.

Когда все вышли на улицу, Лена сказала:

— Вадим, у нас тут спор возник. Андрей говорит...

— Нет, постой! — перебил ее Андрей.— Пусть сначала он сам выскажется. Вот слушай: Репин написал «Бурлаков». Был он счастлив, закончив эту картину?

— Ну разумеется!

— Так. А вот, например, Семирадский написал картину «Танец между мечами». Она очень красиво написана и такая яркая, захватывающая.

— Я знаю картину. И что?

— Так вот, был ли и Семирадский счастлив, закончив свою картину?

— Вероятно, да.

— И последнее,— с азартом закончила Лена.— Что такое счастье художника? И вообще счастье?

Нина и Лесик засмеялись.

— Н-да, спор солидный...— сказал Вадим, озадаченно улыбаясь.

Лена взяла Вадима под руку и заговорила громким, энергичным голосом, так что слышно было всему переулку:

— Я утверждаю,— вот слушай, Вадим! — что и Репин и Семирадский были одинаково счастливы, потому что оба они испытали счастье художника, закончившего творение. Ведь верно? А Андрюшка говорит, что Репин был счастлив более полно, глубоко, что он испытал счастье не только художника, но и гражданина, общественного деятеля. А я считаю, что счастье нельзя делить и измерять, как варенье. Это горе может быть бо́льшим или меньшим, а счастье — что-то абсолютное...

— Еще Толстой отметил,— поспешно вставил знаток первоисточников Мак Вилькин.— Все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные...

— Ну как, Вадим? Я права? — спросила Лена, настойчиво дергая Вадима за рукав пальто.

— Ты?.. По-моему, нет,— сказал Вадим, стараясь собраться с мыслями и ответить как можно обстоятельней, серьезней.— Видишь ли, Семирадский не был в искусстве ни гражданином, ни общественным деятелем. Он возрождал академизм в живописи, борясь по существу с реалистическим искусством передвижников...

— Дима, зачем ты читаешь мне лекцию?

— Нет, я просто рассказываю тебе о Семирадском. Я его не люблю. Это художник фальшивый, подражательный, и картины его напоминают не жизнь, а театр.

— Боже мой, да кто с этим спорит! Ты ответь мне: был он счастлив, закончив картину «Танец между мечами»? Как художник — ну?

— Да что значит счастлив? — сказал Вадим с досадой.— Заладила тоже: «счастлив, счастлив»! Надо выяснить сперва, что такое вообще счастье.

— Вот я, Димочка, и собираюсь выяснить!

— И напрасно. По-моему, это то, что выяснить путем дискуссий невозможно. Об этом даже нельзя говорить вслух...

— Художник бывает счастлив тогда,— сказал Андрей со своей удивительной способностью просто и

убежденно, безо всякого стеснения высказывать всем известные вещи,— когда он своим творчеством приближает к счастью народ, пусть на шаг, на полшага.

— Да? А я думала, что народ ни при чем,— сказала Лена насмешливо.— Такие истины, Андрюша, ты можешь приберечь до экзаменов. Кстати, люди, которые так прекрасно все понимают, никогда почему-то счастья не достигают. Скажи, Андрюша, ты был хоть раз в жизни счастлив?

И сейчас же чему-то обрадовался Мак:

— Леночка, это у Гёте есть! Еще Гёте сказал: «Суха, мой друг, любая теория, но вечно зелено дерево жизни!» Это гётевское...

— Так, Андрюша, ты был хоть раз счастлив? — спросила Лена, лукаво прищурясь.

Андрей неожиданно смутился и, покраснев, пробормотал:

— То есть... в каком смысле...

— А, вот видишь? — торжествующе рассмеялась Лена.— Теперь ты спрашиваешь, в каком смысле? В том-то и дело! Потому что я знаю одно, и вы меня не переубедите: человек живет один раз, и личное счастье для человека— очень много, почти все!

— Правильно,— согласился Вадим.

Нина Фокина и Мак, которые шли сзади, возмутились в один голос:

— Как же правильно, Вадим?

— Постойте,— сказал он.— Все дело в том, как понимать личное счастье.

— А как ты, например?

— Я после скажу. Давайте по порядку. Кто у нас...— Вадим обернулся и, увидев Рашида, молчаливо шагавшего рядом с Иваном Антоновичем, хлопнул его по плечу.— Вот самый молодой! Ну-ка, ваше мнение о счастье, дитя юга?

— Наше? — переспросил Рашид и, нахлобучив на лоб меховую шапку, начал храбро: — Я скажу, хоп! Ну, когда была война, я думал, что счастье — это конец войны, победа, мой отец и братья — все живые, и все приезжают домой. Потом это счастье наступило. И я стал думать, что счастье — другое, это когда я кончу десять классов, аттестат зрелости в руках, полный порядок. Потом и это счастье наступило. И я решил, что настоящее счастье будет тогда, когда я приеду в Москву и поступлю учиться в московский институт. И вот...—

И, блеснув в темноте зубами, он вдруг сорвал шапку с головы и широко взметнул ее в сторону.— Видите? Счастье? Конечно, да! Таких счастий, по-моему, у человека должно быть очень много, разных. Вся жизнь. И чем больше, тем лучше,— вот как, по-моему.

— А Достоевский говорил,— заметил Мак,— что человеку для счастья нужно столько же счастья, сколько и несчастья.

— Ну, Достоевский! — Лена махнула рукой.— Это устарело. Никто не знает, что такое счастье. И вообще мне надоело спорить.

Она быстро пошла вперед и взяла под руку Лесика.

— Лесь, что нового в спортивном мире? — громко спросила она.— Ты уже был на хоккее, видел чехов?

Вадим смотрел сзади на длинное зимнее пальто Лены с меховой оторочкой внизу, которое волнисто развевалось при каждом ее шаге, и подумал вдруг, что спортивный мир интересует ее так же мало, как и разговор о художниках. И неожиданно сердито он сказал:

— А ты, Мак, набит чужими афоризмами, как... черт знает что.

Общий разговор сам собой прекратился. Вышли на мост, там было ветрено, промозгло, и все шли сгорбившись, наклонив головы, пряча лица от ветра в поднятые воротники. Кречетов вдруг спросил:

— Что же замолчали, молодежь? С таким интересом вас слушаю... А?

— Слишком долгий разговор, не для улицы,— сказала Нина.— А ваше мнение, Иван Антонович? Как вы смотрите на счастье?

— Оптимистически,— сказал Кречетов, улыбнувшись. Он отогнул рукою угол воротника и обернулся к Вадиму: — А знаете ли вы, от чего происходит слово «счастье»?

— Счастье! Что-нибудь — часть... участь...

Лена остановилась впереди и обрадованно произнесла:

— Я же и говорю: часть, частное! Ну — частная жизнь, личная... Да, Иван Антонович?

— Да нет, не совсем. Счастье — это «со-частье», доля, пай. Представьте, что какое-то племя закончило удачную охоту. Происходит дележ добычи. Каждый член племени или рода получает свою долю — свое «со-частье». Понимаете? Значит, уже древнее слово «со-частье» имело общественный смысл. Если для всего

рода охота была удачной, каждый член рода получал свое «со-частье», если была неудачной — не получал ничего. Стало быть, для достижения своего «со-частья» каждый человек должен был всеми силами участвовать в общей охоте, в общем труде. То есть то, что называется — участвовать в общественной жизни. Вот вам и философия личного счастья.

— Как здорово-то, Иван Антонович! — воскликнула Нина, захлопав в ладоши.— Ленка, ты слышала?

— Точно! Личное сливается вместе с общественным,— сказал Рашид убежденно.

— Вы гений, Рашид! И тогда у человека бывает настоящее личное счастье. Которого, кстати, никто не отрицает.

Иван Антонович остановился на углу и стал прощаться. Но студенты не отпустили его, проводили до автобусной остановки и стояли там, оживленно разговаривая и развлекая этим всю очередь, пока не подошел автобус.

На обратном пути и Алеша Ремешков высказался по спорному вопросу:

— Я тоже вот думаю — какое счастье, что у нас завтра «окно» на первых часах. И какое, думаю, несчастье, что староста у нас в комнате этот чертов Лагоденко. Все равно ведь, зверь, в семь часов утра подымет, одеяла сорвет и заставит гимнастику делать. А как бы славно поспать!

Лесик вздохнул и с унынием покачал головой.

Проходя по улице Фрунзе, студенты решили проведать Сергея Палавина. Вадим и Лена поднялись на четвертый этаж, а остальные решили зайти в «Пиво — воды» купить каких-нибудь пирожков (все порядочно проголодались), а потом ждать Вадима и Лену внизу у подъезда.

Как только Вадим нажал кнопку звонка, дверь сейчас же открыли. В передней стояли Ирина Викторовна и Валя — та самая приятельница Сергея из мединститута, с которой Вадим уже несколько раз встречался. Она была в пальто и надевала шляпку, собираясь уходить. Ирина Викторовна обрадованно поздоровалась с Вадимом и учтиво познакомилась с Леной, окинув ее быстрым и зорким, чуть бесцеремонным взглядом.

— Мы на минуту. Нас ждут внизу,— сказал Вадим почему-то извиняющимся тоном.

— Пожалуйста! Раздевайся, Вадим! Очень хорошо,

что зашли,— воодушевленно откликнулась Ирина Викторовна.— Раздевайтесь — Лена, да? Пожалуйста, Леночка, вот сюда...

Валя кивком поздоровалась с Вадимом и прошла мимо него к двери молча, поджав губы. «Не узнала, что ли? — подумал Вадим, испытав на секунду холодок неприязненности.— Она ведь близорука и очков не носит, стесняется». Последнее время он редко встречал Валю у Сергея и Сергей почти не говорил о ней.

Лена ушла в комнату, а Вадима Ирина Викторовна задержала на минуту в коридоре.

— Вадик, постой,— шепнула она, многозначительно подняв брови.— Они повздорили сейчас, так что ты не спрашивай ни о чем, не надо...

— Кто?

— Да с Валюшей он! Я ведь прихожу поздно, а Валюша зашла помочь ему, разогреть, мало ли что... А он ужасно брюзгливый делается, когда болен. И чем-то обидел девушку.

— Обидел?

— Ну да! Пустяки, конечно. С ним надо уметь, терпеливо...— Ирина Викторовна взяла двумя руками галстук Вадима, подтянула его, заботливо расправив ворот рубашки, и неожиданно, так же шепотом спросила: — А тебе нравится Валюша?

— Мне? — переспросил Вадим с недоумением.— Да, хорошая девушка... Серьезная.

Ирина Викторовна вздохнула.

— Ты знаешь — очень хорошая! И такая жалость, что она Сереже не пара.

— Почему, Ирина Викторовна?

— Вадик, у ней с легкими не все благополучно,— Ирина Викторовна сказала это совсем тихо, горестно наморщив лоб.— Ты понимаешь? А у Сережи дед умер от туберкулеза. Ужасно жалко... Ну, иди, Вадик, иди,— она подтолкнула Вадима к дверям комнаты.— Эта Лена — ваша студентка, да?

— Да, наша.

— Симпатичная мордашка.

Сергей полулежал в кровати, курил и, томно сощурив глаза, смотрел на Лену, которая что-то оживленно рассказывала о Третьяковке. Шея его была замотана теплым шарфом, но лицо не производило впечатления особой недужности, хотя и было несколько бледным и давно не бритым.

— Как твой реферат, Дима? Идет? — спросил Сергей, как только Вадим вошел в комнату.

— Слабо идет. Видно, во втором семестре кончу.

— Что ты, Вадим! — Сергей даже привстал испуганно.— Ты же в сборник не попадешь!

— Ну, не попаду. Во второй попаду, невелика беда.

Но Сергей с горячностью принялся убеждать Вадима, что ему необходимо попасть именно в первый сборник и надо приложить к этому все усилия.

— Это же позор! Черт те кто будет печататься, а ты не попадешь? Позор! Я, больной, и то работаю, глаз не смыкаю. Ты знаешь, я изменил тему, я пишу о драматургии Тургенева. Борис Матвеевич посоветовал. Да! — Сергей вдруг обрадованно хлопнул ладонью по одеялу.— Знаешь что? Я же могу тебе дать свой старый реферат о Гейне, все материалы, планы. Конечно! Он наполовину сделан, может быть, не наполовину — на треть...

— Да зачем мне?

— Ты его докончишь за две недели и успеешь подать для сборника. А свой будешь спокойно писать во втором семестре. Это же идея, а? Блеск!.. Правильно, Леночка?

— Конечно, правильно. Берись, Вадим!

— Нет, незачем,— сказал Вадим, качнув головой.— Зачем мне чужое доделывать? Я свое напишу.

— Да почему чужое? Мое, а не чужое! Ты ведь сам говорил, что мы должны помогать друг другу — помнишь? Андрей же помогал Нине Фокиной.

— То было другое дело.

— Ну, как хочешь.— Сергей пожал плечами и, обернувшись к Лене, сказал огорченно: — Ты видишь, какой он? Из-за своего этого ложного самолюбия, гордыни навыворот, всегда в тени остается. Я же добра тебе желаю, дурья башка!

— Да нет, глупости. Успокойся, брат ты мой, тебе вредно волноваться.

— А что мне? Твоя забота...— проворчал Сергей, укладываясь на подушки.— Обидно! Андрей печатается, Фокина, синечулочница, а Вадим Белов, понимаешь...

— Белов не пропадет,— сказал Вадим улыбаясь.— Еще всем вам носы утрет, будь спокоен.

Лена взглянула на часы и быстро встала со стула.

— Ой, Дима, мы уже пятнадцать минут просидели! Идем. А то ребята наши уйдут!

— Да подождут, ничего...

— Нет, Дима, это нехорошо. Идем сейчас же!

Вадим поднялся неохотно. Он как раз надеялся, что ребята не дождутся их и уйдут. Да разве они на это способны! Это ж «не по-товарищески»...

— Мы твоего доктора встретили,— уже в дверях сказала Лена.— Это доктор была — девушка такая бледненькая, невзрачная?

Сергей взглянул искоса на Вадима и кивнул.

— Доктор.

— А молодая какая...

— Да. А надоела мне как...— Сергей слабо шевельнул кистью и усмехнулся невесело,— хуже микстуры... Спасибо, ребята, что зашли. Вадим, не забудь книги мне взять — Меринг и Луначарский!

Он вытянул ноги, укрылся одеялом до подбородка и сразу стал похож на больного. Ирина Викторовна на цыпочках вошла в комнату с кастрюлькой в руках, в которой дымилось молоко и плавали желтые пятна масла.

Да, Вадим надеялся напрасно — ребята терпеливо ждали их у подъезда и даже сохранили для них два пирожка. На обратном пути Лена сейчас же взяла под руки Нину Фокину и Лесика и ушла вперед. Вадима это не огорчило, даже наоборот — ему показалось это хорошим признаком. В последнее время в кругу ребят он чувствовал себя легче, свободней, когда находился в некотором отдалении от Лены.

Он стал думать о предложении Сергея, о том, как Сергей возмущался его отказом, и о том, что помощь все-таки предложена была из благих и дружеских побуждений. И это было приятно. Ведь всякое проявление дружбы, пусть самое незначительное и смешное, бывает для человека радостным и делает его счастливым.

И он ощутил внезапный прилив радости оттого, что шел с друзьями, и их было много, таких разных, веселых и настоящих, и среди них была Лена, которая пела звонче и слышнее всех:

> На веселый студенческий ужин
> Собрались мы сегодня,
> Друзья...—

и все встречные мужчины внимательно смотрели на нее, а женщины улыбались.

Мороз к вечеру поутих. Небо очистилось и было таким глубоким и звездным, как на картинах Куинджи.

Но только небо. Ни люди, идущие навстречу, ни шумные, в озарении многоцветных огней перекрестки, ни скверы, в которых кипела бурливая сложная жизнь детворы,— ничто не напоминало Вадиму ни одну из виденных картин, оставаясь удивительным и неповторимым, полным новизны.

Слух у Вадима был неважный, и все-таки он пел, и по временам даже довольно громко.

А в общежитии их ожидала новость: Лагоденко сдавал сегодня русскую литературу и опять провалился — в третий раз! Козельский принимал у себя дома, и Лагоденко прямо в профессорском кабинете поругался с Козельским, сказал ему, что он ничего не понимает в литературе, что он педант, схоласт и «мелкий, желчный человечек». Все это рассказала Рая Волкова — девушка, с которой Лагоденко дружил.

— Ребята, что ж теперь с Петькой будет? — спрашивала она растерянно.— Какой дурак, а? Ой, дурак же...

Самого Лагоденко в общежитии не было. Рая говорила, что он пришел от профессора злой и мрачный, рассказал обо всем сквозь зубы и ушел куда-то «бродить по городу».

ГЛАВА 7

Сергей стал часто простуживаться в последнее время. День начинался с насморка, кончался головной болью. Должно быть, влияла погода — на дворе была то слякоть, то подмораживало, то сеялся робкий меленький снежок. Настоящей зимы все не было.

— Ты стал какой-то гнилой,— говорила ему Валя.— У тебя плохой обмен. Надо больше спортом заниматься.

Но она, конечно, говорила это только для того, чтобы досадить ему, уязвить,— есть такие особы, которые под видом дружеской откровенности любят говорить неприятные вещи. Уж кто тогда спортсмен на курсе, если не он? Первый нападающий сборной института по волейболу!

Мать была убеждена, что дело в теплых носках и в том, что Сережа слишком много курит. Она надоедала ему своей суетливой заботливостью, бесконечными советами и замечаниями, которые, как ему казалось, ни-

чем не отличались от тех советов и замечаний, какие она давала ему десять лет назад. Иногда он говорил ей раздраженно: «Я был в армии, спал черт те где, под открытым небом, в болотах — и ни одна болячка не пристала. А как вернулся и начались эти твои заботы, причитания, ахи да охи — так и я почему-то стал простуживаться. Ну почему, как по-твоему? Почему?»

Больше всего его раздражало то, что мать через три года после его возвращения из армии как будто совсем забыла, что он прошел фронт, видел столько страшного и жестокого, что он стал на войне настоящим мужчиной и знает о жизни такое, что ей и не снилось.

Первое время мать относилась к нему с уважением, наивно волнуясь, слушала его рассказы о фронте и гордилась им. Ему это было приятно. Но потом вспоминать стало нечего, а если и всплывала вдруг какая-нибудь упущенная история, то не было желания ее рассказывать. Он чувствовал, что и мать и даже маленький Сашка слушают его теперь только для того, чтобы сделать ему приятное.

Сергей был один в доме — Ирина Викторовна еще не вернулась с работы, Сашка ушел с товарищами на каток.

Температура второй день была нормальной, но в институт Сергей еще не ходил. До сих пор его донимал насморк, и от этого было скверное настроение. Ничего не хотелось делать, все валилось из рук. А дел как раз было много, и главное — он должен был писать.

Он лечил себя сам: пил кальцекс, обвязал шею шарфом; балконную дверь он завалил ковром, чтобы не дуло, и старался пореже выходить в коридор.

Работа не клеилась. Он сидел два часа за столом — и не написал ни строчки. Заниматься он тоже не мог. Впрочем, с занятиями у него была своя система, действовавшая безотказно. Перед экзаменами он садился на пару ночей, запасался табаком, таблетками фенамина — и почти всегда сдавал на пятерки.

Днем неожиданно пришла Люся Воронкова. Она отставала в английском языке, и Сергей помогал ей. Это была одна из его общественных нагрузок.

— Ну как, поправляемся? — спросила Люся, глядя на его замотанную шарфом шею и сонное лицо.

— Мало-мало...

— Стрептоцид пьешь? Кальцекс чепуха, пей стрептоцид. Или вот, слушай...— Она заговорила обычным, напористо-деловым тоном: — Берешь в аптеке шиповник, завариваешь, как чай,— исключительно помогает! А нос надо ментолом мазать. И не вешать. И стрептоцид возьми — завтра другим человеком станешь. Вид у тебя неважненький. А заниматься будем?

— Будем, конечно. Снимай пальто.

К Люсе Воронковой он относился в глубине души иронически, главным образом оттого, что не видел в ней женщины. Она вся была какая-то угловатая, сухая, и голос у нее был резкий и слишком громкий и самоуверенный для девушки. Волосы она стригла коротко, и все же всегда они лежали неряшливо. Люся была членом профкома, состояла в активе клуба и всегда была в курсе всех институтских событий.

— В понедельник будет контрольная,— сказала Люся,— если я завалюсь, меня до экзамена не допустят. А я наверняка завалюсь. Ольга страшно злая. Говорят, она с мужем разводится.

Сообщив тем же деловым тоном несколько подробностей из семейной жизни «Ольги», Люся села в кресло и разложила перед собой тетради. Начали заниматься. Сергей прохаживался по комнате и гундосым, насморочным голосом читал по учебнику упражнения:

— «Я пью каждый вечер чай с бисквитами... Пью ли я каждый вечер чай с бисквитами?» — В конце концов вовсе не плохо, что она пришла. Писать он все равно не писал и не занимался.— «Нет, я не пью этого... Питье чая с бисквитами очень полезно...» — И главное, это необременительно, времени много не отнимает, а все же в некотором роде — товарищеская помощь...— «Любите ли вы по временам пить чай с бисквитами?»

Люся писала скверно, читала она еще хуже. Она, очевидно, считала, что чем невразумительней выговаривать, тем будет выходить правильней, и так ворочала языком, точно у нее был флюс.

Они занимались с час, и Люся сказала, что она больше не может.

— Если я занимаюсь языком больше часа, у меня начинается мигрень. Почему я такая бездарная к языкам, а, Сергей? Я же не тупица какая-нибудь, правда?

— Да нет,— сказал он снисходительно.— Был такой Уарте, испанский философ, который считал, что память и разум рождаются противоположными причинами. Па-

мять развивается только за счет разума, а разум — за счет памяти. Так что утешайся тем, что в тебе слишком много разума.

— Серьезно? Был такой философ? — обрадовалась Люся.— Вот умница! Как, ты говоришь, его фамилия?

Потом они пили чай — Люся отказывалась, но Сергей настоял на своем очень решительно, ему самому хотелось пить. За чаем Люся по секрету рассказала Сергею, что его хотят выдвинуть на стипендию имени Белинского. Его и Андрея Сырых. Кому из них дадут — это решит ученый совет. Но его выдвинут, это она знает точно. Она не может сказать, кто ей это сказал, но это точно. А Андрея Сырых очень поддерживает Кречетов.

Для Сергея сообщение это было неожиданным.

— Ну что ж, Андрюшке стоит дать,— сказал он, вставая, чтобы скрыть внезапное волнение, и прошелся по комнате.— Он парень хороший, его все любят. Ему и дадут.

— Почему? Вполне могут тебе дать.

Сергей махнул рукой.

— Да нет, я не надеюсь! Дождешься от них...

Помолчав и шагая по комнате все быстрее, он сказал задумчиво:

— Дело, конечно, не в деньгах... Честь дорога! Белинский как-никак, а? Ну ладно, ничего пока не известно, и не будем об этом.

Но ему уже было тепло и весело от мысли, что скоро — вероятно, в следующем месяце — он получит персональную стипендию — он был уверен, что дадут ему, а не Андрею. Сначала вывесят приказ и все будут его поздравлять, потом, двадцатого числа, он придет в бухгалтерию. «Вы, кажется, персональник?» — «Не кажется, а именно так!» Кассирша достанет отдельный небольшой списочек — на глазах у всей очереди, которая получает по общему списку, огромному и скучному, как телефонная книга. Дело, конечно, не в деньгах, но все же... Лишние полторы-две сотни— разве плохо?

Он снова пошел на кухню ставить чайник. На этот раз он уже не испытывал жажды, но ему не хотелось отпускать Люсю — может быть, она еще что-нибудь расскажет, вспомнит какие-нибудь подробности.

Но относительно стипендии Люся больше ничего не смогла сказать, кроме того, что это «строго между нами, смотри никому не говори, потому что подведешь и меня и одного человека. Но это точно».

Сергей улегся на диван, а Люся сидела в кресле, положив ногу на ногу, и курила. Ноги у нее были худые, с острыми коленями. Подбородок у нее тоже был острый. И нос тоже. Говорила она не переставая и все какие-то пустяки. Ее присутствие уже начало тяготить Сергея. Впрочем, нет, она сообщила еще одну важную новость: на среду назначено комсомольское собрание, где будет обсуждаться поступок Лагоденко. Объявления еще нет, будет в понедельник. Об этом поступке Сергей знал по рассказам Вадима: Лагоденко при сдаче экзамена нагрубил Козельскому, но как и что именно он сказал профессору — Сергей не знал. С Лагоденко у него были старые счеты, они не любили друг друга.

— Я давно этого братишку балаганного терпеть не могу,— сказал он.— Правильно, надо его проучить.

— Да, да! Необходимо! Проучить всем коллективом, чтобы он почувствовал! — с неожиданным пылом заговорила Люся.— Ставит себя выше всех — подумаешь персона! А ведь найдутся, чего доброго, защитники на собрании.

— Кто?

— Ну кто — многие... Андрей Сырых, его дружок. Райка Волкова, ребята из общежития. У нас в общежитии, у девочек, второй день споры идут. Собрание шумное будет, вот увидишь! Ведь не только о Лагоденко будут говорить, но и о Борисе Матвеиче, а его и так кое-кто недолюбливает. Понимаешь?

— Андрей будет защищать Лагоденко?

— Защищать-то, пожалуй, он не будет, но он начнет говорить о Козельском. Ну и... понимаешь, он может восстановить против себя профессуру. Очень свободно. В конце концов не наше дело вмешиваться в преподавание, учить профессоров...

— Да, не всегда уместно.

— Это просто глупо будет, нетактично! Если, допустим, Борис Матвеич ошибается в чем-нибудь — его и без нас поправят. Есть кафедра, дирекция, есть, наконец, партийный комитет.

— Да, да,— сказал Сергей, нахмурившись.— Я, вероятно, выступлю на собрании. По ходу дела.

— Ну да, там видно будет. Но по поводу Лагоденко ты наверняка можешь выступить. Ты даже обязан выступить, как старый комсомолец, активист,— понимаешь? Тебя уважают, к твоему мнению прислушиваются, ты не должен молчать.

— Да, я выступлю,— Сергей кивнул.

Совсем стемнело. За стеной, в соседней квартире, три раза коротко пискнуло радио — семь часов. Люся стала торопливо собираться. Сергей тоже оделся, чтобы проводить ее до метро.

— Нет, нет, не надо! Сиди дома, ты же простужен,— запротестовала Люся.— Что я, маленькая?

Однако Сергей и на этот раз был настойчив и проводил Люсю до метро. Ему нужно было купить табак.

Вернувшись домой, он сел за стол и снова попробовал писать. Улица освежила его, и голова болела меньше. В последние два дня Сергей временно отложил реферат — устал от книг — и взялся за свою повесть.

Писать Сергей Палавин начал еще на фронте — сотрудничал некоторое время в армейской газете. В институте он изредка печатал в стенной газете стихи и фельетоны, подписываясь «Сергей Лавин». На втором курсе начал было писать пьесу из студенческой жизни, но, видно, слишком долго собирал материал, слишком много разговаривал с приятелями о своей пьесе — и дальше планов и разговоров дело не пошло.

Однако все в институте знали, что Палавин человек пишущий, что он «работает над вещью», и так как других пишущих в институте не было, по крайней мере никто не знал о них, то вся масса непишущих испытывала к Палавину нечто вроде уважения.

Месяц назад он принялся за повесть из жизни заводской молодежи. Редактор армейской газеты, в которой Сергей когда-то пописывал, работал теперь в московском журнале и обещал помочь напечатать. Сергей начал работать с воодушевлением. За десять дней он исписал своим бисерным почерком сорок страниц, а до конца было далеко. Но затем дело пошло не так гладко и быстро. Герои его, бывшие в первых главах жизнерадостными, энергичными людьми, превратились вдруг в каких-то бездарных истуканов, которые не желали двигаться, туго соображали, говорили пошлости...

Вот и сегодня он просидел над бумагой до полудня и, кроме двух абзацев, в конце концов перечеркнутых, и галереи чернильных уродцев на полях, ничего не создал. Очевидно, он просто переутомился за эти дни. Надо сделать перерыв.

Он закрыл чернильницу, лег на диван и закурил. В это время вошла мать — у нее был свой ключ,

— Ты один, Сережа? Как твой грипп? — спросила она, кладя портфель.

Он сказал, что грипп все так же. Ирина Викторовна сразу же принялась за приготовление обеда — побежала на кухню, потом прибежала обратно, опять на кухню, зазвякала там посудой, застучала картошкой, звонко бросая ее из ведра в миску. «Теперь уже наверняка не сосредоточишься»,— с досадой подумал Сергей. Он еще надеялся сосредоточиться и поразмыслить над повестью. Иной раз на диване ему приходили в голову неплохие мысли.

И вдруг его осенило — повесть надо отставить! Да! Отставить до второго семестра. И сейчас же, немедля, сесть за реферат и закончить его как можно скорее, чтобы успеть прочитать его до ученого совета в НСО. Это очень важно. Главное сейчас — реферат!

Войдя в комнату, Ирина Викторовна спросила:

— Ты работаешь? Думаешь?

— Да,— сказал он.

Он думал о том, как жаль, что ему не дадут стипендию Белинского в этом месяце. Было б как раз под Новый год.

— Хорошо, я буду тихо...

Стараясь не шуметь, Ирина Викторовна достала из буфета посуду и ушла на кухню. За обедом Ирина Викторовна вдруг сказала оживленно:

— Да, совсем забыла! Ведь у меня сегодня Валюша была!

— Где это у тебя? — спросил он, от удивления перестав жевать.

— На работе. Она пришла как раз в обеденный перерыв. Мы с ней проболтали полчаса...

— Ну?

— Ну, я ей рассказывала...

— А что ей нужно было?

— Я не понимаю, отчего ты сердишься, Сережа?

— Я не сержусь, а спрашиваю: что ей нужно было у тебя? — повторил он раздраженно.

— Ну, просто зашла проведать... Спрашивала про тебя, как твоя работа. Она очень занята, ее куда-то там выбрали... И потом она принесла мне голубую шерсть, что обещала.

— Какую шерсть?

— Ах, господи! Да помнишь, я говорила при ней, что хочу вязать тебе свитер, да не знаю, где взять цветной

шерсти. Из белой очень марко. Валюша мне и пообещала. Вспомнил? Ну и принесла вот... Сережа, ешь с хлебом, что за еда без хлеба?

Он хмуро смотрел на мать и не видел ее, углубленно думая о своем. Потом бросил со звоном вилку.

— Не нужно мне никакого свитера! И незачем было брать у нее шерсть. Не хочу я этого, ты понимаешь? Не хочу... Что ты суешься не в свое дело, в конце концов?

— Ты просто, Сережа, ужасный сегодня,— сказала Ирина Викторовна растерянно.— Хоть ты и больной, знаешь...

— Я не больной, а меня выводит из себя это... вот это ханжество! Как будто в Москве нельзя достать шерсти, кроме как у Вали?

— Если ты хочешь...

— Я хочу, чтобы ты отдала ей шерсть обратно! И все!

— Ну да, сейчас же побегу к ней! Не обедавши...

— А я говорю — отдай! Пришла тебя проведать... благодетельница тоже...

— Не благодетельница, а очень милая, обязательная девушка, а ты стал невыносимый брюзга! Это отвратительно в твоем возрасте! — сказала Ирина Викторовна рассерженно.— И вообще, если ты против шерсти...

— Вообще я не против шерсти,— усмехнулся Сергей.— Я не люблю только, когда меня гладят против шерсти. Запомни это, пожалуйста.

Вдруг успокоившись собственным каламбуром, он взял вилку и принялся есть. Ирина Викторовна тоже начала было есть, но она так разнервничалась, что у нее пропал аппетит. Она отодвинула тарелку и встала из-за стола.

— А ты, пожалуйста, ничего у меня больше не проси! И делай свой свитер где хочешь!

Сергей не ответил и продолжал с аппетитом есть котлеты, густо намазывая их горчицей. Когда он кончил второе, пришел Саша. Он разрумянился после катка, весь пунцово светился, и черные глаза его блестели влажно и радостно. От него сразу пахнуло свежестью, морозным простором улиц.

— А вот и я! — весело крикнул он, бросая коньки возле дверей.— Ох, мам, и накатался я! Ноги не держат! Мы с Левкой на спор бегали... Как здорово там —

музыка играет, фонари, народищу жутко сколько! А есть я хочу-у!

— Сейчас же положи на место коньки! — сказала Ирина Викторовна, ставя на стол третий прибор.— Что за мерзкая привычка бросать где попало! Сколько раз тебе говоришь, говоришь — горох об стенку.

Саша удивленно посмотрел на мать, потом на брата.

— Что это вы... какие-то?

— Какие — какие-то? Не говори глупостей. Мой руки и садись живо!

Ирина Викторовна вышла на кухню.

— Сережа! — сказал Саша, подойдя к брату.— Что это у вас...

— Ничего у нас! — грубо ответил Сергей.— Мал еще. Иди мой руки, уроки делай и помалкивай.

— Подумаешь... какой сердитый! — Саша озадаченно замолчал, потом проговорил решительно: — Ну ладно! А я тебе не скажу, кого я на катке видел!

— Пожалуйста. Как-нибудь переживу.

Сергей подошел к книжному шкафу и, взяв томик Герцена, лег на диван. Некоторое время в комнате все молчали.

Потом Саша спросил суровым голосом:

— Чай пить будешь?.. С печеньями.

— Ты хочешь сказать — с бисквитами? — усмехнулся Сергей.— Нет, я не пью этого.

Он повеселел, вспомнив о Люсе и о персональной стипендии, и с наслаждением потянулся на диване.

Пообедав и став добрее, Саша все же не утерпел:

— Ладно, так и быть, скажу, кого я видел: Вадима и эту девчонку, которая приходила к тебе... Лена, что ли?

Сергей заинтересованно привстал.

— Лену? Они что... вместе были или как?

— Ну да, друг с дружкой катались! А у Лены этой свитер такой с оленями, как в кино, знаешь...

Сергей промычал что-то и снова уткнулся в книгу. Перевернув две страницы, он спросил:

— Они про меня не спрашивали? Вадим не спрашивал?

— Нет. Он только рукой мне помахал.

Не прочтя и десяти строк, Сергей бросил книгу, повернулся лицом к стене и лежал так некоторое время, рассматривая обои. Потом встал с дивана и ушел в свою комнату спать.

А Вадим в это время шел через Крымский мост. Он только что проводил Лену до метро и возвращался домой пешком.

На мосту было ветрено, как всегда. Громады стальных колонн изморозно светлели у подножий, а вершины их были невидимы. Они терялись во мраке неба, которое было не черным, а грифельным, белесым от московских огней и казалось подернутым паром.

Полночная Москва, необъятно раскинутая перед Вадимом, была теперь городом огней. Днем здесь жили люди, теперь — огни. Все вокруг было населено роями огней. На горизонте огни клубились, переливались, как фосфоресцирующая морская волна, и дальше — там тоже были огни, но их уже не было видно, и только светлой стеной в небе стояло их мощное зарево.

Парк лежал за мостом, курчавый и тихий, опустелый. Огромный каток возле набережной, еще час назад полный стремительной и бурной жизнью, был теперь безлюден. Молчали оглушительные репродукторы, без конца повторявшие песню про фонарики: «Гори, гори, гори-и-и...» Отсюда нельзя было различить той маленькой темной аллеи, куда они заехали отдохнуть.

...Скамья стояла на повороте, рядом с большой аллеей. Лед возле нее был обколот и выщерблен коньками, а посередине аллейки стоял полосатый фанерный бакен, вроде речных бакенов, обозначающих мели, с надписью: «Лед поврежден». Вадима душила жара — он размотал шарф и сдвинул на затылок шапку с мокрого лба.

— Я кружусь, ох... У меня кружится голова, я пьяная! — Лена тихо смеялась, откинувшись на спинку скамьи.— Вадим, положи руку мне под голову, а то очень жестко.

Он сел к ней поближе, вытянув руку вдоль спинки скамьи, и она положила на нее голову. От густого румянца лицо ее казалось совсем темным, лишь влажно блестели губы. Мимо по большой аллее все время проносились люди. Мальчишки подкатывали вплотную и прямо перед их скамьей со старательным скрежетом делали крутые повороты. Проехал степенным шагом дежурный милиционер на коньках. Как все милиционеры на льду, он двигался как-то чересчур прямо, с хозяйственной солидностью, растопырив руки и сурово поглядывая по сторонам. Отталкивался он одной ногой. Толстый дядя в очках, одетый как заправский спортсмен,

но, очевидно, впервые в жизни ставший на лед, медленно ехал вслед за милиционером. Он то и дело сгибался в поясе, точно отвешивая кому-то короткие поклоны. Вдруг остановившись, дядя начал страшно вибрировать всем телом и то, что называется — «бить копытом», потом взмахнул руками и молча шлепнулся навзничь.

Лена захохотала, глядя на него, и выпрямилась как раз в то мгновение, когда Вадим решил обнять ее.

— Ты помнишь наш спор? Насчет счастья? — вдруг спросила Лена.— Ты ведь так ничего и не сказал...

Ему не хотелось сейчас говорить об этом и вообще не хотелось говорить. Ему хотелось обнять ее. Никакие слова не годились для этого и были только помехой. Лена придвинулась к нему и, раздумчиво склонив голову, сказала:

— Счастье? Это... знаешь что? — И, помолчав, она напевным, выразительным шепотом прочитала:

Есть минуты, когда не тревожит
Роковая нас жизни гроза.
Кто-то на плечи руки положит,
Кто-то ясно заглянет в глаза...
И мгновенье житейское...

Лена полузакрыла глаза и чуть слышно, одним дуновением закончила:

...канет,
Словно в темную пропасть без дна.
И над пропастью медленно встанет
Семицветной дугой тишина.

— Да, да, это счастье...— пробормотал Вадим, обнимая ее, целуя ее закрытые глаза, щеки, ее холодные, обжигающие губы. Опять к ним подъехали мальчишки и демонстративно закрутились возле самой скамейки.

— Здесь не отдохнешь. Пойдем вон в ту беседку, там тихо,— сказала Лена, вставая, и запела вполголоса: — «Гори, гори, гори-и-и...» Она такая таинственная!

Вадим поднялся бодро и сказал:

— Пойдем. Только там сидеть не на чем.

— А мы эту скамейку возьмем! Давай?

— Подожди,— он отстранил Лену и потряс скамью.— Я ее и один донесу.

Взяв скамью двумя руками, Вадим разом поднял ее над головой. На него посыпалась сухая снежная пыль. Ставя коньки враскос, медленными шажками он пошел к беседке.

Лена кружилась вокруг него, испуганно повторяя:

— Ой, Вадька, упадешь! Ой, осторожно!.. Помочь тебе?

— Донесу...

— Бросай ее... Сейчас же брось! — кричала Лена.— Ну, я верю, что ты сильный, верю! Ну, ты — Поддубный, Новак, Геркулес!

Руки его тряслись и гнулись, а коньки то и дело подламывались, выворачивая ступни. Наконец он доковылял до беседки и с грохотом бросил скамейку на промерзший деревянный пол. Лена вбежала за ним, стуча по доскам коньками. В беседке была полная темнота, и вдруг Вадим увидел на полу горящий уголек брошенной папиросы. И над ним, возле столба — две фигуры, стоявшие близко друг к другу.

— Вадька, обратно! — шепнула Лена и сбежала по ступенькам на лед.

Вадим растерянно сошел за ней следом. Лена уже мчалась по аллейке и неудержимо хохотала. А в беседке чей-то бас обрадованно проговорил:

— Вот спасибо, браток!

И снова — большой каток, расплывчатое сияние огней на льду, музыка. И рука Лены в мокрой варежке, такая тонкая, невесомая и делающаяся неожиданно твердой на поворотах.

Больше ничего не сказали они друг другу в этот вечер. Ему казалось, будет еще много таких вечеров, очень много в его жизни. И будут такие же плывущие в небе фонари, и пение льда, и музыка, и рядом с ним смеющаяся девушка с покорной и тонкой ладонью... Все это будет у него еще много, много раз. Он радостно верил в это.

...Когда Вадим проходил мимо белых, с ярко освещенными рекламными щитами ворот парка, к нему вдруг подбежали две девушки.

— Вадим! Белов! — закричали они еще издали.— Постой!

Полная черноглазая Марина Гравец была из его группы, другая — Симочка Мухтарова, красивая девушка с цыганским лицом,— с исторического факультета. Обе были в спортивных штанах и с коньками.

— Нельзя сказать, чтобы он готовился к английской контрольной! — весело и певуче сказала Марина и засмеялась.

— А разве у нас контрольная?

— В понедельник. Ольга Марковна еще позавчера грозилась. Что-то страшное будет — на все времена!

— Он этого сейчас не понимает,— вполголоса сказала Симочка.— Для него существует только настоящее время.

— А, да! — Марина понимающе кивнула.

Вадим сделал вид, что ничего не заметил.

Вместе с девушками он дошел до Калужской. Всю дорогу Вадим шутил с ними, рассказывал анекдоты, сам смеялся над всякой чепухой. Ему было весело и легко, как никогда.

— А мы знаем, отчего ты сегодня такой легкомысленный,— сказала вдруг Марина, загадочно улыбаясь.— Знаем, Симочка?

— Знаем, знаем! — баском ответила Симочка.

Вадим усмехнулся:

— Вы же пифии, все знаете.

Они вышли на площадь и ждали у перехода, пока пройдет поток машин.

— У меня было такое впечатление, глядя на вас,— продолжала Марина игриво,— будто вы обсуждаете последний семинар по политэкономии.

— Ну что ты! — сказал Вадим.— Мы объяснялись в любви, говорили стихами...

Марина расхохоталась.

— Ого! Только учти, Белов, объяснения на катке бывают очень скользкими.— И добавила серьезно: — А в общем ты делаешь успехи.

ГЛАВА 8

Андрей Сырых зиму и лето жил под Москвой в дачной местности Борское. Летом здесь было людно и весело, наезжало много дачников, молодежи, на реке открывались лодочные станции и пляжи, с утра до вечера гулко стучал мяч на волейбольных площадках,— жизнь была увлекательной и легкой, похожей на кинофильм.

Но она исчезала так быстро, эта неповторимая летняя жизнь, унося с собой запахи лугового настоя, тихую музыку по вечерам, и скрип уключин, и влажную мягкость песка под босыми ступнями,— проносилась падучей августовской звездой и исчезала. И в городе, дело-

вом и дождливом, в его будничной суете не было и следа этой жизни.

А потом начиналась осень, пустели дачи, в поле и в лесу почти не встречалось людей, да и те, кто встречался, были редкие огородники, торопящиеся на автобусный круг с мешком картошки за плечами. И плыла в воздухе нетревожимая паутина, просеки затоплялись жухлой листвой — ее никто уже не убирал до снега, и далеко по реке разносилось одинокое гугуканье последнего катера с каким-нибудь случайным пассажиром, забившимся от холода в нижний салон.

И на долгие месяцы затихало Борское под снегом. Синие морозные утра, синие сумерки, а по ночам — лай заречных собак, шорох снега и далеко на горизонте трепетное призывное миганье огней московской окраины...

Андрей мало времени проводил в Борском. Рано утром он уезжал в институт, после лекций обедал в институтской столовой и шел заниматься в библиотеку. В Борское он приезжал поздно вечером, а иногда и не приезжал вовсе — оставался ночевать у своих приятелей в студенческом общежитии.

Отец Андрея работал мастером на большом станкостроительном заводе. Во время войны и Андрей работал на заводе, не на отцовском, но тоже на крупном. В военное училище его не взяли из-за близорукости, и в 1942 году семнадцатилетним юношей он пришел на завод. В первые два месяца работал в трубоволочильном цехе — тянул на волочильном стане «профиля». Потом его перевели работать к горну, а оттуда в слесарную группу. Два года Андрей простоял у слесарного верстака, на третий — перешел диспетчером в инструментальный цех. У него было много друзей на заводе, и когда Андрей уходил на учебу, ему казалось, что он обязательно будет продолжать эту дружбу, ни за что не оторвется от ребят, с которыми прожил тяжелые годы войны.

— Все вы обещаете, знаем! — говорил при прощании Пашка Кузнецов, слесарь из инструментального.— А как уйдет — так и концы! Поминай как звали.

Андрей сердился, ему казалась нелепой и оскорбительной даже мысль — забыть ребят. Глупости! И он действительно в первое время забегал раз в неделю на завод, в комитет комсомола, в клуб и общежитие. А потом посещения эти стали все реже и через год прекра-

тились вовсе. Закрутила, отнесла в сторону новая жизнь, новые интересы, а главное — это жестокое московское время, которого всегда не хватает.

Изредка теперь на улице, в трамвае или в метро на встречных эскалаторах наскочит Андрей на кого-нибудь из заводских. И времени всегда в обрез, и поговорить-то в толкучке, на проходе неудобно — помнут друг другу руки, поулыбаются:

— А ты здоров стал! Ну как?

— Да ничего! А как на заводе?

— Да работаем, даем стружку... Серега на учебу ушел, директор у нас новый.

— Ну! Нестеров, значит, ушел!

— Он-то давно ушел. Да ты забежал бы, Андрюха, что же ты?

— Да, да, я вот обязательно на днях забегу.

И опять ему кажется, что обязательно он на днях забежит, искренне верит, что забежит. И радостно и грустно от этих встреч...

Недавно на хоккейном матче Андрей встретил Пашку Кузнецова. Он увидел его уже на выходе со стадиона и узнал по широким плечам и знакомой кожаной кепочке, в которой Пашка ходил большую часть года. После первых бесцельных восклицаний, радостных тумаков и объятий друзья разговорились и долго шли пешком. Павел, оказывается, ушел из цеха и теперь — освобожденный секретарь комитета ВЛКСМ на заводе.

— Скоро уж отчетно-перевыборное провожу,— сказал он с гордостью.

— Сколько же мы с тобой не виделись? Да, два года...— Андрей вздохнул.— Завидую я иногда тургеневским героям — только и делают, черти, что друг к другу в гости ходят и чай пьют. Вот жизнь была!

Оба рассмеялись, весело взглянув друг на друга. Кузнецов взял Андрея под руку.

— У меня к тебе дело есть, Андрюшка.

— А ну?

— Ты помнишь, у нас при клубе кружки были? Муз, драм, шах, изо — это при тебе. Потом мы кройки и шитья организовали для девушек, мото и теперь вот думаем — литературный. Народ у нас этим интересуется, в библиотеке от читателей отбою нет. И писатели даже есть свои.

— Писатели?

— Ну, не писатели, сам понимаешь, а — пишут, в

общем. Помнишь, был такой Валек Батукин, ученик у Кузьмина? Ну — Кузьмин, мастер из шестого механического? С бородой... Вот — ученик его, конопатый такой, Валек. Теперь уже по пятому работает, строгалем. Такие, я тебе скажу, поэмы пишет — ахнешь! У нас в газете печатают. Все говорят — настоящий талант. Вот сегодня как раз в газете есть его стихи про столовую, сатира. Насчет очередей здорово схватил. И другие у нас пишут. Народ есть!

— Это интересно,— сказал Андрей.

— Да, да. Это, я тебе скажу, очень интересно. Вот мы и хотим создать литературный кружок. А то ведь они ребята способные, а образования не хватает. В райкоме нам посоветовали обратиться в какой-нибудь литфак. Я вот и думаю: нет ли у вас там кого? Со старших курсов, чтоб учился нормально. Хоть и девушку можно. Раз в неделю или в две, по вечерам. С завкомом я утрясу. А сам-то ты... небось занят очень?

— Я вот и соображаю,— сказал Андрей.— Завтра тебе позвоню, идет?

Андрей любил во всем советоваться с отцом. Так повелось с детства, с тех давних пор, как умерла мать. Отец Андрея был мастером в группе монтажников, его часто посылали в длительные командировки на заводы Ленинграда, Ростова, Коломны. В этой трудной и трудовой жизни Андрей быстро повзрослел и стал для отца помощником и другом. Степан Афанасьевич был человек веселый и необычный. Приходя вечером домой и садясь за обеденный стол, он всегда спрашивал: «Ну, молодежь, что сделано для эпохи?»

Андрей и младшая сестра его, Оля, должны были рассказывать об учебных делах со всеми подробностями. После этого Степан Афанасьевич сообщал последние заводские новости и любил изображать в лицах то главного инженера, то какого-нибудь мальчишку из ремесленного, то ворчливого старика нормировщика. И всегда рассказывал что-нибудь смешное.

Узнав о предложении Кузнецова относительно кружка, Степан Афанасьевич сразу же распалился.

— Иди, иди, не раздумывай! Давно тебе говорил: не теряй связи с заводом. Рабочий класс! Шутишь? От рабочего класса никак нельзя отрываться.

— Значит, ты мне советуешь?

— Не только что советую, а приказываю, твоей же пользы ради.— Степан Афанасьевич сделал строгое

лицо и поднял указательный палец. Потом, вдруг улыбнувшись так, что блеснули в угольной бороде плотные молодые зубы, заговорил мечтательно: — Вот кончишь ты свою академию, превзойдешь всю эту книжную премудрость и станешь... кем? Педагогом или этим, как его... литературоедом?

Андрей улыбнулся:

— Сколько уж говорил — педагогом, педагогом! Успокойся.

— Ну ладно. Пошлют тебя куда-нибудь за тыщу верст, где одни степи, к примеру, или тайга непролазная, рыбаки, охотники, рабочий люд — и ни одного литературоеда вокруг. А? И станешь ты ребятишек учить наукам, а они тебя — пустяковине всякой, простоте, как меня когда-то студент-ссыльный истории учил, а я его — как дроздов ловить, сопелки вырезывать...

— У тебя, пап, чай стынет,— сказала Оля, придвигая отцу стакан.

— Н-да... Подожди. А под старость и я к тебе притащусь. Вместе будем. Ты со своими ребятишками, а я, глядишь, с твоими. Пчел заведем. Эх!..— Он вздохнул и рассмеялся, качая головой.— Что, молодежь, любит ваш батька ерунду плести? Любит! И сам знает, что ничем его от цеха не оторвешь, а плетет. Ничем. Вот беда... И как это мы с вами сделаемся?

— Не вздыхай ты раньше времени! — сказал Андрей, поморщившись.

Он не любил этих разговоров. Все чаще стали появляться у отца мысли о неизбежной разлуке с детьми. С одной стороны — он твердо считал, что они должны ехать на периферию, и именно туда, где специалистов мало, где они всего нужнее, с другой стороны — понимал, что не сможет им сопутствовать. Работа на заводе была его жизнью. Уйти с завода — значило перестать дышать.

И сейчас он думал о том же, замолчав вдруг и машинально помешивая ложечкой чай.

— Пап, ты мне обещал мясорубку починить, не забыл? — сказала Оля.— Там винт сорвался.

— Ах, винт зарвался? — пошутил Степан Афанасьевич и, оживившись, быстро завертел ложечкой.— Ну что ж, сейчас его призовем к порядку, ежели он зарвался...

Ночью, лежа на коротком, со впалыми пружинами диванчике возле окна, Андрей долго не мог заснуть.

Думал о будущем своем кружке, о людях, с которыми суждено будет познакомиться, а может быть, встретиться вновь. Сумеет ли он заинтересовать их? Говорить с ними просто и увлекательно? Да и есть ли у него вообще какие-нибудь педагогические способности? Если бы не его проклятая застенчивость... Это был крест, который тяготил его всю жизнь. В школе он считался вялым и неактивным, потому что никогда не просился сам отвечать, не кричал с места, а на устных экзаменах часто путался от волнения.

Начальник раздаточного бюро на заводе, старик Шатров, говорил ему: «Что ты, Сырых, и вправду как недоваренный всегда? Ты бойкой должен быть, горластый. Кто тебе перечит — ты его крой в голос, бери за кожу, если ты диспетчер являешься». При девушках, особенно незнакомых, Андрей терялся и в больших компаниях держался молчаливо и в стороне. Девушки считали его угрюмым книжником и относились к нему с пренебрежительной досадой. Другие, знавшие Андрея ближе, уважали его, но таких было немного.

А ведь он был и остроумен, и хорошо пел, и сам любил веселье. Но застенчивость, или, как отец говорил, «дикость», часто мешала ему быть самим собой.

Андрей не боялся работы, не боялся попасть впросак — свой материал он знал хорошо. Но как его встретят ребята? Ведь многих он знал прежде, работал в одном цехе, ходил в такой же, как и у них, темной от масла, прожженной точильными искрами спецовке. Держаться с ними запросто? «А, слесаришки! Ну как?..» Нет, только не это, а серьезно, внушительно, иначе занятия превратятся в болтовню. Лекторская солидность! «Итак, товарищи, я мыслю наши занятия...»

К черту! Все разбегутся. Ведь кружок будет после рабочего дня — он-то знает, что это такое, сам работал...

Андрей ворочался с боку на бок, скрипел пружинами. Он вспотел от этих бесплодных, мучительных дум. Или просто жарко было в комнате? В доме все спали — ложились рано, потому что рано приходилось вставать; было темно и тихо, от натопленной печи веяло нагонявшим бессонницу жаром.

Андрей встал, босиком подошел к окну, сиреневобелому от луны. Он стоял там, пока его не пробрал холод. И когда он снова нырнул под нагретое одеяло, он уже не думал ни о чем. Он просто увидел вдруг за-

вод и свой цех, где он начинал страшно давно... Возле горна стоял огромный пневматический молот, он бухал весь день и всю ночь. В горне лежали оранжевые стальные матрицы, их раскаляли для слесарной доработки. Чтобы прикурить, надо было вынуть матрицу клещами — она так и полыхала, обдавая жаром лицо. Мастер люто ругался. Но он и сам вынимал их, у него тоже никогда не было спичек. Его фамилия была Смердов — маленький, измазанный маслом, с серым, морщинистым лицом гнома. Он на всех кричал, не ходил, а бегал и все делал сам. И он никогда не ел, не спал и даже не сидел на стуле. Его боялись и уважали. Глядя на него, всем хотелось работать лучше. Звали его «Чума».

А в соседнем цехе работала Галя, такая полная, голубоглазая, с веселым и нежным лицом.

Она ходила в ватнике и сапогах. Андрей только здоровался с ней и смотрел на нее, когда она проходила по цеху. Так было очень долго. Однажды он шел по темному коридору возле инструментальной кладовки, совсем безлюдному — была ночная смена. Кто-то выбежал из дверей ему навстречу.

— Кто это?! — крикнул взволнованный голос. Он узнал голос Гали. Она подбежала к нему.— Кто это?

— Это я,— сказал Андрей.

— В Ленинграде победа! Блокада прорвана! Победа! — крикнула она, задыхаясь от бега, и вдруг мягкие руки обняли его за шею и губы ее горячо и быстро прижались к его щеке.

— Откуда ты знаешь? Галя!

Но она уже убежала. А он так и не понял тогда, что это первый раз в жизни его обняла девушка.

Потом он читал вместе с нею газету с сообщением Советского Информбюро и объяснял Гале по карте ход военных действий. А потом Галя поступила работать в госпиталь и уехала в Ленинград. Она была ленинградкой.

Ночью весь завод был во мраке, ни одного освещенного окна — идешь в перерыв, только изредка цигарка мелькнет. И в этой тьме — гуденье, глухое, натужное, беспрерывное. Гудят корпуса, только стекла потенькивают.

А сейчас, должно быть, светло...

Ведь окна какие, громадные там окна...

В этот вечер в общежитии праздновался «объединенный день рождения». Юбилярами были Рая Волкова,

Марина Гравец и Алеша Ремешков. Даты их юбилеев разнились друг от друга на несколько дней, но по старой традиции общежития все они праздновались в один день — так было и веселей, и торжественней, и экономней.

Торжество происходило в большой комнате девушек, оформленной специально для этого «особой юбилейной комиссией». Прямо перед входом висел большой плакат: «Ударим по именинникам доброкачественным подарком!» — и на нем нарисованы тушью образцы подарков, начиная с автомобиля «Москвич» и кончая семейным очагом «керогаз».

В комнате было развешано еще много разных плакатов, карикатур, торопливо состряпанных веселых стихотворений, а посредине стоял накрытый стол, составленный из трех канцелярских столов и блистающий великим разнообразием посуды (вплоть до пластмассовых стаканчиков для бритья) и некоторым однообразием закусок. У каждого входящего рябило в глазах от рубиновых россыпей винегрета.

На стене перед столом красовалась предостерегающая надпись: «Именины не роскошь, а суровая необходимость!»

Вадим пришел с опозданием. Все уже усаживались за стол, и кипела та шумная суетливая неразбериха, когда одному не хватает стакана, у другого нет вилки, третьему не на чем сидеть, и он садится с кем-то на один стул, и после первого неудачного движения оба летят, под общий хохот, на пол...

— Явление десятое, те же и Вадим Белов! Где музыка? — закричал, вскакивая с места, долговязый Лесик. Он был уже навеселе и без пиджака, со сбившимся набок галстуком.— И с подарками! Гость нынче сознательный пошел...

Вадима вклинили между двумя именинницами. Марина Гравец, без умолку болтая и смеясь, сейчас же принялась за ним ухаживать — налила полстакана водки, навалила на тарелку гору закусок: винегрет, соленые помидоры, колбасу и сыр, все вместе. Она была в красивом платье, нарядно завитая, раскрасневшаяся, и черные глаза ее блестели счастливо и взбалмошно.

— Маринка, стоп! — протестовал Вадим.— Винегрета хватит.

— Нет, нет! Изволь! — кричала Марина хохоча.— Изволь все съесть! Винегрет — принудительный ас-

сортимент! Он испортится. На всех разнарядка, на всех!

Справа от Вадима сидела высокая рыжеволосая Рая Волкова в строгом, темно-синем костюме, на лацкане которого пестрели два ряда разноцветных орденских планок. Так же как Вадим, Лагоденко и много других юношей и девушек, учившихся теперь в институте, Рая прошла фронт — четыре года отняла у нее война. Семнадцатилетней девушкой, только закончив сельскую среднюю школу на Тамбовщине, Рая ушла добровольцем в армию, на курсы медсестер, а к концу войны была уже лейтенантом. На фронте Рая вступила в партию.

Вадиму нравилась эта спокойная сероглазая девушка, самая старшая на курсе,— ее все уважали, а девчата, которые жили с нею в общежитии, по-настоящему любили ее, шутливо и нежно называя «мамой».

Рая спросила Вадима, почему он один, без Лены.

— Я не знал, что вы ее пригласили. А вы ее приглашали?

— Конечно. Мы звонили по телефону и передали ее маме,— сказала Рая.— Ты должен был заехать за ней. Вот — сам виноват. А Сергей все еще гриппует. Люся к нему заходила.

Рая была странно невеселая сегодня, даже растерянная и все время прищуривала глаза, словно напряженно думала о чем-то. Ее почти не было слышно в общем застольном гаме. Вадим заметил, что Петра Лагоденко нет среди гостей.

— А где же Петька?

Рая пожала плечами.

— Не знаю... Ушел куда-то и никому не сказал. Вадим, ну что за характер у человека? — сказала она тихо и с горечью, повернувшись к Вадиму.— Обязательно надо испортить вечер... Я ему говорю: «Ты придешь!» А он: «А что мне там делать? Мне как раз самое время сейчас веселиться и козлом прыгать!» Я говорю: «Наоборот, тебе надо развлечься, в конце концов ты должен прийти ради меня». Нет... «Ты ничего не понимаешь, отстань!» Просто не знаю... Ну как с ним говорить?

— Может, ему правда лучше побыть одному теперь,— сказал Вадим.— Он, наверно, где-нибудь с Андреем. Андрея тоже ведь нет?

— Нет, он не с Андреем...— Рая качнула головой и отвернулась.

Вадиму хотелось чем-то ободрить, утешить Раю, но он не знал, как это сделать. Он понимал, что она скрывает от других свое настроение и разговор о Лагоденко для нее сейчас будет неловким, тягостным. Да и сам Вадим, который ожидал встретиться здесь с Леной, както вдруг потерял к вечеру интерес. Прежде, когда между ним и Леной еще ничего не было, он с удовольствием приходил на вечеринки, и ему было достаточно посидеть с друзьями, пошутить и повеселиться со знакомыми девушками, которых было много. Но теперь была только одна девушка, с кем ему было так хорошо, которая могла одна дать ему все то, что составляло веселье и прелесть всех вечеринок со всеми девушками и песнями, и еще больше этого, гораздо больше. Вот ее не было здесь, и ему стало скучно, а он не умел заставлять себя веселиться. Вина было много, но он не пьянел. Он пил, почти не закусывая, и не пьянел.

Сегодня днем состоялась наконец многожданная английская контрольная, и теперь, за столом, это событие оживленно обсуждалось.

— Вадим, а как ты написал? Применил герунд?

— Только в первом упражнении. У меня вообще должно быть правильно. Я потом у Андрея спрашивал, у него все так же.

— А у меня тройка будет, я знаю,— с печальной убежденностью сказала Галя Мамонова, тоненькая пышноволосая девушка с глазами русалки.— Я уж такая дурная, обязательно напутаю...

Марина возмущенно к ней обернулась:

— Галька, противно, ей-богу! Чья бы корова мычала!.. Вечно ты хнычешь, а всегда пятерки получаешь.

— Да, да, всегда она прибедняется! — радостно подхватила Люся.— Платье шикарное сшила: «Ой, девочки, как я эту безвкусицу надену? Я и так уродка!» А сама красивей всех нас.

— Ну уж конечно...— тихо сказала Галя, краснея и опуская глаза.

— Ребята, а видели, как Медовская сегодня суетилась? — спросил Лесик.— Она передо мной сидела. Смотрю: показывает мне два пальца. Что такое? Никак не пойму. Оказывается, она второе упражнение не знала, как писать. А я еще перевод не кончил...

— Ты про Ленку? — перебила его трескучим своим голосом Люся.— Подумаешь, удивил! Она всегда с чу-

жой помощью пишет. И главное, считает, что все обязаны ей помогать. А за что? За красивые глаза?

— Ну, не сочиняй,— сказал Мак, нахмурившись.— Лена так не считает, и что-то я не замечал...

— Мак, ты же ничего не видишь! Ты всегда героически садишься на первый стол и ничего не видишь! А мы видим.

— Нет, Люська, ты не права,— сказала Марина, решительно замотав головой.— Что-что, а английский она знает неплохо, не в пример тебе. Там, где надо зубрить, Лена как раз сильна.

Вадим слушал все эти разговоры о Лене с напряженным вниманием, но стараясь скрыть это внимание от других и выглядеть равнодушным. И все же ему казалось, что все видят его напряженность и волнение и понимают, почему он выглядит равнодушным и молчит. Ему надо бы что-то сказать, вступить в разговор. Да и, в конце концов, почему он должен молчать, если он внутренне не согласен с ними, в особенности с этой глупой, трескучей Воронковой? И Вадим вдруг поднял голову и, кашлянув, медленно проговорил:

— Напрасно вы так думаете. И вообще... Знания у вас у всех примерно одинаковые. За исключением Нины Фокиной.

Рая улыбнулась и сказала мягко:

— Вадик, никто из нас плохо о Лене не думает. Она хорошая, добрая девочка, но такая, знаешь, единственная дочка... Она как бы равнодушна ко всему, что не касается ее личности. Такое милое детское равнодушие. Ведь мы знаем друг друга уже третий год, а представь себе, она только четыре раза была у нас в общежитии. И то по делу.

— Ну да, по делу — чулок разорвался или заколку потеряла,— пояснила Люся злорадно.

Вадим, склонившись к своей тарелке, усиленно пытался снять с кружка колбасы кожицу, давно уже им снятую.

— Разговорррчики! Довольно! — вдруг крикнул Лесик, вставая.— Чьи именины, в конце концов? Разговаривать только обо мне. И — выпьем! Выпьем мы за Лешу...— запел он.— Лешу дорого-ого, а пока не выпьем, не нальем другого...

Когда кончилось пиршество, столы сдвинули к стене и начались танцы. Комната была просторная, танцевало сразу десять пар. Лесик уже без галстука, разомлевший

и улыбающийся, бродил между парами, подставлял всем ноги и что-то дурашливо бормотал.

— Леська, прекрати! — кричала ему Марина, танцевавшая со своим приятелем, молчаливым философом из университета.— Веди себя прилично...

— Маринка, я именинник или нет? Самое неприличное для именинника — вести себя прилично...

К Вадиму подошла Рая и предложила танцевать. Она была очень бледна.

— Ты плохо себя чувствуешь? — спросил Вадим.— Может, лучше отдохнешь?

— Нет, ничего. Вот... Петьки все нет.

— Ну, он-то придет! — сказал Вадим убежденно.— Обязательно придет.

Вадим умел танцевать хорошо, танцевал любые танцы, но редко получал от этого удовольствие. Сейчас он старался танцевать как можно лучше, мягко и бережно вел Раю, вспоминал все новые, давно им позабытые па — ему казалось, что он хоть этим немного развлечет Раю. Им было удобно танцевать друг с другом: они оба молчали, каждый думая о своем, и это не было им в тягость. Глядя со стороны на эту молчаливую, сосредоточенную пару, усердно выделывающую самые замысловатые фигуры, можно было подумать, что они целиком поглощены танцем и забыли обо всем на свете...

Потом на середину комнаты выбежал Рашид Нуралиев и начал танцевать какой-то странный, медленный восточный танец, и все стали в круг, хлопали и дружно кричали: «Асса!.. Асса!», словно он танцевал лезгинку. Потом пели песни под аккордеон. Играл на аккордеоне Лесик; голова его была опущена на грудь, и казалось, он спит, но играл он безошибочно и все что угодно.

Когда уже многие, жившие далеко от общежития, стали собираться домой, неожиданно пришел Лагоденко. Хмурый, небритый, в черной флотской шинели, он остановился в дверях, и его сразу не заметили. Потом вдруг Рая увидела его и подбежала.

— А вот и Петя! — сказала Люся, почему-то громко засмеявшись.— Явился не запылился!

Лагоденко молча поздоровался со всеми и сел к столу. Пить и есть он отказался, взял у Лесика хорошую папиросу — именинный подарок — и закурил. Рая села с ним рядом, и они долго говорили о чем-то вполголоса. Лагоденко все время хмурился и, отвечая Рае, смотр[...] в другую сторону.

Празднество приближалось к концу. Умолк аккордеон, остановилась, тяжело дыша, последняя пара вальсировавших, и кто-то уже произносил традиционную фразу:

— Дорогие гости, не надоели ли вам...

И только неутомимые Марина и Люся с небольшим кружком энтузиастов поспешно доканчивали какой-то аттракцион. Это было что-то вроде гороскопа или гаданья с попугаем. Люся вынимала из шапки свернутую бумажку, и Марина называла имя кого-либо из присутствующих. В бумажке была написана пословица, известный афоризм или просто коротенький житейский совет. Бумажки зачитывались вслух, под общий хохот и рукоплескания.

— А это кому? — спросила вдруг Люся.

— Лагоденко!

— «Вся рота шагает не в ногу, один поручик шагает в ногу...»

На этот раз никто не засмеялся, все посмотрели на Лагоденко. Он продолжал сидеть у стола, курил и, казалось, не слышал, что говорят о нем. Вдруг он поднялся, накинул шинель и молча вышел из комнаты. Рая встала.

— Зачем ты это сделала? Нарочно? — подойдя к Люсе, тихо и возмущенно спросила она.— Ты ведь знаешь, какой он!

— Ничего я не нарочно! А что тут особенного?

— Ничего особенного. Какая ты...— И, не договорив, Рая быстро вышла вслед за Лагоденко.

Это был последний билетик, гаданье кончилось. Все пошли к дверям, где на столе были свалены не поместившиеся на вешалке пальто и шубы. Лесик помогал девушкам одеваться и бормотал сонным голосом:

— Вечер окончен. Лакеи гасят свечи, давно умолкли речи... Разъезд гостей... Сколько мехов, дорогих бриллиантов, туфель на микропористой резине...

Вадим решил на несколько минут забежать в комнату ребят, на второй этаж, где жил Лагоденко. На узкой, неосвещенной лестнице он столкнулся с Раей.

— Петр наверху?

— Да, зайди... Я не могу с ним! — Она всхлипнула, пряча от Вадима лицо.— Слова не добьешься...

Вадим в темноте неуклюже пожал ей руку, пробормотал:

— Ну ничего, Рая... Я сейчас...

Лагоденко лежал на своей койке, лицом к стене. Двое уже спали, накрывшись одеялами с головой. В дальнем углу сидел на койке Мак Вилькин и, разложив на коленях доску и шахматы, решал шахматную задачу.

— Почему ты пришел так поздно? — спросил Вадим, садясь на койку Лагоденко.

Тот повернулся к нему и с минуту молчал, пристально глядя на Вадима.

— Я уезжаю в Севастополь, Дима,— сказал он неожиданно.

— Зачем?

— Помощником капитана меня всегда возьмут. Это уже решено.

— Так,— сказал Вадим, помолчав. Он решил говорить мягко и серьезно, хотя слов Лагоденко всерьез не принимал.— Ну что ж, помощником капитана — хорошее дело, интересное...

— Кому ты рассказываешь? — проворчал Лагоденко сердито.— Хм, главное, он мне рассказывает, что это интересное дело...

«Никуда ты, брат, не поедешь,— думал Вадим.— Все одни разговоры. Оттого и сердишься».

— Ну конечно, рассказывать мне тебе нечего,— сказал он спокойно.— А все же... Мне кажется — завтра ты передумаешь.

— Как — передумаешь? Ты что, не знаешь меня? — повысил голос Лагоденко.— Я сказал? Все! Завтра иду в деканат, подаю заявление на заочный.

— Тебя Мирон Михайлович не отпустит.

— Отпустит! Он человек понимающий...

— Ну вот что,— вдруг сказал Вадим, решительно вставая,— я считаю, что все это чепуха насчет твоего отъезда! Ясно? Никуда ты не должен ехать, ты должен учиться здесь, кончать институт, и вообще... Да и вообще это малодушно так поступать!

— Ка-ак? Малодушно? — Лагоденко даже привскочил на койке.— Так ты, Димка, ничего, значит, не понимаешь? После этого случая с Козельским все тут зашевелились, кто когда-то на меня зуб имел. Понял? А я, правда, много таких зубов пораскидал, черт меня... А теперь я не хочу...

— Если ты в чем-то убежден,— разгорячившись, перебил его Вадим,— считаешь себя правым — надо дока-

зывать, бороться! Ясно? А не бежать куда-то в глушь, в Саратов, помощником капитана!

— Ха, бороться!..— усмехнулся Лагоденко.— Кстати, ты не кричи, здесь люди спят... Я матрос — понял? И я никогда не бью ниже пояса, а они... Там же все старое подымают, все мои истории еще с первого курса. Послезавтра будет комсомольское собрание.

— Ну и что?

— Что! Вот... будете меня судить.— Он искоса взглянул на Вадима и нахмурился.— С Козельским я, конечно, не прав, черт его знает... Но, понимаешь, сорвалась пружина! Сколько можно!.. Вон Максимка, наверно,— он мотнул головой на Мака,— уже пашквиль на меня в газету пишет. А ты карикатуру будешь рисовать. Что-нибудь: «Лягушка и Вол» или «Слон и Моська»...

Он замолчал, испытующе глядя на Вадима. Вадим не ответил. Ему всегда было трудно спорить с Лагоденко, когда тот был не в духе, тем более что оба они не умели спорить спокойно. Вадим подумал, усмехнувшись, что его молчание Лагоденко сейчас же расценит как предательство.

— Одним словом, ехать тебе незачем, глупости! — сказал он мрачно, уже злясь на себя, на свое неумение говорить убедительно и веско.— Да, впрочем, ты и не уедешь никуда...

Лагоденко ответил с неожиданным спокойствием:

— Да? Ну, посмотрим.

Оба замолчали на минуту. Вадим вспомнил слова Раи: «Ну как с ним говорить?..» Да, настоящий разговор не получался. Вадим испытывал и сочувствие к этому колючему, упрямому человеку, который в чем-то главном был безусловно прав, и одновременно его раздражали самоуверенность Лагоденко, его вызывающий тон. Это смутное раздражение и мешало Вадиму говорить с Лагоденко начистоту: за что-то осудить, а с чем-то согласиться, ободрить спокойно, по-дружески. Конечно, Лагоденко не вправе был грубить профессору, но если на собрании зайдет разговор вообще о Козельском, он, Вадим, тоже сумеет кое-что сказать. Но как раз об этом ему не хотелось сейчас предупреждать Лагоденко, не хотелось ничего обещать. Пусть все решится на собрании.

— А почему ты на именины не пришел? — спросил Вадим, вздохнув.— Ты ведь Раю обидел.

— Я, Дима, не умею лицедействовать. Когда у меня

на душе паскудно, я не могу веселиться. И предпочитаю не портить настроения другим. А Райка должна понимать это и не обижаться.

Он сердито повернулся к стене и натянул на голову одеяло.

— Я спать буду. Будь здоров, Дима,— пробурчал он глухим из-под одеяла голосом.

— Ну, будь здоров...

Вадим ушел от Лагоденко недовольный, досадуя на самого себя, точно он уходил от тяжелой работы, даже не начав ее по-настоящему...

А в первом часу ночи, когда в комнате был уже погашен свет и все спали, пришел Андрей.

Задерживаясь в городе — это случалось с ним довольно редко,— Андрей оставался ночевать в общежитии и спал на одной койке с Лагоденко. Они были друзьями. Дружба этих удивительно разных людей началась еще в позапрошлом году, и началась анекдотически. В институте был вечер с выступлениями драмкружка, танцами, культурными играми, со всем, что полагается. Лагоденко, никогда не упускавший случая щегольнуть своими бицепсами, задумал вдруг провести блиц-конкурс силачей. Он притащил из своей комнаты два эспандера со стальными пружинами и предложил их растянуть — сначала один, а потом оба вместе. Один эспандер несколько человек растянули, оба сразу сумел растянуть только один парень, и то больше двух раз не осилил. Тогда в круг зрителей вступил Лагоденко и, горделиво выпятив грудь, растянул эспандеры шесть раз подряд. Ему аплодировали, декан факультета Мирон Михайлович торжественно объявил Лагоденко чемпионом вечера, и девушки уже побежали в буфет за призом — бутылкой пива.

Но в это время в рядах зрителей происходило какое-то странное смятение: несколько человек усердно выпихивали на середину круга неуклюжего, толстого юношу в очках, который отчаянно упирался и что-то невнятно басил. Оказалось, это вторая группа силой выдвигала на арену своего представителя. Когда Андрея втолкнули наконец в круг, ему ничего не оставалось делать, как взять эспандеры.

— Да у меня не выйдет. Надо ж тренировку...— бормотал он, краснея и от смущенья упорно глядя в пол.

Однако по тому, с какой легкостью он сразу же, во всю грудь распахнул эспандеры, все поняли, что шансы

второй группы очень значительны. «Раз... два... три... четыре...» — хором считали зрители.—«Пять... шесть!» — кричали они угрожающе.— «Семь!..» — рекорд Лагоденко был побит. Андрей Сырых продолжал выжимать победу. «Десять... двена-а... трина-а...» — ахали зрители. «Пятнадцать!» — Андрей бросил эспандеры на пол.

— Уф!.. Ну вот,— сказал он, кашлянув, и отошел в сторону.

Лагоденко уничтоженно улыбался. Бутылка пива, правда, досталась ему, потому что победитель, оказалось, пива не любил, но это словно подчеркнуло всю унизительность поражения. Лагоденко мужественно пожал Андрею руку и сказал, что выиграл он честно, «хотя с таким плечевым поясом это не фокус».

С этого дня и началась их дружба.

Андрей в потемках нашел койку друга и толкнул его в плечо.

— Где ты был? Что так поздно? — спросил тот, сразу же садясь на койке. Очевидно, он не спал.

— Я был на своем заводе. Петька, у меня замечательный день,— заговорил Андрей необычно взволнованным шепотом.— Сегодня я проверял себя. Я тебе говорил, что я взялся вести литературный кружок на заводе? На своем заводе! Ну вот, и сегодня было первое занятие. Начали в половине девятого и кончили вот только в двенадцатом. Ребята, правда, незнакомые у меня, все молодежь, из цехов. И один инженер, стихи пишет. Но какой народ! Споры затеяли!.. Я им сегодня лекцию прочел о современной литературе. Час я говорил, а два часа потом спорили!.. Рассказывать?

— Давай.

— Ну, слушай...— Андрей улегся в постель, придвинул Лагоденко к стене и накрылся одеялом.— Есть там один мальчишка, Батукин, он при мне еще учеником работал. Вот он и насел на меня: почему поэты мало о рабочих пишут? Они там все новое читают, библиотека богатая. Да о многом говорили! Насчет Драйзера меня спрашивали, Джека Лондона... Ты спишь или нет?

— Нет, пока не сплю.

— У них есть комсомольская газета. Я обещал им помочь и еще кого-нибудь из наших привлечь. Это ж интересно, правда?.. Там сейчас такие дела творятся! Ты знаешь, я свой завод не узнал. Вошел на территорию — и заблудился! Честное слово... Новые люди гремят, новые рекорды, оборудования понаставили... все на

потоке... Сейчас бы там поработать! Так меня вдруг потянуло! — Он вздохнул, радостно заерзал на койке.— Понимаешь, у меня все время, все эти годы было какое-то чувство вины перед заводскими ребятами — вот ушел, оторвался от них, забыл вроде... А они не забыли меня, помнят! И завод помнит. А теперь так приятно опять вернуться, уже другим человеком, и помочь им по-новому. Очень было приятно... Да что ты молчишь, Петро?

— Слушаю тебя. Никогда я от тебя столько слов зараз не слышал.

— Ха-ха! Я могу хоть всю ночь говорить. Да! А как же именины прошли? Жалко, я не мог.

— Хорошо прошли.

— Да? Ну, подарки я им принес. Завтра отдам, Девчатам конфеты, а Лешке фотобумаги купил, сатинированной, он все искал. Там один слесарь есть, Балашов... Петька, да ты спишь!

— Нет, Андрюша. Думаю.— Лагоденко помолчал и добавил: — Послезавтра комсомольское собрание. Ты спи сейчас, ладно, Андрей? А мне тут подумать надо.

ГЛАВА 9

В среду Палавин пришел в институт. Вадим встретился с ним в раздевалке, и они вместе поднялись наверх. Звонка еще не было. По коридорам и лестницам группами и в одиночку бродили студенты, беседовали, курили, стояли возле факультетских и курсовых газет, развешанных по коридору длинным пестрым рядом.

— Как здоровье? Поправился? — спросил Вадим, глядя на свежее, гладко выбритое лицо Сергея.— Вид у тебя не слишком болезненный.

— Это с улицы, с мороза. А ты больше и зайти не мог?

— Понимаешь, всю неделю так туго с временем...

— Ясно! Семинары, доклады, девушки.

Сергей намекающе мигнул Вадиму и обнял его за плечи.

— Какие там девушки!.. Всю неделю над рефератом сидел.

— Ну, не девушки, так... наверно, спортом увлекся? Конькобежным?

Вадим посмотрел на него удивленно — и оба вдруг расхохотались.

— Ну и змей ты, Сережка! — Вадим обхватил Сергея за бока и, прижав к подоконнику, стал сконфуженно тискать и мять его.

Их разнял Спартак Галустян, секретарь курсового бюро комсомола,— смуглый, густобровый юноша с блестящими черными глазами южанина и буйной шевелюрой. Он был в своем лучшем черном костюме, который всегда надевал в дни комсомольских собраний.

— Брэк! Брэк! — закричал Спартак, оттаскивая Вадима за рукав.— По очкам победил Белов. Ребята, сегодня в три часа собрание, помните?

— Ну как же!

— На группе у вас объявили?

— Вчера после лекций.

— Чтоб все до одного, как пуля!

К Вадиму и Сергею подходили знакомые студенты, перекидывались несколькими словами, спрашивали закурить, другие приветствовали издали — подняв руку, кивая или просто дружески подмигивая. С Сергеем здоровались чаще, у него было больше знакомых, и не только филологов, но и с других факультетов.

Перед звонком к Сергею подбежала пухленькая, с тонкими белыми косичками, похожая на школьницу Валюша Мауэр.

— Сережа, Сережа, подожди! Здравствуй, не уходи, ты мне нужен! — затараторила она, вцепляясь в Сережину пуговицу.— Здравствуй, Вадим. Ты знаешь, Сережа, что у нас, конечно, будет новогодний вечер?

— Знаю, конечно.

— Так вот, тебе поручается написать текст «капустника».

— Псс! — присвистнул Сергей.— Это невозможно.

— Как невозможно? Ты пишешь стихи? Пишешь! Ты член клубного актива? Член! Ты комсомолец, наконец, и всегда принимал участие...

— Стоп, не тарахти! Невозможно, потому что я занят сейчас до бровей. Я повесть пишу.

Выпуклые глаза Валюши изумленно расширились.

— Повесть? При чем тут повесть? Я тоже пишу работу об осетинском фольклоре, Вадим тоже что-то делает. Все работают. А это общественная нагрузка, и ты не имеешь...

— Нет, имею! Не агитируй, сделай милость,— ворч-

ливо сказал Сергей, задетый тем, что упоминание о повести не произвело на Валюшу должного впечатления.— У меня нет времени, ты понимаешь?

— Абсолютно не понимаю! — воскликнула Валюша пылко.— Это возмутительно!

— Ну, возмущайся.

— Да, да! Я вот скажу об этом на собрании!— угрожающе крикнула Валюша, убегая к своей аудитории, потому что прозвенел звонок.

— А я скажу о том, как вы вообще ведете клубную работу! — сказал Сергей ей вдогонку и добавил вполголоса: — Каждая пигалица будет тут...— Вдруг он обернулся и крикнул: — Валентина, постой!

— Ну что?

— Когда вы собираетесь?

— На той неделе, наверно. Сегодня же комиссию выберут.

— На той неделе...— Он сосредоточенно нахмурился, подергивая двумя пальцами верхнюю губу, потом сказал решительно: — Хорошо, я приду. К понедельнику я, вероятно, закончу одну часть, и мне так и так надо делать перерыв. Ладно.

— Ну, вот то-то же!

Собрание началось с обсуждения клубной работы и подготовки к курсовому новогоднему вечеру. Скуластый кудрявый парень в мешковатой гимнастерке, член клубактива, рассказывал о проделанной работе. В зале слушали невнимательно, переговаривались шепотом, скрипели стульями, в задних рядах начинали курить. Тогда Спартак вставал и, перебивая докладчика, резким голосом призывал к порядку.

Лена сидела рядом с Вадимом и, положив локти на спинку переднего стула, задумчиво слушала. У нее было такое лицо, словно она сидит на концерте в консерватории.

Первая часть собрания прошла довольно гладко и быстро, без особенных споров. Клубный совет, как водится, покритиковали, досталось и замдиректора по хозчасти, который второй год обещал студентам бильярд и инструменты для духового оркестра; потом обсуждали программу новогоднего вечера и избрали для подготовки этого вечера специальную комиссию. В нее вошли Валюша Мауэр, Палавин и еще человек пять.

Во время перерыва Сергей подошел к Вадиму и Лене.

— Что вы так далеко сели? Идемте вперед, возле меня как раз два места есть. Самое интересное сейчас начнется.

— Пойдем, Вадим? — спросила Лена.

Вадим посмотрел на нее рассеянно и пожал плечами.

— Ты что как осенний день? — спросил его Сергей улыбаясь.— Тебя вроде не ругали, не поминали.

— У меня мама заболела. Я тебе говорил?

— Да, да, я знаю. Моя матушка позавчера вам звонила. Ей не лучше?.. Так ты имеешь полное право уйти с собрания.

Вадим промолчал, хмуро сдвинув брови. Его неприятно задели последние слова Сергея, этот моментальный вывод, который он сделал из сообщенного Вадимом известия о болезни матери. Лена сунула Вадиму свой портфель, сказав, что она сбегает в буфет что-нибудь перекусить. Исчез куда-то и Сергей, и Вадим один вышел на лестницу курить.

После перерыва разбиралось персональное дело Лагоденко. Козельский сообщил в курсовое бюро, что Лагоденко при сдаче экзамена нагрубил ему, назвал схоластом и невеждой,— все это было в присутствии ассистента. По мере того как Спартак Галустян с напряженно-суровым лицом докладывал обстоятельства дела, в зале становилось все шумнее, тревожней, шелестящей волной прокатывались удивленные возгласы и перешептывания. В заднем ряду Вадим заметил Марину Гравец и рядом с ней Раю — лицо у нее было бледное, строгое, и она все время пристально, чуть исподлобья смотрела на Галустяна.

— ...собрание должно осудить неэтичный, некомсомольский поступок Лагоденко!

Сидевшая рядом с Вадимом девушка сказала:

— А Петька вообще очень грубый, правда? Никакого такта.

Вадим не ответил. Он смотрел по сторонам, ища Лену. Когда он пришел после перерыва, Лены не было на месте, но уйти без портфеля она не могла.

Вдруг он увидел ее впереди, в третьем ряду, она сидела рядом с Сергеем, и они оба сейчас смотрели на Вадима и жестами приглашали его пересесть к ним. Вадим отрицательно покачал головой. Вероятно, у него

был недоумевающий вид, потому что Сергей усмехнулся и шепнул что-то Лене на ухо, и она, чтобы не рассмеяться, зажала ладонью рот. Потом они начали шептаться и все время улыбались. Вадим решил больше не смотреть в их сторону.

Соседка вдруг дернула Вадима за рукав:

— Смотри, какой он желтый!

— Что? — очнувшись, переспросил Вадим и взглянул на трибуну. Там уже стоял Лагоденко — коренастый, короткошеий, в темно-синем кителе. Его смуглое, с круглыми скулами лицо казалось худым, как после болезни.

—...это дело собрания. Я восемь лет в комсомоле и комсомольскую дисциплину знаю,— говорил он устало и приглушенно, и это казалось странным, потому что все привыкли к его пушечному капитанскому басу.— Да, я назвал Козельского схоластом, я сказал, что он мелкий и желчный человек и балласт для литературы. Я признаю свою вину и понимаю теперь, что не должен был это говорить при сдаче экзамена. Я совершил недостойный поступок, что ж, я признаю... Теперь я расскажу всю историю. С Козельским у меня пошли конфликты еще с прошлого года, когда он начал у нас читать. Мне не нравилось, как он читает, как он все высушивает, умеет сделать из самого живого материала сухую схему, ведомость какую-то... какой-то прейскурант москательной лавки. Это позор, вы понимаете, когда русскую литературу у нас читает человек с арифмометром вместо сердца! Что — нельзя так? Никакого этикета, никакого пиетета? — Голос Лагоденко приобретал постепенно свой обычный тембр и звучал все раскатистей.— А зачем я сюда пришел? Эту сухомятку жевать? За кусок ки́шки семь вирст пи́шки? Я учиться пришел, с любовью к литературе, к моей, к русской литературе! Я хотел находить в ней каждый день все новое и прекрасное, вот зачем! А меня, как веслом, датами, датами по башке!

Смех в зале. Возглас с места: «Правильно, Петя! Полный вперед».

— Вы представьте: вот вы любите девушку и пришли к человеку, который хорошо ее знает. Вы просите рассказать о ней, вы ждете его рассказа с нетерпением, благоговейно. И вот он начинает: длина носа сорок три миллиметра, первый зуб появился в двадцать шестом году, волосяной покров такой-то густоты и так далее. Что бы вы ответили тому дяде?

— К делу, Лагоденко!

— Не волнуйтесь, это тоже по делу. Вот... Весной я завалил экзамен. По-моему, я знал не так уж скверно, на «четыре» наверняка. Ну ладно, думаю, профессор не любит меня, со мной он особенно строг, значит, надо готовиться лучше. Все лето занимался. А осенью он опять меня срезал на разных мелочах, дополнительных вопросах. Я еще целый месяц учил. Вы знаете, я постепенно стал ненавидеть русских писателей, которых так любил прежде. Они стали моими врагами. Это страшно, вы понимаете? И я, упрямый человек, чувствовал иногда, что теряю веру в себя. Мне казалось, что я никогда не запомню всей этой кучи дат, мельчайших событий, героев по имени-отчеству... Ребята из общежития, которые меня экзаменовали, тренировали, стали сыпать меня на простых вопросах. Я потерял устойчивость, как судно с перебитым килем. Вот так я и шел в третий раз к нему. Опять он меня срезал, уже без всякого труда, ну я и... пошел на таран. Конечно, не надо было, сам теперь понимаю. Да больно уж...— Он махнул рукой и сбежал с трибуны.

Вадима опять дернули за рукав:

— А теперь смотри, какой он красный!

— Красный, желтый, что это — светофор? — раздраженно отмахнулся Вадим.

Он с интересом вглядывался в лицо Спартака, стараясь узнать, какое впечатление произвела на него речь Лагоденко. Но Спартак был непроницаем, сидел подчеркнуто выпрямившись, положив на стол сцепленные в пальцах смуглые узкие руки. Самому Вадиму выступление Лагоденко показалось искренним и во многом верным.

Вадим особенно близко не дружил с ним, может быть потому, что они учились в разных группах, но всегда чувствовал к нему симпатию. В прошлом году они недолгое время занимались вместе в художественной студии, где Лагоденко рисовал одни морские пейзажи и сражения. За это его даже прозвали «Айвазенко». Потом они встречались в спортобществе на секции тяжелой атлетики. Лагоденко нравился Вадиму своей прямотой, энергией, суровой мужественностью. Вадим знал, что, кроме этих качеств, у Лагоденко есть и множество недостатков, что прямота его часто превращается в ненужное забиячество и грубость, что его порывистая активность подогревается необычайным самолюбием, что он порой бахвалится и своим мужеством и

«матросской натурой», но за всем этим Вадим умел видеть главное в человеке. Многие не любили Лагоденко: одни считали его просто хвастуном, другие — краснобаем и задирой, третьи — эгоистом. Все эти суждения были крайними и потому ошибочными. Говорили, что он сразу располагает к себе, а потом отталкивает, никто не может дружить с ним долго.

Вадим понимал, что многие невзлюбили Лагоденко как раз за его нарочитую, даже назойливую прямоту, за стремление высказывать всякую правду в глаза, и большую правду и мелкую — ту никому не нужную житейскую правдишку, которая пользы не приносит, но зато часто обижает. Вадим чувствовал, что Лагоденко относится к нему с симпатией, но не принимал этой симпатии всерьез. Уж очень непонятные были причины лагоденковских симпатий и антипатий. Только одно было ясно — Лагоденко ценил в людях физическую силу и здоровье. «Не люблю хиляков и богом обиженных. Не внушают доверия,— говорил он Вадиму, хлопая его кулаком по плечу.— Вот это шпангоут, я понимаю! Сколько ты правой жмешь? Тебя я взял бы в десант».

В общежитии у него были два пружинных эспандера и гири, и он занимался ими каждое утро, а потом обтирался холодной водой.

Таков был Петр Лагоденко, бывший командир торпедного катера, а теперь студент третьего курса и рядовой комсомолец. Облокотившись на ручку кресла, он сидел не двигаясь и неотрывно смотрел на людей, говоривших о нем с трибуны.

А говорилось о нем всякое...

Сразу после Лагоденко выступила аспирантка Камкова, которая и была ассистенткой Козельского в то злополучное воскресенье. Она говорила о том, что речь Лагоденко была хоть и очень эмоциональна, но абсолютно ошибочна. Лагоденко протестует против фактических знаний, против подлинного овладения материалом. Даты, имена, чередование событий, названные здесь так презрительно «прейскурантом»,— что же это иное, как не совокупность тех конкретных знаний, без которых немыслимо никакое образование? Лагоденко — это тип прожектера и лодыря, которому не должно быть места в советском вузе. За клевету на уважаемого профессора Бориса Матвеевича Козельского Лагоденко должен быть сурово наказан комсомольским судом.

За ней выступил Максим Вилькин, осторожно упрекнувший товарища аспиранта в передержке. Никто не протестует против фактических знаний. Это было бы глупо.

— Я не принадлежу к числу поклонников Лагоденко. Мы с ним часто конфликтуем по разным вопросам, хоть и живем в одной комнате. Человек он трудный, это верно. Но в части его критики Козельского есть, надо признаться, доля истины. Борис Матвеевич действительно суховат и склонен увлекаться мелочами. По целым часам он выискивает логические ошибки у Толстого; препарирует писателей, как бесстрастный анатом. Это бывает занятно, бывает скучно, но это в высшей степени — ни уму ни сердцу... И, однако, хамить профессору Лагоденко не имел права.

Вилькин предложил дать Лагоденко выговор. Затем две студентки обрушились на «незваных и неуклюжих адвокатов» и потребовали строгого выговора с предупреждением. Они припомнили, что Лагоденко имел взыскание еще на первом курсе, когда он подрался с кем-то во дворе института. Речь Лагоденко они назвали лицемерной и утверждали, что ее горячность и искренность фальшивы. Это поза, маскировка, а на самом деле Лагоденко нисколько не раскаивается в своем поступке. Зато Марина Гравец очень пылко говорила о том, что строгий выговор с предупреждением был бы слишком жестокой и несправедливой мерой. Мы должны исправить человека, а не бить его что есть силы. Сейчас же кто-то встал и сказал, что, вынося человеку строгий выговор с предупреждением, мы вовсе не бьем его что есть силы, а наоборот...

Собрание угрожающе затягивалось. Соседи Лагоденко по общежитию говорили, что он готовился к экзаменам больше всех, читал ночами напролет. Библиотекарша Маруся сообщила, что Лагоденко один из самых ненасытных читателей факультета и что ему сменили за этот год уже третий формуляр. Из пяти членов бюро присутствовало четверо — один уехал из Москвы на полмесяца по заданию райкома. Спартак, Марина и Горцев стояли за выговор; Нина Фокина — четвертый член бюро — требовала строгого выговора.

После короткого выступления Андрея Сырых — он очень волновался и говорил малоубедительно, неясно — на трибуну взошел Палавин. «Сейчас он потопит Петьку»,— подумал Вадим с тревогой. Все знали, что Лаго-

денко и Палавин относятся друг к другу неприязненно. Оба были людьми в институтских масштабах выдающимися, оба любили быть во главе и на виду. Лагоденко часто говорил Вадиму: «Что ты возишься с этим павлином? Это не товарищ для тебя». Палавин называл Лагоденко опереточным адмиралом. Это он пустил по институту ядовитую шутку: «Лагоденко надо принимать как кружку пива — сначала сдувать пену».

— Мне кажется, товарищи, что-о...— начал Сергей, внушительно откашливаясь,— наше собрание пошло по неверному пути. Вместо того чтобы обсуждать поступок Лагоденко, мы обсуждаем стиль преподавания профессора Козельского. Если этим и следует заниматься, то во всяком случае не здесь и не на этом собрании. А на мой взгляд, весь вопрос о Козельском — это плод того грошового фрондерства, от которого мы все никак не избавимся. Пивом нас не пои, а дай покритиковать — да еще с каким апломбом! — профессуру. И то нехорошо, и это не так, и нас, мол, на мякине не проведешь. Ай да мы! А что мы? Если разобраться, то мы-то, оказывается, просто невежды и спорить по-настоящему нам не в жилу. Зато шум, звон — близко не подойдешь! Сегодня, понимаете, мы Козельского распушим, а завтра до Кречетова доберемся, будем на свой лад причесывать — что ж получится? Никому эта стрижка-брижка не нужна, она только работу тормозит и создает, так сказать, кровавые междоусобицы. Учиться нужно, вот что! Учиться лучше! А теперь два слова о Лагоденко. Я этого человека давно знаю. Откровенно скажу — не по душе он мне. Очень уж криклив, назойлив, и застенчивость, я бы сказал, не его подруга. Но мне указывают: дескать, темперамент, морской ндрав. Но часто слышал я от него такие речи: «Я, мол, всю войну прошел, от звонка до звонка, три раны имею и пять наград. И вот приехал учиться — Севастополь оставил, друзей оставил, двух вестовых и командирский оклад променял на койку в общежитии и папиросы «Прибой» вместо завтрака. И все потому, что хочу учиться, жажду, мол, знаний». Такой героический и единственный в своем роде товарищ. И мы все должны им восхищаться...

— Когда я тебе это говорил?! — крикнул с места Лагоденко.

— Не перебивайте, я вас не перебивал. Да, но мы, странные люди, не восхищаемся. Нет! — продолжал Палавин спокойно и как бы с удивлением пожал плеча-

ми.— И мы не голубей гоняли, и мы были в армии, имеем награды, а теперь вот тоже сидим за партами, сдаем зачеты и живем по-студенчески. Что ж тут удивительного? Да и не в том дело. У нас есть товарищи, которые пришли из заводских цехов, а еще больше из школы, так это дает вам право, Лагоденко, нос перед ними задирать? Ну, допустим, вы имеете какие-то особые заслуги, воевали более героически,— зачем же без конца это афишировать? Что вы носитесь со своей биографией, как с писаной торбой, и суете ее всем под нос? Что за самореклама? У нас в стране, товарищ Лагоденко, прежние заслуги уважаются, но они никому не дают права бездельничать, почивать на лаврах. С весны вы не можете сдать хвост по русской литературе, а виноват, оказывается, профессор. Он что-то не так читает, слишком сухо, видите ли, воды мало, морского тумана... И тут же на экзамене старого профессора оскорбляют, называют схоластом, балластом и так далее. Это не смешно, напрасно вы фыркаете, товарищ Мауэр!.. Я считаю поступок Лагоденко антикомсомольским и требую наказания. Мне не понравилось сегодня выступление Андрея Сырых. Я очень уважаю Андрея, но сегодня он выступил непринципиально, не по-комсомольски, руководствуясь приятельскими отношениями. И то, как он высказался о профессуре, о Козельском в частности, это ну... неблагородно. Сырых стоит на ложном пути, надо предупредить его со всей серьезностью. А Лагоденко мы накажем! Он должен научиться не только уважать преподавателей, но и жить в нашем студенческом общежитии.— Сергей говорил, повысив голос и методически постукивая согнутым указательным пальцем по трибуне. Сделав паузу, он закончил свое выступление так: — Однако давать Лагоденко строгий выговор я считаю преждевременным. Я — за выговор.

Вадим, который во время речи Сергея решил, что он сейчас же должен выступить, и уже поднимался, чтобы взять слово, от неожиданности опустился на стул. И для всего зала окончание речи Сергея было неожиданным. Кто-то из членов бюро предложил закончить прения и приступить к голосованию. Но тут Вадим опять встал с места и попросил слова.

— Как собрание? Не возражает? — спросил Спартак.— Ну давай, Белов! Только коротко.

Вадим вышел к трибуне. Как всегда, в первое мгновение перед большим залом и десятками обращенных

к нему ожидающих лиц он почувствовал робость. Он увидел спокойно-любопытное лицо Сергея, и улыбающееся Лены, и настороженный, угрюмый взгляд Лагоденко, его сжатые губы и усталые, запавшие щеки. Все они смотрели на него и ждали, что он скажет, последний из выступающих.

— Я не вышел бы, если б не Палавин,— заговорил Вадим медленно, чтобы выровнять голос.— Как он ни старался доказать, что говорить о Козельском здесь неуместно, все выступавшие — и сам Палавин, кстати,— о нем говорили. Два вопроса возникло: о Лагоденко и о Козельском. Сначала по первому. Петра Лагоденко я тоже давно знаю, третий год. Помню, как он явился на первый курс прямо из Севастополя. Был у него флотский сундучок и в нем боксерские перчатки и томик Лермонтова. Помню, как рассказывал он нам всякие свои истории целыми днями: об обороне Одессы, о боях под Эльтигеном, Керчью и так далее. Интересно рассказывал, здорово! И очень быстро стал популярным, помните? Да и учился он хорошо все время, у него же до третьего курса, до Козельского, ни одной тройки не было. Человек он, по-моему, очень способный, но, верно, трудный, часто и заносчивый бывает, и грубый, и, как говорят, от скромности не умрет. Я вот, Лагоденко, не понимаю, как ты мог, военный человек, позволить себе такую выходку с профессором? Неужели надо учить тебя, бывшего командира, лейтенанта, такой простой вещи, как дисциплина? Да неважно, как ты относишься к Козельскому! Совершенно это неважно!.. Он пока еще твой руководитель, учитель, и ты права не имеешь грубить ему! На фронте за такие вещи — ну, сам знаешь!.. И там бы ты этого себе не позволил, я уверен. Другое дело, что ты в чем-то принципиально не согласен с Козельским — действуй законно, заяви в комсомольское или партийное бюро, выступай, доказывай! Вот же как надо делать! А что это за нелепая партизанщина?.. Я, может быть, тоже не согласен с Козельским, и даже крупно не согласен, но из-за этого, Петр, я тебя оправдывать не буду. Я тоже за выговор. Теперь о Козельском. Этот вопрос сложнее. И родился он не из грошового фрондерства, как говорил Палавин, а из самой жизни — потому что все мы заинтересованы в нашей работе. Палавин тут демагогией занимался: «сегодня Козельский, завтра Кречетов». Неверно! Никто ничего худого не скажет о Кречетове, о нашем лингви-

сте, о других профессорах, а о Козельском говорим! Да, убого, по мертвой схеме читает он лекции. Из года в год повторяет одни и те же слова, вот уж двадцать, наверное, лет подряд. Разве это возможно, спросите вы, двадцать лет одни и те же слова? Да, возможно, потому что слова эти не выходят из замкнутого круга рассуждений о форме и биографических комментариев. А те, кто занимается в НСО, знают, что Козельский и в обществе не может интересно поставить работу. Избегает острых проблем, споров, а советская литература у него и вовсе в загоне: это, дескать, не научный материал, не дает, мол, «фактических знаний». Да ведь все это... ну конечно, это же формализм чистой воды! Да, да, мы обвиняем Козельского в формализме! Я предлагаю поставить перед деканатом вопрос о методе преподавания профессора Козельского. И мы докажем свою точку зрения на ученом совете, с конспектами его лекций в руках.

— Которых вы не ведете! — крикнул кто-то из рядов.

— Я воспользуюсь вашими,— сказал Вадим и сошел с трибуны.

Он слышал еще чьи-то выкрики, и общий, возникший вдруг шум всего зала, и громкий, чеканный голос Спартака: «Товарищи, ти-ше! Ти-ше!» Неожиданно стало тихо. Когда Вадим сел на свое место, он увидел, что к трибуне идет, прихрамывая, тяжело опираясь на палку, Саша Левчук, парторг курса,— невысокий, болезненно желтолицый, в плотно застегнутом военном кителе.

Он сказал немного.

— Напрасно вы шумите,— хотя никто уже не шумел и в зале было тихо.— Белов говорил, по-моему, правильные вещи и важные для нас. Вопрос о методе преподавания профессора Козельского — серьезный вопрос, и на этом собрании мы его окончательно не решим. Но важно, что этот вопрос подняли. Нам предстоит основательно в нем разобраться и довести до ученого совета. И это мы сделаем. А что касается Лагоденко, то у меня такое ощущение, что строгий выговор слишком сильно для него, я бы ограничился выговором. Кажется, это мнение большинства. И, по-моему, затягивать дело больше нечего, пора голосовать. Предлагаю прекратить прения.

Большинство собрания проголосовало за выговор.

Предложенная Вадимом резолюция — поставить перед деканом вопрос о Козельском — также была принята.

Собрание кончилось. Лагоденко, расталкивая людей и вытирая платком вспотевший лоб, быстро, ни на кого не глядя, прошел мимо Вадима к выходу. Немного погодя вслед за ним вышла Рая.

Кто-то тронул Вадима за руку. Он обернулся — Люся Воронкова.

— О Козельском что-нибудь было в печати? — спросила она вполголоса.

— Что? О чем?

— Вот, о формализме.

— Не помню. Кажется, нет... А что?

— Нет, просто так...

Вадим чувствовал усталость, легкую головную боль от непрерывных разговоров, духоты и того нервного напряжения, которое возникало у него всегда во время речи перед большой аудиторией. Но ему было радостно оттого, что Петру все же не дали «строгача», и от сознания того, что большинство собрания решило так же, как он. Вадим искренне чувствовал себя победителем.

В раздевалке к нему подошел Сергей.

— Дай демагогу закурить,— сказал он, примирительно и легко улыбаясь.

Вадим протянул ему раскрытый портсигар.

— Что ты на меня окрысился? — спросил Сергей.

— Я еще мало окрысился. Мог бы вспомнить, как ты говорил мне, что лекции Козельского надо вменять наравне с каторжными работами. Было?

— Ну, было. Дальше?

— Что ты больше всех пропустил лекций своего любимого профессора.

— Ну-у? Так, так...— Сергей кивал и улыбался все так же добродушно, но в голосе его зазвучала вдруг жесткая нота.— Милый Вадик, ты мог бы сказать обо мне и похуже вещи. Так же как я о тебе. Мало ли что мы знаем друг о друге? Но мы же не дети, понимаешь...

Вадим не ответил, надевая перед зеркалом пальто. Сергей стоял за его спиной и говорил мягко, снисходительно, обращаясь к отраженному в зеркале хмурому лицу Вадима:

— Ты будешь выступать на ученом совете против Козельского?

— Если понадобится — выступлю.

— Да ты, брат, становишься деятелем! — Сергей рассмеялся, оправляя сзади воротник на Вадимовом пальто.— Это, конечно, хорошо. Только не надо на своих кидаться.

— На своих...— повторил Вадим как будто про себя и усмехнулся. Да, неприятнее всего было то, что Сергей был «свой», Вадима связывало с ним очень много, и тем болезненней чувствовал Вадим малейшую фальшь в поведении Сергея. Если другим выступление Сергея показалось просто ошибочным или ловким, забавным, над которым стоило посмеяться, то Вадима оно возмутило.— Ты выступал сегодня нечестно,— сказал он угрюмо, не глядя на Сергея.— Ну да, просто ты не любишь Лагоденко...

— Я? Да вот уж нет! — с искренним жаром проговорил Сергей.— И это не играло никакой роли, совершенно! Я же был против строгого.

Вадим махнул рукой.

— Ладно, не оправдывайся. Я ж тебя понял — сначала ты очернил его, как мог, а потом учуял, чем дышит собрание, и сделал сальто.

— Какая ерунда! У тебя мания, что ли, Дима, тебе все кажется...— Он замолчал, потому что к ним подошла Лена.— Ну хорошо, идем. Не хочу об этом здесь говорить.

До ворот они дошли молча, как будто все вместе и каждый сам по себе. Выйдя на улицу, Сергей коротко попрощался и побежал к троллейбусной остановке.

— Вы поссорились? Да? — с интересом спросила Лена.

— Нет. А, по-твоему, он хорошо говорил?

— Не знаю. Ты думаешь, я слушала? — Лена пренебрежительно усмехнулась.— Все одно и то же... Я не представляю — как можно устраивать такие скучные собрания?..

— Ну вот. И Сергей так же слушал. Вы сидели все собрание и хихикали. Я сказал ему правду, а он обиделся. До свиданья, Леночка.— Ему хотелось произнести слово «Леночка» иронически, но оно прозвучало как-то глухо и жалковато. Он протянул Лене ее портфель, который до сих пор держал в руках.— Тебе направо?

— Ты не проводишь меня?

«Конечно, провожу! О чем ты говоришь?» Это были настоящие слова, которые ему хотелось сказать, а вырвались совсем другие слова, поспешные, жалкие:

— Лена, извини, я чего-то устал...

Она смотрела удивленно. Простилась кивком, даже не сказала «до свиданья!». Повернулась и пошла по краю тесного, заполненного людьми вечернего тротуара. «Вот я уже ревную. Как глупо! Она обиделась. Надо ее остановить... Какой я идиот. Почему я стою, как столб?»

И, однако, он продолжал стоять, как столб. Сухой ветер бесснежной зимы обжигал лицо. Лены уже не было видно, она скрылась за толпой людей, идущих навстречу, но догнать ее, конечно, было можно. Можно было побежать не по тротуару, а по проезжей части и догнать ее очень быстро. Вадим повернулся и медленно пошел к метро.

ГЛАВА 10

В начале декабря заболела мать Вадима, Вера Фаддеевна. У нее давно начались недомогания, головные боли, кашель — думали, просто грипп. Когда стало хуже и она слегла, врач, лечивший Веру Фаддеевну, заподозрил что-то в легких и вызвал районного фтизиатра, который предположил плеврит. Вера Фаддеевна совсем ослабла, потеряла аппетит; она лежала теперь, не вставая, на своей высокой кровати возле окна, похудевшая, с бледным, истончившимся лицом и желтыми обводами вокруг глаз, и читала Вересаева. Один том Вересаева уже вторую неделю.

Часто навещали ее знакомые, сослуживцы из Министерства сельского хозяйства, которые приходили прямо с работы, с портфелями и сумками, вечно торопились, говорили вполголоса, но успевали пересказать все служебные и городские новости. Они приносили Вере Фаддеевне гостинцы, и все почему-то одно и то же — мандарины и яблоки, с готовностью кидались на кухню, если надо было что-нибудь приготовить, мыли посуду, приводили бесконечные утешительные примеры и давали советы. Вадима удручало их многословие, их сочувственные взгляды в его сторону и шепот в передней: «Ну, как доктор? Что он говорит?»

Доктор Горн, районный фтизиатр, говорил много и обо всем на свете. Высокий, сутулый, рыжеусый, в громоздких бурках и с удивительно миниатюрным дамским чемоданчиком в руках, он шумно входил в комнату и сразу населял ее своим веселым гремучим басом:

— Ну-с, драгоценная? Все читаете? Ай-яй, лампа-то у вас неладно стоит, темно ведь. Глаза не бережете, а вам с ними еще сорок лет жить. Где температурка? Та-ак... Все Вересаева мучаете? Хороший был писатель, добросовестный. Лекарство пьете, что давеча выписывал?.. Да, любил, знаете, пустить гомо сапиенс нагишом, со всеми слабостями. Это от медика у него — медики, известно, народ грубый, беззастенчивый... Завтра, стало быть, сестру пришлю с баночками. Что же это я вам выписывать-то хотел?

Выписывая рецепт, он продолжал говорить, изредка поглядывая на покорно и молчаливо слушавшую его Веру Фаддеевну:

— Однако, драгоценная, чтением не увлекайтесь. Часа два, не больше. Лучше радио слушайте, утром, знаете, чудесные детские передачи! Вечером концерт возьмите, оперу, а днем какую-нибудь лекцию, из цикла «Что такое дождь?», например, или что-нибудь из жизни пчел. Порошочки непременно. А через месяц думаю пригласить вас на каток: Петровка, двадцать шесть...

В ванной комнате, тщательно моя свои крупные жилистые руки, похожие на руки мастерового, Горн оживленно расспрашивал Вадима об институте и особенно охотно говорил о спорте. Он был болельщиком футбола и хоккея.

— Парадокс! Всех лечу, а сам болен неизлечимо. В воскресенье опять был на матче. Изумительно! Что там театры! Я убежден, голубчик, что хоккей и футбол — это балет двадцатого века.

— Федор Иванович,— настойчиво перебивал Вадим,— значит, все еще ничего определенного?

— Да видите, голубчик, я полагаю — плеврит. То есть плеврит есть несомненно. Но... Я думаю пригласить профессора Андреева. Великолепный диагност! Если вы помните — хотя откуда вы можете помнить! — был в свое время такой профессор...

Трудно в эти дни приходилось Вадиму. Утро — это было самое мучительное время для него. Нужно было уходить в институт, и уходить надолго, до вечера, остав-

ляя Веру Фаддеевну одну. Вадим вставал теперь очень рано, готовил себе завтрак и Вере Фаддеевне еду на весь день — он умел довольно прилично готовить, научился в армии. Вера Фаддеевна еще спала, пока он возился на кухне и на цыпочках курсировал из кухни в комнату и обратно, то и дело забывая что-то в буфете. Потом она просыпалась, как раз тогда, когда он ставил кастрюльки с киселями и кашами на столик возле ее кровати.

Вера Фаддеевна всегда боялась, что он опоздает из-за нее в институт. Чуть проснувшись, она спрашивала испуганно:

— Дима, который час?

Потом он записывал утреннюю температуру, мыл чашки, проглядывал, не садясь, газету... Надо было уходить. Вера Фаддеевна делала вид, что спит. Но Вадим каждый раз разбивал эту маленькую хитрость, говорил громким, неестественно бодрым голосом:

— Ну, мам, мне кажется, надо идти.

— Ты еще здесь?.. Иди немедленно, сын, ты же опаздываешь! — Она даже слабо сердилась: — Это безобразие!

Вадим говорил, что у него «куча времени», и одевался не спеша. Но только он выходил за дверь — скатывался, как десятилетний мальчишка, с лестницы, мчался к троллейбусу, прыгал на ходу и, взмыленный, прибегал в институт за полминуты до звонка...

Доктор Горн написал Вадиму справку, позволявшую ему пропускать лекции. И Вадим иногда пользовался ею — в те дни, когда Вера Фаддеевна чувствовала себя особенно плохо по утрам.

Жизнь Вадима усложнилась и грозила еще большими осложнениями и тревогами, оттого что состояние Веры Фаддеевны нисколько не улучшалось, а болезнь ее до сих пор не имела окончательного названия и потому казалась страшной. И, кроме того, надвигалась сессия.

Да, надвигалась сессия! До нее оставались считанные недели — три, две, одна. В середине декабря Спартак Галустян созвал курсовое бюро для обсуждения подготовки к сессии и еще одного вопроса, поднятого по инициативе Андрея Сырых.

После лекций Вадим зашел в библиотеку, чтобы скоротать полчаса до заседания бюро. У него была и другая цель — встретить там Лену. С того комсомольского

собрания, когда Вадим отказался проводить Лену домой, в их отношениях произошла странная перемена. Неизвестно почему, они перестали разговаривать друг с другом. В первый день это было как будто случайностью, они сами еще не были уверены, следует ли им обижаться друг на друга; во второй день эта уверенность появилась, и оба продолжали выдерживать характер, а на третий — уже принципиально не замечали друг друга. Так и вышло, что они, не ссорясь, поссорились, и причина была не в том, что он отказался провожать Лену. Вовсе не в том.

Однажды — это было еще до собрания — к Вадиму подошел Спартак и сказал:

— С тобой, брат, что-то неладное. После лекций исчезаешь сразу, и не найдешь тебя, газету запустил, реферат для журнала, говорят, не сделал. Что происходит?

— Не знаю. Ничего, кажется...— сказал Вадим, хмурясь и предчувствуя, к чему клонится разговор.— Распустил себя, возьмусь.

— Ты смотри! — Спартак, сощурясь, погрозил пальцем: — Сессия на носу, а у тебя какие-то, эдакие...— он произвел рукой неопределенные округлые жесты в воздухе.— А реферат почему не пишешь?

— Пишу, Спартак, но медленно.

Последние десять дней он вовсе не работал над рефератом. Сам себе он объяснял это просто: конечно, ему тяжело сейчас работать — Вера Фаддеевна больна. Да. Конечно. И все же главное было в другом... Лена! Она отнимала у него время, мучила его раздумьями и тревогой, она не оставляла его в покое, даже когда он был один, дома, в библиотеке. С ней было нелегко и делалось все труднее. А разве так должно было быть? Разве его любовь — если она была настоящей любовью, мужественной и простой, той единственной, о которой столько написано и передумано на земле,— разве она должна быть помехой, мучительством? Где-то у старого писателя: «Любовь — это когда хочется того, чего нет и не бывает». Так было всегда — Монтекки и Капулетти, мадам Бовари, Анна Каренина. Для них любовь была жизнью, а жизнь — мучительством. И трагизм их страданий в том, что, борясь за свою любовь, они боролись за жизнь. Так было прежде, в глухие времена.

«Любовь — это когда хочется того, чего нет, но что обязательно будет». Это чище и справедливее. Труд-

ность в том, что так много людей вокруг и у каждого должна быть своя любовь. Трудность в их множестве, в странном сплетении встреч, обстоятельств, сказанных кем-то слов, в вечном непобедимом стремлении к лучшему и к новизне. Почему Лена? Что в ней такого особенного? Почему не Рая, не Марина, не та девушка в меховой мантильке, с которой он каждое утро встречается на троллейбусной остановке,— они так привыкли видеть друг друга в определенный час, что даже стали кланяться при встрече как знакомые.

Лагоденко как-то спросил у него:

— Ты что, собрался жениться?

— Почему ты решил?

— Да ты не красней, как бурак! Я уж вижу, не ошибусь.

Эту страсть грубо и назойливо вмешиваться в чужие дела по праву человека, всегда говорящего «правду в глаза», Вадим терпеть не мог в Лагоденко. Разговор ему сразу стал неприятен.

— Ну, что? — спросил он, мрачнея.

— Я тебя очень люблю, Дима,— сказал Лагоденко, делаясь вдруг серьезным.— Ты только не обижайся. Я все-таки старше тебя и немного опытней, просто так жизнь сложилась. Ты не обижайся. Я хочу сказать, что когда женщина может быть для тебя только женщиной,— это очень мало. Нужно быть гением, чтобы не замечать, как это мало.

— А ты знаешь ее?

— Знаю. У меня собачий нюх на это дело. Она хорошая девка, а выйдет замуж — будет красавицей. Но она, как бы это...— он замолчал, подбирая точное определение.— Она кукушка, Дима.

— Кукушка? — машинально переспросил Вадим.

— Ну да, у нее же ничего своего нет, одни кудряшки. Она всю жизнь будет только брать у тебя и ничего взамен. А тебе другое нужно. А впрочем... бес его знает, сам смотри.

— Конечно. Я уж сам посмотрю,— сказал Вадим высокомерно.

Ко всем таким и подобным разговорам с друзьями Вадим относился ревниво и недоверчиво. Но они западали в память и, долго не забываясь, тайно волновали потом. Сосед Вадима по дому, студент МАИ, видел Вадима и Лену на улице,— в тот же вечер он сказал Вадиму, что встретил его с какой-то «авантажной девочкой»,

и долго, с пристрастием допытывался, кто такая. Он был обижен тем, что Вадим только кивнул ему при встрече, а не остановился и не познакомил его с Леной. Мак Вилькин уже давно и безнадежно был влюблен в нее — она сама рассказывала Вадиму, какие длиннейшие письма он писал ей на первом курсе, а она отвечала фразами из английского учебника. Девушки считали Лену легкомысленной и недалекой, но к их мнению Вадим относился критически. Иван Антонович называл ее шутливо «нимфой»...

Да мало ли что говорилось о ней! Никто не знал ее по-настоящему. Он сам, он один мог понять ее, один должен был разобраться во всем и верить только себе. Да, она не была на фронте, не прошла такой жизненной школы, как Рая Волкова. Она не такая страшно способная и всезнающая, как Нина Фокина, и даже не такая красивая, как Изабелла Усаченко (портрет этой знаменитой второкурсницы поместили недавно на обложке «Огонька», и теперь, говорят, к ней приходят сотни писем от потерявших покой читателей), нет, она просто — Лена, и ни у кого больше нет таких правдивых, ясно-карих глаз, такого голоса, смеха...

Он первый решил нарушить молчание. Как ни презирал он сочинение писулек на лекциях, эту «привычку пансионерок», однажды скрепя сердце он послал Лене записку: «Ты все еще дуешься на меня?» Он видел, как Лена взяла бумажку и, положив ее, не читая, рядом с собой, продолжала спокойно записывать лекцию. Она записывала долго. Когда профессор сделал наконец паузу, Лена, даже не придвинув записку, а пренебрежительно развернув ее там, где она лежала, на середине стола, прочла ее издалека. Так что соседка Лены, хитрая и болтливая Воронкова, тоже могла прочесть. Пожав плечами и не взглянув на Вадима, Лена смяла записку тремя пальцами и бросила ее в стол. Ответа она не написала.

На перемене Вадим не сказал ей ни слова, даже не смотрел в ее сторону. Он слышал, как она смеялась с подругами, болтала с Сергеем, сидя на подоконнике в конце коридора. Она стала часто разговаривать с Сергеем, они вместе гуляли по коридору во время перерыва, вместе ходили в буфет, в библиотеку. Все это делалось, чтобы уколоть Вадима,— Сергей тут, конечно, был ни при чем. Иногда Вадиму даже становилось вдруг жалко ее. Она сама, наверно, мучается этой игрой, старается

из последних сил выглядеть спокойной и беззаботной, а по ночам, может быть, плачет. Глупая девочка! Что ж, не надо комедиантствовать!

...Как всегда сразу после лекций, в читальном зале было много людей и шумно, в той мере, в какой может быть шумно в библиотеке. Возле барьера выстроилась очередь студентов, обменивавших книги; какой-то аспирант пытался получить без очереди, какой-то первокурсник робко пропускал всех вперед себя. Библиотечные девушки белками носились по лабиринту стеллажей, вспархивали на приставные лестницы, то и дело восклицали привычными, однотонными голосами:

— «Коварство» из библиотеки не выносить! Последний экземпляр.

— Вам «Собор» с предисловием?

— Нет, Шекспира я не дам! Исаковского не принесли? Так вот, принесете Исаковского — и получите Шекспира. Нет, нет!..

Лена сидела за столиком возле окна и листала «Крокодил». Вадим взял по своему абонементу какую-то книгу и подошел к ее столу.

— Смешно? — спросил он, заглядывая через ее плечо.

Лена кивнула, не поднимая головы. Вадим сел с ней рядом и раскрыл книгу. Некоторое время он молчал, глядя на нее сбоку. Пепельный завиток, сквозной и золотистый от солнечного луча, падал на ее лоб и чуть колыхался, когда она переворачивала страницу. И весь ее профиль светился на солнце до нежного пушка щек, до кончиков ресниц. Вадим смотрел на нее и чувствовал, как неудержимо тают все его обиды, как, словно эта ничтожная легкая пыль, пляшущая в солнечном луче, исчезают они от одного ее дыхания и остается лишь властное, снова мучительное влечение к ней, которому нет сил противиться да которому и не надо противиться. Он тронул Лену за руку и спросил с внезапным радостным облегчением:

— Ну что ты дуешься, старуха?

— Говори со мной по-человечески,— сказала Лена, подняв на него спокойные, янтарно засветившиеся глаза, и зажмурилась от солнца.— Я ненавижу этих ваших стариков и старух. Это было остроумно на первом курсе.

— Вот как? А все-таки, почему ты дуешься?

— Я ни капли не дуюсь. И потом ты знаешь почему.

Он даже не заметил нелепости этого ответа и некоторое время затруднительно молчал.

— Ну ладно, прости меня,— вдруг пробормотал он угрюмо.

— Простить? — Лена улыбнулась, посмотрев на Вадима, и лукаво блеснули ее белые зубы и среди них один маленький серый впереди.— Хорошо. Из уважения к вашим прежним заслугам я вас прощаю! Так и быть!

— Ну вот... хоть я и не знаю, в чем я провинился.

— Ах, не знаете? Прощение отменяется!

Однако прощение состоялось, и Лена тут же предложила Вадиму пойти в кино, посмотреть новый фильм. Но Вадим сказал упавшим голосом, что пойти с ней не может — он ведь должен присутствовать на бюро.

— Вот видишь,— сказала Лена.— У тебя всегда находится что-то интересней. Ведь тебе необязательно присутствовать на бюро, правда же?

— Нет, но я...

— Подожди, ответь: тебе обязательно присутствовать или необязательно? Ты член бюро?

Вадим вздохнул и проговорил мягко:

— Нет, я не член бюро, ты знаешь. Но я обещал Спартаку быть, я дал слово, понимаешь? Я же не знал...

— Ах, ты дал слово! — Лена кивнула с серьезным видом.— Тогда другое дело. Конечно, надо идти.

В читальню вошел Палавин с пачкой книг под мышкой.

— Дима, ты здесь? Там внизу тебя ищут, на бюро...

— Я знаю. Сейчас,— сказал Вадим.— Так, Лена, может, пойдем завтра?

— Завтра? Н-не знаю...— Лена с сомнением пожала плечами, сказала протяжно: — Завтра у меня вока-ал, разные дела-а...

— Ну, делай как тебе удобно,— сказал Вадим.— До свидания.

Он вышел за дверь и уже на лестнице услышал — а может быть, ему показалось? — голос Лены: «Сергей, ну, а ты свободен или тоже на бюро?» Тот что-то ответил, и оба засмеялись. У Вадима больно кольнуло сердце. Раньше Лена кокетничала с Сергеем на глазах у него и чтобы подразнить его, Вадима, но теперь ведь Вадим

ушел. Он уже не мог ее видеть, не мог слышать. А если она нарочно сказала это так громко, чтобы он услышал ее за дверью? Ну да, конечно!.. Впрочем, нет, она сказала это негромко, обыкновенным голосом. И он услышал случайно.

Вдруг помрачнев, Вадим медленно спускался по лестнице, и ему уже ничего не хотелось: ни идти в кино с Леной, ни сидеть на бюро, которого он ждал сегодня с таким нетерпением...

Заседание бюро происходило в помещении факультетского комитета комсомола, на втором этаже. Кроме Галустяна и членов бюро, Вадим увидел здесь Сашу Левчука, комсоргов и несколько ребят и девушек из комсомольского актива, приглашенных, так же как и Вадим, по случаю особой важности заседания.

Сначала обсуждали подготовку к зимней сессии. Говорили все понемногу, горячо. Спартак Галустян свирепо наседал на комсоргов, требовал, чтобы те назвали студентов, в которых они «слабо уверены», и чтоб организовали им помощь... Вадим слушал вполуха. Он смотрел в окно, надеясь увидеть Лену: с кем она уйдет из института, одна или с Сергеем? По двору к воротам шло много людей, непрерывно хлопали входные двери. Постепенно этот поток начал редеть — медленно шли пары, торопливо пробегали одиночки... Лены среди них не было. Должно быть, он пропустил ее.

Спартак Галустян выступал уже по второму вопросу.

— Начало, товарищи, положено! — говорил он с необычайной торжественностью.— Мы должны сегодня подумать: как пустить дело, что называется, в серийное производство. Сейчас нам Андрюша расскажет о своем первом опыте.

Вадим, не слышавший начала выступления Спартака, ничего пока не понимал. Андрей стал говорить о каком-то литературном кружке, потом — о заводе, где он работал во время войны, о молодых рабочих... Ах, вот что! Бюро предлагает связаться с комсомольцами крупного завода, взять шефство над ними: организовать чтение лекций, вести кружки. Андрей уже ведет литературный кружок на большом машиностроительном заводе. Это и есть первый опыт.

Когда снова заговорил Спартак, Вадим уже слушал его с интересом. На первом и втором курсах Вадим и Спартак были большими друзьями. Одно лето они езди-

ли вдвоем на Кавказ, прошли пешком по Военно-Грузинской дороге, побывали в Колхиде, в Тбилиси и Ереване, добрались даже до озера Севан — это был конечный пункт их путешествия. На озере Севан они прожили десять незабываемых дней, осматривали стройку Севангэса, бродили по прибрежным горам, знойным и ярким, как все в Армении. От сожженных солнцем вершин головокружительно веяло древностью: сгинувшими со света мидийцами, легендарной Парфией, ревом боевых слонов и синим сюртучком профессора древней истории Викентия Львовича. Когда ехали обратно, денег хватило только на билеты. Всю дорогу от Баку до Москвы они лежали на голых полках и питались огромными кавказскими огурцами и папиросами «Восток». Веселое было лето!..

В прошлом году Спартак женился, жена его была студентка энергетического института, жила в общежитии. Она нравилась Вадиму — тихая, стройная девушка с тяжелой смоляной косой, но она уводила от него Спартака, может быть, и не она, а та жизнь, которая пришла с ней, новая, сложная и еще далекая от Вадима. Они несколько остыли друг к другу. В начале года Спартака избрали секретарем курсового бюро. С горячностью занялся он комсомольской работой. У них просто не было времени встречаться, кроме как на лекциях и собраниях. Каждый день у Спартака были какие-то неотложные дела: то комитет, то партбюро, то конференция в райкоме, то ученый совет, на котором обязательно надо быть. Он всегда теперь торопился, разговаривал на бегу, отрывисто и озабоченно, у него появились новые слова и новые жесты в разговоре.

Вот и сейчас он подсекает что-то в воздухе решительными косыми взмахами ладони. Его безусое, по-мальчишески смугло-румяное лицо сурово, лоб напряженно собран. У Спартака было редкое качество: не думать о том, как он выглядит со стороны, как принимают его, Спартака Галустяна, худощавого юношу в черном, неуклюже просторном костюме, с тонкой шеей и очень юным, чистым лицом. Как принимают его решение, его мысль, вот что заботило и волновало его.

Сейчас он спорил с комсоргом третьей группы Пичугиной. Пичугина опасалась, что слишком активная работа на заводе помешает многим комсомольцам учиться. Студенты и так загружены...

— Товарищ Пичугина, не надо нас пугать! — говорил Спартак, свирепо выкатив свои черные круглые глаза.— Не надо этого делать! Мы вовсе не собираемся переезжать на завод. Но общественная работа никогда никому не мешала.

— Она вам мешает,— сказала Пичугина.— Логику вы до сих пор...

Спартак отмахнулся:

— Ерунда, слушай! Мне мешает другое! И с логикой, кстати, я расквитался. Но дело не в этом! Понимаете, товарищ, когда человек год, два, три сидит в стенах вот такого заведения, как наше, в кругу конспектов, расписаний, библиотечного полушепота и потрясающих — зачетных! — радостей и катастроф, он теряет постепенно ощущение жизни за этими стенами. Да, он читает газеты, слушает радио, он прекрасно выступает на семинарах международного положения и политэкономии! Но жизнь страны, та жизнь, бурлящая...— Спартак перевел дыхание.— Вы понимаете меня? Она не дышит ему в лицо угольной пылью, не обжигает раскаленной топкой! Идет мимо, как будто рядом, а все-таки мимо. Вы скажете: мы студенты, мы тыл пятилетки, резерв пятилетки. Ну, пускай резерв! А все-таки мы можем больше давать стране, чем даем! У нас уже есть кое-какие знания, опыт — они не должны лежать мертвым грузом четыре года. Мы учимся? Учится вся страна. Это раньше — одни учились, другие работали. Теперь учатся все и все работают! Мало общественной работы в институте — стенгазет, клубных лекций, вечеров. Это все для нас, вокруг нас...

— Мы участвуем в избирательной кампании. У нас хороший агитколлектив,— сказал кто-то обиженным голосом.— Чего уж так, казанской сиротой...

— Очень хорошо! И все-таки...— смуглая ладонь Спартака разрубила воздух,— и этого мало! Вы помните слова Ленина о том, что члены союза молодежи должны «...каждый свой свободный час употреблять на то, чтобы улучшить огород, или на какой-нибудь фабрике или заводе организовать учение молодежи...». Только не надо ограничиваться словами. В ближайшей стенгазете должна быть статья о сегодняшнем бюро, о перспективах. Вилькин, заметь! Я дам статью.

Вадим слушал Спартака с напряженным и все возраставшим вниманием. Многое из того, что говорилось, не было для него откровением — он все это знал и сам,

давно понимал разумом, но это сухое, безжизненное «понимание разумом» словно обрело вдруг плоть и кровь и, волнующее, горячее, прикоснулось к самой глубине его сердца. Да, прав Галустян — мало мы видим, недостаточно знаем жизнь. И он, Вадим Белов, который лучше других знал, что делается в стране, что восстановлено, что строится, где поднимаются новые города, который мог по памяти перечислить все большие события года на пяти континентах,— что сделал он за два с половиной года, кроме того, что хорошо учился и рисовал шаржи в стенгазете? Он отдыхал после фронта. (Подумаешь, другие воевали по пять лет!) Теперь-то он хорошо отдохнул. Как видно, он очень здорово отдохнул теперь... черт бы его взял!

А ведь он никогда не видел большого завода! Чугунолитейный заводик в Ташкенте, огороженный глиняным дувалом,— это не в счет. Он в глаза не видел настоящего цеха, он, гражданин индустриальной державы, самой могучей в мире.

— Белов, ты что там примолк? — вдруг обернулся к нему Спартак.— Вот пошлем тебя на завод, связь с заводским комитетом налаживать. Тебя и Андрея Сырых.

Вадим от неожиданности поднялся.

— Хорошо,— сказал он.— Я пойду.

Он подумал, что если это будет завтра и Лена опять пригласит его в кино (ведь она, может, и не пошла сегодня), он снова должен будет отказаться. И ему вдруг пришло в голову, что Лена в чем-то права: да, действительно, многое из того, что кажется интересным ему, вовсе не интересно ей...

— Вы человек пять посылайте. Солидней будет,— советовал Левчук.— Возьмите Палавина, он парень внушительный, с трубкой.

— Они его за профессора примут! — засмеялась Марина Гравец.

— Неважно. Итак, Сырых, Белов, от бюро пойдет Нина Фокина, Палавин — пусть впечатление производит, и... ну, хотя бы Лагоденко. Вот тебе, Петр, и комсомольское поручение. Пойдете в ближайшие дни, как только условимся.

— С Палавиным я не пойду,— сказал вдруг Лагоденко.

— Почему это?

— Я с ним на параллельных курсах не хожу.

— Это что? Опять начинается...

— Да, да, не хожу! — ворчливо повторил Лагоденко.— А впечатление производить пошлите его к девочкам, в опереточное училище имени Глазунова.

— Палавин, между прочим, сейчас занят,— сказала Валюша Мауэр: — «Капустник» к Новому году делает.

— Ладно. Пойдете без него, четверо,— сказал Спартак.

Пять членов бюро единодушно одобрили решение, которое в письменном виде выглядело так:

«Комсомольское бюро 3-го курса литфака решило наладить в первом и всемерно развивать во втором семестрах товарищескую и шефскую связь с комсомольцами машиностроительного завода, где секретарем заводского комитета ВЛКСМ т. П. Кузнецов».

Вадим вышел на улицу вместе со Спартаком.

Небо на западе в клубящихся густо-лиловых тучах еще светлело. Оттуда дул жесткий ветер и гнал тучи над головой, разваливая их на темные непрочные комья с лохматыми краями. Тротуар был перегорожен высоким деревянным забором. Здесь строился многоэтажный дом. Работа шла и вечером — вспыхивала с сухим треском электросварка, перекликались рабочие на лесах. На верхнем этаже ярко горели лампы, что-то непрерывно стучало, хлопало, как натянутое полотнище, невнятно и тонко, ломаясь на ветру, кричал мужской голос...

Спартак быстро шел по гнущимся, временным мосткам, проложенным вдоль забора. В одной руке, под мышкой, он держал толстую пачку книг, а в другой пустую «авоську». Вадим еле поспевал за ним.

— И здесь строят, работают день и ночь...— не оборачиваясь, себе под нос бормотал Спартак.— Мы привыкли — забор и забор. Только ходить мешает... А ведь тоже молодежные бригады есть, а? Конечно. Молодежь тут, из области приехала Москву строить. Под боком ведь...

Вадиму хотелось рассказать Спартаку, почему именно он ждет работы на заводе с нетерпением. Но объяснить это было не просто, в чем-то была здесь неуловимая связь с Леной. А Спартак — Вадим это чувствовал — относился к Лене слегка иронически, разговаривал с ней ласково, шуточками, но никогда — серьезно. Нет, не стоило говорить с ним о Лене. И сам Спартак Галустян — тот Спартачок, с которым он лазил в трусиках

по горам, ел дорожную простоквашу, спорил о Блоке и Маяковском, тот упрямый и обидчивый юноша с тонкой мальчишеской шеей, которого он всегда считал значительно менее знающим, начитанным, опытным в жизни, чем он сам,— вдруг показался сегодня Вадиму новым человеком, умным и прозорливым, достойным настоящего уважения. Он сумел сказать о самом главном, о том, что было важно для всех и для него, Вадима, в особенности.

— Ну, как ты живешь? — вдруг спросил Спартак, все еще не оборачиваясь.— Мы с тобой что-то в последнее время и не говорим, не видимся. Как мама?

Вадим сказал, что мама сильно болеет.

— Оттого ты такой скучный? — спросил Спартак.— Я вижу.

Да, главным образом он скучный от этого и еще от некоторых, менее важных причин. Они заговорили о предстоящих экзаменах. Спартак вспомнил, как Пичугина упрекнула его сегодня в том, что он запустил логику. Верно, запустил. Сдать-то он сдал, но с трудом, у него почти не было конспектов лекций...

— Да, Вадик, тяжеленько...— сказал он, вздохнув.— Устаю зверски. А тут семья, жена молодая, обижается, сам понимаешь. Сегодня вот,— он тряхнул «авоськой»,— в «Гастроном» надо бежать, ужин обеспечивать. Шура зачетный проект пишет, а я вот — с хозяйством, приходится... Семейный человек, слушай, ничего не попишешь!

Он рассмеялся, видимо, несмотря ни на что, очень довольный своим новым качеством семейного человека.

— Одно меня губит — ничего не умею спокойно! Работать — так до упаду, все забыть. Скверно это, оттого и устаю! Да! Слушай! — Он живо обернулся к Вадиму, схватил его за плечо.— Надо библиотеку посмотреть!

— Какую библиотеку?

— Да у них, я говорю, на заводе! Когда пойдете — посмотри. В этом как раз мы можем помочь. Главное — новые формы! Понимаешь? Интересные, действенные! Одной идеи мало. А как воплотить? В чем! Вот оно что...

На перекрестке они простились.

— Ты тоже подумай! Что-то новое надо!.. Подумай! — издали еще раз крикнул Спартак.

ГЛАВА 11

В субботу после лекций Спартак Галустян объявил, что студенты третьего курса мобилизуются завтра на воскресник — по прокладке газопровода на окраине Москвы. В девять часов утра они должны будут встретиться в институте и оттуда маршем идти на строительный участок. Бригадирами назначили Лагоденко, Вадима и Горцева. «Лагоденко назначаем за мускулатуру,— говорил Спартак шутливо.— Сеню Горцева за аккуратность, а тебя, Вадим, за то и за другое вместе».

Вадим пришел в общежитие в половине девятого. Согласно приказу «форма одежды — рабочая» Вадим был в своем армейском обмундировании — в сапогах, в стеганом, защитного цвета ватнике.

Во дворе он увидел Лагоденко и Вилькина, совершавших утреннюю зарядку. Несмотря на холод, оба были в майках и бегали друг за другом — впереди Петр, за ним Мак — вокруг двора. Солнце еще не встало, и в синем рассветном сумраке их голые руки казались смуглыми, мощными. Они делали приседания, сгибались в поясе, и Лагоденко рычал на Мака:

— Дыхание соблюдай! Раз — вдох... понял? Раз — вдох...

В комнате, при электрическом свете, Вадим увидел, что бедный Мак совсем замерз, тело его покрылось гусиной кожей.

— Посмотри на Мака, ты его заморозил! Это же не редактор, а крем-брюле.

— Нет, нет, я себя отлично чувствую! — воскликнул Мак чужим голосом, еле шевеля посиневшими губами.

— Ничего, на пользу,— проворчал Лагоденко.— Я из этого хилого создания штангиста сделаю.

Мак сразу оделся, а Лагоденко еще долго ходил в майке, играя налитыми мышцами и демонстрируя их Вадиму в разных ракурсах. Вытирая лицо, он держал полотенце, так напрягая руки, точно держал двухпудовую гирю.

— Эй вы, начальники, брать аппарат? — спросил Лесик.

— Бери, бери! Только шевелитесь давайте,— сказал Вадим, глядя на часы.— А девицы готовы?

— Девицы? Вполне!

Из коридора доносились шум и голоса пробуждающегося общежития: хлопанье дверьми, шарканье, беготня, звяканье посуды. Хриплый утренний бас Лагоденко имитировал флотскую побудку:

Вста-вай, бра-ток!
Го-тов кипяток,
Го-тов кипяток
По-греть живото-о-ок!..

Один Рашид лежал под одеялом и черными, замутившимися со сна глазами смотрел на товарищей. Первый курс в воскреснике не участвовал. Когда все собрались и уже выходили из комнаты, Рашид вдруг соскочил с постели.

— Я с вами! — крикнул он.— Что я один? Иду с вами!

— Ну, догоняй,— сказал Вадим.— Мы в институт идем.

Во дворе к группе ребят присоединились девушки, и все вместе пошли в институт. Уже рассвело, над сиреневыми крышами домов всплыло неясное, тяжелое солнце и плеснуло желтыми латунными брызгами по окнам, фонарным столбам, автомобилям. Дальние дома были в тумане, и улица казалась бесконечной.

К девяти часам утра весь курс — около полутораста человек — собрался перед зданием института. Спартак в этот день был занят в райкоме, и верховное руководство осуществлял один Левчук. Не было и Сергея Палавина — он еще вчера сказал, что не сможет принять участие в воскреснике потому, что заканчивает реферат, который он должен в понедельник читать в НСО. Причина была несомненно уважительной.

Четверть часа еще ждали опоздавших — и наконец тронулись. До места работы шли пешком, длинной, растянувшейся на целый квартал колонной. Ребята балагурили, дурачились по дороге, девушки пели песни. Лесик то и дело отбегал в сторону и щелкал своим «ФЭДом» наиболее живописные кадры.

Вадим ждал работы с нетерпением и в глубине души надеялся отличиться со своей бригадой. Он стосковался по физической работе — ему хотелось труда, жадного, утомляющего, до пота. Слишком засиделся он последнее время за книгами. И, должно быть, это же нетерпение испытывали Лагоденко, Ремешков и Саша Левчук, который, бодро прихрамывая, шагал впереди всех и не

желал отставать, и другие его друзья, что шли в многолюдной колонне по утренним отдыхающим улицам, шли на работу как на праздник, на воскресную экскурсию за город,— и ощущение веселой, дружной массы людей, связанных единым для всех и потому естественным, простым желанием труда, это ощущение было радостным и наполняло силой. Вадим знал, что не все пошли на воскресник одинаково охотно — одни отрывались от занятий, другие от долгожданных встреч и воскресных развлечений, кто-то третий был просто ленив и любил поспать, и, однако, все они шутили теперь, смеялись, были искренне довольны тем, что не поддались мимолетному малодушию, ворчливому голосу, который шепнул им сегодня утром: «Без меня, что ли, не обойдутся? Это же добровольно, в конце концов...»

В шеренге девушек, где-то в середине колонны, шла Лена. Вадиму почему-то особенно приятно было видеть ее в простой телогрейке, в платочке, в огромных, верно отцовских, кожаных рукавицах, которые она всем со смехом показывала. Неожиданно Лена подбежала к нему.

— Вадим, а ты, оказывается, наш начальник? — спросила она радостно.

— Да, да. Я уж вас погоняю!

— Нет, правда, я только сейчас узнала, Вадим! — Она взяла его под руку и мягко, но настойчиво отвлекла в сторону от колонны.— Ты знаешь... хорошо, что именно ты бригадир.

— Почему? — спросил он, улыбнувшись.— Надеешься получить заниженную норму?

Лена покачала серьезно головой.

— Нет. Понимаешь, я вчера застудила горло и если я буду сегодня долго на улице, то могу вовсе простудиться. А как же я буду петь? Ведь на той неделе репетиции к новогоднему вечеру, и вообще мой концертмейстер сказал мне категорически... Я даже не знаю...

Вадим шел рядом с ней, все ниже опуская голову.

— Ну и что? — спросил он.

— Ведь будет некрасиво, если я полчаса покопаю и уйду, правда, Вадим? Мне будет очень неприятно. Нет, я лучше сейчас уйду, незаметно...

От неожиданности он остановился и секунду молча смотрел в ее ясные, наивно улыбающиеся глаза с пепельными ресницами. Эти ресницы начали вдруг моргать, опустились, прикрыв глаза, и Лена покраснела.

— Что ты молчишь? — спросила она с удивлением, которое показалось Вадиму фальшивым.— Мой переулок. Я пойду, ладно, Вадим?

— Ладно,— сказал Вадим.

— Я незаметно...

— Да, да...

Лена отпустила его руку, потом вновь приблизилась к нему и шепнула на ухо:

— А после воскресника приходи ко мне, вечером. Все равно мимо идти. Ой, я, кажется, здорово простудилась!.. Ладно, Дима. придешь?

Он кивнул. Лена ушла назад, и через несколько минут Вадим услышал голос Нины Фокиной:

— Ленка, нам прямо! Куда ты?

И голос Лены:

— У меня горло разболелось, девочки. Я у Белова отпросилась и у Левчука. Ужасно за горло боюсь!

Кто-то из девушек сочувственно сказал:

— Да, Лена, ты уж берегись. А то и петь под Новый год не сможешь.

Вадим не оглянулся. Ему вдруг стало так нехорошо на душе, так стыдно, точно он сам сделал что-то скверное. Он шел ссутулясь, боясь оглянуться, чтобы не увидеть Нину Фокину, Раю, худенькую, с тонкими детскими руками Галю Мамонову и ребят, которые всё, должно быть, поняли и теперь шепотом, неслышно для него говорили об этом друг другу. Ему казалось, что все смотрят ему в спину и понимают, почему он не оглядывается.

Строительный участок был расположен на одной из кривых, узких улочек, чудом уцелевших от старой окраины. Лет сорок назад этот район был населен захудалыми дворянскими семьями, мелкими лавочниками, нищим ремесленным людом. При советской власти здесь выросли большие заводы, старые улицы сносились и выпрямлялись, строились новые. Москва расширялась все дальше на запад, и там, на западе, вырастала новая Москва: с кварталами многоэтажных домов, огромными магазинами, скверами, площадями, отдаленная от центра благодаря метро и троллейбусу какими-нибудь десятью минутами езды. И эта часть Москвы, являвшаяся по существу окраиной, никак не была похожа на окраину — скорее можно было назвать окраиной те кривые, узкие улочки, что остались кое-где в тылу новых кварталов,

хотя они и были к центру значительно ближе и составляли теперь городское ядро. Москва стремительно разрасталась, перепрыгивая через свои прежние границы, и не только на запад, а во все стороны, и это удивительное смещение окраин наблюдалось повсюду.

С каждым годом менялось в Москве понятие о «хорошем районе». Если пятнадцать лет назад хорошим районом считался, к примеру, Арбат, то десять лет назад не менее хорошим районом стало Ленинградское шоссе, а еще через пять лет и Можайское шоссе, Большая Полянка и Калужская, а после войны и много других улиц не без основания стали соперничать с Арбатом и называться «хорошим районом». Вся Москва понемногу становилась «хорошим районом». Исчезали окраины оттого, что по существу исчезал центр. Да, центр Москвы обозначался теперь только геометрически и символически, определяемый Кремлем и Красной площадью, ибо все коммунальные и городские блага, которые связывались прежде с понятием «центра»: газ и телефон в квартирах, универсальные магазины, театры, кино, удобный транспорт,— все это становилось теперь достоянием всех двадцати пяти «хороших районов» Москвы.

Улица, на которой происходил воскресник, тоже подлежала исчезновению. На ее месте возникала широкая магистраль, и контуры этой магистрали уже отчетливо вырисовывались обломками снесенных домов и заборами строительных площадок, за которыми подымались красно- и белокирпичные этажи новостроек.

Прежде чем залить будущую магистраль бетоном и асфальтом, надо было проложить под ней трубы газопровода. Эти тяжелые черные трубы уже лежали в траншеях, и работа студентов заключалась в том, чтобы засыпать траншеи землей. Прораб строительства, худой, коротконогий мужчина в кожаном пальто и резиновых сапогах, очень долго, подробно и вежливо объяснял Левчуку и бригадирам сущность работы. Говорил он хрипловато, тихо, сдерживая голос и все орудия производства называл уменьшительно.

— Только я вас прошу, товарищи,— хрипел он, покачивая обкуренным пальцем,— как полштычка насыпали — сейчас трамбовочкой. Такое у нас положение, иначе грунт сядет. Ну, пойдемте, лопаточки разберем!

После того как все студенты вооружились лопатами, прораб указал участки каждой из бригад. На человека

приходилось в среднем шесть кубометров земли, которую следовало перекидать с высоких земляных холмов, нарытых вдоль всей траншеи.

— Ну, потягаемся, Дима! — сказал Лагоденко, грозно подмигивая.

Он давно уже скинул шинель и был в одной фуфайке, которая туго обтягивала его плечи и бицепсы и потому была его любимой одеждой. Лесик все еще прыгал по земляным холмам, приглядывая «кадр».

— Начинайте же работать! Юноша в берете, что вы липнете к женщинам? Берите лопату, вы не на пляже! — кричал он сердито.— Внимание! Фиксирую начало работы! Строительный пафос!.. Эй, не загораживайте бригадира!

Вадим прошел по своему участку, следя, чтобы каждый мог работать в полную силу, не мешая другим. Огромное солнце, заволоченное белым туманным облаком, словно яичный желток в глазунье, уже поднялось высоко и освещало улицу, дома и людей рассеянным зимним светом. Был легкий мороз. Многие, еще не успев разогреться, работали в пальто, но постепенно все стали разоблачаться.

Прораб поучал девушек.

— Товарищ, вы неправильно лопаточку держите,— говорил он, осторожно покашливая.— Ближе к железу беритесь и станьте боком, вот так...

Поплевав на руки, он брал лопату и показывал. Вадиму он уже раз пять напоминал:

— Насчет трамбовочки прошу... Не забыли? Вот-вот: как полштычка, так сейчас трамбовочкой...

Работа наладилась по всему участку. Комья земли с обеих сторон полетели в траншею, шлепали друг о дружку, гулко стучали по трубе. Вадим снял ватник и, поплевав на руки, тоже взял лопату. Он с удовольствием почувствовал упругую тяжесть земли, клонившую лопату вниз, ее свежий холодный запах и силу своих рук, которые подняли эту тяжесть легко и плавно, как будто без всякого труда. Он стоял, прочно расставив ноги, и долго, без отдыха бросал землю в траншею. Ему нравилась эта работа. И хотелось работать так долго, до крайней усталости. Мысли его понемногу отвлекались от тех движений, которые механически делали его руки, и от его бригадирских забот. До сих пор он не мог подавить в себе неприятный осадок, оставшийся после ухода Лены.

Все это выдумки насчет горла, концертмейстера и репетиций — ему стало это абсолютно ясно теперь. Надо было не отпускать ее или послать к Левчуку. Как он не догадался! Конечно, надо было послать ее к Левчуку... Может быть, никто и не придает особого значения тому, что он отпустил ее. Может быть, все поверили ее словам о больном горле. Может быть, и так. Но тот неприятный осадок, который он безуспешно пытался перебороть, возник вовсе не оттого, что кто-то мог плохо подумать о нем или о ней. Нет, не это было главное.

Он сам плохо подумал о ней. В первый раз — так плохо и так отчетливо.

И чтобы уйти от неприятных мыслей о Лене, Вадим решил думать о своем реферате. И сейчас же вспомнил, сколько раз бывал он с Леной вдвоем и они говорили о чем угодно, но только не о реферате. Иногда он заговаривал о нем непроизвольно, оттого что думал о своей работе все время, но сейчас же понимал, что ей это неинтересно. А как-то она сказала: «Вадим, а ты хвастун. Отчего ты все время заводишь разговор о своем реферате?» И он уже никогда при ней не заводил этого разговора. Надо бы зайти к ней после воскресника, узнать — может, она действительно заболела? А вдруг? Нет, неудобно идти в этом грязном ватнике, с грязным лицом, в сапогах. И потом... так все-таки можно думать, что она и вправду заболела. Нет, он не зайдет...

Занятый своими мыслями, Вадим не слышал веселых шуток и говора с разных сторон, неумолкающего смеха, задорной перебранки девушек. Где-то хохотал Лесик:

— Мак, это же газопровод, а не дорогая могила! И песок не сахарный — сыпь, не жалей!

— Отстань!

— Нет, вы посмотрите на редактора. Ой, умора!

Недалеко от Вадима работал Рашид. Делая длинные паузы, во время которых он выпрямлялся и сильным толчком сбрасывал с лопаты землю, Рашид рассказывал Гале:

— Мой дед копал землю. Каждый узбек — землекоп... В семь лет я взял кетмень... Кетмень видала? Э, лопата другая! А кетмень из куска стали делают, в кузнице куют... Надо над головой поднять, высоко, а потом вниз кидать. Он тяжелый, сам в землю идет.

— Наверно, очень трудно? Да? — спросила Галя.

— Трудно, конечно. Потом ничего... Мы канал

строили летом... У нас знаешь какое лето? А в степи — вай дод, жара!.. Один час землю бросаем, пять минут перерыв, и так весь день... Как перерыв — падаем на землю, лежим, отдыхаем, тюбетейка на глаза... Потом сувчи бежит, мальчик, воду несет... Ведро с тряпкой, а вода все равно пыльная, желтая и теплая, как чай... Пьешь, а на зубах песок, плюешься.

— Какой ужас!

— Зачем ужас? Ничего, весело. Мы в палатках жили... Гуляли вечером, пели, а степь больша-ая... А сколько там этот... ургумчак называем... Паук такой желтый, мохнатый, как заяц прыгает... Паланга! Знаешь?

— Фаланга? Помню что-то,— сказала Галя.— По зоологии проходили.

— Да, он со всей степи набежал, нашу кухню услышал. Мы его где увидим — обязательно догоним, убьем. А потом, знаешь, кончили все — и вода пошла! Медленно так пошла-пошла, а мы рядом с ней идем, тоже медленно, и всё поем, кричим не знаем что... А одна девочка — веселая такая, ох, красивая! — спрыгнула вниз и бежит перед самой водой, танцует. Ох, замечательно танцевала — как Тамара Ханум, лучше!..

Траншея между тем постепенно засыпалась. Труб уже не было видно под землей. Вадим велел двум ребятам взять трамбовки и утоптать первый слой. С соседнего участка доносился бас Лагоденко: он кого-то отчитывал, с кем-то бурно спорил.

Ему, наверно, очень хотелось первому закончить работу. И Вадим понимал, что объяснялось это не только обычным для Лагоденко стремлением быть впереди, но и желанием оправдаться после выговора, выполнить поручение бюро как можно лучше. На деревянном щите, прибитом к дверям двухэтажного дома, появился первый боевой листок — его выпустил Мак. Вадим издали прочитал большую надпись:

«Прошло два часа работы. На участке Белова началась первая трамбовка. Отстает бригада Горцева.

Выше темпы, товарищи комсомольцы. К четырем часам вся работа должна быть закончена!»

Вадим разделил свою бригаду на несколько групп, по десять человек в каждой. Лучше других работали группы Андрея и Рашида, хотя обе они состояли в большинстве из девушек. Через час устроили короткий перерыв. Вадим сам чувствовал усталость, но, странно, чем

больше он уставал, тем легче, веселее ему работалось. Никто не спрашивал его о Лене, и он сам уже не думал о ней. С непривычки у него ломило спину. Стало жарко. Ему хотелось пить.

В три часа дня бригада Вадима первой закончила свой участок.

— Можете идти по домам,— сказал Левчук.

— Ну как? — спросил Вадим стоявших поблизости ребят.

— Надо бы помочь Горцеву,— сказал Андрей.

— Можно,— кивнул Лесик.

— Обязательно надо помочь! — сказала Марина.— Как же иначе?

Часть бригады Вадима ушла на участок Горцева — все не пошли, чтобы не создавать толчею. Лагоденко заканчивал на полчаса позже. Лесик сфотографировал и его, но сначала он снял Вадима и Левчука, обнимавших друг друга за плечи. Левчук был пониже Вадима, и вдобавок ему трудно было стоять на мягкой земле — они обнимались неловко. Оба держали в руках лопаты.

Лесик сказал, что кадр скучный, надо придумать что-то необычное, найти сюжет, но придумывать было некогда и снялись как пришлось.

Вадим спросил у прораба, нет ли еще какого-нибудь задания для остальных людей его бригады, оставшихся без дела.

— Пройти бы еще раз трамбовочкой, вот что,— сказал прораб и добавил виновато: — Крепче ьелят, знаете — как можно...

Вадим отправил четырех человек трамбовать.

— Ну, а для других есть какая работа? На полчаса.

— На полчаса? Так, так, так... Сейчас.

Он снял с головы картуз с большим козырьком, быстро почесал затылок и огляделся.

— Конечное дело, работа есть,— сказал он, бодро вздохнув.— Сейчас найдем, момент! Так, так, так... Видите, земля навалена? А в аккурат за ней столбик лежит с двумя планочками, его бы к забору оттащить.

Там, где он показал, действительно лежал «столбик с двумя планочками» — массивный железный столб с набитыми на нем рельсами. Десять человек перетащили его к забору.

Был уже пятый час, и начинало смеркаться. Вадиму

все еще хотелось пить. Он надел ватник и пошел вверх по улице к ларьку с водой.

С пригорка он оглянулся. Улица была уже другая, непохожая на утреннюю. Глубокий ров с горами бурой земли по краям, который так безобразил улицу и казался уродливым шрамом, теперь исчез. Бригады Лагоденко и Горцева тоже закончили свои участки, студенты надевали пальто, расходились шумными группами, относили лопаты, держа на плечах по нескольку штук. Улица сразу стала необычайно людной, тесной. В наступающих сумерках Вадим не видел лиц своих друзей, но издали узнавал голоса Лесика и Лагоденко, смех Марины, нежный, томный голосок Гали Мамоновой: «Девочки, дайте же зеркало! Я ужасно грязная, наверно?» Голосов было много, они сплетались, перекликались, заглушали один другого, кто-то звал Вадима: «Где Белов? Бело-ов!» — и чей-то женский голос ответил: «Он пить пошел!»

— Как не хватает? — басил Лагоденко.— Я говорю: все отдал! Мне твоя лопата — как попу гармонь...

— Ну, кто со мной в кино?

— А все-таки наша первая закончила!

— Да у вас мужчин больше...

— Ребята, а Лешка пальто повесил и теперь не достанет! Ха-ха-ха... Землю-то срыли!

Вадиму почудилось вдруг, что он стоит не на московской улице, а в каком-то незнакомом, новом, молодом городе. Окончился рабочий день, и его друзья идут на отдых по домам, в читальни, в кино. Окончился радостный день труда. Разве он не был радостным? Разве не испытали эти люди, и он вместе с ними, настоящую радость оттого, что добровольно пришли на стройку и работали честно, до усталости, до седьмого пота в этот холодный декабрьский день? Разве не испытали они самую большую радость — радость дружбы, радость одного порыва и одних стремлений для каждого и для всех? Впрочем, их чувства были гораздо проще, обыкновенней, чем эти мысли, взволновавшие вдруг Вадима...

— Бело-ов!.. Ди-имка-а! — кричал издали сердитый голос Лагоденко.

— Иду-у! — крикнул Вадим, очнувшись, и побежал к ларьку.

Никакой воды не было, и Вадим выпил кружку пива. Женщина в шубе, поверх которой был надет белый торговый халат, спросила улыбаясь:

— С газопровода?

— С газопровода. А что?

— А интересуемся,— мы тут в доме восемнадцать живем,— скоро ли пустите?

— Скоро, скоро.

— К Новому году обещались,— успеете или как?

— Думаю, успеем,— сказал Вадим серьезно,— должны успеть.

— Стало быть, под Новый год пироги на газу печь будем? Уж мы заждались, вы знаете! — Она засмеялась, глядя на Вадима светлыми, блестящими глазами.

ГЛАВА 12

Последнее перед сессией собрание НСО было необычайно многолюдным. Откуда-то о докладе Сергея узнали на других факультетах, пришли студенты с истфака и даже с биофака. За столом возле кафедры сидели Кречетов, преподавательница западной литературы Нина Аркадьевна Беспятова и Козельский, с длинной трубкой в зубах, сияющий своим альпийским румянцем. Он ничего не записывал и, прищуриваясь от трубочного дыма, все время смотрел на Сергея, стоявшего за кафедрой.

Сергей читал громким, внятным голосом. Прочитав фразу, казавшуюся ему наиболее удачной или важной, он на секунду останавливался и быстро взглядывал на профессоров: ну, каково?

Реферат был интересный, и, хотя Сергей читал его больше часа, все слушали со вниманием. Оба оппонента, студенты четвертого курса, согласились с тем, что Палавин проделал значительную работу и достиг успеха. Несколько критических замечаний сделали Беспятова и Козельский, но в общем Палавина все хвалили, поздравляли с настоящей творческой и научной удачей; Козельский сказал, что реферат Палавина выходит за рамки студенческой работы. Одним словом, успех был полный.

Лагоденко прошептал Вадиму на ухо:

— Хороший реферат, честно говорю. Павлин-то твой, а? Скажи пожалуйста...

После обсуждения Сергея окружили студенты. Федор Каплин тряс ему руку и повторял возбужденно:

— Я же говорил! Вы помните, что я говорил про Палавина? Я сразу сказал...

Аспирантка Камкова пела томным, носовым голосом:

— Чудесная, чудесная работа! Вы удивительно определили эти три сценические особенности! Очень тонкий анализ! Спасибо, настоящее спасибо вам!..

Сергей был подчеркнуто скромен, только кивал и улыбался. Вадим был рад за него.

— А ты все плакал: «Вре-емени не хватает, не могу разорваться!» Видишь — полный триумф.

— Если б ты знал, как я работал, Вадька, как гнал! Ты представь себе...— Оставшись наедине с Вадимом, он уже не сдерживал радостного волнения, говорил быстро и суетливо: — Последние шесть дней я буквально не спал, курил без конца, у меня две пачки выходило на день. Я так измотался...

— Ну, Сережка, зато недаром!

— Это да... Ведь ты знаешь меня — мне обязательно надо в первый номер попасть! — Он рассмеялся, шутливо и укоризненно махнув рукой.— А до этого какую я проделал работу! Рылся в архивах Литературного музея, в Бахрушинском, связался с университетом — там один аспирант мне очень помог, у него диссертация о Тургеневе. Понимаешь, мне действительно хотелось провести научную работу! А ты заметил, как Кречетов улыбался, когда я читал? Я два раза взглянул на него, и он оба раза улыбался...

— Ему, по-моему, очень понравился реферат,— сказал Вадим.

— Да, ему понравился. Слушай, а... как ты думаешь, ничего, что я со всеми профессорами за руку поздоровался перед началом? Ничего, да?.. Это не выглядело так: бесцеремонно, немножко демонстративно? Не выглядело, да? Ну ладно... В общем, я, конечно, доволен.

— Ну еще бы!

— А ты во второй сборник попадешь, подумаешь, беда! Никакой разницы нет, все это чепуха — первый, второй... Важно сделать хорошую работу. Верно? А ты работаешь медленно, основательно, как дом строишь. Я знаю, как же! Помню, ты еще в школе сочинения на двух тетрадях выдавал. А мы на четыре странички расшибемся — и пардон! А?

— Дело ж, Сережка, не в размере.

— А как же? Ясно! Наоборот, я тебе завидую. У тебя

всегда этакий груз, солидность, внушительность. А у меня — порыв вдохновения, черт его знает! Осенит вдруг, подхватит, и лечу, как с трамплина. Потом переделываю по десять раз.

Вадим, однако, понимал, что Сергей в действительности считает свой «трамплинный» метод признаком таланта и гордится им. Но он только улыбнулся, когда ему пришло это в голову. Сегодня он все мог простить Сергею.

— А твой метод, кстати, иногда сказывается,— все же заметил он добродушно,— когда материала не хватает, идут цветистые фразы, знаешь — пена, пена...

— Пена? — удивленно переспросил Сергей.— А где? В каком месте?

— Вот, например, где ты говоришь о мировоззрении Тургенева, о кружке Станкевича. У тебя сказано об этом слишком поверхностно, по-моему.

— Да? Ну... не знаю, может быть,— Сергей сделал зевающее лицо и, прикрыв ладонью глаза, сжал виски большим и безымянным пальцами,— что-то голова тяжелая. Устал... А Борис Матвеевич, кстати, этого не заметил. И Кречетов. И вообще никто, кроме тебя, мне этого не говорил.— Он вдруг посмотрел в сторону.— Борис Матвеевич, вот меня обвиняют в том, что я недостаточно обрисовал мировоззрение Тургенева и мало сказал о кружке Станкевича.

Вадим не заметил, как к ним подошел Козельский. Вынув изо рта трубку, Козельский спросил, впиваясь в Вадима темными остренькими зрачками:

— Разве вы не были на чтении, Белов?

— Был, Борис Матвеевич.

— Отчего же вы там молчали? Критиковать в коридоре, с глазу на глаз — это, мой друг, немужественно. И, кажется, не в вашем духе, а?

— Мне реферат в основном нравится...

— Вот именно. А вы, мой друг Белов, последнее время практикуетесь в разрушительной деятельности, позабыв, что ваша главная обязанность все-таки — создавать, а не разрушать. Где ваш реферат?

— В работе.

— В работе? Полгода в работе? Это что ж — монография в трех томах? Иван Антонович все убеждает: подождите с журналом, Белов даст статью. Сколько прикажете ждать? — Козельский подступал к Вадиму все ближе.

— А зачем меня ждать? Я никого не просил.

— Не просили? Надо работать, сидеть, записывать лекции! А не витийствовать на собраниях, к тому же бездоказательно! Чему вы улыбаетесь?

— Я впервые вижу вас таким разгневанным, профессор...

— Разгневанным? Извольте доказать ваши слова: вы назвали мои лекции безыдейными и даже немарксистскими! — вдруг, побагровев до самых волос, выкрикнул Козельский.— Я знаю, что было на вашем собрании!

Вадим помнил, что слово «немарксистские» он ни разу не употребил в своем выступлении, но это, в сущности, не имело значения. Ему показалось, что Козельский хочет его чем-то запугать и ждет оправданий: «Нет, я не говорил — немарксистские...» И, сразу насупившись, он сказал со злой решимостью:

— А по-вашему, безыдейные — это еще не значит немарксистские?

— Он не говорил этого, Борис Матвеевич,— вступился Сергей.— Он только говорил...

— Нет, говорил! — упрямо оборвал его Вадим, раздраженный этим заступничеством.— И я не отказываюсь!

— Нет? Не отказываетесь? Молодой человек, позвольте вам заметить — вы еще неуч, школьник...

— Возможно. Вы хотите, чтобы я доказал свои слова здесь, в коридоре?

— А где мне с вами спорить? Устроить диспут? Журнальную дискуссию? — Козельский нервно засмеялся, но сейчас же сдвинул брови и сказал низким, укоризненным голосом, в тоне возмущенного педагога: — И вам не стыдно? Ведь ваше поведение просто неприлично!

К ним уже стали подходить люди: Камкова, Федя Каплин, вынырнула откуда-то Воронкова.

— В чем дело, Борис Матвеевич,— спросила Камкова, строго глядя на Вадима.

— Так, пустяки,— Козельский повернулся к выходу.— Литературный бой местного значения...

— Вы так думаете? — спросил Вадим воинственно.

Сергей дернул его сзади за пиджак.

— Довольно! Ш-ш...— прошептал он.— Чего ты хочешь от старика?

— Ребята, а что? Что такое? — спросила Воронкова, от любопытства разинув рот.

— Так, ничего...

— С Козельским поругались, да? Что, конспекты требует или что?

Ей никто не ответил. Сергей, аккуратно связав шнурки на папке с рукописью, молча попрощался с Вадимом и пошел к двери, Вадим — в другую сторону.

У Вадима осталось неприятное, тревожное чувство после разговора с Козельским. Оказаться в положении Лагоденко было не особенно привлекательно. К тому же Вадим понимал, что его спор с профессором — еще только начатый — гораздо крупнее, серьезней, чем стычка Лагоденко с Козельским. Но самым неприятным было ощущение того, что сейчас он вел себя с Козельским неудачно, глупо-задиристо и несолидно. Что это за выкрик под конец: «Вы так думаете?» Нелепое мальчишество!.. Надо было отвечать спокойно, с достоинством и сказать ему прямо в глаза то самое, что он говорил на собрании. Повторить слово в слово — и баста. И всегда ведь у него так: правильные мысли приходят на пять минут позже, чем нужно.

...Несколько дней назад Вадима вызвали в партбюро факультета. Там уже сидел Левчук. Секретарь факультетского партийного бюро профессор Крылов, молодой, светловолосый, с энергичными блестящими глазами, похожий скорее на заводского инженера, чем на профессора, крепко пожал Вадиму руку. Он знал Вадима хорошо, а Вадим его еще лучше, потому что уже полгода слушал его лекции по политэкономии.

Крылов спросил у Вадима, как, по его мнению, идет работа в НСО. Есть ли недостатки и какие.

— Недостатки... да, есть, конечно. У нас, Федор Андреич, нет еще плана, рефераты пишутся стихийно, когда что придется. Мало рефератов по советской литературе. Вообще, откровенно говоря, я думал, что НСО что-то более интересное...

— Так.

— И обсуждения проходят слишком уж академично, формально...

— Слишком тихо? — спросил Крылов улыбаясь.— Без споров, без столкновений? Это зря, конечно, народ вы молодой, надо пошуметь, повоевать.

— Вы знаете, Федор Андреич, споры бывают, и горячие. Но только после заседаний.

— Ну, хорошо. А чем вы все это объясняете?

Вадим посмотрел на Левчука, и тот чуть заметно, ободряюще повел бровью.

— Я объясняю,— сказал Вадим,— во многом тем, что Козельский, по-моему, неподходящая фигура для руководителя общества. Почему бы не заменить его? Например, Кречетовым?

— Ивану Антоновичу тяжело, здоровье у него неважное. Нельзя его нагружать. Нельзя, к сожалению...— Крылов помолчал, задумчиво хмурясь и постукивая пальцами по столу.— А с Козельским, видите ли... В феврале состоится ученый совет, там у нас с ним будет серьезный разговор... А вы, Белов, не выступите от студентов третьего курса? Вы будто грозились на собрании.

— Я могу выступить,— подумав, сказал Вадим.

— Только не в стиле Лагоденко,— добавил Левчук.— А толково, обстоятельно. Как ты говорил тогда: с конспектами его лекций в руках.

...Выйдя снова в коридор, Вадим увидел в окне Козельского, который быстро шел по двору, голова его казалась еще выше в высокой черной каракулевой шапке в виде усеченного конуса. Рядом с ним длинно вышагивал Сергей, заложив руки за спину.

— И любит же он эту работу! — сказала Рая Волкова, тоже остановившаяся у окна.

— Какую?

— Да вот: пройтись с коллегой-профессором, поговорить о судьбах науки... Верно?

— Нет,— сказал Вадим сухо.— Это не главное. Ты слышала его реферат?

— Нет. А интересный?

— Да, по-настоящему. Такую работу вполне можно в журнале печатать.

День выдачи стипендии не похож на обычные дни. В коридорах шумно по-особому, даже немного празднично. Бегает Лесик с записной книжкой в руках и раздает долги. Любители-библиофилы, и среди них самый заядлый — Федя Каплин, азартно спорят: идти ли по букинистам сейчас же или сначала пообедать? В буфете к четырем часам не осталось ни одного пирожного, ни одной пачки «Казбека».

Вечером этого дня Вадим должен был встретиться с Леной. На следующий день после воскресника Лена пришла в институт, но на лекциях Вадим как-то не успел поговорить с ней, а потом началось заседание НСО. Они

условились во вторник вечером пойти в кино. И вот он стоял перед входом в метро «Арбатская» и ждал Лену.

Это было место условленных встреч, вероятно, для всего Арбатского района. На ступенях и в круглом вестибюле у телефонов-автоматов стояли, томились, нетерпеливо расхаживали, не замечая друг друга, безмолвные мученики свиданий. Был здесь и высокий морской офицер с бронзово-невозмутимым лицом и погасшей трубкой в зубах, и девушка, окаменевшая от горя (он опоздал уже на десять минут!), и румяный молодой человек с коробкой конфет в руках, который все время улыбался и подмигивал сам себе, и чернобородый мужчина в зеленой артистической шляпе и ботинках на оранжевой подошве, который тигром метался по вестибюлю и, наскакивая на людей, не просил извинения, и еще много девушек, молодых людей, красивых женщин, с равнодушными, томными, застенчивыми, тревожными, радостными и глупо-счастливыми лицами.

Из крутого, электрически-желтого зева подземной станции выплескивалась через короткие промежутки лава пассажиров. Густая, плотно колыхающаяся, стиснутая мраморными стенами и залитая светом ламп, она выплывала в широкий вестибюль, а затем через стеклянные двери — на улицу и быстро редела там, теряясь в толпе прохожих и синем вечернем воздухе. Люди вылавливали друг друга из толпы, радостно окликали, пожимали руки и мгновенно исчезали, точно их сдувало ветром...

— А вот и я!

Вадим обернулся и увидел Лену, улыбающуюся, нарядную, в белой меховой шапочке.

— Ты не узнал меня? — спросила она смеясь.

— У тебя что-то новое на голове.

— Да, это мне только что сделали. А хорошо?..

В кинотеатре на площади шел «Третий удар». Этот фильм оба они видели и решили пойти в «Метрополь», где сразу бывает несколько картин. Они шли по нешумной и малолюдной улице Калинина, с белесыми от редкого снега тротуарами и черной лентой асфальта. Здесь было тихо, и хотелось идти медленно и разговаривать вполголоса. Лена рассказывала о своих занятиях с концертмейстером, о том, как она выступала на днях в каком-то Доме культуры и как ее там тепло приняли, а заниматься вокалом сейчас ей трудно и некогда, потому что сессия на носу.

Вадим слушал ее молча. Он готовился сегодня к серь-

езному разговору. Ему многое надо было выяснить — по крайней мере для себя. Трудно было начать. Вдруг он спросил:

— Как твое горло — прошло?

— Горло? Ах, горло... Да, прошло. Я вообще ведь очень здоровая.

— Ты вообще быстро поправляешься, да?

— Да, очень быстро. А ты знаешь, когда я болею? Я болею, когда мне хочется немного поболеть. А когда мне не хочется, я никогда не болею.

Она произнесла это с гордостью.

— Лена,— сказал Вадим,— а почему ты пошла в педвуз, а не в консерваторию?

— Ты, Вадим, не понимаешь! А как я могла пойти в консерваторию, когда у меня еще не было вокальных данных? Это ведь не сразу выясняется. И потом... ты думаешь, легко поступить в консерваторию? Вовсе не так легко. Да мне это и не нужно. Я учусь петь не для того, чтобы делать пение своей профессией.

— А для чего же?

— Для того...— Лена помолчала секунду и проговорила присущим ей тоном назидания: — Женщина, Вадим, должна все уметь. Должна уметь одеваться, петь, быть красивой — понимаешь?

— Понимаю. Ты, стало быть, готовишься на женщину?

Лена посмотрела на Вадима с безмолвным возмущением и сказала укоризненно:

— Тебе это совсем не идет, Вадим, этот тон. Не уподобляйся, пожалуйста, своему циничному Петьке.

Вадим чувствовал, что разговор ускользает в сторону, что не он, а Лена начинает управлять им, хотя вопросы задавал он, а она только отвечала. Нет, он спрашивал не о том, о чем надо было спросить и о чем он хотел спросить. Все это ненужные, приблизительные слова... А как бесконечно трудно было произнести простую фразу: «Лена, в чем цель твоей жизни?» Трудно и бессмысленно... Нелепо спрашивать об этом. Разве могла она словами рассеять самые мучительные его сомнения?

И вдруг у него вырвалось непроизвольно:

— А в чем твоя цель, Лена?

— Какая цель, Вадик? — спросила она мягко и с удивлением.

— Твоей жизни.

— Что-что? — Она вдруг расхохоталась.— Это вроде общественного смотра? Или викторины? Боже, какие громкие слова — «цель жизни»! Мы этим в седьмом классе переболели... Что с тобой, Вадик?

Она смотрела на него с веселым недоумением, а он растерянно, нахмурившись, молчал:

— Ну конечно, правильно,— пробормотал он наконец, точно отвечая на свои мысли.— Глупо об этом спрашивать...

— Конечно, глупо, Вадик! — подхватила Лена с воодушевлением.— Просто наивно! Разве я могу сказать в двух словах обо всех своих планах, о будущем? Да я и не ломаю себе голову над этим. С какой стати? Я только начинаю жить... Стоп! Не толкай меня под машину.

Они остановились посреди улицы между встречными потоками автомобилей. Машины шли нескончаемой вереницей, тесно, одна за одной. Из шоколадного «ЗИСа» донеслась приглушенная опереточная музыка и голоса дуэта: «...все прохо-одит, подругу друг находит...» Наконец зажегся на перекрестке светофор, движение остановилось. Вадим и Лена быстро перебежали на тротуар.

— Старые студенты,— продолжала Лена,— в прежнее время вечно о чем-то спорили: о цели жизни, о высшем благе, о народе, о боге, о всякой чепухе. А нам-то зачем заводить эти абстрактные споры? Я такая же комсомолка, как и ты, у нас одна идеология. О чем нам спорить?

— Я, Лена, не собираюсь спорить,— сказал Вадим, помолчав.— На эти темы я не разговариваю, не люблю. Об этом надо помнить и думать. Но иногда... понимаешь... я хочу...— Он вздохнул, угнетенный собственным беспомощным бормотанием и смутно раздраженный против Лены, которая должна была видеть и понимать, с какими трудностями он борется и во имя чего. Но она не видела, а если видела, то не понимала. И все же он продолжал упрямо, отчаянно эту неравную борьбу.— Я хочу сказать, Лена, что есть много... есть такие вещи, которые мы как будто прекрасно понимаем, а потом, в какое-то другое время, вдруг выясняется, что мы понимали их плохо, не всем сердцем. Вот когда я был на фронте...

— Только, пожалуйста, без фронтовых воспоминаний! — Лена слабо поморщилась.

— Нет, прости,— сказал Вадим настойчиво.— Я уж доскажу. На фронте много простых вещей я понял со-

всем по-новому, глубже. И мы иногда говорили с товарищами о нашей будущей жизни, о работе, призвании, о том, что мы любим, о чем мечтаем. Даже о цели жизни говорили... И, знаешь, это были очень естественные и очень простые, искренние слова. Они помогали нам, придавали сил. И вот... почему же сейчас они кажутся такими громкими, такими наивными?

— Потому, что тогда была война. Это другое дело,— сказала Лена, которая уже слушала Вадима внимательно, насторожившись.— А вообще чего ты от меня добиваешься?

— Я ничего не добиваюсь. Просто мне интересно: как ты хочешь жить?

— Почему вдруг такой интерес?

— Мне нужно! — Это вырвалось у него почти грубо.

Лена пожала плечами. Она растерялась.

— Я даже не знаю... Ну, как я хочу жить? Я хочу жить честно, спокойно, ну... счастливо.— Помолчав, она добавила нерешительно.— Участвовать в работе...

— Счастливо — в смысле счастливо выйти замуж?

— Что ж, всякая женщина надеется счастливо выйти замуж,— сказала Лена, сразу делаясь высокомерной.— Знаешь, ты сегодня ужасно скучный и неоригинальный. Даже, прости меня, пошловатый. Хочешь поссориться?

— Нет,— сказал Вадим, качнув головой.— Не хочу.

Ему стало вдруг скучно, почти тоскливо, но не потому, что он отчетливо понял, что желанный разговор не состоялся, а потому, что неудача этого разговора уже была ответом на мучившие его сомнения. Не состоялось что-то большее, чем разговор, и горько, тоскливо было думать об этом...

Возле кино «Метрополь» царило обычное вечернее оживление. В пышном сиянии голубых, малиновых, ослепительно-желтых огней смотрели с рекламных щитов усталые от электрического света, огромные и плоские лица киноактеров. Они были раскрашены в фантастические цвета: одна половина лица синяя, другая — апельсиново-золотая, зубы почему-то зеленые.

Билетов Вадим не достал, все уже были проданы. Расстроенный, он вернулся к Лене, которая ждала его на улице, в стороне от толпы.

— Видишь! — сказала она торжествующе.— О высоких материях философствуешь, а билет в кино достать не умеешь! Какая у нас сегодня цель? Пойти в кино. И никак не можем.

— Ни одного билета, черт знает, безобразие...— пробурчал Вадим, искренне огорченный. Ему неожиданно захотлось попасть сегодня в кино.

— Ну ничего! Будем гулять — да? А мне тут один юноша предлагал билет. Прямо привязался, какой-то дурак... Вот без всяких философий я бы уже цели достигла! — Лена засмеялась, очень довольная.— Хорошо, что ты пришел, он сразу отлип. Дай, я возьму тебя под руку.

Они поднялись по улице Горького; там было много гуляющих, которые ходили парами и группами, как на бульваре. Все встречные смотрели на Лену, и мужчины и женщины, Вадима как будто никто не замечал. И Лена чувствовала, что привлекает внимание, и шла нарочито медленно, гордо и прямо глядя перед собой.

— Вадим, прошу тебя, перестань курить! — говорила она умоляюще, когда он вынимал папиросу.

— Ты заботишься о моем здоровье?

— Нет, у тебя сегодня ужасные папиросы! Они так пахнут...— И кокетливо спрашивала: — Скажи, а курить вкусно?

Они зашли в сорокапятиминутку «Новости дня» и купили билеты. В маленьком фойе было много людей, ожидавших начала сеанса. Почти все ели мороженое в вафельных стаканчиках. Вадима кто-то окликнул.

Оба они оглянулись и увидели Спартака, подходившего к ним под руку с женой. В свободной руке он держал пакет с мандаринами.

— И Леночка здесь? Грандиозная встреча! — воскликнул Спартак обрадованно.— А у нас праздник! Поздравьте мою супружницу — сегодня защитила проект. Шура, что тебе сказал профессор?

Худенькая темноглазая женщина смущенно улыбнулась.

— Брось, пожалуйста...

— Вы не думайте, что она такая уж скромница! Она только что так хвасталась, так себя расписывала, а теперь, видите, очи потупляет. Ай-яй-яй! Нехорошо, Шура! — балагурил Спартак.— А профессор сказал, что у нее острый аналитический ум. Да, мудрейшая у меня супруга, рядом страшно стоять! Паровые турбины, а? Черт знает... А так, с виду, ни за что не скажешь.

— Ну хватит болтать,— строго сказала Шура, румяная от смущения.— Уши вянут.

— Вот и попало! Готово дело! — Спартак рассмеялся, подмигивая Вадиму.— Да, брат, сложная штука... Девушки, вы кушайте мандарины, а мы пойдем с Вадимом покурить.

В курительной комнате он заговорил совершенно иным, деловым тоном. Он сказал, что сегодня звонили из заводского комитета комсомола, приглашали прийти завтра, часам к трем. Значит, надо ехать сразу после лекций.

— И в цехи сходите, посмотрите работу, но помните: это вам не турне, не экскурсия. Надо с Кузнецовым все обговорить, обстоятельно, серьезно. Много обещать не надо, но и бояться работы тоже не следует. Я на тебя надеюсь, смотри! Такое дело никак нельзя провалить.

Неожиданно он спросил:

— Она тебе нравится?

— Кто?

— Леночка.

Вадим кивнул и, скосив глаза на кончик папиросы, стал раздувать ее старательно.

— Она приятная,— сказал Спартак, помолчав.— Красивая.

Вадим и Лена сидели в задних рядах. Спартак ушел вперед — у него было слабое зрение. Лена сняла шапочку с головы, пепельные волосы ее пышно рассыпались по плечам, и сразу обнял Вадима томительный, тонкий запах ее духов. Короткую темную паузу перед сеансом в зале еще двигались, спотыкались впотьмах, скрипели стульями...

— Она объясняла мне свою турбину,— сказала Лена.

— Интересно?

— Ты думаешь, я что-нибудь поняла? — Лена зевнула, прикрыв ладошкой рот.— Боже, как скучно... Ходить с мужем в «Новости дня» и оживленно беседовать о паровых турбинах и членских взносах. И жевать мороженые мандарины.

...Прямо в зал, сверкая стальной грудью, влетает паровоз. Платформы, платформы, платформы — и на всех лес, огромные, запорошенные снегом бревна. Вот их распиливают в лесу. Вот валят сосны. Скуластая, с темным загаром на лице девушка подносит к комлю электрическую пилу — верхушка сосны медленно покачивается,

клонится все ниже и падает, вздымая облако снежной пыли. Девушка застенчиво улыбается, моргая белыми ресницами.

И вдруг она — скуластая, с темным загаром на лице — скачет на коне по солнечной пыльной дороге. На ней остроконечная шапка, узорные шаровары. Вот она обгоняет отару овец и, встав на стременах, кричит что-то, блестя зубами. Размашистая черная тень бежит за лошадью по земле. А небо над степью знойное и белое, в неразличимых облаках.

Какой там, наверное, ветер! Пахнет травами, овечьей шерстью, землей... И далекие горы — они так близко, за ними прячется солнце.

— А на что они живут, ты не знаешь? — шепотом спросила Лена.

Сразу не сообразив, о чем она спрашивает, он ответил:

— Не знаю.

— Вдвоем на стипендию? Удивляюсь...

После сеанса он сказал Лене, что идет завтра с ребятами на завод.

— Может быть, и ты пойдешь с нами?

— Может быть. А что там?

Он рассказал.

— Ах, вот что! На заводе-то я бывала. У меня же отец главный инженер. Но... нет, завтра я не могу. У меня на завтра что-то было намечено.

— Лена, знаешь что? — сказал Вадим порывисто и с неожиданной силой.— Если ты не можешь завтра, хочешь — пойдем в другой день? Я поговорю с Галустяном. Хочешь?

— Да нет, подожди...— Лена махнула рукой и, сосредоточенно закусив губы, остановилась.— Что же у меня было на завтра?.. Ах да! Завтра же именины моей школьной подруги, я приглашена. И ты, Вадим, и ты! — добавила она радостно.— Я о тебе рассказывала, и ты приглашен заочно. Я сказала, что приду с тобой. Ведь чуть не забыла!

— Лена, но я же не могу завтра!

— Как не можешь? — удивилась Лена.— Я обещала, там все знают, что я приду не одна. И почему ты не можешь? На завод можно и в другой день, а именины бывают только раз в году! Вадик, ну я прошу тебя! — Она ласково взяла его за руку.— Ну что я буду там делать без тебя? Я тебя прошу, слышишь?

Секунду он колебался, глядя в ее глаза, широко раскрытые от обиды. Ему было неприятно, больно видеть ее обиженной.

— Лена, но я обещал,— сказал он уже нетвердым голосом.— Пойми...

— Я тебя не упрашиваю! Не хочешь — не надо.

Легкая ладонь, лежавшая на его кожаном кулаке, дрогнула и резко его оттолкнула.

— Пожалуйста. Только не строй из себя энтузиаста. И не провожай меня.

— Глупости, я провожу.

— Нет,— сказала она, надменно подняв лицо.— На сегодня достаточно. Иди спокойно домой, всего хорошего.

Она быстро пошла по тротуару, высокая, в длинном волнующемся пальто с меховой оторочкой внизу.

ГЛАВА 13

В институте готовились к новогоднему вечеру. Каждый день после лекций в малом клубном зале шли репетиции «капустника». Проходя мимо дверей клуба, Вадим слышал женское пение, гром рояля, шарканье ног, чьи-то прыжки под музыку и мгновенно водворяющий тишину металлический, «руководящий» голос Сергея:

— Довольно! Я повторяю: всем вместе и тише! Ну?.. Давайте сначала!

Вновь гремел рояль, нестройно начиналось пение. Потом его перебивали голоса, смех, кто-то стучал ладонью по столу.

— Тише, ребята! Надо же серьезно!..

На завод выбрались поздно: сначала долго ждали Нину Фокину с занятий, потом Лагоденко, который вздумал вдруг гладить брюки: «Разве я могу с таким рубцом в гости ехать?..»

По дороге Вадим спросил у Лагоденко:

— Как твоя тяжба с Козельским?

— Что? Ах, это... Давно уже выковырял из зубов.

— Ты сдал ему?

— Ему — нет. Я Ивану Антонычу сдал. Хватит с меня Козельского.

— Ну, а насчет Севастополя как?

— Что-что? — Лагоденко удивленно посмотрел на Вадима и, вдруг вспомнив, нахмурился.— А! Пока не знаю еще... Может быть, я уеду.

— Чудак ты! — рассмеялся Вадим невольно.— И упорный чудак! Хоть бы раз в жизни сказал: «Ну, не прав был, сболтнул зря...»

— Это верно. Характер у меня неудобный,— легко согласился Лагоденко.— Так тебя ж, Дима, воспитывали где? Дома. А меня где? На улице.

Завод находился в другом конце города. Надо было ехать на троллейбусе и потом на метро. Когда они уже сели в троллейбус, их неожиданно догнал Сергей. Пробившись сквозь зароптавшую очередь, он прыгнул в вагон на ходу и уцепился за Вадимовы плечи.

— Ну нет, без меня не уедете! — крикнул он, толкая Вадима кулаком.— Гражданин, что вы повисли, как мешок? Расставил тут спину, а сзади люди падают...

В троллейбусе возбужденным голосом он объявил:

— Мне необходимо на завод. Хорошо Спартака встретил, он сказал, что вы только-только ушли...

В последние дни Сергей повсюду очень бурно расхваливал решение бюро о связи с заводом и с нетерпением ждал первой поездки. Он уговорил Спартака включить его в состав делегации.

Теперь Сергей громко шутил в вагоне, как у себя в комнате, рассказывал отдельные смешные места из «капустника» и тут же прикладывал палец к губам: «Тсс! Не имею права разглашать». Веселое его появление всех оживило, даже постороннюю публику, один только Лагоденко сразу насупился и умолк на всю дорогу.

— Адмирал-то надулся, а? — шепнул Сергей Вадиму.— Я ему всегда как эта самая... магнитная мина. Беда!

— Только вот что, ребята,— строго сказала Нина Фокина, когда они вышли из метро.— По дороге мы могли балагурить и валять дурака, а на заводе надо держаться солидно. Надо помнить...

— Что мы представители,— перебил ее Сергей,— олицетворение, так сказать, и авангард...

— Сережа, я не шучу.

— Нинон, все будет прекрасно! Ведь я с тобой. Опирайся на меня как на глыбу. Я буду говорить с ними только о производственных проблемах.

— Прекрати, Сергей,— сказал Вадим, невольно улыбаясь.— Ты действительно что-то...

— Да бросьте вы! — вдруг сердито отмахнулся Сергей.— Вздумали меня серьезно поучать! Да я лучше вас всех знаю завод и заводских ребят. Слава богу, перебывал, перевидал!..

Комитет комсомола помещался на третьем этаже большого кирпичного здания в глубине двора. Здесь же, во дворе, был гараж. Несколько машин стояло под открытым небом. Около одной из них возились два механика в комбинезонах. Один лежал под кузовом, раскинув ноги, другой сидел на корточках. Заметив Андрея Сырых, он встал и приветственно помахал ключом.

Андрей кивнул в ответ. Пройдя несколько шагов, он пробормотал Вадиму, взволнованно усмехаясь:

— Помнят еще... Это Женька Кошелев, слесарь гаража. Баянист.

В комитете комсомола их встретил очень высокий, плотный, накоротко остриженный юноша — секретарь комитета Кузнецов. Он улыбался доброжелательно и спокойно, без всякого смущения, и крепко пожал всем руки, а Андрею дружески подмигнул. В комитете был еще смуглый паренек с черными, строгими глазами — на руке у него, прямо на манжете гимнастерки, были надеты большие «зимовские» часы, а из нагрудного карманчика торчал хоботок штангенциркуля.

— Шинкарев, Глеб,— твердым баском назвал себя паренек.

— Член комитета. Производственный сектор,— сказал Кузнецов.— Кстати, он наш лучший резьбошлифовщик. О нем недавно в «Комсомольской правде» писали.

— Да, я читал про вас,— сказал Сергей.— Это несколько дней назад? Забыл, как называется статья. Читал, одним словом.

— Вот. Дни у нас теперь горячие... Видите плакат? — Кузнецов указал в окно с видом на заводской двор.

На стене противоположного корпуса висело длинное полотнище: «Товарищи рабочие, инженеры и техники! Дело нашей чести — выполнить годовой план к 20 декабря!»

— Сегодня, как вы знаете, восемнадцатое. Главный инженер с ночи из сборочного не выходил. Мне вот тоже...

Зазвенел телефон. Кузнецов снял трубку и сказал, прикрыв ее ладонью:

— Вы садитесь пока, товарищи. Сейчас мы с вами пойдем на территорию.— Он прижал телефонную трубку плечом.— Да? Откуда?.. Кузнецов... Какие списки?.. Я же вам подавал в начале месяца... Да... Всего в школах рабочей молодежи сто двадцать человек... Да, да... Ладно, завтра пришлю.

— Ты покажи ребятам комсомольскую газету,— сказал Андрей, когда Кузнецов повесил трубку.

— А мы ее теперь на территории вешаем. Нет, пусть сначала пройдут по заводу, посмотрят, им же интересно...

Опять раздался звонок.

— Кузнецов слушает. Здравствуй, Петр Савельевич... Нет, ничего не говорил... Ну... Сколько тебе, двух человек? Ладно, вечером на партбюро... Нет, сейчас не могу... Я ими не распоряжаюсь, все! Вечером, да! — Он бросил трубку.— Идемте, товарищи.

Схватив кепку с вешалки, он стал так торопливо надевать свое кожаное пальто, словно боялся, что вот-вот еще кто-нибудь позвонит. И действительно, когда все уже вышли в коридор и Кузнецов запер дверь на ключ, из комнаты донесся приглушенный звонок.

— Вот черт...— искренне огорчился Кузнецов.— Ну ладно, я вас догоню!

— Деятель-то, видно, начинающий,— тихо сказал Сергей.— На каждый телефонный звонок бегает.

— Нет, он уже второй год секретарем,— сказал Андрей.— А я еще помню, как он из ремесленного пришел. Слесарем работал у нас в инструментальном.— Андрей усмехнулся.— Он и вырос-то здесь, на заводе. Когда пришел, помню, по плечо мне был, а сейчас, верно, я ему по плечо...

Завод поразил Вадима прежде всего внешним своим обликом. Корпуса, трубы, всевозможные постройки, пристройки и надстройки из кирпича, металла и дерева — все это было слито друг с другом, связано невидимой, но могучей и нерасторжимой связью. И даже маленькие скверики между корпусами — клочки мерзлой земли, обнесенные аккуратной изгородью из белых дюралевых труб,— казались звеньями этой единой цепи, важными и необходимыми в общем деле.

Торопливо и деловито, похожие этой деловитостью один на другого, пробегали по двору из цеха в цех люди. Первый цех, куда зашел Кузнецов, был инструментальный.

— Здесь-то я и работал,— сказал Андрей, когда они поднимались на второй этаж,— я тут каждую гайку знаю.

Они вышли в коридор, одна стена которого была стеклянной, с окошечками, какие бывают в почтовых отделениях.

— Это ЦИС,— объяснил Андрей.— Центральный инструментальный склад. Интересно, работает ли здесь еще Михаил Терентьевич? Вот был дотошный старик, завскладом...

Он подошел к одному из окошек, чуть приоткрыл его и громко сказал:

— Папаша, дай, пожалуйста, пилу драчевую триста миллиметров. Начальника вашего нет, я тебе потом требование оформлю...

Из глубины помещения отозвался ворчливый стариковский голос:

— Папаш здесь нету! Папаша дома остался, на печи! А без требований мы не отпускаем. Тебе пилу, ему пилу, и каждому на слово, это что же...

— Да принесу я требование...— сдерживая смех, сказал Андрей.

Прислонившись к стене плечом, он с удовольствием слушал бормотанье старика, который, распаляясь все больше, подходил к окошку. Вдруг, всунув в окошко голову, Андрей крикнул:

— Привет Михал Терентьичу!

Из-за стеклянной перегородки растерянно ответили:

— Андрюша!..

— Я, Михал Терентьич! Хотел узнать — здесь ли вы,— сказал Андрей смеясь,— помню: «папаш» не любите, без требований гоняете! Сейчас забегу к вам... Ребята, идите, я вас в цехе найду!

Еще на первом этаже, когда поднимались по лестнице, слышно было тяжелое гудение работающего цеха. В коридоре шум этот усилился; стеклянная стена ЦИСа непрерывно позванивала. В самом цехе на Вадима обрушился водопад металлических шумов.

Огромное помещение, ярко залитое электричеством, было почти сплошь уставлено станками. В первое мгновение Вадиму показалось, что и людей-то здесь нет, а одни машины. Люди были безмолвны, двигались бесшумно и потому терялись в этом море гремящего металла. Приглядевшись, Вадим заметил рабочих у станков и в дальнем конце цеха множество людей, стоявших близ-

ко друг к другу,— это были слесари, работавшие за длинными верстаками.

— Инструментальный цех,— кричал Кузнецов, стараясь, чтобы его слышали все.— Изготовляет инструмент, штампы, шаблоны... все, что заказывают цеха!

Между двумя колоннами посредине цеха был натянут лозунг: «Инструментальщики! Сдадим оснастку для цеха 5 точно в срок!»

— Пятый цех мы переводим на поток! — кричал Кузнецов.— А вся оснастка здесь делается!.. Здесь работает наша лучшая комсомольская бригада... токарей!..

В бригаде было три парня и две девушки. На всех пяти станках развевались маленькие красные флажки. Бригадир Николай Шаров — долговязый, чубатый юноша — увидел Кузнецова, кивнул ему и сейчас же вновь нагнулся к станку. Сергей подошел к нему. Став поодаль, чтобы его не задела стружка из-под резца и брызги эмульсии, он громко спросил у токаря:

— А где вы живете?

Тот, взглянув удивленно, ответил:

— Я? На Палихе.

— А у вас есть общежитие для молодых рабочих? — спросил Сергей, вынув свою записную книжку и подступая ближе.— Может быть, из ваших приятелей кто-нибудь живет в общежитии?

— Есть ребята. Живут.

— Ну и как? Довольны? Как вообще они проводят досуг?

— Ну, там есть такая комната отдыха, вроде клуба...— ответил Шаров, не поднимая головы от станка.

— Ага, вроде клуба... И что же — там бывают танцы какие-нибудь, есть радиола? Интересно, а в комнатах чисто?

Сергей довольно долго, тем же напористым и деловым тоном расспрашивал токаря, что-то записывал в книжечку, а Шаров отвечал коротко, не желая терять и полминуты рабочего времени. У Сергея был вид необыкновенно серьезный и озабоченный.

— Что это ты вдруг заинтересовался радиолой? — спросил Вадим, когда «интервью» наконец закончилось.

— Мне нужно,— быстро сказал Сергей, пряча книжечку в карман.— Двигаем дальше?

Но двинуться дальше им удалось не сразу. В этом цехе, кажется, все были друзья и знакомые Андрея. Одни здоровались с ним издалека, другие подходили и радост-

но трясли руку. Андрей не успевал отвечать на все рукопожатия и приветствия, не успевал знакомить старых друзей с новыми. Вадим никогда не видел Андрея таким радостно-возбужденным и общительным.

Подошел и начальник цеха — коренастый, с выбритой седой головой и очень широкими покатыми плечами. У него было молодое загорелое лицо и суровые, устало покрасневшие веки. Оглядев всех и выбрав почему-то Лагоденко, он спросил у него с шутливой строгостью:

— А скажите, молодой человек, как у вас Сырых учится?

— Хорошо учится,— ответил Лагоденко.— Не жалуемся, товарищ начальник.

— Он у нас кандидат на персональную стипендию,— добавил Сергей.

Андрей посмотрел на него удивленно:

— Ты что?

— Точно, точно, Андрюша! Не смущайся.

— Это подходяще.— Начальник цеха улыбнулся и подмигнул Андрею красным глазом.— Будь иначе, я бы его обратно у вас забрал. Пошел бы, Сырых, обратно на производство?

— Пошел бы, Николай Егорович,— сказал Андрей, тоже улыбаясь.— Да вы меня не возьмете — заучился, все забыл...

— Скажите, Николай Егорович,— решительно и деловито вступил в этот шутливый разговор Сергей,— имеются у вас рабочие, которые пошли в ваш цех из конторы, заводоуправления? Необученные новички?

— Именно в моем цехе? Нет, у меня таких нет.

— Ну хорошо, а в других цехах? Какую работу обычно предпочитают такие люди?

Сергей уже вынул свою записную книжку и приготовил перо. Начальник цеха озадаченно пожал плечами.

— Сказать трудно... На разную идут работу.

— А вот интересно: существует ли между слесарями и, допустим, токарями что-то вроде соперничества? Ну, вроде чеховского: «плотник супротив столяра»?

Лагоденко, взяв Сергея за локоть, сказал негромко:

— Слушай, брось... Не задерживай человека. Тебе на эти штуки Кузнецов ответит.

— Да, конечно, товарищ, конечно! — с готовностью закивал Кузнецов.— Пойдемте в комитет и обо всем поговорим.

Вадиму почему-то неприятно было это навязчивое любопытство Сергея, его толстая записная книжка, его самоуверенный и развязный тон, каким он одинаково легко говорил со всеми, кто попадался на пути.

Улучив минуту, когда никто не мог его слышать, Вадим сказал Сергею тихо и раздраженно:

— Что ты строишь из себя корреспондента агентства Рейтер?

— Что-о? — изумился Сергей.— Какого корреспондента? Знаешь, не учи меня!

— Как ты сам не понимаешь! Неловко же,— пробормотал Вадим.

— Я повторяю,— проговорил Сергей резко и гнусаво, своим «особым» голосом.— Не учи меня правилам хорошего тона! Я делаю то, что считаю нужным.

Кузнецов и Андрей обернулись на этот голос, и Вадим, ничего больше не сказав, отошел от Сергея.

И в комитете комсомола, где начался разговор о литературном кружке, о лекциях, которые студенты собирались прочесть для заводской молодежи,— и там Сергей продолжал назойливо, перебивая всех, засыпать Кузнецова вопросами, многие из которых вовсе не относились к делу. Кузнецов, человек обязательный и деликатный, отвечал на эти вопросы старательно, подробно. Сергей все записывал.

Андрей наконец не выдержал и сказал Сергею мягко:

— Сережа, все-таки мы не можем сидеть здесь до ночи. Давай сперва наши дела решим, а потом будешь спрашивать то, что тебе интересно.

— Пожалуйста! Разве я мешаю? Давайте решать, давайте!

— Мы сейчас вот что: пойдем в заводоуправление,— сказал Кузнецов.— Посоветуемся с нашим парторгом. Он нам, я думаю, кое-что подскажет. Я с ним о вас уже говорил.

В это время Кузнецову позвонили из инструментального цеха, сообщили, что бригада Шарова закончила всю токарную работу для цеха 5 на неделю раньше срока. Начальник цеха просил дать срочную «молнию».

Но оказалось, что художник заболел и «молнию» писать некому. Кузнецов принялся звонить по разным телефонам, кого-то просил, спорил, доказывал — все безуспешно. И тогда Вадим сказал:

— А давайте я напишу.

— Конечно, дай ему! — живо подхватил Сергей, ко-

торый уже перешел с Кузнецовым на «ты».— Он тебе лучше любого художника напишет. Ему это раз плюнуть.

— Серьезно? — обрадовался Кузнецов.— Тогда напишите, если это не трудно. Понимаете, надо сейчас вывесить, пока первая смена не ушла.

И вот Вадим остался один в комнате с большим белым листом бумаги, разостланным прямо на полу. В глубине души Вадим признался себе, что ему даже не очень-то и хотелось идти в партком в одной компании с Сергеем. Он все время чувствовал раздражающую неловкость от его поведения, навязчивых разговоров, и это чувство неловкости все росло, становясь попросту невыносимым. «Нет уж,— подумал Вадим,— больше я с ним ни за какие коврижки вместе не пойду. Лагоденко-то прав был...»

Он снял пиджак, разложил на полу газету, лег на нее и обмакнул кисточку в красную тушь. Он сразу почувствовал себя легко и привычно за этим делом, которым он так часто занимался в последние пятнадцать лет — вероятно, со второго класса. Опять он художник-оформитель, старательный и безотказный, но всего-навсего оформитель... Ребята сидят сейчас в парткоме, советуются, спорят, составляют разные планы и принимают решения, а он лежит на полу и рисует буквы. Сейчас, например, он занят тем, чтобы уместить три буквы «ТСЯ» на одной строчке. Вадим усмехнулся: «Ну и что ж, зато я уже что-то делаю, а они все разговаривают. И Сережка, наверно, больше всех...»

Кузнецов просил Вадима позвонить в цех, как только «молния» будет готова. Вадим позвонил — сказали, что сейчас пришлют человека. Он перетащил «молнию» к батарее, чтобы она быстрее сохла. В дверь постучали.

— Войдите,— сказал Вадим.

Вошла молоденькая девушка, держа в руках листок бумаги.

— Товарища Кузнецова нет?

— Нет.

Девушка взглянула на сохнущую «молнию» и радостно сказала:

— А мне как раз вы нужны, а не Кузнецов! Мне сказали, что вы в редакции, но там заперто. Дело в следующем: вы Гуськова знаете? Это наш парторг. Так вот, он просил вас срочно сделать следующую карикатуру. Имейте в виду: срочно! — Она говорила и все время хмурила тоненькие черные брови, стараясь быть, очевидно, как можно серьезнее.— У нас положение катастрофиче-

ское. Восьмой цех с утра не дает нам прокладки. У них стал один штамп, и вот они возятся целый день, а мы стоим. Три бригады стоят! Это возмутительно! Вот текст «молнии».

На обрывке тетрадочного листа было написано:

Позор Ференчуку! Неподачей прокладки в цех 12 вы ставите под угрозу выполнение заводом взятых обязательств!

Из-за вашей халатности остановился конвейер цеха 12.

Коллектив завода требует от вас срочно выправить положение.

— Кто этот Ференчук? — спросил Вадим.

— Вы не знаете? Он ужасный! Это начальник заготовительного цеха. Из-за него у нас всегда неприятности. А карикатуру вы сделайте в красках, вроде вашей последней. Она мне очень понравилась.

— Это какая? — спросил Вадим, улыбнувшись.

— А вот насчет АХО. Лебедь, рак и щука.

— А!

— Вот такую. И надо сейчас же начинать, чтобы вторая смена увидела. А вы, оказывается, совсем молодой! — сказала она неожиданно.— Мне говорили, что вы пожилой и очень худой.

— Я поправился,— сказал Вадим,— за последние дни.

— А я, наоборот, похудела,— сказала девушка, засмеявшись.— Все из-за этой проклятки, тьфу — прокладки! Такие переживания! Я ведь диспетчер цеха. К вам я мимоходом, меня Гуськов попросил. Знаете что — идемте сейчас в заготовительный цех!

— Зачем?

— Я вам покажу этого Ференчука. Вы же будете делать дружеский шарж?

— Дружеский, безусловно.

— Так надо, чтобы он получился похож. Конечно! — заговорила она горячо.— Он должен быть как две капли воды! Он же самолюбивый и пусть почувствует. Насчет АХО у вас удачная карикатура, но ведь они никто не похожи! Я их только и узнала, потому что вы написали фамилии на хвостах. Разве, например, Илья Маркович похож на вашего лебедя? А Сперанская — на рака?

— Да, но... я же их дал символически,— неуверенно проговорил Вадим.

— Все равно! Должно быть похоже. Даже глупо спорить. Ну, идемте!

— Сейчас должны прийти за «молнией»,— сказал Вадим.— И потом как мы оставим комитет? Кузнецов ушел в партком.

— Берите «молнию»,— сказала девушка повелительно.— Мы отдадим ее прямо в цех. А ключ от комитета оставим в завкоме.

Заготовительный цех находился в самом дальнем конце заводской территории. Вадим долго шел по двору рядом с Мусей — так звали девушку,— которая говорила почти без умолку. От злополучной прокладки разговор легко перекинулся к последним кинофильмам. Старые немецкие картины, появившиеся в эти дни на городских экранах, возмущали Мусю не меньше, чем поведение «этого Ференчука». Лучше уж скушать порцию пломбира за два девяносто, чем смотреть эту стряпню.

Наконец они вошли в широкие ворота одного из корпусов.

— Это заготовительный? — спросил Вадим.

Муся посмотрела на него удивленно.

— Какой же это заготовительный? Это третий механический. Видите, вы мало бываете на территории. Значит, вы не болеете за производство. Вам бы только нарисовать и получить деньги, да? Нехорошо это, такой молодой и уже обюрократились.

Вадим пробормотал, что теперь он постарается бывать на территории чаще.

Они прошли весь цех, миновали какой-то пустой коридор и очутились в большом и длинном помещении, где стоял дробный грохот от множества работавших здесь штамповочных прессов. Возле одной стены лежала груда труб различного диаметра, они все были черные, блестящие и остро пахли смазкой. Горами вдоль стен лежали стальные кольца, болванки, голубоватые дюралевые листы.

По тому презрительному выражению, которое появилось вдруг на Мусином лице, Вадим понял, что они пришли наконец в заготовительный цех.

— А где этот Ференчук? — спросил он.

— Сейчас увидите.

На маленькой комнатке с фанерными стенами было написано: «Начальник цеха». Муся толкнула дверь и вошла, следом за ней Вадим. Ференчук сидел за столом и что-то писал. Это был мужчина средних лет, очень лобастый, очень курносый, в выцветшем кителе, из-под которого виднелся дешевый бумажный свитер.

— Товарищ Ференчук, я снова к вам,— произнесла Муся сухим, диспетчерским тоном.— Когда вы даете прокладку?

Ференчук поднял на Мусю серые, безразличные от утомления глаза, потер широкой рукой лоб и сказал:

— Барышня, не надо брать меня за горло. Раньше утра я вам прокладку не дам. Я уже Потапову сказал! Штамп чинится. Вы понимаете? Ночью не дам, а утром дам,— голос у него был тихий и внятный, как будто он разъяснял что-то очень простое бестолковому человеку или ребенку.

— А почему вы вовремя не ремонтировали второй штамп? Вы же сорвали...

— Не надо брать меня за горло,— устало повторил Ференчук и покачал головой.

— Нет, надо! — гневно сказала Муся.— Вот именно — надо! Пеняйте теперь на себя.

Выйдя вместе с Вадимом из фанерной комнаты, Муся спросила:

— Схватили?

— Что схватил?

— Его черты... Ну, лицо!

— Примерно схватил...

— Тогда сейчас же идите и делайте. Значит, так: куча прокладок — это такие тонкие колечки, Ференчук сидит на куче и считает ворон. Несколько ворон нарисуйте. Я думаю, неплохо получится, а?

— Да. Можно и так.

— Только скорее! Полчаса до смены. За пятнадцать минут сделаете?

— Буду стараться.

— Старайтесь. Вы даже не представляете, как это важно.

В комитете комсомола все еще никого не было. Вадим устроился на полу, быстро написал текст, а через десять минут кончил и карикатуру. То, что он сделал, ему не понравилось. По-настоящему похожи были только вороны. Ференчук, сидевший в неестественной позе на куче прокладок, получился очень толстый, обрюзглый и был похож на американского магната-капиталиста, каким его рисуют в «Крокодиле». Кроме того, Вадим забыл, какие у Ференчука волосы, да и есть ли они вообще. Поэтому он набросал вокруг голого черепа несколько туманных штрихов, которые могли быть и волосами и одновременно казаться игрою света и тени.

Разовый пропуск, который выписал Вадиму и остальным студентам Кузнецов, позволял проходить на терри-

торию в течение всего дня. Вадим вновь пошел на завод. Он уже хорошо ориентировался и быстро нашел цех 12. Муся вышла ему навстречу вместе с Гуськовым, худощавым светловолосым молодым человеком в чистой спецовке, вероятно мастером.

— Ой, как здорово! — воскликнула Муся, развернув «молнию».— Вылитый Ференчук! И нос, и лоб — ну все, все! Верно, Андрей Кузьмич?

— Да,— кивнул Гуськов.— Есть общее.

«Молнию» повесили во дворе, на самом видном месте. Уже многие рабочие первой смены шли к проходной. Они группами останавливались перед «молнией», читали вслух, громко и одобрительно смеялись. Вадим стоял чуть поодаль, испытывая гордое удовлетворение при виде успеха своей работы. Когда он уже повернулся, чтобы идти к проходной, к нему вдруг подбежала Муся.

— Подождите минутку,— шепнула она, схватив Вадима за рукав,— Ференчук идет! Интересно, что он скажет.

Ференчук в стеганой телогрейке и фуражке защитного цвета подошел к «молнии», долго и молча стоял перед ней, потом оглянулся.

— Твоя работа? — спросил он, найдя глазами Гуськова.

— Зачем моя? Это вот его работа, художника,— сказал Гуськов улыбаясь и кивнул на Вадима.

— Это что ж такое? — вдруг громко и протяжно спросил Ференчук. Лицо его потемнело.— Что это за «позор Ференчуку»? Какой позор? Позо-ор? — повторил он свирепо.— Да вы отдаете себе полный отчет...

— Ты не бурли тут, а знай дело делай,— спокойно сказал Гуськов.— Проворонил штамп, тебя и критикуют. Ты, товарищ милый, критику неправильно воспринимаешь.

— Это которую критику? Которую тут на стенке повесили? — Ференчук решил вдруг, что выгодней всего излить свой гнев на художника, и повернулся к Вадиму: — Вы тут в галстучке расхаживаете, карандаш за ухом, а люди вторые сутки ватника не сымают, дома не ночуют! Вам что, тяп-ляп — и намалевал! Тоже труженики! Один при завкоме кормится, теперь другого какого-то нашли! Карикатурщики, дух из вас вон...— Ференчук запахнул телогрейку и быстро пошел прочь.

Гуськов довольно рассмеялся.

— Заело! Ох, и зол мужик... Ему сегодня уже главный всыпал по первое число.

— Ничего! Злой быстрей ходит,— сказал кто-то из рабочих.

— Точно,— подтвердил другой.— Расшибется — а штамп наладит. Там делов-то: одна матрица...

— Строгалей живыми съест, а наладит,— сказал третий убежденно.— К обеду наладит, поглядишь.

Возле «молнии» останавливались рабочие второй смены. Они шли все гуще и все быстрее, и дверь проходной уже не хлопала, а беспрерывно визжала, пропуская нескончаемый поток людей.

Комитет комсомола был заперт. В завкоме Вадиму сообщили, что Кузнецов на партбюро, а студенты давно ушли. Вадим вышел на улицу.

По переулку бежали, торопливо докуривая на бегу, последние рабочие новой смены. Завод уже был далеко позади, но все еще слышалось его неспешное глухое гудение, а в черном небе над заводом колыхалось серое, казавшееся бесформенным в темноте, облако дыма. Красные искорки вылетали из трубы, вероятно котельной, и, вертясь, рассыпались в воздухе. Их было множество, они появлялись и исчезали каждую минуту. Шел снег, но пахло не снегом, а бензином. Днем тут стояли машины, забиравшие готовую продукцию.

Казалось странным, что переулок был так тих и пустынен, а где-то совсем рядом, за стеной, кропотливо трудятся собранные в одно место тысячи людей. Другим это казалось бы странным, но Вадим не удивлялся. У него было такое чувство, радостное и спокойное, точно он давно знал этих людей. И много раз ходил по этому переулку, возвращаясь с рабочей смены. Так же, как они, боялся опоздать, и курил на бегу, и спешил скорее проскочить через визгливые турникеты проходной.

А как приятно идти по свежему снегу — наконец-то снег! — и полной грудью дышать, дышать...

ГЛАВА 14

Новый год приближается.

На площадях Революции, Манежной и Пушкинской день и ночь стучат топоры плотников — там сооружают-

ся веселые новогодние базары. Гигантская елка вырастает на Манежной площади и вовсе не кажется маленькой рядом с кремлевской башней. Она сплошь усыпана разноцветными фонарями, и, когда ночью рабочие пробуют освещение и зажигают все фонари, елка стоит посреди площади, как волшебная хрустальная гора из детской сказки. На улицах оживленная предпраздничная суета.

Мороза как будто нет, о нем не говорят, его не замечают. Ловкие загородные мальчишки уже вовсю торгуют елками у вокзалов, и пенится в магазинах однодневное золото елочной мишуры.

Москва пахнет хвоей и мандаринами. На всех перекрестках продаются мандарины, их очень много в этом году.

В последний момент было решено (важные решения всегда принимаются в последний момент) не делать отдельных курсовых вечеров, а устроить большой новогодний вечер для всего факультета. Этот вечер был назначен на двадцать восьмое. Афиша в вестибюле, написанная на длинном, в высоту всей стены, листе бумаги, обещала:

ГРАНДИОЗНЫЙ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК

Повестка ночи:

1. Оригинальный «капустник». 1 кв.
2. Музыкальные номера.
3. Выступления драмкружка.
4. Выступление гостей — студентов других вузов.
5. Танцы (в течение хоть всего года).

Накануне Лена возбужденно рассказывала в аудитории:

— Только смотрите — не опаздывайте на «капустник»! Сергей сочинил такой чудесный текст, мы просто лежим от смеха, играть невозможно! Ну — блеск! Вот увидите, как здорово!..

Она недавно включилась в репетиции «капустника» и в последние дни только и говорила о нем.

Однако Вадим опоздал: сегодня ему почему-то особенно грустно было уходить от Веры Фаддеевны. Он долго сидел возле ее кровати, читал вслух Вересаева до тех

пор, пока она не отобрала у него книгу и не велела идти на вечер. «Я хочу спать»,— сказала она сердито. На самом деле ей просто было жалко сына и хотелось, чтобы он отдохнул и развлекся. А Вадиму вовсе не хотелось развлекаться, он шел на вечер в смутном, неопределенном настроении, далеко не праздничном...

Уже подходя к зданию института, Вадим слышал приглушенную музыку, взрывы смеха; окна клуба ярко светились, и видны были черные спины и головы людей, сидевших на подоконниках.

В зале все места были заняты, студенты стояли тесной толпой у входа и в конце зала, за рядами стульев. Среди зрителей Вадим увидел нескольких девушек и ребят с завода — он сразу не узнал их, одетых в нарядные платья и праздничные костюмы. Андрей Сырых и Кузнецов сидели в одном из задних рядов и делали Вадиму приглашающие жесты, имевшие только символический смысл — сесть рядом с ними было негде.

Вадим пробрался в конец зала и нашел место на подоконнике. «Капустник» был в разгаре. На сцене изображался прием экзаменов профессором русской истории Станицыным. Сам Станицын, высокий седовласый старик, сидел на стуле почти возле сцены: он плохо слышал и, приставив к уху ладонь, улыбался и качал головой. В институте Станицына любили — человек он был очень знающий, авторитетный, но отличался предельным мягкосердечием и рассеянностью. На всех заседаниях ученого совета Станицыну попадало за «либерализм».

Играл Станицына сам Палавин. Он сидел за столом в долгополом старинном сюртуке, в парике из клочьев ваты и тонким жалобным голосом спрашивал:

— Так скажите, голубчик, какое море явилось театром военных действий в период Крымской баталии пятьдесят третьего — пятьдесят шестого годов? И назовите даты этой баталии.

Студент что-то отвечал, но голоса его не было слышно из-за дружного смеха зрителей. Когда стало тише, студент задумчиво переспросил:

— Какое море?

— Да. Какое же?.. Ну, ну?.. Че-о...

— Черное, профессор?

— Черное, голубчик, Черное. Совершенно верно. Ну, даты вы знаете. Так... Теперь скажите, кто такие безлошадные крестьяне?

— Безлошадные? Это, наверно... которые, это...

— Ну, ну? Которые что? Которые не имели чего?.. Ло-о...

— Лошади! — вдруг догадывался студент.

— Лошади, ну конечно! — восклицал профессор, растроганно улыбаясь.— Совершенно верно. Вот и прекрасно. Так давайте же вашу — что? За...

— Зачетку?

— Нет, молодой человек,— строго говорил профессор.— Не зачетку, а зачетную книжку. Научитесь говорить по-русски, голубчик.

При общем смехе Станицын шутливо грозил кулаком артистам: «Вот я вам теперь покажу!» Следующие эпизоды «капустника» изображали работу редколлегии, совещание клубного совета, распределение путевок и другие сюжеты из жизни института и общежития. «Капустник» имел успех. Вадим видел, как смеялись преподаватели в первых рядах, улыбались Мирон Михайлович Сизов и сидевший рядом с ним директор института Ростовцев. А заместитель директора по хозяйственной части, маленький, полный, сверкающий лысиной Бирюков, хохотал тонко и заразительно, обмахиваясь носовым платком.

Последний номер относился к длительной тяжбе института с треском «Химснаб», занимавшим часть нижнего этажа здания. Институт законно добивался выселения «Химснаба», который занял нижний этаж временно, в период войны. На всех собраниях Бирюков заявлял, что «вопрос на днях решится, наша берет», однако дело тянулось уже третий год, а «Химснаб» все не выезжал.

Между полотнищами занавеса появился большой картонный рупор, и Лесик заговорил в него голосом и с интонациями Синявского:

— Итак, мы начинаем репортаж о футбольном матче между командами «Наша берет» — Москва и «Наша не отдает» — тоже Москва. Матч начался каких-нибудь два-три года назад, но счета по-прежнему нет. Атакует команда «Наша берет»... Вот возглавляющий пятерку нападения Ростовцев дает точный пас Бирюкову, тот сразу дальше, в Моссовет... Вот он получает прекрасный пас из Моссовета — на выход! Ну... Надо же бить! Бить! Э, он что-то танцует вокруг мяча... танцует... Наконец — удар!!! Ну что-о это! Из такого положения, и так промазать...

В этом духе репортаж продолжался довольно долго, и с каждым словом Лесика восторженное одобрение слушателей все возрастало.

Последние слова его трудно было расслышать в общем хохоте. Когда рупор исчез и раздались аплодисменты, из-за занавеса вышли улыбающиеся Лесик и Палавин и, раскланиваясь, указывали друг на друга. Палавин был в новом светло-сером костюме, по-модному широком и длиннополом, который делал его необычайно солидным. Он был похож на какого-то известного артиста.

«Капустник» окончился. В перерыве Вадим вышел в коридор и нашел Андрея и Кузнецова. Рядом с ними стояла какая-то светловолосая, очень молоденькая девушка в синем платьице.

— Познакомься, Вадим, это моя сестра,— сказал Андрей,— Елочка.

— Не Елочка, а Ольга,— сказала девушка, строго посмотрев на брата.

У нее были внимательные, большие глаза, такие же синие, как у Андрея. На вид ей было не больше семнадцати.

— Вам понравился «капустник»? — спросил Вадим.

— «Капустник» — да. Мне понравился. Только одно не очень понравилось...

— Что же?

— То, как себя держит автор. Как его, Андрей?

— Палавин, Сережка. Но ты его совсем не знаешь! У тебя, Елка, привычка обо всем судить очень безапелляционно.

— Почему безапелляционно? Я наблюдала за ним еще до вечера, в коридоре. Он мне не понравился, вот и все.

— Прекрасный аргумент! — сказал Андрей, рассмеявшись.— Не понравился, и все! И баста! Вот так она всегда...

— Да, я так всегда. Я считаю, что первое впечатление самое верное,— сказала Оля, упрямо тряхнув головой.

— Чем же наш автор так вам не угодил? — спросил Вадим.

— Вы знаете, он какой-то очень... кричащий.

— Может быть, крикливый?

— Нет, кричащий. Я даже не знаю, как объяснить...

— Вот, вот! — расхохотался Андрей.— Дельфийский оракул изрек, а вы догадывайтесь как хотите.

Оля, даже не взглянув на Андрея, продолжала:

— Хотя, вероятно, он пользуется большим успехом. У девушек, да? Я спрашиваю у вас, потому что мой брат никогда не замечает таких деталей. Он ведь выше этого.

— Кажется, да,— сказал Вадим улыбаясь. Ему нравилось, как она разговаривает с братом, и вообще нравилась ее речь, юношески серьезная и оттого чуть-чуть наивная.

— Мы с Сергеем все собираемся приехать в гости к Андрею. Если мы когда-нибудь соберемся и вы узнаете Сергея ближе, я думаю, вы измените свое мнение.

— Возможно. Ведь он талантливый человек?

— Да, он очень способный.

— Парень с головой,— подтвердил Кузнецов, серьезно кивнув.— Мы когда в парткоме совещались, он больше всех ваших говорил, и так по-деловому, знаете, принципиально. Вы, Ольга, напрасно его так обижаете...— Он вдруг улыбнулся и с нескрываемым восхищением потряс рукой.— А эта постановка! Ну, я давно так не хохотал. И здорово же!..

— Не знаю. Может быть,— быстро сказала Оля.— Я тоже, конечно, смеялась. У нас на вечерах никогда не бывает так весело.

— А вы где учитесь? — спросил Вадим.

— В техникуме. А этот ваш Леша исключительно хорошо Синявскому подражает!

В коридоре становилось все теснее. Большая толпа студентов и гостей стояла возле стенной газеты, рассматривая новогодние шаржи.

— Где тут, где тут меня прохватили? — улыбаясь в рыжую бороду, говорил Иван Антонович, пробираясь к газете.— Ну-ка?

— Вот вы, Иван Антонович! Видите? — радостно сообщал кто-то.— А вот Козельский.

— Батюшки, страсть-то какая! Что это вы Бориса Матвеевича в таком затрапезном виде изобразили?

— А это одеяние средневекового схоласта, Иван Антонович. Из хрестоматии по западной литературе срисовали.

— Вот те на! Обиделся?

— Да нет, посмеялся только. Это же дружеский шарж!

— Дружеский, оно конечно... Удружили, говорите? — И Кречетов вдруг громко и заразительно расхохотался.

Подошел Спартак в новом черном костюме и ярком галстуке, торжественно ведя под руку Шуру. Увидев Кузнецова, он моментально забыл о жене и, ухватив Кузнецова за локоть, потащил его куда-то в сторону. Через минуту оттуда донесся его разгоряченный голос:

— Нет, Павел! Нет, нет... Ты послушай! Вы можете прекрасно обратиться в лекционное бюро, не в этом же дело! Я думаю о другом...

Продолжая разговаривать с Олей, Вадим вдруг увидел Лену. Она поднималась снизу, очевидно из буфета, вместе с Маком и что-то быстро говорила ему. Мак угощал Лену конфетами из бумажного кулечка, который он двумя руками держал перед собой. Он был в своем вечном лыжном костюме, но с галстуком, не сводил с Лены глаз, счастливо улыбался, поддакивал, и лицо его, покрасневшее, даже немного потное от волнения, показалось Вадиму неуместно восторженным и глупым. Лена не заметила Вадима; потом она скрылась в толпе. Теперь только Вадим сообразил, что Лены-то он не видел. Очевидно, она играла в первых номерах, на которые он опоздал.

Вскоре зазвенел звонок, возвестивший начало концерта самодеятельности. Вадим сел рядом с Андреем. В зале было жарко, несмотря на открытые фрамуги больших окон. Стало еще шумней, еще тесней, многие уже побывали в буфете и теперь бестолково блуждали по залу, громогласно острили и смеялись.

Наконец все уселись, и девушка с первого курса, конферансье, объявила о начале концерта. Первыми выступали гости — молодые болгары, студенты Московской консерватории. Они были одеты в яркие национальные костюмы: девушки в длинных цветистых юбках, парни в шароварах и высоких шапках. В зале зазвучали протяжные болгарские песни, потом веселые русские, закружились в стремительном пестром переплясе танцоры. Аплодировали гостям бурно и все время вызывали на «бис». Особенно понравились Вадиму ребята — рослые, белозубые, с загорелыми приветливыми лицами. Потом девушки-болгарки сбежали со сцены в зал и начали кропить всех розовой казанлыкской водой. Студенты, сидевшие сзади, конечно, повскакали с мест, и получился веселый переполох. Всем хотелось быть обрызганными духами. В зале запахло розой, и этот запах вместе с запахом хвои, которой были убраны стены, создал нежную смесь, напоминавшую запахи весенних полей.

— Еще! Еще! — весело кричали студенты, главным образом девушки.

Смуглые, улыбающиеся болгарки показывали пустые флаконы, держа их горлышками вниз...

После этого было еще много разных выступлений — драмкружковцев, танцоров, декламаторов. И вдруг вышла Лена.

Она была в длинном шелковом платье темно-вишневого цвета, с какими-то блестящими украшениями на воротнике, с голыми до плеч руками. Пела она романсы Глинки и Чайковского. У нее был несильный, но мягкий, приятный голос (она называла его, кажется, «лирическим сопрано»), и пела она... да, пела она хорошо.

Вадим видел ее ярко освещенное розовое лицо с необычной высокой прической, ее нежные губы, чуть дрожащие при пении, и широко раскрытые, затуманенные глаза и удивлялся тому, что он смотрит на нее так спокойно, словно видя эту девушку впервые.

— Какая интересная! — сказала Оля тихо.— Кто это?

— Это из нашей группы, Леночка Медовская,— ответил Андрей.— Слава богу, хоть кто-то понравился!

Вадим почувствовал, как после слов Оли у него защемило сердце. Глаза его вдруг затуманились, и он уже не видел лица Лены, оно таяло, расплывалось, превращалось в ярко-лучистое пятно.

Грустно звенел незнакомый молодой голос и говорил о чем-то бесконечно понятном, простом — о том, как между небом и землей песня раздается, и о том, как кто-то услышит ее, вспомнит кого-то, вздохнет... И, безотчетно подчиняясь этой звенящей власти, Вадим чувствовал, как становится ему тепло и странно,— словно уже не был он в зале, затерянный среди множества людей, а шел куда-то один, босой, по безоблачной и горячей дороге. А невидимый голос лился над ним в вышине, между землей и небом, и звал за собой, и звал...

Лицо Лены прояснилось вдруг до такой слепящей яркости, что стало больно глазам. Она опустила голову. Взорвались аплодисменты, обрушив на Вадима белый, выкрашенный клеевой краской потолок с двумя горящими люстрами. Он не кричал вместе со всеми «бис». Ему внезапно захотелось, чтобы вечер скорее кончился и можно было бы увидеть ее близко, рядом, сказать что-то доброе, ласковое. Ведь он даже не поздоровался с ней сегодня...

И вот концерт закончился. Сейчас же принялись сдвигать стулья к стенам, чтобы очистить зал для танцев. Появился Лесик с аккордеоном, кто-то сел за рояль, и танцы начались. Оля пошла танцевать с Кузнецовым. Рядом с ним она выглядела совсем маленькой, хрупкой девочкой, но двигалась так легко и уверенно, что, казалось, танцует она одна, а он — высокий, тяжеловесный — зачем-то неуклюже топчется рядом с ней. Глядя на ее порозовевшие щеки и сияющие глаза, Вадим подумал, что она, должно быть, самая юная и самая счастливая сейчас в этом зале.

Танцевать ему не хотелось. Он невольно искал среди танцующих Лену, но ее нигде не было. Начались сольные выступления на приз: парень с первого курса, грузин, плясал наурскую лезгинку, Лагоденко «оторвал» матросскую чечетку, но приз получили Иван Антонович и Ольга Марковна, по всем правилам бального искусства протанцевавшие мазурку.

В зале появился Палавин — он быстро шел между танцующими, ища кого-то глазами. «Сейчас подойдет ко мне и скажет: что же ты, Ленский, не танцуешь?» — подумал Вадим.

Палавин действительно заметил его и стремительно подошел.

— А, Вадик! — сказал он радостно.— Как Чайльд Гарольд, угрюмый, томный... Что стоишь?

— Нравится, и стою.

— Танцевать надо! Ты посмотри,— он сделал широкий жест,— какое вокруг тебя непосредственное веселье! Займись вон хоть той девочкой, с которой Кузнецов танцевал,— видишь? Юная, свежая, глазки блестят... наверно, какая-нибудь многостаночница, дает двести процентов,— он подмигнул Вадиму.— Займись, серьезно!

— Я сам знаю, что мне делать,— сказал Вадим и, взяв Палавина за плечи, повернул его к себе спиной.

— Тюлень ты, тюлень! Левчука не видел?

— Где-то здесь был.

— Его срочно Сизов ищет. Я сейчас...— И он так же стремительно, как и появился, исчез в толпе.

Вадим увидел вдруг Мусю — диспетчера цеха 12. Она подошла к нему, осматривая его с ног до головы, и, поздоровавшись, спросила удивленно:

— А вы... вас тоже пригласили?

— Да, конечно,— сказал Вадим, улыбнувшись.— Ну, как поживает товарищ Ференчук?

— Ой, вы не знаете, как на него подействовало! Прокладку прямо ночью привезли, в половине двенадцатого. И он прилетел. «Только, говорит, не думайте, что я из-за этой дурацкой «молнии» старался. Как штамп наладили, так и даем». А сам к Гуськову побежал: «Давайте снимайте! Повисела — и хватит!»

— И сняли?

— Сняли, конечно. Он вообще-то дядька хороший, только очень упрямый. Скажите, а почему я вас на собраниях никогда не видела? Вы разве не в нашей организации?

— Нет, Муся, я студент. Идемте танцевать, и я вам все объясню...

Глубоко за полночь в уже наполовину опустевшем зале появился заспанный швейцар Липатыч и объявил, что пора гасить свет. Вадим так и не увидел Лену. Марина сказала ему, что кто-то заметил, как Лена сразу после концерта оделась и вышла на улицу. И тогда Вадим понял, что в глубине души у него были на этот вечер какие-то особенные, тайные надежды, которые он сам скрывал от себя. И только теперь, когда уже гасятся лампы и выстраивается шумная очередь в раздевалке, они исчезают — так же, как появились,— скрытно, угрюмо, точно стыдясь чего-то.

Вадим ночевал в эту ночь у Сергея. В квартире все давно спали, Сергей открыл дверь своим ключом. Потом вышла на шум Ирина Викторовна в халате и, шепотом поздоровавшись с Вадимом, спросила:

— Весело было? Как твой «капустник», Сережа, имел успех?

— Имел, мать, имел! Полный аншлаг! — сказал Сергей, громко зевая.— Устрой-ка нам поскорее ночлег. Вадиму идти далеко, он у нас ночует. Постели ему у меня на диване.

Сергей был навеселе, и спать ему, видимо, не хотелось. Он долго ходил босиком по комнате и, покуривая трубку, разговаривал с Вадимом. А Вадим испытывал то состояние расслабленности и глубокого утомления, когда спать не хочется, потому что время прошло и уже скоро рассвет, а чего хочется — неизвестно. Во всяком случае, не спорить с Сергеем.

Разговор начался с пустяков — с репортажа о «Химснабе», с футбольных болельщиков и с того, кто как болеет. Сергей заявлял, что болельщики в большинстве

случаев люди азартные и никчемные, даже вредные для общества. Подумать только, сколько душевной и физической энергии они отдают. Куда? Буквально на ветер!

— Кстати, наш Спартак ведь тоже болельщик,— сказал Сергей.— Я с ним познакомился знаешь где? На стадионе. Он протянул мне руку и говорит: «Спартак», а я ему: «Динамо». Ух, он обиделся на меня, ха-ха-ха!.. А я думал, что он спартаковский болельщик. Да... Теперь вот он заводом заболел. Он-то заболел, а температура у нас.

— По-моему, мы заболели так же, как он,— сказал Вадим.

— Ну да! К тебе подходил сегодня? Нет? А ко мне раз пять. Чтобы я, видишь, организовал на заводе лекцию: «Облик советского молодого человека». Я это там брякнул сглупу, когда на заводе у парторга совещались,— дескать, можно такую лекцию провести, а Кузнецов сейчас же на ус намотал. Конечно, предложение разумное; так надо сказать спасибо за предложение, верно? А не взваливать все на одного. Вместо благодарности — вот тебе еще нагрузка, тяни-потягивай...

— Сергей, ты же сам говорил, что тебе необходимо бывать на заводе.

— Хватит, побывал. Ну еще раза два схожу. Я посмотрел людей...

— За один день?

— Мне достаточно. Мне надо было посмотреть на завод спустя три года после войны. А так как завод я знаю, то все изменения, которые произошли за это время, сразу бросаются мне в глаза. Ты понимаешь? Не забудь, что по своей работе мне приходилось бывать на различных заводах, сталкиваться с людьми, вникать в производство. Ведь ответственному исполнителю приходится все время разъезжать...

— Разве ты был исполнителем? А не техником?

— Ну, техником, исполнителем — это одно и то же. Вернее, я был ответисполнителем, но оформлен как техник. По отделу кадров. Не в этом дело... Вот я решил написать повесть.

— А труд рабочих ты знаешь? Ты сам-то работал?

— Я знаю,— Сергей сел на кровать.— Но еще важнее знать, как писать о рабочих. Это главное. Как писать? Это самое важное, а остальное... Остальное уже не суть.— Он засунул в рот палец и, оттопырив щеку, выдернул его — раздался громкий стреляющий звук, похожий на звук вылетевшей пробки.— Ты понял?

Он тихо рассмеялся, откинувшись к стене и шлепая по полу босыми ступнями. Вадим не видел в темноте выражения его лица, но чувствовал, что Сергей смотрит на него в упор.

— А для чего ты пишешь повесть? — спросил Вадим.

— Для чего? — Помолчав мгновение, Сергей негромко сказал: — Для себя.

«Он пьян»,— решил Вадим. Несколько секунд длилась пауза, потом Вадим спросил:

— Ты пьян?

— Я? Нисколько! — Сергей расхохотался.— Я свеж и крепок, как майский бутон. Будь ты девушкой...— Он снова расхохотался и зашлепал ногами.

— Ложись-ка ты спать,— сказал Вадим.

— Не хочу. Я говорю пошлости? Может быть. Но ведь ты не девушка, как я уже с грустью отметил... Да... Ты, Вадим, плохо знаешь людей. Это твоя беда.

Он зевнул и поднялся, чтобы набить трубку. Да, он был пьян, и Вадим подумал, что продолжать этот разговор дальше не имеет смысла. Все же он сказал:

— Почему ты решил, что я плохо знаю людей? Может быть, потому, что я плохо знаю тебя?

— Нет, братец, не то... Говорят, для того чтобы знать женщин, достаточно узнать одну женщину — свою жену. Но для того чтобы знать людей, понимать их, надо обладать способностью перевоплощения. И кроме того, самостоятельно мыслить.

— Ты, конечно...

— Я — да. Я перевоплощаюсь. И от меня...— он подошел к Вадиму и потряс перед его лицом растопыренной ладонью, похожей на темный веер,— не скроется ни-че-го!

Вадим вдруг засмеялся.

— Нет, ты определенно пьян! Или ты очень удачно перевоплотился в пьяного.

— Это не важно. А ты не знаешь людей! — повторил Сергей, повысив голос.— Скажи, для кого нужна вся эта кутерьма с заводом?

— Как для кого? Для нас, для них.

— Чушь! Для одного только Галустянчика, чтобы его похлопали по плечу в райкоме и, может быть, пропечатали в «Комсомольской правде». Он хитер. У него спина няньки, но он хитер, как бес,— уу!

— Врешь ты! Спартак искренний, честный парень...

— У него спина хитрой няньки,— с упрямством по-

вторил Сергей.— Узкая, круглая... Это точно, у него такая спина.

Вадим поднялся и, взяв Сергея за плечи, толкнул его на кровать.

— Ложись и спи! Мне надоел этот бред — слышишь?

Сергей не ответил. Некоторое время он неподвижно сидел на кровати, потом медленно поднялся и почему-то на цыпочках подошел к дивану. Сев на край, он осторожно положил ладонь на одеяло Вадима и спросил шепотом:

— Скажи честно... любишь Лену?

— Что вдруг? — пробормотал Вадим, вздрогнув от неожиданности.

— А-а, значит, любишь! — Сергей шепотом рассмеялся.— А если любишь, значит, веришь. Она тебе кажется, как говорили в старину, идеалом, а?

— Мне это не кажется, кстати. Глупости мелешь.

— А ты знаешь, кто ее увел сегодня с вечера? Нет? Этот парень из театрального училища. Кудлатый такой, с косыми висками. Пошли на вечер к ним в училище. Ну, что?

— Что? — глухо переспросил Вадим.

Ему стало жарко и показалось на мгновение, что этот странный разговор, шепот Палавина и его бледное, неразличимое в темноте лицо, не лицо, а маска,— все это тягостный, удручающий сон, который надо стряхнуть.

— Вот твое знание людей! — торжествующе шептал Сергей.— Она такая же, как другие. Может быть, даже хуже других. Бедра — да, а в остальном такая же, как все. А бедра ведь только для пляжа.

— Во-первых, ты не знаешь ее,— сказал Вадим.— Ты циник, Сережка...

— Я циник? А ты карась-идеалист! Хочешь, я завоюю ее в три недели? Нет, в две недели? Ну, на спор?

Вадим молчал.

— Я докажу тебе, что она такая же, как все, хотя ее папа ездит в «Победе». Ну?.. Идет?

Вадим молчал.

Сергей усмехнулся и встал с дивана.

— Циник...— пробормотал он, качая головой.— Я, может быть, чище тебя в сто раз! Я говорю только к тому, чтобы показать тебе, как плохо ты разбираешься в людях. И точно так же ты не знаешь ни Спартака, ни Андрея, ни этого дурака Лагоденко, фаршированного морскими словечками...

— Молчи! Или...— сказал Вадим таким голосом, что Палавин вдруг замолчал.

Пройдя к постели, он лег под одеяло и накрылся с головой. Стало тихо до утра.

Проснувшись утром, Палавин увидел, что диван пуст и одеяло с подушкой аккуратно сложены на краю. Ирина Викторовна сказала, что Вадим встал очень рано, просил не будить Сергея и ушел.

— Даже чашку кофе не выпил,— жаловалась она.— Куда-то спешил. Разве у вас сегодня занятия?

— Это в их группе,— пробурчал Палавин, поворачиваясь на другой бок.

Его томила головная боль, начиналась изжога. В институт он решил не идти.

ГЛАВА 15

Настоящий Новый год каждый встречал в своей компании.

Вадим был дома, остался с больной Верой Фаддеевной. В общежитии новогодний вечер был несколько необычным. Собрались, как всегда, в складчину, в большой комнате девушек, называемой в шутку «манежем». Когда шумно, со смехом все наконец уселись, встал Лесик и произнес следующую речь:

— Братья и сестры во стипендии! Мы собрались сегодня в нашем дорогом манеже для двойного торжества. Во-вторых, мы проводим традиционное мероприятие по встрече Нового года. А во-первых, мы празднуем сегодня бракосочетание наших уважаемых Петра Васильевича Лагоденко и Раисы Ивановны Волковой. Первый тост — за новобрачных! Ура!

— Ура-а! — закричали все, вставая из-за стола, и потянулись с бокалами, чашками, банками из-под майонеза к Лагоденко и Рае Волковой.

Те сидели в центре стола, недоуменно и растерянно глядя по сторонам.

— Вот для чего вы нас сюда посадили...— пробормотал Лагоденко и, кажется, первый раз в жизни покраснел.— Ну что ж, вставай, Раюха...

Он поднялся, и Рая, с сияющими счастливыми глазами, встала рядом с ним, крепко ухватив его за руку.

— Горько! Го-орько! — раздались веселые голоса.

Петр и Рая переглянулись.

— Целуйтесь, не прикидывайтесь! Нечего тут! — кричал Лесик суровым голосом.— То все по углам норовили, а теперь при всех. Давайте, давайте!

Новобрачные поцеловались.

— Ну, кому Раюха, а кому пирога краюха! — Лесик схватил огромный кусок пирога.— А вы целуйтесь, ваше дело маленькое. Го-орько!

— Вот, Петя, и свадьба...— прошептала Рая, незаметно вытирая глаза.— А ты говорил: через два года...

Лагоденко, тоже взволнованный, молчал и то хмурился, то улыбался. Затем начались тосты за друзей новобрачных, за их будущих детей, будущую работу. Понемногу освоившись со своим новым положением и обретя наконец дар речи, Лагоденко попытался узнать, кому принадлежит идея этой неожиданной свадьбы.

— Не важно кому! Всем! Общая! — ответили голоса.

— Редакционная тайна,— сказал Лесик.

— А пирог с вензелями Нина пекла! — объявила Галя Мамонова и засмеялась.— Даже удивительно — член бюро, и такой пирог! Ниночка, ужасно вкусный, ты мне потом все на бумажке напишешь...

Перед самым новогодним тостом пришли Спартак с Шурой. За столом уже пели песни под аккордеон.

— Почему вы неурочно веселитесь? — удивился Спартак.— У вас часы спешат?

Ему быстро объяснили, в чем дело, и заставили выпить штрафной за новобрачных. В это время из репродуктора раздался слитный, рокочущий шум, гудки автомобилей — Красная площадь! Все молча выслушали двенадцать медленных ударов со Спасской башни, которые в это мгновение так же торжественно и молча слушала вся страна.

Новый год наступил! Зазвучал Гимн Советского Союза, все поднялись.

— За Новый год, друзья! — сказал Левчук, высоко поднимая руку с бокалом.— За Новый год, приближающий нас к коммунизму!

В эту ночь почему-то не хотелось танцевать. Может быть потому, что в последние дни танцевали и дурачились вдоволь, а может быть потому, что всем этим юношам и девушкам, так хорошо знакомым между собой, невольно хотелось в этот вечер говорить о самом волнующем, самом душевном.

Вспоминали о прошлом. Лагоденко вспомнил, как он встречал 1943 год на фронте. Во время ночного боя он

был ранен и остался в немецком блиндаже, только что взятом в рукопашной. К нему приползла санитарка, совсем молоденькая, рыжая такая, растрепанная девчонка.

— А раны у меня были пустяковые, только крови много. Вижу, девчонка эта ни жива ни мертва от страха — ползти там опасно было, под огнем. Ну, приползла. А меня увидела — еще больше, верно, перепугалась. Весь я был в крови, лицо все залито, глаз не открыть... Она меня перевязывает, а у самой руки трясутся и голос такой испуганный: «Потерпите, товарищ, немного...» Ну, думаю, сейчас в обморок хлопнется! «Сама, говорю, терпи. Обо мне, говорю, не думай, а дело делай». В общем, кое-как перевязались. А у нее фляга была со спиртом, и вдруг я вспомнил — ночь-то новогодняя! Ни к чему это было, а тут вдруг, как хлебнул спирту, вспомнилось... Вот мы с ней, с той девчонкой рыжей, и отпраздновали Новый год. Один глоток за победу, другой — чтоб живыми остаться, а третий — чтоб еще встретиться когда-нибудь. И крепкий же спиртяга оказался.

— Да, все исполнилось...— сказала Рая задумчиво.

И многие вспомнили о своих встречах этого сурового военного года, только Левчуку трудно было что-нибудь припомнить. Он лежал тогда без сознания в мурманском госпитале со страшной раной в бедре.

— Ребята, и неужели снова... война? — вполголоса спросила Рая.— Когда вспомнишь все это...

— А ты хорошо помнишь «все это»? — спросил вдруг Левчук и встал, скрипнув протезом.

— Я? Еще бы...— тихо сказала Рая.

— Ну вот. И Петр, и Маринка, и я, и миллионы других людей очень хорошо помнят «все это». Вот потому-то и трудно новым гитлерам затевать войну.

— Так войны не хочется! Ну честное слово...— Рая даже сама улыбнулась: так внезапно, наивно вырвались у нее эти слова.— Ведь только мы отстроились, жизнь наладилась, и с каждым годом как-то все лучше, интересней... и столько хорошего впереди... Ведь правда же? И вдруг — опять...

Рая качнула головой и придвинулась невольно к Лагоденко, а он медленно, не глядя, обнял ее тяжелой рукой за плечи и буркнул, нахмурившись:

— Ничего, рыжик... Все будет добре.

И серьезно, задумчиво глядя на них, все почему-то вдруг замолчали. В комнате стало тихо на минуту.

— Ой,— Галя Мамонова вздохнула глубоко и подняла плечи, точно ей было зябко.— Ребята, не надо говорить о войне...

— А знаете, что мне пришло в голову? — сказал вдруг Мак оживленно.— Вот известно, что русский народ миролюбив. А мне пришло в голову, что доказательство тому есть даже в нашем языке. Смотрите: у нас согласие — мир, и вселенная, белый свет — тоже мир. Ведь этого, по-моему, ни в одном языке нет! Я сейчас перебрал в памяти по-немецки, по-французски,— нет, там два разных слова... Это примечательно, а?

— Да, примечательно,— сказал Спартак, вставая, и быстро зашагал по комнате, отбрасывая в сторону стулья.— А ведь в интересное время мы живем! Честное слово, вот вспоминаешь историю — не было еще такого интересного, великого времени на земле, а? Ведь старый мир рушится, трещит по всем швам, а новый — рождается на глазах! Наш мир! Мир мира! Подумать только, может, когда я кончу институт, меня попросят читать русскую литературу... ну, хотя бы в Китае! А?

— А меня в Индонезии! — подхватила Марина.

— Слушай, вполне возможная вещь! А, ребята?

— В Китае надо, во-первых, поднимать индустрию,— сказал Мак внушительно.— Это главное, а не преподавание литературы.

— Нет, прежде всего Китаю нужна реформа образования,— не менее авторитетно заявила Нина Фокина.— Четырехсотмиллионный народ, по сути, не имел возможности овладеть...

— Тише! Это великий народ! Я предлагаю тост! — громко сказал Спартак, шагнув к столу.— Тост! За всех, кто борется в Китае, Греции, Испании, Америке — во всем мире. За рыцарей коммунизма. За тех, кто в эти первые минуты Нового года думает с надеждой о нас. Вот... За этих отважных людей.

И они поднялись и выпили за отважных людей во всем мире, думая о них с восхищением и гордостью.

Гости Веры Фаддеевны — их было немного: брат Веры Фаддеевны с женой, сосед Аркадий Львович, одна ее старая подруга еще по Тимирязевке — ушли рано, в начале первого часа. В комнате остался неубранный праздничный стол, запахи вина, мандариновых корок и сладкий, ванильный запах пирога. В квартире на верхнем

этаже еще продолжалось веселье: доносились приглушенные хоровые крики, отдаленно напоминавшие пение, в потолок беспорядочно, по-пьяному, стучали в пляске ногами.

Вадим принялся убирать комнату. Вера Фаддеевна лежала на своей кровати с закрытыми глазами — она утомилась от застольной суеты и того напряжения, с каким удавалось ей шутить, смеяться, принимать участие в разговорах и, главное, заставлять всех ежеминутно забывать, что она больна. Весь вечер она лежала, и праздничный стол был придвинут к ее кровати.

— Дима, у тебя какие-нибудь нелады с Сережей? — спросила вдруг Вера Фаддеевна.

— Почему нелады?

— Я слышала, что он звонил тебе вечером, приглашал куда-то.

— Да, я отказался.

Помолчав, Вера Фаддеевна сказала с шутливой горечью:

— Для того чтобы сын встречал Новый год с матерью, ей надобно заболеть.

— Глупости говоришь,— сказал Вадим, нахмурившись.

— Глупости, сын, конечно...

Вадиму не хотелось сегодня рассказывать Вере Фаддеевне о своих отношениях с Сергеем, в которых действительно за последнее время произошла перемена. Он и вообще-то был молчалив, не слишком любил распространяться о своих делах.

О Лене Медовской Вера Фаддеевна могла только догадываться, потому что Лена раза три заходила к Вадиму после института. Вере Фаддеевне часто хотелось спросить у Вадима об этой красивой, всегда нарядной девушке, но она не спрашивала, зная скрытность сына и его нелюбовь к откровенности на эти темы.

Сегодня Вере Фаддеевне казалось, что Вадим был невнимателен к общим разговорам, занят своими мыслями и чем-то расстроен — наверное, тем, что не может быть сегодня с Леной, а должен оставаться дома. Возможно, что и с Сережей у него какое-то недоразумение из-за этой Лены. Так бывает между друзьями. И Вере Фаддеевне было жаль сына, и она тоже все время думала о Диме, о его друзьях, об этой красивой и веселой девушке, в присутствии которой Дима делался неразговорчивым и неловким, и почему-то вместе с жалостью к сыну

она испытывала чувство тайного облегчения. Лена казалась чересчур красивой Вере Фаддеевне и чересчур уверенной в том, что ее любят. Она мечтала о другой девушке для сына. О какой же? Этого она не знала. В мечтах ее не было никакого определенного образа, не было ни лица, ни голоса, ни даже характера, а было много разных лиц и разных характеров, и было ощущение чего-то неведомого и очень близкого, что должно было принести счастье ее сыну и ей самой, бесповоротно изменив ее собственную жизнь.

Вера Фаддеевна была рада тому, что Новый год она встретила вместе с сыном. Последние два года и несколько лет перед войной этого не случалось. Вадим уходил к друзьям на многолюдные, сначала школьные, а потом студенческие вечера, в общежитие, к Сергею или к кому-нибудь еще, у кого были вместительные и удобные для больших компаний квартиры. Приходя утром следующего дня домой, Вадим рассказывал Вере Фаддеевне о вечере, рассказывал необычайно многословно, с удовольствием, не минуя ни одной смешной подробности, ни одного наблюдения. Он словно чувствовал себя немного виноватым перед матерью за то, что не был в новогоднюю ночь вместе с ней, и хотел смягчить вину этим старательно многословным, веселым рассказом. И только молчал о девушке, которая интересовала его на вечере больше других. Вера Фаддеевна спрашивала, все-таки ей было любопытно: «Ну, а были там интересные девушки?» — «Конечно,— невозмутимо отвечал Вадим.— У нас, мама, неинтересных не бывает».

Но Вадим был расстроен сегодня вовсе не из-за Лены, как думала Вера Фаддеевна. Он был расстроен самой Верой Фаддеевной, дела которой ничуть не шли на поправку, а, наоборот, с каждым днем — так казалось Вадиму — становились все хуже. Он видел, как мама шутила и улыбалась через силу и, вдруг побледнев, начинала негромко кашлять, а потом лежала мгновение с закрытыми глазами. Недоброе предчувствие не покидало Вадима весь вечер. И к этим тягостным мыслям прибавлялись мысли о Сергее — до сих пор Вадим не мог забыть того ночного разговора в комнате у Сергея. Он решил, что Сергей наговорил гадостей про Лену только потому, что она ушла с новогоднего вечера с каким-то артистом. Потому, что сам был обижен и зол на нее. Но эта новая комбинация теперь почти не волновала Вадима. Нет, вовсе не трогала. Он перестал думать о Лене.

В час ночи зазвонил вдруг телефон. Вадим услышал знакомый мелодичный голос:

— Вадик, ты еще не спишь? — Лена засмеялась.— Я поздравляю тебя с Новым годом!

— Тоже и я тебя,— сказал он нетвердым от внезапного волнения голосом.

— У вас весело? — Она опять засмеялась. Голос ее утопал в посторонних шумах, чьих-то чужих голосах, музыкальной неразберихе.— У нас такой шум, ничего не слышно! Приходи к нам... Ой, мальчики, помолчите! Коля! Сергей, я прошу...

Она смеялась, говорила что-то кому-то в сторону, потом Вадим услышал незнакомый и кокетливый женский голос:

— Вадим, а вы блондин или брюнет?

И снова хохот, возня, какие-то металлические звонкие удары и чужой бас:

— Слушайте, Вадим, дорогой, одолжите сто рублей!

И смеющийся голос Лены:

— Они дураки, Вадька, все пьяненькие...

— Понятно. Ну, счастливо вам...

Вадим повесил трубку. Вернувшись из коридора в комнату, он увидел, что Вера Фаддеевна уже спит, и решил тоже лечь спать. Он выключил радио, оборвав на полуфразе медовый тенор Александровича. И сразу стало тихо, только наверху еще изредка топали и что-то глухо, тягуче пели.

Впервые после войны они встречали Новый год порознь — он и Сергей. И не болезнь Веры Фаддеевны была главной тому причиной (как она трудно и хрипло дышит, словно грудь ее сдавила многопудовая тяжесть, что-то бормочет во сне: «Боже мой, боже мой...» Разве можно заснуть, слыша, как она спит?). Они становятся чужими людьми — он и Сергей. Глупо, что в эти сложные отношения впуталась Лена. Она долго была помехой Вадиму, потом это как будто кончилось, а теперь она снова будет мешать...

Неожиданно резко, пронзительно зазвонил в коридоре телефон. Взяв трубку, Вадим услышал энергичный тенорок Спартака:

— Как дела, старина? Поздравляю с наступившим! Мы здесь пили за тебя и за Веру Фаддеевну. Привет ей...— Голос его тоже перебивался какими-то другими голосами, смехом.

Потом все стали говорить с Вадимом по очереди: Ла-

годенко, Нина, Левчук, Лешка, Мак, Рая... Последним был Рашид:

— Эй, Вадимэ-э! Тебе счастье на Новый год! Слышишь, эй? — кричал он весело и потом что-то быстро, с присвистом заговорил по-узбекски. Кто-то, видно, пытался отнять у него трубку, потому что Рашид закричал вдруг: — Зачем толкаешь? Дай сказать! Я... Зачем братские народы зажимаешь, эй? Великорусский шовинизм ты...

И сквозь смех вновь донесся праздничный бас Лагоденко:

— Димка! Люблю же тебя, ей-богу! Черт с тобой... Маме привет! Скажи — завтра в гости к вам приду с женой! Все!

А через четверть часа, когда Вадим уже лег в постель, позвонил Андрей. Голос его звучал слабо, почти невнятно. Поздравив Вадима с Новым годом, Андрей долго объяснял, почему такая слабая слышимость. Он звонил из автомата на автобусном кругу, куда пришел вместе с Олей на лыжах. Они тоже сегодня праздновали, немного выпили и вот вышли проветриться перед сном.

— У вас в Москве идет снег? — услышал Вадим далекий голосок Оли.

— Нет. А впрочем, не знаю.

— А у нас идет. Такой густой-густой и теплый...

И когда Вадим повесил трубку, он почувствовал, что не сможет заснуть. Ему захотелось вдруг выйти на улицу, куда-то идти на лыжах под теплым и густым снегом, с кем-то смеяться, петь на ветру... И он подумал о том, что ему предстоит еще не изведанный, огромный год, в котором будут и лыжи, и густой снег, а потом весна, летние ночи со звездопадом, и дождливые вечера, и осенние бури. Только полтора часа прожито в этом новом году!

Вадим подошел к окну и отвернул занавеску. Густо шел снег. Уличные фонари чуть мерцали за его пеленой.

ГЛАВА 16

В начале января вдруг ударили морозы. Целую неделю стояло над Москвой безоблачное, сине-ледяное небо, чуть опаленное морозной дымкой.

Улицы были опрятны и сухи, и казалось, если приставить ладонь к глазам и смотреть только на крыши до-

мов и небо, что не зима в городе, а лето: и небо голубое, ни одного облачка, и так горячо, весело горят на солнце карминные крыши.

Но опустишь глаза — и сразу дохнет зимой, да такой глубокой, матерой зимищей, когда и не верится, что бывают на земле жаркие дни, растет трава и люди купаются в реках. По тротуарам бегут пешеходы, закутанные до носа, обуянные одним стремлением: поскорей добежать до дому, нырнуть в метро. Троллейбусы и трамваи ходят совсем слепые, с белыми мохнатыми окнами. Из широких дверей метро облаком пара вырывается теплый воздух. Вечером, когда это облако освещено вестибюльными огнями, кажется, будто подземная станция горит, густыми клубами выбрасывая дым.

Двадцать восемь ниже нуля.

Но по-прежнему, хоть и на морозе, кипит, ни на минуту не утихает жизнь могучего города. На тротуарах немолкнущий прибой толпы. Милиционеры с малиновыми лицами так же величественно и бесстрашно стоят на стрежне гудящих потоков, так же неукоснительно свистят и любезно штрафуют. А в подъездах, у входов в кинотеатры, в вестибюлях метро стоят неуклюжие женщины в белых халатах поверх шуб и продают:

— Крем-брюле!

— Сливочное!

— Мишка на севере, Машка на юге! Гор-рячее мороженое!..

В один из таких солнечных и морозных дней Вадим прибежал в институт на первый экзамен. Экзамен был трудный — русская литература, принимал Козельский.

Гардеробщик Липатыч, высокий мрачноватый старик в ватнике и ветхой мерлушковой шапке куличом, сидел за барьером еще полупустой раздевалки и читал газету. Посмотрев на Вадима, который окоченевшими пальцами беспомощно тыкался в пуговицы своего демисезонного пальто с нашитым меховым воротником, Липатыч неодобрительно сказал:

— Нешто это одежа? На сегодняшний день?

— Не говори, Липатыч! И главное, шуба у меня есть...— Вадим наконец расстегнул все пуговицы и снял пальто.— Бюро погоды напутало. Они же сегодня потепление обещали.

Липатыч взял пальто и, встряхнув его с оттенком пренебрежения, сказал ворчливо:

— Напутало! А я тебе скажу — раньше-то все по-

простому было. И не путали. Сейчас тебе, к примеру, рождественские морозы, за ними крещенские пойдут, водокрещи тоже называют, потом афанасьевские вдарят, сретенские и так далее. А теперь, видишь, и не скажут мороз, по радио-то, а массы, говорят, воздуха вторгнулись... Массы какие-то, с морозу не выговоришь... Оттого и вся путаница.

— Брось, Липатыч, на науку нападать! — сказал Вадим улыбаясь.— А кто-нибудь из наших сдал? Не видел, Липатыч? Никто не ушел?

— Откуда знать? Они не докладают... Этот, с зубом, вроде сдал. Вприпрыжку побег. Потом этот сдал, с ногой...

«С зубом — Лесик, у него золотая коронка, с ногой — Левчук»,— сообразил Вадим.

В большом коридоре царила та грозная, полная тягостного напряжения тишина, которая всегда бывает во время трудных экзаменов. Процедура происходила в аудитории пятого курса. Несколько студентов стояли, прислонившись к стене, другие бродили по коридору (сидеть они были уже не в состоянии), торопливо листая конспекты, толстые книги, блокноты. Возле дверей расположилась небольшая группа студентов, беседуя вполголоса и что-то читая вслух.

Вадим задал первые необходимые вопросы:

— Кто уже ответил?

Ответили Левчук, Ремешков и Великанова.

— Что получили?

Левчук и Великанова пятерки, Ремешков четверку.

— Что им досталось?

Левчуку — Герцен и «Горе от ума», Лесику — романтические поэмы Пушкина и Кольцов, Великановой — Белинский о Пушкине и «Кто виноват?».

— Кто там кроме Козельского?

Сизов, Кречетов, представители министерства и райкома партии.

— Дополнительные вопросы задают?

Задают.

Вадим всегда испытывал перед экзаменами чувство воинственного, почти азартного возбуждения. Он не мог, как другие, в последние минуты что-то читать, писать в конспектах, судорожно запоминать, спрашивать. Ему хотелось одного — скорей оборвать это томительное ожидание, скорей остаться один на один с билетом, с профессором, со своей памятью.

Люся Воронкова, приникавшая то глазом, то ухом к дверной щели, шепотом сообщала:

— Лена Медовская отвечает... Замолчала вдруг... Нет, опять говорит...

— А что ей досталось, не слышно?

— Люся, отойди оттуда. Не мешай,— мрачно сказал Спартак.

Он ходил быстрыми шагами по коридору, сложив крепко сцепленные руки за спиной и нахмуренно глядя в пол. Изредка он останавливался и вытирал ладони носовым платком. Спартак никогда не получал на экзаменах меньше пятерки.

Андрей Сырых сидел в углу коридора на скамейке и что-то жевал, читая газету. Он приходил на экзамены налегке — ни конспектов, ни учебников — и всегда был абсолютно спокоен, словно приходил не на экзамены, а на обыкновенную лекцию. Палавина еще не было: он любил отвечать одним из последних.

После Лены должна была идти Галя Мамонова, потом Нина, потом Андрей, Спартак, еще две девушки и затем уже Вадим. Эта своеобразная очередь соблюдалась строго. Галя Мамонова томилась возле двери, нервно хрустела пальцами и стонала вполголоса:

— Ой, девочки, Козельский, говорят, сегодня такой злой! Я ж ничего не знаю...

— Довольно тебе ныть,— сурово сказала Нина.— Смотреть на тебя тошно.

— Да, тошно! Если ты все знаешь, тебе, конечно...

— Я знаю, что ты вечно прибедняешься, вечно хнычешь...

— Как тебе не стыдно! — шепотом возмущалась Галя.— Я же говорю, что буквально ничего не знаю! Буквально! Ой, девочки, расскажите мне скорее «Обрыв»! Я читала в детстве, а сейчас не успела. Ой, скорее!

Кто-то начал торопливо, глотая слова, пересказывать «Обрыв». В коридоре появился улыбающийся Лесик с папиросой в зубах.

— А-а, страдальцы! Мучимся под дверью? — И он басом задекламировал: — Вот парадный подъезд! По торжественным дням, одержимый холопским недугом, целый курс наш с каким-то испугом...

— Леша, замолчи! Если ты сдал, так уходи, не мешай!

— Не волнуйся, Нина, все там будем. Действительно, куда бы сходить? — Он остановился, раздумывая

вслух нарочито громким и ленивым голосом: — В библиотеку, «Крокодил» почитать?.. А может, в кино махнуть? Н-да, задача...

В это время дверь открылась и вышла Лена, взволнованно-пунцовая, с блестящими глазами. Все девушки сейчас же бросились к ней.

— Ну как, Ленка? Что получила? Какой билет достался?

— Тройка...— сдавленно проговорила Лена. Губы ее задрожали, она закусила их и, вскинув голову, быстро пошла по коридору.

— Тройка? — растерянно проговорила Галя.— Что же ей досталось?

— Надо узнать! Люся, догони ее!

Люся Воронкова побежала в раздевалку, но, вскоре вернувшись, сказала, что Лена уже оделась и ушла. А догонять на улице было неудобно, она очень расстроена.

Из аудитории вышла Камкова, ассистентка Козельского.

— В чем дело? — спросила она строго.— Почему никто не идет?

— Ой, я боюсь! Я сейчас не пойду! — замахала руками Галя Мамонова.— Если Лена тройку получила, я совсем засыплюсь. Нет, я не пойду!

— Да, но комиссия ждет! Может произойти задержка. Вы же не дети.

Вадим стоял возле самой двери. Воспользовавшись минутой замешательства, он сказал:

— Я иду,— и шагнул вперед.

— Пожалуйста,— Камкова отодвинулась, пропуская его в аудиторию.

Вадим вошел и поздоровался. В центре, за длинным столом сидел Козельский в черном парадном костюме, чисто выбритый и розовый, как именинник, с гладкими, блестящими седыми волосами. Голова его казалась облитой оловом. Он величественно кивнул Вадиму и жестом предложил взять один из билетов, веером раскинутых на синем сукне стола. Перед экзаменаторами уже сидел Мак Вилькин и готовился отвечать.

Вадим взял первый попавшийся билет.

— Восемнадцатый,— сказал он неожиданно громко и прошел к свободному столу.

«Кому на Руси жить хорошо». «Мне хорошо»,— подумал Вадим, усмехнувшись. Этот вопрос он знал превосходно. «Значение Гоголя в развитии русского реализ-

ма». И это его не смущало. Невыносимое напряжение последних секунд мгновенно исчезло. Теперь можно было осмотреться.

Рядом с Козельским сидел Иван Антонович. Он пощипывал рыжую бороду и смотрел на Вадима поверх очков, чуть наклонив голову. Вадиму даже показалось, что он подмигивает ему хитрым голубым глазом. Хорошо, что Кречетов здесь. По другую сторону Козельского сидел Сизов и о чем-то беседовал с незнакомым седым мужчиной в золотых очках, вероятно представителем министерства. Представителя райкома Вадим знал: он часто бывал на экзаменах. Тот разговаривал вполголоса с Камковой, посмеиваясь в усы. Козельский сосредоточенно набивал трубку. Мак все еще перебирал свои черновики и откашливался. Все были заняты своими делами.

На листе бумаги Вадим быстро записал некоторые даты и имена по поэме Некрасова. Остальное он скажет по памяти. Теперь о Гоголе. «Значение в развитии...» Здесь надо говорить о самом направлении реализма. О темах, идеях, художественном методе. Мысли Белинского по этому поводу. И — о Гоголе. Гоголь, Николай Васильевич... И вдруг Вадим почувствовал, что у него нет никаких мыслей о Гоголе. Исчезла даже дата рождения. Кажется, 1810, а может быть, 1818... Ну, это потом, потом! Сначала главное. «Мертвые души», «Ревизор»... Что еще?.. «Нос»... Да, еще «Нос». Это как украли у одного чиновника нос. Потом — «Женитьба»... Разве «Женитьба» — это Гоголя?

Ему казалось, что память его распадается на куски, как огромное облако, разрываемое ветром... Ничего не осталось. Внезапная пустота. Вспоминалась какая-то глупость — Гоголь учился в Нежине, Нежин славится огурцами. Нежинские огурцы, чем же они такие особенные? Гоголь сошел с ума! У него большой нос. Он похож на женщину. А почему гоголь-моголь?.. Стоп!

Вадим расстегнул пиджак — ему стало вдруг душно, он вынул из кармана носовой платок и отер им взмокшие виски. Все это длилось самое большее две минуты. Затем возникла вдруг в памяти первая дата: 1809 год. Да, в этом году Гоголь родился. Вадим записал. «Вечера на хуторе» были закончены в тридцатом и напечатаны в тридцать первом — тридцать втором. Вадим вздохнул с облегчением. Минутное затмение прошло. Он уже не записывал всего, что обильно и бурно возвращала ему память. Никогда с ним не было таких историй. Очевид-

но, он в самом деле волновался перед встречей с Козельским.

Через десять минут он сидел у экзаменаторского стола. По первому вопросу Вадим ответил легко и быстро. Некрасова он любил, многое знал наизусть. Сизов слушал его внимательно, Кречетов все время одобрительно кивал головой. Один Козельский как будто не следил за ответом, а был занят своей трубкой. То он чистил ее, то набивал, аккуратно уминая табак изогнутым и плоским большим пальцем, и, раскурив, откидывал голову и пускал к потолку струю ароматного дыма. И, отвечая, Вадим смотрел на его сухую жилистую шею, красноватую сверху и с белой гусиной кожей внизу, над яремной впадинкой.

— Так. Минуточку,— неожиданно прервал Вадима Козельский.— Первый вопрос вы, безусловно, знаете. Приступайте ко второму.

Вадим не сказал о Некрасове и десятой доли того, что знал. Запнувшись на полуслове, он умолк и перевернул листок своих записей.

— Что у вас во втором? — спросил Козельский.

— Значение Гоголя в развитии мирового реализма.

— Как, простите?

— Значение... то есть русского реализма.

— Пожалуйста.

На этот раз Козельский слушал более чем внимательно, он даже подался вперед и зорко следил за Вадимом глазами. Вдруг он вскинул трубку мундштуком вверх и выпрямился.

— Минуточку. Вы говорите: заслуга Гоголя в том, что он вывел в мировую литературу образ «маленького человека». Так я вас понял?

— Так.

— Именно в том? Вы подчеркиваете?

— Не только в том, но в большей степени.

— Вы очень щедры, мой милый Белов, но Николай Васильевич в ваших подарках не нуждается. Он и так велик.

Вадим на секунду смешался, но затем сказал спокойно:

— А я считаю, что это заслуга русской литературы. И главным образом Гоголя.

— Вы считаете? Пожалуйста, докажите! Прошу! — Козельский сделал рукою широкий жест, словно расстилая перед Вадимом незримое и свободное поле. После

секундной паузы он произнес с оттенком язвительности: — Русская литература достаточно грандиозна, она не нуждается в подпорках. До бедного чиновника Акакия Акакиевича был уже бедный учитель Сен-Пре, и бедный Ансельм Гофмана, и герои Стерна.

— Профессор, мы же говорим о реализме!

— А Диккенс?

— Диккенс явился позже.

— Позже кого?

— Позже Пушкина, Борис Матвеевич,— вдруг сказал Кречетов.— Позже Симеона Вырина, позже капитана Миронова и прапорщика Гринева.

— Ну, знаете... Разговор не о Пушкине,— пробормотал Козельский раздраженно.— Хорошо! — Он вскинул голову.— Revenons à nos moutons! [1] В каком году написаны «Выбранные места из переписки с друзьями»?

Вадим ответил. Затем последовал ливень излюбленных Козельским вопросов: где? когда? в каком журнале? как полное название журнала? как полное имя редактора? кто заведовал отделом критики в журнале в таком-то году? Вадим сам удивлялся тому, что у него находились ответы. И находились быстро и в общем правильно. Откуда он все это знает? Нет, просто Козельскому не везет: он спрашивает как раз о том, что Вадиму случайно известно. Вот следующим вопросом Козельский наверняка его угробит... И Козельский, очевидно, думал так же и продолжал настойчиво, все с большим азартом и вдохновением, забрасывать Вадима вопросами по «фактическому материалу». И вдруг зашевелился Иван Антонович, вздохнул шумно, закивал:

— Не достаточно ли, Борис Матвеевич? У нас там еще двадцать человек...

— Как? — переспросил Козельский, словно очнувшись.— Ну, пожалуй... Да, да... Вот только еще последнее: как назвал Гоголь свое произведение «Женитьба»?

Вадим сказал — комедия, но, оказалось, не комедия, а «совершенно невероятное событие в двух действиях».

— Вот видите! — произнес Козельский, откидываясь на спинку кресла.— Фактический материал вы знаете не безукоризненно. Я вам ставлю пять баллов за то, что вы человек мыслящий, но заметьте себе: никогда не беритесь за решение сложных проблем, не овладев мини-

---

[1] По смыслу: вернемся к предмету нашего разговора (французская поговорка).

мумом знаний. Всегда надо начинать с буквы Аз. Аз, Буки, Веди и так далее. Прошу вас,— он протянул зачетку.

Вадим молча взял ее, кивнул и пошел к выходу.

Из дверей уже шла ему навстречу побледневшая, с расширенными глазами Галя Мамонова. Кто-то сказал ей вслед: «Ни пуха ни пера», и Галя немедленно, еле слышным шепотом отозвалась: «К черту...» Когда Вадим вышел, его тотчас окружили толпившиеся у дверей студенты.

— Как, Вадим? Что получил?

— Пять, пять...— устало говорил он, идя по коридору. Ему хотелось скорее одеться и выйти на воздух. Он даже не заметил Палавина, который сидел на скамейке в конце коридора и беззаботно любезничал с хорошенькой секретаршей деканата Люсенькой.

«Я прав, и я чувствую в себе силы доказать свою правоту. Почему же не сделать это на бумаге? — думал Вадим, быстро шагая по мерзлой, бугристой земле бульвара. Он шел, глядя под ноги и машинально стараясь ступать в сухонькие трескучие лужицы, прикрытые ледяной коркой.— Действительно, что создано в мире выше русского реализма? Выше Толстого? И сколько великих имен! Пушкин и Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Чехов, Горький... А Козельский, этот начетчик от литературы, что он вообще понимает в Гоголе? Только цитирует, упоенно закрыв глаза, оставшееся в памяти с гимназических лет: «И какой же русский не любит быстрой езды?..» И упивается-то он не Гоголем, а звуками собственного голоса. Вот отец тоже много знал наизусть, но, помнится, всегда держал перед собой книгу — ему вовсе не нужно было, чтобы удивлялись его памяти, а просто он по-настоящему любил то, что читал... А как этот сухарь хотел меня завалить сегодня! Спасибо Ивану Антоновичу, выручил... И главное, сейчас же всю свою эрудицию, весь гербарий знаний — на стол, и Сен-Пре тут и Ансельм. Ладно же, мы еще доспорим! Сразу после экзаменов, в каникулы, возьмусь за реферат вплотную. Все там выскажу. Иван Антоныч поможет. В обществе — это не на экзамене, там в полный голос поговорим, начистоту. И «фактический материал» я осилю, «азами» он меня не убьет!»

Вадим шагал все быстрее, почти не видя, куда он идет. Он только чувствовал, что чем дальше он идет и чем больше думает, тем полнее захватывает его радост-

ное и окрыляющее чувство бодрости, силы, желания работать.

Ему захотелось вдруг вернуться в институт, вновь потянуло к ребятам, захотелось увидеть их, услышать их голоса, узнать, как сдают...

Лагоденко сдал на «отлично». Он встретил Вадима на улице перед институтом и долго рассказывал, как Козельский гонял его («Сорок минут! Рая по часам смотрела»), и как он находчиво отвечал на самые хитрые вопросы, и как после экзамена представитель райкома пожал ему руку, а Мирон Михайлович пошутил: «Лагоденко, сколько же пудов литературы выжали вы к этому экзамену?»

Андрей тоже сдал на «отлично» и теперь, сидя на подоконнике, терпеливо объяснял что-то нескольким девушкам, которые еще собирались отвечать. Из аудитории выбежала Люся Воронкова, радостно размахивая зачеткой.

— Четверка, четверка! Тра-ля-ля, как я рада! — говорила она, приплясывая.— Мне больше и не нужно!

Увидев через некоторое время Вадима, она вдруг таинственно поманила его рукой и побежала в дальний конец коридора. Вадим пошел за ней.

— Слушай, Вадим, необходимо шпаргалитэ! Сережка засыпается, он после меня должен был отвечать, пропустил Маринку и все еще сидит. Черный, как туча, сразу видно — засыпается. Так вот, он мне шепнул, когда я уходила: «Найди Вадима, пусть он напишет мне о Рылееве».

— О Рылееве? Не может быть...

— Да, он сам сказал! Я своими ушами слышала! Сейчас же напиши шпаргалитэ, отдадим Верочке...

— Какую шпаргалитэ? По Рылееву? — спросил Вадим удивленно.— Да путаешь ты, не может Сережка засыпаться. Рылеева он как раз знает...

— А я тебе говорю! И не спорь! — яростно шептала Люся, вцепившись в Вадимову пуговицу и дергая ее при каждом слове.— Человек гибнет, а ты тут философствуешь!

— Пошел отвечать Сережка Палавин! — сообщил кто-то стоявший под дверью.

— Ну вот! — сказала Люся.— Теперь уже поздно.

Палавин вышел минут через двадцать. Он был мрачен, его светлые волосы, всегда так аккуратно причесанные, ерошились растрепанно и неприлично.

— Четверка,— сказал он сквозь зубы и, не задерживаясь, пошел к выходу. Вадим догнал его на лестнице:

— Что тебе досталось?

— А ты как будто не знаешь? — Палавин остановился, враждебно глядя в глаза Вадиму.— Ведь тебе Воронкова сказала.

— Сказала какую-то чушь о Рылееве. Я не поверил.

— Не поверил? А был как раз Рылеев. Нет, ты струсил! Или просто не захотел помочь. Так я и знал — в трудную минуту ты никогда не поможешь!

— Это была трудная минута? — спросил Вадим, помолчав.— Во-первых, ты сам позавчера говорил, что Рылеев тебя не волнует...

— Мало ли что я говорил! — раздраженно оборвал Палавин.— Я могу хвастнуть, трепануться,— у меня характер такой, не знаешь, что ли? Но если уж я прошу, значит, мне действительно нужно. Ведь я никогда в жизни не пользовался шпаргалками. Никогда! А наступил единственный раз такой случай, когда мне... когда решается... А, да что говорить! Для меня все ясно.

Он махнул рукой и стал быстро спускаться по лестнице. Однако, спустившись на несколько ступенек, остановился.

— Я-то знаю, чьи это дела! — сказал он, тряхнув головой.— Все этого святоши в очках.

— Какого святоши?

— Знаешь какого! Мелкий же он человечек, завистливая бездарность... Только ни черта у него не выйдет. То есть у вас — ты с ним, кажется, теперь заодно.— Палавин угрожающе потряс ладонью.— Все равно не выйдет, так и знайте! Я этот экзамен пересдам.

— О ком ты?.. Зачем пересдавать? — удивленно спросил Вадим, ровно ничего не поняв.— И что это вообще за трагический тон? Ну — четверка, ну и что?

— Ах, ты не знаешь — что? Ты не знаешь, что персональная стипендия не дается студентам, имеющим четверки? И я пересдам! Сегодня же договорюсь с Сизовым и после сессии пересдам.

— А-а! — Вадим вдруг засмеялся.— Я, честное слово, не знал... Нет, ты серьезно?

Палавин повернулся и, не отвечая, пошел вниз по лестнице. Волосы причесать он забыл и с насупленным, злым лицом и взлохмаченной шевелюрой стал вдруг похож на смешного, обиженного мальчика.

ГЛАВА 17

Зимняя сессия шла своим чередом. Январь летел незаметно, казалось, в нем и было всего шесть дней — дни экзаменов. Вадиму оставалось сдать последний и самый сложный экзамен: политэкономию. Были еще два зачета, но они не тревожили. Да, четырнадцатого января — последнее грозное испытание! Выдержать его — и конец, можно вздохнуть свободно.

Занимался он в одиночку и ходил в институт только на консультации. Так ему было легче, он больше успевал. Да и Вере Фаддеевне стало хуже в последние дни. Совсем нельзя было оставлять ее одну. Ей стало трудно дышать, резко поднялась температура, и врачи заговорили о больнице.

Слушая их разговоры в коридоре и настолько же многословные, насколько непонятные объяснения доктора Горна, Вадим напряженно стремился понять причины болезни, выяснить ее течение и возможный исход, как-то действовать самому. Его приводило в отчаяние собственное бессилие, невозможность помочь маме ничем, кроме беготни в аптеку и телефонных звонков к врачам.

Он решил узнать все, что можно, о плеврите по энциклопедии. Несколько разрозненных томов старого Брокгауза лежали в коридоре, в стенном шкафу. Однажды вечером, думая, что мама спит, Вадим вышел в коридор и начал копаться в пыльных, никому не нужных книгах.

— Дима, что ты там ищешь? — спросила вдруг Вера Фаддеевна.

— Мне... тут словарь.

Помолчав, она сказала слабым и спокойным голосом:

— Он слишком старый, Дима. Наука так далеко ушла...

Ничего нельзя было скрыть от нее!

У одного товарища Вадим достал терапевтический справочник и прочел там все относительно плеврита, пневмонии и других легочных заболеваний. Два плеврита особенно взволновали его — гнойный и эксудативный. Эксудативный чаще оканчивался выздоровлением, а гнойный — «летальным концом», то есть смертью. Вадиму казалось, что симптомы гнойного плеврита больше подходят к маминой болезни. Потом он прочел, что при эксудативном плеврите «под ключицей определяется трахеальный тон Уильяма (повышение тимпаническо-

го звука при открывании рта) и звук треснувшего горшка». Во всей этой фразе ему были понятны только три слова — «звук треснувшего горшка». Но они все же немного успокоили его, потому что он уже давно заметил: в последнее время мама стала говорить тише, а иногда ее голос вдруг срывался и звучал необычно звонко и резко. Это и был, несомненно, «звук треснувшего горшка». Значит, у нее все-таки был эксудативный плеврит.

А в общем-то он по-прежнему ничего не понимал и чем больше читал, тем больше запутывался и мучился новыми страхами, новыми сомнениями. Вместо литературы по политэкономии он читал теперь медицинские книги и справочники, а если не читал, то думал о них, в то время как день экзамена приближался.

За день до экзамена Вадим долго пробыл в институте на консультации. Никогда еще он не чувствовал себя так плохо подготовленным. На консультации ребята задавали профессору Крылову такие вопросы, которые Вадиму даже в голову не приходили. В другое время это бы его очень встревожило, а сейчас он только думал устало и безразлично: «И когда они успели столько прочесть?» Он слушал — и не понимал половины того, что говорилось. Все его мысли были дома. Он мрачно безмолвствовал всю консультацию, потом попросил у Нины Фокиной ее конспекты и ушел домой.

Ему открыла соседка.

— Пришел доктор Федор Иванович и с ним какой-то профессор,— сказала она вполголоса.— Они сейчас в ванной комнате, пойдите туда.

Вадим сбросил пальто и с забившимся вдруг сердцем быстро прошел в ванную. Доктор Горн стоял в коридоре перед ванной и курил. Возле умывальника, спиной к Вадиму, стоял высокий седой мужчина и, сутуло пригнувшись, мыл руки.

— А, добрый вечер! — сказал Горн, произведя своим огромным телом подобие легкого поклона. Лицо у него было строгое, и голос звучал не так шумно и раскатисто, как обычно. А может быть, он просто был сдержанный в присутствии старшего коллеги.— Как проходят экзамены?

— Спасибо, хорошо.

— Нормально, да? Порядок, как теперь говорят... Да,— Горн кашлянул и искоса взглянул на Вадима.— Это профессор Андреев, Сергей Константинович. Мы только что смотрели Веру Фаддеевну.

Андреев чуть обернулся, показав Вадиму один черный выпуклый глаз, молча кивнул и вновь склонился над умывальником.

— Так вот, Вадим,— Горн первый раз назвал Вадима по имени.— Состояние Веры Фаддеевны ухудшилось. Мы подозревали инфильтрат левого легкого. Но рентген никаких очагов не показал. Однако кашель, высокая температура, боль в боку, ночные выпоты — все это усилилось. Что остается предположить? Самое вероятное — эксудативный плеврит. Что вы так посмотрели? Ничего страшного, болезнь эта наверняка излечивается. Это пустяки, к февралю мама, наверное, будет ходить. Но видите что...— Горн вздохнул и, поджав толстые губы, нахмурился.— Только ли плеврит? Сергея Константиновича смущают некоторые симптомы. Мало вероятно, но... может быть, Вадим, что у Веры Фаддеевны рак легкого. Надо положить маму в больницу, тщательно исследовать.

— Рак легкого? — переспросил Вадим, бледнея.— Карцинома пульмонум?

— Да, да. Может потребоваться хирургическое вмешательство,— быстро проговорил Горн.— В ранних стадиях необходима резекция легочной доли. Возможно, что никакого рака нет, но надо тщательно исследовать. Сергей Константинович берет Веру Фаддеевну в клинику своего института...

— Когда?

— Сейчас придет машина.

Вадим вошел в комнату. Вера Фаддеевна лежала лицом к стене. Она повернула голову и, не поднимая ее с подушки, молча посмотрела на сына.

— В институте все в порядке? — спросила она тихо.

— Все в порядке. Как всегда.

— Мне показалось, у тебя такое лицо... Как прошла консультация?

— Хорошо.

— Очень долго...

— Да, это всегда накануне экзамена. А как ты себя чувствуешь? — Он старался говорить громким и бодрым голосом и что-то делать руками. Сев на стул возле кровати, он стал торопливо и бесцельно листать конспект.

— Неважно, сын...— сказала Вера Фаддеевна и закрыла глаза.— Ты знаешь, меня берут в больницу.

— Я знаю. Там тебе будет лучше.

— Да. И тебе... Ты спокойно сдашь сессию.

— Сессию-то я все равно сдам.

— А так ты сдашь лучше...

— Чепуха! — сказал он.— Мне остался один экзамен. Зачеты у нас пустяковые. Мы так и говорим профессорам: «Свои люди — зачтемся». Серьезно... А когда я сдам последний зачет, ты уже поправишься. Вот увидишь, мама! И на каникулы — знаешь что?

— Ну что, сын?

— Мы поедем с тобой в дом отдыха. На две недели...

Вера Фаддеевна чуть заметно кивала и улыбалась одними губами. Глаза ее смотрели на Вадима строго и печально, не мигая.

— Я вспоминаю, Дима...— сказала она и снова закрыла глаза.— Когда ты был маленький и болел... ты часто болел... я сидела возле твоей кровати и рассказывала тебе всякие глупости. А ты слушал — и верил... успокаивался... Как это было давно! Теперь все наоборот... Как это незаметно и быстро, это... жизнь...— Она как будто засыпала и уже заговаривалась во сне. Вдруг ее тонкие костяные пальцы на секунду, но крепко сжали руку Вадима.— И я слушаю тебя — и тоже... верю, сынок! Конечно, я поправлюсь...

«Раковая опухоль, исходящая из эпителия бронхов, реже... реже из чего-то еще,— с отчаянием вспоминал Вадим.— Неуклонное прогрессирование и всегда летальный конец. Всегда летальный... навсегда...»

Ему стало вдруг душно, он судорожно вздохнул, но сейчас же стиснул зубы. И сильно зажмурил глаза. Прошло... Он поднялся и спросил:

— Ты поедешь в черном пальто?

— Да, возьми в шкафу.

Он снял с вешалки в шкафу черное пальто и положил на стул возле дверей.

Через полчаса он уже был в санитарной машине, в кабине шофера. Доктор Горн сидел сзади и всю дорогу разговаривал с мамой. Голос его гудел непрерывно и успокоительно. Туберкулезный институт помещался на тихой старинной улице за Садовым кольцом. Машина въехала во двор и остановилась перед подъездом с тускло освещенной вывеской: «Приемный покой». Санитары увели Веру Фаддеевну в этот подъезд, доктор Горн ушел с ними, а Вадим побежал в канцелярию оформлять документы. Через десять минут он вернулся в приемный покой. Дежурный врач, толстая черноволосая женщина

в пенсне и с усиками над верхней губой, сказала ему строгим, мужским баритоном:

— Больная Белова в ванной. Нет, видеть ее нельзя. И посторонним находиться здесь тоже нельзя.

— Но я же не попрощался с ней! Я ее сын!

— Да? — спросила женщина, подумав.— Подождите, пока больную вымоют, и попрощайтесь. Издали. Сядьте там.

Вадим прошел в пустую длинную комнату и сел на скамью. Из кармана его пальто что-то торчало, он вынул — конспект по политэкономии. Усевшись удобнее, он раскрыл его и прочел первую фразу: «Стоимость товара холст выражается поэтому в теле товара сюртук...» Где-то за спиной играло радио. Он стал слушать музыку. Потом его начало вдруг клонить в сон и даже показалось, что он уже спит. Да, он спит, и ему снится, что он потерял свой дом. Ему негде жить, он живет в пустом темном поле, где невозможно дышать — такой там гнетущий больничный запах...

Вера Фаддеевна вышла в длинном халате и шлепанцах. Старушка, вся в белом, с тонкими спичечными ножками в черных чулках, вела ее под руку.

— Мама! Ну, до свиданья! — сказал Вадим, шагнув к матери, и остановился.— Выздоравливай!

Вера Фаддеевна что-то ответила улыбаясь и помахала рукой. Она была совсем худенькая, маленькая до неузнаваемости в этом просторном халате и белой косынке. Уже уйдя далеко, она обернулась и сказала:

— Не забудь, отдай Фене за лимоны.

— Хорошо! — воскликнул он с готовностью и закивал головой.

Все окна корпусов больницы были освещены, и желтые полосы лежали на утоптанном дворовом снегу. Вадим сразу не нашел ворот и долго плутал по больничным дворам, которые соединялись один с другим. В одном дворе он увидел высокий, темный памятник. «Кому это?» — вяло, точно в дремоте, подумал Вадим и подошел. Он узнал большелобое угрюмое лицо Достоевского. Ах да! Ведь Достоевский родился и жил в этом больничном доме. Здесь где-то и музей его. Больница, приемный покой, памятник больному русскому писателю... Все это похоже на сон.

Но только похоже. Никакого сна нет.

Сейчас морозный вечер двенадцатого января. А четырнадцатого января он должен сдавать экзамен по по-

литэкономии. Толстая пачка тетрадей распирает его карман, он чувствует ее рукой. Руки его мерзнут, и он сует их все глубже в карманы пальто. Нет, это не сон. Ведь спать, видеть сны — это счастье! Многие люди, наверное, сейчас видят сны...

Вадим очутился на яркой, широкой улице. Прямо перед ним мигал розовый светофор. Бежали троллейбусы, переполненные людьми и светом. Люди выходили из магазинов и спешили занять очередь у газетного киоска на углу. Женщина-киоскер раздавала газеты и монотонно приговаривала:

— Вам «Радиопрограмму»... Вам «Вечерку»... «Вечерку»... «Радиопрограмму»...

Руки ее неуловимо мелькали, как у циркового иллюзиониста. Вадим встал в очередь, но, простояв несколько минут, отошел. Через десять шагов он вспомнил, что не получил газеты, но продолжал идти от киоска прочь...

Вдруг его кто-то окликнул сзади:

— Вадим! А Вадим Петрович! Товарищ Белов! — Голос был женский, веселый.

Он оглянулся. Его догоняла быстрым семенящим шагом Ирина Викторовна и издали махала рукой.

— Несется как паровоз! Я за ним, я за ним — куда там!.. Куда бежишь-то?

— Я из больницы.

— Что? С мамой? — спросила она испуганно, мгновенно изменившись в лице.

— Да. Ее только что увезли,— сказал Вадим, отчужденно глядя на женщину.— Подозревают рак легкого.

— Батюшки! — шепотом сказала Ирина Викторовна, всплеснув руками и прижав их к груди.— Будут делать операцию?

— Наверное. Я не знаю.

— Куда ты идешь?

— Куда? — Он задумался, потирая ладонью лоб.— Куда-то я шел...

— Тогда идем к нам! Идем!

Он подумал и согласился. Пустая домашняя комната пугала его. Уж лучше пойти к Сергею, чем оставаться целый вечер в пустой комнате. Из-за чего-то он повздорил с Сергеем? Да, было. Как все это далеко теперь и ненужно!

— Мне надо заниматься,— сказал Вадим.— У меня четырнадцатого экзамен...

Сергей, казалось, забыл о ссоре. Он обрадованно

встретил Вадима, а узнав о случившемся, помрачнел и долго озабоченно расспрашивал о течении болезни, предположениях врачей, больнице и тому подобном. Одним словом, выразил то искреннее сочувствие, которому люди, ошеломленные большим горем, всегда безраздельно верят.

— Оставайся у нас ночевать,— предложил Сергей.— Куда ты пойдешь?

— Конечно, конечно! — подхватила Ирина Викторовна.— Оставайся, Вадик. Поужинаем все вместе, потом позанимаетесь. Помните, как в детстве, вы всегда вместе уроки готовили. Да, кстати! Ведь Веру Фаддеевну положили в ту клинику, где Валя работает. Ты знаешь об этом, Сережа?

— Только Валентина в отделении патанатомии.

— Не важно, она там свой человек. Надо, чтобы она последила за ней. Я ей завтра позвоню.

— Не надо! — нахмурившись, сказал Сергей и пробормотал: — Я сам ей позвоню... тебе незачем...

— Хорошо. Только надо это сделать, Сережа.

После ужина Сергей сказал, что ему необходимо уйти по делу, он скоро вернется. Сорок минут, не больше. Пусть Вадик занимается пока один, потом они будут продолжать вместе. Здесь есть все первоисточники и конспекты, все, что нужно. Удобнее, чем в любой библиотеке.

Вадим остался один в комнате Палавина. Он сел за стол, вынул свои тетради и прочел все ту же фразу: «Стоимость товара холст выражается поэтому в теле товара сюртук...» И дальше он снова перестал что-либо понимать. Он снова был один, и мысли о маме, вернее, одна мысль о маме вновь целиком овладела им, вытеснив все остальные. Смотреть в конспект, блуждать глазами по строчкам и думать совсем о другом — какое нелепое, мучительное занятие!

Он принялся рассматривать убранство палавинского стола. Сбоку кипа исписанных листов бумаги, с головками и завитушками на полях. Фотография незнакомой красивой девушки на чернильнице. Отрывной календарь, весь исчерканный заметками. «Понедельник,— читал Вадим,— позвонить Козельскому... Среда — консультация. Портной. Обязательно достать конский волос...» Такой же календарь лежал на столе у мамы. Последняя запись там была от десятого декабря. Последняя... Что-то насчет муки к новогоднему пирогу.

В дверь тихо постучали.

— Можно?

Вошел маленький Саша и остановился у порога.

— Можно, вы мне решите задачу по арифметике? — спросил он робко.

— Можно,— сказал Вадим,— покажи.

— Сейчас! — Саша убежал и через минуту вернулся с тетрадью и задачником.

Пока Вадим решал задачу и попутно объяснял ее, Саша сидел верхом на стуле и, упираясь в него руками, неутомимо подпрыгивал. На все вопросы он с готовностью отвечал: «Да, понятно»,— и продолжал подпрыгивать.

— Вы хорошо объясняете,— сказал он, когда задача была решена.— А Сережа всегда кричит на меня и говорит, что я бестолочь.

Саша ушел, и Вадим снова остался один. Через стену донесся до него строгий голос Ирины Викторовны:

— Сашуня, не приставай к Вадиму! Вадим занимается.

И тоненький голос Саши ответил:

— А я уже все решил.

Вадим ходил из угла в угол по комнате, рассматривая чужие книги, чужие вещи на полках, потом лег на диван и снова попробовал читать конспект. Но и лежа у него получалось не лучше. Тогда он отложил тетрадь и закрыл глаза.

Прошло два часа, а Сергей не возвращался. В квартире, очевидно, все заснули и выключили радио. «Вот оно — пустое, темное поле...» — думал Вадим, вслушиваясь в мертвую тишину дома. Еще десять минут, и он задохнется от этой тоски, сойдет с ума, выпрыгнет в окно...

Он поднялся вдруг, на цыпочках прошел в коридор и, бесшумно одевшись, вышел на улицу.

А Сергей Палавин был в это время далеко от своего дома. Он сидел в комнате Лены Медовской за ее письменным столом и громким, звучным голосом читал конспект по политэкономии. Несмотря на открытую форточку, в комнате было жарко, и он сидел без пиджака и без галстука, в расстегнутом жилете. Лена слушала его, забравшись с ногами на диван, и удивлялась тому, что он так долго не уходит. Она вовсе не хотела, чтобы он уходил, а просто ей было очень интересно знать: почему он

так долго, старательно занимается с ней и читает вслух два часа без передышки? И шутит все время, и вообще не похож на себя? Она смотрела на его склоненное к книге лицо, упавшие на лоб пушистые светлые кудри, на его тонкий нос с горбинкой и крепкий мужской рот, который все время энергично двигался, произнося какие-то слова — она их не понимала, не вслушивалась, и у нее замирало сердце, словно от неожиданного тепла...

Вадим пришел в общежитие. Он знал, что в этот поздний час там еще никто не спит, жизнь в полном разгаре, а накануне экзамена — тем более. В коридорчике перед проходной комнатой, где помещалась общежитейская кухня, его встретила Рая Волкова. Она стояла в прозрачном переднике возле керогаза, сложив на груди руки и с тем скорбно-задумчивым выражением на лице, с каким хозяйки смотрят в незакипающую кастрюлю.

— Ва-адик, какими судьбами?! — воскликнула она удивленно и радостно.— Подожди, что с тобой?

— Я из больницы. Маму отвозил.

— Ей стало так плохо?

— Ей будут делать операцию. У нее, кажется, рак легкого.

Рая подошла к нему и взяла его за руку.

— Ты к нам пришел... просто так? — спросила она тихо.

— Просто так,— сказал Вадим.

— И хорошо. Иди на манеж, там все ребята занимаются. Сейчас будем ужинать.

В комнате девушек было светло и многолюдно. Здесь же был и Спартак — он обычно готовился к экзаменам вместе с ребятами из общежития.

— Привет товарищу по несчастью! — весело приветствовал Вадима Лесик.— Пришел записываться в колхоз? Поздно, гражданин единоличник! Мы уже все темы прошли, сейчас по второму разу пойдем.

— А ты все успел? — спросила Марина Гравец.— Наверно, уж третий раз повторяешь?

— Я ничего не успел,— сказал Вадим.— Вот пришел к вам, помогайте.

Он сел на чью-то кровать, придвинутую к столу.

— Вадим только что из больницы,— сказала Рая.— Его мама тяжело больна.

Все вдруг замолчали. Спартак встал и быстро подошел к Вадиму.

— Что же нашли наконец?

И Вадим снова рассказал все сначала. У него не было никакого желания рассказывать, он только устало отвечал на вопросы.

— Ты, наверно, совсем не занимался? — спросил Спартак.

Вадим отрицательно покачал головой.

Помолчав, Спартак сказал решительно:

— Тогда таким образом: Андрей, как главный наш консультант, прикрепляется к Вадиму. Мы уж без него повторим. Сегодня весь вечер сидите и завтра весь день. Я думаю, Вадим вытянет, он всегда на семинарах отличался, и Крылов его любит. Только завтра смотри занимайся! Слышишь? — Он сурово погрозил Вадиму кулаком.— В больницу кто-нибудь из нас...

— Я схожу,— сказала Нина Фокина.

— Хорошо. Все узнаешь подробно. И, между прочим, я тебе скажу, слушай...— Спартак вздохнул и, вдруг неловко обняв Вадима, пробормотал: — Вадик... ты не огорчайся раньше времени. Слушай, бывают ошибки... сколько хочешь... мне почему-то кажется...— И, не найдя больше слов, он крепко потряс Вадима за плечи.

— Теперь есть новые методы. Какими-то лучами,— сказал Мак.— И говорят — здóрово.

Андрей поднялся.

— Ну, пошли, Вадим? Можно у ребят в комнате, там нет никого...

— Нет, нет! Подождите! — сказала Рая.— Сейчас ужин будет. Вадиму надо отогреться, видишь — человек замерз.

— Дима! А то давай к нам переселяйся, а? — вдруг сказал Лесик.— Пока мать в больнице. Чего тебе байбаковать?

— Дельно! Конечно, переселяйся! — поддержал Лагоденко.— Можешь на моей койке спать, а я буду с Алешкой вдвоем.

— Зачем вдвоем? Пусть спит на моей, а я на ящике. Я же спал там полмесяца. Царское ложе!

— Одеяла только нет.

— А мы дадим,— сказала Галя Мамонова.— У нас есть лишнее.

— И подушку дадим! — крикнула Марина Гравец из угла.— С лебедями и с «добрым утром»!

— Ребята, я пока не собираюсь...

— Давай, давай! Как ты будешь жить один?

— Ну ладно, посмотрим...

Все уже сели к столу, и Рая разливала в чашки чай. Хлеб, колбаса и кусок сливочного масла лежали на газете посредине стола, и все по очереди, одним ножом, мазали себе бутерброды и подцепляли колбасу. И было шумно, тесно и весело. Вадим чувствовал, как с каждым глотком обжигающего густейшего напитка входит в него тепло и охватывает его, словно облако. Становилось все теплее, и странно кружилась голова, он сам не понимал отчего — от горячего чая или ярких ламп, шума, этих знакомых приветливых лиц, их улыбок и взглядов.

У него рябило в глазах, но он улыбнулся. Кто-то из девушек протянул ему большой ломоть хлеба с маслом и с толстым кружком колбасы, и Вадим вдруг почувствовал, что он голоден.

Через четверть часа Вадим уже сидел в комнате ребят за шатким столиком со следами чернил, утюга и притушенных папирос и читал с Андреем конспект:

— «Стоимость товара холст выражается поэтому в теле товара сюртук, стоимость одного товара — в потребительной стоимости другого».

— Это понятно? — спросил Андрей.

— Это? Ну да,— сказал Вадим, подумав.— Потому что ведь как стоимости они равны!

— Так. Давай дальше.

ГЛАВА 18

Подходил к концу январь, тяжелый месяц.

Последние две недели выдались необычно теплые, мягкие, с безветренным легким морозцем — чудесная погода для коньков. И было много солнечных дней, а за городом — полно снега. Лыжники не могли нарадоваться. «Ну наконец-то правильная зима!»

А Вадиму было не до снега и не до лыж. Все студенты худеют во время экзаменов, но Вадим похудел так, что Кречетов даже как-то спросил у него тревожно:

— Что, голубчик, со здоровьем — все в порядке? Верхушечки?.. Нет? Ничего?

— Да нет, Иван Антоныч! — сказал Вадим, улыбнувшись.— С этим благополучно.

Вадим так и не переехал жить в студенческое общежитие, но проводил там целые дни и дома только ночевал. Теперь он ко всем зачетам готовился вместе с ребятами и не мог иначе. Политэкономию Вадим сдал на

четыре, зачеты тоже прошли благополучно. Двадцать второго января окончилась эта сессия — самая трудная в его жизни.

Но Вадим не испытал, как бывало всегда, обычного счастливого облегчения. Ему стало, пожалуй, еще горше, тяжелей на душе — кончилась работа, которая отвлекала его, хоть временами избавляла от тревоги. И предстоящие каникулы не радовали. Наоборот, Вадим думал о них с грустью: ведь все ребята разъедутся кто куда, общежитие опустеет.

Друзья Вадима — особенно Лагоденко и Леша Ремешков — все так же настойчиво уговаривали его переселиться к ним. Вадим отказывался, и они обиженно недоумевали:

— Да почему же, черт ты упрямый? Что тебе — наша кухня не нравится? Или, может, умывальник у нас худой?

Вадим неловко и смущенно оправдывался:

— Ребята, понимаете — мне надо часто звонить в больницу. А у вас, понимаете, нету этого... телефона...

— Этого, этого! — сердито передразнивал Лагоденко.— Нашел причину! До «этого» добежать тут две минуты, и в «Гастрономе» есть автомат, и на углу. Просто какая-то ложная у тебя, дурацкая стеснительность или самолюбие, черт там знает что.

А Вадим не умел толком объяснить им, почему он не может переселиться. Дело, конечно, было не в телефоне. Вадиму казалось, что, переселившись в общежитие, он будет дальше от матери, в чем-то неуловимо изменит ей. Среди друзей ему, несомненно, станет чуть легче, он будет меньше о ней думать. Но зачем ему это облегчение, когда ей так плохо?.. Да, трудно оставаться вечером, ночью одному в пустой комнате, наедине со своими мыслями. И все же эти тягостные, одинокие размышления были необходимы ему. У него была смутная, может быть наивная, вера в то, что чем больше трудностей он вынесет, тем легче будет ей. Странные мысли приходили ему в голову, и рассказывать о них кому-то, объяснять их было невозможно...

Бывали ночи, когда он не мог заснуть до рассвета. Лежал в кровати, закинув руки под голову, и думал о всякой всячине. Чего он только не вспомнил, не передумал в эти ночные часы! Часто вспоминался ему отец — в очень дальние, полузабытые годы детства... Он запускал с отцом огромных коробчатых змеев. Это было на даче,

летом, на большом знойном лугу, где пахло ромашкой и клевером, где было много бабочек, трещали кузнечики. Отец очень ловко умел клеить и запускать змеев, а Вадим рисовал на них разные страшные рожи. Когда отец отдыхал на даче, к нему часто приезжали его ученики — и молодежь, школьники старших классов, и совсем взрослые люди. Отец играл с ними в городки — он очень любил городки — и всех обыгрывал...

А когда мама брала отпуск — это бывало в августе, они все трое часто уплывали с самого раннего утра на лодке куда-нибудь очень далеко, на весь день. Утром на реке было прохладно и тихо, только одинокие рыболовы в помятых шляпах сидели возле своих удочек и неодобрительно посматривали на лодку... День постепенно разгорался, становилось жарко, в небе появлялись легкие бледные облачка, на берегах — все больше людей, а на реке — лодок. Отец приставал к какой-нибудь песчаной косе, и все трое долго купались и загорали, разыскивали в жарком песке красивые раковины и «чертовы пальцы», и, если никого не было вокруг, отец показывал на песке разные смешные фокусы, становился на руки и даже мог на руках войти в воду.

Давно это было, давным-давно. В детстве. Кто живет сейчас на той даче, на той веранде с разноцветными стеклами? Кто купается на песчаной косе? Да, верно, и нет уже этой косы — прорыт канал Москва — Волга, река поднялась, и косу, должно быть, затопило...

А вот отец смотрит на него строго и пристально, немного печально и говорит тихо: «Мать береги». Это тоже было давно, тоже в детстве, которое кончилось в тот душный и пыльный июльский день. Но как же беречь ее, как? Что может он сделать, чтобы сберечь ее, дорогого человека, удержать уходящее детство, отца, память о нем?..

И снова Вадим видел ее немолодое, светлоглазое, в сухих морщинках, родное лицо. Вот он стоит перед дверью в шинели, в начищенных утром на вокзале блестящих сапогах, в пилотке, с чемоданом в руке — громко стучится. И слышит ее спокойный голос, от которого точно вдруг обрывается и замирает сердце: «Сейчас, минутку...» Она открывает дверь — маленькая, седая, в своей старой зеленой вязаной кофте — и отшатывается, испуганно, слабо вскрикнув: «Димка?» Потом молча падает на его протянутые руки, прижимается лицом к пыльной шинели...

И это тоже было давно — далекое, давно прошедшее счастье. Сейчас, например, уже не вспомнить, что они делали после этой встречи на лестнице, о чем говорили. А как шумно было в тот день в квартире! Столько людей пришло вечером: и старых друзей, и каких-то совсем незнакомых!.. А теперь он один. Все друзья его спят. Наверное, вспоминали его перед сном — побранили, пожалели. Хорошие люди — друзья. А все же... мало человеку одних друзей.

Уже две недели лежала Вера Фаддеевна в больнице, в диагностическом отделении, а врачи все еще не могли поставить окончательный диагноз. Продолжались бесконечные исследования, рентгеновские снимки, консультации специалистов. Вера Фаддеевна чувствовала себя очень плохо, все больше худела, вконец замученная, обессиленная кашлем и скачущей температурой.

Вадим видел ее за это время только два раза, но каждый день приходил в больницу, читал ее письма, которые приносила из палаты сестра. Письма были коротенькие, на клочках бумаги, нацарапанные торопливой, будто чужой рукой и такой слабой, что ей даже трудно было дописывать слова до конца: «Дорогой мальчи... У меня все так же. Самочувствие сред... Как твоя сессия? Все время думаю о тебе...»

Вадим тоже каждый день передавал ей короткие записки. Несколько раз он пытался проникнуть в палату в неурочные дни, его не пускали, он просил, уговаривал, возмущался, скандалил; тогда сестры вызывали главного врача — маленького сердитого старичка с розовым сухоньким лицом. Старичок коршуном бросался на Вадима, разгневанно, свистящим голосом выкрикивал: «Я вам вовс-си запрещу посещения, если вы будете шуметь! Имейте в виду — вовс-си! Марья Иванна, Дарья Иванна, вот я вас предупреждаю!» После этого он уносился, подымая своим халатом ветер в коридоре, а Марья Иванна и Дарья Иванна мгновенно превращались в глухонемых, и разговор с ними становился бессмысленным.

Однажды во дворе больницы Вадим встретился с Валей. Он увидел ее издали — она шла ему навстречу в темной шерстяной шапочке, в длинном черном пальто, из-под которого белел халат. Она шла быстро, чуть сгорбившись, и вид у нее был очень деловой. Вадим решил, что Валя не заметит его по своей близорукости, а само-

му окликать ее ему не хотелось. Он не был близко знаком с этой девушкой, встречал ее только у Сергея, и то не часто.

Но Валя заметила его и обрадованно позвала:

— Дима!.. Что ты здесь делаешь?

Вадим сказал.

— Твоя мама лежит у нас уже две недели? — удивилась Валя.— И ты до сих пор не удосужился найти меня!

— Я думал, что ты знаешь,— сказал Вадим.— Разве Сергей тебе ничего не говорил?

Валя покачала головой.

— Нет... Я давно с ним не виделась.

— Он обещал сказать тебе. Может быть, ты сможешь помочь как-нибудь, посоветовать... Я думал, ты уж не работаешь здесь.

— Я ничего не знала,— сказала Валя, вновь покачав головой и пристально, прямо глядя в глаза Вадиму.— Ты не должен был надеяться на него, а найти меня сам. Ну ладно... А чем же я могу помочь? Что говорит Андреев?

Вадим подробно рассказал ей, что говорили Андреев и другие врачи, стараясь припоминать непонятные слова и фразы из их разговоров, вроде: «Эксудат плевральной полости увеличивается». Валя, выслушав все внимательно, объяснила ему, что врачи боялись, вероятно, туберкулеза, а так как его не обнаружили, то теперь будут делать операцию. Она успокаивала его:

— Дима, ты не волнуйся! Андреев — замечательный врач, он делает чудеса...

— Но ведь это рак. Рак легких,— говорил Вадим угрюмо, исподлобья глядя на Валю.— Я читал справочник...

— Ну и что ты прочел там?

— Там,— он с трудом выговорил,— всегда летальный конец... так написано.

— Всегда letalis? Да совершенно это неверно! — горячо воскликнула Валя.— Вовсе не обязательно! Конечно, болезнь очень серьезная, опасная, но у нас, в нашей клинике, было несколько случаев выздоровления. Это, наверное, какой-нибудь очень старый справочник? Чей это? Кто составители?

— Я не знаю. Нет, он, кажется, не очень старый.

Валя вздохнула и, взяв Вадима за руку, сказала мягко, спокойно:

— Вот что, Дима, ты не волнуйся, ты должен надеяться, что все будет хорошо. А я тебе обещаю, что буду навещать маму. Она все еще в диагностическом? Ну вот, познакомлю тебя с врачами. И сделаю так, что ты будешь видеть маму чаще. Это я устрою. А ты, пожалуйста, не падай духом, не надо, крепись. Хорошо?

— Хорошо, Валюша, да, да...— пробормотал Вадим, и голос у него дрогнул от неожиданно сильного, горячего чувства благодарности и доверия к этой девушке, которую, ему казалось, он совершенно не знал прежде и только сейчас вот познакомился с ней. Они простились как близкие друзья.

Начались каникулы, не сулившие Вадиму особых радостей. Ребята действительно разъезжались кто куда: большая группа комсомольцев во главе со Спартаком отправлялась в лыжный агитпоход по Московской области. Со студентами решил поехать и профессор Крылов — страстный лыжник, слаломист. Сергей, Галя Мамонова, Маринка и Лена уехали в дом отдыха.

Несколько раз в гости к Вадиму заходил Андрей. Звал к себе: «Подышишь снегом, лесом. Тебе это просто необходимо — на кого похож стал, кикимора зеленая! Ну хоть на два денька, а?» Нет, он не мог и на два денька уехать из Москвы. Каждое утро бывал Вадим в больнице, и каждый вечер ему звонила оттуда Валя.

Однажды Андрей сказал Вадиму:

— Слушай, тебе, может, надо что по хозяйству? Может, постирать или что?.. Я свою сестренку налажу, она в два счета сделает.

— Что, что? — нахмурился Вадим.— Ну, не выдумывай! Я сам справлюсь прекрасно... Тоже сообразил!

— А что особенного? — спросил Андрей удивленно.— Я же вижу, как ты тут один ковыряешься.

— Во-первых, я не ковыряюсь. И стираю, и все делаю не хуже твоей сестренки. А во-вторых, девушка, понимаешь, видела меня пять минут, по существу незнакома, и тебе приходит в голову предлагать такие вещи! — Вадим рассерженно пожал плечами.— Ей-богу, Андрей, ты меня просто иногда поражаешь!

— Та-ак...— Андрей вздохнул и сказал спокойно: — Нет, милый, вот ты меня поражаешь. Ты все-таки не простой человек, Димка. Есть в тебе что-то такое... фальшивая какая-то, интеллигентская щепетильность.

— Ну и пусть! И ладно!

— Нет, это не ладно. Елка, кстати, хорошо тебя знает по моим рассказам и о болезни Веры Фаддеевны знает. И бранит меня, когда я забываю навестить тебя или позвонить. Я вот тоже не шибко простой человек — и то мне трудно, и другое, а Елка — она очень простая, душевная девчонка. С простыми людьми нужно быть простым. Вообще надо быть проще, ясней.

— Правильно, Андрюша. Все правильно,— кивнул Вадим и усмехнулся.— А рубашки я все-таки буду сам стирать.

Перед отъездом в лыжный поход к Вадиму как-то вечером зашел Лагоденко, а немного позже — Андрей. Все трое только вчера получили стипендию, и Лагоденко предложил спуститься в «Гастроном», купить пару бутылок вина и какой-нибудь немудрой «студенческой» закуски — посидеть, поговорить в «тесном мужском кругу». Так и решили, и через десять минут на столе появились две бутылки портвейна (Лагоденко категорически восстал против водки — ему надо было завтра подняться чуть свет, идти на вокзал), в комнате остро запахло сыром, кислой магазинной капустой, и Вадим уже стоял на кухне возле газовой плиты и, пользуясь рационализаторскими советами Аркадия Львовича, жарил яичницу.

Вадим сегодня был особенно рад тому, что пришли ребята. Он вернулся днем из больницы тревожный, взволнованный: главный врач сказал, что сомнений почти не осталось — у Веры Фаддеевны рак легких, и через неделю ее будут оперировать.

— Жалко, в Москве меня не будет через неделю! Вот неудача, понимаешь! — говорил Лагоденко с таким искренним сокрушением, точно его присутствие в Москве могло каким-то образом повлиять на исход операции.— Надо добиться, чтобы ее оперировал самый лучший врач. Да ты ведь, Димка, растяпа, ничего не добьешься. Мне, черт возьми, надо бы сходить...

— Ее, Петя, и так будет лучший врач оперировать,— сказал Вадим.— Есть такой профессор Андреев.

— Да? Ну, а тебе, Андрюшка, надо будет в эти дни опекать Вадима, проявлять вообще заботу и чуткость. Приказ тебе от лица коллектива.

Продолжая разговаривать, Лагоденко ловко откупорил вилкой портвейн, мгновенно разделил яичницу на три части и нарезал толстенными ломтями сыр.

— Дам среди нас нет, аристократизм ни к чему,—

приговаривал он.— Я люблю сыр, чтоб в два пальца толщиной. Чувствуешь фактуру. Вообще во всем люблю полновесность. Ох, хлопцы, каким сыром нас в Болгарии угощали! Возле каждого дома: ломоть сыра — стакан вина, ломоть сыра — стакан вина... Ну, подняли!

Андрей от самого легкого хмеля становился странно многоречивым и склонным к философствованию. Откинувшись на спинку стула и положив на стол свои тяжелые руки, он задумчиво чему-то улыбался и говорил:

— Вот трудно сейчас Димке, тяжело — да? И нам вместе с ним. Но это кончится, все поправится, будет радость... Так должно быть, так будет. А у нас впереди очень сложная жизнь. Очень большая, сложная... разная... и тоже в ней будут всякие трудности, и беды, и радости, все своим чередом. А что все-таки будет главное? Есть вот у одного современного и хорошего поэта такие стихи.— Он помолчал мгновение и неожиданно громко, протяжно, с нарочито тоскливой интонацией продекламировал:

Вне сильных чувств и важных категорий,
Без бурных сцен в сиянье тысяч свеч
Неприбранное будничное горе —
Единственная стóящая вещь...

— Что, что? — переспросил Лагоденко, нахмурясь.— Единственная стоящая вещь?

— Там дальше доказывается, что, мол, «на собственной золе ты песню сваришь, чтобы другим дышалось горячо». Дескать, горе и страдания делают человека лучше, рождают в нем вдохновение, подвиг. А народ эту самую философию высказал гораздо проще и умней: «Нет худа без добра». Вот и все! Однако на этом основании незачем восхвалять «худо» и любоваться им... А единственная стоящая вещь как раз не горе, я считаю, а радость. Верно же?

— Факт! — подтвердил Лагоденко, наливая по второй.

— Но не всякая, друзья, не всякая! А та радость, которая маячит впереди, зовет, светится путеводной звездой. Которая трудно достижима, а все-таки, черт возьми, достижима!

— Макаренко, кажется, называл это «завтрашней радостью»,— сказал Вадим.

— Я вот и хочу сказать о Макаренко! — подхватил Андрей обрадованно.— Ребята, какой все-таки замеча-

тельный это был человек! Как много верного он угадал, как глубоко понял самую суть нашего общего дела — воспитания! Помните, он говорил, что надо воспитывать в человеке перспективные пути, по которым располагается его завтрашняя радость? Эх, как здорово сказано... Конечно, в этом ключ коммунистического воспитания — воспитать в человеке веру в его завтрашнюю живую, никакую не загробную, а самую земную, полновесную радость. И человек, вооруженный этой верой, непобедим, всесилен. Между прочим, я решил написать о Макаренко работу для НСО. И для себя. Полезная штука его статьи, их надо читать и перечитывать.

— А вы знаете, ребята, что меня беспокоит? — сказал Вадим, усмехнувшись.— У Макаренко где-то сказано, что настоящий воспитатель должен хорошо владеть мимикой, управлять своим настроением, быть то сердитым, то веселым — смотря по надобности. В общем, должен быть немного актером. Я вот, кажется, таким талантом не обладаю...

Андрей кивнул сочувственно:

— Да, я по этой части тоже слаб. Надо нам в драмкружок, что ли, записаться... Вот Сережка Палавин, тот — артист!

— Какой он артист? Лицедей, притворщик,— сказал Лагоденко сердито.— Нет, из павлина никогда педагога не выйдет. Да он, кажется, прямо в академики метит или в писатели... Ладно, ну его к бесу! Я вот, что касается мимики и всего прочего, за себя спокоен. У меня это получится, ей-богу.

Он сказал это с такой твердой убежденностью, что Вадим, не выдержав, рассмеялся:

— Ух, какая самоуверенность! Даже завидно.

— А ты думал! — Лагоденко встал и решительно зашагал по комнате.— Я вам, милые мои, скажу: я, наверно, убежденней всех вас пришел на стезю сию. Да, да! А почему? Да просто: меня же воспитывали, ломали, учили как никого из вас. До двенадцати лет я ведь по улицам гонял, без отца, без матери рос. А потом в детдом попал, под Ростовом. Вот у нас там был директор, Артем Ильич... Ох, человек! — Лагоденко, вздохнув, мечтательно покрутил головой и повторил тихо и проникновенно, почти с нежностью: — Вот человек, ребята!.. Это действительно, можно сказать, учитель. Я за него и сейчас готов не знаю на что... Вот услышь я вдруг, что кто-то его обидел,— сорвусь сейчас, все брошу, помчусь

на защиту. Жизни не пожалею, ей-богу! Он в Красноводске теперь, директором школы. Да и всем нам, пацанам, так же он дорог был и будет на всю жизнь. Я с ним всю войну переписывался.— Лагоденко остановился, умолк на минуту и, сурово сдвинув свои черные, выпуклые брови, неожиданно проговорил: — Я... тоже хочу стать директором школы.

Вадим слушал Лагоденко и, представляя себе незнакомого Артема Ильича, сравнивал его невольно с отцом, и ему казалось, что в чем-то они должны быть похожи. И отца ведь так же любили ученики, хотя он никогда не добивался этой любви и даже, помнится, с насмешкой рассказывал матери о каких-то педагогах из своей школы, которые «организуют» эту детскую любовь, из кожи вон лезут, чтобы стать «любимым учителем». Нет, отец был суровый человек, требовательный до придирчивости, не умевший подлаживаться ни к кому и ни к чему. А в чем же была его сила? В чем сила и обаяние таких людей, как лагоденковский Артем Ильич, как Макаренко?

И задумавшись над этим, Вадим неожиданно ответил на свои мысли вслух:

— А главное — это вера в человека. Горьковский принцип: самое высокое уважение к человеку и самые высокие требования к нему. Вот что главное.

— Правильно,— подтвердил Лагоденко.— Подходить к человеку с оптимистической гипотезой — это здорово сказано у Макаренко. Но надо еще самому быть настоящим человеком. Вот я, например...

— За себя спокоен,— подсказал Андрей, подмигивая.

— Да нет, постой! — отмахнулся Лагоденко.— Серьезный же разговор, понимаешь... Вот я, например, убежден, что наша почтенная аспирантка Камкова — педагог просто никудышный. Потому что она и в жизни сухая педантша, Козельский в юбке, и по жизни ходит с красным карандашиком. Я как-то присутствовал на одном семинаре, который она проводила у первокурсников. Ой, хлопцы, какая это была сухомятина, какая смертная тощища! Эти ледяные взгляды, класснодамский тон! Чуть ли не: положите обе руки на стол, и не сметь смотреть по сторонам... А вообще-то, хлопчики,— Лагоденко вздохнул глубоко и энергично потер руку об руку,— трудное наше дело! И кто его знает, как мы сами-то с ним справимся. Время покажет. Верно? А сейчас ничего угадать нельзя...

И, однако, они долго еще пытались «угадать» хоть приблизительно свою будущую жизнь, будущую работу. Лагоденко утверждал, что он обязательно будет работать в каком-нибудь приморском городе, чтоб из окна директорской открывался вид на море. Андрей мечтал о далекой сельской школе в сибирской тайге или на Алтае. А Вадиму представлялся небольшой городок на берегу реки, весь в садах, и чтоб в школьном дворе тоже был сад, высокие яблони, акации, а неподалеку, километра за два,— сосновые перелески, озера, и он будет ходить туда с ребятами на рыбалку, будет запускать с ними змеев, а зимой — на лыжах... Страшно далекой, невообразимой казалась им эта жизнь, хотя на самом деле была она близка, они стояли почти на ее пороге. Все представления о ней были еще зыбки, расплывчаты и неясны, и только одно они знали твердо: они уже любили эту неизвестную будущую жизнь и ждали ее с волнением.

Поздно вечером позвонила Рая Волкова и велела Лагоденко немедленно идти домой, если он не хочет опоздать завтра на поезд. Андрей остался ночевать у Вадима.

Это был первый за весь месяц день, когда Вадим заснул с чувством странного спокойствия: у него вдруг появилась уверенность, что операция пройдет хорошо и мать выздоровеет. Все обойдется. Так должно быть, так будет.

Через неделю была операция. И действительно, исход ее оказался неожиданно счастливым. Профессор Андреев вышел из операционной с бледным, чуть растерянным, но улыбающимся лицом. К нему сейчас же бросилась Валя.

— Сергей Константинович!.. Ну что?

Вадим почему-то не мог встать с дивана и молча, сжав на коленях кулаки, смотрел в усталое, с блестящими от пота висками, лицо профессора.

— Благополучно, товарищи, да, да,— сказал Андреев, глядя на Вадима. Профессора окружили какие-то люди в белых халатах, среди них старичок с сухоньким, розовым лицом, и Андреев продолжал, уже обращаясь к ним: — К счастью, наши предположения не оправдались. Узел в легких оказался не опухолью, а эхинококком...

— А что я говорил?! — воскликнул один из врачей.

— Позвольте, Борис Львович! — с жаром перебил его другой.— Вы ссылались на случай Лалаянца, тогда как наш случай...

Врачи заговорили на непонятном медицинском языке, часто повторяя неприятно покоробившее Вадима выражение: «наш случай», но Вадим уже не слушал их.

К нему подошла Валя.

— Дима, милый! — сказала она, схватив его за руку.— Видишь — все хорошо! Как я рада за тебя! Недели через две-три мама совсем оправится, ее пошлют в санаторий. А месяца через два она и работать будет...

Вадим не мог вымолвить ни слова. Он только молча кивал, глядя в ее сияющие, посветлевшие глаза.

ГЛАВА 19

Институтские лыжники вернулись в Москву к середине февраля. Приехали поздоровевшие, обветренные, с мужественным загаром на лицах и гордые своим превосходством перед остальными студентами, проводившими каникулы в Москве.

Некоторое время в общежитии и в коридорах института только и слышались разговоры о лыжном походе.

Со всеми подробностями рассказывалось о том, как торжественно передавал Спартак Галустян подшефному колхозу привезенную библиотеку; как Мак Вилькин проводил в колхозном клубе сеанс одновременной игры в шахматы и проиграл одному пятикласснику; как студенты участвовали в районном лыжном кроссе и Лагоденко пришел первым, но сломал на финише лыжи; как профессор Крылов научил Нину Фокину прыгать с трамплина; как Мак Вилькин потерял очки и стал после этого таким красивым, что в него влюблялись все встречные девушки, и как он решил совсем не носить очков и отпустить бороду, чтобы стать окончательно неотразимым, и так далее, без конца.

Для Вадима первые дни второго семестра были днями радостного возвращения к работе, к друзьям, по которым он соскучился. Он испытывал такое чувство, точно сам перенес только что тяжелую болезнь, угрожавшую его жизни, и теперь все вернулось к нему — отдых, любимые книги, и февральское синее небо, и снег, которых он не замечал прежде...

В один из первых же дней к Вадиму подошел в коридоре Козельский и спросил, как подвигается его реферат. Вадим сказал, что он много работал последнее время, но кончит, однако, не скоро.

Козельский подчеркнуто серьезно и внимательно расспрашивал о плане реферата, о материалах, которыми Вадим пользовался, и назвал несколько полезных книг, о которых Вадим не знал. Они беседовали в течение всей перемены, прогуливаясь рядом по коридору.

Когда прозвенел звонок, Козельский, точно вспомнив вдруг, оживленно сказал:

— Да, кстати! Я недавно перебирал свою библиотеку и наткнулся на прекрасную монографию о Лермонтове. Издание начала века. Мне кажется, она может вам пригодиться. Хотите?

— Что ж, я с удовольствием...— сказал Вадим, все больше дивясь этой внезапной благожелательности.

— Тогда таким образом: запишите мой адрес и в воскресенье, часа в два-три, загляните ко мне, я вам приготовлю книгу. Сможете? Ну, чýдно. Итак — Печатников переулок, это у Сретенских ворот, дом тридцать восемь, квартира два.

Вадим записал.

— Так я вас жду!

— Да, я приду. Спасибо, Борис Матвеевич...

«Книга действительно может мне пригодиться,— подумал Вадим.— Ничего страшного не будет, если я возьму ее у Козельского. Странно только, что Козельский стал вдруг таким любезным. Тут не так что-то... А может быть, он прослышал, что я на ученом совете собираюсь против него выступать? Решил пойти на мировую?.. Ну ладно, там посмотрим».

В воскресенье Вадим отправился в Печатников переулок. В центре, пересаживаясь с одного троллейбуса на другой, он вдруг увидел Сергея. Тот медленно, вразвалку, засунув руки в глубокие карманы своего просторного, мохнатого пальто, подходил к троллейбусной остановке.

— Привет! — окликнул его Вадим.— Куда собрался?

— А, Дима! — обрадовался Сергей.— Да мне на троллейбус надо, на второй номер...

— И мне на второй.

— Блеск! Поедем вместе. А я, знаешь...— Сергей вынул из кармана небольшую, в кожаном переплете книжку и, прикрыв ею рот, протяжно зевнул.— Хожу, зна-

ешь, с утра по букинистам. Воскресный обход... Нашел вот на Арбате интересную штучку: о французском балете семнадцатого века. В антиквариате раскопал.

— Зачем это тебе? — удивился Вадим.

— Да это не мне. Просили достать.

Они сели в один троллейбус. По дороге Сергей рассказывал о своих связях с московскими букинистами, о том, что они могут в два дня найти ему любую книгу, да и он, Сергей, случалось, оказывал им немалые услуги. У Сретенских ворот он поднялся:

— Ну, будь здрав! Мне тут сходить.

— Мне тоже,— сказал Вадим.

— И тебе здесь? Блеск...

Они дошли до Печатникова переулка, и Вадиму пришло в голову, что они идут, наверное, в один дом.

— Сережка, да ты куда? Уж не в дом ли тридцать восемь? — спросил он, усмехнувшись.

— Тридцать восемь? — спросил Сергей удивленно и с некоторым замешательством и, стараясь скрыть это замешательство, вдруг расхохотался: — Да, конечно!.. И ты туда же? К Борису Матвеичу, да? Вот так совпадение! — И сразу настороженно: — А ты что, в гости или как?

— За книжкой. Он мне книжку обещал для реферата.

— А! — Сергей вздохнул и проговорил с натянутой развязностью и словно в чем-то оправдываясь перед Вадимом: — А Борис, кстати, вовсе не такой уж плохой старикан, между нами... Вовсе нет...

Он вошел в парадное и решительно шагнул к высокой квартирной двери. Небрежно, костяшкой среднего пальца прижал кнопку звонка и за одну минуту, пока открыли дверь, успел сообщить Вадиму следующее:

— Квартира-то не его, а сестры его замужней. У него тут только комната. Он же холостяк, живет в свое удовольствие. Ни в чем, понятно, себе не отказывает. Вот посмотришь колорит...

Им открыл долговязый белокурый юноша со скучающим лицом, одетый по-спортивному: в ковбойке с засученными рукавами и легких тренировочных брюках.

— Здорово, Костя! — бодро приветствовал его Сергей.

— Салют! — отозвался юноша и, обернувшись назад, громко крикнул: — Боря, к тебе!

И, насвистывая, скрылся за какой-то дверью.

— Это племянник, их тут двое,— шепнул Вадиму Сергей.— В автодорожном учатся. Заядлые мотоциклисты. А к Боре нашему относятся, знаешь, так это...

Он не успел договорить, потому что в коридор вышел сам Козельский — в полосатой светлой пижаме, домашних туфлях, с газетой в руке.

— А, молодые люди, и оба вместе! — сказал он, приветливо улыбаясь и кивая.— Милости прошу, милости прошу... Сережа, как ваши успехи?

— Все в порядке,— сказал Сергей.

— Ну, чу́дно! Милости прошу...

Вадим вошел вслед за Сергеем в комнату Козельского — большую, с высоким лепным потолком, с двумя полузашторенными окнами. Был серый зимний день, и рано смерклось. В комнате горела, поблескивая бронзой, настольная лампа.

— Я, собственно, Борис Матвеич, задерживаться у вас не буду,— сказал Сергей, присаживаясь на край дивана.— Вот, пожалуйста, все-таки поймал! И знаете где? На Арбате, у Павла Ивановича! — Он довольно рассмеялся, протягивая Козельскому книгу в кожаном переплете.— Шесть дней лежала, меня дожидалась. Причем знаете: один хитрый ленинградский товарищ, какой-то театральный туз, просто слезно умолял Павла Ивановича отдать ему. Предлагал, говорит, фантастический обмен — чуть ли не всего Мопассана, этого, зелененького... Чувствуете, Борис Матвеич?

— Что вы говорите! — изумленно и радостно сказал Козельский, сделав большие глаза.— Ну, Сережа, я даже не знаю, как вас благодарить. Вы просто чародей!

Взяв книгу, он стал жадно листать ее, все время улыбаясь, кивая и бегло, вполголоса, читая какие-то отдельные французские фразы. Потом подошел к лампе и принялся рассматривать книгу еще пристальней, вертел ее и так и сяк, поглаживал золотой обрез, потом послюнявил палец и осторожно протер что-то на корешке.

— Вы понимаете, редчайший экземпляр! — наконец выпрямившись, сказал он, подняв к Вадиму необычно сияющее, помолодевшее лицо.— То, что я искал годы! Книга о Ринуччини, поэте и балетмейстере. На его балетах танцевал сам Людовик Тринадцатый. О, Ринуччини — это был знаменитый итальянский поэт, создатель речитатива, вернее возродивший античный греческий речитатив... Оттавио Ринуччини!

— Вы интересуетесь балетом? — спросил Вадим с

некоторой даже почтительностью. К чужим знаниям, особенно в областях мало ему знакомых, он всегда относился с невольной почтительностью.

— Да, и не только интересуюсь,— я коллекционирую книги о балете. Сережа, чародей, еще раз глубочайшая благодарность! — Козельский пожал Сергею руку, а тот, польщенно и горделиво улыбаясь, привстал с дивана.

Поставив редчайший экземпляр в шкаф, Козельский сел в кресло и выложил на стол коробку дорогих папирос «Фестиваль». Коробка была не распечатана и, очевидно, специально приготовлена для гостей.

— Ну-с, молодые люди, курите, рассказывайте!

— Борис Матвеич, вы меня извините, но мне надо идти,— сказал Сергей, взяв папиросу и вставая.— Через полчаса я должен быть у памятника Тимирязеву.

— О! Тогда, конечно, вам опаздывать нельзя.— Козельский лукаво и многозначительно посмотрел на Сергея и подмигнул Вадиму.— Идемте, я вас провожу... Да, кстати, ученый совет должен быть послезавтра...

— Борис Матвеич! — громко перебил его Сергей.— Вы даже в воскресенье не можете забыть о делах! Будь здоров, Дима.

Они вышли из комнаты. Вадим слышал невнятное гудение их разговора в коридоре, мягкий, ровный говорок Козельского и басовые восклицания Сергея, его короткий, взрывчатый смех. Вадим услышал одну фразу, громко сказанную Сергеем: «Но почему вы-то не можете?» Козельский заговорил что-то еще тише, мягче и в таком тоне говорил очень долго, без перерыва.

Вадим между тем разглядывал комнату Козельского. В ней действительно все говорило о комфортабельной, покойной холостяцкой жизни. Это был и кабинет, и гостиная, и библиотека, и спальня вместе. Тяжелый, во всю комнату, многоцветный персидский ковер. Старинное бюро, кресла, книжный шкаф — все красного дерева. На отдельном низком столике телевизор. Обогревательная электропечка. Теннисная ракетка в чехле. На подоконнике две легкие, трехкилограммовые гантельки и рядом пузатая, с длинным горлышком бутылка коньяка. И зеркало — о да, большое, ясно блистающее зеркало в простенке между окон! — этакий томный, изящный овал, попавший в эту обитель ученого мужа, спортсмена и холостяка как будто из старинного дамского будуара.

«Пожалуй, и я тут задерживаться не стану,— решил

Вадим.— Возьму сейчас книгу и попрощаюсь». Он чувствовал себя связанно, главным образом оттого, что не верил Козельскому,— тот пригласил его неспроста, ему что-то нужно. Но что?.. Вот этого Вадим никак не мог понять и потому досадовал на себя и начинал уже раскаиваться, что пришел. Что-то неприятное, неправдивое чувствовал он и в благожелательности Козельского и в его любезном гостеприимстве; неприятным было и то, что он встретился с Сергеем (хотя для Сергея их встреча была, кажется, еще более неприятным сюрпризом). Зачем, в конце концов, надо ему одолжаться у Козельского? С таким же успехом достал бы книгу в библиотеке...

Голоса Козельского и Сергея все еще гудели в коридоре. У Вадима медленно накипало раздражение. Он начал быстро, нарочито громко стуча ботинками, ходить по комнате. Потом подошел к столу, раскрыл какой-то архитектурный альбом, лежавший поверх горки книг, и принялся машинально листать его. Он наткнулся вдруг на изображение многоколонного дворца, который показался ему очень знакомым. Где-то он видел эту колоннаду, конные статуи, эти извилистые пологие дорожки, огибающие фонтан... Что это? Внизу не было никакой подписи, стоял только номер страницы.

В комнату вошел Козельский.

— Вы не скучаете? — спросил он оживленно.— Ваш Сережа и говорун, доложу я вам!.. Чем это вы увлеклись? А, зодчие прошлого века!

— Где-то я видел это здание,— сказал Вадим.— Не вспомню вот — где...

— Что-что? — Козельский нагнулся к книге и снисходительно рассмеялся: — Ну, голубчик, вам это вспомнить будет довольно трудно! Это венский рейхсрат, великолепная постройка в новогреческом стиле. Вот это так называемый фонтан Минервы.

— Ах, это венский парламент? — обрадованно сказал Вадим.— Ну, правильно! А я-то не мог вспомнить! Правильно, эти лестницы, фонтан...

— Вы были в Вене? — удивился Козельский.

— Ну да, мы же брали этот самый парламент. Прорвались с ходу, вот с этой улицы, а фашисты сидели в большом доме, здесь его не видно, и палили по нашим танкам. Вот здесь как раз мы развернулись...

Козельский, сразу перестав улыбаться, слушал Вадима с подчеркнутым вниманием, изумленно и сочувствен-

но поддакивал и качал головой: «Да что вы говорите!.. Это действительно... Да, да, да..»

— А вы бывали в Вене? — спросил Вадим.

— Я? Да нет...— Козельский вздохнул, посмотрел на Вадима быстро, смущенно, как-то снизу вверх.— Не довелось, знаете ли. Вообще не довелось побывать в Европе.— Он чуть прищурил глаза, что-то вспоминая.— Вот... в Финляндии, правда, бывал. Лет сорок назад. Ну, это какая Европа!..

Вадим собирался уже напомнить Козельскому о книге, но тот сам подошел к шкафу, поднял стеклянную дверцу на верхней полке и достал оттуда объемистый том, аккуратно обернутый в газету.

— Вот ваша монография,— сказал он, протягивая Вадиму книгу.— Можете держать у себя сколько потребуется.

Вадим поблагодарил. У него уже пропал всякий интерес к этой книге, и он с легкостью отказался бы от нее, но это было теперь неудобно. Ему хотелось сейчас же, не мешкая, попрощаться и уйти, но это тоже было неудобно. И Вадим взял книгу и принялся листать ее и разглядывать. Кроме «спасибо», он почему-то не мог вымолвить ни слова, и это молчание становилось неловким, глупым и еще больше раздражало Вадима. Вероятно, у него был очень мрачный вид, потому что Козельский спросил вдруг:

— У вас что — зубы болят?

И Вадим неожиданно соврал и сказал «да». Он решил, что под этим предлогом он сможет уйти скорее. Козельский, сидя в кресле у стола, покуривал трубку и говорил что-то о Печорине, Ибсене, байроновском Дон-Жуане... Его обычный менторский тон постепенно возвращался к нему.

— Вы знаете, кстати, что во вторник решается судьба Сережи? — спросил он многозначительно.

— Нет. А что будет во вторник?

— Будет ученый совет по итогам сессии. И одновременно решится вопрос о персональной стипендии. Мне кажется, у Сережи большие шансы. Как вы считаете? У него все пятерки, этот несчастный случай с Рылеевым не помешает — он недавно мне пересдал. И реферат у него превосходный.

Вадиму пришло в голову, что Козельский, наверное, немало содействовал выдвижению Сергея и теперь не прочь подчеркнуть это перед Вадимом. А зачем? Да про-

сто чтоб выставить себя другом-благодетелем. Он, видно, знает, что Вадим и Сергей — друзья детства. И Вадим, уже достаточно раздраженный против Козельского, решил, что теперь хватит поддакивать.

— Нет, Борис Матвеевич,— сказал он.— Андрей Сырых, по-моему, более достоин.

— Вы так считаете? — удивился Козельский.— Ну, не думаю...

— А я уверен в этом,— сказал Вадим упрямо.

— Не знаю, не знаю... Во всяком случае, конечно, Сырых претендует вполне по праву. Его горьковский реферат был очень неплох. Вот видите,— Козельский поднял брови,— как полезно вовремя окончить реферат.

Вадим пожал плечами.

— Я пишу реферат вовсе не для того, Борис Матвеевич.

— Безусловно. Я понимаю,— кивнул Козельский.— Но кроме всего прочего... Видите ли, любое высокое поощрение, любая награда даются в итоге какого-то соревнования. В данном случае также имело место соревнование — пусть своеобразное, молчаливое, без договора, но вполне честное. Ведь так? Я думаю,— Козельский мягко улыбнулся,— ваше благородное возмущение против моей мысли несколько неосновательно. Я бы даже сказал, наивно... Нет? Вы не согласны?

Уловив в тоне Козельского скрытую насмешку, Вадим сразу почувствовал себя спокойней. Все становилось на свои места. Неопределенность исчезла. Перед ним вновь был прежний Козельский, и Вадим знал, как себя надо с ним вести.

— Нет, я не согласен, Борис Матвеевич,— сказал Вадим и тоже попробовал любезно улыбнуться.— Видите ли, я не люблю соревнований, участники которых перемигиваются с судейской коллегией.

— Вы совершенно правы,— сказал Козельский серьезно.— Это всегда неприятно выглядит со стороны.

Он кругло сложил губы и выпустил кольцо дыма, которое медленно поплыло к потолку, становясь все бледнее и шире. Козельский следил за ним, пока оно не растаяло, и выпустил второе. Вадим почувствовал, что Козельский подошел сейчас к решительному моменту разговора. Он обдумывает, как приступить к нему, и, видимо, колеблется.

Вот он взглянул на Вадима, улыбнулся и неожиданно бодро, легко спросил:

— Ну-с, а как вы готовитесь к ученому совету? Может быть, я могу вам помочь?

Вот оно — так и есть! Вадим действительно уже начал готовиться к своему выступлению: взял у Нины Фокиной все конспекты, внимательно перечитывал их, делал выписки. В понедельник он собирался идти в партком к Крылову, посоветоваться. Но это будет другой ученый совет, не во вторник, а недели через две, во второй половине февраля... Однако Борис Матвеевич не только хитер, но и решителен — сразу быка за рога.

— Я еще окончательно не подготовился, Борис Матвеевич,— сказал Вадим хладнокровно.— Я ведь готовлюсь не к этому ученому совету, а к следующему.

— Разве не к этому? — Козельский будто бы с удивлением склонил голову набок.— Вот как! А я не знал... Но работа в общем идет успешно? Затруднений нет?

— Нет, пожалуй... особых нет...

— Ну, прекрасно! А все-таки я мог бы вам помочь, скажите по совести?.. А?

Вадим слегка растерялся от необычного тона, в котором шел разговор. Минуту они молчали, глядя друг другу в глаза: Козельский чуть насмешливо, иронически прищурившись, Вадим с напряженным, нелегко дававшимся спокойствием. Наконец Вадим опустил глаза и, насупясь, пробормотал:

— Нет. Я уж как-нибудь сам справлюсь...

Козельский громко рассмеялся:

— Неужели справитесь? Нет, я все-таки вам помогу... Скажите: вы видели мою книжку о Щедрине, вот что недавно вышла?

— Нет еще, не видел.

— Так вот, могу вас обрадовать — на нее уже есть рецензия. Очень вам пригодится. Кроют меня почем зря. Это знаете где? В «Известиях» от тридцатого числа. Вы запишите, а то забудете.

— Сейчас,— сказал Вадим, вынимая записную книжку. Он решил доиграть эту игру до конца.— В «Известиях», вы говорите... от тридцатого?

— Ммм...— Козельский кивнул с полным ртом дыма и снова выпустил кольцо.— Это на третьей странице, двухколонник.

Вадим записал и спрятал книжку в карман. Козельский спросил неожиданно:

— Хотите кофе?

— Нет, Борис Матвеевич, спасибо. Мне пора идти.

— А кофе с коньяком?.. Просто коньяк?

— Нет. Спасибо, Борис Матвеевич...

Вадиму стало ясно, что Козельскому наскучил разговор, наскучило его присутствие. Разговор, очевидно, не удался. А чего он все-таки хотел? Пожалуй, он хотел затеять спор по существу и «по душам», оправдываться, доказывать, обрушиться на Вадима многопудовой эрудицией, но самому начинать этот спор было неловко, недостойно, а Вадим так и не начал. Или он собирался как-нибудь задобрить Вадима? Прощупать настроение? Разжалобить? Поразить эксцентричным стилем? Кто его разберет... Ясно одно — здорово пошатнулись его дела, если он пускается на такие трюки.

Козельский между тем налил себе рюмку коньяку и, чуть наклонившись в сторону Вадима, быстро отхлебнул полрюмки. Глаза его на миг заблестели, и он улыбнулся.

— Напрасно отказываетесь, коньяк неплохой. Кстати, помогает от зубной боли...

— Спасибо, я не люблю коньяк,— сказал Вадим и поднялся с дивана.— До свиданья, Борис Матвеевич...

— Будьте здоровы! — громко и почтительно откликнулся Козельский и низко склонил голову.— Спасибо, что зашли к старику. Будьте здоровы!

Он проводил Вадима до двери. Лицо его приобрело свое обычное выражение холодного, почти надменного равнодушия, но голос звучал по-прежнему мягко.

— Заходите еще, милости прошу. Сережа заходит ко мне играть в ма-чжонг. Вы, верно, не играете в ма-чжонг? Вот мы вас научим, это очень забавная смесь домино и покера... Вы знаете покер?

— А я играю в ма-чжонг, Борис Матвеевич.

— Ах, вы играете? — вновь удивился Козельский.— Это редкая игра, она почти не распространена у нас. А в Китае, вы знаете, на всем Востоке в нее играют миллионы...

— Я знаю,— сказал Вадим.— Сам с китайцами играл. Это я ведь и привез Сережке ма-чжонг из Мукдена. Он прислал мне письмо, просил достать. Но я не люблю эту игру, по-моему — скучновата.

— Ну почему так уж... Одним словом, милости прошу!

— Спасибо, всего хорошего,— сказал Вадим и, пожав протянутую Козельским руку, вышел. Монографию о Лермонтове он незаметно оставил на сундуке под вешалкой.

Закрыв дверь, Козельский спокойно взял с сундука «забытую» Вадимом книгу и вернулся в свою комнату. Там он аккуратно освободил книгу от газетной обертки и поставил ее в шкаф. Взял недопитую рюмку, перелил остаток коньяка в бутылку с длинным горлышком и поставил бутылку на прежнее место, на подоконник рядом с гантелями. Потом долго размеренными шагами ходил по комнате из угла в угол.

— Ну что ж.— Он остановился в нерешительности.— Что ж...

Без стука открылась дверь, и в комнату всунулась светлая, стриженая голова Кости.

— Боря, как ты насчет партийки в ма-чжонг?

— Что? — спросил Козельский, резко повернувшись.— Во-первых, изволь научиться стучать, прежде чем...

— Есть, хорошо,— миролюбиво кивнул Костя.— А как насчет ма-чжонга?

Помолчав мгновение, Козельский проговорил с неожиданной холодной злобой:

— Никак насчет ма-чжонга. И вообще вы не партнеры, а труха! Денег у вас никогда нет, а мне еще достается за то, что я даю вам в кредит... Довольно! Хватит этой игры для дураков!

— О-о! Какие мы сердитые...— изумленно пробормотал Костя и, присвистнув, медленно закрыл дверь.

...А Вадим быстро шагал по улице, радуясь тому, что он выбрался наконец на вольный воздух, и рук его ничто не отягощает, и он может размахивать ими легко и свободно. И он шел, размахивая руками, улыбаясь вспомнившимся вдруг словам из разговора с Козельским и даже с удовольствием повторяя их вслух: «Я уж, Борис Матвеевич, как-нибудь сам справлюсь!.. Нет-с, я не люблю коньяк...»

И вообще он был доволен собой.

ГЛАВА 20

Лагоденко и Рая Волкова, как молодожены, получили комнату на первом этаже общежития. Никогда в жизни Лагоденко не принимал гостей — теперь к нему приходили гости. И Рая согревала чай на плитке и угощала гостей печеньем. Но чаще он и Рая сами приходили в

общежитие к ребятам. По вечерам не хватало им заливчатого смеха Маринки, рассудительных речей Мака, острот и дурачеств Лешки Ремешкова, веселого гомона, споров до поздней ночи.

Однажды вечером Лагоденко зашел к ребятам хмурый и сосредоточенный.

В комнате было по вечернему обычаю шумно, толкотно, накурено. Рашид собирался в театр и брился, сидя на краешке стула и глядя в крошечное карманное зеркальце, где отражались намыленные скула и четверть уха. Из угла гудел бас нового жильца комнаты, поселившегося на место Лагоденко,— математика Саши Салазкина. Салазкин рассказывал какой-то анекдот. Его никто не слушал. Лесик, ставший после Лагоденко старостой комнаты, отчитывал Мака за то, что тот очинил карандаш прямо на пол. Он собирался выбросить карандаш в форточку, но, смягчившись, бросил его Маку на кровать.

— Еще раз увижу — твоей же бородой заставлю подметать! — говорил он свирепо и, заметив Лагоденко, добавил: — Мой предшественник распустил вас, понимаете! Либеральничал! А я вас возьму за жабры, без-д-дельники!

— Потом возьмешь. Слушайте! — Лагоденко сел на стул посреди комнаты.— Салазкин, прикройся на минуту. Есть дело — треба разжуваты. Сегодня днем встретил я во дворе Козельского. Вы знаете, мы с ним такие закадычные друзья, что было время — даже не здоровались. Подходит он ко мне: «Здравствуйте, товарищ Лагоденко! Можно с вами поговорить?» Пожалуйста, мол. А вижу — профессор сильно не похож на себя, то ли больной он, то ли...

Договорить он не успел, потому что с треском отворилась дверь и в комнату влетела Люся Воронкова.

— Здравствуйте еще раз! Можно войти?

— Нельзя. Я переодеваюсь,— мрачно сказал Лесик, снимая пиджак.

— Лешка, не хулигань. Я вам такие новости принесла! — и, радостно засмеявшись, Люся тут же села на чью-то койку.— Полчаса назад закончился ученый совет, и если б вы только знали, как попало Козельскому!

— Наконец-то! — сказал Лагоденко.

— Оказалось, что самые низкие показатели в эту сессию именно по его курсу, ну и Борису Матвеевичу влетело! И Крылов выступал и Иван Антонович — все

против него. Насчет формализма, отрыва от этого самого... от...— Люся даже поперхнулась, так она была возбуждена и торопилась выговориться,— от современности! А Крылов сказал: вы, говорит, препарируете литературные образы, как трупы!.. Ох, Козельский прямо зеленый сидел! А потом сам выступил: говорит, обещаю перестроиться, окончательно покончу с этим формалистическим методом, и вообще каялся, божился. Мы просто все были поражены этой переменой!

— Кто это «мы»? — спросил Лагоденко насмешливо.— Может, ты тоже выступала на совете? Или ты сидела под кафедрой?

— Нет, я не сидела и даже не присутствовала, но я тоже поразилась! — стремительно, нимало не смутившись, ответила Люся.— А кроме того, назначили персональную стипендию. И назначили знаете кому? Сережке Палавину!..

— А вот это зря,— сказал Лесик.— Надо было Андрюхе дать.

— Вот уж нет! — возразила Люся.— Сережка такой ценный человек для института. Очень умно сделали.

— Чем же он ценный, ну-ка? — спросил Лагоденко, усмехнувшись.

— Ну, он отличник, такой талантливый... у него эрудиция... вообще.

— Я вам скажу: все решилось рефератом,— конфиденциально, понизив голос, сообщил Мак.— Точно. Он вылез на реферате.

— Ну что ж! Значит, за дело, верно? Все говорят, что его реферат вышел за рамки...

— А, чепуха! — махнул рукой Лагоденко.— Надо было Андрею дать. Иван Антоныч все-таки слабый человек, не мог настоять.

— А он и не настаивал. Вот новость! — сказала Люся и снова засмеялась.— Нет, Петр, ты человек субъективный, это же всем известно! А вот Андрей Сырых — он человек объективный, и я слышала, как он сам даже говорил, что Сережка у нас самый способный и больше всех достоин этой стипендии...

— Андрей говорил? Да это же тряпка, толстовец! Это же такая патологическая скромность, которая... от которой...— И Лагоденко даже сплюнул от злости.— Тоже нашла на кого сослаться!

— Ну, я вам сообщила, а вы считайте как хотите. Мое дело маленькое,— сказала Люся, вставая.— Пойду

к своим. Бывайте здоровы, живите богато... Да! У вас веник освободился?

Староста комнаты сказал «да», и Люся, схватив веник, мгновенно исчезла.

— Ей на венике в самый раз...— проворчал из угла Салазкин.

Лагоденко молчал некоторое время, прежде чем продолжать прерванный рассказ о Козельском, и, хмуро глядя перед собой, постукивал пальцами по сиденью стула.

— Ну вот, хлопцы, слушайте...— наконец проговорил он машинально, все еще думая о чем-то другом.— Значит, так... Встретил я Козельского, и он будто не в себе...— Лагоденко замолчал на минуту и вдруг стукнул с досадой кулаком по колену.— Ах ты, сорока меня все же огорчила! Надеялся я, что павлина прокатят... Ну ладно! В общем, такой у нас с ним вышел разговор... «У меня,— говорит он,— сейчас большие неприятности. Я совершил ряд ошибок в своей преподавательской работе и ухожу из университета. Ошибки, говорит, того плана, в котором вы меня критиковали на собрании». Так, думаю, интересно, что дальше. «Теперь, говорит, я понял, что во многом был не прав, и особенно по отношению к студенчеству. Я, говорит, предъявлял к вам, конечно, недопустимо высокие требования. И делал главный упор на менее существенные стороны предмета... Да... Но мне кажется, говорит, что наши разногласия были здоровыми, рабочими разногласиями, которые многому научили и вас и меня и ни в коей мере не могут нас принципиально поссорить». Что-то вроде этого...

— Ну-ну! Любопытно! — проговорил Мак, подсаживаясь поближе.

— Да. «Я, говорит, вас и ваших товарищей по-прежнему уважаю и отношусь к вам по-дружески. Но теперь, говорит, я попал в затруднительное положение. В университете меня знают мало, у вас я работал дольше. Если бы вы, говорит, и несколько других, таких же авторитетных на своем факультете студентов написали несколько честных, просто объективных слов о моей работе, о научном кружке — это могло бы меня выручить». А я тогда говорю: «Позвольте, профессор, но вы же сказали, что сами уходите из университета?» — «Да, да, говорит, конечно, я ухожу сам, но, может быть, мне не придется уходить. Все зависит от обстоятельств. Меня,

говорит, обвиняют, например, в низкопоклонстве. Сейчас это модное обвинение. А проще говоря, со мной сводят счеты некоторые коллеги с кафедры литературы. Но разве вы замечали за мной этот грех? Если вы помните, я всегда...» — и завелся на полчаса. Лекции цитировал, вспоминал какие-то свои статьи, высказывания, даже разговоры в коридоре. И вид у него был какой-то неуверенный, напуганный, что я... ну, просто...— Лагоденко энергично потер затылок ладонью и развел руками.— Просто даже растерялся. Ей-богу, жалко его стало!

Он умолк, несколько недоуменно оглядев своих слушателей, и, вдруг нахмурясь, сказал:

— Такая штука. Обмозговать вот надо.

— А почему он именно к тебе подошел? — спросил Мак.— Ведь известно, как ты его любишь.

— Я его тоже об этом спросил: «Мы, говорит, с вами спорили на литературные темы, и это вполне естественно. А сейчас, говорит, я обращаюсь к вам просто по-товарищески. Потому что уважаю вас».

— М-да, товарищ...— задумчиво усмехнулся Лесик.— Ход конем. Хитер старик!

— Почему хитер? — спросил Лагоденко.— В данном случае он поступил вполне понятно. Почему он не может меня уважать, несмотря на все наши конфликты? Может, вполне!

— Но можешь ли ты его уважать? — спросил Мак.

— Я-то? Ну что ж...— Лагоденко вздохнул и погрузился в раздумье, которое доставляло ему, видимо, некоторое удовольствие. Затем он сказал очень серьезно: — Мне жаль его как человека, старого профессора. Ну вот стало вдруг жаль, и все!

— А это неверно! — сказал Мак.— Нельзя за него заступаться. Это значит кривить душой. Какой смысл? Сами обвиняли, критиковали на собраниях, он огрызался, упорствовал, у него находились защитники, мы обрушивались и на них,— и теперь все смазать какой-то слюнявой бумажкой? Это же нелепо, сам посуди!

— Он прав,— кивнул Лесик,— железобетонная логика.

— Эх вы, друзья! — раздался вдруг бас Салазкина, который вовсе не знал Козельского, но решил высказаться просто из симпатии к Лагоденко.— Споткнулся человек, а вы и рады его добить — вались дальше, черти носом!

— Ты, математик, наших дел не знаешь,— отмахнулся Мак.— И сиди помалкивай.

Лагоденко молчал, сосредоточенно обкусывая мундштук папиросы. Потом, выпрямившись на стуле, он сказал упрямо:

— А мне вот жаль его! Когда меня просят о помощи, я не могу вот так... Я матрос — понял? И лежачего не бью — понял?

— Да ты не кричи! «Понял, понял!..»

— А я и не кричу — понял? А говорю то...— и Лагоденко резко повысил голос,— что вы все зачерствели! Да, да! Черствые стали, как вчерашний батон! А я вот уже отошел от этого, живу сегодняшним днем. В конце концов не враг же он! А когда меня просят, а я, матрос...

— Не матрос ты! Медуза! — тонким, возбужденным голосом крикнул Мак, сердито покраснев, и вышел из комнаты, не дожидаясь ответа.

...После трех часов дня декан факультета Мирон Михайлович Сизов принимает посетителей. Но тот посетитель, которого он ждет, может явиться и до трех часов, и в часы приема, и глубоким вечером. Разговор с ним не из приятных.

С этим человеком Сизов знаком больше сорока лет. Это не многолетняя дружба, ибо дружба меньше всего определяется годами,— это случайная прихоть судьбы, сталкивавшей их друг с другом в разные времена. Они родились в одном городе, на юге России. Сизов был сыном переплетчика, его будущий школьный товарищ родился в семье мелкого чиновника, приехавшего в провинцию из Петербурга. Мальчики учились в одной гимназии и вместе, за год до мировой войны, приехали в Петербург поступать в университет.

Первое время в университете они дружили по-прежнему, снимали вдвоем комнату. Но вскоре товарищ Сизова отыскал в Петербурге каких-то своих родственников, поселился у них и зажил безбедно (он получал деньги от отца), а Сизову приходилось туго — он голодал, жил грошовыми репетиторскими уроками, случайными заработками.

Затем, осенью четырнадцатого года, произошло событие, после которого пути их окончательно разошлись. Из университета был уволен один профессор, известный своими передовыми взглядами. Группа студентов устроила шумную демонстрацию протеста. Все участ-

ники этой демонстрации были исключены из университета, кроме одного, который горячо покаялся и замолил свой «грех». Этот единственный был гимназическим товарищем Сизова.

Как только Сизова исключили из университета, он был сразу мобилизован и попал на австрийский фронт. Он вернулся в Петроград после революции, уже членом РСДРП и солдатским депутатом. В бурном, клокочущем Петрограде первых недель революции они встретились снова, встретились случайно, на каком-то уличном митинге, и оба не стали вспоминать о прошлом — было не до того. Товарищ Сизова уже окончил университет и сотрудничал в редакции энциклопедического словаря Гранат. Он жаловался Сизову, что эта работа его «мучительно не удовлетворяет», что «во времена великих потрясений ему хочется быть ближе к жизни, к настоящему делу», и просил Сизова помочь ему устроиться в системе наробраза. Сизов уезжал на фронт. Он ничем не успел помочь.

Гражданская война, бушевавшая в стране, бросала его из одного края в другой. Он был комиссаром дивизии на колчаковском фронте, воевал на Кавказе, участвовал в ликвидации Врангеля.

Двадцать первый год столкнул этих двух людей в родном городе. Сизов направлялся в Москву для поступления в только что созданный Институт красной профессуры. Его давний знакомый работал в губернском отделе народного образования. Эта встреча на родине после войны, знакомые места и люди, оживившие полузабытые воспоминания детских лет и юности,— все это как будто вновь сблизило их. Помнится, Сизов даже немного пожалел, что встреча так мимолетна и он должен не задерживаясь ехать в Москву.

А в середине двадцатых годов и тот переселился в Москву. Работал первое время в разных книгоиздательствах, потом стал преподавать, писал литературоведческие статьи, издал книгу, получил ученую степень, за ней другую, становился понемногу известным... Сизов был назначен директором института в один из городов Средней Азии и несколько лет не появлялся в Москве. Когда он вернулся, его старый товарищ был уже заметной фигурой в учено-литературном мире — он сотрудничал в десятке учебных заведений, в журналах, издательствах, юбилейных комитетах, выступал с публичными лекциями, имя его с солидной пристав-

кой «проф.» мелькало в газетах и на афишах. Война снова разлучила их надолго. Сизов ушел в ополчение, все четыре года он провел на фронте. Его товарищ, известный профессор, заведовал в это время кафедрой в одном из университетов за Волгой.

И вот уже третий год они работают вместе. Вспоминать о прошлом они не любят, да и времени для этого нет. И встречаются они только в институте. Отношения их теперь чисто служебные, и, пожалуй, никто в институте не знает, что декан литературного факультета и профессор русской литературы учились когда-то в одной гимназии, в одном классе.

Но теперь — да, теперь он может прийти к Сизову домой. Он будет о чем-то просить. Или... Нет, он начнет, наверное, вспоминать их совместную жизнь, школьные годы, Васильевский остров. Потом он скажет, что никто не знает его лучше, чем его школьный товарищ Мирон Сизов. А разве Мирон Сизов знает его — этого благообразно-седого профессора с гордо поднятой головой и стариковским румянцем на морщинистых щеках? Нет, он знал стриженого мальчугана в синем мундирчике со светлыми пуговицами, потом он знал высокого худого студента в пенсне — но его он знал хуже, и совсем плохо он знал человека в защитном френче, в изящных французских сапогах и кожаной фуражке...

Студенты, оказывается, узнали его лучше, чем школьный товарищ Мирон Сизов. Как ему досталось тогда на комсомольском собрании по поводу этого буйного морячка Лагоденко!

...Поздний вечер. Прием давно окончен. Сегодня он опять не пришел, а ведь разговор неминуем. Если он не придет сегодня, придется его вызвать. Сизов протягивает руку, чтобы позвонить секретарше, но дверь отворяется, и она входит сама.

— К вам Козельский, Мирон Михайлович.

— Просите,— говорит Сизов, вставая.

Козельский входит. За эти дни он постарел, осунулся, но так же безукоризненно одет и тщательно выбрит. Он молча протягивает Сизову холодную руку и садится в кресло перед столом.

— Все разговоры, собственно, уже бесполезны. Я знаю, и я нарочно пришел к тебе с таким опозданием,— говорит он усмехаясь. Голос его слегка дрожит.— Но, надеюсь... ты сейчас не занят?

— Я ждал тебя.

Козельский кивает и достает из верхнего кармана трубку. Медленными движениями он набивает ее, и все же пальцы его дрожат и табак просыпается на пол, распространяя в комнате запах «Золотого руна». Наконец он закуривает.

— Меня интересует одно,— говорит он, затягиваясь глубоко и жадно, словно человек, истосковавшийся по табаку.— Вот ответь мне. Я знаю, ты должен был подписать приказ. Это естественно. Но меня интересует одно: скажи, ты тоже веришь всем этим ярлыкам?

— Каким ярлыкам?

— Которые нацепили на меня. Сначала в газетах, потом в университете, а потом, по полученным образцам, и у нас в институте.

— Объясни, что ты называешь ярлыками?

— Объяснить? Вот эти словечки: эстет, формалист, низкопоклонник — я уж, право, не упомню всего. Этакие, знаешь...— Он уже не выдерживает взятого им спокойного тона и говорит все громче и возбужденней.— Этакие готовые сигнатурки на резиночках. Ты подставляешь выю, и тебе накидывают...

— Ты считаешь все эти обвинения ложными?

— Нет, я этого не считаю. Я признаю, что формалистический крен был в моем курсе, в моей концепции, да. Я признаю, что неправильно понимал, недооценивал ряд явлений советской литературы. Но ведь советская литература не мой предмет, и я касался ее постольку поскольку, почти не касался... Одним словом, мои взгляды, пусть ошибочные, я никогда не пропагандировал на лекциях. Да, я признаю, что книга о Щедрине — моя неудача. Но при чем тут формализм? Где низкопоклонство? А вспомни мою работу о Достоевском: я писал о влиянии Достоевского на всю мировую литературу. Ты помнишь? Что ты молчишь?

Сизов молчит, сумрачно глядя на свою широкую, с тяжелыми, набухшими венами руку, лежащую на столе, и слегка постукивает по столу большим пальцем и мизинцем. Ему трудно говорить с Козельским. Очень трудно. Трудно хотя бы потому, что они так давно знают друг друга, и просто потому, что перед ним не юноша, а старый человек, жизнь которого в общем-то прошла. А прошла она, видимо, не совсем правильно, может быть, даже совсем неправильно, и сказать об этом человеку в глаза, прямо и без обиняков — ох, это нелег-

ко. Тем более что он за последние тридцать лет никогда не говорил с Козельским крупно, по-серьезному — не было случая, да и... желания тоже. Честно признаться, он просто избегал этого беспокойного, сложного разговора. Почему-то ему все время казалось, что Козельский сам в конце концов поймет многое, почувствует, разберется... Вот в чем, пожалуй, была ошибка.

— Так что ж ты молчишь? — возбужденно повторяет Козельский.— Ты помнишь мою книгу «Тень Достоевского»?

— Достоевский... При чем тут Достоевский? — с досадой поморщившись, говорит Сизов негромко.— Не об этом надо говорить.

— О чем же? Ну, говори, сделай милость!.. О чем же?

— О чем...— Вздохнув, Сизов медленно потирает рукой лоб.— Вот ты говоришь, что тебя обвешали ярлыками. Тут и формализм, и эстетство, и низкопоклонство...

— Низкопоклёпство! — торопливо, зло усмехается Козельский.— Сейчас это модная болезнь. Вроде вирусного гриппа. Но я не желаю быть жертвой! Я требую разговора по существу!

— Хорошо. Давай разберемся.

— Давай-давай! — кивает Козельский, глубже усаживаясь в кресло.— «Айм реди», как говорят у нас в теннисе. Я готов!

— В низкопоклонстве никто тебя, по-моему, не обвиняет. Это несерьезно. Насчет модной болезни — согласен, но я же, как ты понимаешь, не отвечаю за то, что творится у вас на кафедре западной литературы...

— Ах, ты считаешь, что Поздняка, Левицкого и Симович уволили несправедливо, а меня — справедливо? Меня — за дело, старого дурака?

— Да, ты попал в кампанейщину. Но суть не в том. На ученом совете тебе высказали, в общем, правду. Просто мы никогда не говорили начистоту, и вот пришлось — впервые за много лет. И то, кажется, нас подтолкнули студенты.

— Короче. В чем моя вина?

— В чем? Видишь ли...— Сизов умолкает на секунду, еще мрачнее нахмурившись, сжав руку в кулак. Как трудно, оказывается, говорить о простых вещах! Если бы перед ним сидел мальчишка или аспирант-первокурсник... Но ведь этот — седой, проживший долгую жизнь,

перечитавший тьму книг,— он сам должен все понимать. Как говорить с ним?

Вздохнув, Сизов говорит медленно:

— Если хочешь, ты тот самый чеховский профессор, для которого не Шекспир важен, а примечания к нему.

— Нет, не хочу! — выкрикивает Козельский, быстро взмахивая рукой, точно отбрасывая что-то от себя.— Я не хочу этих детских приемчиков, пустых сравнений, пустых цитат! Изволь мне ответить по-человечески — чем я плох?

— Вот слушай.— Сизов слегка ударяет кулаком по столу.— К чему ведет формализм? Формализм хотя бы в преподавании? К тому, понимаешь ли, что преподаватель не учит, а служит на кафедре. Превращается в ремесленника, в холодного сапожника. И молодежь чувствует это. Живой смысл, понимаешь ли, выхолащивается, и вместо него, так сказать...

«Нет, не то! — с досадой думает Сизов.— Скучно говорю. Бессмысленно...»

— Какая-то казуистика! — бормочет Козельский, вскидывая одно плечо.— Точно так же можно доказать, что я черносотенец, иезуит, франкмасон... Боже мой! Да в чем мой формализм? Где низкопоклонство? — восклицает он в волнении и вскакивает вдруг на ноги.— Мирон, ведь ты знаешь мою семью, мое происхождение... Я русский человек до последнего ногтя, всей душой, и я люблю Россию, русское искусство, ну... больше жизни! Это не фраза, Мирон! Ты знаешь, что в восемнадцатом году отец предлагал мне Францию, но я отказался. И он уехал, а я остался с революцией, с Россией! И я низкопоклонник!

— Не юродствуй, Борис! Я повторяю, что в низкопоклонстве мы тебя не обвиняем. А если Крылов что-то сказал в горячке спора — ты не цепляйся...

— И я низкопоклонник! — будто не слыша, продолжает Козельский.— Да кто защищал оригинальность Блока, доказывал, что это гений самобытный, русский? Да когда в пятнадцатом году приезжал в Петроград этот французик... ну как его? Ты помнишь? Одним словом, как я его обрезал публично, когда он посмел сказать о Блоке... Ну, ты помнишь?

— Нет,— говорит Сизов.— Не помню. И смешно, Боря, об этом сейчас вспоминать.

— Смешно? Нет, смешно другое. Смешно, что человек, который знает меня сорок лет, послушно повторяет

за другими всю эту пошлую, трафаретную белиберду! Смешно, что он не может внятно растолковать мне, в чем я, собственно, виноват? Чем я плох? Смешно, что он растерял все слова и только талдычит какие-то фразы из протокола...

— Хватит!

Неожиданный, как выстрел, удар ладони по столу обрывает Козельского на полуслове. Сизов встает из-за стола — маленький, широкий, с внезапно побагровевшим лицом. Подойдя к креслу Козельского, спрашивает отрывисто:

— Ты хочешь, чтоб я говорил за все сорок лет? Да?

— Да... ну...— бормочет Козельский, слегка отклонившись назад.

— Слушай тогда! Я не стану говорить ни о твоем формализме, ни об эстетстве — это все следствия, а причины сложнее, и о них тебе, наверное, никто еще не говорил. Причины в том, что все эти сорок лет, эти бурные, трудные сорок лет ты жил неправильно. Ты заботился только об одном — как бы уберечь себя от ушибов. Ты выбрал себе стиль — комфортабельный скептицизм. О да! Это удобно, ни к чему не обязывает...

— Но позволь — какое отношение стиль моей личной жизни...

— Прямое! Если б ты не воспитывал молодежь, я бы, наверное, промолчал. Чему ты учишь студентов? Умению приспосабливаться? Умению жить во имя собственного благополучия? Я вспоминаю сейчас всю нашу совместную жизнь: гимназию, Питер, университет, наше исключение — помнишь Остапенко, Рихтера? — и твое помилование, и то, как мы расстались...

— Мирон! — Козельский, покраснев, прижимает левую руку к сердцу.— Это неблагородно...

— Прости меня. Я не в укор, не в укор! Просто я вспоминаю нашу жизнь. Мы были мальчишками. Тебе, наверно, хотелось учиться в университете больше, чем нам... А что было потом? Потом была революция, которую ты наблюдал из окна своей энциклопедической редакции. А потом ты пошел в гору — в свою маленькую комфортабельную горку с удобными ступеньками и осторожным наклоном. И ты вскарабкался по ней довольно высоко...

— Смею сказать, что эта метафора...

— Постой, я не кончил!

— Мирон...

Козельский протягивает руку, точно пытается остановить Сизова, но тот сжимает его руку в своей, желая отогнуть ее в сторону. Козельский не уступает, несколько минут длится это молчаливое единоборство, но потом рука Козельского слабеет и отгибается.

— А ведь я знаю, ты сильней меня,— говорит Сизов, взволнованно и часто дыша.— О да, ты берег свои силы, свое здоровье! Ты играл здесь в теннис, когда другие строили на пустом месте институты. Помнишь, я предлагал тебе поехать со мной в Среднюю Азию? Ты не согласился. Нет, нет, я тебя не виню. Очевидно, ты любишь настоящую науку больше, чем я...

— Мирон, ты же знаешь, что я не мог! — с жаром вдруг говорит Козельский.— Я был в таком состоянии тогда, после истории с этой женщиной... моей первой женой...

— Неправда! Зачем теперь еще изворачиваться, кривить душой? Ведь...— Сизов смотрит на Козельского в упор.— Не так-то много, Борис, осталось нам с тобой жить. Второй жизни не подарят тебе ни твой теннис, ни гимнастика по утрам. Будь честен хотя бы теперь напоследок. Пойми ты... пойми, что никакие обстоятельства, никакие женщины не мешали тебе уехать, ты мешал себе сам. За всю жизнь ты ни одного дела не сделал в полную силу, горячо, на совесть, ты все делал одной рукой — потому что другой рукой ты всегда держался за свое благополучие. И вот жизнь на исходе. Что ж осталось? Каково же оно, это дорогостоящее благополучие?

Сизов, уже успокоившись, говорит, по своему обычаю, неторопливо, негромко. Он начинает ходить по кабинету, крепко сцепив руки за спиной, глядя вниз. Остановившись на середине комнаты, он как будто разглядывает, сурово и пристально, узор ковра.

— Что ж...— медленно говорит он, еще ниже опуская голову.— Благополучие, надо полагать, оказалось призрачным... Работы твои, книжки, статьи — это все в прошлом, никому не интересно теперь, никому не нужно. Учеников у тебя нет. То есть, вероятно, есть ученики, но они, в лучшем случае, забыли тебя. А сегодняшнюю свою работу ты делаешь неудовлетворительно, плохо. На двойку. Вот и весь итог. Я не стану повторять всего, что говорилось на совете, незачем. Ты вот сам сказал, что у тебя был формалистический крен, мягко так выразился. Нет, это не крен, а формализм чистой воды. А крен у тебя другой — легкий такой, чуть

заметный крен к современности. Жизнь требовала — приходилось крениться.

Сизов идет к своему столу и, рывком отодвинув кресло, садится.

— Вот и весь разговор,— помолчав, говорит он и вдруг улыбается будто с облегчением.— И ни одной фразы из протокола, а?

Козельский сидит в кресле, сгорбясь, поставив локти на колени и подперев опущенную голову кулаками. Он очень долго молчит. Сизов зажигает настольную лампу, перебирает какие-то свои бумаги, что-то записывает, рвет, бросает в корзину... Козельский все молчит, все так же неподвижен. Вдруг он спрашивает:

— Ты помнишь тот зимний день начала восемнадцатого года, когда мы встретились с тобой в Петрограде?

— Помню,— говорит Сизов.

— Может быть... я не знаю. Может быть, в том, что я слышал сейчас, кое-что есть...— он умолк на мгновение и, проглотив что-то, что как будто мешало ему говорить, докончил сдавленно: — от правды. Впрочем... Нет, кажется, есть. Я вот вспомнил сейчас эту встречу, очень отчетливо вспомнил... Хочу, может быть, что-то объяснить тебе. Ты приехал тогда с фронта. В папахе, с маузером... Я просил тебя где-то меня устроить, тебе было некогда, но ты сказал: если хочешь, едем со мной на фронт. И вот я думал всю ночь. Меня не пугала война, возможность смерти и все прочее... Нет, я колебался не из трусости. Но я рассуждал: если идти добровольно на фронт, рисковать жизнью, значит, надо твердо верить в идею, за которую идешь умирать. Так.— Сжав кулак, Козельский слегка ударяет им по колену, но голос его не крепнет, а звучит еще тише и неуверенней.— А верил ли я твердо? Вот это и надо было решить. Я чувствовал, что это решение во многом определит мою жизнь. Да, я остался в Петрограде. После этого была долгая жизнь, уже без войны, без страданий, и я постепенно проникался нужной идеологией. Она была вокруг меня, в людях, в работе, в самом воздухе, и я впитывал ее, так сказать, естественно... Ну, ты понимаешь меня?.. И я уже твердо верил.

— А идеологию, Боря, не только впитывают. За нее ведь и борются.

— Я знаю, да, да! — Козельский торопливо кивает и поднимается с кресла.— Да... Бороться я не умел. Но я

был честен... Любил свою работу... А если я подавал кому-то дурной пример, вот не знаю только чем: своими манерами, жизнью, своей индивидуальностью...— Он пожимает плечами.— Честное слово, это без умысла. А теперь — что ж? Обстоятельства сложились так, что я вынужден написать заявление. Я напишу его. Засим — до свиданья, спасибо за лекцию.

Козельский кивает и быстрыми шагами идет к выходу. Его узкая стариковская спина на мгновение задерживается в раскрытой двери.

— Кстати, могу признаться, Мирон,— говорит он и медленно оборачивается.— Мне почему-то всю жизнь казалось, что ты мне завидуешь. По-видимому, я ошибался. Ну, прощай.

— Прощай,— говорит Сизов.

Он сидит некоторое время, прикрыв ладонью глаза, и не двигается. Сердце стучит, сжимая грудь ноющей, глубокой болью. Старость. Только один человек помнит его молодым — тот, что вышел сейчас из комнаты...

ГЛАВА 21

В субботу после лекций к Вадиму в коридоре подошел Сергей. Он был сегодня почему-то при параде: в сером своем костюме и новом щегольском свитере голубого цвета.

— Поздравь меня, старина! — сказал он, улыбаясь.— Уже получил.

— Что получил?

— Персоналку.— Сергей хлопнул себя по карману и подмигнул Вадиму.— Пиво за мной. Да, кстати: ты знаешь, что моя тургеневская статья будет напечатана?

— Нет. Где же?

— В журнале «Смена». Это, конечно, не «Литературное наследство», но все же. Я ее сократил в два раза. Ну как — приятно?

— Приятно,— согласился Вадим.

— То-то же! — Сергей обнял Вадима за плечи и качнул к себе.— А ты все еще косишься на меня, а? Да-а, вышло-то по-моему! По-моему, не будь я Палавин! — Он победительно рассмеялся, потом сказал с мягким осуждением: — Ты все же несколько завистлив, Вадька. Тебе будет трудно жить. А скажи: ведь ты хотел, чтобы Андрей получил персоналку?

— Пожалуй, да.

— Да? — Сергей смотрел на Вадима, сузив глаза, в которых сразу мелькнула тень отчуждения. Помедлив, он сказал: — А я вот думал, что ошибся. Значит, нет... Ну, а почему? Можешь объяснить?

— У Андрея было бы верней.

— Нет, Вадим. У меня это будет верней. Ты знаешь, как я в себе уверен? Да, уверен. Я сейчас на подъеме и снижать темпов не собираюсь. В марте я кончаю повесть, мне кажется, она удается. Я подаю в кандидаты партии. Ну, а... ну, а что Андрей? Ведь, между нами,— поверь, Вадим, что я говорю сейчас совершенно объективно! — Андрей человек очень средних способностей. Он хороший парень, трудовик и все такое, но в нем не хватает гениальности.

— Сергей, зачем тебе непременно надо переубеждать меня? Тебя оценили, понимаешь...

— Ну хорошо, согласен.— Палавин великодушно и примирительно поднял руку.— Хорошо! Да, еще новость: ты читал, как в «Литературной газете» Козельского шлепнули?

— За что?

— Ну-у — большущая статья! Все за ту же книгу о Щедрине. Формализм, ненаучный подход. Из университета он, оказывается, давно уже полетел, еще раньше, чем отсюда.

— Да, Козельскому досталось основательно...

— Послушай, этого надо было ждать! Старик все-таки гнул не в ту сторону. М-да...— Сергей вздохнул, серьезно и с сожалением поджал губы.— Как его ни жаль, а надо сказать, что досталось ему абсолютно справедливо. За дело, что там говорить!

К ним подошли Лена Медовская и Андрей.

— Здравствуйте, мальчики! — сказала Лена.— У нас с Андреем есть гениальное предложение... Ой, Сережа, откуда у тебя такой чудесный свитер? Купил или на заказ?

— Влюбленные женщины вязали. По ночам,— пошутил Палавин.— Какое же у вас с Андреем может быть предложение? Да еще гениальное?

— А такое — поехать завтра к Андрюше на дачу!

— Как, простите, на дачу? К Андрюше на дачу? — переспросил Палавин.— У Андрюши, оказывается, есть дача?

— Ну не дача, дом! Что ты придираешься? Поедем-

те, мальчики! Вот так, вчетвером. Погуляем, подышим воздухом, на лыжах покатаемся. Мне так хочется за город!

— Главное, погода стоит самая лыжная,— сказал Андрей.— Мне просто жалко, что вы чахнете в такие дни в городе. Соглашайся, Сергей! Да, я же тебя и не поздравил со стипендией,— он пожал Палавину руку, и тот поклонился с подчеркнутой галантностью и прижал левую руку к сердцу.— Приезжайте, ребята. Чего тут долго раздумывать?

— Я с удовольствием,— сказал Вадим.

— Можно. Присоединяюсь,— кивнул Палавин.

— Вот и чудесно! Значит, едем? — Лена обрадованно захлопала в ладоши.— Я так рада! За город хочу смертельно! Только больше никого не зовите, мы вчетвером,— слышите, мальчики? Вадим, а я так давно тебя не видела! — сказала она неожиданно.

Он посмотрел ей в глаза.

— Разве так уж очень давно?

— Ну не очень, но я по тебе соскучилась. Правда.

Вадим смотрел в ее ясные, улыбающиеся глаза и, разминая пальцами папиросу, напряженно думал: «Если бы мы были вдвоем, ты никогда бы этого не сказала. И так бы не улыбалась».

— Мы с Димой заводскими делами увлеклись,— сказал Андрей.— Все с кружком возимся.

— Ну и... не скучно вам?

— Да нет, скучать некогда.

— Я, кстати, хочу дать этот мотив в повести,— сказал Палавин.— Конечно, не так кустарно, как у вас, а шире, значительней. Такие вещи надо делать с размахом. Как раз это я в предпоследней главе даю.

— Ой, какая будет скучная повесть! — воскликнула Лена, морщась.

— Ты ничего не понимаешь, Леночка,— сказал Палавин.

— Ну конечно, куда мне! Мальчики, значит, договорились? Вадим, завтра утром звони мне, чтобы всем встретиться на станции.Пораньше, часу в девятом. Звони, слышишь? — Она заглянула ему в глаза, на этот раз строго и настойчиво.

— Слышу,— сказал Вадим, кивнув.

Вадим все еще жил один — Вера Фаддеевна отдыхала после операции в санатории. В день поездки к Андрею Вадима разбудила соседка, как он просил, в семь

часов утра. За окном еще было черно, как ночью, и на улице горели фонари. Радио обещало безветренную погоду без осадков, мороз слабый. В восемь часов Вадим позвонил Палавину. Подошла Ирина Викторовна и сказала, что Сережа еще в постели, сейчас подойдет. Прошло не меньше пяти минут, пока раздался в трубке полусонный бас Сергея. Он долго и сладко позевывал, отвечал невпопад и не мог понять, чего Вадим от него хочет. Потом понял, вспомнил, сказал: «А-а»,— и задумался.

— Ну что ты молчишь? — спросил Вадим нетерпеливо.

— Я думаю... Ты знаешь, пожалуй, сегодня не выйдет. Ты извинись за меня перед Леной и Андреем, скажи: решил, мол, закончить главу. Просто времени жалко, ты извини.

Вадим извинил его и не стал уговаривать. Он даже втайне обрадовался, что Сергей не едет. «Врет про главу,— подумал он,— просто на лыжах ходит хуже, чем я, и не хочет перед Леной позориться». Ровно в половине девятого Вадим позвонил Лене. Она сейчас же сняла трубку. Голос ее звучал свежо и звонко.

— Доброе утро, Вадик! Ты уже готов?

— Я давно готов.

— А почему так поздно звонишь? Мы же в восемь условились. Я тоже собралась и прямо жду не дождусь звонка.

— Я сейчас выезжаю,— сказал Вадим.— А Сергей не поедет. Я ему звонил.

— Да? Жаль...— Она замолчала на мгновение.— Вадим, давай встретимся у автобуса примерно так минут через... А почему он не поедет?

— Говорит: решил кончить главу.

— Ну бог с ним... Значит, в четверть десятого у автобуса. А лыжи брать?

— Не надо, у Андрея есть.

— Хорошо,— она повесила трубку.

Через сорок минут Вадим вышел из метро на Белорусском вокзале и встал в очередь у остановки загородного автобуса. Очередь была маленькая, зимняя,— уже не дачники, а большей частью рабочие, ехавшие домой после ночной смены.

Подошел автобус, но Лены еще не было, и Вадим пропустил его. Теперь он был первым в очереди. Прошло полчаса, и Вадим пропустил еще два автобуса.

Подходили все новые люди, садились, уезжали, а он оставался первым в очереди. Когда ушел четвертый автобус, совсем почти пустой, Вадим понял, что Лена не приедет.

Он замерз, стоя неподвижно в течение сорока минут. Теперь, когда он решил ехать, автобус, как назло, долго не подходил. Это будет уже пятый. Вадим даже не был опечален или расстроен, просто ему надоело стоять. И было холодно, коченели ноги. И он злился на себя и на запаздывающий автобус, на бюро погоды и на то глупое и отвратительное чувство стыда, которое охватило его.

Наконец подъехал большой вместительный «ЗИС» с белыми от мороза окнами, в которых, как проруби в замерзшей реке, чернели продутые пассажирами воронки для глаз. Люди садились, кряхтя и поеживаясь от холода, отдуваясь белым паром. Их было немного, все сели, и остались еще свободные места. Кондукторша со свекольным румянцем на щеках, одетая во множество одежд и оттого невероятно толстая и неповоротливая, сидела на своем месте возле двери и была похожа на «бабу», которой накрывают чайник. Пахло бензином, трясло, качало... Вадим не смотрел в заплывающие оконные глазки и не видел дороги. Он вдруг потерял всякий интерес к поездке, сидел сгорбившись, уставив глаза в кожаную и широкую, как чемодан, спину шофера. Потом он задремал и, проснувшись от внезапного толчка, подумал с изумлением: «Зачем я еду? Куда?»

Люди все сходили и сходили на остановках, садилось мало. В автобусе осталось наконец только трое: кондуктор, Вадим и еще кто-то похрапывающий в заднем углу. Вдруг автобус круто пошел с горы. Вадим увидел в шоферское стекло мелькание деревянных заборов, белых крыш, деревьев, его последний раз тряхнуло, и автобус остановился. Пошатываясь на затекших ногах, Вадим прошел к двери и спрыгнул на землю.

Его обняла неожиданная, пахнущая снегом тишина. Как тихо было вокруг! В безветрии замерли высокие сосны, упираясь кронами в белое, спокойное небо. Под навесом автобусной станции, на барьере, сидел мальчишка в полушубке и валенках и ковырял лыжной палкой снег. Его лыжи, облепленные снегом, лежали рядом. Он угрюмо посмотрел на Вадима, потом на пустой автобус — должно быть, ждал кого-то из Москвы. Далеко

за деревьями кричали галки. Вадим остановился. У него на мгновение закружилась голова от запаха снега и хвои и этой удивительной тишины.

Андрей жил в конце шоссе, на самой дальней просеке. И пока Вадим шел укатанной снежной дорогой, глубоко вдыхая в себя разлитый вокруг покой, голова его очищалась и чувство досадливой горечи медленно исчезало, как дым табака, в этом прозрачном сосновом воздухе...

У калитки одноэтажной дачи с мезонином Вадим увидел Андрея. Тот стоял без шапки, в высоких черных валенках и шерстяной фуфайке и прибивал к калитке задвижку.

— А где же остальные?

— Не смогли приехать,— сказал Вадим.— Сергей пишет, а Лена чем-то тоже занята.

Андрей пожал плечами и с силой ударил по гвоздю молотком.

— Вот чудаки! Сегодня день самый лыжный. Подержи-ка вот здесь. Ага...— Он вставил второй гвоздь и снова ударил, сразу загнав гвоздь наполовину.— Хорошо хоть, что ты приехал, Вадька. Я с самого утра вас жду.

Покончив с задвижкой, Андрей повел Вадима в дом. Они прошли через небольшой садик с голыми деревьями и высокими прутьями спиреи, которой была густо обсажена дорожка. Откуда-то вышла лохматая черная собака, имевшая тот унылый и неряшливый вид, какой принимают все дворовые собаки зимой, нехотя тявкнула и побежала к Андрею, пригибая морду к земле. Обнюхав пальто Вадима, она отошла и принялась кататься по снегу.

— Наверно, снег будет,— сказал Андрей.— Видишь, катается... Ну вот и мое имение!

Они поднялись по высокому крыльцу на пустую застекленную веранду со следами валенок на полу, образовавших мокрую дорожку, с кучкой наколотых дров возле бревенчатой стены и прошли в дом. В комнате Андрея было тепло и прибрано. Яркий восточный ковер закрывал всю стену над письменным столом, и к ковру была приколота бумага, исписанная красным карандашом. Вадим наклонился и прочел: «Распорядок дня Андрея Сырых». Все было размечено по часам: зарядка, еда, работы для института и для дома, даже принос воды из колодца. Внизу стояли две подписи: «Директор семьи

Степан Сырых», «Председатель семейного контроля Ольга Сырых».

— Сильная грамота,— сказал Вадим уважительно.— А Ольга Сырых это кто?

— Да Елочка, сестра моя! Помнишь, на вечере знакомил?

— Ах, Елочка! Я и забыл, что она Ольга... А где она?

— На круг пошла, в магазин. Она вчера тут такую подготовку развила к вашему приезду — страшное дело! Комнату убрала, стол мой письменный — вот посмотри: этот стол прямо сфотографировать надо и в «Пионерскую правду» послать. Полы все вымыла. Я говорю: ну что ты суматоху подняла? Кто твои полы заметит? Нет, я должен молчать, я неряха, она, видишь ли, принимает гостей у себя в доме, и она хочет, и она не желает, и тра-та-та-та... Ну скажи: ты заметил, что полы вымыты?

— Я как-то не успел еще...

— Ну вот! Я и говорю! А у нее с утра поясница болела.

— Но полы вообще-то чистые. Явно чистые,— сказал Вадим, для чего-то поднимая ногу и заглядывая под ботинок.

— Полы как полы. Ладно, хватит этой низменной темы. Сейчас мы с тобой перекусим.

Вадим сказал, что он не голоден и есть ничего не будет.

— Все равно идем на кухню. Велено печку растопить.

Андрей вышел на веранду и, вернувшись с охапкой дров, с грохотом бросил ее на железный лист возле кухонной печи. Вадим сел на табурет, наблюдая, как Андрей возится с дровами, спичками и бумагой.

— Лена, говоришь, занята? — спросил Андрей.

Вадим кивнул. Помолчав, он невольно сказал вслух то, о чем думал в дороге:

— Просто не захотела, наверно.

— Почему это? Вчера ведь так прыгала — ах! ах!

— Кто ее разберет...

— Наверное, знаешь почему? — Андрей шумно задышал, раздувая огонь.— Не разгорается, вот пропасть... Потому что Сережка не поехал, нет?

— Это возможно.

— Ну, ясно. Дай-ка еще раз спички.

Вадим протянул ему спички и спросил неожиданно:

— Андрей, ты любил кого-нибудь?

— Любил.

— Кого? — спросил Вадим машинально, думая о своем, и только потом удивился ответу Андрея.

— Одну девушку... Она на заводе со мной работала,— Андрей почти всунул голову в печку, и голос его прозвучал придушенно.

— Ну, а теперь? Это же давно было.

— А я и теперь люблю ее.

— И встречаешься?

— Нет. Четыре года не видал.

Он снова принялся раздувать огонь. Глядя на его мощную, обтянутую фуфайкой спину, под которой тяжело двигались бугры лопаток, Вадим спросил с удивлением:

— Так долго?

— Она уехала в Ленинград... Вот пропасть, все дрова сырые,— пробормотал Андрей, ползая на корточках по железному листу и упорно не поворачивая к Вадиму лица.— Подсушить бы вчера...

— А как ее зовут? — спросил Вадим уже заинтересованно.

— Зовут ее Га-ли-на,— сказал Андрей громче и с нарочитым спокойствием, но голос его дрогнул. Очевидно, он первый раз и неожиданно для себя заговорил на эту тему и пытался скрыть волнение.

В печке вдруг вспыхнул огонь, и дрова слабо затрещали. Потянуло сладким сыроватым дымком. Андрей сунул в печку бумагу, плотно прикрыл дверцу. Дрова быстро разгорались, в трубе загудело. Андрей открыл дверцу и встал.

— И ты что же, счастлив? — спросил Вадим.

Андрей повернулся к нему; лицо его осветилось розовым блеском пламени.

— Счастлив,— сказал он, кивнув.— Она приедет весной, письмо прислала. Ей теперь уже двадцать два.— Он стоял, прислонившись к стене, и улыбался, глядя на Вадима.— Ты удивляешься? Вот так получилось... Она работала штамповщицей в заготовительном цехе. А теперь кончает медицинский.

— Почему удивляюсь? Я рад за тебя,— сказал Вадим.

— И этого никто не знает. Даже Елка.

— Я рад за тебя,— повторил Вадим тише. Он на самом деле был рад за Андрея, но ему стало грустно.

Подсев к печке, он смотрел в огонь. Вовсю бушевали яркие языки пламени, сплетаясь и раскидываясь, вздуваясь пылающим огненным пузырем. Как внезапно и яростно рождение огня! Минуту назад еще тлела сырая кора и было холодно и темно в этой квадратной дыре, и вот — жадное огнедышащее кипенье, свирепая пляска, гуденье, треск, извергающийся Везувий... И как легко погасить этот маленький Везувий, раскидать, затоптать, залить. Одно ведро воды — и пламя зачахнет, и через минуту вновь будет холодно и темно...

— А ты, Вадим... любишь кого-нибудь? — услышал он негромкий голос Андрея.

У него заслезились глаза, лицо горело. Он прикрыл дверцу и выпрямился.

— Было, Андрюша,— сказал он, усмехнувшись,— было, да сплыло!

— Как же так?

— Да так вот. Ведро холодной воды...

Он взглянул на недоумевающего Андрея и рассмеялся.

— Давно это было, Андрюша,— сказал он, потягиваясь и зевая без надобности.— И после первого ведра были еще другие, и еще холоднее. В общем-то я сам, наверное, был виноват. А теперь все ветром размело, весь этот сор... Пойдем-ка лучше в сад!

В саду они встретили Олю. Она возвращалась с круга, оживленная, улыбающаяся, размахивая сумкой с покупками. Узнав, что приехал один Вадим, Оля заметно огорчилась.

— Ну вот! — сказала она недовольно.— А я думала, что ваша знаменитая Лена Медовская приедет. Даже полы все вымыла.

— Вадим, кстати, и не заметил этого,— сказал Андрей.

— Конечно, вы ничего не замечаете! А Лена Медовская заметила бы, потому что она женщина. Держи! — Она протянула Андрею сумку.— Смотри, какую тяжесть тащила. Догадался бы встретить. Печку хоть растопил?

— Растопил, растопил, товарищ начальник!

Зайдя в дом, Оля позвала Вадима в столовую смотреть какие-то цветы. Цветов было много, они стояли в разнообразных горшках на подоконнике, на шкафу, на столе, а некоторые даже были подвешены на веревочках к потолку.

— Андрей вам, конечно, ничего не показал, да? А вы любите цветы? Мой брат такой сухарь, он к ним совершенно равнодушен. И еще гордится этим,— говорила она оживленно.— Это вот традесканция — видите, висячая? Вот циперус, он растет страшно быстро. А это восковое дерево, над которым мой брат издевается.

— Как издевается?

— Курит. А оно не выносит табака. Он не курил в этой комнате, не видели?

— Нет, мы и не заходили сюда.

— Елка! Что это ты купила? — крикнул Андрей из соседней комнаты.— Какое-то вино.

— Да, вино. Ну и что?

— Зачем это? — Андрей вошел, удивленно вертя в руках бутылку.

— Как зачем! — сказала Оля, покраснев.— Для твоих же гостей. Только я не знаю, что это — вермут. Я просила не очень дорогое.

— А деньги у тебя откуда?

— Стипендию получила. И вообще это мое дело — откуда, откуда! И тебя не касается. А если тебе не нравится, я его сама выпью! — Оля сердито вырвала у Андрея бутылку и поставила в шкаф.— Мы с Вадимом выпьем. И с папой.

Рассказав обо всех цветах, Оля подвела Вадима к небольшому горшку, стоявшему на отдельном столике. Из горшка торчал отросток величиной с полмизинца. По торжественному Олиному лицу Вадим понял, что это, очевидно, самый поразительный экземпляр коллекции.

— Угадайте, что это такое? — спросила она с явным удовольствием.

Вадим сказал, что с его ботаническими познаниями гадать об этом было бы бесцельно.

— А вы наклонитесь и понюхайте.

Вадим послушно наклонился и понюхал. Несмотря на все старания, он не почувствовал ничего, кроме запаха сырой земли.

— Ну? — нетерпеливо спросила Оля.

— Хорошо пахнет,— сказал Вадим осторожно.— Вроде какого-то цветка...

— Цветка? Это же лимон! Лимоном пахнет! — воскликнула Оля.— У вас, наверное, насморк. Через пятнадцать лет из этого черенка будет настоящее лимонное дерево!

— Вот тогда, Дима, и понюхаешь,— сказал Андрей.— К тому времени, я думаю, у тебя насморк пройдет. Между прочим, и у меня насморк, и у отца насморк...

Оля посмотрела на брата с сожалением и вздохнула.

— Ладно, Андрюша. Лимонов ты не получишь, это решено. Ну — давайте обедать?

После обеда отдохнули полчаса и решили идти на лыжах. Вадим вышел в сад. Андрей принес две пары лыж, и, пока Оля переодевалась в доме, они походили по саду. Лыжи были хорошие, обхоженные, с металлическими креплениями. Вадим круто поворачивался, прыгал и перекидывал лыжи, с удовольствием чувствуя, как прочно зажаты креплениями ботинки.

Оля выбежала в большой мужской шапке из пыжика, синих лыжных штанах и сером свитере. Она стояла, гибко согнувшись в поясе, и прикручивала крепления. И когда она разогнулась, Вадим вдруг заметил, как стройно, упруго обтянуто ее тело свитером.

— Ну, скоро? Елка! — с нетерпением покрикивал Андрей, разъезжая по дорожке перед домом.

— Я готова,— сказала она, надевая варежки.

Выехали на шоссе и сразу за углом дачи свернули на лесную просеку. Был тот спокойный и светлый зимний день, когда солнца нет и оно не нужно — так дурманяще-бело от снега. Некоторое время с правой стороны просеки тянулись заборы, за которыми видны были безлюдные дачи с заколоченными ставнями и пышным слоем снега на крышах. Дорожки к дачным воротам тоже были завалены снегом. Потом заборы окончились, и с правой стороны открылось далекое поле с одинокими буграми, похожими на покрытые снегом стога сена, и черным гребешком леса на горизонте. А с левой стороны вплотную к дороге подступил сосновый бор. Андрей и Оля, поспорив немного, решили свернуть в бор.

— А здесь я вас покину,— сказал вдруг Андрей.— Мне надо в один дом отдыха зайти, отцу позвонить в Москву. Вы куда направитесь?

— Мы за реку, на Татарские холмы,— сказала Оля.

— Ладно, я вас догоню.

Он свернул в сторону и быстро исчез за деревьями.

— Теперь уж я пойду впереди,— сказала Оля, объезжая Вадима.— Во-первых, вы дороги не знаете, а во-вто-

рых, очень невежливо было с вашей стороны все время мне спину показывать.

— Я вам прокладывал лыжню,— сказал Вадим.

— Хорошо, а теперь я буду. И потом вы слишком медленно ходите.

— Ого! Может, устроим кросс?

— Догоняйте!

И она не оглядываясь быстро побежала вперед. Ее пыжиковая шапка-ушанка замелькала между стволами, как большая рыжая птица. Вадим пошел следом, не торопясь, рассчитывая догнать ее на первых двадцати метрах. Однако ему пришлось прибавить шагу, потому что Оля все удалялась. Наконец он побежал со всей скоростью, на которую был способен. Оля неожиданно сворачивала в стороны, вдруг пропадала за густой чащей молодого ельника, и Вадим угадывал ее только по треску сучьев да торопливому скрипу лыж. И все же он настиг ее. На лесной поляне он бросился ей наперерез, свистя по-разбойничьи что есть мочи. Она успела добежать до опушки и нырнуть под высокую развесистую ель. Он бежал сзади, держа обе палки в левой руке и готовясь правой схватить свою добычу. Но Оля вдруг ударила лыжной палкой по ветви, и на Вадима обрушился снеговой сугроб. Ослепленный, задохнувшись от неожиданности, он рванулся вперед и на ощупь поймал шерстяной свитер. Оля стояла, опираясь на палки, и хохотала.

— Вы настоящий дед-мороз! Отряхнитесь же!..

Вадим тяжело дышал и обмахивался шапкой. В волосы и за воротник его набился снег.

— А все-таки я вас поймал! — бормотал он смеясь.— Далеко не ушли!

— Но с каким трудом! С каким трудом! Ой, я не могу...— Она все еще хохотала, вытирая голым запястьем глаза.— Ломился по лесу, как медведь! Что вы за меня уцепились? Игра окончилась.

— И вы проиграли.

— Вовсе нет! Просто я не могла от смеха бежать.

Они пошли рядом.

— Оля, сколько вам лет?

Она важно подняла голову:

— Как говорят француженки: восемнадцать лет уже миновало.

— Так вы старушка! И давно?

— Что давно?

— Миновало.

— На это француженки не отвечают.

— А все-таки?

— А все-таки два месяца назад. Знаете что — идите вперед. А то вы спросите сейчас, где я учусь, какие у меня отметки. Идите, идите!

Вадим пошел впереди, и Оля командовала им сзади, указывая направление. Вскоре, однако, она сама разговорилась и рассказала, что учится в сельскохозяйственном техникуме и мечтает посвятить себя лесному делу.

— Вот кончу техникум — и уеду куда-нибудь далеко-далеко, в самую глушь,— говорила она.— В Сибирь или на Урал, в какое-нибудь лесничество или заповедник. Поработаю года три, а потом поеду в Ленинград, в Лесной институт, или в Москву, в Лесотехнический. А вам нравится такая специальность — фитопатолог, лесной доктор?

— Нравится. Хотя человечий, конечно, поинтересней.

— Это как сказать. Не знаю...— Помолчав, Оля сказала задумчиво: — В нашей стране миллионы га лесов, а лесных врачей еще недостаточно. Вот в чем дело... Мне так хотелось в этом году на лесонасаждения! Там сейчас самая ответственная работа. Ну, на мою долю еще останется, верно?

— Конечно. Вы успеете.

— Да. Я успею. А как интересно было в экспедиции! Я же ездила летом с экспедицией Академии наук в Воронежскую область. Жили мы на лесном кордоне, в дремучей-дремучей дубраве...

Они снова шли рядом, медленно передвигая лыжи, и Оля рассказывала об экспедиции. Впервые Оля так надолго уехала из дому, и эта поездка произвела на нее неизгладимое впечатление. Вадим почти не спрашивал ни о чем и только молча и с удовольствием слушал ее восторженные рассказы о том, как они жили в лесу, в палатках, и какие там были веселые студенты и интересные профессора, ботаники и зоологи, а в июне было много комаров, но потом они исчезли и появились грибы. Она столько там съела грибов, что теперь десять лет на них смотреть не сможет. И работа у них была очень ответственная: изучение микоризы дуба. Проблема микоризы сейчас наиважнейшая, потому что дуб — главная культура в лесонасаждениях. А по вечерам там

было полным-полно козодоев, они пищат, как цыплята, и страшно рассеянные...

— Ой, куда же мы зашли? Это Бездонка! — воскликнула вдруг Оля, останавливаясь.

— Какая Бездонка?

— Озеро. А нам надо было к реке.

Они стояли на опушке бора. Прямо перед ними расстилалось небольшое ровное поле — замерзшее озеро с высоким противоположным берегом, в котором бурыми пятнами темнел не покрытый снегом песок. Сухие стебли прибрежного тростника куце торчали из-под снега. По белой глади озера разгуливала ворона.

— Ну вот! — сказала Оля расстроенно.— Все я виновата. Целый час потеряли. Пойдем быстрее, а то Андрей уже на холмах, наверное, а мы здесь.

Начинало темнеть, когда они, пройдя полем и по льду через Москву-реку, добрались до Татарских холмов. На этой стороне реки лес был реже и одни сосны. Подножие холмов все было исчерчено лыжнями, но ни в лесу, ни здесь они не встретили ни одного человека.

— Вот Большая гора,— сказала Оля, показывая палкой на лысоватую вершинку, одиноко белевшую среди молодых сосен.— Мы так называли ее в детстве. Она казалась нам страшно высокой. А теперь, мне кажется, она состарилась, облысела, стала какой-то маленькой, приземистой... А вот сосны выросли — посмотрите какие!

Поднялись на гору. Андрея не было, и никто не отозвался на крик Вадима, только эхо внизу, в сосновой чаще, долго и с глупым усердием восклицало: «Эй!.. Эй!.. Эй!..»

— Ушел домой,— решила Оля.— Это все я виновата.

С горы был виден противоположный берег, тускло-белая полоса поля и дальше непроглядная, темная гряда леса, расплывчато-бесформенная в сумерках. На горизонте и в лесной черноте мигали редкие огоньки. Оля объясняла:

— Это заводской дом отдыха светится. Это огни Борского, а там дальше — село Троицкое.

На вершине горы было ветрено и откуда-то тянуло запахом горелой хвои.

Вадим первый съехал с трамплина. Здесь было два трамплина — один небольшой, с полметра, и второй

сразу метра на два. Он удивился тому, что не упал — ведь не съезжал с гор лет семь! Потом съехала Оля с визгом и ойканьем, но вполне благополучно, пожалуй, даже более благополучно, чем Вадим. Визжала она из озорства. Самое скучное было издалека возвращаться к горе и забираться наверх.

— Вас Елочкой прозвали, наверно, потому, что вы ловко елочкой ходите,— пошутил Вадим, глядя, как она проворно и быстро поднимается по склону.

После нескольких спусков, запыхавшиеся и разгоряченные, они отдыхали на вершине горы.

— Вы съезжаете лучше, чем Андрей,— сказала Оля, тяжело дыша. Она сняла с головы шапку и вытерла лоб.— Меня хоть выжимай... А с вами не страшно!

Она улыбнулась, глядя на Вадима блестящими глазами. Лицо ее от румянца было таким же темным, как свитер, и только дрожащими полосками белели заснеженные ресницы.

— А разве должно быть страшно? — спросил Вадим.

— Видите, как быстро темнеет!

— Ну и что ж?

— И ветер начинается...

В самом деле, начинался сильный ветер — зашумели сосны, и шум этот все усиливался, поднимаясь снизу и напоминая отдаленное гудение моторов. С сосен посыпались снежная пыль, сухая хвоя.

— Это к снегопаду,— сказала Оля, тревожно глядя в небо.— Едемте домой? Или нет?

Вадим сказал, что, пожалуй, все-таки домой. Когда они съехали с горы, темнота сгустилась внезапно и резко, и было непонятно, что это: так быстро, вдруг, подступила вечерняя мгла или огромная, незаметно подкравшаяся туча закрыла небо. Пошел снег. Оля бежала впереди, не оглядываясь, самым быстрым своим шагом. На поле перед рекой их настиг снегопад. Все вокруг заволокло густой пеленой падающего снега. Он падал так густо, обильно и тяжело, что казалось, это падение сопровождалось глухим поднебесным шумом. Берег скрылся из глаз, старая лыжня исчезла...

Вадим почти не различал Олю в темноте и только слышал скрип ее лыж и мягкие удары палок. Они не успели дойти до реки, как началась вьюга — ветер ударил в лицо, опаляя снегом, выхватывая дыхание. Вокруг была плотно крутящаяся снеговая тьма без проблеска.

— Оля! Стойте! — крикнул Вадим и сразу захлеб-

нулся снежным ветром. Он услышал растерянный Олин голос:

— Я не вижу дороги...

Она остановилась, и он чуть не упал, наехав на нее своими лыжами.

— Идите за мной! — крикнул он.— Я пойду впереди!

— Где река?

— Вы можете идти?

— Я могу. Только у меня крепление раскрепилось...

Он присел у ее ног и долго, непослушными пальцами перекручивал вслепую ремни, затвердевшие, как дерево. Пальцы его окоченели, и он растирал их снегом. «Только бы дойти до леса!» — думал Вадим, уже не на шутку встревоженный. Он боялся за Олю, которая могла ослабеть, упасть в снег, могла простудиться и заболеть, представлял себе волнение Андрея и их отца и мысленно проклинал себя за то, что вовремя не заставил Олю идти домой.

Надо было пройти через реку в лес. Но где река? Вадим пошел вперед по догадке. Лыжи еле двигались, вязли в снегу, и ему казалось, что пешком он двигался бы скорее. Через каждые десять шагов он оборачивался и поджидал Олю. Она шла все медленнее и наконец остановилась.

— Мы заблудились,— она вдруг тихо рассмеялась.— Вы, наверное, не рады, что к нам приехали?

Почему-то он не мог вымолвить ни слова и только кивал.

— А я рада...— прошептала она и подняла голову.— Ну, идемте! Долго стоять нельзя.

Вероятно, они кружились на одном месте. Ни леса, ни берега — все поле и поле кругом. Прошло полчаса или час, а вьюга не прекращалась. Вдруг они явственно услышали шум сосен. Ветер стал тише. Через несколько минут Вадим уткнулся лыжами в ствол дерева. Значит, они прошли через реку! Теперь надо было просто идти по опушке. Рано или поздно они выйдут на лесную просеку.

Оба измучились вконец и почти не разговаривали. Оля останавливалась все чаще. И вдруг она села в снег под деревом и сказала, что здесь ей хорошо и дальше она не пойдет. Она прислонилась спиной к стволу и подогнула колени. Вадим уговаривал ее встать, потом схватил за руки и грубо, рывком поднял. Он держал

ее крепко, потому что она качалась и голова ее с закрытыми глазами откинулась назад.

— Оля, милая, надо идти! Нельзя! — говорил он испуганно.— Идемте, ну?!

На лицо ее падал снег.

— Мне хорошо,— сказала она, покачав головой.— Не хочу...

— Вы должны идти! Держитесь! — Он сильно встряхнул ее за плечи.

— Да, я должна, должна... я должна...— шептала она, отталкивая его слабой рукой, и выпрямилась.— Пустите меня. Я пойду...

Они прошли несколько шагов по лесу и вдруг увидели огонь. Далеко впереди, за толщей темноты и снега, он кружился и мигал, как странный зимний светляк. «Почему он кружится? — думал Вадим, напряженно вглядываясь в светящуюся точку.— Это от усталости, изменили глаза... Вероятно, фонарь на угловой даче, на просеке. Раскачивается от ветра».

Однако фонарь приближался. Рядом с ним заморгал второй. Оля схватила Вадима за руку:

— Ой, мне кажется...

— Что?

— Подождите!..— Оля сжала его пальцы неожиданно сильно.— Папка! Андрей! — позвала она негромко.

Из темноты дружно отозвались два мужских голоса. Первым подъехал на лыжах старший Сырых. Вадим разглядел высокую фигуру в полушубке и темный, обсыпанный снегом ком бороды. Фонарь поднялся и осветил Вадима и Олю.

— Хороши-и...— проговорил Сырых спокойным басом.— Медведь с медведицей. Ты что, Ольга, умом тронулась?

— А что?

— Как что? Человек из Москвы приехал погулять, отдохнуть, а ты его ночь-ночинскую по лесу гоняешь! И не стыдно?

— Мы заблудились в снегопаде,— сказал Вадим.— Оля тут ни при чем, что вы! Она очень устала...

Подъехал Андрей и тоже поднял фонарь.

— Ты не защищай ее,— сказал он сердито.— Это все фокусы. Она весь лес с закрытыми глазами пройдет. Мы-то знаем!

Оля молчала, потупясь, и стряхивала варежкой снег со свитера.

— Ты знаешь, где вы находитесь? — спросил Сырых.

— Знаю,— сказала Оля тихо,— в Троицком лесу.

— Это ж додуматься надо! В Троицкий лес завела, от дома шесть километров! Зачем ты эти представления делаешь? А, Ольга?

Оля вздохнула и, подняв голову, проговорила неуверенно:

— Я хотела когда-нибудь заблудиться. А у меня одной никак не получалось. Вот...

— Ну и что?

— Ну, Вадим вот заблудился... и я как будто...

— Выпороть тебя надо как будто,— сказал Сырых.— Взрослая девица, студентка, а все шкода на уме!

— Нет, это просто глупо! Глупо от начала до конца! — возмущался Андрей.— Ко мне приехал товарищ, а она... Да черт знает, у тебя есть вообще мозги, Елка? Вадим, ты извини меня. Конечно, я виноват, что пустил тебя с ней одного...

Вадим взял Андрея под руку, собираясь что-то ответить ему, и вдруг расхохотался. Такими забавными показались ему в эту минуту и его недавние страхи, и этот суровый разговор при фонарях, и злой, непохожий на себя Андрей, и Оля, смущенно ковырявшая снег лыжной палкой.

— Андрюшка, а ты, оказывается, умеешь злиться! — сказал он весело.— У тебя очки прыгают. Держи, держи, упадут!

— Скользят, переносица мокрая...— пробормотал Андрей, поправляя очки.— Я же хотел почитать тебе новую работу, поговорить нам надо, да вообще...

— Успеем, Андрюша. Сколько еще времени впереди! А вино вы нам с Олей оставили?

— Да, вино! — воскликнула Оля.— Мы с Вадимом так замерзли, проголодались, а вы даже не пожалеете. Как не стыдно!

В комнате жара. Тонкие плети традесканции, подвешенной высоко к потолку, тихо и непрерывно покачиваются. Вадим вытирает лоб платком и обмахивает им лицо. От жары сладко и необоримо кружится голова и глаза слипаются.

— ...Теперь вся работа в обществе должна пойти по-иному,— говорит Андрей, сидя на табурете.— Ведь почему было так скучно при Козельском? Да потому,

что он устраивал из заседаний общества какие-то дополнительные лекции. И опять мы должны были покорно выслушивать...

«Зачем он говорит об этом? — напряженно думает Вадим.— Смешной... все-таки он смешной. Надо спать, а не говорить. Или говорить о чем-то другом...»

Оля входит с охапкой одеял и простынь. Она в старенькои домашнем платье, из которого давно выросла. Платье такое короткое, что видны голые загорелые колени, и ей неловко нагибаться.

— Вот,— она бросает всю охапку на диван.— Это ваша постель. А это подушка, только смените наволочку.

Она стоит и смотрит, как Вадим возится с наволочкой. Лицо ее очень розовое, словно она долго сидела перед печкой, и глаза немного блестят.

— Ничего вы не умеете! Разве так надевают? — говорит она и берет из его рук подушку.— Выверните наволочку наизнанку.

Он послушно выворачивает наволочку наизнанку.

— Теперь просуньте руки внутрь... ну, внутрь! Вот так. И схватитесь за углы.

Молча глядя на нее, он ухватывает углы и замирает, ожидая следующей команды.

— Теперь возьмитесь за углы наперника!

Он не знает, что такое наперник. Да это же чехол, куда набивается перо! На-пер-ник — неужели он не понимает? Ах, он такой же, не от мира сего, как Андрей!

Да, еще сегодня утром этого нельзя было сказать о нем, а сейчас он, кажется, и вправду не от мира сего. Она говорит строго и повелительно, но глаза ее улыбаются.

— Ну, взялись? Или еще нет? — Она держит перед ним подушку. Тонкие, обнаженные до локтей руки ее пахнут сладко и нежно, каким-то душистым мылом.— Что вы уставились на меня? Держите, ну вот. А теперь надевайте. Почему вы таких простых вещей не умеете делать?

— Оленька, я все умею делать,— говорит Вадим улыбаясь.— Я же в армии был. А мне просто приятно слушать, как вы командуете.

— А! В таком случае — спокойной ночи!

— Спокойной ночи,— ворчит Андрей.— По твоей милости она не очень-то спокойна. В третьем часу ложимся...

— Ворчун! Кофейная мельница! — Она показывает брату язык и убегает, хлопнув дверью.

Свет гаснет. За окном тоже темно — ни луны, ни огней. С легким шорохом падает с крыши снег. Наверху, кажется в мезонине, кто-то как будто ходит осторожно, на цыпочках — но это тоже снег. Ветром обдувает крышу. Спать осталось пять часов. Ровно в семь они выйдут из ворот, будет еще темно, как ночью, безлюдно, и на шоссе будут гореть фонари. Первая лекция Ивана Антоновича, опаздывать нельзя.

ГЛАВА 22

Литературный кружок на заводе было поручено вести Андрею Сырых и Вадиму. После каникул состоялось уже два занятия, которые провел Андрей. Вадим присутствовал на обоих, а следующее занятие должен был проводить сам.

По правде сказать, Вадим сильно волновался. То, что ему предстояло, вовсе не было похоже на педагогическую практику в школе, с которой Вадим уже познакомился. Здесь, в заводском кружке, у него будут слушатели неодинакового возраста и развития, люди, отвыкшие от регулярной учебы и записавшиеся в кружок из разных побуждений. Одних могли интересовать стихи, других — военные повести, третьи сами занимались сочинительством, а четвертым просто было любопытно — что это за кружок и чем там будут заниматься?

С некоторой завистью думал Вадим о том, что Андрею легче было начинать, а теперь ему и вовсе легко. Он и раньше знал завод, у него много приятелей среди рабочих. Как спокойно, непринужденно он держится с ними! Разговаривая или читая, свободно прохаживается по комнате, сам себя перебивает неожиданным вопросом, шуткой... Может быть, единственное, что немного стесняло Андрея в первые минуты,— это было его, Вадима, присутствие. А потом и это прошло. И когда кто-то задал вопрос, на который Андрей не смог ответить сразу, он очень просто, без всякого смущения спросил:

— Дим, а ты не помнишь? Я что-то забыл...

И Вадим, покраснев от неожиданности и чувствуя на себе два десятка любопытных глаз, поднялся и ответил.

Свое занятие Вадим решил посвятить Маяковскому. Три дня он готовился — так тщательно, кропотливо, точно к докладу в научном обществе. Пересмотрел гору книг о Маяковском и написал весь текст лекции на бумаге. Он все время старался выбирать простые, понятные слова, не слишком вдаваться в теорию и делал главный упор на биографию Маяковского, на веселые рассказы о его блестящих, остроумных выступлениях, молниеносных ответах. «Это уж,— решил он,— любая аудитория должна принять хорошо».

И вот наступил день занятия. В небольшом читальном зале разместилось человек двадцать кружковцев, а у стола посредине зала, под яркой лампой, стоял Вадим. Он читал свой доклад, почти не видя слушателей,— не мог заставить себя даже изредка отрывать глаза от бумаги.

Чем дольше Вадим читал, тем отчетливей начинал он понимать, что первое занятие не удалось. Да что не удалось — провалилось... Доклад получился настолько вялый, примитивный, что Вадим, читая его, ужасался: как мог он так написать?! Все эти «простые и понятные» фразы и обороты, которые он так долго, старательно сочинял, теперь казались ему главным злом: именно они-то создавали впечатление серой, унылой примитивности. Ему самому теперь противно было читать их. Он пытался что-то выбрасывать на ходу, что-то сказать иначе, но много ли мог он изменить? Нет, конечно: еще и потому, что от сознания неудачи он растерялся, стал ненаходчив и боялся отступить от написанного, чтобы не нагородить и вовсе чепухи.

И он читал и читал, воткнувшись глазами в бумагу, и голос его становился все более монотонным, все более скучным, бубнящим...

Его слушали будто бы внимательно. Было очень тихо. Но Вадим чувствовал, что причиной этого безмолвия, этой глубокой тишины, обступившей его со всех сторон, была всего-навсего вежливость. Нет, его слушали не внимательно,— его слушали вежливо.

Он надеялся еще, что дело немного поправится веселыми рассказами о выступлениях Маяковского. Все эти едкие эпиграммы, мгновенные разящие каламбуры, остроты, анекдоты он припас под конец своего доклада. Приступая к ним, он подумал почти отчаянно, со злостью: «Если уж это не поможет, тогда — конец, безнадежный провал».

И он начал рассказывать. По-прежнему было тихо вокруг. Потом стало чуть оживленней: задвигались, зашептались, кто-то раза два усмехнулся, кто-то покашлял, снова — чей-то жидкий, точно неуверенный смешок... И — все Вадим, уже обозленный, подумал с возмущением: «Что ж они — разучились смеяться, юмора не понимают? Если это не дошло, чем же тогда их проймешь?» Он невольно поднял глаза — и впервые увидел лица своих слушателей: спокойные, вежливо улыбающиеся... Внезапно он понял: они вовсе не разучились смеяться, но то, что он рассказывал сейчас, просто-напросто им давно известно. Они уже смеялись над этим когда-то, в свое время, может быть в одно время с ним, Вадимом.

Пораженный этой догадкой, совсем растерявшийся, Вадим торопливо, кое-как закончил доклад и объявил перерыв.

Все встали разом, шумно и как будто с облегчением. А Вадим сел на стул, закурил. К нему подошла его старая знакомая — диспетчер Муся.

— Вадим Петрович, вы ужасно серьезный сегодня,— сказала она, глядя на него смеющимися глазами.— Я вас не узнаю.

Вадиму послышалась в ее словах насмешка и, кроме того, показалось, что она кокетничает, демонстрирует перед всеми свое знакомство с ним. Он сказал суховато:

— Я пришел, Муся, заниматься, а не на вечер танцев. У вас есть какие-нибудь вопросы?

— У меня? Больше нет...— Муся растерянно покачала головой и отошла. А он сейчас же понял, что ответил неумно и что после этого убожества под названием «доклад» любая деловитость и строгость должны выглядеть очень неуместно, смешно. Каждый раз потом он вспоминал об этом разговоре с Мусей со стыдом.

И вообще он наделал много глупостей в первый день. Например, во время доклада один из слушателей — полный мужчина в синей спецовке и с галстуком, вероятно техник или конструктор,— вытащил портсигар, обстучал папиросу и солидным басом спросил: «Курить позволительно?» Поколебавшись секунду, Вадим ответил: «Нет. Курить будем в перерыве». Для чего он это сказал? Так, что называется, «для пущей важности». А на кой черт эта важность, если самое главное — доклад получился негодный!..

К столу Вадима подошел невысокий, густобровый юноша с решительно насупленным, смуглым лицом. Он оперся о стол руками, очень крупными, жилистыми, с отогнутым назад сплющенным большим пальцем — такие руки могли быть у пожилого слесаря — и сказал, медленно и твердо выговаривая слова:

— У меня есть вопрос, Вадим Петрович. Кто из современных поэтов, по вашему мнению, продолжает линию Маяковского?

— Да никто! — вдруг отозвался резкий и тонкий, почти мальчишеский голос. У стола появился лобастый, сильно веснушчатый юноша лет восемнадцати — Валя Батукин, заводской поэт, с которым Вадим уже познакомился на занятиях Андрея.

— Неверно,— сказал Вадим.— Вся советская поэзия идет в общем по тому пути, по которому шел Маяковский.

— Ха! Тара-тина, тара-тина, тэнн! — Батукин воинственно рассмеялся.— Поэзия, конечно, идет! А поэты — «каждый хитр!» — опять сохой пашут...

— Что значит: сохой пашут? — спросил чей-то третий голос.

— А вот и значит, что не хотят у Маяковского учиться. Опять «стихами льют из лейки».

— А «Флаг над сельсоветом», по-твоему, тоже стихами из лейки? — сказала Муся возмущенно.

— Я, между прочим, еще не читал...

— А что ты вообще читал?

— Да Валек ведь только свои произведения читает! — сказал кто-то, и все засмеялись.

— Мало что... Читал меньше, да понимаю больше!

— Нет, вы не правы, Батукин! — сказал Вадим, вставая. Он почувствовал неожиданную уверенность и прилив энергии, как всегда перед началом спора.— Маяковский ворвался в поэзию с новыми идеями, темами, с новым, революционным содержанием. Вот линия Маяковского... В общем, садитесь, товарищи! Перерыв кончился! Будем говорить по порядку.

Но порядок удалось установить не сразу. Да Вадим и не старался особенно это делать. Этот внезапный спор, родившийся в перерыве, уже увлек его, стремительно вывел из состояния унылой растерянности.

Крикливым, мальчишеским голосом говорил Батукин, с ним спорил тот самый густобровый коренастый слесарь — его фамилия была Балашов; выступали один

за другим взрослые рабочие, молодые ребята, девушки, читали стихи на память, говорили азартно, наперебой. И сам Вадим перебивал их и тоже читал стихи — кажется, впервые в жизни читал наизусть перед большой аудиторией. Он забыл обо всем: о своем смущении, о той нарочитой строгости, которую он напустил на себя в первый час, и о злополучном докладе. Он спорил, он доказывал свою точку зрения упрямо и яростно, как он привык это делать в кругу товарищей, в институтских коридорах, в научном обществе.

И он уже не сидел за столом, а, совсем как Андрей, расхаживал большими шагами по залу и курил папиросу за папиросой. В какое-то мгновение, оценив вдруг весь свой сегодняшний день, Вадим понял, что неудача с докладом произошла оттого, что он просто неверно представлял себе своих слушателей. Люди, сидевшие перед ним,— резьбошлифовщики, техники, шоферы, экспедиторы, такелажники, слесари — читали те же книги, что и он, жили теми же интересами, были записаны наверняка в те же библиотеки — в Ленинскую и в Историческую; он встречался с ними в музеях и на выставках, сидел с ними рядом в театрах. Многие из них учились в школах рабочей молодежи, а некоторые, вероятно, были такими же студентами, как и он,— учились в вечерних институтах. И теперь, когда он познакомился с ними — пусть ценой неудачи, испытав несколько горьких, неприятных минут,— теперь он чувствовал себя легко, и просто, и радостно...

Вадим предложил желающим прочитать свои стихи и рассказы, кто что хочет. Батукин вызвался первый. Он держался очень свободно, не смущаясь, и громко, чеканно выговаривал слова. Стихи были юношеские, наивные. Одно стихотворение называлось «Мой цех» и начиналось так:

Здесь электрические дрели
Поют лирические трели
И пневмомолот
Вечно молод,
Весь день грохочет и стучит...

Слушали Батукина серьезно, внимательно. Потом начали обсуждение.

— Я люблю читать стихи, когда мне грустно,— сказала одна из девушек,— потому что, если грустные стихи, сразу все понятно, а если веселые — тогда развеселишься. А у Валентина ни грустные, ни веселые. Как

считалки: все под рифму, а смысла нет. По-моему, надо писать стихи со смыслом.

— По-моему, тоже! — сказал Батукин вызывающе.— А если не поняла смысла, не надо говорить, что его нет.

— А какой же у тебя смысл?

— Какой! Да вот...— он неопределенно развел руками,— цех, вообще... описание.

Вадим остановил его:

— Подождите, Батукин. Вы после скажете.

Поднялся суровый слесарь Балашов и сказал решительно:

— Валентин Батукин парень способный, это видно. Но пока еще он дает не стихи, а брак. Рифмы есть, а мыслей маловато. И чепухи много. Что это за цех, спрашивается, где и дрели и пневмомолоты? Нет у нас такого цеха. И разве дрели поют. И почему пневмомолот «вечно молод»?

— Ты к словам не придирайся,— сказал Батукин, покраснев.— Критиковать все умеют, а ты попробуй напиши.

— Я и не собираюсь писать. А стихов я много читал и кое-что понимаю.

— В зубиле ты понимаешь...

— Да, в зубиле я понимаю! — вдруг резко сказал Балашов.— А ты, поэт великий, опять норму не даешь! Прошлую неделю было выправился, а теперь снова здорово?

— А я, может, в многотиражку пойду работать, если хочешь знать...— проворчал Батукин.

Он смотрел на Вадима упорно, исподлобья, с напряженным ожиданием и, вероятно, с надеждой, и Вадим понял, что ему нельзя сейчас целиком поддерживать резкую критику Балашова, как бы ни была она справедлива. Надо было найти какие-то другие, настоящие слова, чтобы и правду сказать и одновременно ободрить юного поэта.

— Написать хорошее стихотворение очень трудно,— помолчав, медленно начал Вадим.— Это удается не сразу даже способным, талантливым людям. Ваши товарищи правильно заметили: не может быть в поэзии «цеха вообще» и «описания вообще». В поэзии все должно быть точно. И главное в ней — это не звонкая рифма, а интересная, глубокая мысль. А уж мысль приведет рифму. Но я вам говорю,— и Вадим вдруг встал и даже

ударил ладонью по столу,— что Батукин будет писать стихи! И настоящие стихи! Смотрите, как он хорошо сказал о молодом пареньке слесаре в стихотворении «Ночная смена»...— И Вадим прочитал на память одно четверостишие.

— Да-а, здорово!..— сказал кто-то словно с удивлением.

— С этим я не спорю,— сказал Балашов.

И все, заулыбавшись, посмотрели на Батукина, который покраснел смущенно и радостно и, пытаясь скрыть улыбку, низко опустил голову. А Вадим подумал с гордостью, что он одержал только что маленькую педагогическую победу.

Было уже поздно, и Вадим предложил закончить занятие. Несколько человек поднялись и ушли, но остальные пожелали послушать еще одного автора. Это был электротехник из цеха термообработки Шамаров — молодой человек с фигурой тяжелоатлета. У него было румяное, приветливое лицо и такие светлые волосы, что при электрическом свете казались совсем белыми. Он читал свой рассказ — единственный написанный им в жизни. Рассказ был на военную тему, очень короткий, простой и скорее походил на фронтовой очерк. Два товарища разведчика посланы в тыл к немцам за «языком». Они захватывают немецкого офицера, отбиваются от погони и доставляют «языка» в свою часть. По дороге они переплывают реку. Немец дважды пытается утонуть, но они «спасают» его, выволакивают на берег, делают ему искусственное дыхание и приводят в чувство. Задание выполнено. Конец. Рассказ так и назывался: «Задание».

— Это взято из жизни? — спросил Вадим.

— Можно сказать, да,— кивнул Шамаров. Он говорил тихо и невнятно и все время, пока читал, вытирал лоб и щеки платком. Он сразу понравился Вадиму и его немудрящий, написанный без всякой претензии рассказ — тоже.

Неожиданно чей-то голос из задних рядов сказал:

— Семен, ты же не так рассказывал...

— А как? — спросил Вадим.

— То одно, и это одно...— пробормотал Шамаров, нахмурившись.

— Нет, нам интересно: а как же было на самом деле? Или вы не хотите рассказывать?

— Да что рассказывать...— Шамаров вздохнул и за-

говорил после паузы еще глуше и невнятней.— Поплыли мы через реку, а по нас стрельбу открыли. Еще и ракету над рекой повесили. И вот Николай, дружок мой, говорит: бросай, мол, фрица, ныряй в разные стороны. Конечно, с ним, чертом, ни нырнуть, ни плыть быстро невозможно... да... А я говорю: плывем, мол, дальше. А он испугался, однако, и откачнулся в сторону, тут его и подшибли. «Тону, кричит, спасай!» А как тут его спасать! На мне этот гад в пять пудов, еле волоку, а бросить права не имею... да... А дальше уж, как написано.

— А Николай...— ахнула Муся,— утонул?

— Утонул,— сказал Шамаров, посмотрев на нее. Помолчав, он сказал: — Разве можно это писать? Хотя командир наш, гвардии майор Ершов, сказал, что я правильно сделал. А все равно так не опишешь...

— А мне кажется, надо было именно так писать, как было в жизни,— сказал Вадим с волнением.— Был бы замечательный рассказ о воинском долге! Ведь он же струсил, бросил вас?

— Струсишь тут... Не то что струсишь, ума лишиться можно. Когда тебя, как утку, подстрелить норовят, а у тебя обороны никакой. Тут не то что... тут... понятное дело.

— Но вы же не струсили!

— А как же? И я струсил. Это, конечно, описать нельзя, как в жизни. А было жутко! И светло, главное, никуда не спрячешься. Да что говорить!.. Мы как братья с ним, два года...

Он умолк, резко опустив голову, и все на минуту замолчали. Разговор так внезапно вышел за рамки литературного обсуждения, что Вадим растерялся и не знал, что ему надо говорить.

— Ты его переделай, Семен, как советуют,— сказал Балашов.

Шамаров покачал головой:

— Нет, не стану переделывать.— И добавил тихо и твердо: — Что хотелось, то и написал.

И Вадим понял, что убеждать Шамарова переделывать рассказ бесцельно, да и не нужно. Перед ним был человек, который вовсе не собирался быть писателем. Он написал о том, что могло бы быть и как ему хотелось, чтоб было.

— А вообще вы собираетесь писать? Учиться этому? — спросил Вадим.

— Учиться? — Шамаров недоверчиво усмехнулся.—

Это изолятор поставить — научишься, а книги писать разве научишься? Тут учись не учись, а все равно гений нужен. Гений или талант, что-нибудь одно. Вот Максимов, возьмите,— он кивнул на одного из парней,— любую вещь вам нарисует, а меня хоть сейчас убей, я и собаки не нарисую...

Когда занятие кончилось,— было уже около одиннадцати,— к Вадиму подошел Балашов и поблагодарил от лица всех кружковцев. Вадима окружили, спрашивали, кто проведет занятие в следующий раз и о чем будет лекция. Вадим был взволнован: он чувствовал, что сегодняшнее занятие в общем всем понравилось, несмотря на такое неудачное начало. И ему захотелось сказать, что следующий доклад он наверняка сделает лучше, намного интересней, гораздо интересней.

— Доклад у меня, конечно, вышел не блестящий,— сказал он, улыбнувшись смущенно.— Ну... короче говоря, первый блин комом. В следующий раз, я думаю, лучше будет.

Ребята, окружившие его, заговорили хором, улыбаясь сочувственно и понимающе:

— Да что вы, Вадим Петрович!

— Понятное дело...

— Все нормально, чего там!..

— Конечно...

— Ну, пусть будет по-вашему! — сказал Вадим и рассмеялся облегченно, весело.— Это я так, про себя подумал.

На улицу вышли большой группой, но пока Вадим дошел до метро, у него остался только один попутчик — самый юный член литературного кружка, Игорь Сотников. Он молча и независимо шагал рядом с Вадимом и долго не решался вступить в разговор.

Вадим заговорил сам и узнал, что Игорю скоро будет шестнадцать лет, что два месяца назад он окончил ремесленное училище и теперь работает фрезеровщиком и учится в восьмом классе вечерней школы. Кроме того, Вадим узнал, что Игорь больше всего любит читать научную фантастику и особенно понравился ему роман Уэллса «Машина времени».

— Знаете, я прочел ее и всю ночь спать не мог,— сказал Игорь, оживившись.— Вот бы построить такую машину! Сила!

— А что бы ты сделал с такой машиной? — спросил Вадим.

— Я бы, знаете, поехал сначала недалеко. Лет на пять вперед.

— Что ж, желание скромное.

— Да, скромное, но очень меня интересует,— сказал Игорь серьезно.— Мы за городом живем, по Павелецкой дороге. И вот я слышал доклад, какой наш поселок станет через пять лет. Во-первых, это будет уже город. Во-вторых, у нас построят новый театр, два кинотеатра, стадион на восемь тысяч мест. Новый мост еще. Ну там скверы, деревья — это я уж не считаю. Меня, главное, стадион интересует. Вот, а потом...— Он вздохнул.— А потом я бы в коммунизм поехал!

— Ну, если б ты попал в коммунизм, ты бы, наверно, оттуда и не вернулся? А? — спросил Вадим, улыбнувшись.

— Что вы! — Он засмеялся.— Обязательно вернулся бы. У меня же тут мать и сестра при социализме. И все ребята...

Они уже спустились по эскалатору и шли вдоль перрона подземной станции. Как всегда, в этот вечерний час людей было немного: волна москвичей, возвращавшихся с работы, прокатилась здесь несколько часов назад, а из театров, из концертных залов люди еще не вышли. Редкие пассажиры прогуливались в ожидании поезда по просторному, зеркально блестящему залу, сидели на мраморных скамейках. Аккуратная красивая девушка в красной форменной фуражке медленно, точно отдыхая, шла по самой кромке перрона и внимательно разглядывала свои новые туфли.

— Конечно, Герберт Уэллс был талантливый, выдающийся писатель,— сказал Вадим.— Но, между прочим, на его «Машине времени» ты бы не очень далеко уехал. И скорее назад, чем вперед. Он пытался заглянуть в будущее на много сотен лет вперед, а на самом деле не видел даже того, что через десять лет будет. Он, например, не верил, что мы сможем построить метро. Говорил, что для нас, большевиков, это неисполнимая, фантастическая затея. А мы построили. И даже при его жизни.

— А он не верил? — спросил Игорь изумленно и с некоторым разочарованием.— Вот это да... Мне, между прочим, тоже все время казалось, что этот изобретатель уехал на своей машине не вперед, а назад. Ведь он должен был приехать в коммунизм, а попал в какую-то древнюю Грецию, даже еще хуже...

Полтора года назад, когда Рая Волкова была агитатором во время выборной кампании, она подружилась с одной из своих избирательниц — Валей Грузиновой, тоже студенткой и своей ровесницей.

В прошлом году Валя окончила медицинский институт и теперь работала в клинике. Это была тихая, серьезная девушка, очень начитанная, хорошо знавшая театр, музыку. Рая встречалась с ней не часто, но эти встречи всегда были необычны. Они вдвоем совершали дальние загородные прогулки — в Архангельское или в Мураново, бродили по весенним полям или, глубокой осенью, по сырым, мягким от опавшей листвы лесным тропинкам. Иногда зимой Валя вдруг предлагала: «Поедем на Воробьевку, посмотрим на ночную Москву». И они садились в троллейбус, долго ехали, вылезали на пустынном шоссе у темной вышки воробьевского трамплина и смотрели на море огней внизу, беспокойное, зыблющееся, огромное... Говорили они о многом, о разном, больше всего — о людях. Им никогда не бывало скучно друг с другом.

Часто Рая уговаривала свою подругу прийти на вечер в педагогический институт, но Валя никогда почему-то не соглашалась. Всегда у нее находились неожиданные отговорки, и Рая наконец примирилась с тем, что вытащить Валю на вечер в свой институт невозможно, и относила это за счет ее застенчивости и боязни незнакомых, многолюдных компаний.

Вскоре по возвращении из лыжного похода Рая пошла к Грузиновым. Она обещала Вале прийти сразу после приезда и подробно обо всем рассказать. Грузиновы жили в двух смежных комнатах большой коммунальной квартиры. Отец Вали работал мастером на табачной фабрике «Дукат», мать — техническим контролером на той же фабрике.

Раю встретила мать Вали, Анна Карловна, плотная, коренастая женщина с мохнатыми мужскими бровями. Она как-то странно всполошилась, прикрыла дверь и крикнула, немного шепелявя, с латышским акцентом: «Валентина, к тебе гости пришли!», потом снова распахнула дверь и пригласила Раю зайти. Из другой комнаты доносился громкий, возбужденный разговор. Мужской голос почти кричал:

— Ишь, негодяй! Я еще доберусь до него, вот увидишь!

И взволнованный, дрожащий голос Вали:

— Отец, молчи! Это все ни к чему...

— Ишь, научился! Негодяй какой...— еще раз гневно крикнул мужчина, закашлялся, умолк.

Быстрыми шагами Валя вошла в комнату. Она была бледна, ее близорукие глаза смотрели растерянно.

— Что с тобой? — испуганно спросила Рая, беря ее за руки.

— Со мной? Ничего, переутомление. Пустяки...— Валя потрясла головой и улыбнулась через силу.— А ты прямо красавица! Цветущая, краснощекая... Это ты в походе так поправилась?

— Да, было чудесно. А тебя просто не узнать...

— Ну хорошо, после... Так ты приехала? Ну, рассказывай, рассказывай, Раечка! Интересно было?

Рая рассказывала долго, но без увлечения, чувствуя, что пришла некстати и удерживают ее только из вежливости. А Валя слушала почти безучастно, механически переспрашивала, механически возмущалась, когда Рая хотела уйти: «Что ты! Я же слушаю, мне интересно!»

Рая с тревогой чувствовала, что у подруги какое-то горе. Может быть, Валя и хотела бы поделиться с нею, но, видимо, не решалась начать, что-то стесняло ее. А самой спрашивать было неловко, и к тому же в комнате неотступно и как бы настороже присутствовала молчаливая Анна Карловна.

Уже в коридоре, прощаясь, Рая сказала:

— Валюша, приходи на той неделе на наш курсовой вечер! Хотя ты все равно не придешь...

— А что у вас будет? — спросила Валя.

— Будет очень интересно. Один наш студент, Сергей Палавин, написал повесть. Он будет читать ее всем нашим, на курсе. Ну, приди хоть разок! Увидишь Петю, ребят...

— Я, может быть, приду,— вдруг сказала Валя.

— Придешь? Вот умница! — воскликнула Рая обрадованно и обняла подругу.— Наконец-то она снизошла! Вот увидишь, тебе понравится.

— Палавин — это, кажется, ваш персональный стипендиат? — спросила Валя.

— Да, и вообще остроумный парень. Нет, вечер должен быть интересным! Много выступающих, познакомлю тебя с Петей...

— А Палавин — ваша гордость, да? Светило?

— Да что ты меня выпытываешь? — рассмеялась

Рая.— Я тебе говорю, что будет интересно. Ты мне веришь? Вот, я тебе обещаю.

Валя как-то быстро, напряженно взглянула на Раю.

— Да потому что... Ты слышала, как отец кричал за стеной? Все эти слова относились к Палавину.

— К кому? К Сережке Палавину?..

— Сейчас я ничего тебе не скажу. После, после,— торопливо заговорила Валя.— Я не знаю, приду ли я на ваш вечер. Я тебя хочу попросить: ты знаешь Вадима Белова?

— Знаю, конечно.

— Попроси его прийти ко мне. Только не сюда, а в клинику. Он знает, где это. Пусть сначала позвонит. Хорошо?

— Хорошо,— кивнула Рая.— А все же...

— Раюша! — Валя взяла ее за плечи и покачала головой.— Сейчас я ничего не скажу. Я должна поговорить с Вадимом, и после этого ты все узнаешь. Ей-богу, ничего интересного. Так...— она устало усмехнулась,— житейская история. Ну, до свиданья!

— До свиданья,— тихо сказала Рая.

На следующий день Рая еще до лекции встретила Вадима в вестибюле и спросила у него, знает ли он такую Валю Грузинову? Вадим знал такую.

— Она просила тебя позвонить и зайти к ней на работу,— сказала Рая.— Причем как можно скорее.

Этого, правда, Валя не просила передать, и Рая добавила последнюю фразу от себя. Ей казалось, что вмешательство Вадима каким-то образом должно помочь Вале, и чем скорее, тем вернее.

— Хорошо, я позвоню,— сказал Вадим, удивившись.— А зачем, ты не знаешь?

— Я не знаю. Что-то... как будто с Палавиным... Ты не в курсе?

Вадим пожал плечами. Рая начала было рассказывать:

— Ты понимаешь. Я познакомилась с Валентиной...— Но вдруг оборвала и, сказав быстро: — Одним словом, непременно звони ей! — отошла в сторону.

Рядом с Вадимом вдруг появился Палавин. У него был вид человека, чем-то глубоко озабоченного или дурно спавшего.

— Здорово, Вадим. Что это она хвостом вильнула? — Он хмуро посмотрел вслед Рае.— Обо мне что-нибудь?

Он обладал странным чутьем, странной догадливостью на этот счет. Иногда в большом зале Вадим тихо разговаривал с кем-нибудь о Палавине и вдруг замечал, что тот с другого конца зала настороженно на него оглядывается. Это было необъяснимо и всякий раз неприятно поражало Вадима.

— Нет,— сказал он,— главным образом не о тебе.

— У меня к тебе дело, Вадим. Идем сядем на скамейку... Да! — Палавин усмехнулся.— Во-первых, третьего дня мне звонил этот бедняга Козельский, и знаешь зачем?

— Ну?

— Он просил, чтобы я написал свое мнение о его работе в НСО. Написал на бумажке, а он покажет ее где-то, где собираются его бить. В каком-то институте или министерстве, что ли. Одним словом, надо было состряпать небольшую апологию и поставить несколько подписей. Как тебе нравится?

— Ну и что дальше?

— Мне кажется, старик спятил со страха. Надо ж додуматься! Я сказал, конечно, что не смогу этого сделать. Сказал — болен, не выхожу из дому. Он понял, все-таки умный человек, извинился. Будьте здоровы — до свиданья. Все. Ну-у, старик! — Палавин развел руками и засмеялся с веселым недоумением, как бы предлагая и Вадиму посмеяться вместе с ним.

— Это все твое дело? — спросил Вадим, помолчав.

— Да нет, это эпизод...— И Палавин так же ненатурально откашлялся.— А дело такое: хочу взять твои выписки из лекций Козельского и конспекты Фокиной.

— Зачем?

— Думаю подготовить выступление на открытом учсовете.

— Это о Козельском?

— Да. О Козельском, так сказать, посмертно, а вообще — о формализме, космополитизме и всем прочем. В марте это.

— Знаю. Я готовился и сам буду выступать.

— Ты будешь? Да зачем тебе? — изумленно спросил Палавин.— Козельского и так прогнали к свиньям. Ведь дело-то сделано! У тебя узкая критика, а я собираюсь говорить шире, привлечь все последние материалы из газет...

— Конспектов я не дам,— неожиданно грубо сказал Вадим.— Это не твое дело выступать о Козельском!

— Как, то есть, не мое?

— Вот так. Ты защищал его на собрании, защищал его в НСО, а он устраивал тебе стипендию...

— Он устраивал мне стипендию?

— Не он, так не без его участия!

— Стипендию мне дали в феврале, когда он уже пускал пузыри. Дурак ты!

— Был дураком — хватит!

Они оба вдруг вскочили на ноги и стояли друг перед другом, словно собираясь драться.

— Ты очумел, наверно,— сказал Палавин, нервно усмехаясь.

— Мне надоело смотреть на твои цирковые вольты! Ясно тебе? — крикнул Вадим в бешенстве.— Когда Козельский был тебе нужен, ты ходил перед ним на полусогнутых! А теперь положение изменилось — и ты норовишь первый пихнуть его к свиньям. И здесь подзаработать!

— Идиот, что ты кричишь на весь институт? — злобно зашипел Палавин.— Я имею больше прав выступать, чем ты...

— Никаких прав ты не имеешь!

— Больше,— повторил Палавин.— Ты только грохочешь попусту, донкихотствуешь, а я работаю!

— Да, и усердно работаешь — для себя. Для своей выгоды.

Палавин посмотрел на Вадима в упор.

— Ты еще вспомнишь эти слова, Белов,— сказал он негромко и ушел не оглядываясь.

Вадим смотрел ему вслед, сжав кулаки и взволнованно улыбаясь. Он испытывал чувство внезапного, еще не вполне осознанного облегчения.

ГЛАВА 23

Два дня Лена Медовская не появлялась на лекциях. Никто не знал, что с ней. Наконец она пришла и сообщила, что была занята переездом на новую квартиру.

В этот же день Вадим получил приглашение на новоселье. Вчера была взрослая компания, а сегодня Лена приглашает молодежь. Из института будут только трое: он, Сережа Палавин и Мак Вилькин. Больше ей никого не хочется звать, потому что «все время одни и те же, одни и те же — в конце концов это скучно. Самые инте-

ресные люди могут надоесть, если их видишь каждый день». А будет один юноша, Гарик, из консерватории, один из театрального училища, школьные подруги Лены, ее двоюродный брат...

Она сыпала именами, говорила о каких-то незнакомых людях — Вадим слушал рассеянно. За последнее время между ними установились безмятежные, деловые отношения. Внешне это выглядело так, будто вновь вернулся первый курс, когда они были друг для друга обыкновенными товарищами по учебе. И это, кажется, устраивало обоих. Вадим не стал спрашивать у Лены, почему она в тот день не приехала на Белорусский вокзал. Она сама подошла к нему объясняться, сказала, что в последний момент ее не пустила мама, потому что Лена только-только оправилась после гриппа, и как она маму ни упрашивала — все было бесполезно. Извинялась Лена очень жалобно. Вадим простил ее легко — все это его попросту перестало интересовать.

И так же спокойно, трезво он обдумывал теперь ее приглашение. Он понимал, почему она пригласила только троих. Это будет особенный вечер — букет поклонников, новоселье кумира. Ну что ж, пускай потешится. Зато любопытно взглянуть на других, и на Палавина в этом букете. Можно пойти, а можно и не идти.

— Я не обещаю, Лена,— сказал он.— Если будет время, приду. У меня сегодня важное собрание на заводе.

— Опять завод! — Она досадливо поморщилась.— Одним словом, я жду тебя. Постарайся, Вадим!

Она дала ему адрес. Телефон им уже поставили, но еще не включили...

Занятия литературного кружка в этот день происходили в комитете комсомола. Обсуждали волновавший всех вопрос — об издании комсомольского журнала. Решили назвать его «Резец», и это споров не вызвало. Зато разгорелись споры о том, будет ли журнал чисто литературный или же литературно-производственный.

— Если это заводской журнал, значит, он и должен быть заводским! — говорил Балашов, решительно взмахивая ладонью.— Значит, он должен, как и всякий цех, работать на заводскую пятилетку.

— Да зачем нам эта стенгазета? — спорил с ним упрямый Валя Батукин.— Есть ведь одна многотиражка, хватит! Все равно нам с ними не тягаться...

В разгар спора вдруг пришел редактор заводской многотиражки.

— Я принес вам подходящий материал для первого номера,— сказал он, вынимая из кармана конверт.— Это прислали нам в редакцию. Прочтите вот и разберитесь.

Балашов стал читать письмо вслух. Писал в редакцию молодой кузнец Солохин. Он придумал приспособление, позволяющее одновременно отковывать сразу шесть деталей, что ускоряет втрое весь процесс. В Бриз — бюро рационализации и изобретений — к приспособлению Солохина отнеслись как бюрократы, признали неэффективным. А технолог кузнечного цеха считает как раз наоборот: идея приспособления очень верная и очень даже эффективная.

— Ну как, Валентин, будем это печатать? — спросил Балашов.— Или, может, не стоит? Может, твои «трели-дрели» важней?

— Печать надо, конечно... мало что...— пробормотал Батукин, нахмурясь.— Только надо еще разобраться, вот что! Проверить надо, а не так это — с бухты-барахты...

Было решено сейчас же послать кого-нибудь в кузнечный цех, так как Солохин работал сегодня во вторую смену. Вадим никогда не бывал в кузнечном цехе и вызвался пойти вместе с Балашовым.

Лишь только он переступил порог цеха, его оглушил невероятный, все покрывающий грохот. В лицо пахнуло теплым паром и запахом раскаленного металла. Огромные пневматические молоты и многотонные прессы, похожие на мезозойских чудовищ, высились по обеим сторонам просторного помещения и неутомимо громыхали, сотрясая пол. Красные отблески горели на их металлических суставах. Люди рядом с ними казались маленькими и бесстрашными.

Вадим видел, как человек в легкой спецовке хватал длинными клещами огнедышащий, нежно-оранжевый брусок и подкладывал его под боек молота. Нажимая правой ногой на педаль, человек заставлял молот с легкостью расплющивать кусок металла. Иногда он придерживал ногу, и черное, тупое рыло бойка повисало в неподвижности, словно прицеливаясь, и затем вновь начинало методично подскакивать. Брусок расплевывал вокруг себя огненные брызги, но быстро смирялся, темнел и приобретал нужную форму. Тогда человек снимал его клещами и отбрасывал небрежно в сторону. Готовые поковки лежали горой — медно-фиолетовые, отливающие фазаньим крылом.

Солохин заканчивал обработку детали — он стоял,

чуть согнувшись, расставив ноги, и крепко держал клещами тонкий брус. При каждом ударе молота руки его вздрагивали и на мгновение ожесточенно кривился рот.

Когда он подошел и поздоровался, Вадим разглядел, что его курносое худощавое лицо все в поту, волосы налипли на лоб русыми завитками. Солохин обрадовался, узнав, что комитет комсомола решил ему помочь, и показал макет своего приспособления.

— Завтра к главному инженеру пойду,— сказал Солохин.— Я из Бриза всю душу выну, а они мне сделают. Потому, если я что решил — все! — Он с решимостью рубанул в воздухе ладонью.— Или грудь в крестах, или голова в кустах.

— Ладно, ты давай завтра, а мы сегодня сходим,— сказал Балашов.— Мы это дело размотаем, я тебе обещаю! Идемте, Вадим Петрович!

В бюро рационализации их принял пожилой, лысоватый инженер, рисовавший за столом акварелью какую-то диаграмму. Они представились как сотрудники журнала «Резец», заинтересовавшиеся изобретением Солохина. Инженер несколько смутился. Он не слышал о таком журнале и решил, очевидно, что это какое-то неизвестное ему техническое издание.

— Видите ли, товарищи...— начал он, покашливая и глядя под стол.— Солохин не совсем изобретатель. Простой малый, кузнец, но, конечно, не лишенный смекалки. Именно таких людей мы и должны поддерживать, не так ли? Я понимаю ваш интерес. Но дело, видите ли, такого порядка...

Инженер начал долго, обстоятельно, скучным голосом и все еще глядя под стол, рассказывать о сущности идеи Солохина, говорил, что в ней «что-то» есть, но она далеко еще не разработана. А Бриз нисколько не отвергает ее, но так как сейчас все отделы целиком заняты оснасткой пятого цеха, продвинуть приспособление нет никакой реальной возможности.

— Но вы должны были по крайней мере дать положительное заключение,— сказал Балашов, угрюмо глядя на диаграмму.— У вас есть какое-нибудь заключение?

— Пожалуйста,— инженер покопался в столе и вытащил лист бумаги.— Здесь в общих чертах. Несколько бегло.

Он протянул бумагу почему-то Вадиму, и тот стал читать вслух:

— Так... «Державка для отковки деталей КБ-20 в на-

стоящем виде не отвечает идее рационализации процесса. Экономический эффект возможен лишь при коренной технической переработке... Основная идея представляет некоторый интерес, хотя в общем не нова». Это вы называете положительной оценкой?

— В некотором роде. Видите ли, вы не знакомы с оценками других изобретений...

— Мы видим одно,— сказал Балашов,— что Солохин был прав, когда назвал вас бюрократами. Парень старается, думает над своей работой, а вы так, за здорово живешь, отмахиваетесь от его предложения. Комсомольская организация этого не допустит!

Инженер изумленно поднял брови.

— Простите, какая комсомольская организация?

— Комсомольская организация нашего завода. Не допустит. Говорю вам ответственно.

— Позвольте, вы же... представители журнала?

— Да, комсомольского журнала «Резец». В первом номере — он скоро выйдет — вы сможете прочесть про себя. И Солохина мы будем защищать всемерно.

Инженер, видимо, почувствовал облегчение. Он откинулся на спинку стула и даже улыбнулся.

— А я вас принял, понимаете... Что же вы, молодые люди, мистифицируете? — проговорил он, оживленно потирая лысину. Затем снова придвинулся к столу, взял кисточку и сказал уже другим тоном: — Так вот, молодые люди. Вот так. Ничего сделать не могу.

— Так-таки ничего?

— Нет. Я вам десять раз объяснял: приказ директора, отделы загружены. Можете писать что угодно, это дела не изменит. Только оконфузитесь с вашим первым номером. Вот так.

Он обмакнул кисточку, снял с нее ногтем волосок и нагнулся к диаграмме.

— Увидим, кто оконфузится,— сказал Балашов угрожающе.— Мы сейчас же идем к директору!

— Пожалуйста,— кивнул инженер.— Это как вам угодно.

— Самоуспокоился и сидит себе, рисует картинки. Консерватор! — выйдя из Бриза, возмущенно сказал Балашов.

Они направились в заводоуправление. Секретарша сказала, что директор в министерстве и сегодня уже не придет. Раздосадованные, они вернулись в комитет комсомола. Все кружковцы уже разошлись, и в комитете

был один Кузнецов. Выслушав Балашова, он сказал, что завтра сам пойдет к директору.

— Жаль, что Анатолий Степанович ушел от нас в главк. С ним бы мы всегда договорились,— сказал Балашов, вздохнув.— А новый, шут его знает...

— Кто это Анатолий Степанович? — спросил Вадим.

— Да директор прежний, в том месяце ушел. А теперь с другого завода прислали. Медовский какой-то.

— Медовский? — насторожился Вадим.— А как зовут?

— Константин Иваныч. Так, по внешности — суровый мужчина.

«Неужели отец Лены? — думал Вадим.— Она — Елена Константиновна. И отец ее какой-то крупный инженер. Да, возможно!»

Он посмотрел на часы — двадцать минут десятого. Ехать, не заходя домой? С портфелем, не переодевшись? Да, так и ехать. В этом даже есть смысл...

Вадим поднялся в лифте, в котором стоял еще сладкий запах лака, на пятый этаж и вышел на площадку.

Еще за дверью он услышал звуки рояля и оживленный шум голосов. На его звонок кто-то сейчас же побежал по коридору открывать. Это была Лена — в вечернем шелковом платье, очень длинном, по последней моде. Она вся блестела с ног до головы: блестели ее лакированные туфельки, блестело платье, сверкала гранатовая брошь на груди, радостно блестели ее карие глаза и яркие влажные губы.

— Наконец-то! Вадим, отчего так долго! — громко воскликнула она, энергично снимая с него шапку и отбирая портфель.— Раздевайся! Нету места? Прямо наверх клади... вот так. Мы уж тебя ждали, ждали...

Подойдя к нему ближе, она спросила тихо:

— Отчего ты не переоделся?

— Я прямо с завода. Домой не заходил.

— Ну ничего, пустяки... Идем!

Взяв Вадима за руку, она повела его за собой. Вадим прошел через коридор в большую комнату, где за столом сидело человек двенадцать гостей. Судя по столу, нельзя было сказать, что здесь особенно мучились ожиданием Вадима. Трапеза заканчивалась — кто-то уже играл на рояле, за столом шумно и вразнобой разговаривали, с тем особенным удовольствием, с каким разго-

варивают сытно закусившие люди; мужчины курили, а девушки жевали конфеты.

Лена представила Вадима:

— Вадим Белов, тоже будущий педагог и наш общий друг.

— «Наш общий друг» измучил нас «большими ожиданиями»,— отозвался Мак Вилькин и улыбаясь помахал Вадиму рукой.

Все одобрительно рассмеялись.

— Вадим, кстати, давнишний друг Сережи Палавина. Они учатся вместе с самого детства,— сказала Лена, но Палавин как бы пропустил слова ее мимо ушей и продолжал разговаривать со своей соседкой.

— Да, с детства,— сказал Вадим, чтобы сказать что-нибудь.

Лучезарно улыбаясь, Альбина Трофимовна предложила Вадиму место за столом. Его заставили выпить штрафной бокал вина. Альбина Трофимовна суетилась вокруг него, предлагала различные угощения и обставила его блюдами со всего стола. Гости уже поднимались, и Вадим чувствовал себя неловко. Пожевав какой-то снеди и выпив еще вина, он встал и подошел к Маку.

— Что, старик, скучаешь? Нет шахматистов?

Мак презрительно надул губы:

— Шахматы и вино? Нонсенс. Я наблюдаю...

Вадим тоже принялся наблюдать. Незнакомых мужчин было двое — тот самый обещанный Гарик из консерватории, учтивый пышноволосый молодой человек, называвший Лену Еленой Константиновной, и двоюродный брат Лены — щеголеватый лейтенант ВВС, сидевший со скучающим видом на диване и непрестанно куривший. Девушки не показались Вадиму сколько-нибудь интересными, по крайней мере на первый взгляд. Самой яркой, вызывающе красивой среди них была Лена.

Палавина окружало несколько девушек, и он пересказывал им номера из «капустника». Девушки восторженно хохотали и хлопали в ладоши. Кто-то завел патефон, но пластинки крутились впустую — желающих танцевать пока не было... Вадим во всяком случае не испытывал ни малейшего желания танцевать... Ему не терпелось знать, дома ли Медовский.

Лена предложила ему посмотреть квартиру. Он ходил по просторным комнатам, пахнущим свеженатертым паркетом и с еще редкой мебелью, старательно раздвинутой по стенам, как это всегда бывает при переезде на

новые, большие квартиры, и не вдумываясь поддакивал оживленным объяснениям Лены. Она заставляла его выдвигать стенные шкафы, вертеть оригинальные дверные замки, дергать шнурки форточек, которые открывались легко и бесшумно, пускать горячую воду в ванной и даже бросить окурок в мусоропровод на кухне.

Да, квартира была чудесная, но Вадима интересовало одно: где же ее хозяин? Наконец Лена приоткрыла дверь в одну из комнат — Вадим увидел письменный стол с зеленой настольной лампой, книжные шкафы, блеснувшие тисненым золотом корешков.

— А это кабинет папы,— сказала Лена и закрыла дверь. Для Вадима это прозвучало: «Папы дома нет», и он чуть было не спросил: «А когда же он придет?»

Весь вечер показался ему вдруг ненужным. Он почувствовал усталость и решил, что скоро уйдет домой. Если Медовский не явится через полчаса, он уйдет домой.

Когда Вадим вернулся в столовую, там было все по-прежнему. Так же бессмысленно крутились пластинки — их лениво, не поднимаясь с дивана, ставил одну за другой лейтенант ВВС; так же разглагольствовал, занимая гостей, Сережка Палавин. Небрежно сидя в кресле и жестикулируя трубкой, он рассказывал какие-то анекдоты, смешные случаи из институтской жизни, изображал в лицах профессоров. Чего бы ни касался разговор, он сейчас же вступал в него, овладевал вниманием и высказывался остроумно, веско и категорично — как будто ставил точку.

Вадим наблюдал за ним со все растущим чувством враждебности. Все эти остроты и анекдоты казались ему пошлыми, убогими, потому что были давно известны, давно надоели, но здесь они, очевидно, были в новинку, и слушательницы Палавина встречали их с благоговейным, восторженным визгом.

Наконец Альбина Трофимовна решила, что несколько нетактично развлекаться одним Палавиным и оставлять в тени других молодых людей. Они безусловно побеждены, но надо иметь снисхождение и соблюдать законы гостеприимства. Уловив паузу, когда Палавин набивал трубку, она плавно переключила разговор:

— Кстати, вот Сережа заговорил об искусстве... Вы не видели, как Гарик сделал Леночкин портрет?

Никто не видел, и все выразили желание немедленно увидеть.

— Альбина Трофимовна! Прошу вас! — умоляюще заговорил Гарик.— Это же не готовая вещь, эскиз... Ну я вас прошу!

Но Альбина Трофимовна была неумолима и сейчас же принесла из соседней комнаты нарисованный пером портрет Лены в деревянной рамочке.

— Не правда ли, очень удачно? — сказала она, поднося портрет к лампе.— Особенно нижняя часть лица. Не правда ли?

Все закивали, и Палавин авторитетно высказался:

— Недурно. Хотя и видно, что вещь не закончена.

— В жизни, конечно, Лена лучше,— сказал молчаливый летчик, впервые поднявшись с дивана.

— Так ведь то в жизни, Николай! — сказала Альбина Трофимовна улыбаясь.— Ты забываешь, что в жизни все лучше! Не правда ли?

И все согласились с Альбиной Трофимовной и тоже улыбнулись. Вадим посмотрел на художника, который стоял в стороне, несчастно покраснев и закусив губы, и подумал, что он, должно быть, неплохой и добрый парень.

— У нас здесь столько талантов,— сказала Альбина Трофимовна.— Сережа пишет, Гарик музыкант и художник. Вадим будет ученым...

— Вадим тоже прекрасно рисует,— сказала Лена.— Может, даже лучше Гарика!

— Вот чудесно! Тася танцует, Леночка поет немножко, Мак, я слышала, увлечен шашками. А Николай у нас физкультурник, борец...

— Не борец, а десятиборец, тетя Бина,— сказал летчик, усмехнувшись.— Ты все такая же невежда в спорте.

— Откуда же мне знать это, Коля? Одним словом, у нас Олимп, собрание муз. Не правда ли? Можно устраивать интересные вечера, концерты. Наша квартира в полном вашем распоряжении — пожалуйста, веселитесь, никто вам не помешает. Отец с утра до ночи на работе...

«Это заметно»,— подумал Вадим.

— ...да и он ничего против не будет иметь. Он очень любит молодежь. Серьезно! Можно ведь устроить литературный вечер. Сережа почитает свои стихотворения, пьесы...

— Мама, он пишет повесть.

— Тем лучше. Повести воспринимаются на слух еще лучше, чем пьесы. Очень интересно! Надо уметь себя развлекать. Неужели нельзя веселиться без вина?

— Что вы, что вы, Альбина Трофимовна! — театрально ужаснулся Палавин.— Мы его и в рот не берем.

— Я-то знаю, как вы не берете, Сережа! — сказала Альбина Трофимовна многозначительно.— В этом я имела случай убедиться. Так что же — вам не нравится мое предложение?

— Нет, я как раз присоединяюсь! Целиком и полностью,— сказал Палавин.— Мак может провести сеанс одновременной игры в шахматы, Белов расскажет что-нибудь о русском сентиментализме. Я — за! А вы, девушки?

Девушки засмеялись и сказали, что они тоже «за». Альбина Трофимовна погрозила Палавину пальцем.

— Сережа, бросьте шутить! Нельзя шутить целый вечер.

— Мама, и нельзя поучать всех целый вечер! — сказала Лена.— Тебе как что-нибудь придет в голову, никому нет покоя. Гарик, сыграйте нам что-нибудь, а? Сыграйте Бетховена, вы же любите!

Гарик послушно сел за рояль. Он играл бурно, содрогаясь всем телом, и двигал челюстью, словно беззвучно лаял. Это продолжалось довольно долго, и все слушали молча и терпеливо, с углубленно задумчивыми лицами. Вадима вдруг тронул за рукав Мак и поманил пальцем. Они незаметно вышли в коридор.

— Вадим, как ты думаешь: ничего, если я уйду? — спросил Мак шепотом.

— Как уйдешь? — удивился Вадим.— Не прощаясь?

— Нет, с Леной я попрощаюсь. Да... Ведь это скучно, ты не находишь?

Вадим, улыбнувшись, кивнул.

— И вообще все это... как-то...— Мак умолк в замешательстве и вздохнул.— Все это как-то не так. Обидно, понимаешь...

— Понимаю,— сказал Вадим, уже внимательно глядя на Мака.

— Да,— сказал Мак и опустил голову.— Мне с самого начала не понравился этот Ноев ковчег. Гарик из консерватории, Марик из обсерватории, и еще кто-то, и еще... Главное, один Гарик пришел. А зачем я? Неужели нельзя прямо сказать?

— Что прямо сказать?

— Ну... не нужен, мол. И — долой.

Помолчав, он проговорил тихо и с удивлением:

— И кто — Палавин! Ведь он же... соломенный ка-

кой-то. Неужели она не понимает? Нет. И не поймет. Нет! — Мак убежденно тряхнул головой.— Зато я понял. Она сама такая.— Мак неуверенно взглянул на Вадима. Вадим нахмурился и отвел глаза.— И хоть я вижу ее, понимаю, а... больно, Вадим. Если ты любил когда-нибудь, Вадим, ты должен понять. Страшно, когда не любят, но еще страшней, когда видишь вдруг, что ты сам себя обманул. Все, что ты создавал в душе, тайно любовался, с каждым днем украшал чем-то новым, прекрасным,— все рушится вдруг, все, все...— Мак усмехнулся.— Что я говорю? Тебе, наверно, смешно... Я выпил немножко. Все будет хорошо. А ты не любил ее, я знаю. Никогда. Ты ведь умный мужик. А я... ну... я пошел. Уже по дому соскучился.

Мак как-то беспомощно, виновато посмотрел своими близорукими глазами на Вадима, сжал ему руку изо всех сил и быстро пошел к вешалке.

— Постой! — сказал Вадим.— Ты же хотел с Леной попрощаться?

— Ах да! Ну, вызови ее...

Мак ушел.

В большой комнате продолжался музыкальный вечер. Потом потанцевали немного и гости начали расходиться. Исчезли две девушки, попрощался летчик и ушел в соседнюю комнату спать. Он был ленинградским гостем в доме у Медовских.

Когда Вадим уже решил откланяться — было около двенадцати,— в гостиную вошел невысокий, широкоплечий мужчина, с круглой, совершенно серебряной головой и такими же, как у Лены, карими глазами.

— Папка! — воскликнула Лена радостно.— Ты сегодня так рано?

— Для Константина Ивановича это рано,— пояснила Альбина Трофимовна.— Костя, поешь, выпей вина. Молодежь тебя угощает.

Медовский пожал всем руки и, стоя, выпил рюмку водки. Его простое, загорелое лицо и спокойная улыбка понравились Вадиму.

— Веселитесь, товарищи. Что замолчали? — сказал Медовский, аппетитно разжевывая огурец и улыбаясь. На скулах его двигались крепкие желваки.— Считайте, что меня нет. Я еще на работе.

— Ты им нисколько не мешаешь. И они тебе не мешают, Костя,— сказала Альбина Трофимовна.— Ешь, пожалуйста.

Медовский посидел минут десять в комнате, послушал игру Гарика, шутливо перекинулся несколькими словами с Леной и ее подругами и, узнав, что у молодых людей кончились папиросы, выложил на стол коробку «Казбека». Затем он простился и вышел из комнаты.

Вадим догнал его в коридоре:

— Константин Иваныч! У меня к вам дело на две минуты.

— Ко мне? Пожалуйста.

Медовский пригласил Вадима в кабинет. И когда Вадим вошел в эту большую комнату, которая казалась тесной от книжных шкафов, от огромного рабочего стола, загроможденного книгами, бумагами, какими-то металлическими деталями, когда он сел в просторное, жесткое кресло перед столом, ему показалось, что он попал совсем в другую квартиру, в другой дом. Здесь даже воздух был иной, свежепроветренный, немного прохладный.

— Так. Слушаю вас,— сказал Медовский, тоже садясь, но сейчас же встал и, подойдя к двери, плотно прикрыл ее. Рояль за стеной притих.— Так будет спокойней. Пожалуйста, слушаю вас.

Вадим начал говорить о Солохине, и Медовский слушал молча, но глядя на Вадима все с большим интересом и удивлением.

— Вы знаете, этот разговор для меня неожидан! — сказал он, когда Вадим кончил.— В самом деле! Я вас как-то связываю с Леной... Это вы, кажется, с ней однажды в театр запаздывали? Да? Помню, помню. Да, и я привык, что с Леной и с ее приятелями мы говорим обо всем на свете, но только не о серьезных делах. Тем более о делах завода. И тем более моего завода! Невероятно! — Он рассмеялся, потом нахмурился, потер пальцами глаза и сказал серьезно: — То, что вы рассказали, очень интересно. И нужно. Вот я записываю фамилию — Солохин? Со-ло-хин... Так. И завтра же выясню. Это я вам обещаю. Видите, я еще человек новый на заводе и, например, не знал, что у наших комсомольцев есть такая связь со студентами. А это замечательное дело! И давно осуществляется?

— Да нет еще. Первый месяц только.

— А вы расскажите поподробней. Как началось, с чего? Что уже сделано? Курите!

Вадим рассказывал долго. И он и Медовский оба так

увлеклись разговором, что не услышали, как прекратилась музыка за стеной, утихли голоса. В дверь заглянула Альбина Трофимовна.

— И что это они тут делают? Я думала, в шахматы играют... Господи, топор можно вешать! Надымили!

Медовский замахал на нее рукой.

— Мы работаем, мать, работаем! Принеси-ка нам чаю.

— Извините, Константин Иваныч, поздно уже. Мне пора,— сказал Вадим.— Да и вам, наверно, надо отдохнуть...

— Отдохнуть?.. Да я уже отдохнул! — Медовский рассмеялся, взяв Вадима за локоть, и посмотрел на часы.— Хотя да, время-то позднее. Ну что ж, пойдемте... А с Солохиным я разберусь. Это очень важно. Мне как раз вчера парторг жаловался на Бриз. Разберемся, я вам обещаю.

Они вошли в столовую. Рояль был закрыт, стол убран, и горела одна уютная настенная лампочка с матовым абажуром в виде лилии. Лена и Палавин сидели на диване и вполголоса разговаривали. На коленях у Палавина лежала раскрытая коробка конфет.

— Ну-с, бал окончен? — спросил Медовский.— Но конфеты, я вижу, не кончились?

— Папка, ты не представляешь, какой Сережа сладкоежка! — сказала Лена смеясь.— И курит, и любит сладкое. Удивительно, правда?

— Да? — сказал Медовский.— Удивительный человек. А мне вот Вадим рассказал интереснейшие вещи. Оказывается, ваш институт, Лена, шефствует над моим заводом. И комсомольцы такую деятельность развили,— а ты мне ни слова и не сказала.

— Просто, папа, случая не было.

— Случая не было поинтересоваться?

— Не так все это интересно, как тебе кажется! Да! — сказала Лена с апломбом.— Много шума из ничего. И вообще вся эта история нужна главным образом нашему секретарю Галустянчику, чтоб его похлопали по плечу в райкоме, напечатали где-нибудь... А у студентов своих дел по горло.

— Вот как? — удивился Медовский.— А мне Вадим как-то иначе рассказывал.

— Лена ведь ни разу не была на заводе,— сказал Вадим,— и говорит сейчас с чужих слов.

Медовский кивнул:

— Я тоже так думаю. А ведь мне обидно, что моя дочь в стороне от такого важного комсомольского дела. Я серьезно говорю.

Лена пожала плечами и взяла в рот конфету.

— Костя, к чему эти разговоры? — вдруг горячо заговорила вошедшая в комнату Альбина Трофимовна.— Ведь у Леночки вся жизнь впереди! И всю жизнь она будет работать, только работать. Так дай ей в эти несчастные три-четыре года, в ее студенческую пору пожить легко, без этих забот, нагрузок. Студенческие годы — это самые светлые, чудесные годы в жизни, не правда ли? А тебе не терпится! Тебе хочется сейчас же запрячь ее, повесить гири! Успеет еще, господи...

— Конечно, мама правильно рассуждает,— сказала Лена, обиженно и исподлобья глядя на отца.— Вон кончу, пошлют меня куда-нибудь на Камчатку, тогда узнаете!

— Я буду только рад,— сказал Медовский нахмурясь.— Спокойной ночи, молодые люди! Всего хорошего, Вадим! — Он пожал Вадиму и Сергею руки и вышел.

Вадим тоже попрощался. Сергей вяло протянул ему руку, не поднимаясь с дивана. Очевидно, он никуда не собирался уходить. Нет, Вадима это не трогало.

Лена проводила его в коридор.

— Это все из-за тебя,— шепнула она, усмехнувшись.

Вадим молча оделся, взял портфель. Лена подошла к нему ближе. По ее неуловимому и странно улыбающемуся лицу Вадим понял, что она хочет сказать что-то значительное.

— Ты очень злишься на меня? — спросила она тихо, склонив голову и глядя на него снизу вверх.

— Я? Нисколько не злюсь.

Лена осуждающе покачала головой.

— Я вижу. Не надо говорить неправду. Ты всегда был честным, Вадим, будь честным и теперь.

— Повторяю: я нисколько не злюсь,— сказал Вадим спокойно.

— Ну, а что же?

— Ничего.

Они стояли в пустом коридоре, возле шкафчика с еще немым телефоном. На шкафчике лежал блестящий круглый абажур, приготовленный, очевидно, для коридорной лампы. Лена стучала по нему пальцами, и абажур тонко позванивал.

Лена вдруг улыбнулась.

— Наверно, ничего и не было? Признавайся уж.

Да, лицо ее трудно будет забыть. Он отвел глаза и случайно увидел отражение ее на выпуклом стекле абажура. Он увидел приплюснутый узенький лобик и уродливо раздутую нижнюю часть лица. Огромные зубы улыбались, и посередине — чудовищный серый зуб...

— Нет. Было все-таки,— сказал Вадим и посмотрел ей прямо в глаза.— Теперь это не важно.

— Теперь не важно, я знаю,— кивнула Лена.— Вадим, ты удивляешься, почему Сергей не уходит? У них дома ремонт, и он переночует у нас.

— Меня это не касается. Я очень устал, Леночка, до свиданья.— Он протянул ей руку.

— Постой! Скажи только: у тебя кто-то есть? Ну ответь мне, Вадим!

— Это тоже не важно.

— А зачем ты пришел ко мне?

— Хотел сравнить вас и еще раз убедиться.

— Ах, вот как! Еще раз? — Лена возбужденно усмехнулась.— А мне не надо было сравнивать, я давно поняла. Если хочешь знать...

— Я ухожу.

— Нет! — Она схватила его за рукав и заговорила пылким, стремительным полушепотом: — Если хочешь знать, я и дружила с тобой, чтобы лучше узнать Сергея. Да, да! А ты слепой, ты... Ни одной девушке ты не можешь понравиться, потому что... вот ты такой. Ты в людях не понимаешь!

— Лена, я это уже слышал. От Сергея. Можно уйти?

— Прощай! — Она щелкнула замком и распахнула дверь.— Теперь ты знаешь все!

— А я, Леночка, и без того все это знал. Так что сцены у фонтана ни к чему,— сказал Вадим и рассмеялся. И вышел на лестницу, свежо пахнущую известкой.

ГЛАВА 24

На следующий день утром Вадим позвонил Вале Грузиновой. Да, она хотела его повидать, и чем скорей, тем лучше. Если можно, сегодня. Они условились встретиться в шесть часов вечера в вестибюле клиники.

Идя к Вале, Вадим раздумывал: зачем он мог ей так

срочно понадобиться? Сегодня должен состояться курсовой вечер, на котором Палавин будет читать свою повесть. Может быть, он не пригласил ее, а она хочет пойти? Или же она прослышала о сопернице, о Лене Медовской, и хочет узнать у Вадима подробности? Попросит о каком-нибудь посредничестве? Нет, ввязываться в эти дела он, пожалуй, не станет.

Впрочем, ни то, ни другое предположение не казалось Вадиму вероятным. Не в Валином это характере. Что-то, должно быть, сложней, серьезней, и Сергей, возможно, вовсе тут ни при чем.

Валя встретила Вадима по-дружески приветливо, но в глазах ее он уловил беспокойство.

— Я оторвала тебя от каких-нибудь дел?

— Дела всегда есть. Но ведь и ты меня вызвала по делу?

— Да. Наше свидание далеко не любовное.— Валя улыбнулась невесело.— Я прошу двадцать пять минут. Как собрание?

— Единогласно,— сказал Вадим, подняв руку.

— Хорошо. Идем.

Они поднялись на второй этаж, и Валя провела Вадима в пустую комнату с двумя канцелярскими столами, деревянным диваном и шкафом со стеклянной дверью, в каких обычно хранятся папки с делами или больничные карточки. Она зажгла настольную лампу и села за стол. Вадим сел на диван.

Валя молчала с минуту, что-то быстро и ненужно чертя карандашом на бумаге. Видно было, что она волнуется.

— Я закурю. Можно здесь?

— Да, да.— Валя с готовностью опустила голову и, когда он закурил, спросила: — Как мама, Вадим?

— Спасибо, все как будто идет хорошо. Дня через два должна приехать домой.

— Я очень рада за тебя, Дима...

Наступила пауза. Валя все еще чертила что-то карандашом на бумаге, что-то похожее на большую букву «П». Вдруг она спросила, подняв голову:

— Дима... А что ты сегодня собираешься делать?

— У нас курсовой вечер. Сергей будет читать свою повесть.

— Да, повесть... Интересно?

— Думаю — да. Повесть о заводе, и придут заводские комсомольцы.

«Сергей, видно, не пригласил ее»,— подумал Вадим. Он сказал как мог проще, по-дружески:

— Валя, приходи, будет интересно. Приходи обязательно!

— Нет, нет, мне некогда! — сказала Валя торопливо.— Я послезавтра уезжаю в Харьков, надо купить кое-что, собраться.

— Зачем в Харьков?

— Работать. У меня будет там интересная практическая работа, как раз по теме моей диссертации.

— Надолго?

— На год, полтора...

Она снова замолчала. Карандаш ее забегал по бумаге, самовольно рисуя буквы, и Вадим уже мог прочесть рядом с первой, огромной и жирной буквой «П» еще четыре буквы: «алав». И внезапно, для самого себя неожиданно, он спросил:

— Что у вас с Палавиным... случилось что-нибудь?

— Да. Только... Вадим!..— Валя строго, с решимостью взглянула ему в глаза.— Не подумай,— слышишь? — что я говорю с тобой из-за каких-то бабских побуждений. Из желания отомстить или что-то вернуть, поправить... Нет, Дима. Случилось непоправимое. Это мое личное горе, даже не горе — ошибка, неудача. Но это связано с общественной... с общественным лицом... Проще говоря, это связано с другими людьми! Например, с тобой и с другими. Ты поймешь... Вадим, ты его друг с детства?

— С детства.

— Я... понимаешь, я знакома с ним тоже давно. Третий год. Мне казалось, трех лет достаточно, чтобы узнать человека...

— Смотря каких трех лет,— усмехнулся Вадим,— и какого человека.

— Да, это верно. Вот — оказывается, недостаточно. Мне казалось, что он умный, честный... талантливый... Нет, Дима, я лучше расскажу тебе все сначала! Как это было — все, все! Вот... Я познакомилась с ним в поезде, он возвращался из армии. Он был тогда такой радостный, оживленный, какой-то очень... простой, открытый. Он собирался сразу поступать в институт,— а я уже была студенткой,— и он расспрашивал меня о студенческой жизни, об экзаменах, о приеме, о наших вечерах, обо всем этом. Я обещала ему что-то узнать, достать книги... Ну, одним словом, мы подружились.

Валя написала уже все слово целиком: «Палавин». Карандаш замер на мгновение и затем задвигался вновь, наматывая вокруг слова торопливые петли.

— Мы начали встречаться в Москве, и все чаще. Он мне очень нравился. Мы хотели, то есть я думала, что мы поженимся. Он говорил об этом часто, потому что... ведь мы были с ним близки, понимаешь... Это еще тогда, в первое лето. Ты приехал тогда с Дальнего Востока, помнишь, мы встретились?.. А потом было еще одно лето, очень счастливое. Ирина Викторовна уехала отдыхать, Сашка был в лагере. Тебя, кажется, не было в то лето в Москве? Да, ты поехал куда-то в Армению... Он жил один, я помогала ему, готовила, стирала кое-что, одним словом... Одним словом, было очень хорошо все и весело! Он и тогда писал пьесу из студенческой жизни. Все время советовался со мной. Да... И у меня дома считали, что мы поженимся. Ну, понимаешь, это было на глазах. Хотя мама и не знала всего. А потом как-то все расстроилось. Я поступила на работу. Мы виделись все реже. И виделись так нехорошо, знаешь... Только дома. Он нигде со мной не бывал — ни в театре, ни в кино. Всегда находил какие-то причины, чтобы не пойти, что-то врал, выдумывал. А однажды, когда я купила билеты в Большой,— была какая-то премьера, я уж не помню сейчас,— он сказал мне: «Хорошо, пойдем. Но ты будешь в театре без очков».— Валя нервно усмехнулась и покраснела.— Все это чепуха, мелочи, может быть, не стоит об этом говорить. Одним словом, я чувствовала, что он как будто стыдится меня, ни с кем из своих товарищей не знакомит, а уж на вечер в свой институт — боже упаси! Я начала понимать, что он лжет мне и лгал все время. И я решила — очень тяжело было, Вадим,— но я решила отойти, к его удовольствию...

Валя как будто успокоилась, и голос ее уже не дрожал, а звучал устало, невыразительно. Карандаш, который она все еще держала в руке, медленно крутился на слове «Палавин», зачеркивая его наглухо густой черной краской.

— А потом... Это было месяца два назад или три... Он опять пришел ко мне как ни в чем не бывало и даже так это весело, с шуточками. Он ведь начал курить трубку, а отец одно время доставал ему хороший трубочный табак, какой-то болгарский. Ну и вот — кончился, мол, табак, а без табака дело табак, и так далее, вот с такими шуточками он явился. А потом еще одна просьба ока-

залась, поважней. У меня есть двоюродный брат, аспирант МГУ, тоже филолог, который пишет диссертацию о Тургеневе. Сергей попросил меня познакомить его с Виктором, ему нужно было что-то достать для своего реферата. Короче говоря, он опять стал бывать у меня. Я не знаю, для чего это делалось. Может быть, просто... А может быть, самолюбие у него заговорило. Или захотелось, знаешь, польстить себе, проверить: как, дескать, я тут, любим по-прежнему? Ведь он должен был понимать, как трудно мне порвать с этим, отойти, как я старалась забыть обо всем, раз и навсегда... И, конечно, он понимал, что мне больно оттого, что все это опять начинается и опять так же бессмысленно, бесцельно... И вот,— ну, Вадим, мы взрослые люди, так что... словом, мне показалось, что у меня будет ребенок. Это была ошибка, но тогда мне так показалось. Я написала ему письмо. Дальше все случилось, как бывает в романах. Письмо это случайно прочла моя сестра, Женя, и рассказала обо всем матери... И тут он как раз зашел зачем-то, меня дома не было. И вот мать и Женька... Я этого не хотела, Дима! Ты понимаешь? Они сами, меня даже не было дома... Мать спросила, думает ли он жениться. И он... смешно, Вадим, он сказал: «Я должен посоветоваться с мамой». Была гадкая сцена... Сначала он что-то объяснял, врал, конечно, оправдывался... Мать тоже, наверное, несла чушь, растерялась, а Женька кричала на него. А потом он сказал, что все это балаган, что его хотят женить насильно, но это не выйдет. И тоже стал кричать: где, мол, основания, попробуйте доказать и так далее. Женька его ударила...

Валя вдруг закрыла лицо одной рукой, как это делают дети, собираясь плакать. Другая рука, сжимавшая карандаш, дрогнула, и графит, прорвав бумагу, сломался. Она зарыдала беззвучно, поднимая плечи и все ниже опуская голову.

— Валюша, успокойся! Тише! — говорил Вадим, растерянно гладя ее жесткие, густые волосы.— Успокойся, ну!

— Мне стыдно все это вспоминать...— шептала она, всхлипывая и тряся головой.— Как гадко, глупо!.. Он сказал: «Теперь мне нечего делать в этом доме». И ушел оскорбленный... и очень довольный, наверно... Понимаешь, его оскорбили! Ушел писать свою пьесу, свои «капустники», выступать на собраниях, острить... рассуждать...

Она замолчала на минуту, подавляя рыдания, потом резко подняла голову.

— Не думай, что я плачу из-за несчастной любви. Слышишь? — сказала она твердым голосом.— Ничего нет, только презрение. Я не Катюша Маслова и не Роберта Олден. И я не та, и время другое, и жизнь у нас совсем другая. Да что говорить!

— Ясно,— сказал Вадим.

Валя вытерла платком глаза.

— Теперь... самое главное,— сказала она, с трудом улыбнувшись.— Зачем я тебя позвала? Ты, может быть, удивляешься...

— Да нет, говори.

— Хорошо. Мне одно непонятно, Вадим. Вот этот человек — он персональный стипендиат, он всюду и везде, он активист, он собирается вступать в партию. Его посылают в Ленинград...

— Зачем в Ленинград?

— Он говорил, что его пошлют на студенческую научную конференцию в Ленинград. Он написал повесть, и там, может быть, не все талантливо, но все правильно. Все как надо. И вот... в личной жизни он такой. Ведь он самый пошлый, ничтожный эгоист в личной жизни. Он же счастлив теперь, я уверена, оттого что со мной все обошлось «благополучно». И вдвойне счастлив оттого, что я уезжаю в Харьков. Бог с ним... Я уезжаю не из-за него. Я не хочу сводить с ним никаких счетов — пойми меня правильно, Вадим! Он уже не противен мне, а просто безразличен. Ушел из моей жизни и никогда не вернется. Но я комсомолка, Вадим, и ты комсомолец; и вот я спрашиваю тебя: он действительно заслужил все эти знаки отличия, почетную стипендию? Может быть, это совместимо или так нужно... Я не знаю...

Вадим смотрел на нее исподлобья.

— Если он хочет вступить в партию, это еще не значит, что его примут,— сказал он.— И в Ленинград он не поедет.

— А прежние его успехи?

— Какие успехи?

— Его реферат, персональная стипендия...

— Какие успехи? — повторил Вадим, точно не слыша ее.— Не бывает людей с двойным лицом. В конце концов всегда оказывается одно. А настоящее... которое трудней разглядеть... Это верно, верно...

— Что верно? — спросила Валя.— Я не поняла...

— Думаю, Валя. О нем думаю... Он очень хитрый человек, оказывается. То есть я уже знаю об этом с некоторых пор. Понимаешь, то, что ты рассказала мне, это — как бы сказать? — это еще не криминал. Как говорится, поди докажи! Но доказывать ничего не надо. Все ясно. Теперь он ясен мне до конца.

Валя встала, молча надела пальто.

— У нас был деловой разговор — да, Вадим?

— Вполне деловой.

— Ну вот. И не думай, что я уезжаю из-за этой истории. Я давно хотела работать в харьковском институте. У меня очень интересная тема диссертации.

И Валя заговорила о своей работе и рассказывала о ней все время, пока они шли через двор и по переулку. Вадим молча слушал, идя рядом с ней и держа ее под руку. Он думал о Палавине. И думал о себе. На улице они простились.

Протянув ему руку, Валя спросила:

— Как ты думаешь, я правильно сделала, что рассказала тебе? — Она неуверенно вдруг рассмеялась.— Или... может быть, ты перестал уважать меня?

— Я стал уважать тебя больше.

— Это правда?

— Правда.

Валя порывисто шагнула к нему и, как маленькая девочка, уткнулась лицом ему в грудь. Вадим обнял ее за плечи.

— У меня был брат. Высокий, очень сильный...— прошептала Валя.— Он погиб в финскую...

Помолчав, она спросила:

— Дима... Можно я буду писать тебе?

— Конечно, Валя. Я тебе тоже напишу.

Вадим приехал в клуб за десять минут до начала. Малый клубный зал был заполнен почти целиком — вечер был необычный для института, и слушателей набралось много. Были приглашены с других курсов, пришли и заводские комсомольцы; они терпеливо сидели на стульях, вполголоса переговаривались и почтительно поглядывали на эстраду. Студенты по-хозяйски бродили по залу, коридорам, некоторые подходили к Палавину, сидевшему за столом на эстраде рядом со Спартаком, и что-то говорили ему со смехом, заглядывали в рукопись...

Андрей привел почти весь литературный кружок. Был здесь и Игорь Сотников, в новом темно-синем костюме, с галстуком, гладко причесанный и сокрушительно пахнущий одеколоном.

Вадим поговорил с ребятами несколько минут, потом заметил Олю — она стояла в конце зала и рассматривала громадную красочную афишу, возвещавшую о сегодняшнем вечере. На ней было то же синее платьице, что и в новогодний вечер.

Увидев Вадима, Оля обрадовалась:

— Наконец-то! Андрей меня совсем забросил, а я тут никого не знаю. Познакомить он ведь не догадается.

Вадим тоже был рад этой неожиданной встрече. Он часто вспоминал об Оле, и последние дни все чаще. Он вспоминал ее не на новогоднем вечере, а на лыжах, в сереньком свитере и большой пыжиковой шапке, с белыми от снега ресницами. Он вспоминал весь тот снежный и странный день, и чем дальше этот день отодвигался назад, тем ярче были воспоминания, ярче и неправдоподобней. Думая в последние дни об Оле, он почему-то не мог представить себе ее лицо. Оно возникало расплывчато и мгновенно, как в сновидении.

— Что вы так смотрите? — удивленно спросила Оля. — Может быть, вы забыли меня? Не узнаете?

— Я давно вас не видел.

— Ужасно давно! А хоть бы раз с Андрюшкой привет передал.

— Но и вы тоже...

— Я передавала, неправда. Но сколько можно — передаю, передаю, и никакого ответа!

— Андрей ничего не говорил мне.

— Да? Сейчас я вас уличу.

Она взяла Вадима за руку и быстро повела за собой. Андрей разговаривал с Балашовым.

— Андрюшка! — сказала Оля, трогая брата за плечо. — Ты передавал Вадиму приветы от меня?

Андрей встряхнул плечом и, не оборачиваясь, продолжал разговаривать.

— Ты слышишь? Андрей?

— Что тебе?

— Я спрашиваю: ты передавал Вадиму приветы от меня?

— Какие приветы? Не помню. Я передавал тебе?

Вадим отрицательно покачал головой.

— Значит — нет. Видишь, говорит — нет.

Оля смотрела на брата, покраснев от обиды.

— Как тебе не стыдно!

— Елка, извини, отстань... Ну, забыл! Дай поговорить с человеком.

— Шляпа несчастная! — сказала Оля дрогнувшим от возмущения голосом и, повернувшись, пошла в противоположную сторону зала.

Вадим сел рядом с ней.

— Вот видите, я не виноват.

— Да, но вы и Андрея не просили передавать! — сказала Оля, подумав.— Виновата, конечно, я. И виновата в том, что мой брат так дурно воспитан. Не уделяла ему достаточно времени, и вот — результат.

Между тем на эстраде появилась Марина Гравец, оживленная и румяная, как всегда, и улыбающаяся так торжественно, точно она сама была героем сегодняшнего вечера.

— Итак, начинаем наш литературный вечер! — громко объявила она.— Сегодня студент нашего третьего курса Сергей Палавин будет читать свою повесть «Высокий накал». После перерыва выступят два оппонента, а затем — все желающие.

Палавин встал из-за стола с пухлой кожаной папкой под мышкой и подошел к трибуне. Очевидно, он волновался — для чего-то переставил графин с одного края трибуны на другой, для чего-то торопливо причесал волосы. Потом обхватил трибуну обеими руками, будто собирался поднять ее, и начал громко читать:

— «Протяжный долгий гудок рассек утреннюю тишину. На улице было морозно и мглисто. Максим Толокин, токарь шестого разряда, встал, как всегда, самый первый в общежитии для молодых рабочих. Это был коренастый, сероглазый крепыш...»

Палавин понемногу успокоился и читал с удовольствием и выразительно. Диалоги он произносил на разные голоса, помогал себе мимикой. А в отдельных местах, которые ему самому нравились, он поднимал голову и, не сдерживая улыбки, мельком оглядывал зал.

Запоздавшие студенты все прибывали. Выслушав сердитое шипенье дежурного, стоявшего в дверях, они на цыпочках проходили в зал и садились где попало. Вошла Лена Медовская и с ней две девушки из тех, что были на новоселье, и какая-то нарядная полная дама с меховой муфтой. Вадим узнал Альбину Трофимовну. Две девушки робко остались сзади, а Лена и Альбина

Трофимовна сразу же прошли к первым рядам, подняв своими туфлями и платьем необычайный скрип и шуршанье. В первых рядах сидели несколько преподавателей, особо активные студенты с блокнотами и авторучками в руках и два палавинских оппонента.

Повесть была небольшая, скорее это был пространный рассказ страниц на пятьдесят. Сюжет заключался в следующем. Токарь Толокин полюбил секретаршу заводоуправления Полю. Поля принимает решение перейти работать в цех, но Толокин против. Он не верит, что она сможет работать по-настоящему, и, кроме того, она больше нравится ему на «чистой работе», в заводоуправлении. Они ссорятся. Поля работает отлично и вскоре побеждает Толокина в соцсоревновании. На этой почве конфликт еще более углубляется, но затем происходит их примирение. Попутно выведены образы комсорга, начальника цеха и некоего снабженца дяди Яши, выступающего в роли злого духа и зачинщика всех конфликтов между влюбленными.

Чем дальше Вадим слушал, тем более крепло в нем чувство смутного, тягостного раздражения. Это чувство возникло вовсе не оттого, что повесть Палавина была длинной и скучной, а оттого, что Вадим старался понять причины этой утомительной длинноты и этой скуки, и вот понять почему-то не удавалось. Да, Валя не ошиблась: все в этой повести было «правильно» и в то же время — все неправильно. Эта повесть очень походила на талантливое произведение и в то же время была насквозь бездарна. Она казалась как будто нужной, своевременной — и вместе с тем была явно ненужной и даже чем-то вредной.

Все здесь, от первой до последней страницы, было привычным, назойливо знакомым, но знакомым не по жизни, а по каким-то другим повестям, рассказам, статьям, очеркам. Вадим слушал, не переставая удивляться. Он никак не ожидал, что «вещь» Палавина окажется так скучна, так раздражающе скучна. «Может быть, у меня одного такое впечатление? Или я чего-то не понимаю?» — подумал Вадим и взглянул на Олю.

Она сидела выпрямившись и не сводила внимательных глаз с Палавина. Да, она, кажется, переживала все перипетии сюжета и даже улыбалась от волнения. Вадим спросил ее шепотом:

— Вам нравится?

— Мне? Да нет, знаете...— Она вдруг смущенно рас-

смеялась.— Мне почему-то скучно стало. А за ним наблюдать интересно, он у вас артист. Знаете, на кого он похож? На тетерева. Поет, как тетерев на току, и ничего вокруг не слышит, кроме своей песни...

Вадим бегло оглядел других слушателей. Нет, он не был одинок в этом зале — ни один человек не показался ему хоть сколько-нибудь увлеченным. Одни, наиболее терпеливые и дисциплинированные, сидели с тем выражением каменного внимания на лице, какое появлялось у них во время скучных лекций. Другие томились, третьи безразлично покашливали, шепотом беседовали между собой. Несколько человек ушли во время чтения. Все оборачивались на них и с внезапным оживлением начинали шикать.

Наконец Палавин прочел последнюю строчку:

— «А в широкие фрамуги врывалось ослепительное весеннее солнце...»

Он сложил рукопись, выпил воды и голосом, изменившимся от усталости и волнения, сказал:

— Вот и все. Финита...

Затем он улыбнулся, переставил графин с края на край и сошел с трибуны. Кто-то захлопал в первом ряду. Зал вежливо откликнулся. Хлопали минуту или две без особого энтузиазма, но с явным облегчением.

Марина Гравец встала из-за стола и свежим, приятно звучным голосом объявила перерыв.

Оппоненты — Нина Фокина и молоденький, кудрявый юноша, второкурсник, оба очень серьезные и в очках,— говорили недолго и малоинтересно. Они оба были как будто растерянны, без конца повторялись, нерешительно и не по существу спорили друг с другом. Несмотря на всю свою добросовестность, Нина Фокина так и не могла ясно доказать, почему «замысел повести остался, пожалуй, в общем и целом неосуществленным». Она говорила все о пустяках, о фразах и привела такое количество мудреных словечек из учебника «Теория литературы», что речь ее показалась Вадиму на редкость путаной и скучной не меньше, чем сама повесть.

Слушая Фокину, Палавин отчужденно, без улыбки смотрел в зал. После выступлений оппонентов настала пауза. Никто не хотел говорить первым.

— Кто же начнет? Товарищи, давайте смелее! — приглашала Марина.

Палавин усмехнулся:

— Народ безмолвствует...

Наклонившись к Вадиму, Оля спросила тихо:

— А вы будете выступать?

— Нет.— Вадим потряс головой.

Он знал, что ему нельзя выступать сегодня. Он не сумел бы остаться спокойным и неминуемо наговорил бы лишнего — того, о чем следовало говорить не на таком вечере и не теперь. Но Вадим чувствовал, что и всем вообще не очень-то хочется выступать. После перерыва людей в зале стало меньше, а у тех, кто остался, был такой вид, словно они чем-то смущены и уже раскаиваются в том, что остались. Неловкая пауза затягивалась. Марина делала знаки Андрею, приглашая его к трибуне, но тот уклончиво пожимал плечами, отворачивался и, наконец, наклонил голову, чтобы Марина его не видела. Неожиданно из зала раздался звонкий голос Валюши Мауэр:

— Маришка, можно я отсюда выступлю?

— Нет, выходи к трибуне,— сказала Марина.

— Да я всего два слова...

— Все равно.

Валюша быстро выбежала к трибуне и, вся сияя улыбкой, радостно проговорила:

— Я совсем немножко. По-моему, эта повесть нехудожественная. А почему? Потому, что слушать было очень скучно. Я, конечно, заводской жизни не знаю, но если б повесть была художественная, я бы слушала с интересом. А так было очень скучно.

И, улыбаясь еще радостней, Валюша побежала обратно к своему месту. В зале оживились, кто-то засмеялся, кто-то раза два хлопнул в ладоши. Палавин смотрел вслед Валюше, презрительно усмехаясь. Наконец один за другим вышли еще несколько ораторов: Тезя Великанова, Мак, Лагоденко, Андрей. Все говорили очень резко, особенно Лагоденко. Он стоял, по своей привычке, не на трибуне, а рядом, прочно расставив ноги, засунув пальцы за широкий флотский ремень. Говорил он долго и, видимо, с удовольствием, пересыпая свою речь острыми шуточками, которые понемногу развеселили аудиторию. В зале то и дело слышался смех.

Вначале Палавин пытался спорить с места, сердито перебивал выступавших: «Неверно! Не передергивайте!» или «Вы не знаете завода!», «Ха-ха!» Марина утихомирила его. Еще некоторое время он молчаливо воз-

мущался, пожимал плечами, что-то поспешно записывал, но потом успокоился и демонстративно засунул руки в карманы. Он все время поглядывал в сторону заводских ребят, еще надеясь, очевидно, на их поддержку.

И вот быстрым шагом вышел к трибуне Балашов. Он немного побледнел от волнения, долго откашливался, хмурился и вдруг заговорил сразу громко, напористо. Выступление это оказалось для Палавина самым страшным, уничтожающим.

— Беда не в том, что автор не знает завода, а имеет только некоторое представление о заводоуправлении,— говорил Балашов.— Беда в том, что повесть товарища Палавина написана как будто по рецепту. Он не знает ни жизни, ни людей, о которых стал писать, у него была только схема. И вот на бумаге эта схема осталась, а людей все равно нет. Разве ваш Толокин похож на живого рабочего, комсомольца? Ведь он говорит все время очень правильно, как по газете,— а ему не веришь, потому что он не живой, а как будто из фанеры склеенный. Надо было автору вместе со своими товарищами почаще у нас на заводе бывать. Тогда, может, и вышло бы дело. А так — что получилось? Халтура, явный брак, и больше ничего...

Когда Балашов кончил, весь зал неожиданно зааплодировал. И Вадим аплодировал вместе со всеми и, наверное, даже громче всех. Его радовало, что именно Балашов сказал Палавину напрямик самые беспощадные и самые справедливые слова.

После выступления Балашова, которое было последним, к трибуне торопливо вышел Палавин. Он опять обнял трибуну обеими руками, но теперь Вадиму показалось, что он ухватился за нее, чтобы не упасть.

— Во-первых, я благодарю, товарищи,— начал он с неестественной бойкостью,— всех вас за критику! Благодарю. Особенно полезны для меня выступления товарищей оппонентов. Они внимательно прочитали повесть и выступили с очень серьезным, дельным разбором. Я им очень благодарен, безусловно. Но, товарищи! — Он ударил ладонью по трибуне и, напряженно нахмурившись, несколько секунд молчал. Что-то вдруг забыл. Всем было тягостно смотреть на него. Вдруг он вскинул голову: — Да! Но, товарищи, я не принимаю бездоказательной, заушательской критики! Когда человек начинает с апломбом критиковать то, о чем он не имеет ни малейшего представления, и говорит грубую,

издевательскую чепуху, тогда мне, товарищи, становится противно слушать и хочется уйти. Зачем мне это надо? Зачем мне слушать критическую брань Лагоденко, который своим выступлением не помог мне ни на йоту, не открыл ничего нового? Ведь то, что этот сеньор невежествен, для меня не новость. Но он становится в позу метра и поучает меня с кафедры! Вот, например...— Палавин взглянул в свои записи, возбужденно усмехнулся: — Он заявил, что я не знаю завода. Он издевался: интересно, мол, как Палавин нарежет клуппом болт. Болт, мол, нарезается не клуппом, а плашками. И эта мелкая деталь раскрывает, дескать, надувательский характер повести... Так вот слушайте, сеньор знаток: клуппом называется рама, в которую вставляются плашки. Понятно? Надо самому что-то знать, прежде чем учить других.

— Спасительный клуппик! — пробасил Лагоденко добродушно.— Да ты, милый мой, по существу должен говорить, о повести!

Палавин сейчас же обернулся к Марине Гравец:

— Прошу меня хоть здесь, на трибуне, оградить от поучений.

— Лагоденко, соблюдай порядок! — сказала Марина строго.— Нельзя перебивать.

— Затем,— продолжал Палавин,— Андрей Сырых говорил, что все лирические, любовные сцены у меня очень искусственны, примитивны, и не так, дескать, люди говорят в подобных случаях, не так думают. Ну — знаете! — Палавин усмехнулся, разведя руками.— Сырых, конечно, крупный специалист по вопросам любви и лирических сцен, но все-таки надо говорить не голословно, надо аргументировать! А как же люди говорят в таких случаях? Как же они думают? Но этого Сырых, к сожалению, не сказал. А ведь, как крупный специалист, он мог бы сказать об этом с точностью. Например — Тургенев, «Вешние воды», страница такая-то, «Анна Каренина», страница такая-то... Вот, товарищи, почему обсуждение меня не удовлетворило. Очень много было сказано дельного, серьезного и очень много нелепого, непродуманного. Наконец я еще раз всех благодарю и особенно товарищей с завода и, так сказать, принимаю все к сведению. А повесть я переделаю и закончу. Вы не сомневайтесь.

Он полуутвердительно, полуугрожающе взмахнул рукой и сошел с трибуны. Но Вадим ясно почувство-

вал, что это уже не прежний Палавин — блестящий, самоуверенный, в немеркнущем ореоле удачи. Он еще держался прямо, говорил громко, еще острил и воинственно каламбурил, но это был другой человек. Как будто он стал меньше ростом и — самое страшное для него — впервые показался смешным. Все почему-то чувствовали неловкость и не решались заговорить с ним.

Вадим остановил его на лестнице:

— Слушай-ка: а себя, интересно, ты считаешь специалистом в вопросах любви и лирики?

Палавин секунду с недоумением смотрел на Вадима. Медленно вытер бледное лицо платком и сказал резко:

— Это обструкция — да, да! Нарочно подстроено. И Сырых нарочно пригласил рабочих.

— Позволь, ты же сам их благодарил.

— Это обструкция! — повторил Палавин.— Я не слепой. Ну хорошо, увидим.

Он ушел, крепко зажав под мышкой свою толстую кожаную папку.

На Вадима набросилась Лена:

— Как вам не стыдно! Вы нарочно подстроили, позвали этих слесарей. Зачем? Как не стыдно!

— Что ты повторяешь глупости! — сказал Спартак, подойдя к ним.— Подумай, что ты говоришь!

— Я тоже не слепая! Как нечестно, не по-товарищески! — восклицала Лена гневным, дрожащим голосом. Вадим никогда не видел ее в таком волнении, она чуть не плакала.— Вы же буквально убили его! Он же не Лев Толстой, не Эренбург...

Альбина Трофимовна сочувственно кивала:

— Прямо коршуны, коршуны... Нельзя так, мальчики! Конечно, у автора есть недостатки, талант молодой, начинающий — не правда ли? Надо это учитывать.

— Мама, пойдем! Это же так задумано...

К Вадиму незаметно подошла Оля, взяла его сзади за локоть и сказала тихо:

— А мне жалко.

— Кого жалко? — спросил Вадим, обернувшись к ней.— Нечего его жалеть. Взялся не за свое дело, его и раскритиковали. И правильно! Нечего тут...

— Да мне Лену жалко, а не этого — тетерева. Как она, бедная, волновалась все время! Даже записывала что-то, наверно, хотела выступать, а потом разорвала...

— Возможно. Я не видел.

— Наверно, очень любит его, да? Бедная девочка...

Было еще не так поздно, и в зале начались танцы. Кто-то заиграл на рояле, музыку заглушил треск раздвигаемых стульев. Вадим танцевать не собирался, но в зал вошел.

На рояле играл Леша. Студенты и гости — все перемешались, танцевали друг с другом. Кто-то из девушек запел песню, ее басом подхватил Лагоденко. Становилось беспорядочно, шумно и по-обычному, по-субботнему весело...

Яркая большая афиша палавинского вечера болталась на одном гвозде. Потом кто-то из танцующих задел ее, она свалилась на пол, и еще кто-то мимоходом отбросил ее под рояль.

ГЛАВА 25

В марте институт одержал наконец трудную победу над «Химснабом». Нижний этаж здания освободился, и там был организован «малый» спортивный зал — в дополнение к старому «большому» институтскому спортзалу. Этот «малый» зал целиком был отдан волейболистам и потому стал называться «волейбольным». Тренер по волейболу Василий Адамович Кульбицкий расхаживал с таким видом, словно он получил повышение и стал деканом или по меньшей мере завкафедрой.

Волейбольная секция начала регулярные тренировки — близился второй тур межвузовских соревнований. В первом туре, который закончился в ноябре, мужская команда института заняла второе место. Победителем был химический институт.

Лучшим игроком института и кумиром институтских болельщиков считался Сергей Палавин. Он играл в команде первым нападающим — «четвертым номером». Вадим тоже был неплохой волейболист. Он играл «третьим» — накидывал Палавину на гас. Остальные четыре игрока сборной были с других факультетов.

После своего неудачного литературного дебюта Палавин целую неделю не приходил в институт. Ему звонили, оказалось — простужен, сидит дома с температурой. Явился он как раз во вторник, в день занятия волейбольной секции, но в тренировке участвовать отказался, сославшись на слабость после болезни. На его место тренировали Рашида, который начал играть в волейбол недавно, но благодаря своему росту, силе и природной ловкости быстро добился успехов.

Волейбол утомляет, как не многие из спортивных игр. После долгого перерыва Вадим это сразу почувствовал. Окончив тренировку, он сел на скамью обессиленный, потный, с неразгибающейся спиной. В дверь просунулась вдруг кудрявая голова Спартака.

— Белов здесь? Выйди-ка на минуту!

Вадим оделся, уложил спортивные штаны и тапки в чемоданчик и вышел в коридор. Спартак ждал его, прислонившись плечом к стене, и что-то торопливо дописывал в блокноте.

— Ага! Такое дело, Дима. На днях я отчитываюсь перед райкомом. Вот тут я набросал кое-что о нашей работе на заводе, ты посмотри,— он дал Вадиму блокнот.— Теперь следующее: у нас сегодня собрание НСО, оперативное. Намечаем кандидатуру для поездки в Ленинград на научную конференцию.

— И кого ж ты предполагаешь?

— А это мы решим. Да, вот что! — Спартак вынул из кармана свернутый в трубочку журнал, еще пахнущий краской.— Это мне Сергей сегодня принес. Посмотри на двадцатой странице.

Вадим взял журнал — это была «Смена», открыл двадцатую страницу и увидел статью Палавина: «Тургенев-драматург». Она была сильно сокращена, занимала меньше двух страниц. В подзаголовке говорилось о том, что эта статья является выдержкой из работы студента такого-то института, члена научного студенческого общества.

— Значит, что — Палавин намечается? — спросил Вадим, закрывая журнал. Он скатал его в трубку и стал скручивать все туже.

— Не знаю, подумаем. Дай журнал, сомнешь... А почему бы не Палавин? Он кончает сейчас работу о Чернышевском, говорит, через два дня принесет. Чего ты хмуришься? Вы с ним в ссоре, что ли? Не из-за этой ли...

— Да нет!

— Конечно,— кивнул Спартак.— Я в это не верил, чепуха.

— Я хотел поговорить с тобой о нем,— сказал Вадим.

— Знаю! Насчет вечера?

— Что насчет вечера?

— Да вот меня спрашивают: почему это мы допустили его читать слабую повесть? И гостей, дескать, назвали. Надо было, мол, членам бюро сперва ознакомиться.

— А действительно, почему?

— А очень просто почему.— Спартак серьезно посмотрел на Вадима и взял его за плечо.— Мы читали повесть. Вернее — я читал. И я видел, что вещь слабая, будут ее критиковать. С идейной стороны в ней пороков никаких нет, задумана она правильно, тема самая злободневная — взята из газет. Ведь так? И этот паренек заводской назвал ее «вредной», конечно, напрасно. Что там вредного? Просто написана слабо, нехудожественно, потому и кажется, что она искажает жизнь. Понимаешь? Слабо написана, серовато-с.

— Ну правильно.

— Вот. И гостей никаких мы особенно не звали. Заводские ребята из литературного кружка теперь уже гостями у нас не считаются. А обсудить повесть надо было. Для того чтобы продрать уважаемого Сережу с песочком. Полезно ему это. Видишь ли, он что-то последнее время занесся — да, да! На самом деле решил, что он, понимаешь ли, пуп, как говорится, земли...

Вадим иронически усмехнулся, но промолчал.

— Да, да! — продолжал Спартак воодушевляясь.— Ты этого, может быть, не замечаешь, а я вижу! Я заметил, да и не только я. А головокружение от успехов, как и всякое головокружение, лечится знаешь как? Холодным душем. Холодный душ критики очень в таких случаях помогает. Теперь ты понял?

— Я понял. Нет, я хотел с тобой не о вечере говорить.

— Поговорим, Дима. Только...— Спартак взглянул на часы.— Мне надо сейчас звонить в райком. Ты прочти сейчас мой набросок, а после НСО поговорим.

Вадим сказал ему вслед:

— Я буду выступать против его кандидатуры.

— Зачем? — крикнул Спартак, оборачиваясь на ходу.

— Там увидишь...

Вадим быстро пошел назад и вдруг чуть не налетел на Палавина, который так же быстро выходил из-за угла коридора. Столкнувшись лицом к лицу, оба, как по команде, отвели глаза в сторону. Несколько секунд они топтались на одном месте, делая нелепые короткие шажки и всеми силами, но безуспешно пытаясь обойти друг друга. Наконец — разошлись.

«Слышал он или нет? — думал Вадим.— Если и не слышал, то догадался. Наверняка догадался, у него уж такой нюх...»

После ухода Козельского руководителем НСО был временно назначен Иван Антонович. Он принес с собой только что отпечатанный в типографии сигнальный номер сборника. Все шумно и радостно повставали с мест, сгрудились вокруг стола, потом книжка пошла по рукам. Иван Антонович показал и «Смену» со статьей Палавина. Благосклонно принимая поздравления, Палавин говорил со скромной и несколько кислой улыбкой:

— Они там здорово сократили, покалечили. По стилю особенно...

Один номер Палавин подарил Ивану Антоновичу с дарственной надписью на двадцатой странице. Иван Антонович церемонно поклонился, принимая подарок и со смешной торжественностью прижимая его к груди.

Когда оживление вокруг журналов утихло, староста Федя Каплин объявил собрание НСО открытым. Он сказал, что члены общества должны выдвинуть одного делегата на научную студенческую конференцию Ленинградского университета. Кандидатура будет утверждаться дирекцией и партбюро. Делегат должен иметь научную работу, одобренную ученым советом факультета.

Иван Антонович предложил кандидатуры Андрея Сырых и Каплина. Затем сам Каплин выдвинул Палавина, и его поддержала Камкова. Вадим вглядывался в присутствующих — по их лицам он видел, что предложение Каплина никого не удивило. Все серьезно слушали Каплина, который говорил всем известное:

— Персональный стипендиат... Активный комсомолец, общественник... Блестящая работа о Тургеневе, напечатанная в журнале, новая работа о Чернышевском...

И Палавин слушал его так же, как все, серьезно, почти равнодушно. Но один мгновенный взгляд, который он бросил на Вадима,— не злорадный и не торжествующий,— один взгляд вдруг открыл Вадиму, что Палавин встревожен. Вадим все еще молчал. Он слушал. Кто-то выдвинул Нину Фокину, кто-то опять назвал Андрея, опять Палавина. Потом Иван Антонович сказал, что прежде надо ознакомиться с новой работой Палавина.

— Мы успеем, Иван Антонович,— ответил Каплин.— Сергей, ты на этой неделе принесешь?

— Да, мне остались пустяки.

— Вполне успеем! Конференция намечена на начало апреля. Свою кандидатуру, товарищи, я снимаю, по-

тому что я на последнем курсе и готовлюсь к госэкзаменам. Я поддерживаю кандидатуру Палавина.

В это время Палавин попросил слова.

— Товарищи, у меня есть другое предложение,— сказал он, поднимаясь и глядя как будто на Вадима, а на самом деле поверх его.— Надо послать Белова. У него самая интересная тема, он долго над ней работал и кончает реферат на днях.

Иван Антонович утвердительно закивал.

— Верно, верно! У Белова должна быть интересная работа.

— Надо послать Белова,— повторил Палавин, садясь.

— Ты как, Вадим? Кончаешь? — спросил Каплин.

— Я думаю, что...— Вадим решительно поднялся.— Я еще не кончил. Обо мне нечего говорить — я кончу недели через две, не раньше. Я поддерживаю кандидатуру Андрея Сырых. Считаю, что он самый достойный из нас. А самый недостойный из нас — Сергей Палавин.

Все удивленно оглянулись на него. Стало тихо.

— Это почему? — спросил Спартак.— Объясни.

— Я объясню. Я считаю, что мы посылаем лучших. И не только в учебе, но и по своему общественному, моральному, комсомольскому облику. А Палавин не отвечает этому требованию.

— Он что же,— спросил Каплин,— человек необщественный?

— Как всякий карьерист.

— Я карьерист?

— А для тебя это новость?

Все вдруг зашумели, заговорили сразу. Каплин держал Палавина за руку и пытался усадить его на место, а тот, вырываясь, повторял с ожесточением:

— Нет, постой!.. Постой, я говорю!..

— Сядь! — крикнул Каплин, ударив кулаком по столу.— Я требую порядка.

К Вадиму подошел Спартак.

— Ты должен объясниться. Сейчас же.

— Я объяснюсь послезавтра на бюро. Подробно объяснюсь.

— Пусть здесь говорит! — крикнул Палавин.— Я требую здесь!

— Здесь я не буду,— сказал Вадим.

— Это интрига. Я требую немедленно! Как он смеет!..

— Здесь я не буду,— повторил Вадим громко.— Это касается твоего комсомольского лица. Здесь есть беспартийные, не комсомольцы. Не волнуйся — все скажу на бюро.

— Действительно, какой-то шантаж! — фыркнув, сказала Камкова.

— Но меня же оскорбили! Позвольте... Иван Антоныч!

— Я не совсем сведущ в ваших комсомольских законах. Случай, видимо, щекотливый...

Спартак раздумывал минуту, исподлобья поглядывая то на Палавина, то на Вадима. Потом сказал, тряхнув головой:

— Хорошо. Если вопрос стоит шире, он должен разбираться не здесь.

Раздались голоса с мест, и, как всегда, были среди них и серьезные и юмористические:

— Правильно, Спартак!

— Но мы же хотим знать...

— Палавин, требуй у него сатисфакции! Брось варежку!

— А кого мы выдвигаем?

— Спокойно,— сказал Каплин, подняв руку.— Я согласен с секретарем бюро. Видимо, у Белова есть причины, если он не находит возможным здесь говорить. А сегодня мы приблизительно наметили кандидатов: Сырых, Палавина, Фокину. Кто из них поедет — выяснится в ближайшие дни. Все. Собрание считаю закрытым. Теперь объявление: товарищи, кто хочет приобрести экземпляр нашего сборника — платите два пятьдесят Нине Фокиной!

К Вадиму стали подходить студенты, спрашивали вполголоса:

— В чем дело? А?

— Какая тебя муха укусила? — спросила Нина.— То, что он карьерист, это, между нами, весьма вероятно. Но надо ж иметь веские основания...

Вадим раздраженно отмахивался.

— Потерпите, узнаете...

Все понемногу вышли из аудитории. Палавин ушел первым, потом вернулся, о чем-то заговорил с Каплиным. Вадим расслышал только одну фразу:

— Я ж тебе говорил — ты помнишь?

Собирая в портфель свои бумаги, Каплин озабоченно кивал:

— Разберемся, разберемся...

Они ушли вместе с Иваном Антоновичем и Камковой. Вадим остался в аудитории, зная, что ему предстоит разговор со Спартаком. Наконец ушел последний человек. Слышно было, как в коридоре продолжалось громкое обсуждение. Чей-то густой, сытый бас — кажется, того толстогубого старшекурсника, что сидел рядом с Каплиным,— проговорил:

— У французов есть совет для таких темных случаев — шерше ля фам. Ищите женщину. А?

— Ну, глупости!

— Не глупости, милый мой, а вот ищи и обрящешь...

Кто-то засмеялся, потом голоса стали удаляться и стихли. Спартак сел рядом с Вадимом на стул.

— Ну? — сказал он нетерпеливо.— Говори залпом.

Вадим коротко повторил ему рассказ Вали Грузиновой. Спартак все больше хмурился и сопел. Он всегда сопел, погружаясь в неприятные и затруднительные размышления.

— Что, все-таки будет ребенок? — спросил он отрывисто.

— Не будет, я же говорю. Но дело-то не в ребенке.

— Понятно.

Он опустил голову и долго молчал, покусывая ноготь мизинца.

— Ничего не понятно,— сказал он наконец.— Палавин? Черт знает что... Так. Но это одна статья. А при чем тут карьеризм?

— А при том же. Мне кажется, карьеризм и эгоизм — две стороны одной медали. Понимаешь, человек, который в личной жизни вот такой эгоист, он не может быть честным и в общественной жизни. Разве ты не видишь связи?

— Связь, может быть, и бывает... Но, понимаешь...

— Что?

— Да вот — скверная история. И сложная. Вопросы морали, молодежной этики — все это важнейшие вещи, и они касаются нас с тобой кровно. Но браться за них надо серьезно. В сущности, мы вторгаемся в интимную жизнь человека. Так? Это надо делать обдуманно, иметь прочные основания. Чтоб не получилось, что вот, мол, захотелось товарищам из «комсомольской бюры» покопаться за чужой занавеской — они и копаются. Могут так подумать?

— Мало что могут...

— Вот и не «мало что», а могут. А не должны! Понятно? Надо доказать, что мы имели право вторгнуться в личную жизнь — и не только имели право, а должны были это сделать. Давай-ка подумаем...— Он зажмурил вдруг глаза и заговорил медленно, сосредоточенно, как бы оценивая в мыслях каждое слово.— Так... Он соблазнил девушку, обещая на ней жениться. Но не женился. Поступил подло. Так... Нет, слушай, ерунда! Лепет! Совсем не так все было, гораздо сложней, не так, и не можем мы так говорить, глупости! Да, но... Ты доверяешь этой Грузиновой?

— Я доверяю,— сказал Вадим твердо.— Я знаю ее давно и считаю, что она скорее что-нибудь не доскажет, смягчит...

— Тоже не достоинство.

— Она очень сдержанный человек, Спартак. Ей было тяжело решиться на этот разговор со мной. Да и каждому было бы...

— Так. А вызвать ее можно?

— Вызвать? — Вадим задумался на мгновение.— Она не придет. Да ведь она же уехала! Уехала в Харьков.

— Из-за этой несчастной любви?

— Ее направили на работу.

— Ясно.

Спартак вздохнул, сжал голову ладонями. Он опять задумался и на этот раз сопел очень долго.

— Ведь как бывает, а? — заговорил он, усмехнувшись, и полувопросительно посмотрел на Вадима.— Знал ты человека — всеми уважаемого, стипендиата, активиста, умника, то, се... и вдруг бац! Узнаешь какую-то случайную деталь, один бытовой штрих, и этот человек... Вдруг все слетает, как ненужная шелуха, таланты, эрудиция, то, се. Меня, главное, эта фраза поразила: «С мамой посоветоваться!» А? Как-то весь он тут проявился. Я же знаю, как он с мамой советуется... Да и все остальное — очень уж неблагородно, подленько... Мм, неприятно! — И Спартак быстро, сморщив лицо, точно от боли, почесал голову.— Вот я говорю, человек сразу становится неприятен. Но — этого еще мало, Вадим, недостаточно, чтобы обвинять. Нужны факты. А где они?

— Спартак, ты же сам сказал, что он поступил подло!

— Я сказал. Но я не уверен. Она взрослый человек, знала, на что идет. Ведь так? Затем — может быть, он действительно любил ее, действительно хотел женить-

ся. Но потом узнал ее ближе, она оказалась, допустим, дрянью, и любовь кончилась, он отошел. Ведь может быть и так? Может. И если мы станем его спрашивать, он будет отвечать, наверное, именно так. Попробуй опровергни его. И мы остаемся в глупом положении. К тому же этой девицы нет в Москве. Понимаешь ли...

— Спартак, я хочу...

— Подожди. Понимаешь ли, о таких случаях говорить все-таки не принято. Я знаю примеры, когда на комитетах комсомола, на общих собраниях обсуждались аморальные поступки. Не у нас. А в другом институте, я знаю, был один случай в позапрошлом году. Исключили из комсомола парня за связь с девушкой, у которой остался ребенок после него. Там была грязная история — парень этот требовал, чтобы она сделала аборт, она отказалась, он бросил ее с ребенком. Исключили его — и правильно сделали. Но там дело было явное. А с Палавиным... ведь ничего этого нет.

Вадим молчал, насупленно глядя перед собой. Потом он перевел взгляд на Спартака и медленно покачал головой.

— Нет. Дело совсем не в том. Лично для меня все его поведение с Валей только последняя черта на его подлинном портрете. Вот в чем дело. Я долгое время не мог раскусить его. Потом я раскусил, но долгое время молчал. Вот ты говоришь, что он зазнался. А я скажу тебе больше. Я видел, как он относится к учебе — ведь он презирает наш институт и всех нас, потому что, видишь ли, мы будущие педагоги — люди ограниченные, нетворческие, бездарная шушера. А почему он пошел в наш институт? Да потому, что на нашем «сером» фоне ему легче отличиться, построить карьеру. Потому, кстати, он и на экзаменах идет всегда отвечать среди последних, когда отвечают наиболее слабые. Я видел, как он добивался персональной стипендии. И, надо сказать, он получил ее не только благодаря своим способностям студента, но и благодаря некоторым другим своим способностям. Я видел это. И видел, как он ловчил с Козельским, и с тобой, и со всеми нами. Ведь он из каждого из нас умел извлекать пользу для себя. Да, если в него не вглядываться, очень трудно понять...

— Слушай...— Спартак вдруг вскочил на ноги.— Ты мне открываешь глаза!

— Да. Я, может быть, поступаю некрасиво, потому что он ни с кем не был так откровенен, как со мной.

А я слишком вяло с ним спорил. Больше иронизировал, а надо было стукнуть по столу кулаком. Я виноват во многом. Но теперь, понимаешь... Я уже не могу теперь говорить с ним с глазу на глаз. Должен быть большой разговор, чтоб все участвовали. Тогда, может быть, выйдет толк. Я же все-таки... мы не считаем его таким уж безнадежным, верно ведь? Нет, ясное дело...

— Вот что,— с внезапной решимостью сказал Спартак.— Мы соберем закрытое бюро. Послезавтра.

В среду весь факультет уже знал о событии в НСО. Многие подходили к Вадиму с вопросом: «Что у вас произошло?» Вадим коротко, а подчас грубо обрывал их. Ему не хотелось рассказывать все даже близким друзьям. Зато он видел, как с тем же вопросом любопытные подходили к Палавину и тот что-то длинно, охотно объяснял им.

Весь день под внешним спокойствием Вадим скрывал мрачное, утомлявшее его напряжение. Он замечал, что некоторые студенты по-новому, недоброжелательно или насмешливо косятся на него, что другие обижены его отказом разговаривать. Лена Медовская проходила мимо, не глядя на него, с выражением сугубого презрения на лице. Вероятно, многие уже приблизительно знали существо вопроса, который должен был разбираться на бюро. Знали об этом Рая Волкова и Лагоденко, знал Спартак, они кому-нибудь рассказали, а те передали дальше...

Вадим услышал в коридоре, как Палавин громко разговаривал с двумя старшекурсниками:

— И Фокина туда же? Ну, эта-то Савонарола оттого, что она сова на рыло...

Все трое расхохотались.

На той же перемене к Вадиму подошел Ремешков и спросил, глядя на него испуганно:

— Ты что ж, брат, проповедуешь непорочное зачатие?

— Дурак! — сказал Вадим, вспыхнув.

— Нет, а серьезно? В чем дело?

— Серьезно я буду говорить завтра. И отойди от меня.

Люся Воронкова была упоена всем происшедшим и тем, что еще готовилось произойти. Она то и дело кому-то сообщала: «Сережка с Вадькой разругались в дым! Ой, что будет!» Трудно было сказать, доживет ли

она до четверга или умрет ночью от любопытства. Но Вадим чувствовал, что все-таки большинство студентов относится к Палавину с меньшей симпатией. Андрей и Мак не спрашивали его ни о чем, видя, что он не хочет говорить. Лагоденко как будто невзначай пожал Вадиму руку:

— Старик, полный вперед! Поддержим.

После лекции Вадим ушел в Ленинскую библиотеку и работал там не вставая до самого закрытия — до одиннадцати вечера. В этот день он успел много, как никогда, и закончил весь реферат вчерне. Дней восемь — десять пойдет на доработку, переписку, и работа будет закончена. В библиотеке Вадим почти не думал о Палавине. Но в троллейбусе, который идет от библиотеки до Калужской четверть часа, мысли о завтрашнем дне накинулись на него, как стая гончих, спущенная со своры. Он прижимался лбом к оконному стеклу, пересаживался с места на место и потом ни с того ни с сего выпрыгнул из троллейбуса на две остановки раньше.

Он волновался перед завтрашним днем больше, чем перед самым трудным экзаменом.

Несколько дней назад вернулась из санатория Вера Фаддеевна. Сейчас Вадим подумал, что было бы лучше, если бы она приехала домой чуть позже — когда вся эта история с Сергеем закончится. И сегодняшний вечер, пожалуй, ему легче было бы провести одному.

— Отчего так долго? — спросила Вера Фаддеевна, открывая Вадиму дверь.— Опять на заводе?

— Нет, в библиотеке.

— А тебя тут одна гостья ждала. Сидела-сидела, занимала меня разговорами да так, не дождавшись, и ушла. Полчаса как ушла.

— Кто это? — насторожился Вадим. У него сразу мелькнула неприятная мысль о Лене.— Лена, что ли?

— Да нет, постарше. Ирина Викторовна была.

— Ах, так! — сказал Вадим и, раздевшись, прошел в ванную комнату. «Хорошо, что не застал ее,— подумал он, моя руки.— Интересно, что это за посольство?»

Однако, сев за стол ужинать, Вадим не стал ни о чем спрашивать. Он ждал, пока мать заговорит сама. Но Вера Фаддеевна осведомлялась больше насчет ужина: хорошо ли посолено и дать ли горчицы.

— Ты гляди как уплетаешь,— сказала она.— А Ирина Викторовна поковыряла да отставила. Я уж думала, невкусно...

Покончив с едой и закурив, Вадим наконец спросил:

— Что ж она тут рассказывала?

— Да много чего рассказала, много...— ответила Вера Фаддеевна, покачав головой.— Прибежала бледная, лица нет, я думаю: что стряслось? Оказывается, ты что-то против Сергея затеял, поругались вы и ты будто грозишься выступать на комсомольском бюро. Ты знаешь — она чуть не плакала. А я растерялась. Не знаю, что и говорить, как успокаивать... И не пойму, главное, из-за чего все?

— Про Валю она говорила?

— Говорила про Валю, да, да.

— А что?

— Говорила, что девушка образованная, но из таких, знаешь... одним словом, многое может позволить. Так я ее поняла. Она, говорит, была против этого знакомства, но она же Сергею не указ! Ну, дружили они, ходили-гуляли, а потом разошлись.

— А почему?

— Говорит, разонравились друг другу. И она очень одобряет Сергея, потому что Валя эта, по ее мнению, для него не пара. У нее, видишь ли, характер тяжелый, со здоровьем что-то неблагополучно и потом — семья неинтеллигентная...

— Мама, она мещанка. Разве ты не знаешь?

— Сын, я знаю ее двадцать лет. Но...— Вера Фаддеевна осторожно взглянула на Вадима.— Если там кончилось все сравнительно благополучно — ведь так? — стоит ли подымать целую историю? Я вот сомневаюсь...

— Что значит — сравнительно благополучно?

— Ну, без особых последствий, без драм...

Вадим усмехнулся, закрывая глаза. Он чувствовал необоримую усталость и желание спать.

— Никто под поезд не бросился, да? Ребеночка в проруби не утопили? Это — сравнительное благополучие? Да, для него, конечно, все обошлось вполне благополучно. Он по-прежнему весел, здоров, свободен. Куда уж благополучней! А для нее это горе, ты понимаешь? — Вадим открыл глаза и выпрямился. Голос его зазвучал громко и раздраженно, оттого что ему хотелось спать и одновременно хотелось доказать матери свою правоту.— Настоящее горе, виной которому он один!

— А я во многом виню и девушку. В наше время девушки были осмотрительней.

— Да в чем она виновата? В том, что она поверила ему, полюбила?.. Нет, тебя разжалобила эта мадам, которая, кроме своего драгоценного чада, ничего не знает и не понимает, и ты пытаешься выполнить свое обещание. Ведь ты обещала ей повлиять на меня, отговорить? Признавайся!

— Ничего я не обещала,— сердито сказала Вера Фаддеевна.— Я говорю то, что думаю. И я вижу — дело не такое уж серьезное, а Сергею может сильно повредить. Все-таки он твой товарищ. Росли вместе, учились... И домами сколько лет знакомы. Мог бы сюда его привести, мы бы его так вздули, что он костей не собрал. А ты целый спектакль организуешь...

— Да, я виноват, виноват,— сказал Вадим, послушно кивая,— виноват в том, что не говорил с ним серьезно ни разу. А теперь пришло время. И потому именно, что я старый его товарищ, я должен быть беспощаднее всех других. Вот все.

— Суров ты, Вадим,— сказала Вера Фаддеевна, помолчав.— Ну, поступай как знаешь...

Она вышла из комнаты. Когда она вернулась, Вадим уже разбирал свою постель. Но теперь, когда он лег под одеяло, сон не приходил к нему. Вера Фаддеевна потушила свет и тоже легла, а он все еще не мог заснуть. В комнате и за окном было темно. Только маленькие отцовские часы со светящимся циферблатом горели на стене наподобие светляка.

Вадиму вдруг захотелось взять свои старые дневники и вспомнить Сергея таким, каким он был когда-то очень давно, не «старым товарищем, еще со школьной скамьи», а просто Сережкой по прозвищу Кекс. У Вадима было несколько школьных дневников и один блокнот фронтовых записей. Все это лежало навалом вместе со всяким бумажным старьем, письмами, вырезками из газет в нижнем ящике письменного стола. Вадим встал с постели и зажег настольную лампу.

Вот самый первый дневник — выцветший бурый переплет общей тетради с акварельной надписью: «Моя жизнь», вокруг которой нарисованы пароходы, пальмы, похожие на пауков, горные пики и планета Сатурн.

«1936 год. 7 июля.

Сегодня мой день рождения. Мне стукнуло одиннадцать лет. Были все ребята с нашего двора, которые принесли мне подарки. Потом мы играли в «итальянку» один

на один. Я проиграл только Шурке, а у остальных выиграл. Сережка тоже мне проиграл и сказал, что он нарочно поддался, потому что я именинник. А сам был весь потный, как рак, потому что старался изо всех сил. Потом запускали бумажного змея. Он был склеен из контурных карт.

1938 год. 13 августа.

Ходили купаться на Габай, там хорошее дно и пляж. Мы с Сережей переплыли на ту сторону. С нами была Зина, она очень хорошо плавает, но все время визжит и хохочет, как будто ей щекотно. Потом мы вышли на ту сторону. Там был большой луг, он изумрудно блестел под лучами заходящего солнца. Когда поплыли обратно, я отстал. Они уже вышли на берег и бегали там, чтобы обсохнуть. Я крикнул Сережке, чтобы он перенес мое барахло к тому месту, куда я подплывал, и показал из воды рукой: «Сюда! сюда!» А он вдруг бросился с разбегу в воду и поплыл ко мне кролем. Я хохотал и кричал ему, но он ничего не слышал. Подплыл, схватил меня за руку, а я хохочу. Он думал, что я тону. Он мой самый лучший друг.

...15 августа.

Зине, оказывается, уже пятнадцать лет. Сережка сказал, что если б она жила в Африке, у нее давно были бы дети. По-моему, он врет.

1938 год. 10 декабря.

Вчера в Доме пионеров был вечер, и там были ребята из Испании. Один мальчик, черный и худой, похожий на Мишку Шварца, рассказывал про борьбу республиканцев с фашистскими бандитами. Он говорил по-испански, а одна женщина переводила. После этого открылась выставка художественной студии, в которой я занимаюсь. Выставка посвящена борцам республиканской Испании. Я изобразил в красках бой под Теруэлем. Антон Дмитриевич похвалил мой штрих и экспрессию, но сказал, что пальмы не специфичны для Испании (нужно лавры). Сережка тоже был на вечере со своим драматическим кружком. Они представили пьесу из жизни республиканцев, и Сережка играл главную роль — товарища Хуана.

1939 год. 8 декабря.

Мы переехали на новую квартиру, на Калужскую улицу. Дом новый, шестиэтажный, и квартира у нас лучше прежней, но мне очень жалко расставаться со школой и ребятами. С Сергеем, конечно, я буду часто встречаться. Прошлым летом мы были с ним в туристском походе на озере Селигер, а следующим летом мы решили поехать на Кавказ. Я теперь каждый день занимаюсь гимнастикой и обливаюсь холодной водой. Надо готовить себя к экспедиции, как это делал Амундсен...

1940 год. 10 апреля.

Вчера у Сергея устроили вечер. Были все старые школьные друзья из нашей компании. Маша очень выросла, она занимается теперь в балетной школе. Учила меня танцевать. Было очень весело. Сергей читал нам свои стихи (очень хорошие, хотя немного подражательные). Потом на коротких волнах мы поймали вдруг Осло. Немецкий голос говорил, что фашистские войска заняли столицу Норвегии. «Вы слышите шаг победоносной армии...» И действительно, мы услышали грохот сапог по асфальту: ррpух-ррpух-ррpух — и барабанный бой. А потом кто-то прорычал басом: «Шпрехен зи дойч?» и тоненький голосок ответил: «Яволь! Яволь!» Разбойники! Они пока что побеждают, потому что нападают на тех, кто послабей.

1941 год. 22 июня.

Война! Сегодня ночью немцы напали на нашу страну. За рекой, на аэродроме, весь день гудят моторы. Писать некогда — мы роем во дворе щель от бомб...

...13 августа.

Опять был налет. Я уже привык. Отец давно не пишет.

...30 августа.

Мы с Сергеем в пожарной команде Ленинского района. Живем в казарме.

...10 сентября.

Вчера ночью на чердаке начался пожар от зажигалки. Мы с Сергеем побежали туда, он упал и рассек себе руку ржавым железом. Рекой хлынула кровь. Он не ушел перевязываться, и мы засыпали пламя песком...»

Это последняя запись до армии. Да, с сорок первого года началась их раздельная жизнь, у каждого своя и неизвестная другому. Что они знали друг о друге? Жив-здоров, находится примерно там-то, делает приблизительно то-то...

Но ведь и школьные дневники дают мало пищи для размышлений. По крайней мере Вадиму, для которого они словно ничтожный осколочек зеркала, не отразивший и тысячной доли его жизни до войны. Где приметы тех черт характера, которые к двадцати четырем годам развились так буйно, так неприглядно?

Вадим стал вспоминать различные эпизоды из своей довоенной дружбы с Сергеем, его отношения к товарищам, к девушкам, к родным. К своей матери — Ирине Викторовне. Да, вот тут, пожалуй, было главное неблагополучие... Домашняя жизнь Сергея всегда казалась Вадиму очень странной, какой-то неудобной, неправильной. Родители его без конца ссорились, отец то уходил куда-то из семьи, то возвращался. Это был высокий, толстый, угрюмый человек, который никогда не улыбался и очень мало разговаривал. Он был в доме как чужой. А мать Сергея всегда удивляла Вадима нелепостью своих поступков. Она исполняла каждую прихоть сына, хотя устраивала скандалы из-за пустяков. Сергей называл ее почему-то «воблой». В то время, в детстве, это казалось Вадиму верхом остроумия. Да, теперь ясно, что безвольная, недалекая Ирина Викторовна с ее истерически-жертвенной любовью к сыну и слепой верой в его талантливость во многом повлияла на характер Сергея. Вадим вспомнил — у Чехова есть что-то по такому поводу в записных книжках. Он взял с полки томик Чехова, долго искал это место и наконец нашел: «В семье, где женщина буржуазна, легко культивируются панамисты, пройдохи, безнадежные скоты». Сергей не мог стать законченным «панамистом» или «безнадежным скотом», потому что вокруг него были здоровые люди, огромная, крепкая жизнь. Он стал мелким «панамистом». И об этом-то будет завтра крупный разговор.

Вадим потушил свет и лег в постель. Он стал думать о завтрашнем дне, старался представить себе свою речь на бюро, ответы Сергея и то, как будут говорить остальные.

Вдруг на мгновение охватило его чувство позорной, тоскливой неуверенности. А не зря ли открыл он эту

шумную кампанию, которая взбудоражила уже весь факультет? Может быть, надо было последний раз поговорить с ним один на один? А может быть, он вообще ошибается в чем-то. И все это вовсе не так, сложней, непонятней...

Он заснул в середине ночи, бесконечно утомленный, встревоженный, и сразу закрутило его в мутном, тяжелом сне.

ГЛАВА 26

Придя на другой день в институт, студенты прочитали на доске приказов следующее объявление:

«Сегодня в 7 часов вечера состоится заседание комсомольского бюро 3-го курса. Вызываются товарищи Палавин, Белов. Явка групоргов обязательна.

Бюро ВЛКСМ 3-го курса».

А на три часа дня была назначена матчевая игра институтской сборной с волейболистами медицинского института. Команда собралась в спортзале сразу после лекций. Тренер Василий Адамович, старый волейболист — поджарый, сутуловатый, с расхлябанно подвижным и ловким телом, давал игрокам последние советы и назидания. Рашид волновался, впервые выступая за четвертый номер.

Когда все уже собрались уходить, в дверях зала появился Палавин, в пальто, со спортивным чемоданчиком в руках.

— Привет, Базиль! — сказал он, свободно подходя к Василию Адамовичу и протягивая ему руку.— Здорово, хлопцы.

Он пожал руки всем, кроме Вадима, которого словно не заметил.

— Здравствуй,— сдержанно сказал Василий Адамович.

— Едем?

— Мы едем. Не знаю, как ты.

— Я тоже. Сегодня я в исключительной спортивной форме,— сказал Палавин усмехаясь.— Думаю, за три часа мы их сделаем? У меня в семь бюро, надо вернуться.

— Поезжай, поболеешь за своих.

— Как? Как вы сказали, Базиль Адамович? — спросил Палавин, удивленно подняв одну бровь и опуская другую.— Я не ослышался?

— Играть ты сегодня не будешь,— сказал Василий Адамович.— На тренировки ты не ходил, и ставить тебя в команду после такого перерыва рискованно. Хочешь, езжай запасным.

— Что? Запасным? Вот сейчас надену белые боты и побегу запасным,— выговорил Палавин после секундного замешательства.— Нет, это серьезно, Базиль?

Василий Адамович посмотрел на часы.

— Ребята, пора собираться.

Палавин растерянно огляделся. Волейболисты одевались, укладывали свои чемоданчики, деловито и односложно переговаривались, стараясь не смотреть на Палавина.

— Ну-ну... И кто ж у вас на четвертом?

— Меня вот поставили,— сказал Рашид, смущенно глядя на тренера.

— А чего ты извиняешься? — рассердился Василий Адамович.— Поставили, и будешь стоять! И хорошо будешь стоять, учти!

Палавин похлопал Рашида по плечу.

— Давай, Нуралиев, давай! С твоим ростом можно гвозди вбивать. Ну что ж, пожелаю ни пуха ни пера. Обо мне прошу забыть.

Он вышел из зала, помахивая чемоданчиком.

— Невелик гусь,— проворчал Василий Адамович.— И так забудем, просить нечего. Подумаешь!

Однако он был заметно огорчен последними словами Палавина. Всю дорогу до мединститута Василий Адамович нравоучительно рассуждал о пользе скромности и о вреде зазнайства. Это был тренер-моралист. Он считал своим долгом не только добросовестно обучать студентов технике волейбола, но и наставлять их.

— Что это значит «прошу забыть»? Что это такое? — негромко и степенно возмущался Василий Адамович.— Это значит — возомнил человек о себе, а на коллектив ему начхать. Отсюда бывает полная спортивная гибель. Волейбол — игра коллективная. Один человек ничто, а шесть человек — сила. Вот о чем надо постоянно помнить. Ведь и раньше за ним такие грехи водились. На втором номере всегда сам норовит ударить, нет чтобы на четвертый отпаснуть. Хоть и левой, а сам...

Вадим улыбался, слушая оценку Палавина со спортивной точки зрения. Он был возбужден сегодня не меньше Рашида. Но не волейбольная встреча волновала его — с медиками Вадим играл в первом туре и знал, что этот противник не из опасных.

В спортивном зале мединститута все было готово к матчу. Зрители-болельщики нетерпеливо шумели, сидя на низких и длинных гимнастических скамьях, поставленных вокруг площадки. В первой игре медики упорно сопротивлялись, и победа над ними далась нелегко. Вторая игра пошла живее. Рашид почувствовал уверенность, бил точно и сильно, сильнее даже, чем на тренировках. Играть рядом с ним было легко: он не ворчал, как Палавин, за плохой пас, не нервничал, выражаясь волейбольным жаргоном — «не шипел».

Вторая игра закончилась с разгромным для медиков счетом.

Итак, команда пединститута одержала во втором круге первую победу.

К концу матча Вадим вдруг заметил среди болельщиков Палавина. «Зачем он здесь? — мельком удивился Вадим.— Что-то на него не похоже. Или пришел полюбоваться, как без него, незаменимого, проигрывают? Ну что ж, пусть любуется, как без него выиграли».

Вадим направился в душевую. Выйдя через десять минут, бодрый, освеженный, с наслаждением раскуривая папиросу, он увидел, что Палавин озабоченно расхаживает возле дверей.

— Я к тебе,— сказал Палавин, заметив Вадима, и сейчас же нахмурился.

— В чем дело?

— Отойдем в сторону.

Зал почти опустел. Василий Адамович и тренер медиков негромко беседовали, сидя за столом, и в дальнем конце зала несколько студентов возились у турника. Вадим и Палавин подошли к окну, оба поставили свои чемоданчики — Палавин на пол, Вадим на подоконник.

— Мать приходила к вам вчера? — спросил Палавин сухо и подчеркнуто по-деловому.

— Была.

— Зачем?

— Не знаю, спроси у нее.

— Так,— Палавин нервно усмехнулся.— Только не вздумай, что я ее посылал.

Вадим промолчал. Ему почему-то казалось, что Палавин ищет примирения.

— Не вздумай,— повторил Палавин.— Я сам только сегодня узнал. Старая дура проявила заботу, никто в ней не нуждается.

— Мне все равно, посылал ты ее или нет,— сказал Вадим после паузы.

— А мне не все равно! Вот, не можешь понять... Мне не все равно — дура моя мать или нет!

«Не то, опять не то,— думал Вадим,— не то он говорит и не то хочет сказать...»

— Ведь из-за нее по существу и вышла вся эта история с Валентиной,— сказал Палавин.

— Вот как?

— Она же нянькалась с ней, ахала от умиления, приводила домой, одолжалась... А зачем? Все делалось из-за бабьего любопытства, из-за глупой материнской страсти иметь каждое сыновнее увлечение перед глазами. Ведь я ж...— Он уткнулся взглядом в подбородок Вадима и говорил ворчливо обиженным тоном.— Я уже давно решил прекратить всякие отношения, потому что чувствовал, что до хорошего не дойдет. Нет, она упорно приглашала ее в гости, принимала всякие услуги... Та помогала матери по хозяйству, а моя умница принимала все как должное.

— Но ведь и ты принимал как должное?

— Я... Я же любил ее! Определенное время я любил ее.

— Ну да. Совершенно определенное время...

— Одним словом, вот,— перебил его Палавин.— Я должен был тебе сказать, во-первых, что я никаких парламентеров к тебе не засылал. Это раз. Во-вторых, я хотел предупредить тебя, просто потому, что у меня остались кое-какие товарищеские чувства к тебе, что если ты подымешь сейчас разговор о Валентине — ты станешь посмешищем всего факультета. Ты вытаскиваешь нелепую, никчемную сплетню и за это поплатишься. Я тебя предупреждаю.

— А я тебя предупреждаю, что буду говорить не только о Валентине.

— Интересно, о чем же? О том, как я просил у тебя шпаргалку на экзамене?

— Ладно, нам пора идти.

— Идем! — решительно кивнул Палавин.

Все, о чем говорилось на заседании бюро в первые четверть часа, Вадим слышал плохо, почти вовсе не слышал. Ему казалось, что и остальные торопятся покончить с посторонними делами и перейти к главному. И вот Спартак сказал:

— Мы должны были рассмотреть сегодня еще одно заявление о даче рекомендации в партию — заявление Палавина. Однако на последнем собрании НСО, когда Палавин был выдвинут делегатом...— Спартак говорил что-то очень длинно, ужасно неторопливо, ровным голосом и вдруг — точно выкрикнул, сухо, отрывисто: — Есть предложение заслушать Белова!..

Других предложений не было. Вадим за четверть часа успел все обдумать и решил, что говорить он будет с места, чтобы видеть прямо перед собой членов бюро. Но теперь, поднявшись, он неожиданно вышел к столу, за которым сидел Спартак, и прямо перед собой увидел групоргов и Палавина.

— На собрании НСО я отвел кандидатуру Палавина. Я сказал, что его моральный облик не позволяет ему представлять наш коллектив. Теперь я должен эти слова доказать.— Вадим с удивлением прислушивался к собственному голосу, который казался ему неузнаваемо громким и торжественным. Сделав паузу, он заговорил тише: — Я буду говорить сегодня не о каком-то поступке Палавина, а обо всем его поведении. Мы с Палавиным, как говорится, «друзья детства». Поэтому я, вероятно, знаю его лучше, чем кто-либо.

И я должен сказать, что и в личной и в общественной жизни Палавин ведет себя не так, как полагается комсомольцу. Факты? — спросил Вадим, повысив голос. Он не мог оторвать взгляда от Палавина, смотрел, нагнув голову, прямо ему в глаза.— Ну вот, грубо: на комсомольском собрании, когда обсуждалось дело Лагоденко, Палавин усердно защищал Козельского, хотя большинство собрания критиковало профессора. Почему защищал? Потому, может быть, что был принципиально не согласен с критиковавшими? Нет, не потому. Он часто и со мной и с другими говорил о Козельском то же самое, даже более резко, всячески его высмеивал. Но в тот момент ему нужна была поддержка Козельского в НСО, где он готовился читать реферат. И Палавин действительно сумел «подружиться» с Козельским, но дружба эта продолжалась недолго. Как только Палавин почувствовал, что дела у Козельского

плохи и никакой пользы от него больше не получишь, а скорее неприятности наживешь,— тут он сразу захотел быть в первых рядах разоблачителей Козельского, рвался выступать на учсовете и так далее. Мне кажется, такое поведение называется своекорыстным, неблагородным.

И точно так же он вел себя и в других случаях. Вы помните, каким необыкновенным общественником он стал в декабре? Как он шумел насчет связи с заводом? Даже один раз сходил вместе с нами, очаровал Кузнецова, наобещал с три короба — а потом как отрезало. Ни разу больше не был. Для чего он, оказывается, ходил на завод? Все для того же. Для себя. Во-первых, для того чтобы завоевать расположение бюро, а во-вторых, чтобы присмотреть «кое-что» для своей повести.

А как он относится к институту, в котором учится, к своей будущей профессии? Быть педагогом? О нет! Это же удел посредственностей, бездарей, неудачников. И потому у него нет по существу друзей. Все «друзья» распределяются по его личным потребностям. Ну — Ремешков, например, это «фотографический» друг. Федя Каплин — друг по части науки, литературных разговоров. На четвертом курсе у него есть друзья «библиотечные», «театральные», «волейбольные» и так далее. И я — на особой должности «друга детства». В отношении подруг у него, очевидно, такое же строго ведомственное распределение.

Но почему все-таки, зная Палавина давно, я впервые начал этот разговор только сейчас, на исходе третьего курса? Надо сказать, что мне как раз мешала эта моя должность «друга детства». Я спорил с ним часто, но всегда по мелочам. Вот в чем дело. Я считаю своей главной виной тот факт, что я долго мирился с его недостатками. То есть... Одним словом, не говорил с ним принципиально и только сейчас... А сейчас меня толкнула на этот разговор одна история, которую рассказала мне давнишняя подруга Палавина — не знаю уж, по какому там ведомству. Короче, вот что...

И Вадим быстро, в том сухом, протокольном тоне, который казался ему наиболее подходящим для этого необычного случая, передал слово в слово Валин рассказ. Еще в начале его выступления в комнату вошли Федор Андреевич Крылов и Левчук и сели позади стола бюро. В комнате было очень тихо. Все слушали Вадима внимательно и каждый по-своему. Спартак то

взволнованно хмурился, то начинал быстро, одобрительно кивать головой, а потом настороженно смотрел на Вадима, подняв свои густо-черные круглые брови и шевеля губами, словно стараясь что-то подсказать Вадиму. Марина Гравец, удобно расставив локти, положила один кулак на другой, в верхний уперлась подбородком и смотрела на Вадима не отрываясь, с таким интересом, словно он рассказывал что-то очень увлекательное.

Вадим видел одного Палавина. Нагнув голову, упорно, из-подо лба он ловил нестойкий, ускользающий взгляд голубых глаз Сергея. А тот каждую минуту становился другим. Сначала он выглядел равнодушным. Зевал. Спичкой ковырялся в своей трубке. Потом, как рассеянный студент во время лекций, решивший вдруг проявить усердие и послушать профессора, он глубоко вздохнул и, подперев голову рукой, с любопытством уставился на Вадима. Потом он выпрямился, опустил руки под стол. Слушал удивленно, с полуоткрытым ртом. Вдруг хмурился и воинственно поднимал плечи, хотел что-то сказать, но сдерживал себя, молчал, горбился. И вновь выпрямлялся и быстро оглядывал всех в комнате. Потом он начал краснеть, лоб его заблестел, и он вынул носовой платок, но вытер почему-то подбородок.

Когда Вадим кончил рассказ о Вале, Палавин сразу спросил:

— Ну и что?

— Я знаю,— сказал Вадим, глядя на Палавина,— что Палавин все рассказанное мною может отрицать. Свидетелей нет. Самой Вали здесь нет. Но дело не в этом. У нас тут не судебное следствие. Все, что рассказала мне Валя,— а я верю ей до последнего слова,— только добавление к остальному. Портрет готов. Мы обсуждаем сегодня поведение человека, его характер и жизнь. Я знаю, не только мне — другим тоже есть что сказать. И вот давайте поговорим, потому что...— и, мрачно насупясь, Вадим закончил скороговоркой: — потому что пока еще есть время. Еще можно что-то ему объяснить. Человек он все же не потерянный, я думаю... Так мне кажется, во всяком случае...

— Спасибо,— сказал Палавин.— Прошу слова!

— Белов, кончил? — спросил Спартак.

— Кончил пока.

Вадим сел, и сейчас же, не дожидаясь приглашения Спартака, поднялся Палавин.

— Я обвиняю Белова! — выговорил он поспешно.—

Обвиняю его в злонамеренной клевете! Да, не он обвиняет сегодня, а я его обвиняю...

— Ты говори, говори,— сказал Спартак, хмурясь,— а мы уж тут разберемся, кто кого обвиняет.

— Я и говорю, товарищ Галустян. Прошу не понукать. Так вот, Белов узнал окольным путем кое-что из моей, о моей... ну, неудачной любви, если хотите, и постарался из этого «кое-что» состряпать дело. Аморальное дело, грязное, постарался облить меня грязью. Я-то знаю, зачем это нужно. И я возмущен тем, что бюро комсомола находит возможным под видом обсуждения моего, так сказать, общественного лица выслушивать эту нелепую сплетню. Я возмущен беспринципностью бюро — прошу записать в протокол! Что, у нас нет больше дел на бюро? Все у нас блестяще, все вопросы решены?

Спартак постучал смуглым остроугольным пальцем по столу.

— Палавин, ты должен говорить сейчас не о бюро, а о себе. Отвечай Белову по существу.

Палавин посмотрел на Спартака, потом на Вадима, на членов бюро и вдруг опустился на стул.

— Я отказываюсь вам отвечать.

— Что? Отказываешься отвечать комсомольскому бюро? — спросил Спартак после паузы.

— Я отказываюсь, да. Потому что вы неоправданно вмешиваетесь в мою личную жизнь... Это низкое любопытство...

— Нет, подожди, Палавин! — сказал Спартак, вставая, и его черные брови жестко сомкнулись.— Ты не своди весь разговор к этой истории с Валей. Не хитри, Сергей! Белов говорил обо всем твоем поведении в институте, о твоем отношении к преподавателям, к товарищам, подругам — вот о чем. Будешь отвечать?

Палавин отрицательно покачал головой.

— Так. Ну что ж,— сказал Спартак, помолчав,— не хочешь сейчас говорить, заговоришь потом. Кто будет выступать?

Попросил слово Горцев, член бюро по сектору быта. Говорил он медленно, с утомительными паузами и все время, пока говорил, трогал лицо: потирал пальцами бледный лоб, нежно ощупывал шею, накручивал на палец белокурую прядь... Да, он тоже замечал, что Палавин выбрал в жизни нехороший, нетоварищеский стиль. Но ему не казалось возможным обсуждать на бюро мелкие факты, характеризующие этот стиль. Теперь ему

кажется, что это будет полезно для Палавина. Ведь было же полезно для Лагоденко то комсомольское собрание, на котором критиковали Лагоденко за грубость, бахвальство, недисциплинированность. Лагоденко сильно изменился за последнее время, и в лучшую сторону.

— Женился — остепенился,— сказал кто-то шутливо.

— Нет, потому что многое понял и воспринял критику правильно. С Палавиным дело сложнее и ошибки его серьезней. В истории с этой девушкой... Тут, конечно, трудно разобраться, если Палавин отказывается говорить. Вероятно, он вел себя небезукоризненно. Вероятно, так. Но то, что он отказывается говорить...

— Я буду говорить в райкоме! — отрывисто кинул Палавин.— О вас буду говорить и о Белове...

Затем выступили Нина Фокина и Марина. Обе говорили очень пространно, с жаром, и, хотя они целиком поддерживали Вадима, ему казалось, что выступления их так же неубедительны и нечетки, как и выступление Горцева. Да, они возмущались поведением Палавина, говорили гневные слова, требовали строгого выговора с предупреждением, но Вадим чувствовал, что возмущает их главным образом поступок Сергея с Валей. А это очень принижало обсуждение, а Сергею давало возможность спорить, оправдываться.

Как только Марина умолкла, Палавин попросил слова.

— Нет, я все же буду говорить,— сказал он, решительно встряхнув головой.— Я не доставлю вам удовольствия своим молчанием. Выясняется, что здесь обсуждают мой характер. Обижаются даже, что я не принимаю в этом участия... Да, это мило! — Он нервно усмехнулся.— Не надейтесь, пикантных подробностей вы не услышите. Скажу только, что обвинение насчет Вали я полностью отметаю. У вас нет никаких оснований обвинять меня в аморальном поведении по отношению к ней. Никаких! У вас нет фактов. Слова Белова — только слова. Громкие, пустые слова. Ах, нехорошо, безнравственно! А что безнравственно? Что нехорошо?.. Ведь он так и не смог ясно сказать: что худого я сделал Вале? И не сможет, конечно. Потому что то, что произошло между нами двумя — мной и Валей,— это дело нас двоих. И больше я ничего не скажу по этому делу. Да, личная жизнь у нас сливается с общественной. Но это не значит, что личная жизнь целиком поглощена общественной, растворяется в ней. Нет! Существует

грань, и остерегайтесь переступать эту грань без достаточных оснований. Я не позволю производить над собой эксперименты! — Он говорил теперь очень громко и уверенно и размахивал кулаком, точно нацеливаясь самого себя ударить в подбородок.

— Ты отрицаешь все, что говорил Белов? — спросил Спартак.

— Что? — Палавин молчал секунду, глядя на Спартака пристально, потом заговорил еще громче: — Отрицаю? Да, я отрицаю этот тон, эту оскорбительную манеру... эту, понимаете... это высокомерие и ханжество одновременно! Вы слышали, что считает Белов своей главной виной? Своей главной виной он считает, видите ли...— Палавин возбужденно рассмеялся,— то, что он долго мирился с моими недостатками! А, каково? Нет, просто блеск!..

Вадим заметил, что Спартак чуть заметно усмехнулся и, чтобы скрыть улыбку, нахмурился и сказал сурово:

— Ты брось к словам придираться! Человек оговорился, слушай...

— Оговорился? Нет, нисколько! Скорее — выговорился, да, да! У самого Белова, видите ли, недостатков, конечно, быть не может. Что вы?! Откуда? Это же ходячая добродетель. У него осталась единственная забота — искоренять недостатки в других. И вот на этом благородном поприще он что-то недосмотрел, провинился... Ай-яй-яй! — Палавин сцепил руки в пальцах и горестно покачал головой.— И это, по-вашему, не высокомерие, не зазнайство? Это ли, черт возьми, не дьявольская, отпетая самовлюбленность? И вот этот человек, так называемый «друг детства», который всю жизнь, оказывается, меня обманывал, лицемерил,— я думал, что он относится ко мне честно, по-дружески, а он, значит, только «мирился с моими недостатками»! — этот человек смеет обвинять меня в бесчестии, в аморальном поведении! Да разве он может понять всю сложность, всю глубину моих отношений с Валей? Разве может понять он, этот добродетельный уникум, этот достойный член «армии спасения», что разрыв с Валей мне тоже стоил... И мне пришлось кое-что пережить?.. Хотя, впрочем, говорить об этом я тут не буду. Я дал себе слово. Короче говоря, я считаю: все выступление Белова — это наивное ханжество, над которым в другое время я бы весело посмеялся и только. А сейчас вот приходится с серьез-

ным видом что-то объяснять, доказывать. Хотя, пожалуй, достаточно.

И Палавин сел на свое место, глубоко и с удовлетворением вздохнул и принялся набивать трубку. Вадим сразу почувствовал, что речь Палавина произвела впечатление. Наступила пауза: все как будто немного растерялись, не знали, о чем говорить дальше. И сам Вадим вдруг растерялся, пораженный той адвокатской ловкостью, с какой Палавин сумел защитить себя и одновременно выставить его, Вадима, в смешном свете. Насупившись, покраснев так, что все лицо его горело, Вадим сидел с угрюмо опущенной головой и упрямо, отчаянно старался понять: какую ошибку совершил он в своем выступлении? О чем забыл сказать? Почему эти слова, еще вчера казавшиеся ему убийственными для Палавина, прозвучали сегодня так бледно, неубедительно?..

Групорг Пичугина между тем распространялась о том, что «практически невозможно доказать, что поведение Палавина с этой женщиной аморально. В интимной жизни каждого из нас существует много сторон, недоступных постороннему глазу, трудноуловимых оттенков — будто бы незаметных, а на самом деле очень значительных... Ее ли он обманул? А может быть, он обманулся сам — любил, идеализировал свой предмет, а затем наступило жестокое разочарование... Ничего не известно. Можно только гадать».

— Вы, стало быть, придерживаетесь точки зрения агностицизма, непознаваемости палавинских поступков? — мрачно перебил ее Спартак.— Нет, товарищ Пичугина. Давайте говорить не о частностях, а по существу. Об эгоизме Палавина, его верхоглядстве, высокомерии, в чем эти черты характера выражались.

Вадим видел, что и Спартак, несмотря на его деловой и решительный тон, несколько растерян и раздражен тем, что обсуждение скатывается на неправильный путь, в мелководье пустых догадок, никчемного психологизирования. И сам Палавин уже начал принимать в этом обсуждении «самокритическое» участие.

— Ну, какие недостатки в моем характере? — говорил он, совершенно успокоившись.— Я, например... ну, ревнивый к чужой удаче, самолюбивый в какой-то степени, гордый. Я привык быть первым, считать себя, что ли, способней других. Конечно, у меня есть недостатки! Было б странно, если б у меня их не было. Я ведь живой

человек, не ангел, не Белов. Но дело в том, как об этих недостатках говорить, в какой форме. По-товарищески, по справедливости, или же со злорадством, стремясь оскорбить, унизить...

— Я так говорил, по-твоему? — не сдержавшись, крикнул Вадим.

Глядя мимо него, Палавин кивнул.

— Примерно так. Да, ты добивался одного — облить меня грязью, запятнать мою репутацию...

— Ты сам себя запятнал! И продолжаешь это делать! — Забыв о порядке, Вадим заговорил вдруг с неожиданной силой, торопливо и горячо: — Ну да, ты, конечно, уверен, что мне выгодно опорочить тебя, спихнуть тебя с дороги и самому пробраться вперед! А ты помнишь, как ты мне сказал однажды: «Ты не знаешь людей, не умеешь разбираться в людях!» Сам ты, конечно, убежден, что прекрасно знаешь людей. Но ты их не знаешь. Ты всех людей меришь на свой аршин, в каждом человеке ты видишь только то, что есть в тебе самом,— своекорыстие, жадность, стремление всеми путями, любыми средствами благоустроить свою судьбу. Тебе даже в голову не приходит, что люди могут действовать из каких-то других побуждений! А если кто-нибудь так и поступает, честно, открыто,— так ведь это ханжи, лицемеры или наивные дураки, над которыми стоило весело посмеяться... Нет, вот ты как раз не знаешь людей!

— Все слова, слова, слова...— пробормотал Палавин.

— Слова? Да, тебя трудно убедить словами, трудно припереть к стене. Потому что никаких беззаконных, злодейских дел ты не совершил. Ты всегда умел держаться на грани. Ты был негодяем на четверть и подлецом на две трети. «Попробуйте доказать! А что худого я сделал Вале?» Да, это очень трудно сказать коротко, в двух словах. А все-таки, если подумать,— можно. Можно найти слова и объяснить тебе попросту, какое горе ты причинил этой девушке. Ты подорвал, разрушил в ней дорогое человеческое чувство — веру в себя, уважение к себе самой. Что она может подумать о себе, если видит, как относятся к ней другие? Если видит, что ее можно обманывать, можно беззастенчиво внушать ей: ты, дескать, мне не пара, будь довольна и тем, что есть, и, наконец, можно этак небрежно, оскорбительно уходить от нее и так же небрежно возвращаться когда вздумается... Ты подорвал в ней веру в себя и веру в

людей. Это преступление, Палавин, за которое ты будешь здесь отвечать. И точно так же, если подумать, можно установить, «что худого ты сделал» в истории с Козельским, «что худого ты сделал» мне, кому-то другому, третьему. Но я не собираюсь этим заниматься. Разговор идет крупнее — об отношении к жизни. Надо ли дорожить настоящей работой, настоящим трудом, чувствами, дружбой, любовью и бороться за них, драться за них на каждом шагу, не боясь трудностей, не боясь показаться иной раз наивным или смешным? Или достаточно — как считаешь ты — только на словах поддакивать всем этим правильным идеям, а в глубине души посмеиваться над ними и жить по-своему? Жить легко, благоустроенно, выгодно. Удовлетворяться во всем эрзацами — потому что с ними меньше хлопот,— полуискренними чувствами, удобной любовью, маргариновой дружбой. И только одно любить страстно, об одном заботиться по-настоящему, талантливо, беззаветно, не жалея ни времени, ни труда,— любить себя, заботиться о своем собственном будущем. Так ты собираешься жить, Сергей? Так жить мы тебе не позволим!

Вадим резко умолк и сел на свое место, разгоряченный, взволнованно покрасневший, но с чувством внезапного облегчения: теперь он сказал то, что нужно. Он видел, как Палавин слушал его, все больше мрачнея, стараясь смотреть в сторону, а потом совсем опустил голову и уставился в пол. Зато остальные оживились, ободряюще и радостно улыбались Вадиму, а Спартак все время смотрел на Вадима точно с удивлением и кивал головой.

Когда Вадим кончил, Спартак возбужденно повернулся к Палавину:

— Ты будешь еще говорить?

Тот поднял лицо и, глядя куда-то вверх, в потолок, криво усмехнулся:

— Да нет уж, знаете...

И тогда пожелал выступить профессор Крылов. Он встал с дивана и пересел за стол Спартака.

— Да. Интересно у вас сегодня,— сказал он, помолчав, и внимательно оглядел сидевших перед ним молодых людей и девушек, взволнованных спором, притихших.— Вы подняли очень важный вопрос — о нравственности. И многие из вас говорили правильно и горячо, по-комсомольски. Приятно было слушать. А некоторые ошибались, нагородили чепухи и других еще запутали.

Так вот, прежде чем сказать свое мнение по существу — о моральном облике Сергея Палавина, я думаю поговорить немного об общих вещах. Кое-что вам напомнить...

Крылов положил на стол пачку папирос, вытряхнул одну и помолчал минуту, разминая папиросу короткими, сильными пальцами. После того шума, который был на бюро, негромкий голос Крылова звучал удивительно спокойно и убеждающе.

— Владимир Ильич говорил, что «в основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма». Это говорилось в двадцатом году. Прошло почти три десятка лет, и мы создали новое общество и новых людей. Но следы старого не исчезли полностью, они еще таятся в сознании некоторых людей, в их психологии. Да, бродят еще среди нас мелкие себялюбцы, этакие одинокие бонвиваны, любители хорошо пожить за чужой счет, карьеристики и пошляки. Так вот, борьба с ними и борьба с чертами эгоизма, корыстолюбия, зависти, мещанских предрассудков в нас самих — это и есть борьба за нравственность, за укрепление и завершение коммунизма. И чем строже вы будете к себе и друг к другу теперь, учась в институте, тем полнее и прекраснее будет ваша трудовая жизнь в будущем. Надо помнить об этом. Ну, что ж сказать о Палавине? Человек он способный безусловно, отличник, стихотворец, активный такой, деятельный... Как будто все хорошо. А на поверку выясняется, что хорошо-то по краям, а в середке неважно. В середке, оказывается, прячется другой Палавин — самовлюбленный, морально нечистоплотный и, правильно указал Белов — меленький такой, невзрачный эгоист. И поздно мы с вами середку эту разглядели. Общая наша вина. А вот Белов, кстати...— Крылов повернул к Вадиму строгое, неулыбающееся лицо, но Вадиму показалось, что светлые глаза профессора, глубоко спрятанные под скатом выпуклого, тяжелого лба, чуть заметно и ободряюще сощурились,— Белов интересно сегодня говорил. И я бы сказал, мужественно. Мне понравилось его выступление, да и все ваше заседание сегодняшнее понравилось в общем. Случай с Палавиным научит нас больше интересоваться личной жизнью друг друга, заставит серьезно подумать и над своим поведением, отношением к жизни. Сегодня мы осудили его антиобщественное поведение в институте, его поступок с девушкой — очень нечестный, дурной поступок. А не-

сколько часов назад мне стало известно еще об одном неблаговидном поступке Палавина. Человек, рассказавший о нем, обещал прийти на бюро; я его попросил. Александр Денисыч,— обратился Крылов к Левчуку,— взгляни-ка, не пришел еще Крезберг?

— Федор Андреевич, о ком вы говорите? — спросил Спартак, когда Левчук вышел из комнаты.

— Это аспирант университета Крезберг. Кстати, мой фронтовой товарищ, командовал взводом у меня в полку. Сейчас вы все услышите...

Через несколько минут Левчук вернулся, и следом за ним вошел высокий рыжеволосый мужчина в спортивной куртке с молнией и наставными плечами; в руках он держал массивный портфель кофейного цвета. Неуверенно всем поклонившись, Крезберг прошел за Левчуком к дивану, ступая почему-то на цыпочках.

— Виктор Мартыныч, иди сюда! — предложил свое место Крылов.— Чтоб все тебя видели.

Крезберг послушно пересел к столу, поставив свой портфель на пол, как ставят чемоданы. Огляделся, все еще неуверенно и смущенно улыбаясь. Вдруг он увидел Палавина и, сразу перестав улыбаться, отвел глаза. Вадим заметил, что и Палавин тоже опустил глаза и почему-то покраснел.

— Товарищ Крезберг рассказал мне сегодня, за полчаса до комсомольского бюро, о том, как Палавин писал свой реферат,— сказал Крылов,— так нашумевший в наших «ученых кругах». Для того чтобы выяснить все до конца, я попросил Крезберга прийти на бюро и повторить свой рассказ. Нет возражений у членов бюро?

— Нет, нет. Есть предложение заслушать товарища Крезберга! — сказал Спартак оживленно.— Пожалуйста, товарищ Крезберг.

Аспирант откашлялся и заговорил деликатным, мягко текущим говорком:

— Для меня, товарищи, это несколько неожиданно. Но — сказал «а», говори «б». Несколько месяцев назад моя сестра познакомила меня с Сергеем и попросила помочь ему в реферате, который он писал, о тургеневской драматургии. Сам я кончаю диссертацию на эту тему. Я помог ему в выборе материала, библиографии, дал несколько советов по композиции, еще что-то. Мы встречались раза два-три. Я рассказывал ему о своей работе. Сергей Палавин попросил у меня диссертацию, несколько отпечатанных глав я дал ему на один вечер.

Причем просил настоятельно: не использовать в реферате таких-то и таких-то положений. Это плод моей двухлетней исследовательской работы, и я не хотел, чтобы некоторые факты, соображения — ну, в частности, о трех особенностях тургеневского театра, несколько фактов биографического характера — стали бы известны до опубликования диссертации. Я просил вас об этом, Сергей? — неожиданно обратился он к Палавину.

Палавин, слушавший Крезберга с сумрачным, неподвижным лицом, молча кивнул.

— Я, собственно, не должен был давать диссертацию, к тому же незаконченную, постороннему человеку. Это не положено. Но — и Сергей просил, и Валя, моя сестра, очень просила... Одним словом, вскоре я узнал от Вали, что реферат Сергея оказался удачным, был зачитан в вашем НСО, одобрен кафедрой. Я был рад за Сергея. Но с тех пор не виделся с ним ни разу. И вот вчера мой руководитель, профессор Ключников, принес в университет ваш сборник студенческих работ. «Вас, говорит, обскакал некий студент педвуза Палавин. Прочитайте-ка его статью «Тургенев-драматург». Читаю — а я сначала не сообразил, что это статья Сергея, не знал его фамилии,— да, действительно какой-то резвый студент упредил меня! Нет, плагиата здесь не было. Статья написана в другом плане, по-своему, много в ней оригинальных мыслей. Но, понимаете, я нахожу в ней как раз те маленькие открытия, которыми я гордился! И как раз те несколько новых соображений, о которых я просил Сергея не упоминать,— они здесь же, в общем, чужом тексте... Да... Я, конечно, расстроен, мой профессор тоже. Хочу найти Сергея, звоню Вале. Она уехала в Харьков. Иду сегодня в ваш институт и встречаю, совершенно случайно, Федора Андреевича, а мы с ним фронтовые друзья, еще со Сталинграда. Правда, не виделись два года. Рассказываю ему всю историю, и он просит меня зайти на бюро. Видите ли, я не считаю поступок Сергея плагиатом — реферат, в общем, работа самостоятельная. Но Сергей нарушил свое слово, обманул меня и поставил в неловкое положение. Поступок неэтичный и, мне кажется, некомсомольский. Я не предполагал, что дело получит такую огласку, мне придется выступать на бюро и все прочее... Мне хотелось только увидеть Сергея и сказать ему несколько слов. Но вот так обернулось, вместо нескольких слов пришлось говорить довольно долго. Вот, собственно, и все, товарищи.

Крезберг умолк, и Спартак спросил у Палавина, так ли все это было. Палавин сказал, что все было так.

— Ты использовал в своем реферате чужие материалы. Зачем ты это сделал?

Побледнев, ни на кого не глядя, Палавин пробормотал:

— Я не считаю свой реферат плагиатом.

— А чем же ты считаешь свой реферат? — спросил Спартак.— Вполне самостоятельной работой?

После долгого молчания Палавин отозвался безразличным, усталым голосом:

— Я хотел скорее закончить...

— Ну да,— сказал Спартак.— Надо было скорее закончить, чтобы попасть в сборник. Надо было скорее закончить, чтобы получить персональную стипендию. И надо было к тому же, чтобы реферат «вышел за рамки».

...Комсомольское бюро третьего курса решило: «За нарушение принципов коммунистической морали объявить Сергею Палавину строгий выговор с предупреждением».

Общее комсомольское собрание происходит два дня спустя. Вновь выступают Спартак, Вадим, Марина Гравец, и выступают Лагоденко, Сырых и другие однокурсники Палавина. Девушки из драмкружка рассказывают о работе с Палавиным во время подготовки «капустника». Никто не отрицает дарований Палавина, но работать под его начальством всегда неприятно. Он не терпит ничьих советов и замечаний, каждое свое решение считает окончательным и безусловным.

— И всегда почему-то успех нашей коллективной работы приписывался в общем одному Палавину,— говорит Валюша Мауэр.— Разве это справедливо? В том же самом новогоднем «капустнике» два эпизода — в библиотеке и насчет стенгазеты — придуманы второкурсником Платоновым. А знаменитый репортаж о футбольном матче почти целиком написан Алешей Ремешковым...

Медленными шагами выходит к трибуне Палавин. На этот раз он не разыгрывает из себя невинно оскорбленного. Он мрачен, с трудом выговаривает слова. Да, он признает, что характер у него отвратительный, гнусный, эгоистичный. Все это правда, сущая правда... Но он хочет заверить «всех сидящих в этом зале», что им недолго осталось страдать от его отвратительного характера. Скоро они вздохнут свободно. Бессмысленно, что-

бы столько людей страдало от присутствия одного человека. Он освободит их. Он уйдет...

— Неужели тебе нечего сказать, Сергей, кроме этих придуманных, фальшивых слов? — спрашивает выступающий затем Левчук.

Палавин сидит в первом ряду, сгорбившись, сжимая ладонями голову. Нет, он больше не выступает. После собрания, которое большинством голосов утверждает решение бюро, Вадим слышит, как Лена Медовская кому-то говорит напряженно высоким, дрожащим голосом:

— Я не понимаю... Разве не может человек полюбить одну женщину, потом встретить другую... другую,— лепечет она беспомощно,— и разлюбить...

И, вдруг зарыдав, прижимая платок к глазам, она убегает. К Вадиму подходит маленький, всегда серьезный Ли Бон. Глаза его, необычайно расширенные, восторженно блестят.

— Спасибо! — он хватает Вадима за руку и трясет ее изо всех сил.— Это... это так надо! Нельзя обижать женщина, надо любить! Мы — коммунисты, да? Мы — новый человек, новый, да? А старый...— он гневно взмахивает темным юношеским кулачком,— старый — вон, вон. Бросать вон! Это... очень хорошо!

На следующий день Палавин не появляется в институте. А через день он приносит Мирону Михайловичу заявление с просьбой перевести его на заочное отделение.

Он решил уехать из Москвы, работать сельским учителем.

ГЛАВА 27

Кончался март, месяц ветров и оттепелей и первых солнечных, знойких, весенних дней.

Во дворе у Андрея Сырых еще лежали плоские, твердые, спекшиеся на солнце сугробы снега; река еще не тронулась, и жители Троицкого по-прежнему ходили к автобусу по льду. Но с каждым днем снега становилось все меньше. Как ни коробился, каким черным и невзрачным ни старался он казаться, прикидываясь то грязью, то камнем, хоронясь под заборами, по канавам,— солнце находило его везде. И он умирал мокрой смертью, растекаясь ручьями и уходя, как все умирающее, в землю.

В лесу пахло прелью и талой водой. Обнажалась земля с ветхим прошлогодним быльем, еще не богатая ничем, кроме буйных, томящих запахов...

Оля приносила домой первые подснежники и рассказывала о прилете птиц. В саду, в черных ветвях липы, обживались воротившиеся из-за моря грачи, тонко посвистывал зяблик. И высоко над полем, между небом и землей, лилась весенняя ликующая песнь жаворонка...

Москву омывали сырые южные ветры.

Площади города блестели, и последний снег вывозился с улиц на грузовиках-самосвалах. Серые, липкие ломти снега, собранные горками вдоль тротуаров, похожи были на огромные кучи халвы. Москва начинала жить по-весеннему. Людней и шумней становилось на улицах. Кавказские мимозы — их привозили каждое утро на самолетах — продавались на всех углах. И уже девочки прыгали через веревку на высушенных солнцем кусочках тротуара, и самые франтоватые парни ходили по городу без шапок.

Эта весна была необыкновенной. Впрочем, за последние годы каждая весна казалась необыкновеннее предыдущей.

На Горьковской магистрали и других улицах возобновились прерванные зимой посадки деревьев. В разных концах города началась закладка высотных зданий — первых советских небоскребов. И среди них грандиозный подарок Москве и всей молодежи страны — новое здание университета на Ленинских горах.

А на семинарах текущей политики студенты обсуждали громовые известия из Китая, где войска генерала Чжу Дэ сокрушительно наступали на юг и запад.

Жизнь Вадима неслась по-весеннему бурно, не умещаясь в отведенных ей берегах — семнадцати часах в сутки. Он заканчивал реферат. Его назначили редактором курсовой газеты вместо Мака Вилькина, который вошел в редколлегию факультетской. Вадим продолжал вести литературный кружок на заводе. Почти весь март Вадим вместе со всем курсом был занят педагогической практикой в школе.

Палавина он не видел ни разу после собрания. Стало известно, что Сизов долгое время отказывался перевести Палавина на заочное отделение, но тот все же настоял и оформил перевод. Однако он еще никуда не уехал — его встречали в городе.

Лена Медовская упорно не разговаривала с Вадимом. Она очень изменилась, стала молчаливой, замкнутой и была как будто целиком поглощена занятиями.

Однажды она принесла Вадиму книгу, аккуратно завернутую в газету, и сказала:

— Это твой Бальзак. Сергей возвращает.

— А ты давно была у него? — спросил Вадим.

— Мы видимся часто.

— Что он сейчас делает?

— Работает,— ответила она с вызовом и повернулась, чтобы уйти.

Вадим удержал ее за локоть.

— Подожди-ка... Он что, злится на меня здорово?

— Не знаю. Мы вовсе не говорим о тебе,— и Лена подняла локоть, освобождаясь от руки Вадима.

Вскоре затем собралась редколлегия, в которой Лена по-прежнему заведовала сектором культуры и искусства. Она попросила освободить ее от работы. Вадим не протестовал: от Лены никогда, в сущности, не было большого проку в газете. Но Спартак возмутился:

— Ты что же, хочешь вовсе от общественной работы отделаться? Ты пока что комсомолка и изволь принимать участие.

— Я буду работать в клубе,— сказала Лена.— Или в подшефной школе. Мне хочется в школе, дайте мне поручение.

Спартак предложил ей связаться с Валюшей Мауэр, которая возглавляла теперь шефскую работу в школе. «Просто ей не хочется работать со мной, под моим начальством»,— решил Вадим.

В первый день апреля из Москвы уезжала студенческая делегация в Ленинград. Вадим приехал на вокзал провожать Андрея.

Был свежий, очень ясный вечер. Дома утопали в густой сумеречной синеве, и небо над ними, чистое и промытое почти до цвета зелени, уходило ввысь ровно темнеющим пологом. В глубине его уже мерцали ранние звезды, обещая на завтра теплый день.

По дороге на вокзал Вадим, волнуясь, думал о встрече с Олей. Но ее не было на перроне. Андрей стоял в группе незнакомых студентов, тоже делегатов; он был в кожаном коротковатом — верно, в отцовском — пальто и в сапогах.

— Отчего так поздно, Вадим? Эх ты! — Он обнял Вадима и расстроенно покачал головой.— Все пиво без

тебя выпили. Тут Петр был, Рая, Максим, Нина — только ушли... Через десять минут отправление.

Андрей вздохнул и неожиданно сказал, понизив голос:

— Ты знаешь — что-то я волнуюсь...

— С чего вдруг?

— Вот, страшновато стало... Понимаешь, хочется отличиться. И не только перед ленинградцами, но и перед москвичами из других вузов. А я вдруг уверенность потерял. Так ли все у меня хорошо, все ли правильно?.. Три ночи подряд Самгина перечитывал.

— Все будет в порядке, Андрюша,— сказал Вадим, улыбнувшись.— Да ты и сам знаешь, что все будет в порядке.

— Не знаю...— Андрей вздохнул, поднял очки на лоб и потер пальцами глаза.— Там и обсуждения будут. Диспуты. А разговаривать, сам знаешь, какой я мастер. Обязательно собьюсь, напутаю... Слушай, а как ты думаешь: почему Горький избрал героем своей эпопеи именно образ такого человека, как Клим Самгин?

Вадим ответил что-то, и начался спор. Они отошли от группы делегатов и двинулись по перрону к голове поезда. Неожиданно и без всякой связи Вадим спросил:

— А почему Оля не пришла на вокзал?

— Оля? — переспросил Андрей рассеянно.— Она здесь. Побежала в киоск мыло покупать; я так собирался, что мыло забыл взять. Что-то долго ее нет...— Андрей взглянул на часы и продолжал: — А по-твоему, случайно Горький избрал форму бессюжетного романа? И даже не романа — ведь это называется повестью...

Вадим, споривший до этого вяло, заговорил вдруг с подъемом:

— Горький ничего не избирал! Какой сюжет в жизни? Он взял саму жизнь, ничего не придумывая, не прибавляя...

— Андрюшка!

Оля бежала к ним по перрону, по-мальчишески размахивая руками.

— Здравствуйте, Вадим! — поздоровалась она, подбежав и глядя на Вадима радостно.

— Где ты бегала? — спросил Андрей строго.

— На площадь бегала! Горе-путешественник!.. Я еще не уверена, не забудешь ли ты мыться каждый день.

— Ну хорошо, без глупых шуток... Давай, пожалуйста, сюда.— Андрей, хмурясь, положил мыло в карман

пальто.— Елка, а теперь немедленно езжай домой, а то опоздаешь на двенадцатичасовой автобус.

— Домой? — спросила Оля, вмиг перестав улыбаться.— А я хочу до отхода...

— Мало ли что ты хочешь! Следующий автобус идет без четверти час, нечего тебе одной ночью по шоссе гулять. Сейчас же отправляйся!

Оля молчала, потупясь.

— А я все равно останусь...— сказала она тихо. Вдруг лицо ее просияло.— Я у тети Наташи буду ночевать! Как раз надо ее навестить, я ее полгода не видела.

Пожав плечами, Андрей пробормотал:

— Сама говорила, что никогда больше не останешься у тети Наташи, потому что она всю ночь спать не дает своими разговорами. Странный прилив родственных чувств...

— Идемте к вагону, сейчас отправление! — сказал Вадим громко и потянул Андрея за руку.

Перед самым отходом поезда Андрей спохватился, что не сказал Вадиму главного.

— Третьего дня я был у Кузнецова. Он собирается проводить дискуссию — «Образ советского молодого человека». Помнишь, намечали? Он хочет, чтобы и наши студенты приняли участие. Интересно, должно быть...

— Я помню,— сказал Вадим,— кажется, это еще Палавин предложил?

— Да-да. А что Сережка сейчас делает, не знаешь?

— Не знаю. Хочет уезжать...

— Дурак,— сказал Андрей коротко.— Вот малодушие! А он, наверно, думает, что если он уедет в тайгу учителем-недоучкой, то совершит подвиг самопожертвования.

Последние слова Андрей говорил, уже стоя на подножке. Поезд бесшумно, точно стараясь уйти незамеченным, двинулся вдоль перрона. Провожающие пошли рядом нестройной толпой, глядя в открытый тамбур и в окна, натыкаясь друг на друга и крича каждый свое:

— Береги горло, Женя!..

— Лиговка, пять! Пять!..

— Яну привет!..

— Не забудь про цикламен!..

Этот возглас относился к Андрею. Когда поезд ушел и дружная толпа провожающих как-то сразу рассыпалась, Вадим спросил у Оли, что это — цикламен.

— Это альпийская фиалка, очень красивая. У меня в Ленинграде подруга живет, и у нее есть этот цикламен. Я просила Андрея привезти семена. Все равно забудет!

Оля безнадежно махнула рукой. Они вышли на площадь перед вокзалом, и в этот поздний час полную суетливой жизни, залитую светом. Бойко торговали ночные ларьки, лоточники с мороженым и папиросами, продавщицы цветов. Легковые такси, все одинаково дымчато-серого цвета, с шахматным бордюром по кузову, стояли у тротуара длинным парадным строем. Одни поминутно отъезжали, другие подкатывали, двигаясь в толпе людей нерешительно, словно на ощупь...

Оля, обычно такая оживленная и разговорчивая, отчего-то притихла. Она шла в некотором отдалении от Вадима. «Все-таки она совсем девочка,— подумал он вдруг.— Боится, что возьму ее под руку».

— Где живет ваша тетя Наташа?

— В центре. Я поеду на метро до Охотного.

— Может быть, немного пройти пешком?

— Пешком? Ну пойдемте... Только здесь скользко. Возьмите меня под руку.

Он взял ее под руку. Оля оживилась и начала рассказывать о своем техникуме, о предстоящих экзаменах. Весной она кончает. Ей хотелось бы работать в опытном лесничестве, вроде того, где она была на практике. Уезжать из Москвы? Да, жалко, конечно... Вот и Андрей окончит, тоже уедет, и отец останется совсем один.

— Но ведь это не на всю жизнь, правда? — сказала Оля горячо.— Я обязательно вернусь в Москву, но я вернусь с диссертацией, я вернусь заслуженным человеком. А у вас есть какая-нибудь мечта?

— Есть,— ответил Вадим, помедлив.

— Какая же?

— Я хотел бы встретиться с вами, когда вы вернетесь в Москву заслуженным человеком.

— Нет, вы шутите,— сказала Оля, засмеявшись,— а я спрашиваю серьезно.

— Я не шучу.

— А если я никогда не вернусь?

— Тогда... ну, тогда я приеду к вам. Ведь там, где вы будете работать, тоже будут дети и их надо учить...

— Какие же дети в лесу? — сказала Оля тихо.— Это же лес...

Оля замолчала, отвернувшись от него и глядя в сто-

рону на бегущие по улице машины. Вадим сказал глуховато, словно что-то доказывая:

— Если в лесу живут люди, значит, и там есть дети. Ведь у вас тоже будут дети. И их надо учить. Так что...

— Моих детей? — спросила Оля удивленно и вдруг расхохоталась так звонко, что на нее оглянулись прохожие.— Вы думаете, у меня будет столько детей, что для них откроют школу в лесу? Ой, Вадим... Знаете что! — Она вдруг перестала смеяться.— Я бы хотела, чтоб вы приехали ко мне. Да, только не когда-то там через сто лет, когда у меня будет дюжина детей, а на днях. Мне будет скучно на этой неделе... Знаете, привезите свою научную работу о прозе Пушкина и Лермонтова и почитайте. Андрюшка говорил, что у вас очень интересная. Вы кончили?

— Нет еще.

— Ну ничего, сколько есть. Не думайте, что я уж такой профан в литературе. Андрей всегда со мной советуется.

— Вы скучаете без Андрея? — спросил Вадим.

— Да. Мы с ним в общем очень дружны. Серьезно, Вадим, приезжайте! И папа тоже спрашивал: почему это Вадим больше не приезжает? А то ведь...— Оля запнулась и добавила тише: — Мы, наверно, встретимся с вами только на вокзале, когда Андрюшка вернется.

— Он вернется дней через десять,— сказал Вадим.

— Видите, как долго...

— Почему долго?

— Почему? Потому что...— Она вдруг повернула к нему лицо, и в глазах ее смеялись и пылали отражения фонарей.— Потому что я хочу, чтобы вы приехали ко мне в лес. Когда-нибудь... когда у меня будет много, много детей и придется открывать для них школу.

Они стояли на остановке, и уже подходил, бесшумно покачиваясь, троллейбус, по-ночному светлый, пустой и словно отчего-то грустный. Они вошли, разбудив дремавшего кондуктора, и в троллейбусе не сказали друг другу ни слова. Но как только они сошли в центре, Вадим спросил, крепко взяв Олю за руку:

— Это правда?

— Я пошутила,— сказала она.— Сегодня ведь первое апреля. Идемте — вон дом тети Наташи!

И она побежала по тротуару, не вырывая своей руки и увлекая Вадима за собой. В огромном, гулком вестибюле со спящим лифтом они прощались.

— Ваша шутка недействительна,— сказал Вадим, глядя на часы.— Сейчас ноль часов пятьдесят минут. Уже второе апреля.

— Ой, что вы! — воскликнула Оля испуганно.— Так поздно! Я побегу...

— Нет, стоп,— и он взял ее другую руку.— Значит, ваша шутка недействительна?

— Значит, да,— сказала Оля, вздохнув.

— Значит, это правда?

— Правда...— сказала она чуть слышно.— Идите скорей, Вадим, а то вы опоздаете на метро.

— Да нет... Я...— Голос его прервался от нежности, внезапной и непобедимой, охватившей его, как озноб. Он махнул рукой.— Я не опоздаю... Я приеду к вам.

— До свиданья, Вадим! Бегите скорее!

Он медленно шел по улице — медленно, потому что на метро он все равно опоздал. Звездное небо опустилось над городом, дыша на него пахуче и влажно — весной. А город еще не спал: проносились машины, лихо поворачивали на перекрестке, где стоял милиционер в белых перчатках, и шоферы небрежно высовывали левую руку из кабин. Люди гуляли по улице, сидели на сырых ночных скамейках в сквере перед театром. И все они были счастливы этой теплой апрельской ночью, все они любили кого-то и были любимы, и у всех впереди была весна, первомайские праздники, летний отдых со знойным солнцем и речной свежестью — все, все прекрасное было у них впереди...

Педагогическая практика в школе подходила к концу. Каждому студенту пришлось за эти полтора месяца провести четыре самостоятельных урока: два по русскому языку и два по литературе, но, кроме того, полагалось присутствовать на всех уроках товарищей и затем вместе с методистом обсуждать их. Весь третий курс был разбит на небольшие группы и распределен по московским школам.

Практика в общем проходила благополучно, если не считать печального эпизода в один из первых дней, героем которого был Лагоденко. Во время перемены два мальчугана подрались на лестнице, и Лагоденко как раз проходил мимо. Вместо того чтоб разнять драчунов, он стал показывать им приемы бокса и затем разрешил немного «поработать». Директор школы застал молодого практиканта в роли тренера, который безуспешно кри-

чал противникам «шаг назад!», а потом бросился их растаскивать. Всему курсу в тот же день было сделано строгое внушение.

Вадим провел свои четыре урока одним из первых и получил от методиста высшую оценку, хотя сам он остался не вполне доволен собой. Сидя на уроках товарищей, он каждый раз оценивал свой собственный урок заново, находя в нем какие-то новые недостатки, упущения. Очень нравились Вадиму уроки Лагоденко. Тот обо всем умел говорить с ребятами удивительно серьезно, энергично, с увлечением и даже скучные грамматические правила украшал такими необыкновенными военно-морскими примерами, что все мальчишки пришли в восторг. Спокойно и уверенно провел свои уроки Андрей. Нина Фокина показалась Вадиму суховатой. Единственное, что ей безусловно удавалось, это суровый учительский тон, и, казалось, главной ее заботой было сохранять на лице выражение строгого бесстрастия. На самом же деле она так волновалась, что, вызвав ученика к доске, тут же забывала, о чем хотела его спросить. «Нет,— решил Вадим,— педагог из нее все-таки не выйдет. Будет научным работником, методистом...»

В последний день практики Вадим пришел в школу поздно: были назначены только два урока, один из них — Лены Медовской.

В маленькой комнатке на нижнем этаже, специально отведенной для практикантов, было шумно, как всегда, тесно, все были заняты своими делами: одни что-то читали, готовясь к уроку, проверяли друг у друга конспекты, другие просто болтали между собой, а методист, грузный седоватый мужчина в очках с железной оправой, человек немногословный и добродушный, не обращая внимания на шум, суету и даже пение — несколько девушек, усевшись возле окна, пели вполголоса,— разбирал с Леной Медовской ее конспект предстоящего урока.

— Товарищи, почему вы поете? — не отрывая глаз от конспекта, спрашивал он флегматично.— Вы же на занятиях, ей-богу.

— Алексей Евграфыч,— весна! — отвечали девушки смеясь.

— И практика наконец-то кончилась!

— Только не вздумайте убежать с урока Медовской. Извольте все присутствовать.

Лена Медовская проводила урок русского языка в

пятом классе. Вадим ни разу еще не был в пятом классе — он занимался с шестым и восьмым. С интересом наблюдал он, как на перемене мальчики окружили Лену, что-то наперебой у нее спрашивали, называя «Еленой Константиновной», потом потащили показывать свою стенную газету и Лена вместе с ними хохотала над карикатурами. Ее, несомненно, любили здесь. Вадим знал, что Лена в последние две недели каждый вечер проводила в школе — она организовала школьный хор, пригласив своего знакомого хормейстера, и была занята теперь в драмкружке, готовя спектакль к Первому мая.

Когда Лена вошла в класс и остановилась возле учительского стола, Вадим заметил, что она одета с особенной заботливостью, в очень нарядном, светлом весеннем платье, и он даже подумал, усмехнувшись: «Лена всегда Лена — по всякому поводу новое платье». Но по тому, как сразу притихли ребята, как они смотрели на Лену, внимательно, не отрывая глаз, Вадим понял — им как раз нравится, что Лена такая красивая, необычная, весело улыбающаяся, в нарядном платье.

На уроке Лена держалась очень непринужденно, всех учеников знала по фамилиям, а многих по именам. И урок свой она провела умело: новый материал подала так понятно, коротко, что у нее осталось четверть часа на «закрепление» — а это удавалось немногим. Глядя на нее издали, слушая ее звонкий, спокойный голос, Вадим неожиданно подумал: а ведь она может при желании стать неплохим педагогом! И Вадиму пришло вдруг в голову, что и красота Лены и ее способность внушать людям любовь — то, что казалось ему прежде счастливым, но бесполезным даром,— может приобрести теперь, в ее педагогической работе, совсем новый, неожиданный смысл...

После урока Вадим остался в классе, чтобы внимательно рассмотреть классную стенгазету. Она была оформлена замечательно, со множеством акварельных рисунков и карикатур, сделанных искусной и трудолюбивой рукой.

— А кто ж у вас такой превосходный художник? — спросил Вадим у мальчиков.

— У нас Саша!

— Иди сюда, Саш!

— Да где он?

Бросились искать Сашу и через минуту приволокли из зала упирающегося и покрасневшего от смущения

мальчика, в зеленой курточке и коротких штанах с пуговицами под коленями.

— Это ты художник? — спросил Вадим, и вдруг он узнал мальчика: — Саша Палавин!

— Он у нас такой скромница! Ему бы в девчонской школе учиться! — крикнул чей-то веселый голос.

— Здравствуйте,— сказал Саша тихо.

— Вот это встреча! — изумленно воскликнул Вадим.— Почему ж я тебя на уроке не видел?

— А я на «камчатке» сижу...

— Но ведь ты меня видел?

Саша кивнул.

— Ты очень хорошо рисуешь. Пойдем-ка...— Вадим взял Сашу за локоть.— Я хочу с тобой поговорить.

Они прошли через зал и остановились на пустой лестнице.

— Вот это встреча! — повторил Вадим улыбаясь.— Расскажи-ка мне, что делает Сережа.

— Сережа? — переспросил Саша, неуверенно подняв на Вадима глаза.— Он пишет, все время пишет... И курит.

— Курит?

— Да.

— Много курит?

— Ага. Очень много.— Помолчав, Саша добавил: — Он теперь опять папиросы курит, а трубку забросил.

— Та-ак. Ну, а что он еще делает?

— Еще?.. Еще он читает, иногда мне задачи помогает решать. Потом на диване лежит, просто так.

— И никуда не ходит?

— Не знаю. Он хочет уехать насовсем.

— Да?

— Да. А мы с мамой не хотим...

— Правильно. Вот что, Саша,— Вадим положил руку на Сашино плечо и очень серьезно и доверительно спросил: — А если я зайду к вам? Как на твой взгляд — можно это, ничего?

Саша, вдруг смутившись, отвел глаза в сторону.

— Не знаю, вообще-то...

— Почему не знаешь?

— Да нет... Например, сегодня мама сказала, чтоб ни одной вашей ноги не было. А Сережка стал кричать на нее, и они поссорились. Потом я в школу пошел...

Саша хотел еще что-то сказать, но тут зазвенел звонок, означавший конец перемены.

— Подожди минутку. Значит, Ирина Викторовна на меня сердита?

— Она очень нервная,— подумав, сказал Саша.— Она на меня тоже накричит, накричит, а потом забудет. Сережа говорит — с ней надо мириться, как с репродуктором, который у соседей. До свиданья!

И Саша на цыпочках, но очень быстро побежал по залу.

Когда возвращались из школы, Лена подошла к Вадиму на улице.

— Мне нужно поговорить с тобой,— сказала она, не глядя на него.

— Пожалуйста. Сейчас?

— Сейчас. А что, ты занят? У тебя неприемные часы? — После долгого перерыва они впервые взглянули друг другу в глаза. Глаза Лены смотрели насмешливо и с откровенной враждебностью.

— Пожалуйста... Когда хочешь...— пробормотал Вадим.

— Я хочу поговорить о Сергее, поэтому...

Вадим кивнул, и они, отстав от компании, зашли в сквер и сели на скамью.

— Как ты понимаешь, мне не легко было решиться, и тем более — с тобой...— начала она прерывающимся голосом, хмурясь и комкая в руках перчатку.— Но это слишком серьезно. Я не буду говорить о том, что было и согласна ли я с решением собрания или не согласна...

— Ты ведь голосовала против строгого?

— Да, против. Но я не об этом. Сергею сейчас так плохо, что... Он ведь совсем один остался, понимаешь?

— Понимаю.

— Ничего ты не понимаешь! — проговорила она с внезапным раздражением.— Попробуй поставь себя на его место — весело тебе будет? Нет, ты не можешь понять, ты слишком холодный, Вадим...

— Ну хорошо...— Он растерянно улыбнулся.— А что, собственно, я должен делать?

— Ничего ты не должен! И вообще вы правы, все вы правы тысячу раз! Но дело, по-моему, не в том, чтобы трахнуть человека по голове — пускай даже за дело — и спокойно шествовать дальше, оставив человека на произвол судьбы.

«Крепко она к Сережке присохла»,— глядя в побледневшее от волнения лицо Лены, думал Вадим удивленно и даже с завистью, запоздалой и смутной, но которая

все же была ему неприятна. Он взял ее за руку и сказал как можно мягче:

— Леночка, ты мне напомнила сейчас знаешь кого? Ирину Викторовну. В ее представлении Сергей тоже беспомощный младенец, брошенный, как ты говоришь, на произвол судьбы.

— Какой ты злой, Вадим! — сказала Лена возмущенно, залившись румянцем.

— Я? Ничего подобного. Наоборот, я несколько дней уже порываюсь пойти навестить Сережку и каждый раз говорю себе — рано. Рано, понимаешь? Пусть подумает обо всем, помучается один.

— Пока ты будешь выжидать, он соберет чемодан и укатит куда-нибудь.

— Не укатит. Ручаюсь, что не укатит.

— Ты думаешь? Не знаю...— Она вздохнула и заговорила немного спокойней.— Мы с ним сначала поссорились. Он не хотел меня видеть, говорил, что я должна презирать его, что он уедет, мы никогда не увидимся, всякие жалкие слова... А я считаю, что он не должен уезжать, должен закончить институт в Москве. Это малодушие, я считаю, это противно комсомольской совести! Разве он будет учиться на заочном? Конечно, нет! А он спорит со мной, и ему так трудно объяснить. Даже не знаю... Вот если бы ты пришел к нему... мне кажется, он бы тогда задумался, он бы понял, потому что ты... вот ты такой.

— Я такой...— повторил Вадим, усмехнувшись. Ему вспомнились эти же слова Лены, но сказанные совсем в других обстоятельствах.

— А он твердо решил уехать. Если б ты видел его! Он стал на себя не похож. Не выходит из дому, злющий, тощий, курит без конца — одну от другой прикуривает. Просто ужас какой-то...

Лена замолчала, скорбно покачивая головой. Вадим впервые видел ее так искренне и горько, по-человечески говорящей о своих чувствах.

— Вот зачем я тебя позвала,— сказала Лена.— Надо что-то сделать. Надо вернуть его, уговорить... Только — слышишь? — ни в коем случае не говори ему, что я с тобой разговаривала. Это тайна.

После минутного раздумья Вадим сказал:

— Он вернется.

— Ой... хоть бы скорее! Без коллектива он погибнет, это же ясно. Ну, Дима, а вот ты... ты не можешь

поговорить с ним? Прийти к нему? Или как-нибудь встретиться, например — случайно?

— Я же сказал тебе: по-моему, рано...

— Рано? — неуверенно переспросила Лена.— Может быть, не знаю.

Она поднялась со скамьи, вынула из сумки зеркальце и, глядя в него, пригладила пальцем светлый локон под шляпкой. Вадим смотрел на нее, невольно улыбаясь. Бедная Лена! Она говорит громкие фразы насчет комсомольской совести и коллектива, но в мозгу ее мечется только одна мысль, одна простая отчаянная мысль: «Он хочет уехать, он может уехать и оставить меня. Оставить меня!»

— Не знаю, не знаю...— повторила Лена, вздохнув.— Наверное, я не все еще поняла как следует. Все-таки я легкомысленная — правда, Вадим?

— Сущая правда,— сказал Вадим серьезно.

ГЛАВА 28

Сергей Палавин встал из-за стола. Он поставил последнюю точку в своем реферате об эстетике Чернышевского. Больше месяца трудился он над этой работой.

Пухлая тетрадь лежала на столе, открытая на последней странице. Несколько строк, торопливо изогнутых кверху, забежали на синюю обложку. Сергей подумал, снова сел к столу и написал на синей обложке печатными буквами: «Конец». Затем аккуратно перелистал все страницы, оказалось сорок пять. Под словом «конец» он расписался и поставил число — двенадцатого апреля.

Итак, многодневный труд закончен... Сергей взял тетрадь на ладонь, бережно покачал ее, словно взвешивая, и бросил за шкаф. Она падала неохотно, с трудом. Толстая общая тетрадь, она была вся исписана и распухла от этого вдвое.

Теперь, когда он закончил работу, которая требовала напряжения ума и воли, составляла дневной его труд и развлечение,— теперь он с отчетливостью понял, что эта работа не нужна ему. И не нужна никому. Где он покажет ее, куда понесет? Никуда. Кто прочтет ее и оценит? Никто...

Ровно три часа. Солнечный апрельский день, рвущийся в комнату сквозь открытое настежь окно. Вся

комната залита солнцем и благоухает весной. Теплый ветер путается в занавесках, то комкает их и сбивает на сторону, то надувает прозрачным, трепещущим пузырем. И приносит в комнату запахи весеннего города — яблочный запах мокрых железных крыш, сырой штукатурки, земли, бензина. Шумно и звонко за окном: влетают с улицы чьи-то голоса, смех, гудки машин и разнообразные водяные звуки — дзеньканье капель, плеск, журчание в желобах. Снизу долетают глухие удары — выбивают матрацы во дворе. Моют где-то окна, испуганный голос кричит: «Соня, не высовывайся далеко-о!», и другой весело откликается: «Я не высо-о-о...»

Три часа дня. Мать на работе; скоро придет из школы Саша, бросит портфель на сундук возле дверей, схватит в буфете бутерброд и, жуя на бегу, умчится во двор, где его ждут приятели с мокрым футбольным мячом. А в институте... Да, с практикой они уже разделались, теперь снова идут лекции в институте. Десять минут назад окончилась последняя — шестая лекция. В раздевалке задорная толкотня. Липатыч сердито ворчит, чтоб «соблюдали черед», студенты гурьбой выходят во двор, болтают, смеются... Жизнь идет по-прежнему, еще ярче, веселей, радостней, потому что — весна. И никому не кажется странным, что Сергея Палавина нет среди них...

Сергей встал с дивана, пошарил в столе и по карманам в поисках папирос. Одни табачные крошки. Денег у него уже не осталось. Неужели сидеть без табака до вечера, а потом опять клянчить у матери на студенческие «гвоздики»? Он захлопнул окно. Сел к столу и принялся бесцельно водить карандашом по книжной обложке. Шляпы с полями... Он всегда рисовал шляпы и еще ботинки, больше ничего не умел.

Надо уезжать. Сегодня вечером окончательно поговорить с матерью, взять у нее деньги и уехать. А если не даст, продать все книги, весь шкаф, все, что он собирал с такой кропотливой любовью,— и уехать. Мать, конечно, никаких денег не даст. Начнет плакать, кричать, что он не считается с ней ни вот на столько. А куда ехать?.. Дядя, брат матери, которому она все рассказала, каждый вечер поет одно и то же: «Ты трус, боишься вернуться в коллектив. Тебе стыдно признаться в своей вине». Как будто это так просто! «А что тут сложного? Если ты честный человек...» Рассуждать и поучать — это просто. Для них все просто. Разве они могут понять его состояние?..

Палавин распахнул окно. Какая невыносимая жара в комнате! Он потрогал батарею и с отвращением отдернул руку — топят. На дворе лето, а они топят, дурачье...

Комната вновь наполнилась хвастливым весенним звоном. Окно покачивало ветром, и по комнате с сумасшедшей легкостью метался солнечный зайчик.

Палавин быстро вышел из комнаты в прохладную полутьму коридора. Снял телефонную трубку. Лене? Она еще не пришла, наверно. Спартаку?.. Феде Каплину?.. Вадиму? Неужели нет никого, с кем он мог бы поговорить? Ни одного человека? Он стал лихорадочно листать записную книжку. Валя Грузинова... Кузнецов, Крылов, Каплин, Козельский... Козельский?.. Козельский! Он, может быть, и не знает ничего.

Палавин набрал номер, не веря, что застанет Козельского дома. Молодой, крепкий бас лениво сказал:

— Да, слушаю!

— Бориса Матвеича, пожалуйста.

— Минутку... Боря!

Слышались смутные голоса далекой, большой квартиры, вероятно полной людей. Кто-то разучивал на рояле гаммы, и они тоже напоминали весну, звон капель на подоконнике...

— Да-да?

— Здравствуйте, Борис Матвеич! С вами говорит Палавин.

— Кто?.. Ах, Сережа! Добрый день! — обрадованно откликнулся Козельский.— Не забыли?

— Как видите, Борис Матвеич.

— Спасибо, Сережа. Как ваши успехи? Слышал, идете в гору? Как институт? Что нового?

Он заговорил вдруг так быстро, что Палавин не мог вставить ни слова и только подумал изумленно: «Ничего не знает обо мне!»

— Новостей особых нет, Борис Матвеич. Как ваши дела? Вы работаете?

— Да-да! Как же иначе! Да...— Голос в трубке зазвучал с усиленной бодростью.— Работаю пока дома, пишу кое-что, читаю. Так сказать, профессор-надомник... Перспективы еще не ясны, но будем надеяться на лучшее. Был, так сказать, период переоценки ценностей, было и тяжело и неприятно, но... время, говорят, лучший лекарь. Я добавлю — время и работа. Вы понимаете?

— Я понимаю,— ответил Палавин. Разговор ему вдруг наскучил, и он уже клял себя за то, что позвонил. Между тем Козельский начал подробно расспрашивать о жизни института, о профессорах, студентах, научном обществе. Палавин старался отвечать как можно обстоятельней. Его сведения были трехнедельной давности, но Козельский не мог этого знать и воспринимал их с жадным интересом. Наконец он попрощался.

Палавин отошел от телефона раздосадованный. Теперь он понял, что втайне желал, чтобы Козельский знал об его положении и как-то успокоил его, обнадежил, что-то посоветовал. А впрочем, и это блажь, чепуха. Меньше всего ему способен помочь Козельский...

Палавину хотелось курить. Нет, не хотелось — ему казалось, что все его страдания заключаются сейчас единственно в том, что ему нечего курить.

Когда он вышел на улицу, толстый однотомник Флобера оттягивал его руку, словно чугунная гиря. В прошлом году он три месяца охотился за этой книгой, рыскал по магазинам, договаривался, предлагал кому-то обмен... В магазинах он часто встречал людей, продававших книги, и ему всегда почему-то было жаль их и немножко за них стыдно. Ему казалось, что у них виноватые лица и такой вид, точно они скрываются от кого-то.

Продать книгу оказалось не так-то просто. В одном магазине был выходной день, в другом как раз не было денег. В третьем магазине заболел товаровед. Знакомый букинист, увидев Палавина, удивленно спросил:

— Продаете Флобера? Вы же, помнится, так его искали.

— Да-да, я полное собрание приобретаю...

— Ах, вот как? — заинтересовался букинист.— Интересно, в магазине или с рук?

— У знакомых.

— Слушайте, а почему у вас такой кислый вид? Бледность, мешки под глазами? — не унимался букинист.— Вы больны?

— Так, весенний грипп...— пробормотал Палавин.

Наконец Флобер был продан. Палавин вышел из лавки, зажав в стиснутом кулаке две бумажки. Он сейчас же купил коробку папирос. Вероятно, месяц назад этот поступок показался бы ему чудовищным. Теперь он сам по себе ровно ничего не значил.

В троллейбусе он попросил билет до Кировских во-

рот. Кондукторша сказала, что надо ехать в обратную сторону...

— А куда идет ваш?

— Наш до Калужской, гражданин. Слазьте, пока дверь открыта.

Палавин раздумывал мгновение — и вдруг решительно сел в кресло.

— Дайте один до Калужской...

Троллейбус бежал через Каменный мост. У чугунных перил стояли люди, очень много людей, на что-то глядели. Троллейбусные пассажиры тоже прильнули к стеклам, заговорили возбужденно и непонятно, наперебой: «Давно пора... Взрывают... Первый день?» Палавин бессознательно смотрел в окно.

Он сошел на знакомой остановке. Широчайшая Калужская улица была влажной и чистой, словно промытая огромной шваброй. Солнце сияло на ее асфальтовом гребне и в окнах многоэтажных новостроек. Палавин вошел во двор дома, в котором бывал много раз, но сейчас у него было такое чувство, словно он шел в этот дом впервые.

Лифт только что поднялся, железное ворчанье медленно уползало вверх. Ждать его было немыслимо. Палавин стал подниматься, перешагивая через ступени.

В комнате с растворенными настежь окнами сидели за столом Вадим, Спартак, Лагоденко и Нина Фокина. Вадим прочел им свой реферат (он закончил его только вчера), и вот уже второй час шел о нем разговор.

Все четверо говорили так шумно и оживленно, что не слышали входного звонка. Открыл кто-то из соседей. Они не услышали и тихого стука в дверь и увидели Палавина, когда тот уже вошел в комнату.

Палавин вошел, нерешительно озираясь, чуть ссутулившись, с горящей папиросой в зубах, и сразу остановился — он не ожидал встретить здесь столько знакомых.

Вадим первый увидел его, встал, молча пожал руку. Спартак и Нина тоже поздоровались молча, а Лагоденко сказал:

— Привет.

Он смотрел на Палавина с откровенным удивлением и недоверчиво и, когда тот сел к столу, сказал:

— Ну, брат, ты просто пассажир первого класса после штормовой качки! Что с тобой?

— Грипп весенний,— сказал Палавин.— Вадим, ты занят сейчас?

— Уже нет. Мы обсуждали тут мой реферат.

— Ну как?

— Очень интересно,— сказала Нина.— Жаль, что ты не пришел раньше, тоже послушал бы.

— Поучился бы? — негромко усмехнулся Палавин.

— Что ты сейчас делаешь? Где ты? — спросил Спартак, сделав вид, что не расслышал палавинского замечания.

— Пока дома... Вадим, я хотел поговорить с тобой.

Вадим кивнул.

— Сейчас поговоришь, не волнуйся,— сказал Лагоденко, вставая, и, подойдя к Палавину, с силой облокотился на его плечо.— Послушай-ка меня, Сережка! Ты уезжать вздумал? Это глупо и неправильно. Не уезжать ты должен, а остаться в институте. И не на заочном, а на очном. На нашем курсе — понял? Я вот тоже собирался когда-то удрать, было дело... Да вовремя застопорил. И тебе советую эти мысли оставить. Легче будет — понял? — самому будет легче. Вот все.

— Нет, не все! — возразил Спартак энергично.— Сергей, отчего ты перешел на заочный и задумал уезжать? Отвечай честно: оттого, что не согласен с нами? Считаешь себя невинно пострадавшим? Отвечай!

Палавин угрюмо смотрел в окно. Долго молчал, обкусывая мундштук давно потухшей папиросы. Пепел осыпался ему на брюки, и он машинально, не глядя, стряхивал его.

— Что ты молчишь? — спросил Спартак нетерпеливо.

— Я переведен приказом на заочное...

— А, брось! Что ты говоришь чепуху! Слушай, если захочешь вернуться, тебя примут. В крайнем случае ну... можно похлопотать. Если ты вернешься честно, как говорится — с открытым забралом...

— Это так просто, по-твоему? Вернуться после всего...

— А как ты думал! — воскликнул Спартак.— Конечно, не просто! Теперь тебе все будет не просто. Легче всего — взять и уйти. Бежать! И еще разыгрывать из себя великомученика...

— Да-да! — рассмеялся Лагоденко.— Лермонтова в ссылке!..

— Очень остроумно...— пробормотал Палавин, болезненно сморщив лицо.

— Слушай, мы все понимаем,— сказал Спартак спокойно.— Да, не просто это — вернуться. Тем более что ушел ты сам, по собственной глупейшей прихоти, которая на самом деле — что? Поза! Да, позерство, я в этом глубоко убежден! Да и ты теперь это понимаешь, но — трудно самого себя ломать, больно, самолюбие страдает. А все-таки вернуться ты должен. В нашем коллективе ты провинился, в нашем коллективе должен и вину искупить. И мне вот... я, например, верю, что ты еще станешь настоящим комсомольцем и человеком.

— Да. Вполне,— сказал Лагоденко.— Ну ладно, мы идем смотреть ледоход. Говорят, сегодня первый день.

— Уже вчера пошел, вечером,— сказала Нина.— Сколько людей на набережной, и стоят часами! По-моему, это ротозейство...

— Да нет, ты ничего не понимаешь! Идем немедленно! — И Лагоденко поднял Нину двумя руками за талию и легко понес через всю комнату к двери.— Посмотреть ледоход — все равно что сходить в консерваторию. Симфония! Идемте, а они пусть тут один на один сражаются. Вам секундантов оставить?

— Обойдемся,— сказал Вадим.

И трое ушли. Вадим увидел их через короткое время в окно, стоявших на троллейбусной остановке. Лагоденко тоже заметил Вадима и начал производить какие-то замысловатые жесты — потряс в воздухе кулаком, топнул ногой и снова потряс кулаком, словно забивая что-то невидимым молотком. Вадим понимающе закивал в ответ, хотя не понял в этой сигнализации ровно ничего.

Палавин ходил по комнате. Он снова курил и стряхивал пепел на пол.

— Есть пепельница,— сказал Вадим.— На столе.

— Прости...— Палавин, остановившись у стола, притушил папиросу.— Вот... Во-первых, я не знаю, как ты теперь относишься ко мне.

— Я тоже не знаю — как ты ко мне.

— Могу сказать. Я относился к тебе... да, скверно. Одно время. Ты был тот первый камень, который покатился с горы, стал сбивать другие и обрушил лавину, которая завалила меня... Так мне казалось, Вадим...

— Это очень образно.

— Может быть. Со стороны.

Палавин замолчал. Нахмурившись, смотрел в одну точку себе под ноги, потом медленно поднял глаза и,

встретившись со взглядом Вадима, вновь опустил их, сдвинув брови еще мрачнее...

— Так. Ну, а теперь?

— Я был ошеломлен сначала, перестал соображать... И прошло несколько дней, пока я в чем-то разобрался,— не поднимая глаз, пробормотал Палавин сердито.— Я не буду каяться сейчас, вспоминать свои ошибки и все это... Пустые слова, им грош цена. На поступки отвечают поступками, дела искупаются делами. Это все азбука... Я хочу только сказать, что теперь я стал другим человеком. Нет, не для вас! Для себя...

— Опять для себя? — усмехнулся Вадим.

— Я говорю: пока, пока еще не для вас! — Палавин вспыхнул.

— Ясно. Продолжай.

— Вот... И когда я за эти двадцать дней все передумал, я понял, что хоть и здорово мне досталось... да, крепко... но в общем как будто за дело. И сейчас я думаю о тебе... Одним словом, я пришел к тебе посоветоваться — что мне делать?

Теперь он смотрел на Вадима в упор. Его бледное, ставшее неузнаваемо острым и скуластым лицо зарозовело вокруг глаз.

— Что тебе делать? — переспросил Вадим.— Во-первых, хорошо, что ты пришел сюда. По правде сказать, я знал, что ты придешь. Верил. Это первый твой правильный шаг — потому что ты знаешь, что́ тебе посоветую я, и Спартак, и все остальные. Мы можем посоветовать тебе только одно.

Палавин кивнул и, точно испытав внезапное облегчение, заговорил поспешно и сбивчиво:

— Я больше не мог! Да, я пришел к тебе потому, что ты не можешь себе представить, что это значит... Как это бывает, когда человек остается сам с собой. Нет, я сам чувствовал, что уезжать нельзя, это бегство, малодушие — я знал это, знал... Но еще труднее мне было вернуться. Даже только прийти — вот к тебе... Ведь я, Вадим, все-таки, хоть и есть во мне эгоизм, человек общественный, я не могу жить без людей, без коллектива. Эти двадцать дней... ну, я писал реферат о Чернышевском, писал день и ночь, чтобы как-то отвлечь себя... А зачем? А потом? Куда его — под подушку? Кому читать?.. Да и не только из-за реферата! Это, в конце концов, мелочь... Все-таки я сроднился, привык к институту, к ребятам, к нашей жизни... И вдруг я ока-

зался оторван, один, как на острове после кораблекрушения. Только Лена как-то связывала меня с той жизнью... Одна Лена! Да, я люблю ее, люблю по-настоящему, Вадим... Это началось с пустяков, а теперь уже другое, серьезно, Вадим... Да, с ней мне было немного легче. А может быть, еще тяжелей... я не знаю...

Палавин поднял плечи и вдруг опустил их, замолчал. Казалось, он был растерян, поражен собственными словами, их обилием...

— Ну ладно,— сказал Вадим, внимательно на него глядя.— Пойдем думать на улицу?

— Да, хорошо! Там весна...

Они вышли на Калужскую, пронизанную косым, оранжевым солнцем. С углов домов свергались водопады капель, и люди пробегали под ними, согнувшись, придерживая руками шляпы, и резво прыгали через лужи.

Поздним вечером Вадим и Сергей Палавин прощались на большой, шумной площади. Оба устали от разговоров, многочасовой непрерывной ходьбы.

— А ты помнишь, Сергей, что как раз на этой площади мы с тобой встретились первый раз после войны?

— Да, только это было там, возле театра...

— Да. И днем.

Оба замолчали на минуту, глядя на площадь, полную вечерних огней.

— Я помню, как ты поучал меня тогда: смотри не влюбись! Это, мол, помешает. Пробиваться надо в одиночку. Я тогда как-то не обратил внимания...

— На что?

— Вот на это «пробиваться». А недавно я перечитывал «Отца Горио» и встретил это словцо, девиз Растиньяка: «Пробиться, пробиться во что бы то ни стало!» У него это в конце концов получилось не плохо...— Вадим взглянул на Палавина искоса и усмехнулся.— Ну, в общем, ладно, понятно! Чего долго говорить...

— Ты прав, прав...— пробормотал Палавин, кивая. Он точно замерзал в своем легком габардиновом плаще и стоял, втянув голову в плечи, с поднятым воротником.— Но мне хочется сказать, Вадим,— внутренне, то есть в глубине души, я не был карьеристом, нет, совершенно! Ведь с рефератом у меня это случайно получилось, без всякого умысла. Знаешь, бывает — как-то сроднишься с чужими мыслями и совсем забываешь по-

том, что это не твое, а чужое... Так и у меня, наверно, было. А вообще-то... вообще, конечно, хотелось быть впереди, во всем... хотелось выдвинуться... Мне сейчас очень тяжело, Вадим...

— Еще тяжелей будет,— сказал Вадим тихо и уверенно.— Все заново начинать придется. И дружбу заново завоевывать, и уважение, и место в первых рядах, к которому ты так привык. А иначе, я думаю, ничего не выйдет.

Помолчав, Сергей сказал:

— Три года назад мы встретились здесь, отвыкшие друг от друга, совсем новые... Мне кажется, не три — тридцать лет прошло. И опять стоим здесь — снова отвыкшие, новые. Словно только знакомимся.

— Да, много времени прошло,— согласился Вадим.— Может, опять привыкнем? Ведь еще полтора года вместе жить.

— Там увидим,— сказал Палавин коротко и протянул руку.— Ну, привет!

Он ушел в освещенный подъезд метро.

ГЛАВА 29

Конец апреля выдался необычно жаркий. На солнце пекло, как летом, и поливочные машины не успевали охлаждать асфальт. Все москвичи уже ходили по-летнему. Радио объясняло этот внезапный прилив тепла вторжением «масс воздуха с южных широт» и каждый день горделиво высчитывало, сколько десятков лет не наблюдалась этой порой в Москве подобная температура. Парки и скверы зазеленели дружно, в одну ночь.

На последнее апрельское воскресенье был назначен в одном из столичных парков спортивный студенческий праздник. Днем должны были состояться финальные встречи боксеров, а вечером — волейболистов. Команда педагогического института встречалась в решающем матче с командой студентов-химиков. Исход этой схватки лидеров должен был определить победителя межвузовских волейбольных соревнований.

Вадим пришел в парк пораньше, чтобы увидеть боксеров — сегодня выступал Лагоденко, и Вадим обещал ему, что обязательно придет «болеть».

Когда Вадим подошел к открытой эстраде, все поле перед нею было уже заполнено зрителями. Здесь были

болельщики от всех вузов, чьи представители выступали на ринге, и вся эта огромная толпа возбужденно шумела, двигалась, выкрикивала десятками молодых глоток слова восторга и гнева, досады и одобрения. Среди студентов сновали мальчишки, наиболее осведомленные и азартные болельщики,— они не пропустили, наверное, ни одного дня, ни одной встречи в соревнованиях. Каждого боксера они узнавали в лицо.

— А вон этот-то! — обрадованно кричал мальчуган рядом с Вадимом и без устали подпрыгивал, чтобы лучше видеть.— Всегда улыбающий! Его бьют, а он улыбается... Эй, улыбающий!

С разных сторон раздавались возгласы и замечания знатоков:

— Вон Костя выходит! Он сильно работает...

— Да, техничный боксер...

— Давай, Вася, жми-и! Он уже поплыл!.. Жми, Вася, по корпусу,— он плывет!!

— Моряк вышел! Моряк! — провозгласили мальчишки, когда на ринге появился Лагоденко.— У него наколочка правильная!.. Он вчера тут давал одному — будь здоров!

Лагоденко, выступавший в полутяжелом весе, выиграл у своего противника с большим трудом, по очкам. Когда боксеры после трехраундового боя пожимали друг другу руки, противник Лагоденко, долговязый белобрысый эстонец, студент МГУ, трогательно поцеловал Лагоденко в губы. Зрителям это понравилось, все захлопали. Лагоденко вышел к своим болельщикам мрачный. Его поздравляли, но он только досадливо отмахивался:

— Что это за победа? Позор...

— Почему, Петя? — с шутливым недоумением спрашивала Рая.— Наоборот, очень хорошая победа! Никто никого сильно не побил, не повредил...

Соревнования по боксу продолжались, но пора было идти к волейбольным площадкам. Там играли женские команды, и уже собралось много зрителей.

— Где ты пропадал?! — кинулся к Вадиму Василий Адамович.— Ты кто: представитель комитета? Или корреспондент «Советского спорта»? Немедленно раздевайся!

Вадим быстро переоделся и, чувствуя себя легко и свободно в майке, в спортивных резиновых тапочках, выбежал на площадку. Команда разминалась в два мя-

ча — Рашид бил, кто-то блокировал его, кто-то просто прыгал, взмахивая руками, возле сетки. Ребята не имели спортивного вида — все бледнокожи, незагорелые после зимы.

Капитан команды Бражнев, географ с последнего курса, объяснял что-то одному из игроков, держа мяч над головой. Увидев Вадима, он бросил мяч и подошел.

— Привет, Дима. Ну, сегодня будет игра! — сразу сказал он, возбужденно усмехаясь.

— Что — сделают нас?

— Может, и не сделают, а придется туго. Трудно сказать. У них этот большой, Моня, четвертый номер, говорят, стал здорово бить. Двойной блок прошибает — сила! Ты его все-таки прикрывай...

— Они уже пришли?

— Нет, сейчас придут... Сила, брат! — повторил он, засмеявшись. Он смеялся от волнения.

Тем временем судьи осматривали площадку, где должна была происходить игра, и вымеряли специальным шестом сетку. Наконец явилась команда химиков. Вадим издали наблюдал, как они разминались, прыгали на прямых ногах, перебрасывались в кружке, били небрежно, будто с ленцой, но сильно. Все шестеро били сильно. А капитан их, Моня, курчавый, черноволосый детина не меньше двух метров росту, бил, кажется, с обеих рук...

И вот команды вышли на площадку, прокричали «физкульт-привет!», судья дал свисток и игра началась.

Первый мяч выиграли химики.

Они подают — мяч низко летит над сеткой и попадает прямо в руки Бражнева. Тот пасует Вадиму, и Вадим накидывает мяч точно над сеткой. Должен бить Рашид... Вот он разбегается — удар! Эх, черт! Не загнул кисть — сильный мяч, но в аут.

— Ничего, ничего! — бурчит сзади Бражнев.

Ясно, что «ничего». Один — ноль, только и всего. Первые мячи самые трудные. Химики, как видно, не волнуются. Они помнят, что в первом круге обыграли педагогический институт. Они спокойны. Вот опять подают — сильнейшая, пушечная подача, так называемый «крюк». Опять Вадим получает пас и накидывает мяч точно так же, на самую сетку. Рашид взлетает, как птица, бьет — удар по звуку смертельный, но мяч цепляется за сетку и мягко, несильно перелетает на ту сторону... Болельщики химиков оглушительно аплодируют, глупый народ...

— Я плохо кидаю? — тихо спрашивает Вадим, хотя прекрасно знает, что кидает он хорошо.

— Хорошо кидаешь...— не глядя, отвечает Рашид.

Но мяч уже у химиков, черная голова Мони возносится над сеткой — сейчас будет бить!.. Вадим прыгает, высоко вытянув руки. Мяч пролетает, не задев даже пальцев. Вадим оборачивается — маленький Женя Топорков, пятый номер, лежит, сбитый с ног, на земле и растерянно моргает...

Мяч ушел к зрителям. Враждебные болельщики злорадно хохочут.

— Ничего, ребята, ничего...

И снова Вадим накидывает Рашиду — на этот раз чуть повыше,— и Рашид бьет уже испуганной, осторожной рукой. Мяч идет чисто, но слабо. Нет, это не удар... Что с ним сегодня случилось?

Химики легко забирают мяч, играют на Моню — удар! — словно вылетает из огромной бутылки огромная пробка...

Счет три — ноль. Через пять минут он становится шесть — ноль, еще через минуту восемь — ноль. Команда в растерянности. Рашид бледен, его круглое лицо потно блестит, но он вспотел не от игры, а от невыносимого чувства стыда. Вадим больше не дает ему мячей, он пасует на второй номер — там стоит голенастый хладнокровный Миша Полянский. И вот Миша выигрывает один мяч... Наконец-то! Подача отбита, и Вадим передвигается с третьего номера на второй. Теперь и он может быть нападающим. «Дай пас! Дай пас!» — шепчет он Рашиду сквозь зубы. Он чувствует, как тело его напряглось, точно налито бешеным, злобным желанием ударить по мячу всей мощью руки, всем весом пятипудового тела, ударить так, чтобы мяч несся со свистом, как снаряд, чтобы он прошибал блок, валил кого-то навзничь, друг на дружку... На втором номере Вадим добывает своей команде три очка.

Но игру, конечно, теперь уже не спасти. Потом Вадиму приходится уйти на подачу. Со второго номера пробует бить Рашид, раза два ему удается. Но все равно игру уже не спасти.

Длинный свисток судьи. Первая игра проиграна со счетом пятнадцать — шесть. Команды уходят с площадки на короткий перерыв.

Василий Адамович стоит мрачным изваянием возле столба и смотрит на Бражнева, который подходит к не-

му, понурившись, и с подчеркнутой заботливостью отряхивает запачканные землей трусы. Но вдруг, улыбнувшись, тренер обнимает Бражнева за плечи и говорит ласково:

— Ничего, Илюша! Спокойно, ребятки, вы теперь злы. Должны выиграть.

Он похлопывает волейболистов по взмокшим плечам, шутит, дает советы, а они, угрюмые и усталые, молча кивают, односложно отвечают...

Вадим видит разочарованные лица своих друзей — одни откровенно печальны, другие успокоительно улыбаются, тоже что-то советуют. Спартак доказывает Василию Адамовичу, что судья неправильно присудил последний мяч химикам. Он так громко и обиженно говорит об этом, словно все дело-то в этом последнем мяче. Бедный Спартачок, как он расстроился!..

Здесь же, среди зрителей, Сергей Палавин и Лена. Сергей — запасной, он в такой же, как у Вадима, голубой майке. Он свеж, полон сил, спокойно курит и что-то негромко объясняет Рашиду:

— Когда ты выходишь на мяч, ты выходи вот так...

А Рашид, измученный, потный, с ввалившимися глазами, молча слушает его и кивает, ничего, вероятно, не понимая. К Вадиму подбегает Лена.

— Ой, Вадим, я за вас так болею, а вы проиграли! — говорит она, сделав плачущее лицо.

— Да мы еще не проиграли.

— Вадим, милый, выиграйте! Как я этого Моню ненавижу — все время тушит! Потушит и еще смеется!

— Тушат, милая моя, капусту...— говорит Лесик, с брезгливым видом нацеливая на кого-то объектив «ФЭДа».— А ты бы подошла к нему, очаровала, увлекла в парк, понимаешь ли... Они без него и проиграют.

Вадим видит вдруг Андрея и Олю; их не было днем, и Вадим уже решил, что они не придут. Протолкавшись сквозь толпу болельщиков, Оля подходит к нему, притрагивается пальцами к его руке, еще полной внутренней дрожи и напряжения.

Вадим спрашивает быстро:

— Ты давно здесь? Видела игру?

— Я видела. Вы все равно выиграете,— говорит она тихо.— У меня такое предчувствие, а я никогда не ошибаюсь...

— Свисток судьи — перерыв кончился. Вадим сжимает Олины пальцы и, не рассчитав, очень сильно.

Она вскрикивает и улыбается, глядя в его испуганные глаза.

Вместе со всей командой он выбегает на площадку, теперь на другую, где играли в прошлый раз химики. Он чувствует внезапный и радостный прилив сил. Эта площадка счастливая. Здесь надо выиграть.

Через сетку Вадим разглядывает противников: какие они спокойные, совершенно уверенные в победе! Стоят как вкопанные, не шевелясь.

А Рашид переминается с ноги на ногу, горбится, щупает зачем-то колени — нервничает. Женя Топорков, тоже волнуясь, топчется в своем углу.

Мяч летит... Летит почти по прямой, на волосок от сетки — и попадает в точно подставленные ладони Бражнева. С первых же секунд начинается небывало стремительная игра. Обе команды попеременно захватывают подачу и играют с такой яростью, точно бьются за последний мяч. Очень быстро счет становится пять — пять.

И вот Вадим оказался уже на задней линии. Он не видит болельщиков, не слышит их криков — теперь уже кричат и свои и чужие,— он забыл об Оле... Глаза его прилипли к мячу, к этому черному вертящемуся клубку, который с головокружительной быстротой перемещается в воздухе. Только бы поймать его, не упустить, принять на мягкие пальцы и подчинить его дикую волю своей воле, сделав его союзником, а не врагом! Рашид словно переродился, он бьет из любых положений, обманывает, ловко хитрит, и каждый его маневр сопровождается рычанием обезумевших от восторга первокурсников, которые пришли сюда, кажется, в полном составе.

— Раши-и!!

Химики все время ведут счет. Но их преследуют по пятам. Разрыв в счете на одно очко. И вот уже объявляет судья:

— Четырнадцать — тринадцать.

Моня подает. Это, может быть, последний мяч в игре. В соревновании. Становится очень тихо. Вадим случайно замечает лицо Спартака — у того прыгает подбородок. «Спартачок, милый!» — думает Вадим с нежностью. В ту же секунду он забывает о нем.

И вдруг — в это напряженное решающее мгновение — осеняет Вадима странное спокойствие и уверенность, что победа близка. Мяч в руках у Рашида, тот сразу пасует Мише. Миша выпрыгивает очень высоко, словно подкинутый пружиной,— и...

— Миша-а-а!..

На той площадке принимают, и сейчас же кто-то бьет ответный. Мяч идет колом — смертельный! Бражнев ловит его концами пальцев, но мяч отлетает далеко в сторону...

— А-а-ах!..— хором вздыхают зрители.

И тогда Женя Топорков в удивительном, цирковом прыжке догоняет мяч уже далеко за площадкой и, падая на живот, подымает его высокой свечой. Раздаются аплодисменты, и все смотрят как зачарованные на мяч, который тихо и плавно описывает в ясном вечернем небе дугу и падает на площадку химиков. А химики почему-то не берут его и только растерянно на него смотрят...

Вадим выбегает к сетке.

— В темпе, ребята, в темпе! — шепчет Бражнев.

Да, теперь — в темпе, теперь — выиграть, теперь — чего бы это ни стоило! Выиграть три мяча! Вадим забивает два из них... Судья поднимает руку, зрители что-то ревут, трудно разобрать что, свистят... В чем дело?

— Двойной уда-ар!

Ага, у кого-то из химиков двойной удар...

Судья дает продолжительный свисток. Игра выиграна. Теперь можно по-настоящему отдохнуть.

— Чудом выиграли! — говорит кто-то в толпе зрителей.

Другой голос лениво добавляет:

— Да, дуриком...

Вадим замечает Крылова, стоящего рядом со Спартаком.

— Ну, как дела, хлопцы? — спрашивает он улыбаясь.— С каким счетом?

— Один — один, Федор Андреевич!

Крылов удивленно переспрашивает:

— Один — один? У вас такие ликующие лица — я думал, наверняка два — ноль... Это ничья? Вы не выиграли?

— Мы выиграли трудную ничью, Федор Андреевич! — говорит тренер, по-юному блестя глазами.— А теперь будем играть контровую и выиграем!

К третьей, решающей игре Василий Адамович замышляет какую-то замену. Шепчется с Бражневым и Рашидом, потом подзывает к себе Палавина. Да, он хочет заменить Рашида — тот сильно устал.

И вот они стоят у сетки рядом — Вадим и Сергей,

как стояли много раз прежде. На голове у Сергея знакомая черная сеточка; он всегда надевает ее во время игры, чтобы длинные волосы не падали на глаза. Эта сеточка странно изменяет лицо Сергея, делает его старше и суровей. Ну — началось...

Вадим впивается глазами в мяч, который вылетает сзади, из-за плеча и падает в дальний угол площадки химиков. Там тоже произвели замену — на третьем номере, прямо против Вадима, стоит коротконогий рыжий парень с очень белым телом и веснушчатым плоским лицом. Вот он готовится взять мяч, старательно приседает, ноги его слегка дрожат... Вот выкидывает мяч Моне, и тот стремительно прыгает, выходит над сеткой по грудь — грудь у него волосатая, чернеет над вырезом белой майки...

— Блок не ставь! — шепчет сзади Бражнев.— Ничего не будет!

Удар! Сзади кто-то охает. Бражнев замер на корточках, с нелепо вскинутыми руками. Мяч от его рук ушел на аут. Опять игра начинается скверно. Химики подают. Вадим видит по их напряженным, угрюмо заставшим лицам, что они твердо решили отомстить за поражение, и отомстить жестоко.

Мяч у Вадима, и он хорошо знает, как нужно давать Сергею — немножко ближе к середине сетки. Не потерял ли Сергей удара?.. Нет, он издали разбегается, уверенно прыгает, сильным стригущим движением ног в воздухе подбрасывая себя еще выше,— и неожиданно на лету переворачивается и бьет в левый угол. Коронный удар Сергея! Мяч вонзается в защитника и застревает у него в руках...

Игра идет все быстрей; химики забивают первое очко, но Сергей сейчас же забивает два. Обе команды попеременно обгоняют друг друга. Болельщики сошли с ума. Они ревут не умолкая. Стоят стеной вокруг площадки и отшатываются всей толпой, когда игра внезапно переносится на край. Василий Адамович охрипшим, негодующим голосом кричит:

— Да ребята же, отойдите!.. Ну что за публика?!

Обе команды нервничают. Все чаще штрафные, и судья то и дело свистит.

Счет одиннадцать — восемь, ведут химики. Вадиму кажется, что игра идет уже несколько часов. Проклятая игра — столько злобной силы в руках, и надо ее держать при себе! И еще делать руки мягкими, мягче воска!

Нет уж, сейчас дорвусь... Миша накидывает мяч на самую сетку. Вадим прыгает и вдруг видит, что над сеткой выросли внезапно четыре чужие ладони — двойной блок. И рука Вадима мгновенно становится мягче воска и тихонько стукает мяч, перебрасывая его через блок. Там никто не страховал — мяч выигран! Свои болельщики неистово аплодируют... Проклятая игра! Опять вся сила осталась в руке, опять не ударил...

В нападение выходит Сергей, шепчет Вадиму:

— Коротенький...

Вадим дает невысокий пас. Сергей прыгает, бьет с яростным, глухим всхлипом — очко!

— Одиннадцать — десять.

— Сережа-а! — кричат зрители.— Дай, Сережа-а!

— Еще коротенький! — шепчет Сергей, задыхаясь.

И снова удар — на этот раз в блок. И снова удар — в блок! И снова... вдруг тихо, кулачком влево. Очко!

Голоса судьи почти не слышно.

— Двенадцать — одиннадцать...

— Тринадцать...

Вадим озабочен одним: хороший пас, коротенький пас, ближе к середине. Лицо Сергея вырастает перед глазами на неуловимую долю секунды — упоенное, пылающее лицо с полуоткрытым ртом.

Теперь уже химики растерянны. Моня кричит на кого-то разъяренным, обрывистым голосом:

— За-ажмите его!!

На Сергея прыгают сразу трое, но он высоко над сеткой и бьет неожиданно левой рукой... Вадим видит одно мгновение восторженное лицо Спартака, который машет рукой и пронзительно вопит:

— Сережа! Сережа! Сереж-ка!

— Четырнадцать — одиннадцать...

Остается последний мяч! Химики снова пытаются закрыть Сергея. Их защитники самоотверженно падают друг на друга, но мяч все-таки берут. Моня бьет со второго номера и попадает в блок, мяч шлепает его по голове. Кто-то из химиков ударяется Моне в ноги, но мяч слишком низко, еще кто-то отчаянно падает рядом, но поздно, поздно — мяч на земле...

Судья троекратно свистит.

Болельщики врываются на площадку, пожимают руки Сергею, Вадиму, Бражневу, всем, кому успевают. Судья объявляет о победе пединститута. Команды восклицают «физкульт-ура!» и расходятся.

...Только теперь Вадим заметил, сколько зрителей обступило площадку. И теперь только он почувствовал опустошительную усталость, от которой подкашиваются ноги и хочется сесть тут же на землю, а еще лучше — лечь. Глаза застилало пóтом, щипало.

К нему подошла Оля. Он вытер ладонью глаза, чтобы лучше видеть ее лицо.

— Я говорила, что вы выиграете,— сказала она спокойно, но синие глаза ее блестели.— Какой ты мокрый! Постой-ка...

Она вынула из кармана платочек, скомкала и стала вытирать его лоб. Она вытирала долго, потому что платочек был очень маленький, девичий, и толку от него, конечно, не было никакого...

— Дима! Где ты?

Откуда-то подлетел Алешка Ремешков, схватил Вадима за руку, закричал отчаянно:

— Барышня, не смейте его причесывать! Вы с ума сошли?! Он нужен для кадра именно такой расхристанный, страшный,— победа, черт побери, дается нелегко!

...Шлепали по граниту набережной тяжелые волны. От них веяло холодом — все-таки апрель месяц. Днем было так жарко, а сейчас хоть надевай пальто.

Лагоденко, Рая и Нина Фокина сидели на скамейке возле реки, смотрели в черную воду, где отражались огни многоэтажных домов набережной и редкие апрельские звезды, разговаривали вполголоса о волейболе, о скорых экзаменах, о лете...

За спиной тихо шумел парк, ветер доносил порывы музыки с большой эстрады. По реке шла неразличимая в темноте лодка: всплеск весел, и долгое воркованье воды, и снова ленивый всплеск.

Лагоденко вдруг усмехнулся каким-то своим мыслям.

— Ты что, Петя?

— Так, вспоминаю волейбол... Удивительная все-таки это вещь — спортивный азарт. В последнюю игру я специально наших болельщиков наблюдал, как они на Сергея смотрели. Забавно! На эти четверть часа он стал абсолютным кумиром, ему все простили, все забыли, на него молились...

— Да-да,— улыбнулась Рая,— наш грозный Спартачок смотрел на Сережку прямо с обожанием, даже кричал...

— А ты разве не кричала? Сам слышал: «Ой, Сереженька!.. Милый!.. Золотой!..»

— Нет, в волейбол он играет хорошо,— сказала Нина,— этого никто отрицать не будет. Но наша жизнь, к сожалению, вернее к счастью, заключается не в одном волейболе.

— Очень верно,— кивнул Лагоденко.

— Так вот, и что с Сергеем будет дальше, как он начнет жить — это серьезный вопрос.

— Это зависит от него,— сказала Рая.

— От него главным образом, но и от нас тоже. Мы вчера в общежитии очень долго толковали о нем. Лешка говорит, что Сергей уже сильно изменился, но мне что-то не верится. А другой парень, наоборот, рубанул — ни черта он не изменился, приспособился, говорит, только к новой обстановке...

— Неправда, Петя, он изменился,— сказала Рая, качнув головой,— но пока еще внешне. Просто он чувствует себя неловко, как говорится, пришибленно, потому и держится как-то особняком, мало разговаривает — это очень необычно для него и производит впечатление какой-то большой перемены. А на самом деле такой большой перемены, конечно, нет и еще не могло быть. Это же дело долгое, нелегкое — дело будущего. Правда же, Петя?

— Правда,— Лагоденко с довольным видом обнял Раю одной рукой.— Ты у меня прямо министерская голова! Верно, конечно. Дело будущего. Но хорошо уже то, что он что-то понял и вернулся в институт; с его самолюбием это было не просто сделать. Очень не просто, я понимаю... Одним словом...— Лагоденко длинно зевнул и потянулся, выпятив грудь,— посмотрим, время покажет. За ним же теперь во сто глаз будут смотреть.

Кто-то торопливо, стуча ботинками, подошел к скамье.

— Ребята, вы здесь? — Это был Андрей.— А где остальные?

— Разбрелись кто куда по парку,— сказал Лагоденко зевая.— Народ молодо-ой... Это мы с Райкой люди солидные, женатые, сидим тут по-стариковски. И Нина за компанию.

— А кого ты ищешь? — спросила Нина.

— Сестру ищу! Час уже ищу, бегаю по всему парку! Черт знает...— Андрей рассерженно умолк.— Домой надо ехать, а ее нет. И главное, куда она могла одна пойти?

— Почему одна? Наверное, где-нибудь с Димкой,— сказал Лагоденко.— Может, в Нескучном гуляет.

— С Вадимом? Почему ты думаешь, ты видел?

Нина засмеялась:

— Ох, Андрюшка!.. Конечно, твоя сестра с Вадимом, наверняка. Так что не волнуйся.

— Да? — сказал Андрей изумленно и после минутного молчания пробормотал: — Тогда я это... может, они на танцах, пойду посмотрю...

И он поспешно скрылся в темноте.

Лагоденко с видом полного недоумения развел руками и расхохотался:

— Ну — Андрей! Теперь он окончательно растерялся! Нет, он все-таки у нас странный человек...— И убежденно тряхнул головой: — Страннейший.

ГЛАВА 30

Ночью Вадим просыпается от грозного, катящего волнами грохота — танки! Привычным ухом, по особому прерывистому фырчанию на разворотах он угадывает: «тридцатьчетверки». Этот знакомый шум — лязганье, рев моторов, гудение потрясенной улицы — напоминает ему сорок четвертый год, ночные осенние марши по венгерским автострадам, путь на Дебрецен и Комарно... Но там, за окном,— мирные танки. Они идут на парад.

Вадим засыпает с радостным ожиданием утра.

И вот уже

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля...—

и будит Вадима этой старой, но нестареющей, полной бодрости, весны и задора песней. За окном ясно-голубое, безоблачное небо с дымчатым отливом у горизонта — день будет жаркий! Вера Фаддеевна уже ушла, она идет с Ленинским районом, который всегда открывает демонстрацию. Вадим одевается по-весеннему и без кепки выходит на улицу.

На Калужской необычайная и торжественная, прохладная тишина. Солнце поднялось невысоко, и улица еще вся в тени. Людей в этот ранний час еще немного, и все они идут в одну сторону, к центру, спешат на свои сборные пункты. И Вадим идет туда же, обгоняя других и стараясь шагать в такт песне, доносящейся из далекого репродуктора:

С добрым утром, милый город...

От Калужской площади все машины сворачивают на боковые улицы. Вадим с трудом пробивается сквозь идущую быстрым шагом колонну демонстрантов и выходит на Крымский мост. Здесь уже многолюдно, шумно и жарко. Странное зрелище, оно бывает только в праздники — люди идут не по тротуарам, а прямо по середине улицы, по трамвайным путям, а машины движутся так медленно, осторожно, что им впору бы переселиться на тротуар...

Двор института переполнен. Студенты толпятся на улице перед воротами и в сквере. Вадим идет на звуки аккордеона — это, наверно, Лешка, а где Лешка — там и все ребята.

— А, правофланговый! — кричит Горцев и длинной рукой через чьи-то головы вцепляется Вадиму в плечо.— Идем-ка, поможешь вынести портреты! В гардеробную!

Вадим не успевает ни с кем поздороваться, Горцев тащит его в институт. Они проталкиваются сквозь толпу студентов, со всех сторон слышатся возбужденно-веселые голоса, смех и рябит в глазах от множества знакомых и незнакомых радостных лиц, белых, красных, голубых платьев...

И вот раздаются в отдалении глухие удары — это бьют кремлевские пушки. Парад начался.

Вадим занимает свое место на правом фланге колонны. Рядом с ним Андрей, в белой вышитой косоворотке, и Мак, сменивший на этот раз свою лыжную куртку на ковбойку необыкновенного, радужного цвета. Все пока еще стоят беспорядочно, несколько человек окружили Лесика с аккордеоном и поют шуточную студенческую песню. Громче всех, конечно, «лирическое сопрано» Лены Медовской:

В первые минуты
Бог создал институты...

Лена в голубой шелковой кофточке, лицо разрумянилось, и пепельные волосы, поднятые сзади и обнажившие незагорелую шею, светятся на солнце и кажутся золотыми. Вадим любуется ею издали, да, впрочем, и все смотрят на нее улыбаясь... Лена сегодня уже трижды сообщила, что папка предлагал ей пропуск на Красную площадь, но она отказалась, решила идти со всеми на демонстрацию. Рядом с Леной стоит Сергей Палавин и тоже поет, хотя и не громко, так что его почти не слышно. Вторую неделю уже Сергей в институте, но

держится все с той же молчаливой настороженностью, как и в первый день. Если с кем-нибудь говорит — только о делах.

Сергей всегда был правофланговым на демонстрациях, шел в первой шеренге, а однажды даже в голове колонны, нес транспарант с эмблемой института. Теперь он рядовой, затерян в гуще третьего курса, и в руках у него какой-то цветок.

Но вот впереди заколыхались знамена, флаги, плакаты — колонна двинулась. Подбегает Спартак — клетчатая кепка сдвинута огромным козырьком назад, лоб распаленно блестит от пота. Спартак кричит:

— Разбирайтесь, ребята, становись! Трогаемся!

По пути Андрей рассказывает Вадиму, что Оле позавчера предложили место в Москве — в Ботаническом саду. В конце мая она сдает последние экзамены и в июне начнет работать. Отец и Андрей очень довольны. Все-таки она еще молода, чтобы жить самостоятельно. Пусть поработает пока в Москве, а потом и в институт поступит.

— Оля тоже довольна? — спрашивает Вадим.

— Елка? Да ее не поймешь... Вообще она все время мечтала уехать на практическую работу, причем обязательно в самую глушь. Как мы ни убеждали: надо, мол, остаться в Москве, чтобы поступить в вуз, пока хоть на вечернее,— она хочет в Лесотехнический,— все было напрасно! «Успею еще, вся жизнь впереди. Надо сначала практически поработать». Ну, а в последние дни вроде смилостивилась...

— Это же интересная работа — Ботанический сад! — говорит Вадим неожиданно горячо.— Правильно! Лучше и не придумать.

— Но она еще окончательно не сказала. Говорит, надо с кем-то посоветоваться...— Андрей умолкает, искоса взглянув на Вадима. Очевидно, он понимает, с кем ей надо посоветоваться. Вадим тоже догадывается. Они идут некоторое время молча. Вадим закуривает, а Андрей снимает очки и делает вид, будто поглощен их протиранием.

Андрей берет Вадима за локоть.

— Она придет к нам сегодня на вечер. Так что ты, это самое...— бормочет он невнятно,— скажи ей, чтоб не дурила...

Вадим кивает. Да, он скажет ей. Пока он в Москве, она не уедет. Они должны быть вместе, жить в одном

городе. Ему становится очень радостно,— ведь он сам столько думал об этом и ничего не мог придумать, а теперь все решилось так неожиданно и так просто. Она не уедет! Она остается в одном с ним городе! Она решила остаться, потому что...

А день разгорается все жарче, небо синей; солнце пылает в стеклах распахнутых окон, на алом шелке и золоте флагов, на бронзовых и серебристых древках...

У Садовой, где колонна института временно остановилась, появляются первые войсковые части, только что прошедшие через Красную площадь. Упругим и легким шагом идет отряд моряков. В передних шеренгах боцманы — великаны, как один, обветренные, краснолицые, с могучими покатыми плечами. Сверкают их бесчисленные ордена и медали, золотое шитье рукавов, боцманские дудки на цепочках...

Проносятся на большой скорости зеленые новенькие грузовики с мотопехотой, зенитками, орудийными прицепами — мощные советские грузовики последних марок: ярославские с медведем и минские с зубром на радиаторах. Молодые солдаты в касках защитного цвета сидят в грузовиках, поставив автоматы между ног, кивают и улыбаются демонстрантам... Потом, сотрясая мостовую, проходят танки. Улица полна стальным грохотаньем, визгом гусениц, запахом выхлопных газов и нагретой брони и криками, тонущими в этом могучем громе,— криками ликованья тысяч людей, гордых за свою армию.

Вадим видит радостно-изумленное лицо маленького Ли Бона, его полуоткрытый рот, сверкающие глаза; он видит восторженных албанцев, которые кричат что-то неслышное из-за шума, да, наверно, и непонятное — по-албански, и поднимают крепко сжатые загорелые кулаки...

Чем ближе к центру, тем медленнее движется колонна. У Арбата снова приходится постоять. Рядом большая колонна молодежи — тоже какой-то институт, может быть университет. Отовсюду слышны песни, поют их на разных языках, под музыку и без музыки. Несколько невысоких, черноволосых студентов громко запевают какую-то очень знакомую песню, но Вадим не может разобрать слов... Ах, это же испанцы, поют «Бандера роха»! Им начинают подпевать русские девушки и ребята — слов не знают, но мелодия известна всем. И только албанцы, как видно, очень хорошо знают слова, потому что сразу обрадованно подхватывают песню. Ле-

сик подходит к ним с аккордеоном, на ходу подбирая мотив.

И вот уже известная всему миру, славная песня испанских коммунистов, поднятая десятками голосов, гремит над площадью...

— Ребята, давайте гимн! — кричит Спартак, издали размахивая клетчатой кепкой.— Леша, гимн!

Не дождавшись аккомпанемента, взлетает легкий звонкий голос Лены:

Дети разных народов,
Мы мечтою...

И дружно, еще нестройно откликается хор:

...о мире живем.
В эти грозные годы
Мы за счастье бороться идем...

И уже где-то подхватывает песню оркестр и скрепляет ее звенящий разлив медными голосами труб. Соседняя колонна двинулась, но песня не утихает. Шеренга за шеренгой проходят мимо, взявшись под руки, юноши и девушки — белокурые и темноволосые, смуглые, скуластые, бронзоволицые, дети разных народов.

Нам, молодым,
Вторит песней той
Весь
шар
зем-ной...

Вадим не слышит своего голоса. Он смотрит на лица поющих, на эти разные лица разных людей, которые сегодня одинаково озарены розовым, солнечным светом знамен и опалены весной,— и вдруг с необычайной ясностью, всем сердцем понимает величайшую правду этих слов, которым вторит «весь шар земной». Мир победит войну! Нет на земле силы, которая могла бы отнять у людей завоеванную ими радость справедливой, счастливой жизни!

Кто-то из соседней колонны вдруг окликает Вадима:

— Вадим Петрович!

Это кудрявый паренек с завода — Игорь Сотников. Увидев Игоря, Вадим сразу замечает еще нескольких знакомых заводских ребят и кивает им издали. Игорь подбегает к Вадиму, обрадованно здоровается с ним и с Андреем. В левой руке у него красный флажок с цифрой «1952».

— Ну, как дела, Игорь? — спрашивает Вадим улыбаясь.— Что у тебя за штандарт?

— Да это дали нам, которые за счет пятьдесят второго работают,— говорит Игорь небрежно, но глаза его откровенно сияют гордостью. Он спрашивает деловито: — Вадим Петрович, а будет еще кружок? Или у вас теперь экзамены?

— Еще раза два до экзаменов соберемся.

Несколько шагов они проходят рядом, но заводская колонна быстро уходит вперед, и Игорь, попрощавшись, бежит догонять своих. Обернувшись на бегу, он вдруг кричит весело:

— Вадим Петрович, а машина-то времени — наша! — и размахивает над головой флагом.

Тысячные колонны стекаются к Красной площади. С улицы Горького, с Театральной и от Манежа движутся людские потоки к Историческому музею и, разбиваясь об его утес на два рукава, вливаются на Красную площадь. Издали, еще не видя Мавзолея, слышит Вадим волнами нарастающее «ура». И вот уже появляются справа, заполненные людьми, белогранитные трибуны и дальше — сверкающий гранитными гранями Мавзолей...

— Да здравствует советское студенчество! — гремит над площадью многократно усиленный голос.

Илюшка Бражнев, который идет впереди Вадима, вдруг оборачивается и говорит громко и возбужденно:

— Седьмого ноября сорок первого я уходил отсюда на фронт! Я был на параде, автоматчиком. А теперь вот кончаю, еду работать и опять с Красной площади — ты понял, Димка? — ухожу в трудовую жизнь!

А Вадим думает о том, что через год, в такой же солнечный майский день и он, Вадим Белов, будет прощаться с этой древней площадью, уходя в трудовую жизнь. И вместе с ним — Спартак, Петр Лагоденко, Андрюшка, Рая и еще много других, неизвестных ему друзей, приехавших в Москву из разных краев страны и из разных стран для того, чтобы стать нужными для своего народа людьми. Всем им трудно будет прощаться с Москвой. Но любить Москву — это значит любить родину, а любить родину — значит любить то великое дело, ради которого и живет наша родина, трудится, воюет, побеждает...

Спустившись с площади, Вадим выходит на Чугунный мост. Он видит Кремлевскую набережную, залитую пестрой живой толпой демонстрантов, и кипящую в полдневном блеске Москву-реку, по которой медленно движется белый, украшенный флагами пароход: на верх-

ней палубе играет оркестр, люди стоят у поручней и машут платками; и голубым контуром против солнца он видит Каменный мост вдалеке, а за ним, тонущую в солнечном дыме, уже не видит — угадывает — безбрежность Москвы.

Позже, на вечере в институте, Вадим встречается с Олей. После концерта они выходят вдвоем на улицу. Москва утопает в праздничных, многоцветных огнях. Дома кажутся обезлюдевшими, пустыми — все москвичи сегодня на улицах.

Вадим и Оля, взявшись за руки, медленно идут в толпе гуляющих.

— Какой сегодня был солнечный, теплый день — настоящее лето! — говорит Оля, глядя в звездное небо, которое кажется зыбким, живым от блуждающих по нему прожекторных лучей.— И как-то грустно...

— Почему же грустно, Оля? — спрашивает Вадим удивленно.

— Мне кажется, я прощаюсь сегодня с Москвой...

— Как прощаешься?

— Через месяц, Дима, я уезжаю на лесозащитную станцию. В Сталинградскую область,— говорит Оля, помолчав.— Я думала очень долго — и решила... Да, в Сталинградскую область.

Она умолкает, коротко кивнув, и Вадим тоже некоторое время молчит — от неожиданности.

— А как же Ботанический сад?

— Ботанический сад остается в Москве,— отвечает Оля серьезно и вдруг смеется задорно и весело, глядя на Вадима снизу вверх. Синие глаза ее кажутся совсем светлыми, блестят, отражая огни.— Дима, я правильно решила? — спрашивает она, так же внезапно перестав смеяться.

— Правильно,— говорит Вадим упавшим голосом.— Да, но... Андрей сказал, что ты согласилась...

— Да, одно время я думала... Мне не хочется уезжать из Москвы. Но понимаешь, Дима...— Вздохнув, она говорит преувеличенно радостным, бодрым голосом: — Той практической работы, о которой я мечтаю, здесь я не найду. А заниматься наукой мне еще рано, правда же? И потом лесозащитные станции — это самый важный, передовой участок фронта. А я хочу на передовой. И вообще я хочу самостоятельной, трудной жизни.

— Ну, а потом что?

— Поработаю на практике и приеду в Москву, в Тимирязевку.

— Ну да,— бормочет Вадим глухо.— Когда я уже окончу институт и уеду на Сахалин.

— Ага, ты сам-то собираешься уезжать!

— Но я тоже не на веки вечные, еще приеду...

— Ну да,— говорит Оля в тон Вадиму,— когда я окончу Тимирязевку и уеду на Камчатку.

— И так мы никогда не встретимся,— говорит Вадим, усмехнувшись.

Они идут в шумной, густой толпе, но не видят никого вокруг. Выходят на набережную и останавливаются у гранитного парапета. Здесь, на набережной, людей меньше, говорят они тише и ходят все больше парами. Плывет по реке катер с гирляндою красных, желтых и зеленых фонариков от мачты до кормы, кто-то пробует там гармонь, женский голос смеется — далеко слышно по реке. А в небе, над праздничным городом, высоко-высоко летит невидимый самолет — между звезд медленно, деловито пробирается красный огонек...

— Нет, мы встретимся,— говорит Оля тихо.— А если нет, тогда... значит, это и не нужно было.

Вадим улыбается, глядя в ее застенчиво, с ожиданием поднятые к нему глаза. Внезапная, горячая волна нежности отнимает у него слова.

— Дима, ты рад за меня? — спрашивает она еще тише.

Да, он рад за нее. И рад за себя — потому что не ошибся в ней. Он говорит, что летом поедет с диалектологической экспедицией на Южный Урал и на обратном пути приедет к ней на станцию.

— Ведь это очень близко, Сталинградская область и Южный Урал. Знаешь — через Волгу...

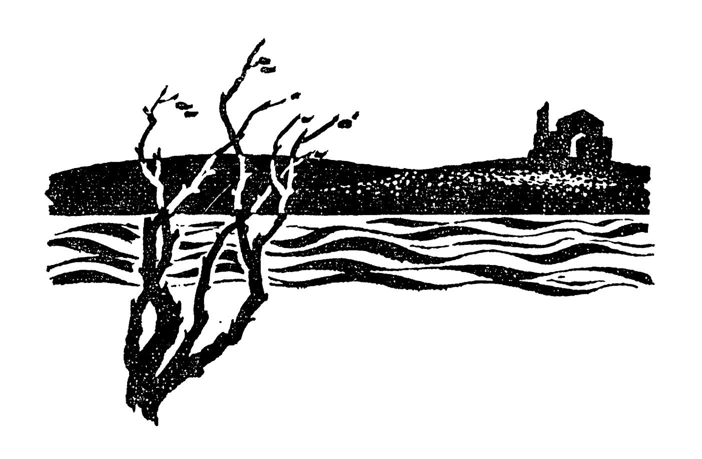
Договорить он не успевает. Над их головами вдруг с треском взлетают ракеты, вся набережная освещается ярким, оранжевым светом. И они долго стоят молча и смотрят в небо, где рассыпаются тысячи цветных брызг и горящими искрами, потухая на лету, несутся к земле или с шипением падают в воду. Все вокруг озаряется то розовым блеском, то голубым, то снова оранжевым — и на миг делается светло, как днем.

1950

УТОЛЕНИЕ ЖАЖДЫ



РОМАН



1

Ехать было мучительно, мы сидели в трусах и в майках на мокрых от пота матрацах и обмахивались казенными вафельными полотенцами. Раскаленный воздух, набитый пылью и горечью, влетал в открытые окна и обдавал нас жаром, как из духовки. Слева ползли голые, отполированные солнцем горы Ирана, справа расстилалась пустыня. Редко чернели на ней кибитки пастухов, одиноко стояли верблюды, провожая поезд ленивым, вполоборота, движением маленькой головы.

Нас было четверо мужчин; один ехал со мной от самой Москвы и приканчивал двадцать пятую бутылку пива, двое других сели в купе ночью. Те, что сели ночью, были, по-видимому, строители. Мы разговаривали о пустыне. Каждый видел ее по-своему.

— Для меня это миллионы кубов сыпучего грунта,— сказал старший строитель, седой маленький человек, страдавший одышкой.— Я думаю о бульдозерах, которые подымут эти Гималаи песка.

— Для меня нет дороже места на всей земле. Ведь я родился в здешних песках, в районе Артыка,— сказал другой строитель, туркмен.

— А я не видел эту землю шестнадцать лет. Шестнадцать лет, шестнадцать лет! — повторял человек, уничтожавший пиво. И глаза у него были красные.— Вы понимаете, что значит шестнадцать лет?

А я молчал. Я ехал в пустыню потому, что у меня не было выхода. И я не любил ее, и не думал о ней, и не вспоминал о ней. Я вспоминал о другом. И, кроме того, меня мучила жажда.

2

Нагаев был не в духе. Его всегда сощуренные, щелястые глаза с воспаленными от зноя и песчаной пыли веками смотрели высокомерно и зло. Он отхлебывал из кружки горячий зеленоватый чай и в промежутках между прихлебываниями говорил, глядя на Мурадова в упор:

— Все одно, друг, я тебе разряда не дам. Валяй к другому переходи. К Марютину или к кому еще. А мне с тобой валандаться нет резона. Одни убытки.

Молодой туркменский парень Бяшим Мурадов, второй месяц работавший учеником на нагаевском экскаваторе, испуганно таращил на машиниста глаза и молчал. Кроме Нагаева и Бяшима за столом сидели два других машиниста, сменщики Эсенов и Бринько. Эти двое делали вид, что их не касается разговор Нагаева с учеником, и деловито тянули чай из кружек, отдувались и хрустели сахаром.

Было раннее утро. Солнце поднялось над барханами, но еще не пекло, а грело. Из-за лиловой песчаной гряды доносилось ровное гудение и судорожный лязг экскаватора: Марютин работал. И это еще больше усиливало раздражение Нагаева. Он не мог сидеть спокойно, зная, что кто-то в это время делает в забое кубы. Ему всегда казалось, что его обходят, отнимают у него кровное, хотя на самом деле никто из трех машинистов, да, пожалуй, никто во всем отряде и близко не подходил к нагаевским выработкам.

— Зачем убытки? Я хуже вас на рычагах сижу? — тихо спросил Бяшим.

— На рычагах сидеть и обезьяну научить можно. За одни рычаги разряд не дают. А машину ты знаешь?

— Зачем не знаю...

— Регулировать клапана́ можешь? А магнето установить?

— Я, Семеныч, всегда просил: покажи, как делать,— дрожащим голосом сказал ученик.— Сам не хочешь...

— Чего не хочу? Что болтаешь зря? — грубо повысил голос Нагаев.— Я не виноват, коли ты беспонятливый. Да еще машину калечишь. Сегодня опять головной блок смазать забыл. И этому я тебя не учил, скажешь?

Бяшим опустил голову. Его смуглое лицо побледнело, узкие губы подергивались.

— Твоя родная обязанность — за машиной следить,— сказал Нагаев наставительно.— Она тебе хлеб дает, понял?

Так как Бяшим не отвечал, а сменщики продолжали равнодушно пить чай, Нагаев умолк. Он высказал этому парню, раздражавшему его в течение шести недель, свое решение, созревшее давно и прочно. Пусть не надеется на разряд. А ежели недоволен — скатертью дорожка. Одному еще лучше работать. Теперь, высказавшись напрямик, Нагаев почувствовал облегчение, у него сразу повеселело на душе.

Он поднял черный, обугленный в костре кумган и, осторожно наклонив узкое горлышко, налил себе полную кружку чаю. Один Бяшим сидел за столом, безучастный к еде, и, отвернувшись, смотрел вдаль, где пески граничили с небом и тонкой, еще робкой каймой дрожал зарождавшийся зной.

— Ничего, Бяшим, поработаешь с Марютиным, он тебе разряд справит. Он мужик добрый,— сказал Нагаев примирительно.

Опорожнив кружку, он поставил ее вверх дном, аккуратно завернул оставшийся сахар в платок и встал. Вразвалку, закуривая на ходу, пошел к забою. Через несколько минут из-за песчаной гряды раздалось гудение второго экскаватора, заскрипел трос на блоке, и — прошла секунда — тяжело ухнул на откос первый ковш грунта.

Иван Бринько, плечистый, коричневый от загара, обросший двухнедельной золотой бородкой, искоса поглядел на ученика и сказал негромко:

— Ты, говорит, мне не нужен, а кубики твои, говорит, пригодятся... Эх, человек! — и плюнул через стол.

На другое утро приехал прораб Байнуров — бледный, остролицый, с громадным курчавым чубом, прозванный среди рабочих Лохматым. Байнуров недавно окончил строительный техникум, был молод, задирист, а в работе — болезненно щепетилен, ибо считал, что все механизаторы подозревают всех прорабов в жульничестве, и одно это сознание было для него оскорбительным. Нагаева он не любил особенно. Тот умел работать с нивелиром и после прораба всегда замерял вынутый грунт сам. Он делал это регулярно, в каждый приезд Байнурова, хотя за много месяцев мог убедиться, что молодой прораб работает безошибочно.

Вот этому прорабу, скрытому своему недоброжелателю, Нагаев и сообщил о том, что отказывается от ученика. Объяснил просто: парень бестолковый, технической подготовки никакой, машину калечит. То одна поломка, то другая. Известное дело — чабан, всю дорогу с верблюдами да с баранами.

Байнуров сказал, что поставит в известность начальника отряда.

— Но вообще, Нагаев, странное дело: третьего человека к вам прикрепляют, и третьего человека вы прогоняете. Похоже, не ученики плохие, а учитель неподходящий.

— Не спорю, неподходящий я, — сказал Нагаев. — Я только кубы ворочать подходящий. Ишачить день и ночь, без выходных, подходящий.

— Этим вы не гордитесь. Не за спасибо работаете.

— А за спасибо нема дурных.

— Вот и не гордитесь поэтому. Мне ваши заработки известны.

— Конечно, известны. Про них в газете печатали...

Они сидели на корточках в тени будки и перебранивались вялыми, сварливыми голосами, совсем забыв об ученике, который сидел поодаль, и с волнением прислушивался к разговору.

Бяшим Мурадов пришел на стройку полгода назад. Это был медлительный, голенастый юноша, похожий на нескладного верблюжонка, с маленькой головой на тонкой шее, с лицом застенчивым и нежно-смуглым, почти девическим. По-русски он говорил плохо и, стесняясь этого, предпочитал говорить как можно меньше. Бяшим и вправду был чабаном, и отец его был чабаном, и дед тоже. За всю свою жизнь — ему было восемнадцать лет — он никуда не выезжал из колхоза, кроме районного городка Байрам-Али. В колхозе учился в школе, а на лето уходил с отцом в пески. Когда началось строительство, среди чабанов было много разговоров о канале. Большинство стариков не верило, что выйдет толк. Не может быть, говорили они, чтобы Амударья пошла так далеко в пустыню. Пески не пустят. Но вода пошла. Она пошла медленно — сначала до Сагамета, потом дальше на запад, к колодцу Инче. И чем дальше углублялась вода в пустыню, тем больше туркменских парней — чабанов, хлопкоробов, недавних школьников и недавних солдат — стало приходить на стройку.

Пришел и Бяшим. Отец сказал ему: «Бараны тебя подождут, а машины ждать не станут. Пойди и научись чему-нибудь, пока в песках есть машины и умные люди». Бяшим отправился на стройку неохотно. Он хотел жениться. Мать тоже мечтала женить его в то лето, когда он как раз окончил школу. Но девушка была из богатой семьи, и отец рассудил так: парень должен стать на ноги, получить специальность, чтобы прийти в дом невесты как равный.

А на стройке люди быстро становились на ноги. Несколько земляков Бяшима окончили школу механизаторов и работали на Марыйском участке. Один из них, Курбан Непесов, уже купил себе «мотор» (так местные колхозники называли мотоцикл), а двое других не взяли «мотора» потому, что им обещали легковые машины. Колхозные ребята с завистью смотрели на этих молодцов в городских костюмах, в соломенных, с черной лентой шляпах, с новенькими часами на руках, когда они раз в месяц приезжали на побывку домой, угощали молодежь вином, а стариков — занимательными рассказами и в свободное время снисходительно поучали колхозных трактористов насчет ремонта и профилактики. Некоторые из них даже стали студентами: учились заочно в Сагаметском автомеханическом техникуме.

Осенью Бяшим пришел на колодец Инче. Там строился поселок. Три месяца Бяшим работал разнорабочим. В школу механизаторов он не попал, опоздал подать заявление, но специальность можно было приобрести и на стройке. Бяшима назначили учеником к экскаваторщику Семену Нагаеву, одному из «китов».

Механизаторы на стройке делились на «китов» и «тюльку». «Китами» считались самые опытные, короли заработка, а «тюлькой» — все прочие работяги.

Через два месяца, сказали Бяшиму, будешь сам на рычагах сидеть.

Обрадовавшись, Бяшим взял отпуск и приехал в колхоз. Он привез новые ботинки на губчатой розовой подошве, радиоприемник «Урал» и семьсот рублей денег. Теперь он прочно стоял на ногах и с чистой совестью мог говорить о женитьбе. Родители Огульджан были люди старого закала. Они потребовали калым, и довольно богатый. Хотя Бяшим, как комсомолец, считал подобные обычаи глупостью и предрассудками, но не посмел протестовать против калыма, ибо это могли посчитать за скупость. Наскребли денег и выплатили полови-

ну. Свадебный той был назначен на первое марта. До свадьбы Бяшим раза два украдкой виделся с Огульджан и целовался с ней, как вор. А ведь в школе он целые дни проводил с ней вместе, сидел с ней на одной парте!

Отец Огульджан работал в сельмаге, часто ездил в Мары, а иногда в Ашхабад и даже в Самарканд и Хиву. И, однако, он был необразован и набит предрассудками, как какой-нибудь нищий старик на базаре. Он потребовал, чтобы Огульджан после свадьбы, согласно старинному обычаю «хайтарма», пожила в доме Бяшима несколько дней и затем вернулась к родителям. Ей надлежало жить там до тех пор, пока муж полностью не уплатит калым. И вновь Бяшим не посмел протестовать, не позволила гордость.

И он уехал на стройку.

Полтора месяца он изнурял себя трудом и учением, работал жадно, неистово. С утра до вечера торчал возле экскаватора, исполнял малейшую прихоть машиниста и выманивал у него по крупицам знания. Ночью ему снились робкие груди Огульджан и ее глаза, темные от слез. И он просыпался, и садился на койке, и вспоминал, как пахнут ее волосы, как пахнут ее влажные, покорные руки и маленький рот с мягкими губами.

Но еще чаще ему снились рычаги. Множество рычагов, которые скрипели, дергались, вырывались из рук, и вдруг откуда-то сверху падал ковш, и ужас, мгновенный и мертвящий, как молния, пронизывал сердце — за какой рычаг хвататься?

Сначала Бяшим работал «нижником». Машинист сидел в кабине, а он делал всякую подсобную работу на земле, внизу: приносил воду и масло, смазывал узлы, соскребал лопатой грунт с ковша. Эта работа считалась третьего разряда. Машинист Семен Семенович был нелюдим, мрачен и казался Бяшиму человеком недобрым. Говорил он мало, объяснял скупо и с великой неохотой, точно деньгами одалживал. И все же Бяшим выучился работать на рычагах и вскоре мог самостоятельно отстоять смену. Долго мучила его дрожь в коленях: как садился в кабину, так начиналась трясучка, педали становились как каменные, не выжмешь. Громыхающая махина и огромный зубастый ковш, летящий по воздуху, внушали Бяшиму страх, но потом это прошло.

Он мог работать не хуже «кита». За смену выбрасывал почти столько же, сколько и Нагаев. И, однако, он по-прежнему оставался стажером и вынутый им грунт

шел в зачет не ему, а машинисту. Несколько раз Бяшим осторожно заводил разговор о разряде, но Нагаев сердито отказывал или же зло вышучивал ученика.

В сумерках экскаваторный рев стал стихать. Первым зашабашил Марютин, потом остановил стрелу Иван Бринько, и только экскаватор Нагаева ревел долго, до темноты. Не дожидаясь Нагаева, сели пить чай. Вечер был холодный. Все сидели в ватниках и ладонями заслоняли кружки от ветра, чтобы не нанесло песка.

Экскаваторщики сочувствовали Бяшиму и ругали Нагаева. И то и другое было искренне: Нагаева не любили. Его считали жмотом — «за копейку удавится» — и одновременно завидовали его известности, уважению, которым он пользовался у начальства, его умению работать и крупным деньгам. Ребята горячились, давали Бяшиму советы, но все советовали разное, и Бяшим растерялся.

Напарник Марютина, рассудительный Чары Аманов, считал, что надо смириться, поработать еще месяц-другой «на дядю», а там, глядишь, дело поправится. Эсенов и Бринько убеждали Бяшима поехать в поселок и пожаловаться начальнику. А Марютин, пожилой, невзрачный мужик, высушенный туркестанским зноем до худобы, высказался так:

— Договориться, конечное дело, можно. Разряд он тебе даст, только и ты дай. Сот пять будет стоить...

В разгар беседы пришел Нагаев. Бяшима не допустил в забой. «Машина не каторжная, пущай отдохнет». Стало ясно: решил отказаться от ученика окончательно.

И тут взорвался Беки Эсенов, закричал гневно:

— Зачем так делаешь, черт? Человек на тебя работал, а теперь гоняешь, как собаку? Большой хозяин, что ли?

— Тебя не спросил,— сказал Нагаев.— Мал еще понимать.

— Я вас понимаю! Экскаватор твой, что ли? Экскаватор две смены работать должен, а ты его не даешь! Тебе стройка неважно, другой человек неважно, тебе только свой интерес важно — так, что ли? Черт, зараза!

Он вскочил на ноги. Опрокинул ящик, служивший стулом.

Казалось, сейчас неминуемо начнется драка, но все сидели спокойно. Это была обычная манера Эсенова разговаривать.

Бринько поймал сменщика за локоть:

— Ладно, не заводись! Разберутся...

Нагаев сказал холодно:

— Ты одно рассуди: я второй год без годового, а вы из ремонта не вылезаете. Это за что говорит?

— Верно, верно, Семеныч,— смиренно закивал Марютин.

Эсенов что-то быстро, злобно проговорил по-туркменски и, отшвырнув ногой ящик, зашагал к забою. Отлетев на несколько метров, ящик с треском ударился о бочку с водой, врытую в землю.

— Но-но, потише! — вслед уходящему крикнул Нагаев.— Ящиками-то не кидайся, не хулиганничай!

Помолчав, он повернулся к Бяшиму и заговорил мягко, как будто даже доброжелательно:

— Ведь я тебе, Бяшимка, сразу сказал: без школы механизаторов тебе не обойтись. Есть которые и без того разряд получают, только это ребята провористые, грамотные. А тебе без школы никак нельзя...

— Если вы научить хотели...— начал было Бяшим, но Нагаев перебил его:

— Про то говорить не будем. Учитель я плохой. Я об своей жизни думать должен, обо мне ни у кого голова не болит.— В голосе его звякнуло обычное раздражение.— А тебе одно могу посоветовать: поезжай с сентября в Марыйскую школу, вернешься с аттестатом и работай везде,— пожалуйста, хоть ко мне приходи. А до осени валяй домой, с женой играйся, чай пей,— плохо тебе?

— Нельзя домой...— сдавленно проговорил Бяшим.

— Почему нельзя?..

— Жены нету, нельзя...

— Он, видишь, за жену-то еще не рассчитался сполна,— объяснил Бринько.— Она пока у своего батьки живет, а он, значит, деньги заколачивает. Тыщ шесть, говорит, не хватает.

— Да ну? — удивился Нагаев.— Порядочно с женихов дерут.

— Дикость жуткая,— сказал Бринько.— Я бы этому папаше плюнул в рожу, взял бы девку за руки — и все дела. И увел бы. И шиш он с меня возьмет!

— Ай, нельзя так,— сказал Чары Аманов.

— Почему нельзя? При советской власти так безобразничают — это можно?

— Ай, нельзя,— повторил Аманов.— Старые люди

есть, умрут скоро, их уважать надо. Пускай они неправильно делают, а уважать надо.

Бринько свистнул.

— Видал! Уваженье будь здоров — шесть тысяч стоит. Все это глупость и ерунда. Гляди, как парень мучается...

Бяшим сидел тихо, сгорбившись над столом, и лицо его было неразличимо. Тлели в потемках папироски Марютина и Бринько. Нагаев встал и потянулся с хрустом. Сказал, зевая:

— А коли ехать нельзя, оставайся. Я тебя не гоню. Только насчет разряда чтоб никакого разговора. Понял?

Бяшим не ответил. Вдруг после некоторого молчания, пока Нагаев зевал, раздалось тонкое и протяжное всхлипывание.

— Ладно, ладно,— сказал Нагаев и, ощупью найдя Бяшимово плечо, легонько потряс его.— Я тебя не гоню. Хочешь — оставайся, хочешь — нет, мне один черт. Только... вот как я сказал.

Утром приехала автолавка — передвижной магазин.

Бяшим положил в кузов сундучок с привязанным к ручке кумганом, попрощался со всеми за руку и уехал в поселок.

Нагаев остался один. Он поспешил забыть этого незадачливого чабанского сына, с которым было больше хлопот, чем дела. И действительно, он скоро забыл его.

Жили они на бархане, в деревянных будках-времянках. Собственно говоря, в будках они только спали, а вся жизнь протекала на воле и в железных кабинах машин. Работали не по часам, а от силы. Кто сколько выдюжит, столько и сидит на рычагах. Никаких, конечно, выходных. На кой они? Что в пустыне делать, как не работать?

Две будки, пять человек. Да три машины в забое, да две цистерны: одна с водой, другая с соляркой. И приблудная собака Белка из туркменских овчарок, белая, лохматая, как медведь.

А вокруг — пески, глухая каракумская тишь.

Колодец Инче, где стоял отрядный поселок, был километрах в двадцати на восток. Оттуда приезжал прораб, привозили продукты в автолавке: сахар, папиросы, сечку-гречку, ничего особенного, но жить можно. Вина не возили. И в поселке вина не было: сухой закон.

Автолавка, прорабы да еще проезжающее начальство — вот и все развлечения. Правда, в поселок иной раз

наведывалась кинопередвижка из области. Специальный грузовик ездил по трассе, собирал с дальних участков желающих. Молодые ребята, вроде Бринько и Эсенова, ездили частенько, но Семен Нагаев на такие пустяки время не тратил.

— Не видал я ихнего кино! Лучше я за то время сто кубов выну — и мне интерес, и государству польза...

Зимой донимали холода и ветры, а с весны начиналась другая мука. Все живое в пустыне пряталось от жары, змеи и суслики дремали в норах, ящерицы зарывались в песок. Стоило подержать ящерицу пять минут на солнцепеке, и она варилась живьем.

Люди работали. Кабина экскаватора накалялась, как котел на огне, за рычаги голой рукой не берись. И ветры каждодневные, еще страшней, чем зимой: палящие, крутыми волнами набегающие из афганского пекла. Так и звался этот ветер — «афганец». Песок от жары делался легким, крошился в пыль, и «афганец» носил его над пустыней несметными тучами. Иногда небо вдруг меркло, как во время затмения, песок тоннами поднимался ввысь, свистел, грохотал, бешенствовал, опрокидывал навзничь, заполнял все и вся своим затхлым, удушающим запахом, и сквозь его темную, ураганную толщу солнце едва мерцало, наподобие бледной луны.

А люди работали.

Тысячи людей и сотни машин работали на всей четырехсоткилометровой трассе, разделенные на два отряда: один шел с востока, ведя за собой амударьинскую воду, другой пробивался ему навстречу посуху, со стороны Мургаба.

И где-то уже строились шлюзы, заливалась бетоном арматура, и вырастали в песках — пока еще над сухим руслом — мосты для железной дороги, и возникали на пустом месте (вот уж истинно на пустом, среди пустыни!) улицы некоего города, тарахтел движок, горело в домах электричество, в клубном бараке читалась лекция о новом Египте, и после лекции были танцы под радиолу, и рабочие выкладывали из кирпичей ограду вокруг несуществующего виноградника и втыкали в песок тощие прутья акаций, а далеко впереди всех, заброшенный в барханные дебри, какой-то одинокий экскаватор остервенело рвал землю, и по ночам была кромешная тьма и кричали шакалы.

И в этой необозримости целого заключалось величие. Но понять его было непросто.

3

Оставшись без помощника, Семен Нагаев вонзился в работу с особым воодушевлением. По десять — двенадцать часов не выходил из забоя. Необъятность пустыни его пьянила. Он видел в ней необъятность кубов, еще не вынутых, не оприходованных прорабом, жаждущих его ковша. Теперь он ни с кем не делился, и даже те небольшие проценты, которые раньше начислялись ученику, теперь принадлежали ему. И, кроме того, теперь он избавился от постоянного страха за машину.

В апреле Нагаев достиг небывалой цифры: шестьдесят две тысячи кубов. Его портрет поместили в многотиражке. В республиканской газете появилась заметка «На предмайской вахте», где рассказывалось о замечательных успехах знатного экскаваторщика С. Нагаева. Из Ашхабада приехал молодой парень, сотрудник местного радио, и записал на магнитофоне выступление Нагаева насчет первомайского праздника.

Нагаев принимал свою славу спокойно. Ему нравилось, что о нем пишут и шумят, но он не любил тратить на эту шумиху свое собственное драгоценное время.

От многодневного напряжения он стал еще злей и резче. Лицо его вытянулось, усохло, он сделался похож на Марютина: такой же темный, костистый, непонятного возраста.

На майский праздник Нагаев получил премию. А вскоре за тем старший прораб принял участок, и экскаватор продвинулся на семь километров к западу.

Новая стоянка ничем не отличалась от прежней. Тот же пустынный горизонт, холмы песка, редкий, угнетенный солнцем кустарничек. Барханы располагались здесь неблагоприятно, с севера на юг, и их приходилось разрезать поперек. Это была первая сложность, а вторая — змеи.

Сразу обнаружилось, что на новом месте огромное количество змей. Было похоже, что экскаваторы вторглись в какое-то заповедное змеиное царство. В первый же день Бринько убил лопатой толстую, метра в два длиной, черную кобру. Ее повесили на двух саксаульных сучках, воткнутых в песок, и она висела так несколько дней, устрашая собаку Белку и напоминая всем об опасности. Змеи были разные: самые крупные и страшные кобры и гюрзы, небольшие, но вполне кусачие полозы и безвредные, с узорчатой желтоватой спин-

кой и белым брюшком стрелки. Днем в песках было сравнительно безопасно. Человек издали замечал змею, которая обычно сидела в норе, высунув голову, а змея в свою очередь замечала человека и особым, сухим шуршанием предупреждала о своем присутствии. И оба благополучно избегали встречи. Ночью же заметить змею было трудно, а с наступлением жары ночью работали больше, чем днем.

Первые две недели экскаваторщики жили в неутихающем страхе. По вечерам только и разговоров было что о змеях: один убил змею возле самой будки, другой раздавил гусеницей, третий поднял ковшом. Беки Эсенов рассказывал множество историй о зловредности и коварстве змей. Один человек из колхоза, где жил Беки, спустился в колодец, чтобы подремонтировать стенки, и, когда уже вылезал на волю, гюрза ужалила его в шею. Он дико закричал, его вытащили, и через минуту он почернел и испустил дух. Другой человек, из соседнего колхоза, убил ядовитую змею эфу, которая мирно спала на камне и никому не угрожала. В ту же ночь другая эфа приползла к этому человеку в кибитку и перекусала всю его семью — жену и четверых детей, а его самого не тронула. Вся семья этого человека умерла. Эфа нарочно оставила его в живых — это была ее месть! — чтобы он сошел с ума от горя. Еще один человек, из поселка Учаджи, убил змею, но забыл выполнить обычай: зарыть отрубленную голову в песок. В ту же ночь другая змея...

Нагаев относился к этим рассказам презрительно и враждебно:

— Бросьте вы трепаться! Ну, может, и ужалила кого раз, а звону на десять лет.

— Нет, Сеня, ты руками не маши,— говорил Марютин, самый напуганный.— Я в Керках с одним профессором говорил. Я с ним в бане мылся. А он как раз по этим самым гадовьям профессор, так он мне рассказывал: здешние гадовья ужас какие ядовитые. Как вкусит — так, считай, кранты.

— Это смотря куда. В ногу, например, одно дело, а в голову, конечно, кранты. Никто не говорит.

— А в ногу какая разница?

— Ногу сейчас перевязал, надрез сделал — и чеши к доктору. Переливание крови — и порядок.

— Да не... Зачем говорить? — уныло вздыхал Марютин.— Профессор же сказал: кранты...

Хотя Нагаев и храбрился, подымал боязливого Марютина на смех, сам он ходил по лагерю с превеликой осторожностью, а ночью, идя в забой, всегда светил себе фонариком.

Однажды, приступив к ночной смене, Нагаев обнаружил большую змею в экскаваторе, на редукторе. Ночь была прохладная, и змее показался, вероятно, очень уютным нагретый за день металл. Нагаев схватил первый попавшийся ключ, ударил сгоряча и не попал, змея мгновенно исчезла. Нагаев позвал Чары Аманова, и они вдвоем, светя фонариками, обыскали всю кабину, гремели ключами, заводили и останавливали мотор — змея не показывалась. Аманов советовал отложить работу до утра. Однако Нагаев, как его ни страшила притаившаяся в кабине змея, не мог терять из-за нее смены. Надел ватные брюки, ватную телогрейку, сапоги, обмотал шею куском брезента — полез к рычагам. Работал всю ночь, только то и дело оглядывался. Утром змея свалилась откуда-то прямо на пол кабины, и Нагаев размозжил ей ключом голову.

Вскоре змеиные страсти утихомирились. Никого что-то змеи не кусали, и экскаваторщики понемногу привыкли к ним, бестрепетно рубили им головы, а потом и говорить о них и замечать их перестали. Впрочем, змей становилось все меньше. Напуганные людьми и машинами, они перекочевывали подальше от трассы, в глубь песков. И когда через месяц на стоянку передвинулся отрядный лагерь, ребята не встретили здесь ни одной змеи.

С начала июня пошла жара. В тени было сорок. Небо выжглось зноем добела, горизонт заволокло, как туманом, плотно колыхающимся и зернистым, раскаленным воздухом. В дневные часы работать стало невозможно. Выработка упала на всех участках.

В эту жару — а жаре этой, как говорили туркмены, конец будет только осенью — появился в лагере экскаваторщиков новый человек. К Марютину приехала из Керков дочь Марина, девушка лет двадцати.

Марютин был вдовцом, и дочь его жила в Керках с какой-то родственницей, которая недавно померла. Марина решила приехать к отцу. В Керках она работала кондуктором на автобусе. Была она рослая, плечистая, с красно-загорелым, простоватым лицом, на кото-

ром от загара неяркими казались голубые глаза и редкие белые брови. Выглядела старше своих лет; лицо вроде девчачье, а фигура плотная, осанистая, как у доброй молодухи. Марютин хотел устроить ее подавальщицей в столовую поселка, но там не было места, да и дочь, видимо, не за тем ехала сюда, чтобы тарелки таскать. А пока что поселилась Марина в отцовской будке за хозяйку.

Появление женщины мало что изменило в устоявшемся быту экскаваторщиков. Может быть, только ребята стали бриться чаще, а то совсем было заросли бородами, как полярники, да еще Беки Эсенов достал из-под койки дутар и стал по вечерам бренчать туркменские песни или «Бродягу», подпевая себе робким тенорком.

Марина тоже оказалась певуньей. В лагере теперь происходили своеобразные состязания: Беки, сидя возле будки, играл свое, а на расстоянии двадцати шагов от него, возле будки Марютина, Марина делала что-нибудь по хозяйству и пела свое. Голос у нее был дерзкий, пронзительный, и пела она с явным удовольствием, хотя и не очень верно. Она пела веселые песенки из кинофильмов и всегда старалась перекричать дутар.

Однажды подошла к Беки, присев на корточки, спросила:

— А «Голубку» можешь сыграть?

— Чего? — нахмурился Беки. Он смотрел на ее высокую грудь, обтянутую майкой. Марина ходила в майке-безрукавке и в черных сатиновых штанах, вроде спортивных.

— «Голубку» не знаешь? — Она запела громко: — «Ой, голубка моя-а...»

Беки цокнул языком и качнул головой.

— А «Рябину кудрявую»?

Беки снова цокнул языком. Не решаясь взглянуть девушке в лицо, он все еще упорно смотрел на ее грудь.

— «Бродягу» знаю, — сказал тихо.

— Ай... надоел «Бродяга»! Ну ладно, если хочешь — сыграй...

И Беки заиграл «Бродягу», вернее, несколько музыкальных фраз из песни, которые он хорошо выучил и мог повторять бесконечно. Песня была знаменитой в Туркмении, как и во всей Средней Азии, и ее мог напеть любой мальчишка из самого глухого кишлака.

Девушка сидела молча, обняв колени смуглыми руками, потом затянула вдруг туркменскую песню.

— Умеешь по-нашему? — удивился Беки.

— А то нет? Я по-вашему все понимаю, только говорю плохо, как узбечка,— сказала Марина по-туркменски.— У нас в Керках узбеков много живет.

— Ва-а! — сказал, все более изумляясь, Беки и поднял глаза.

Губы у Марины были белые, обветренные, в мелких трещинках и, вероятно, болели: она то и дело их облизывала. Вокруг глаз светлые морщинки, как у всех русских людей, которые много щурятся от солнца. А глаза — голубые, прозрачные, веселые, как вода. Она была очень красивая.

В то время как Беки с замирающим сердцем пытался выразить свои чувства бренчанием на дутаре, Иван Бринько поступал гораздо решительнее. Он без стеснения, будто бы в шутку, предлагал Марине «погулять за барханчик», а то под видом дурашливой игры обнимал ее или ломал ей руки, показывая свою силу, и гоготал нахально, когда Марина сердилась и награждала его оплеухами. Иван был испытанный сердцеед, но Марина не очень-то ему поддавалась.

— Ты, Ванечка, не в моем вкусе,— говорила она ласково.— Я люблю тоненьких и брюнетов. А ты вон какой рыжий да здоровенный, чистый верблюд!

— Зато у меня характер добрый.

— Ого, видать, что добрый! Такой добрый, что все девки плачут,— и она кивала на будку, где жил Бринько.

Над койкой Ивана были приколоты кнопками к стене три письма от влюбленных в него девушек. Одно письмо, от радистки со Второго колодца, было даже с картинкой: барханы, домики и трактор, похожий на паука. Начиналось письмо так: «Любимый Ванюша! Привет со Второго колодца! С тех пор как ты уехал в Инчу, стало здесь тоскливо и пусто, и вправду пустыня. Я все дни плачу. Как посмотрю на того варанчика, которого ты мне подарил, так сейчас вспоминаю тебя...»

Два других письма были примерно такого же содержания, слезливые и просительные: одно из Сагамета, другое из какого-то поселка Западной Туркмении, где Иван служил в армии. Письма бедных девушек были выставлены на всеобщее обозрение. Иван очень ими гордился. В отрядном поселке у него тоже была зазноба, но та не писала писем, а через Гусейна Алиева, шо-

фера с автолавки, передавала Ивану коротенькие записочки и подарки: то банку консервов, пару носков, пачку бритвенных лезвий, а то и бутылку белого. Она работала в орсовском магазине.

При таком повальном успехе не следовало огорчаться тем, что Марина не поддается. Конечно, закрутить любовь на месте, возле экскаватора, было соблазнительно, но шут с ней, с любовью. В песках работать надо, вкалывать, кубы делать. А на любовь другое время отпущено. И Иван не огорчался и даже не обижался на Марину, но с однообразной настойчивостью предлагал ей «погулять за барханчик» — просто так, для смеха...

Прошла неделя, другая. И месяц прошел.

Незаметно, исподволь менялся уклад жизни экскаваторщиков. Теперь Марина готовила обед на всех, ездила в поселок за овощами и мясом, и мужчинам казалось непонятным, как они жили прежде на одних консервах и чае. Марина стирала, убирала в будках, чинила рабочие робы, ходила в пески за саксаулом и делала все это проворно, ловко, как бы шутя, и совершенно бескорыстно. Когда Беки с Иваном решили как-то заплатить ей за стирку, Марина обиделась:

— Думаете, заработать на вас хочу? Ой, надо же! Да мне просто жаль вас, бедненьких-несчастненьких...

Один человек встретил Марину настороженно и до сих пор не оттаял — Семен Нагаев.

Началось с того, что ему, как и трем другим экскаваторщикам, пришлось с появлением Марины претерпеть некоторое стеснение. Марина поселилась в будке отца, на койке, где раньше спал Бяшим, и деликатный Аманов перешел в будку Эсенова, Бринько и Нагаева. Там три койки стояли впритык, четвертая еле влезла. Но так как экскаваторщики работали в разные смены и вместе собирались ненадолго, они не слишком страдали от тесноты. Однако Нагаев никак не мог примириться с тем, что они живут вчетвером, а Марютин, как пан, занимает отдельную будку.

Неудовольствия своего он прямо не выражал, а высказывал общие и неясные претензии ко всему женскому полу. Женщины, по его мнению, повсюду вносят только раздор и смуту.

— Вот поглядите, она тут делов наделает,— туманно грозил Нагаев.— Я эту химию скрозь прошел, у меня их, может, триста было, всех мастей. Она еще даст жизни...

— Да кому? Чего? — недоумевал Иван.— Ведь ты ее стряпню ешь? Не отказываешься?

— Зачем отказываться, я свой продукт отдаю. Это законно. Я только то замечаю, что вы больно на нее глаза пялите и каждый вечер все «лала» и «лала». Мне что! Я свои кубы делаю. А у вас, кажись, понижение тысяч на восемь...

Хотя всем было ясно, что выработка понизилась из-за жары, Нагаев упрямо твердил свое.

Как-то приехало к экскаваторщикам все начальство сразу: начальник отряда Алексей Михайлович Карабаш, инженер Гохберг и начальник производственно-технического отдела Смирнов. По инициативе Карабаша в отряде вводилась обязательная регулярная профилактика механизмов. Дело это было новое и прививалось с трудом. Экскаваторщики, трактористы и скреперисты должны были по определенным дням производить профилактику своих машин, а тем, кто уклонялся, угрожали лишением прогрессивки, то есть ударом по карману.

Карабаш провел с экскаваторщиками четвертьчасовую беседу о пользе профилактики. Он говорил всем известное: о том, что в условиях пустыни механизмы изнашиваются вдвое быстрее, что один день профилактики удлиняет жизнь машины на много недель и что машинисту выгоднее работать в забое, чем «загорать» в ремонте. Машинисты слушали рассеянно. Они понимали, что начальник говорит нечто полезное и разумное, но не очень-то верили в то, что это разумное так уж необходимо применять на практике. Полтора года работали безо всяких особенных профилактик — и ничего, план тянули.

Затем Карабаш познакомил каждого с графиком проведения профилактики и велел расписаться. Все аккуратно расписались. Никто к этой церемонии не относился серьезно.

Был обыкновенный, гнетущий жаром полдень. Инженер Гохберг обливался потом. Его легкая, когда-то голубая, а теперь добела выгоревшая курточка (такие курточки на канале почему-то назывались «москвичками») была распахнута и обнажала влажную впалую грудь с темными волосами. Иногда Гохберг широко открывал рот, словно собираясь что-то сказать, но ничего не говорил, а только жадно, прерывисто вбирал в легкие воздух. Рабочие и начальство жались к будке, в тощую

тень. Один Нагаев, не поместившийся рядом со всеми, сидел на солнцепеке и делал вид, что ему плевать на жару.

Когда производственная тема исчерпалась, Карабаш заговорил о жаре. На соседнем участке были три случая солнечного удара. Лето обещает быть очень знойным. В интересах производства каждый рабочий должен следить за тем, чтобы не пасть жертвой солнечного удара.

Карабаш говорил о погоде так же категорично и сухо, по-деловому, как и о профилактике. Рабочие до сих пор не могли привыкнуть к новому начальнику (Карабаш пришел в отряд три месяца назад) и относились к нему с опасливостью. Было непонятно, хороший он человек или плохой, было непонятно, какого он возраста, русский он или туркмен,— имя русское, а фамилия вроде туркменская. По-русски он говорил совершенно чисто, как городской житель, но понимал и по-туркменски, а желтоватая смуглость и черты лица явно обнаруживали восточную кровь. В конце концов рабочие решили, что он татарин.

Бринько спросил у Карабаша, что слышно насчет машин. Прежний начальник, Фефлов, обещал Ивану, как хорошему производственнику, помочь купить легковую машину. То же самое было обещано и Нагаеву и многим другим. Фефлов был крикун, матерщинник и страстный, до потери рассудка, любитель охоты. Эта страсть его и сгубила. Однажды в воскресенье он выехал на газике за джейранами, да вместо одного дня промотался по пескам три, а в понедельник, как на грех, случилось на трассе несчастье — прорвало дамбу на готовом участке. В четверг Фефлов уже сдавал дела. Рабочие не то что любили Фефлова, но относились к нему с сочувствием. Он был понятный и свойский. Кроме того, он всем что-то обещал и ему верили, и хотя он никогда не выполнял своих обещаний, но умел каким-то образом поддерживать в людях надежду. Особенно заманчивы были его обещания насчет продажи легковых машин. Уже составили списки, кому «Волга», кому «Москвич», кому в первую очередь, кому во вторую,— Нагаев был в первой.

И вот пришел новый начальник и сухим, категоричным тоном объявил, что никаких машин нет и не предвидится. Как? Почему? А как же Фефлов? А списки?

— Пожалуйста, обращайтесь с этими списками к

Фефлову, он работает нормировщиком в Марах, на кирпичном заводе.

Бринько и Эсенов возмущались, ругали Фефлова и наскакивали на нового начальника, требуя от него ответа за грехи прежнего.

Нагаев, мрачно молчавший, вдруг сказал:

— Да ладно кричать-то. Вы еще на машину не заработали. Лучше будку у них попросите, чтобы жить по-людски. А то машину им! Министры какие...

— В чем дело? — нахмурившись, повернулся к Нагаеву Карабаш.

— А в том, товарищ начальник, что в одной будке нас четверо, а в другой Марютин как на даче живет. Не заметили?

— Ай, зачем говорить? — поморщился Аманов.

— Пусть знают. У нас труд особо тяжелый, мы обязаны отдыхать как положено. Пускай третью будку дают.

— К Марютину жена приехала, что ли? — спросил Карабаш.

Марютин начал сбивчиво объяснять про свою дочь и померщую тетку и сказал, что дочь не против того, чтобы в будке жил третий, но вообще она мечтает уехать в Чарджоу, учиться на медсестру.

Карабаш сказал, что экскаваторщики сами должны устраиваться с жильем, а лишней будки пока все равно нет.

Будущая медсестра занималась стиркой неподалеку от мужчин. Назойливым голосом она пела одну песню за другой и ничего не слышала. Мужчины оглянулись на нее. Она стояла, широко расставив ноги в своих черных шароварах, заляпанных мыльной пеной. Ее полные руки и плечи сверкали медным загаром.

Карабаш сощурил черный, татарский глаз.

— Это дочка? А я думал, жена. Сколько ей лет?

— Девятнадцать. Не то двадцать, забыл уж...

— А вы ее тут замуж выдайте,— Карабаш вдруг улыбнулся. Сухие, жесткие складки появились на миг возле углов рта.— А что? Молодоженам отдельную будку как-нибудь выкроим, это у нас закон.

— Не, не, какой замуж,— замотал головой Марютин.— Она, видишь, в Чарджоу мечтает, на курсы. Только там с сентября занятия, так что через два месяца.

— Одно другое не исключает. Ну, вы уж сами этот вопрос урегулируйте.

— А я не желаю в тесноте,— опять заговорил Нагаев.— И вообще, имею право отдельную будку требовать. Фефлов мне обещал отдельную.

— Ой, Нагаев, какой ты чудак! — усмехнулся инженер Гохберг.— Экскаваторщик ты очень хороший, мы тебя ценим и уважаем, но нельзя же ставить себя выше других. Почему ты хочешь жить в отдельной будке, а Ваня Бринько, например, должен жить с соседями?

— А почему мне Фефлов обещал?

— Ты не отвечай вопросом на вопрос. Я спрашиваю: чем ты такой особенный? Хорошенькое дело! Может, ты туберкулезник или у тебя печень больная, тебя люди раздражают?

Почувствовав насмешку в тоне Гохберга, Нагаев еще больше помрачнел.

— Обедняете, если будку мне дадите?

— У нас нет лишних будок, товарищ Нагаев,— сказал Карабаш.— Пока нет, но будут.

— Была б она его баба, я не спорю. А то девчонка молодая, в штанах бегает, все равно что парень. Кому какое неудобство?

— А кто чего говорит? Я человек неспорный, живите,— сказал Марютин.

— Ай, нельзя так,— покачал головой Аманов.

Марина закричала издали веселым голосом:

— Эй, мужички! Идите чай снимите, а то у меня руки в мыле!

Эсенов вскочил и побежал к костру за кумганом. Все опять оглянулись на Марину. Она стояла, наклонившись над тазом, и смотрела на них через плечо. Мокрая майка облепляла круто выгнутую мощную спину. Заметив, что на нее все смотрят, Марина запястьем левой руки отбросила падавшие на лицо белобрысые куделечки и жеманно улыбнулась.

— Вообще от девок неудобство кругом,— сказал Нагаев.

Марина услыхала, крикнула задиристо:

— Девки на барском дворе! А здесь девок нету!

— Ну и жлоб ты, Семеныч,— сказал Иван.

— А вот не желаю я вчетвером,— угрюмо проговорил Нагаев.— Имею право — и все.

— Никакого права у тебя нет, но, пожалуйста, иди к нам. Я человек неспорный,— сказал Марютин.— И она не против.

— Чтоб Нагаева к нам? Против я! — закричала Марина.— Он жадюга.

— Ты молчи, сорока! — крикнул на дочь Марютин.— Тебя не спросят. Хочешь — переходи, живи, зачем говорить.

— А мне тесниться без интересу...— пробормотал Нагаев.

И в тот же вечер приволок свою койку в будку к Марютину.

4

Из окна комнаты видны горы. Утром они розовые, как сочная арбузная мякоть, потом выцветают, желтеют, становятся совсем желтыми. И весь день они желтые, как дыня. Странно видеть эти желтые горы: они кажутся раздетыми.

Я сижу в узкой, полутемной комнате гостиницы и жду Сашу. Он должен был прийти час назад. Саша — мой товарищ по университету, он работает литсотрудником в здешней газете. Где он только не работал за семь лет после того, как мы кончили! В Молдавии, на Алтае, на Дальнем Севере и вот, наконец, здесь, в самой южной республике. Сюда его притащила жена. Она биолог или гидрогеолог, а может быть, мелиоратор,— словом, изучает пустыню. Она была, помнится, высокая, статная, с большой пшеничной косой и разговаривала грудным голосом, немного в нос. Сейчас она где-то в экспедиции, и я ее не видел. Саша здорово изменился. Во-первых, он, что называется, посолиднел, у него появился второй подбородок и возник животик. Во-вторых, он увлекается какой-то чепухой,— например, собиранием спичечных этикеток и вырезыванием карикатур из газет и журналов. И, в-третьих, в нем открылось качество, совершенно неизвестное прежде: он сделался ловеласом. Еще десяти дней не прошло, как я приехал, а Саша уже два раза просил меня одолжить ему «на часок» ключ от номера. По словам Саши, в этом городе, разрушенном ужаснейшим землетрясением, жестокий удар нанесен любви. Жилья мало, люди живут в тесноте, и любовникам негде встречаться. В какой-то степени спасает теплый климат, да еще выручают знакомые, которые живут в гостиницах, и то если это отзывчивые и деликатные люди.

Я уходил в город и, доказывая свою деликатность, возвращался в гостиницу не через час, а через два часа. Мне не хотелось выглядеть ханжой. Я злился на Сашку, меня злили его эгоизм, беспардонность и то, что я бездарно трачу время, когда дела мои не двигаются; но что я мог поделать, если я так зависел от него! А он, сукин кот, этим пользовался. В номере я находил пустую бутылку из-под портвейна, мятые конфетные бумажки и с необыкновенной аккуратностью застланную постель. В ванной было набрызгано. Они принимали душ. На столе лежала записка: «Мы тебя приветствуем, старик. Завтра созвонимся. Штопор отдай дежурной».

И при всем том Саша — единственный в этом городе человек, который мне как-то близок и который может мне помочь. Кроме него, у меня нет здесь не то что товарищей, но даже знакомых. Есть беглые, ничего не значащие знакомства с несколькими ребятами из газеты, Сашкиными друзьями, и с кинорежиссером Хмыровым, москвичом, который живет в номере напротив, через коридор. Этому Хмырову лет пятьдесят, у него странное, узкое лицо, нижняя часть которого вытянута вперед, что придает ему сходство с таксой. Чем он знаменит — неизвестно, но держится он важно. Утром, когда мы встречаемся в коридоре или за завтраком в ресторане, он никогда первый не здоровается, а строго смотрит на меня в упор и ждет, что я кивну. Я киваю. Мне не жалко.

Я приехал сюда в надежде устроиться в республиканскую или хотя бы в областную газету «Копетдагская заря», где работает Саша. С республиканской дело рухнуло сразу, там не оказалось вакантных мест, а с «Копетдагской зарей», на которую я рассчитывал твердо и считал, что там все на мази, тоже происходит какая-то странная волынка. Может быть, даже это не волынка, а просто мне не везет. У меня шли с ними переговоры и переписка при Сашкином посредничестве (он писал в Р-ск, Московской области, где я работал в районной газете), я послал редактору документы, кое-какие свои материалы, редактор ответил приглашением, и я приехал. Но за неделю до моего приезда редактор чем-то проштрафился, и его «перевели на учебу». Газету подписывает бывший зам, Диомидов, человек бесхребетный и нерешительный. Он морочит мне голову, переносит встречу со дня на день и ничего не обещает. В чем тут дело? Я стараюсь понять, стараюсь мыслить за Диоми-

дова: а почему, собственно, он должен мне что-либо обещать? Я для него пустой звук, ненужность, рекомендация Саши Зурабова,— подумаешь, фигура: Саша Зурабов!

Черт возьми, за последние двадцать лет я так привык к тому, что все мои дела сопровождает «какая-то странная волынка». Это началось еще со школы, с седьмого класса, когда меня долго не принимали в какой-то оборонный кружок, как сына врага народа. И потом длилось всю жизнь: на заводе, в армии, в университете, после университета. Два года назад, летом пятьдесят пятого, отца реабилитировали и посмертно восстановили в партии, членом которой он был с 1907 года, и волынка должна была прекратиться. Она, может быть, и прекратилась, а может, только немного утихла. Но она продолжалась во мне самом: мерещилась повсюду! Я так привык жить с ней бок о бок, что не в силах ее забыть.

И вот сейчас: может, и нет никаких причин волноваться, но я ничего не могу поделать с собой. Проклятая неуверенность. Она сидит во мне, как бацилла.

Сегодня в четыре я должен быть в редакции, Диомидов мне назначил. Кажется, я спрошу сегодня прямо: в чем загвоздка? В анкетных данных, что ли? Он станет отрицать, но я угадаю по интонации. Угадывать я научился здорово. И тогда я выскажусь — терять мне нечего,— завтра возьму билет и смотаюсь отсюда, но он, сволочь, меня запомнит. Сейчас не те времена. Если только я учую запах волынки, я ему сделаю больно, этому господину с изящной фамилией. Пойду в обком партии или даже в ЦК.

Вот Сашка стучит в дверь.

— Да! Влезай!

Он входит, скрипя сандалетами, в голубой рубашке навыпуск, а следом за ним худой черноволосый молодой человек в очках. В желтом рябом лице что-то совиное. Большой нос крючком, из-под стекол глядят черные немигающие глаза.

Он слабо, с почтительностью, пожимает мою руку.

Саша громким голосом, похлопывая по спине и меня и его, объясняет, что я «мировой парень», а он «хороший мужик», «вольный сын ашхабадского эфира» и, пока суд да дело, может заказать мне очеркишко для радио. Это кстати! Мне нужно срочно заработать, потому что я на исходе. Это невероятно кстати, но я не должен

показывать своей радости. Атанияз — так зовут «хорошего мужика» — разговаривает очень тихим, глухим голосом. Он спрашивает, как мне нравится Туркмения и надолго ли я приехал. Я что-то рассказываю о книгах Лоскутова и Тихонова, говорю, что меня с детства манили пустыни и что я, собственно, давно собирался побывать на древней земле Туркмении. Все это очень приблизительно похоже на правду.

Но лицо человека в очках неожиданно розовеет. Он оживляется, он начинает подробно объяснять, куда мне надо поехать, что увидеть: какие-то развалины, мечети, горы, канал, нефть, озокерит. А я думаю: как бы он не забыл об очерке. Мне ведь это так важно! Но нет, он, слава богу, не забывает: надо написать пять-шесть страниц о колхозе имени Кирова, где в воскресенье состоится колхозный фестиваль молодежи. В порядке подготовки к республиканскому фестивалю. Надо бы разок туда съездить до воскресенья. Это недалеко, ходит автобус.

— Ну что ж,— говорю я,— можно съездить. Все в наших силах. Сегодня я занят, меня ждут в редакции, а завтра или, скажем, в пятницу...

— Да! Кстати! — Саша хлопает меня по колену. В течение всего нашего с Атаниязом разговора он читал газету, рассевшись на моей кровати, а теперь вдруг встрепенулся.— Ты знаешь, поход отменяется: Диомидов укатил в Ташкент на четыре дня. Вот подонок.

— Значит, не идем?

— Нет.

— Зачем же я мыл шею? — говорю я, смеясь, хотя мне совсем не весело. Наоборот, я сражен этим известием.— Что будем делать? Четыре дня ждать...

— Ничего, подождем. Можно пойти в «Дарвазу»,— предлагает Саша.— Только давай забежим на минуту в редакцию, я возьму портфель, и потом, если хочешь, в «Дарвазу». Но я совершенно пустой, предупреждаю.

Саша ведет себя честно: всегда предупреждает, что он пустой. Он пытается занять деньги у Атанияза, но тот, оказывается, тоже пустой. Распрощавшись с нами, Атанияз уходит на работу.

А мы с Сашей направляемся в редакцию, а потом в «Дарвазу», обедать. Я еще не пустой, меня хватит недели на полторы. А что дальше? Что будет через четыре дня?

Мы идем по городу, обезображенному страшной бедой. Говорят, когда-то он был красив. Говорят, что он был необыкновенно зеленый и уютный. Зелень осталась. Деревья стоят на земле гораздо прочней, чем дома. Великолепные тополя, мощноствольные акации и шатровые, раскидистые карагачи в уборе гремучей, тусклой от пыли листвы стоят на своих местах, где они были посажены полвека назад. Ужас той ночи пронесся мимо них. Исчезла или же навсегда изменилась жизнь, журчавшая под их сенью, и остался от нее окаменевший бред, мираж: кирпичный мусор бывших домов, забитый травой и пылью, изломы бывших тротуаров. Как хорошо быть деревом! Как хорошо ничего не помнить! Вот они, новые дома, крепкие, толстобокие, выстроившиеся ровно, как солдаты,— никакие баллы им не страшны,— одинаково покрашенные в светло-песочный цвет, с одинаковыми балконами и террасами, где спят в летние ночи. Улица пахнет иссыхающей листвой и мяклым асфальтом. И деревья так же ласково качают ветви над крышами новых домов, как и над теми, что исчезли, рассыпались прахом в ту ночь — девять лет назад...

— Послушай,— говорю я,— как ты думаешь: а не играет ли какой-нибудь роли в моем деле то, что у меня с отцом? Хотя он реабилитирован одним из первых. Еще мама была жива.

— Вряд ли,— говорит Саша.— Не думаю. Нет, сейчас другие настроения. А помнишь, как я выступал на собрании — на нашем, факультетском,— когда тебе строгача влепили? Когда ты скрыл насчет отца, помнишь? Тебя хотели исключить, но потом я выступил...

Еще бы мне не помнить! После того собрания, восемь лет назад, жизнь моя пошла наперекос. Райком меня все-таки исключил, потом горком восстановил со строгим выговором. Из университета пришлось уйти, я закончил два последних курса заочно. Мама очень болела. Мы жили за городом. Днем я работал диспетчером на Томилинской автобазе, а ночами читал вместе с мамой корректуру каких-то дурацких пьес, которые печатались на стеклографе для периферийных театров. Доставать эту работу было трудно. Ее брала одна мамина приятельница на свое имя, и то не регулярно, а я три раза в неделю ездил в Москву, отвозил и привозил тяжелые пачки экземпляров. Но самым мучительным были ночи чтения! Иногда вечерами приезжала Наташа, и ее тоже мама засаживала читать корректуру. Потом Ната-

шины родители восстали против наших встреч. Были слезы, объяснения, ее неожиданные приезды, ее жизнь у меня — с пиленьем дров, с керосинками, с безденежьем, с чтением корректуры,— и естественный конец всего этого: мы расстались. Нам казалось, что нам станет легче, когда мы расстанемся. И правда, через год она вышла замуж за одного военного инженера, а я наконец-то получил диплом и после разных мытарств устроился в подмосковный музей экскурсоводом. Все считали это удачей: пять остановок электричкой по той же дороге. Я не мог никуда уехать, потому что не мог оставить маму. После реабилитации отца она прожила всего четыре месяца. И все-таки она дождалась! Даже успела получить какие-то деньги, так называемую компенсацию, вернее, получил я по доверенности. Она умерла успокоенной, считая, что теперь я устроен и мне будет хорошо. А мне было очень плохо и одиноко и ни черта не хотелось. Я уехал в Р-ск, в районную газету: было все равно, куда ехать.

Вот что было после того собрания, на котором Наташа как раз выступала, а про Сашку не помню. Нет, не помню. Может, он и выступал где-нибудь в коридоре или в мужском туалете, но не на собрании. Впрочем, неважно. Все это было давно. Важно выяснить, что происходит сейчас.

— Ну, как ты считаешь? Нет ли тут...

— Да нет! — говорит он решительно.— Ничего тут нет. Просто наш Дио знаменитый резинщик. Тянет резину — и больше ничего.

В редакции мы застреваем надолго. Там что-то произошло, все возбуждены, ждут какого-то совещания или собрания, которое должно быть сегодня, а Саша, как я понимаю, хочет от этого дела потихоньку отмотаться. Он ходит из комнаты в комнату, а я жду его в коридоре. Некоторых из редакционных я знаю, например, кудрявого, здоровенного, похожего на штангиста парня, которого все называют Жорик. Он работает в промышленном отделе. С этим Жориком меня на днях знакомил Саша, и теперь хорошо бы остановить его и прощупать: что он слышал насчет моих дел? Но остановить Жорика невозможно. Он возбужден больше всех, бегает по коридору, непрерывно кому-то названивает. Меня он не узнал и даже не поздоровался. Наконец Саша закончил свои маневры, шепнул на ходу: «Пошли, быстро!» — и мы быстро выходим.

Но на лестнице, на первом этаже, нас догоняет Жорик и просит Сашу не опаздывать.

— Да не суетись ты, едрена Матрена,— говорит Саша.— Чего ты суетишься? Я приду, сказал же. Как только освобожусь в гороно...

— Они будут ровно в шесть!

— Ладно, я помню...

На улице он рассказывает: Жорик Туманян и еще один архитектор три дня назад напечатали статью о неправильной застройке города после землетрясения, о том, что в первую очередь возводили административные здания, понастроили разные министерства и комитеты с шикарными колоннами, а жилье строилось невероятно медленно, многие до сих пор живут в землянках. И это, мол, безобразие.

В Горстрое, конечно, шум, паника. Вчера выяснилось, что в городском Совете тоже недовольны статьей, звонили в редакцию, ну, а тут были свои противники, проходила статья с трудом, и теперь эти противники подняли голос: «А, мы говорили!..» В общем, сегодня горстроевцы придут в редакцию и будет обсуждение статьи.

— И поэтому Туманян волнуется?

— Волнуется зря: его дело верняк, статью благословили в одном из тех самых домов с колоннами, на которые он обрушился, так что он в порядке. Вообще эта смелость задним числом меня начинает раздражать. Если б он выдал такую штуку лет пять назад! А сейчас-то мы все смельчаки...

Ни в какой гороно мы, конечно, не идем, а прямо направляемся к «Дарвазе».

«Дарваза» — это ресторан, лучший в городе, расположенный на главной площади, рядом с базаром, оперным театром, телеграфом и стоянкой такси. Входим в небольшой вестибюль, овеянный запахами борща и жареного лука. Старик швейцар здоровается с Сашей: «Здравия желаем!» — и двумя руками, как блюдо, бережно принимает его портфель. Швейцара зовут Шапкин. Это, кажется, не фамилия, а прозвище.

В зале душно. Гудят вентиляторы. Мы идем между столиками, Саша впереди, я на три шага сзади. Саша по-хозяйски оглядывается, примериваясь, куда бы сесть, и одновременно с кем-то здоровается, кому-то кивает издали, помахивает рукой. Наконец он выбирает дальний столик в углу.

— Садись тут,— говорит он, выдвигая стул.— А я сяду вот здесь, чтобы не видеть некоторых подонков.

Подходит толстая пожилая женщина с наколкой официантки. Она годится Саше в бабушки, но он называет ее Машенька. Он заказывает триста водки, пиво, салат из помидоров, одну селедочку и два шницеля. И начинает вспоминать. Все дни наших встреч он предается воспоминаниям. Вероятно, он считает, что ни на что, кроме как на воспоминания о прошлом, я не гожусь. Он вспоминает общежитие, ребят, какие-то наши вечеринки, вспоминает девочек («А помнишь, к нам ходила Нинель из Менделеевского, такая — с бюстом?»). Вспоминает шутки, розыгрыши, скандалы на экзаменах, вызовы к ректору. Удивительно, как он помнит всю эту чепуху!

Меня это утомляет. Я не люблю вспоминать. Черт возьми, мы не виделись гигантский срок! Было столько потрясающих событий. Мы прожили эти годы врозь, не обсуждали новостей, не спорили до хрипоты, до ссор, как бывало.

Машенька ставит на стол графин водки, пиво и салат из помидоров и лука. Саша предлагает выпить за альма матер.

— Все-таки было неплохое время, а? Хорошее было времечко! Да что говорить — лучшее время нашей жизни. Лучше уж не будет...

Он погрустнел, растрогался.

— Да нет,— говорю я.— Время было в общем паршивое.

— Почему? Мы были моложе на восемь лет, а это уже кое-что.

— При чем тут время?

— Да брось! Я знаю, что ты хочешь сказать. У тебя были неприятности. Но мы были молоды, жили как-то весело, жадно. Бар номер четыре помнишь? А капустники помнишь? Митьку Ципурского с его «синкопическим языком»?

— Помню. Его потом исключили.

— Разве исключили?

— Конечно.

— Я забыл.

— А ты забыл, как Николая Львовича с кафедры выгоняли, забыл? Как он пришел в общежитие и показывал какие-то газеты двадцатых годов со своими статьями?

— Это я помню. Я как раз был в комнате.— Он помолчал, вздохнул.— Нет, и все-таки было ничего! Зимой на лыжах, в Опалиху, летом в Химки с девчатами. Знаешь, для меня эти годы, жизнь в Москве, так и остались лучшей полосой...

К нам подходит высокий белокурый парень в ковбойке. Лицо его темно-красно от загара, а морщинки светлые, брови тоже светлые и губы белые, обветренные. Странное лицо, оно похоже на негатив. Саша, не вставая, подает парню руку и знакомит со мной. Он объясняет, что пришедший — лучший его друг, геолог, «мировой мужик». Геолог протягивает мне могучую, темно-красную руку. Несколько секунд он мнется возле стола, но Саша не приглашает его сесть с нами, и геолог отходит.

— Мужик действительно мировой,— говорит Саша,— но утомительный. Весь вечер будет рассказывать о своих шурфах и теодолитах. И, кроме того, задаст такой темп в этом смысле...

Он разливает остаток вина в рюмки.

— А я уже не тяну. Старость, брат. Ну, будь! — Саша опрокидывает рюмку.— Вот ты говоришь: тогда было время дрянь, сейчас лучше. А чем лучше? Лично я не чувствую. Торчу в этой газетке литсотрудником, перспектив никаких. Да и ты не блещешь, ни хрена не добился за семь лет, верно же?

— И все же время изменилось, не то, не то!

— Что — не то?

— Все не то.

— Ну, не знаю. Тебе видней, ты человек из центра.

— Понимаешь, обратного пути быть не может. Так мне кажется, во всяком случае.

— Тогда будь здоров, мой мальчик! И не горюй.— Он поднимает бокал пива.

Мы выпиваем по бокалу и молчим некоторое время, сосем папиросы.

Саша зевает, оглядываясь по сторонам.

К столику подходит местный поэт, молодой человек в зеленых вельветовых брюках,— меня с ним знакомили на днях здесь же, в «Дарвазе»,— и просит у Саши двадцать пять рублей, но Саша говорит, что он «пустой», и поэт грустно присаживается к нам и с удрученным видом наливает себе пива из нашей бутылки.

— А жизнь тут не подарок,— вдруг говорит Саша.—

И если б не Лерка, я бы отсюда снялся, ей-богу. Ну что тут хорошего, а, Игорек? Пиво хорошее?

— Пиво — мура,— говорит поэт и наливает себе еще пива.— В Москве, конечно, лучше. Жигулевское.

— Тут надо или утешаться работой, вкалывать до потери сознания, или же находить закоулочки для отвлечения души: кому там преферанс, кому женщины, а кто гитару купил и по самоучителю рубит каждый вечер...

На эстраде появились четыре неважно выбритых восточных человека. Сейчас будет музыка. Вот она грянула, и несколько женщин поднимаются из-за столов и идут танцевать. Женщин в зале немного, но все они, мне кажется, чем-то похожи: все с мелкой завивкой и с металлическими зубами. Может, у меня уже троится в глазах? Потом подсаживается какой-то белобрысый, который оказывается летчиком и лучшим Сашиным другом. Поэт читает стихи. Вновь возникает геолог и слушает поэта с изумлением, открыв рот, в котором сверкают белые, прекрасные зубы. Летчика не интересуют стихи. Повернувшись к поэту спиной, он рассказывает мне длинную историю о своем недавнем полете.

— Погода была следующая: низкая облачность, метров триста — четыреста, ветер северо-западный...— При этом он жестикулирует двумя руками, показывая движение ветра и путь самолета.

Потом я вижу, что в зале появились ребята из газеты: Жорик Туманян и с ним еще трое, из которых я знаю Бориса Литовко, ответсекретаря. Они сидят за дальним столом. Саша не смотрит в их сторону, но вскоре Жорик сам встает и подходит к нам.

— Задержался в гороно? — спрашивает он и, не дожидаясь ответа, говорит возбужденно: — Ну, была война! Лузгин чего-то струхнул и начал вилять, а они привели с собой какого-то инспектора из горсовета, круглого дурака,— ну, мы дали им жизни! Борис Григорьевич произнес такую речугу — сила!

— В общем, ты в порядке?

— Вроде да. В основном. Тебя Борис зовет...

Саша идет к ним и возвращается минут через десять, очень недовольный. Его, кажется, заподозрили в том, что он увильнул от встречи.

— А ну их! Раздувают шумиху...

Вот к нашему столу подъезжает еще один стол, и компания увеличивается вдвое. За этим столом сидят

рабочие с канала. Они приехали в город на три отгульных дня. Ребята гуляют давно, они уже сильно накачались, один просто спит за столом, но трое остальных готовы начать все сначала. Ставятся два свежих графина водки. Машенька несет на стол тарелки с холодцом: волокнистые, болотного цвета ломти, пахнущие уксусом. Намазываем на них горчицу. Пьем за знакомство. Один из ребят видел Сашу на трассе, сразу признал, но почему-то считает, что Саша артист и все мы артисты. Наши уверения его нисколько не убеждают. Он упорно твердит, чтобы мы приехали на какой-то Второй водосброс: «Встретим вас законно! У нас знаете как артистов любят!»

Потом ребята рассказывают, как они живут в песках, словно полярники, «в кучке», неделями не видят газет, не слышат музыки, а в Ашхабаде, кроме гулянья, у них много дел: надо купить для клуба радиолу, волейбольную сетку и пластинок повеселей. Вот пластинок хороших нигде нету. Не могли бы мы, как артисты, помочь им насчет пластинок? Саша что-то обещает, дает телефон.

С ребятами интересно, я бы сидел и слушал, но вдруг замечаю за дальним, возле окна, столом знакомого человека. Красное, шкиперское лицо, глубокие, как шрамы, морщины вокруг рта. И этот темно-зеленый костюм, заграничный, из нейлона, который так аккуратно развешивался каждый вечер на стенке купе. Четверо суток ехали вместе. За четверо суток я почти ничего не узнал о нем: он отмалчивался, пил пиво и скверно играл в шахматы. Кажется, он возвращался сюда после очень долгой отлучки.

Я подхожу отменно твердой походкой.

— Здравствуйте, Денис.

— А-а, привет вам! Садитесь...

Я сажусь. Рядом с ним сидит маленький, со взъерошенной сивой шевелюрой, с лицом сухим, сердитым, болезненно желтым Борис Литовко.

Денис смотрит на меня долгим взглядом, не мигая, и молчит. По его глазам я вижу, что он чудовищно пьян. Наконец он с трудом разлепляет губы.

— Вот с этим курчавым,— он кивает на Бориса Литовко,— вот с ним мы начинали жизнь. Лет почти двадцать назад. Мы были тогда молодые и красивые, то есть красивым был я, а он был такой же сушеный боб, Борис Григорьевич, он же крошка Цахес, только волосы у него

были черные, и он умел нравиться женщинам, потому что помнил десять тысяч анекдотов... Ты ни черта не изменился, крошка! Я узнал тебя на улице по спине!

— О чем ты болтаешь? Никому это не интересно,— говорит Борис Литовко.

— Я вспоминаю тот день. Мы приехали красноводским поездом. Я даже помню, какие у тебя были ботинки: такие высокие, красные, с крючками. Помнишь?

— Помню, помню, это никому не интересно. Интересно другое: ты мужчина? У тебя есть воля?

— Я мужчина. Но я старый мужчина.

— Ты не старый, ты просто липа! Слюнтяй! Десять дней собираешься с духом, хотя в этом абсолютно нет сложного. Время тебя подняло из дерьма, поставило на ноги, а ты боишься сделать шаг.

— Крошка, о чем ты говоришь? Если бы ты прожил мою жизнь...

— Я прожил свою жизнь. Давай махнем не глядя, а? — Литовко зло усмехнулся.— Твоя страшная жизнь длилась шестнадцать лет, а моя семнадцать секунд. Но за эти секунды я потерял все. Все, что у меня было: мать, жену, двоих детей — мальчика девяти лет и девочку шести...— Теперь он обращается ко мне, потому что Денис, видимо, все это знает.— А почему я остался жив? Я вышел на двор. Это было ночью, в два часа ночи. И меня лишь задело доской, когда свалилась уборная.

Денис закрывает ему рот ладонью:

— Ладно! Молчи...

Потом я узнаю историю Дениса, которую тоже рассказывает Литовко. Трудно слушать, меня томят неотвязные мысли (с ним бы можно посоветоваться начистоту и спросить: есть у меня шансы в газете? Как бы спросить? Он там не маленький человек, ответсекретарь, но суть рассказа я улавливаю.

Денис не был дома шестнадцать лет. В сорок втором попал в плен, освободили американцы. Застрял в Европе, шлялся из страны в страну, как перемещенное лицо, и вот лишь недавно приехал, после амнистии. Он приехал в город, где оставалась его семья, жена и сын, и до сих пор их не видел. Не хватает смелости пойти. Никто, кроме Бориса Литовко, не знает, что он приехал, но он сам уже знает все. Он знает, что у жены другой муж, некто Аннаев, туркмен. Директор школы или, кажется, техникума. Живут хорошо, у них свой дом на Пишпекской и автомобиль «Москвич». А сын Во-

лодька — ему было полтора года в сорок первом, когда Денис уехал,— сейчас верзила баскетбольного роста, десятиклассник. И, кажется, фамилия у него не Кузнецов, а Аннаев. Вот уже вторую неделю Денис живет у Литовко, в холостяцкой комнате на окраине. А что будет дальше? Он пойдет туда завтра, а может быть, через месяц.

Денис ковыряет вилкой салат, роняя томатные капли на свой гамбургский, слегка уже потертый на обшлагах костюм. Смотрю на его опущенное к тарелке лицо, красное, выдубленное годами, тоской, окаменевшее сейчас в каком-то воспоминании. Он, так же как я, почувствовал это всей кожей: слом времени.

Нет, спрашивать у Литовко ничего не буду. Если б он мог что-нибудь сказать, он бы сам сказал. От него там ни черта не зависит.

Столики вокруг нас опустели. Кажется, только что было утро, а вот уже поздний вечер. Когда-нибудь я с таким же удивлением подумаю о жизни. Так быстро? Неужели? А покачто за окном душный, окутанный ночью город. Я почти не знаю его, но он мне нравится, он похож на человека, тоже поднимается из развалин, и мне будет жалко, если я уеду отсюда. А я уеду. Невозможно ждать. У меня нет денег, нет времени, проходит жизнь, я не могу ждать. И я никогда не узнаю, встретится ли Денис со своей семьей и как устроился в этом мире потерявший все Борис Григорьевич Литовко. И потом — мне нравятся желтые горы. По утрам они розовые. Интересно, какого они цвета, если подойти близко?

Официантки зевают. Музыканты пьют пиво за столиком возле эстрады, свет над эстрадой потух, пианино в чехле.

Подходит Саша.

— Ты остаешься?

С Борисом Григорьевичем они обмениваются холодными взглядами. Странные люди, ссорятся из-за пустяков. Я вспоминаю, что надо рассчитаться, но Саша говорит, что уже рассчитались. Ребята с канала заплатили за весь стол.

— Чему ты удивляешься?

— Они, по-моему, нас не знают.

— Ерунда. У них денег вагон.

Кажется, я забыл попрощаться с Денисом.

По темной улице сочится запах листвы, сладкий и

тяжелый, как патока. Шаркаем по асфальту. Он еще теплый после дневного зноя. На скамейках во мраке гнездятся парочки. Мы проходим мимо распахнутых ставен, мимо окон, затянутых марлей и металлическими тонкими сетками от москитов, и слышим обрывки неясной ночной жизни: шепоты, невнятную речь, тихие вздохи музыки. Прощай, город! Через неделю я покину тебя, с твоей духотой, с твоими ночами, звездами, с твоими людьми, занятыми своей жизнью...

В окнах телеграфа горит свет. Саша вспомнил, что ему надо послать телеграмму жене. Она сейчас где-то далеко, в пустыне.

— У нее, между прочим, жизнь — не подарок,— бормочет Саша.— А мы тут пьем, гуляем...

Сажусь на лавку и жду, пока Саша напишет текст. Какие-то люди с застывшими, сонными лицами сидят по углам зала в ожидании вызова к междугородному телефону. Я бы тоже послал кому-нибудь телеграмму, но кому? И потом мы долго идем по ночным улицам, где почти нет фонарей, и из каждой подворотни на нас лают собаки. Весь город лежит во тьме, а над головой — яркое, цветущее звездами небо. Оно кажется живым от звезд, оно переливается, искрится, в нем бродят свечения, голубоватые и серебряные, колышется беспредельный свет, оно светлое. И только на южном краю темно и беззвездно. Там горы. Сейчас они черные, как земля, по которой мы идем.

5

Раскалившимся шаром, утопая в жаркой пыли, катилось лето. Все дальше таранили пустыню строители, метр за метром выгрызали ее нутро, и все короче становился, пока еще неощутимо, недоступно слуху и зрению, гигантский путь до Мургаба. Вновь прицепили будки к тракторам и поволокли на запад — на новое место.

Нагаев прекрасно жил в одной будке с Мариной: чужак чужаком. Ни он ей, ни она ему не мешали. Она, как и раньше, ходила на вечерние посиделки к Ивану и Беки и пела «Голубку», Иван по-прежнему получал тумаки, а Беки тосковал молча.

Марина нисколько не стеснялась тем, что рядом на койке живет мужчина. Она его, всегда хмурого, озабоченного мыслями о кубах, о работе, и за мужчину как

будто не считала. Так, работяга вроде отца, скучный, старый и совсем не похожий на настоящих «кавалеров» и «мальчиков», о которых у Марины было твердое представление как у постоянной посетительницы Керкинского парка. По утрам она приказывала отцу и Нагаеву: «Вы! Отвернитесь!» — или же: «Уходите оба! Я мыться стану».

Иногда Нагаев уходил, а иногда, если возвращался усталый после ночной смены, отвечал сердито:

— Ноги не ходят...

И отец уходил, а Нагаев оставался лежать на койке, отвернувшись к стене. Марина плескалась в тазу, фыркала и шлепала себя по тугому телу: она была невероятная чистюля, обливалась до пояса чуть ли не каждый день. На новом месте вода была вольная, туркменский колодец рядом, купайся — не хочу.

Приговаривала враждебным шепотом:

— Смотри, если повернешься! Как дам тазом по голове, тогда узнаешь.

— Нужна ты мне, как корове зонтик...— бурчал Нагаев.

Любила вести с Нагаевым ехидные разговоры:

— Семеныч, а верно говорят, что ты самый богатей из экскаваторщиков? У тебя, брешут, сорок тыщ на книжке.

— Кто сказал? — настораживался Нагаев.

— Люди вообще... А не правда?

Нагаев отмалчивался или отвечал грубо, стремясь прекратить неприятный разговор. Но отшить Марину было непросто. Она настойчиво, с притворной ласковостью допытывалась:

— А зачем тебе столько денег, Семеныч? Дядька ты старый, одинокий, ни кола у тебя, ни двора.

— У меня полдома в Дмитрове.

— Что ты понимаешь, трещотка? — вступался за Нагаева Марютин.— Сорок лет, говорит, старый. Глупость какая. Вот именно в самый раз ему деньги нужны, чтобы семью заводить и все хозяйство.

— Я б тебе показал, какой я старый,— бормотал Нагаев.

Марина хохотала:

— Ой, надо же! Комик! Только показывать и осталось, верно...

— Машка! Язык оборву! — кричал Марютин строго, а в душе смеялся.

В начале августа выдался один особо мучительно жаркий день. Никто в дневные часы не работал. Экскаваторщики валялись голышом в будках, истомившиеся, дохлые: разговаривать лень, курить неохота, и спать не спится. Даже чай налить в пиалушку рука не поднимается.

Один лишь нагаевский экскаватор громыхал в забое. Вдруг умолк. Настала тишина и длилась долго. Нагаев не появлялся. Почуяв недоброе, Бринько с Амановым натянули штаны, накинули рубашки, чтоб не спечься, и пошли в забой.

Нагаев лежал навзничь на песке возле экскаватора — глаза закатились, лицо белое, безжизненное, закинуто подбородком вверх.

Ковш, наполненный грунтом, покачивался высоко под стрелой. Видимо, в последний миг перед затмением сознания Нагаев успел нажать на тормоз.

Убедившись, что Нагаев жив, но в глубоком обмороке, Иван сгреб его в охапку и понес в будку. Аманов полез в кабину, чтобы вывалить грунт и опустить ковш, как положено.

В кабине стояла такая сухая, мертвящая жара, какая может быть в тандыре, в туркменской каменной печке, когда в ней пекут хлеб.

Догоняя Бринько, Аманов испуганно кричал издали:

— Живой? Сердце бьет?

— Да бьет, бьет,— отвечал Иван.— Сомлел от жары и кувырнулся. Жадность...

Принесли, положили на койку. Нагаев не приходил в сознание. В будку вбежала Марина, растолкала всех, начала, сверкая глазами, командовать бойко, вдохновенно:

— Куда голову ложите? Беспонятные! Батя, мочи полотенце! Да куда ты в ведро? То ж нагретая! Бегите один кто к колодцу!

Эсенов побежал. Экскаваторщики переговаривались вполголоса:

— Ему бы двести граммов...

— А где взять?

— Вот и я про то...

— Никаких граммов! И чего задымили, чего задымили? — набросилась на мужчин Марина.— Мотайте отсюда с табаком!

Через четверть часа Нагаев пришел в себя. Первое, что сказал: «Ковш опустите».

Чуть спала жара, экскаваторщики ушли к машинам. Нагаев тоже попытался встать и пойти, но свалился на пороге будки. Он очень ослаб. Он пролежал весь вечер и весь следующий день.

Марина поила его крепким чаем, смачивала в холодной воде полотенце и прикладывала к его голове и сердцу. Сильными руками она переворачивала его с боку на бок и обтирала грудь, спину и плечи холодным. Нагаев ворчал сквозь зубы. Ему было стыдно своей наготы и беспомощности. А Марина упивалась ролью спасительницы. Она по-прежнему как будто не замечала, что имеет дело с мужчиной: Нагаев был для нее просто больной дяденька, всамделишный пациент, которого интересно лечить и выхаживать. Ведь она мечтала стать медсестрой, а когда-нибудь и настоящим врачом,— правда, для этого ей не мешало бы закончить три последних класса.

Желтолицый, обросший щетиной, протянув вдоль тела худые руки, лежал Нагаев на койке и пристальным взглядом смотрел на девушку. С трудом разжимая губы, цедил:

— Ну и Трухмения, ну и дрянь земля... Пропади пропадом...

— Нет, туркменская земля хоро-о-шая,— говорила Марина мягким, баюкающим голосом, каким полагается говорить больничным сиделкам.— Правда, солнышко у нас злое, его остерегаться надо.

— И какое меня лихо занесло сюда, дурака?

— Земля наша очень прекрасная, Семеныч. Вот поехал бы ты в Чарджоу...

— Молчи! Понимаешь ты...— Он вздыхал и отворачивался. Марина кротко молчала.— Ты ведь, глупая, жизни не знаешь. Не видала ничего, кроме песков да пылюки,— медленно продолжал Нагаев.— А какие леса в России! Реки... Городов настоящих не видела... Эх, голубка... А дожди какие! «Не осенний мелкий дождичек» — знаешь песню?

— Слыхала вообще...

— Слыхала! — Нагаев презрительно двигал рукой.— Что ты понимать можешь? Ничего.

И вновь умолкал. Марина тихо сидела на войлочном полу, а он, передохнув, продолжал вяло и сбивчиво поносить жару, стройку, начальство, вспоминал прошлое, какие-то другие стройки («Вот была житуха! Дай бог всякому!»), хвалился прежней своей жизнью и вдруг

с непонятным раздражением начинал высмеивать Марину за ее любовь к Туркмении и за невежество.

И, может быть, оттого, что Марина покорно слушала, или оттого, что Нагаев просто обмяк душой и телом, он делался все откровенней и рассказал кое-что о своей жизни, чего раньше никогда не рассказывал.

Исколесил он, оказывается, всю страну — от Мурманска до Сибири. Работал лесорубом, плотником, трактористом, шофером на автобусе, а последние семь лет — экскаваторщиком на разных стройках, в том числе на Волго-Доне. И в Москве побывал, и в Ленинграде жил две недели, как генерал, в самой лучшей гостинице, и заграницу успел посмотреть в период войны. Наконец, сюда занесло, в чертово пекло.

Дальше — больше, и про семейные дела пошел рассказ. Не всю жизнь Семен Нагаев бобылем гулял. Была и у него семья когда-то — жена молодая и ребеночек. До войны, конечно. А вернулся с войны в родной город Дмитров и узнал «приятную» новость: жена другого мужика нашла, одного завгара, Лыкина Сережку. Он ей в период войны большую помощь оказывал, выручал крепко. И ничего удивительного, потому что у Сережки транспорт в руках и весь район знакомый. И, короче говоря, она к нему прилепилась, и ребеночек его уже папой зовет, полный порядок.

Марина, жадно слушавшая, сказала решительно:

— Значит, не любила она тебя, Семеныч!

— А за что любить? Пришел я гол как сокол. Барахла всякого не привез, как другие, не довелось. Был шоферяга, и обратно за баранку садись. А тот-то, Лыкин Сережка, всему Дмитрову был король, такие дела обделывал — ой, господи! Правда, на денежной реформе, говорят, погорел сильно...

— Ну, а дальше что? Как ты с ней? — не терпелось узнать Марине.

— Дальше что ж? Она с ним, с дочкой, а я сам по себе.

Марина вздохнула, нервно стискивая пальцы.

— Надо же... А дочка большая?

— Семнадцатый год нынче. Мать у меня в войну померла, из родных один брат живой, у него семья громадная, в Дмитрове живут. Там полдома мои. Когда захочу — вернусь. Да только чего там делать? Не могу я там... Я, например, понял, как жить надо. Ведь в жизни самая сила что? Вот что! — он поднял руку горстью и

большим пальцем с коротким желтым ногтем потер два других пальца.— Точно говорю. Я по свету помотался, все про все знаю.

— А для чего, Семеныч?

— Что?

— Мотаешься для чего?

— Да так...— Нагаев посмотрел искоса в синие внимательные глаза Марины и сказал равнодушно: — Машину хочу купить.

— А машину для чего?

— Дурочку-то не ломай. Не знаешь, машина для чего?

— Нет, правда, коли ни семьи, ни хозяйства, зачем тебе машина?

— А это нам известный вопрос,— проворчал Нагаев и добавил сурово: — Иди-ка за дровами, шлепай. А то ребята придут, а чай кипятить нечем.

Марина внезапно расхохоталась:

— Ой, Семеныч, смешной ты какой! Комик! — И, вскочив одним движением на ноги, выбежала из будки.

На другой день Нагаев вышел в забой. Теперь он стал осторожнее и в самую отчаянную дневную пору прятался, как и все, в будку.

Жара упрочилась, тяжкая, ровная — день в день.

По клубящейся дороге, ныряя в чащобах пыли, приковыляла «летучка». Марютину и Нагаеву пришел срок по графику делать профилактику. Производили ее сами машинисты с помощью слесарей и механиков, и занимала она обычно день-два. Нагаев вдруг заявил, что делать профилактику не будет. Машина, мол, в порядке, и нечего тратить время, ковыряться попусту. И так два дня потеряны из-за болезни. Слесари с «летучки» спорить не стали.

— Отказываешься? Ладно, дело твое.

Нагаев помнил условие насчет прогрессивки, но был уверен, что к нему, знатному «киту», применить эту глупость не посмеют.

Слесари провозились с марютинским экскаватором дня полтора и уехали.

Наступил срок получки. На газике начальника прибыл кассир Мурашов, рыжеусый инвалид без левой руки, человек резкий и непочтительный. Он сразу же сказал:

— Вам, Нагаев, прогрессивка не выписана.

— Что? — Нагаев обомлел. — Да ты, парень, гляди лучше!

— Мне глядеть нечего. Получайте ваши деньги. Ставьте подпись.

Нагаев машинально пересчитал деньги. Он был поражен в самое сердце и сразу не нашелся что сказать. Мысленно высчитал: потеря составляла тысячи две с лишком. Он пришел в ярость. Как! Его, Семена Нагаева, осмелились наказать штрафом?

Он орал на кассира, просто чтоб отвести душу. Тот, конечно, был ни при чем. Но парень оказался колючий, горластый, к тому же измученный жаркой дорогой, и они кричали друг на друга хрипло и с наслаждением. Потом кассир сказал:

— Прошу мне не тыкать и выйти вон. Вы своим поведением мешаете мне соображать.

Нагаев ушел.

Когда рыжеусый садился в машину, Нагаев крикнул угрожающе:

— Завтра в поселок приеду — начальнику передай!

6

Если бы он приехал в поселок на день раньше или хоть на день позже, он, быть может, чего-нибудь и добился бы. Нагаеву не повезло. Одновременно с ним в поселок прибыли высокие гости: один из проектировщиков — инженер Баскаков, заместитель начальника Управления водными ресурсами Нияздурдыев и главный инженер Восточного участка — или, как говорили на стройке, «Восточного плеча» — Хорев.

Они прилетели почтовым самолетом из Керков и намеревались проехать на машине по трассе до Мургаба.

То обстоятельство, что важного ашхабадского гостя, творца проекта, по которому строится канал, и руководящего товарища из управления сопровождает не сам начальник стройки Степан Иванович Ермасов, а второстепенное лицо, могло постороннему человеку показаться случайностью. Ермасов находился в Марах, на «Западном плече» стройки, а гости решили поехать с востока, — что ж удивительного в том, что с ними поехал Хорев? Но люди, посвященные в сложную систему взаимоотношений между начальником стройки и проек-

тировщиками, между Управлением водными ресурсами и начальником стройки, между начальником стройки и инженером Хоревым, видели в этом факте не случайность, а закономерность. Уже полтора года, с самого начала стройки, Ермасов вел жестокую войну с проектировщиками. Началась эта война со знаменитого «ермасовского» рейда механизмов в глубь песков, когда около сотни машин проделали героический путь в самое сердце пустыни и там был основан первый поселок. Проектировщики и некоторые работники управления до сих пор не могли простить Ермасову его дерзкого самовольства, и, хотя выгоды этой операции были теперь очевидны, примирение между противниками не наступило.

Инженер Хорев был старый ирригатор. Двадцать пять лет назад он строил каналы на востоке республики, потом работал на севере, на канале Москва — Волга, потом вновь вернулся в Туркмению. Ермасов же появился в Средней Азии недавно, вернее, как строитель появился недавно, потому что еще в конце тридцатых годов он служил тут в армии и даже воевал с басмачами. Однажды в пылу спора Ермасов, невоздержанный крикун и ругатель, назвал Хорева и его единомышленников «кетменщиками», намекая на то, что весь их многолетний опыт устарел и негоден. Язвительное словцо прилипло намертво. И забыть эту грубость было, конечно, трудно. И все же главные причины вражды Ермасова с проектировщиками, поддержанными Хоревым, были гораздо глубже: они отражали ту борьбу и ломку, которая происходила повсюду, иногда открыто, но большей частью замаскированно, скрытно и даже иной раз бессознательно. Люди спорили о крутизне откосов, о дамбах, о фразах, о мелочах, но на самом деле это были споры о времени и о судьбе.

В поселок Инче Хорев и ашхабадские гости прибыли настроенные подозрительно и недобро. Здесь стоял отряд, состоявший из приверженцев Ермасова, его ревностных почитателей, его янычар.

Прежний начальник отряда Фефлов принадлежал к числу «кетменщиков»: верил в проект, как в икону, не допускал и мысли о какой-то его перестройке и ломке. Его подкузьмила история с охотой на джейранов. Ермасов сшиб Фефлова одним ударом (спасти старика было невозможно, уж очень явно и глупо он проштрафился) и посадил на его место некоего Карабаша: говорили, что он вовсе даже и не ирригатор, а работал главным

механиком вскрышного участка на угольном разрезе где-то на Урале. Словом, это был человек Ермасова.

Улицы поселка были пустынны. Днем здесь никто не работал — ни конторщики, ни рабочие. Жизнь обрывалась в десять утра и возобновлялась в пять-шесть вечера. На улице, возле склада — деревянного, с двухскатной крышей домика, глубоко врытого в песок,— Хорев увидел Семена Нагаева. Он только что выпрыгнул из кузова самосвала на землю и, нагнувшись, отряхивал запылившиеся брюки.

Экскаваторщик поднял голову, хмуро кивнул инженеру.

— Сергей Аристархович, знакомься! — сказал Хорев Баскакову.— Это наш знатный механизатор Семен Нагаев, собственной персоной. Слыхали?

— А как же. И слыхал и читал.

— Семен, а это, перед тобой,— инженер Баскаков, автор проекта, по которому вы строите.

Нагаев выпрямился, подал ладонь.

— Ясно...

— Товарищ Нияздурдыев, из управления.

— Угу.

— У тебя что, зубы болят?

— Нет.

— Возможно, с женой поссорились, нет?

— Он у нас холостяк,— сказал Хорев.— Кристально чистый, несгибаемый холостяк. Ты где сейчас, на двести сорок втором километре?

— На сорок восьмом.

— Как работаете, товарищ? — спросил Нияздурдыев.— Жару переносите хорошо?

— Да жара — ладно, переносим, а вот другое переносить не могу. Я, товарищ Хорев, сюда ругаться приехал.

— Что так? — Хорев сделал удивленные глаза и взял Нагаева под руку, всем своим видом подчеркивая благожелательность и внимание.

Они пошли рядом. Нагаев рассказывал, как его «женили» с прогрессивкой. Хорев слушал, кидал многозначительно Баскакову: «Видали?», «Знакомый стилек!»

Затем Хорев сказал, что Карабаш все делает правильно, регулярную профилактику вводит правильно, вещь нужная, рваческое отношение к технике до сих пор не изжито, но заставь, говорят, умника богу молиться, он и лоб расшибет. Карабаш, видимо, недостаточно знает

своих людей. Хотя за три месяца пора бы уже познакомиться. Тут вступил в разговор Баскаков и сказал, что Карабаш безусловно отменит свое решение, когда разберется в существе дела. Вышло явное недоразумение.

— Нам таких орлов, как Семен Нагаев, обижать негоже,— сказал Хорев и похлопал Нагаева по плечу. Хорев был грузный, коротконогий, а Нагаев длинный, тощий, и похлопывание вышло неловкое.— Это будет негосударственный подход к нашему самому ценному капиталу. Ты понял?

Нагаев пожал плечами:

— Вообще-то да...

Вместе поднялись по крыльцу конторы, вошли в кабинет: впереди замначальника управления, за ним Баскаков, Хорев и Нагаев последним.

Карабаш, в клетчатой выгоревшей ковбойке, с засученными до локтей рукавами, стоял посреди комнаты, быстро и решительно пожимал руки.

— Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.— Увидев Нагаева, пожал руку и тем же сухим тоном: — А вы с товарищами? Нет? Тогда прошу, пожалуйста, подождать немного.

Нагаев вышел за дверь.

Весь его заряд драчливости, копившийся со вчерашнего дня, внезапно пропал. Он и слова не успел сказать, а уже пришлось уйти. И теперь еще ждать надо, а ждать — хуже нет.

Угрюмо сел он на стул в уголке соседней комнаты, возле окна, нога на ногу, задымил папиросой. Одна из женщин, скрипевшая пером в большой книге, сказала строго: «Здесь не курят, гражданин. И так дышать нечем». Нагаеву пришлось отступить еще дальше, на крыльцо. Там примостился в тени на корточках и курил всласть, утешаясь от смутной обиды.

Через полчаса вернулся в комнату, где сидели две женщины и пожилой мужчина с бородкой, в полотняных брюках и серой сетчатой майке. Мужчина щелкал на счетах, женщины скрипели перьями. Все трое выглядели сердито. Было уже около двенадцати, давно наступило время перерыва, но конторские не собирались уходить: видимо, делали срочную работу по случаю приезда начальства. И оттого были такие сердитые.

Нагаев опять сел на стул возле открытого окна. Все окна в комнате и дверь наружу были настежь, для сквозняка, но не чувствовалось никакого дуновения. Борода-

тый, в сеточке, сидел на мокром стуле и утирался громадным полотенцем. Вздыхал тихо: «Ах, жизнь каторжная!», а Нагаев усмехался про себя и думал: «А ежели тебя в забой на часок — что тогда?»

В комнату зашел старший механик Мухтаров, знакомый Нагаева, потом заглянул прораб Байнуров. Нагаев с ними не заговаривал о своем деле. Он скупо и с важностью отвечал на приветствия, смотрел да слушал. Забегали и разные иные люди: одни по работе, другие насчет жилья и зарплаты или же насчет машины в Керки, чтоб поехать на рынок, а некоторые — так, по-пустому. Большинство сразу толкались в дверь, к начальнику, но строгая дамочка никого не пускала: «Нельзя, нельзя! Там совещание».

Совещание длилось долго — час, а то и два. Обе женщины и мужчина в сеточке замкнули ящики в своих столах, надели белые панамы и ушли отдыхать.

Наконец дверь кабинета распахнулась, и оттуда, продолжая разговор, вышли четверо. И у всех четверых были влажные, возбужденные лица, а у начальника под глазами легли белые полукружья. Говорил он необычно громко, напирая на каждое слово:

— Это вопрос решенный, товарищи! Есть указание Степана Ивановича Ермасова...— Карабаш обежал сидящих в комнате отсутствующим взглядом. Наткнулся глазами на Нагаева.— У вас ко мне дело, товарищ Нагаев?

— Да у меня что ж...— Нагаев поднялся, шагнул к начальнику.— Недоразумение вышло, Алексей Михайлович.

— Именно?

Нагаев рассказал. Все внимательно слушали, только Нияздурдыев и Баскаков отошли в сторону и рассматривали висевшую на стене карту.

— Нет, дорогой Нагаев, недоразумения тут нет,— сказал Карабаш.— Удержали с вас правильно. Согласно приказу.

— Правильно?

— Правильно.

— Алексей Михайлович, мне думается, вы тут несколько...— начал Хорев.— Вы рассудите логично. Семен Нагаев известный наш товарищ, знатный передовик. Он относится к машине образцово. Об этом не раз писали, это факт. А вы рубите сплеча, чешете всех под одну гребенку. Зачем? Ради чего вы это делаете? — Го-

лос главного инженера задрожал и взвинтился. Глаза его сквозь стекла очков вонзились в Карабаша почти с ненавистью.— Ради голой строительной идеи? Я давно замечаю этот ваш заскок!

— Давно вы меня не знаете.

— Не в первый раз, не в первый раз! Да, да!

— Вы считаете, что окольцовка озер — голая строительная идея? И это говорите вы, инженер, человек практики? Ведь тут экономия сотен тысяч рублей.

— Тут грубейшее нарушение проекта, вот что! — быстро, задыхаясь, проговорил Хорев.— А вы думаете, что окольцовочные дамбы будут стоить дешевле?

— Конечно.

— Сомневаюсь! Никогда!

— Геннадий Максимович, простите меня, но вы мне напоминаете правоверного мусульманина, который боится изменить два слова в сурах Корана, хотя там, как известно, много плохих стихов и совершенных нелепостей с точки зрения здравого смысла.

— Не знаю, я Корана не читал. Вы можете говорить какие угодно дерзости...

— Идемте к карте, Геннадий Максимович. Вот озера! Здесь висячее дно. Здесь надо возводить гигантские дамбы — больше трех километров длиной...

Они подошли к карте, возле которой стояли Баскаков и Нияздурдыев, и ожесточенный спор, длившийся уже два часа, покатился дальше. Про Нагаева забыли. Он сумрачно слушал громкий разговор начальства. Раза два мимоходом Хорев и Карабаш касались истории с профилактикой, причем Хорев защищал Нагаева, а Карабаш нападал на него, но Нагаев видел, что это говорится только для спора и в пылу спора, а на самом деле в его положение не вникали.

«Упрямый, дьявол,— думал Нагаев, глядя, как Карабаш отбивается от троих.— Никак не уломают. Видать, накрылась моя прогрессивка. Уходить надо, толку не будет».

Однако — сам упрямый не менее — Нагаев не уходил, ждал, пока начальство наговорится. И как вспоминал, что две тысячи из кармана фьють, так прямо в голову что-то вступало от злости.

Наконец большие начальники ушли, и Нагаев подступил к своему начальнику, оставшемуся в одиночестве. Карабаш поднял на него измученные глаза и покачал головой.

— Нет,— сказал он бессильно и откашлялся.— Напрасно ждали. Кого другого я бы, возможно, и простил, а вас...— Он снова откашлялся, громче.— Нет. Пусть узнают люди, что самому Семену Нагаеву прогрессивку резанули, и поймут тогда, что дело нешуточное.

— Значит, нет?

— Нет.

— Да что ж, выходит, я...— нервно возвысил голос Нагаев.

— Да, да,— тихо прервал его Карабаш.— Очень полезно наказать вас для примера. Я даже приказ велю вывесить, чтобы все знали. Внедрять регулярную профилактику будем железной рукой. На первых порах будут недовольные, обиженные, но потом сами станете нас благодарить. Вот так. У вас еще что-нибудь ко мне?

— Ничего...— буркнул Нагаев.

Он испытывал гнетущую растерянность. Надо бы поднять тарарам, наскандалить, наорать на начальника вроде того, как он давеча наорал на кассира, но не хватало духу начать. Потоптавшись возле стола и пробормотав нечто невнятно-угрожающее: «Ладно, поглядим тогда»,— Нагаев повернулся и вышел.

Машин в сторону лагеря не было. Приходилось болтаться в поселке до утра, ждать автолавку. Нагаев направился к магазину, где работала Фаина, зазноба Ивана Бринько.

Нагаев не любил поселка. Это была деревня, шумная, большая деревня. Здесь пахло жильем, щами, старым пыльным брезентом, уборными и хлором, которым эти уборные заливались. Юрты, деревянные будки и бараки стояли вразброс на огромном песчаном плато. Многие рабочие жили здесь семьями, с детьми и стариками. Некоторые держали кур, другие — поросят и коз.

Сейчас, в дневные часы, зной опустошил поселок, как чума. Ветер крутил пыль по вымершей улице, трепал белье на веревках, просушивая его горячим песком. Рабочие дремали под крышами. Редко-редко у каких очагов, у железных печурок под открытым небом, возились хозяйки, а иные, разленившиеся от жары, лузгали семечки, как в деревне, сидя под крохотными окнами своих жилищ.

И только несколько малышей с льняными русскими головками бегали по песку, счастливо смеясь. Африканская жара была для них делом привычным, а раскаленный песок был их землей, единственной и любимой.

Они дружили с собаками. Собак тут было много, они набежали со всей округи. Эти отбившиеся от чабанов, когда-то грозные туркменские овчарки стали обыкновенными дворнягами; они лежали в тени возле домов, подавленно-тихие, равнодушные ко всему, и, не зная, чем заняться, целыми днями дремали. Иногда сонная собачья одурь взрывалась внезапными кровавыми драками. Каждая собака сторожила свой дом. Никто не просил их это делать, то была их собственная собачья инициатива. И вот они дремали и сквозь полузакрытые веки зорко следили друг за другом. И стоило какой-нибудь нарушить чужие владения, как начинался смертоубийственный скандал.

Собаки жили сложной, запутанной жизнью.

Возле барака, где помещался магазин, лежал косматый, свирепого вида, псище. Место тут было выгодное (иной раз бросали баранью кожу, остатки рыбы), и, наверно, собаки жестоко дрались за право тут лежать, и вот этот косматый вышел победителем. Пес мрачно, одним глазом, следил за тем, как Нагаев подошел к двери, постучал и потом стоял, ожидая, пока откроют.

Магазин, как и все учреждения в поселке, работал с пяти вечера. Было лишь около четырех. Фаина вышла заспанная, малиново-красная, со вдавленным следом от пуговицы на влажной щеке. Сердито моргая, затараторила:

— Чего стучите безо времени? Закрыто, закрыто!

Она пыталась захлопнуть дверь, но Нагаев успел сунуть ногу в щель и отворил дверь силой.

— Постой! Тебе поклон от Ивана...

Фаина молча пропустила Нагаева в дом и заперла дверь на задвижку. На полу за прилавком лежал матрац, на котором Фаина отдыхала днем, в часы перерыва, и на том же матраце спал Иван, когда приезжал в поселок. Фаина, не говоря ни слова, свернула матрац, приставила его к стене и уселась на табуретку, поправляя распустившиеся волосы.

Фаина была девушка лет двадцати пяти, голубоглазая, лицом миловидная, но уж больно толстая, огрузневшая, с рыхлым, огромным бюстом. Голос у нее был хриплый. Держа зубами заколки, она спрашивала как будто с насмешкой:

— Ну и как он там? Что просил передать?

Иван ничего не просил передать, даже поклона, и Нагаеву пришлось покривить душой и малость при-

врать. Ему, главное, хотелось узнать, нет ли какого интересного товара под прилавком. Ничего такого не оказалось. Между любовниками, видимо, было не все гладко, Фаина держала себя заносчиво и просила сказать Ивану, что ей один человек предлагает выйти замуж. И она, наверное, этому человеку не откажет, потому что он порядочный, самостоятельный и очень верный.

Кто этот человек, Фаина не сказала. Но вскоре Нагаев понял, что это азербайджанец Султан Мамедов, шофер на ГАЗ-69. Султан, или Сережка, как его звали в поселке, пришел в магазин ровно к пяти часам, к открытию. Он недавно вернулся из поездки на Головное и привез Фаине кулек шоколадных конфет и розовое китайское полотенце. Беря подарки, Фаина глядела на Нагаева победительно. Начали приходить покупатели. Черный, усатый, как турок, с непомерно мохнатыми, насупленными бровями, Сережка сидел на табуретке в углу магазина и ревниво следил за всеми действиями и разговорами Фаины.

Нагаев купил дешевую шляпу из искусственной соломки и пошел к выходу. В дверях его догнала Фаина, зашептала быстро:

— Погоди, Семеныч, что скажу! Передай Ване, чтоб в воскресенье приехал. А то и правда замуж пойду. Скажи, обязательно надо свидеться, слышишь?

— Слышу.

— А про жениха молчи, ладно?

— Молчу...

При этих словах над головой Фаины показалась мрачная физиономия Султана Мамедова.

Нагаеву стало скучно. Он кивнул и вышел. Солнце перевалило на запад, тень ушла на другую сторону дома, и туда же переползла собака.

«Люди сохнут, страдают,— размышлял Нагаев, а мне что за печаль? Да провались они! Обо мне ни у кого голова не болит. Мне вот дали по морде, а я утерся — и до свиданья. Пошел и шляпу купил...»

Чем больше он размышлял, тем крепче обижался. Он вспоминал, как жестко, бесчувственно разговаривал с ним Карабаш и как дамочка в первой комнате сказала: «Здесь не курят, гражданин», хотя она, наверное, знала, что он никакой не гражданин, а экскаваторщик Семен Нагаев, и Фаина, казалось ему, была с ним недостаточно вежлива, и Сережка Мамедов — подумаешь, начальника возит, большая шишка! — посмотрел на него

непочтительно и даже не поздоровался. Из этих обидных, может быть, и мелких, но почему-то застрявших в памяти заметочек еще пока неясно, бессознательно рождалась мыслишка: а не плюнуть ли на всю эту канитель? Поработать до ноября — и сорваться...

Повеселев от внезапной мысли, Нагаев пошел в душ. Вода в нагревшейся деревянной бочке была теплая, вязкая от пыли, и все же мыться было удивительно здорово: на несколько минут тело, освобожденное от пота, делалось чистым и легким. На несколько минут. А потом чуть вышел на солнцепек, окунулся в зной — и сразу опять весь мокрый, залит пóтом, как будто и не мылся.

У барака столовой, на теневой его стороне, толпился народ. Нагаева узнавали, здоровались уважительно-весело:

— Привет Семенычу!

— Ну, как там, на хуторе?

— Погорел, говорят, с профилактикой?

Нагаев небрежно отмахивался: пустое, мол! Нащупал в кармане полсотенную, специально отложенную на обед, зашел внутрь. За столами тесно сидели люди. Воздух был тяжелый и паркий, как в бане. Из длинной, горизонтально прорубленной амбразуры, откуда повариха подавала тарелки, несло кухонной жарой. Почти на каждом столе сверкало серебро шампанских бутылок, и от этого столовая имела праздничный вид. Но день был будничный, а праздник состоял лишь в том, что в магазин третьего дня завезли шампанское, и это совпало с получкой. Шампанское было единственным дозволенным на трассе вином. Его пили как газировку.

Нагаева кто-то окликнул:

— Семеныч! Иди сюда!

Нагаев увидел рыжего, краснолицего Мартына Егерса, который издали над головами сидящих помахивал здоровенной ладонью. Нагаев подсел к Мартыну. Они были не то что приятели, но хорошие знакомые, уважавшие один другого, как два «кита». Мартын Егерс славился не только своим умением работать, но и беспощадной взыскательностью к сменщикам — отчего мало кто с ним уживался. Он требовал от них такой же лютой работоспособности, какой обладал сам. Однажды какой-то его сменщик пришел в забой под хмельком, чуть-чуть, самую малость, но Мартын не пустил его к рычагам. Парень в амбицию, расшумелся, полез в каби-

ну, и Мартын, недолго думая, махнул его по уху. А лапа у него медвежья. Дело это разбиралось в товарищеском суде, и Мартын никак не мог понять, за что ему порицание: ведь не за себя дрался — за государственное имущество.

Рядом с громадным латышом сосредоточенно хлебал борщ, наклонив остроконечную голову в детской тюбетейке, еще один знакомый Нагаева — Бяшим Мурадов.

— Эге, Бяшим! — удивился Нагаев.— Ты что здесь?

— Бяшим мой ученик,— сказал Мартын.— Он хороший мальчик-туркмен. Очень хороший, трудолюбивый мальчик-туркмен.

Бяшим быстро взглянул на своего бывшего шефа и молча продолжал хлебать борщ. Мартын расхваливал Бяшима: какой он старательный, скромный и почтительный к старшим.

— Я бы хотел иметь такого сынка,— сказал Мартын. Подумав, он добавил: — Можно сказать, он и так мой сынок.

— А разряд ты своему сынку сделал? — спросил Нагаев.

— Нет. Я халтуру не делаю, тебе известно,— сказал Мартын с важностью.— Сейчас Бяшим много умеет, но мало знает. Он изучает теорию с одним техником, а я даю практику на бульдозере. И скоро он получит разряд.

— Да ты разве на бульдозере?

— На бульдозере. Я халтуру не делаю,— строго повторил Мартын, таращa на Нагаева ясные голубые глаза.— Я не такой мастер, как другие. Меня не надо угощать вином, как другого мастера. Если ученик хорошо работает, я сам его буду угощать.

И он торжественно взял бутылку шампанского, налил полный стакан и пододвинул Бяшиму. Потом налил себе и Нагаеву.

— Постой,— сказал Нагаев.— Когда ты сел на бульдозер?

— Три недели прошло.

Нагаев насторожился. Если такой «кит», как Мартын Егерс, кинул экскаватор и сел на трактор с ножом, значит, тут есть расчет. Бульдозеров на стройке было немного, их занимали на вспомогательных работах: делать небольшие выемки, разравнивать дамбы. Зарабатывали бульдозеристы пустяково. Правда, недавно разнеслись странные слухи насчет какого-то нового «бульдозерного

метода», предложенного Карабашем, но Нагаев не придал этим слухам значения. Ерунда!

— Ну и как? — спросил Нагаев.— Не горишь?

— Как — не горишь?

— Получка ничего? Не обижаешься?

— Я, Семеныч, такой человек: никогда не обижаюсь. Понял? Я всю дорогу такой человек.

— Понял, понял! Хитер ты, мужик...

— Я мастер, Семеныч. Меня никто не обидит, потому что я мастер. Ты тоже мастер, Семеныч.— Он ткнул двумя пальцами в грудь Нагаева так, что тот покачнулся на стуле.— Всем известно, что ты очень хороший мастер. Но некоторые говорят, что ты жадный.

— Кто говорит?

— Дураки говорят. Это хорошо, когда человек жадный. Я тоже, между прочим, жадный — будь здоров! Ах, Семеныч, мы живем маленькую, короткую жизнь: мне уже тридцать восемь лет, а кажется, недавно я был мальчиком, недавно была война, я воевал, был танкистом. Знаешь, плохо, когда есть одна жадность — до денег. О, это плохо! Надо быть жадным до всего: до денег, до работы, до людей, до новых стран, до всех-всех! Ты понял, Семеныч?

— Я-то понял...— кивнул Нагаев, продолжая думать насчет бульдозера.

— Семеныч, когда я учился в школе, я мечтал увидеть жаркие страны, пустыни, караваны верблюдов, как на марках Алжира. Когда я был мальчиком, я собирал марки.

— Чего собирал?

— Марки. Коллекцион. У меня был хороший, дорогой коллекцион, потерялся во время войны. Семеныч, я хочу видеть мир. Сегодня я в Туркмении, завтра поеду на Кавказ, потом в Сибирь — вот моя жадность, Семеныч...

Три бутылки шампанского играли в этой рыжей квадратной башке. По лицу Мартына струился пот. Мартын двигал голыми багрово-загорелыми руками, гудел на всю столовую, но слова выговаривал уже не очень внятно. Он работал сегодня в ночную и мог еще выспаться до часу ночи.

Нагаеву хотелось получше расспросить Мартына насчет бульдозера, но латыш неожиданно встал и ушел. Нагаеву принесли две порции гуляша из баранины. Он проголодался и жадно ел, запивая шампанским.

Бяшим доедал второе. Не глядя на Нагаева, с деловым и независимым видом он вытирал хлебом тарелку. Потом из белого чайника налил себе пиалу зеленого чая и стал пить без сахара, как пьют туркмены, чтобы отбить жажду.

Он пил, кряхтел, сладко причмокивая и даже не поворачивая головы в сторону Нагаева, как будто Нагаева и рядом не было. «Ишь, злопамятный»,— подумал Нагаев, но без всякой обиды. Его сейчас занимало другое.

— Сегодня в ночную? — спросил Нагаев.

Бяшим кивнул.

— А вы что — прямо траншею рубаете? Или как же?

— Траншею.

— И сколько примерно кубов за смену?

— Сейчас еще мало.— Бяшим отставил пиалу, вытер губы ладонью и впервые посмотрел Нагаеву в глаза.— А будем тысячу кубов за смену давать. И еще больше.

Он встал и окинул Нагаева таким горделивым, исполненным ледяного высокомерия взглядом, какой бывает только у людей Востока. И медленно зашагал к двери, высоко подняв остроконечную головку с детской, крохотной тюбетеечкой на макушке.

Столовая быстро пустела. Рабочие вечерней смены поспешно уходили, а Нагаеву хотелось еще у кого-нибудь разузнать про бульдозерную новость. Очень он растревожился. Тыщу кубов надеются давать, гляди-ка!

Два знакомых парня, слесари из ремонтных мастерских, никуда, кажется, не спешили. Нагаев подсел к ним. Ребята были вроде трезвые, но несли такую чушь, что просто не верилось. Карабаш будто бы намерен все скреперы сдать в архив, заменить их бульдозерами, и экскаваторы то же самое — побоку! Гохберг с прорабом едет в Керки получать какие ни есть завалящие бульдозеры, здесь с них ножи снимут, на скреперные тракторы нацепят и — в забой. Теперь кругом бульдозеры. Всю дорогу на них, до самых Маров.

«Брехня. На пушку берут,— размышлял Нагаев.— Но что-то такое есть...»

Удрученный неизвестностью, Нагаев вышел из столовой. На улице распускался вечер.

С каждой минутой все прекрасней, прохладней становился воздух. Косое солнце красновато желтило пески. Еще гуще, синée стало небо, и уже не ломило глаза, если смотреть на него долго. И легче стало дышать. И теперь дышало все тело, всею кожей: лицом, руками,

спиной и грудью под рубашкой, которые целый день были влажны и закупорены пóтом, а теперь вдруг сами собой открылись и как бы отмылись свежестью.

Наступали лучшие часы суток. За магазином на площадке ребята играли в волейбол. Судья сидел на высоком насесте возле столба и за неимением свистка свистел в два пальца. Волейболисты, кто босиком, кто в рабочих ботинках, азартно метались, прыгали и валились наземь, с криками и хохотом, поднимая облака пыли. Вокруг площадки стояли зрители. Нагаев тоже постоял, посмотрел. Играли плохо. Это была не игра, а дуракавалянье, и ничего веселого. Смотреть — время терять.

Нагаев пошел дальше, миновал магазин, контору и задержался возле барака, где был клуб. Рядом с дверьми стоял небольшой бильярд с сукном шинельного цвета, кое-где продранным. Трое туркменских парней играли одним кием. Нагаев зашел в клубную библиотеку, но библиотекарша, жена инженера Гохберга, уже запирала шкаф. Сейчас должны были начаться танцы. Кто-то из ребят налаживал радиолу, другие сдвигали стулья к стене. Среди этих танцовщиков Нагаев заметил и лохматого Байнурова. Он тут всеми распоряжался. С Нагаевым он уже виделся в конторе и не нашел нужным здороваться еще раз.

Зато остальные ребята — ремонтники, трактористы, слесари из гаража, электрики — и какие-то девчата, незнакомые Нагаеву, посматривали на него с уважением и интересом. Все ж таки Семен Нагаев был человек известный и на танцах появлялся нечасто.

С полчаса он подпирал стену, смотрел, как танцуют, курил, скучал. Потом пришла Фаина с Сережкой и с ними конторская девица Нора, Фаинина подруга. Эта Нора была ничего, толстенькая коротконожка, веселая, черноглазая, только на подбородке у нее был некрасивый след от пендинки. В общем, она была вполне подходящая. Нагаев давно заприметил эту Нору. Ради дела он решился потанцевать и прошелся с Норой два фокстрота, которые он танцевал солидно, через такт. Фаина издали подмигивала: не робей, мол, будет порядок! Он и не робел. Спина у Норы была несколько худоватая, зато грудь пышная, ничуть не меньше Фаининой. А третий танец был вальс, его Нагаев танцевать не умел. Нору подхватил Байнуров, и сразу после танца они исчезли.

Нагаев подождал, потоптался в дверях, потом ему стало вдруг ужасно обидно, и он, не попрощавшись ни с кем, ушел.

В темноте кто-то догонял его прыжками.

— Семеныч, постой-ка! — Сильная рука стиснула локоть.— Ивану скажи, чтоб про Фаину думать забыл. У Фаины, скажи, есть такой человек, который шутки шутить не умеет.

Глаза Сережки из-под черных бровей блестели ясно и зло.

Нагаев вырвал руку.

— Скажу. Мне что!

— А то, скажи, тот человек рассердится! Не надо лучше...

В юрте, где Нагаев уговорился ночевать, все пять коек стояли пустые. Кто был на танцах, кто в забое, в вечерней смене. В окошко смотрело звездное небо. «Потерянный день»,— подумал Нагаев, и сердце его заныло. А ребята сейчас рубают: рев, громыханье, прожектора так и ходят над забоем, и только его, нагаевский, «Воронежец» стоит смирный, темный, уронив ковш на землю. Все обиды всколыхнулись в памяти, вплоть до последней. И почему-то вспомнилось: однажды зашел в будку и увидел, как Марина расчесывает свои светлые, кудрявые волосы, сидя на койке. Он увидел ее загорелые плечи и руки и совсем белую, как туман белую, грудь. Марина вскрикнула, он рассеянно затворил дверь и ушел.

А сейчас вдруг вспомнил. Впервые вспомнил о Марине так внимательно и с каким-то неожиданным, секретным удовольствием.

Странная ночь — в ней не было ничего ночного, кроме неба. Ночь, гораздо более полная жизни, чем день. Ночь, набитая звуками и напряжением, как огромный оркестр, настраивающий инструменты. Все было слитно: говор людей, тарахтение движка, гудки, беготня собак, их непонятная ярость в темноте, тихие голоса женщин, сидящих на воздухе перед своими домами и отдыхающих в ночной прохладе, и хоровое, органное гудение тракторов.

Свет фар качался над забоем. Огни цепью уходили сквозь тьму пустыни на запад и на восток, и на западе с ними смыкались зарева больших рабочих поселков, а на востоке — огни землесосов и их отражения в черной

воде канала. Но и там, где не было огней, в глубочайшей черноте, на просторах мрака, кипела жадная жизнь, к которой призывала ночь — время прохлады. И время работы всласть. И время путешествий.

И время всех наслаждений, какие дает жизнь и какие отнимает жара.

На рассвете ашхабадские гости и Хорев уезжали на запад. До их отъезда Султан Мамедов был обязан свозить на трассу начальника, как делалось каждую ночь, но Карабаш сказал, что сегодня он не поедет. Он сказал, что у него много работы, и просил инженера Гохберга поехать одного.

Гохберг согласился. Он был человек добрый, пылкий и не очень проницательный.

— Конечно, Алеша,— сказал он,— у вас работы до дьявола. Вам надо квартальный заканчивать.

В полночь он уехал с Султаном на трассу. Карабаш пошел домой. Он пришел в свою квадратную комнату, где стоял стол с алюминиевыми ножками, взятый из столовой, где на гвоздях висели не очень свежие рубашки, китайский плащ-пыльник, белая шляпа из картона, где на полу лежал чемодан с книгами, где стояла койка-раскладушка, застеленная черной кошмой, и над койкой, пришпиленная кнопками к стене, висела репродукция с картины Шишкина «Зима», вырезанная из «Огонька».

Карабаш лег на койку и долго лежал, не зажигая света. В час ночи кто-то просунул голову в окно и тихо позвал: «Алеша!»

Он ответил «да», сел на койке и стал искать в темноте папиросы. Вошла женщина. Она была высокого роста. Ее волосы пахли горячим ветром, пустыней, солнцем. Руки ее тоже были горячие и губы горячие и жесткие, с привкусом соли. От соли невозможно было отделаться: вода в колодцах была соленая, эту воду пили, ею мылись. Соленый пот орошал тело весь день. Койка была неудобная и скрипела. Они бросили кошму на пол. От кошмы шел острый, животный запах, и потом, когда тело разгорячалось и делалось мокрым, лежать на кошме было неприятно, шерсть липла к коже, и хотелось встать.

Ночью все было по-другому. Удивительно вкусной была вода: Карабаш зачерпывал ее ковшом из ведра и пил долго, громкими глотками, а потом выходил за дверь и обливался из ковша с головой. Вода остыла к ночи и была чуть теплая. Еще лучше она становилась к рассве-

ту, часам к трем, но и эта вода была замечательна. Женщина тоже пила воду. Потом просила намочить полотенце и вытирала им тело.

И папиросы ночью казались гораздо вкуснее, чем днем.

Женщина лежала на койке, Карабаш сидел рядом на корточках, прислонившись к ребру койки спиной. Сегодня была ночь прощания. Утром женщина улетала в Керки, а оттуда в Ашхабад. Они расставались на две недели. Но женщине эта разлука казалась бедствием, и она плакала. Она ехала к мужу, которого не любила.

Когда-то Карабаш учился в школе вместе с этой женщиной, которая была тогда высокой девочкой, старше его на три класса, и Карабаш запомнил ее лишь потому, что она была сестрой его друга, Вальки Семенова. Это было в Воронеже. Незадолго перед войной Семеновы уехали куда-то в Среднюю Азию и исчезли с горизонта. Однажды в Москве, на улице, Карабаш встретил Валькину сестру, она была уже замужем. Она стала красивой женщиной, хотя лицо ее было немного мужского склада, с длинными белыми бровями, как у Вальки, погибшего на войне.

И потом — здесь, в песках. Она была биологом. Ее экспедиция расположилась в том же поселке, куда Карабаш приехал ранней весной принимать дела начальника отряда. В те дни, когда он был зол, беспомощен и одинок, вдруг возникла и пришла на помощь эта женщина, Валькина сестра, которую он помнил худой, длинноногой девчонкой.

Весной на барханах озерами разливались тюльпаны, цвели ромашки и пахло лугами, детством.

Они жили рядом, а встречались нечасто. Даже эти нечастые встречи требовали отчаянной изобретательности. Люди в поселке жили в домах со стеклянными стенами, на виду друг у друга.

И вот наступала разлука. Очень недолгая. Но женщина плакала. Она плакала не только потому, что ей было горько расставаться, но и потому, что понимала, как ей горько расставаться, и понимала, что любит и, значит, счастлива. Вот поэтому она плакала. Она трогала его лицо и спрашивала, о чем он думает.

А он думал — стыдно признаться! — о том, что нужны бульдозеры, хотя бы двадцать машин, потому что окольцовочные дамбы надо возводить бульдозерами. Так будет гораздо дешевле.

Он сказал, что думает о ней. О том, как ей трудно жить две недели там, с мужем. Ах, нет, не трудно! Ей нет никакого дела до мужа, а ему до нее. Он давно ничего не требует, кроме чистого белья и кофе утром. Жизнь его ничуть не изменится от ее приезда: так же будет пропадать до ночи на службе, те же товарищи, преферанс. Но две недели разлуки!

Он сказал, что две недели пролетят быстро.

И подумал: женщина говорит неправду. Она едет к мужу, и тут ничего не поделаешь. Просто она не хочет его огорчать. Она больше не плакала и лежала тихо, подложив левую руку под голову. Тело ее на белой простыне казалось чересчур темным и большим.

Кто-то прошел мимо окна, шурша по песку. Надо было прощаться.

Карабаш взял со стола часы, осветил папиросой: без десяти два. Через четверть часа мог вернуться Гохберг. Но в час прощания забывают об осторожности.

Гохберг вернулся, стучал в дверь, кричал в окно — Карабаш не отзывался.

На рассвете, когда серело, но в небе еще блестели звезды и дул холодный ветер, газик с брезентовым верхом подъехал к дому Карабаша и дал гудок. Путешественники зябко ежились, кутаясь в плащи, и зевали. Они не выспались. А шофер спал всего два часа.

Карабаш вышел, застегивая на груди рубаху и протирая глаза. Разговор был наспех и не очень серьезный. Противники остались каждый при своем: Баскаков резко против окольцовочных дамб, Хорев с ним заодно, заместитель начальника управления — неясный нейтралитет.

— Мы, конечно, консерваторы, люди темные...

— Но кое-что понимаем, ей-богу. И не думайте, что все, что сделано до вас, надо переделывать.

— Почти все,— сказал Карабаш.

Заместитель начальника управления засмеялся:

— Узнаю коней ретивых...

— Сколько вам лет, товарищ Карабаш? — спросил Хорев.

— Двадцать семь.

Баскаков свистнул, а Хорев сказал весело:

— Оно и видно!

— Счастливой дороги, Султан! — крикнул Карабаш, когда газик тронулся.— После отряда Чиликина забирай влево. А то к чабанам угодишь.

Газик покатился на запад, где небо над горизонтом было еще темным по-ночному. Нияздурдыев, сидевший рядом с шофером, спросил, не женат ли товарищ Карабаш. Султан сказал, что не женат.

— Я большой любитель охоты, особенно в песках,— сказал Нияздурдыев.— У меня глаз охотничий. Когда товарищ Карабаш открыл дверь, я заметил, что у него в комнате была, по-моему, женщина.

— Возможно,— сказал Хорев.— Я в курсе этого дела, Сапар Бердыевич. Тут есть одна экспедиция, в нашем поселке стоит...

Он замолчал, потому что Баскаков толкнул его локтем, показав глазами на шофера. Нияздурдыев что-то спросил у шофера по-туркменски, тот ответил односложно, тем особым коротким горловым звуком, который у туркмен может обозначать и «да» и «нет», и «хорошо» и «плохо», и «мне не хочется с вами разговаривать», и еще многое другое. Нияздурдыев снова спросил что-то, и шофер ответил точно так же. После этого наступило молчание. Инженер Баскаков стал дремать, а Хорев после долгой паузы вдруг сказал:

— Вот-вот: громкие фразы, мы новаторы, дайте нам самостоятельность, а на самом деле — просто дайте пожить...

— Да не в том суть, Геннадий Максимович! — очнувшись, сказал Баскаков раздраженно.— Неужели вам не понятно, что не в том суть?

7

Не будь Саши, я бы уехал отсюда. Меня бы давно тут не было. Внезапно грянули три дня такой жары, которая подкосила даже аборигенов: одни говорили, что такой жары не было двенадцать лет, другие — семьдесят два года. Я не мог ни есть, ни спать, ни держать карандаш в руках, ни читать книгу. Часами я бессмысленно, не двигаясь, лежал на простыне в своем гостиничном номере и думал о том, как хорошо сейчас где-нибудь в Подмосковье, у речки или даже в прохладной комнате с сырыми, недавно вымытыми полами. Каждые полчаса у меня хватало сил на то, чтобы сползти с кровати, протащиться в ванную и облиться там теплой водой.

Если б еще хоть двигались мои дела! Диомидов попрежнему не давал ответа. Ребята из газеты успокаивали меня, говоря, что он резинщик, что тут нет никаких

подводных течений и надо набраться терпения или же отважиться на решительный поступок. На такой поступок меня подбил Саша: мы пошли вдвоем в ЦК, в отдел печати, где я рассказал свою историю (переписка с редактором, его приглашение и нерешительность Диомидова), и мне обещали разобраться в этом деле и помочь.

...Итак, я литсотрудник областной газеты. Уже полтора месяца. Волнение улеглось, митинги кончились, пошли будни, работа. У меня оклад восемьсот рублей (не худо для начала) и еще гонорары. И главное — можно ездить. Да, да! Сколько угодно, и даже в соседние области! За полтора месяца я побывал в трех командировках. Одна была двухдневная: в колхоз неподалеку от Ашхабада, где открылся колхозный университет культуры. Оттуда я привез двести строк для газеты и очерк для Атанияза на радио. Но пустыни я там не видел.

Второй раз поехал на запад, до Кизыл-Арвата поездом и оттуда машиной на север, в район колодцев Тоутлы и Чотур, в глубь песков. Вот тут была настоящая пустыня. Ехали на машине по такыру — ровному, как асфальт, огромному твердому полю высохшего солончака, местами в трещинах, местами белого от проступающей соли,— и вдруг на горизонте возникли тоненькие желтые гребешки. Они плавали в знойном отдалении, то исчезая, то появляясь. Это были барханы, расположенные очень далеко, но по странному оптическому обману они, казалось, выпрыгивали из-за горизонта и висели в воздухе. Первый мираж пустыни, который я видел. А через день я оказался в самой гуще гигантских сорокаметровых и совершенно голых барханов и брел по их склонам — песок был так горяч, что жег ступни сквозь подошвы моих баскетбольных кед,— вместе с маленьким отрядом мелиораторов.

Геоботаник Айна — все звали ее Аней, смуглая, белозубая туркменка в войлочной шляпе, в длинных шароварах,— учила меня искусству ходить по барханам. Мы вспоминали Москву, Аня тоже училась в Московском университете, но на шесть лет позже меня, на биофаке. Это было уже другое время, совершенно другое...

У мелиораторов испортилась рация, две недели они не читали газет и не знали, что происходит. Они непрерывно говорили о своих делах, о каких-то визирах, контурах, квартальных столбах, о степени заращенности и степени засоленности. («Черт возьми, Иван Иванович,

вы эти возвышенности оконтуриваете? При картировании?») Мрачный рыжебородый геодезист показывал Ане ветки саксаула и повторял, видимо, ежедневную остроту: «Аня, скажите, это черный сексаул? Или это белый сексаул?» У всех на языке вертелось шутливое словечко «иншалла!». «Илья, вы поедете завтра в Кизыл-Арват?» — «Иншалла! Если позволит аллах...» В общем, они жили своей жизнью, своей работой. И они мне нравились. Они словно не замечали тяжелейшего быта, жары, отдаленности, консервной пищи и скверной воды, хотя и пели такую частушку: «Хорошо тому живется, кто бефстроганов жует и из нашего колодца воду тухлую не пьет!»

Возле костра я услышал много занятных историй: например, про одного парня, который заболел какой-то непонятной болезнью; это случилось в поле, и ребята решили, что у него чума, но потом оказалось, что не чума, а особая местная лихорадка. Интересно, как поразному вели себя люди, но, в общем, никто не струсил, кроме одного прохвоста. Его потом выжили из экспедиции. С моей проводницей Аней тоже случилась однажды веселая история. Она отстала от отряда и проблуждала всю ночь. За нею послали четырех ребят, они целую ночь шли по ее следам, километров сорок, а она шла по их следам. Так бы они и не нашли друг друга, если бы не старый Ата-Мурад, верблюдчик. Он сообразил, в чем дело, и остановил сначала ребят, потом Аню и утром привел всех в лагерь. Ночью по всей округе пастухи жгли костры, исполняя закон пустыни: увидел костер — зажигай сам, значит, пропал человек.

Но это происшествие, кажется, мало чему научило Аню. Когда стемнело, мы гуляли с нею в песках, и она уходила все дальше и дальше от лагеря, так что мне было не по себе, но я, конечно, не показывал виду. Она рассказывала, как пахнут растения в пустыне: тюльпан Андросова, например, пахнет сладковато, как и полагается лилейным, у касатика тонкий запах анисового яблока, а у цветущего астрагала — еле слышный, чрезвычайно приятный запах, немного похожий на запах сирени. «А домой-то мы вернемся?» — хотелось мне спросить. Вообще, продолжала она, растения в песках пахнут слабо. Большинство не слышит этих запахов.

Я сказал, что принадлежу к большинству. Я не слышал ничего, кроме запаха полыни. Но я и не мог ничего услышать, объяснила Аня, потому что эфемеры сгорели

две недели назад. И еще я слышал необыкновенную тишину пустыни, такую густую, что в ней исчезали все звуки, все запахи, все мысли и воспоминания, она поглощала все это легко и бесследно и оставалась тишиной. И даже, возможно, это была не тишина, а такое странное ощущение, вроде того, что было у меня однажды, когда я надышался эфиром,— ощущение бесконечности и пустоты вокруг. Мне нравилась девушка, ее белые зубы, ее твердые, неробкие пальцы: мы поддерживали друг друга, карабкаясь в сумерках по барханам и стараясь идти по их гребням шаг в шаг, как ходят верблюды. И мне казалось, что у меня много времени впереди и я все успею. Но пустыня ошеломила меня. И я ничего не успел.

Утром я уехал к чабанам, на север, а возвращался не через Тоутлы, а по Западной дороге, через Ясхан и Казанджик. И Аню я больше не видел.

Потом я побывал на серном заводе. Это в сердце Каракумской пустыни, туда надо лететь самолетом. Я прожил там шесть дней. И там выяснилось, что все мои прежние представления были неправильными и то, что, мне казалось, я понял, я понял неправильно. Жизнь в пустыне была гораздо проще и вместе с тем удивительней, чем я думал. Человек может жить везде. Была бы работа. Странное дело: я умирал от жары, когда жил в гостинице, не мог шевельнуть пальцем, чувствовал себя мочалкой, которую мяли, терли, изо всех сил выжали и повесили на гвоздь... Но через несколько дней я бегал на солнцепеке по городу, потом уехал в пески, трясся в автомобилях на душных дорогах, по многу часов проводил на жаре, лазая по барханам, и — ничего, не умер.

Конечно, тут сыграла роль привычка. Я втянулся в жару.

И все же, когда три дня назад я вернулся с серного завода,— в дымке зноя, прожаренный, как шашлык, город показался мне землей обетованной. Здесь были деревья. Продавали газированную воду. В ресторане можно было взять холодную окрошку и пиво.

Из гостиницы я шел в редакцию пешком, через весь город, и это медленное путешествие — мимо парка, откуда неслись крики детей и плыл густой, горьковатый запах вянущей листвы, мимо газетных киосков, возле каждого из которых я останавливался и с наслаждением копался в свежих газетах, покупал какую-нибудь приключенческую книжицу в издании Географгиза, кото-

рая в других городах нарасхват, а здесь спокойно лежит на лотке в тени карагача, и дальше, мимо городской филармонии, где расклеены афиши о гастролях сухумского джаза, мимо телеграфа, у стены которого стоят велосипеды, оставленные хозяевами, и на каменных ступенях сидят на корточках коричневолицые старики в серых рубахах, в чудовищно теплых бараньих шапках, с библейским терпением ожидающие, когда им дадут междугородный разговор с колхозом, и еще дальше налево, огибая базар, через шумящую, потную, толкающуюся сумками толпу, мимо открытых дверей магазинов, где жужжат вентиляторы, мимо павильонов, киосков, тележек, лотков, ларьков, где продаются носовые платки, бюстгальтеры, мыльницы, книги, сигареты, жареные семечки, горячие манты, продолговатые пирожные, украшенные кремом ядовитого розового цвета,— это путешествие сквозь знойный воздух, по теневым сторонам улиц доставляло мне удовольствие.

Вчера я сдал очерк о серном заводе, девять страниц под названием «В океане песка». Там все время обыгрывалась метафора насчет того, что люди в песках живут как на острове. Захлебываясь от впечатлений, я рванул это сочинение за один день и был убежден, что получилось здорово. Саша прочитал, одобрил, правда без восторга (я приписал это некоторой доле зависти), и сказал, что очерк «проскочит, как пуля». Вчера я перепечатал очерк в машбюро (на казенной машинке вышло целых одиннадцать страниц!) и сдал Диомидову. А сегодня шел получать поздравления.

Первым, кого я встретил в коридоре, был Жорка Туманян. Он пробежал мимо меня, бегло кивнув. Затем я увидел толстую секретаршу редактора Тамару. Она двигалась мне навстречу, жуя яблоко и уткнувшись очками в свежую полосу. Вид у нее был очень важный, и она меня не заметила. Они все тут немного важничали, особенно передо мной, потому что я им казался человеком столичным, и они старались подчеркнуть, что они, мол, хотя и провинциалы, но тоже не лыком шиты.

Когда я распахнул дверь секретариата, на меня наткнулся выходивший оттуда Боря Литовко, ответственный секретарь редакции. Мы с ним подружились, говорим друг другу «ты». Впрочем, почти все говорят ему «ты» и называют Борей, хотя ему под пятьдесят. В каждой редакции есть волы, которые тянут всю телегу. Вот он такой. Безотказный работяга. Приходит раньше всех

и уходит последним. Любит дежурить в праздники, берет отпуск в самый незавидный сезон и всем одалживает деньги.

— Привет, старик! — сказал он, пробегая мимо и на ходу цепляя мою кисть быстрыми пальцами.— Зайди к шефу. В субботу ты не стоишь. Поставили строительный подвал, по каналу.

— Как! — Я ошеломлен.— Ведь еще вчера вечером...

— Зайди к Дио. Это он снял, мы ни при чем.

Через несколько минут я сидел в кожаном кресле рядом со столом редактора. Диомидов имел привычку разговаривать, не поднимая глаз на собеседника. Было такое ощущение, будто он сосредоточен на каком-то глубоком внутреннем размышлении, а разговор ведется сам по себе, механически. Манера неприятнейшая! Именно в такой манере — я видел только низко опущенную голову, черные, гладко зализанные, смоченные водой, блестящие волосы и верхний край толстой роговой оправы — редактор сообщил мне, что очерк о серном заводе в субботу не пойдет, так как есть указание срочно печатать статью инженера Хорева о неполадках на стройке канала.

Я молчал. Он, не поднимая головы, листал бумаги. Это был наш третий или четвертый разговор за все время. Самое странное заключалось не в том, что очерк вытеснила другая статья (в газетной жизни это дело нередкое, а в том, что редактор не находил нужным сказать мне ни одного слова об очерке. «Может, здесь так принято? Из педагогических соображений? — размышлял я.— Может, здесь считается дурным тоном хвалить сотрудников? Однако интересно все же узнать его мнение. Сидеть вот так и молчать неделикатно, но и спрашивать как-то неловко. Получится, что набиваешься на комплимент».

Мои ноги стали действовать автономно, я встал и пошел к двери. И, уже подходя к двери, я спросил:

— Игорь Николаевич, а как вообще мой очерк?

Редактор поправил очки, но голова его опустилась еще ниже.

— Очерк не удался. Придется сократить в три раза.

— В три раза! Настолько он плох?

— Вы не поняли задачи. У вас была конкретная тема: недостатки в снабжении серных заводов. А вы описываете барханы, закаты, знойное марево.

— Да, но...

— Все это описано тысячу раз. Особенно здесь, в Туркмении. Вам кажется, что вы здорово нашли: «муаровые пески»? — Он вдруг поднял голову и булькнул коротким смешком. Я увидел его жесткие, темно-серые, как грифель, зрачки.— А ведь это нашли давно, лет тридцать до вас.

— Возможно, я не претендую...— пробормотал я, совершенно подавленный.

— Словом, ваша живопись здесь некстати. А полезная часть очерка потонула в ненужном описательстве. Сократить до семидесяти строк.

И он вновь, как дуло миномета, наставил на меня свое черное блестящее темя. Я кивнул и вышел.

В конце дня в комнату, где я сижу, заходит Саша и жестом вызывает меня в коридор.

— Наплюй, ерунда. Ну сократишь, эка штука! Ведь не шедевр же ты сочинил, верно?

— Безусловно.

— На той неделе дадут, не волнуйся. А гонорар все равно раньше двадцать третьего не получишь.

Мне кажется, он чуть-чуть, самую малость, даже рад тому, что у меня осечка.

— Да я, собственно, не волнуюсь.

— Послушай, приехала моя благоверная, она тебя хочет видеть. Приходи в субботу ко мне. Я не хотел говорить при Витьке, потому что Лера его не ахти. Верней, не его, а его половину, а одного Витьку приглашать неудобно.

Витька — Виктор Алексеевич Критский, литсотрудник отдела литературы и искусств,— сидит со мной в одной комнате. Он один из постоянных партнеров Саши по преферансу, хороший его приятель. Но — «Лера его не ахти».

Саша берет меня под руку и, слегка притянув к себе, говорит вполголоса:

— О моих приключениях в гостинице ты, разумеется...

— Ну, разумеется! Немедленно расскажу!

Он, подмигивая, наподдает мне кулаком под ребра. Ему нравится вспоминать о своих приключениях в гостинице. Он и сейчас заговорил об этом только затем, чтобы мне напомнить о них.

Когда я возвращаюсь в комнату, Виктор Критский сразу спрашивает:

— Замышляете сабантуйчик?
— Да не то чтобы...
— Приехала мадам?
— Ага.

Мне неловко, как будто я виноват в том, что Лера Виктора «не ахти». А Виктор, кстати, неплохой малый, начитанный, собиратель книг. У него порядочная семья: детей трое или четверо, старуха мать, жена, и он — единственный работник. Его называют «литературный комбайн». С одинаковой легкостью и быстротой Виктор пишет передовые, фельетоны, очерки на морально-воспитательные темы и новогодние сказки.

Он понял мою неловкость и Сашкину хитрость, но вовсе не обижен.

— Ну да,— говорит он,— у мадам день рождения. Где-то в августе. Интересного будет мало, я вам гарантирую.

В субботу поздним вечером я подхожу к дому Саши. На тротуаре под окнами сидят на стульях какие-то люди — я не вижу в темноте лиц, но слышу женские голоса,— и тут же, на асфальте, бегают и возятся малыши. Все наслаждаются парной теплотой вечера: она кажется прохладой после того, что было днем. Саша живет на втором этаже. Окно его комнаты распахнуто, как и все окна в доме, и свет, падающий оттуда, озаряет сердцевину большой акации с пыльной, бесцветной листвой. Из Сашиного окна несется музыка патефона. Что-то латиноамериканское. Вся улица слушает Сашину музыку.

Я иду через двор. Смутно различаю в темноте стоящую посреди двора кровать, на которой кто-то спит.

На лестничной площадке второго этажа стоят двое и курят. Один из них Атанияз, другого я не знаю.

— Знакомьтесь,— говорит Атанияз,— Михаил Иванович Аннаев. Это Петр Корышев, журналист.

— Слышал о вас от Саши,— говорит грузный туркмен в белой украинской рубашке и слегка протягивает мне свою ладонь, держа ее возле живота.

Я пожимаю эту полную достоинства ладонь и вспоминаю, что тоже слышал фамилию Аннаев. Но где? От кого? Вот что: ее называл Денис. Такая фамилия была у того человека, за которого вышла замуж жена Дениса, когда она устала ждать. Но это, может быть, и не тот Аннаев. У туркмен много одинаковых фамилий. Тот Аннаев был, кажется, директором чего-то.

— Вы не директор? — спрашиваю я.

— Да,— говорит Аннаев.— Директор школы механизации.

— Михаил Иванович — муж Лериной сестры, Зинаиды Николаевны,— говорит Атанияз.

Ну вот. Конечно. Судя по спокойному, благополучному лицу директора, в его жизни не случилось никаких непредвиденных событий. Значит, Денис до сих пор в тени. Неделю назад я встретил его в ресторане на вокзале. Гамбургский костюм выглядел так, будто его вытащили из туго набитого мешка, и сам Денис был небрит, бледен, казался истощенным жарой или какой-то болезнью. К тому же он был сильно пьян. Он говорил, что хочет заняться фотографией.

Аннаев протягивает мне серебряный портсигар и с щелчком раскрывает его в ладони.

— Спасибо,— говорю я.— Надо, пожалуй, зайти в дом, поздороваться.

— Тоже правильно! А то в ногах правды нет! — говорит Аннаев, улыбаясь.

В прихожей пахнет жареным бараньим мясом и луком, кипящим в масле. Меня встречает Саша. Он по-домашнему, в рубашке без галстука, в тапочках. Берет меня за руку и вводит в комнату, и я вижу Леру,— она большая, темнолицая, с темными, голыми до плеч руками. Совсем не такая, как была восемь лет назад. В ней что-то броское и грубоватое: на фоне темного, мулатского лица — светлые пшеничные волосы и бледный от бледно-розовой помады рот.

— Петька, ты такой же! — Она смеется черными блестящими глазами.— Как сохранился-то!

— Стараюсь. Ты тоже прекрасно выглядишь.

— Я? Ну, что ты! Я растолстела. А помнишь, какая я была стройненькая? Помнишь, Петька?

— Ну конечно.

— Я была совсем худышка, правда?

— Правда, правда,— говорит Саша.— Он же сказал тебе.

— А ты бери пример со своего друга. Посмотри на свой живот. Зубы не можешь вставить...

— У меня зато другие достоинства...— Саша обнимает Леру за плечи и тянется губами к ее щеке. Она слегка отталкивает его.

— Ах, знаешь... Петя, ну как ты жил эти годы? Я помню, ты ушел на заочное.

— Ничего. Разнообразно.

— Тебе пришлось уехать из Москвы, да? — Она глядит на меня пристально, без улыбки.

— Да. Потому что мама жила в области, и я поехал к ней.

— Петька, а помнишь? — Саша дергает меня сзади за рубашку.— Помнишь, как я выступал на том собрании? Его хотели исключить, но я выступил и переломил все собрание.

Мы входим в комнату, и я здороваюсь с отцом Леры, Николаем Евстафьевичем, с какими-то пожилыми женщинами, которые суют мне сухие ладони и невнятно произносят свои фамилии. Две из этих женщин оказываются Лериными тетками, а третья — их знакомая. У них платья с большими вырезами и веера, которыми они непрерывно обмахиваются. Они разглядывают меня с молчаливым любопытством. Одна из теток говорит, что жила в Москве в тридцать восьмом году и тогда было очень дождливое лето. Она все время покупала на базаре грибы. Николай Евстафьевич, старик с клокочущим, астматическим голосом, спрашивает, не бывал ли я в здешнем музее. Он железнодорожный инженер, сейчас вышел на пенсию и чрезвычайно увлекся живописью. Он и сам пишет маслом. Слабо, конечно, ничего особенного, потому что нигде не учился и начал это дело на склоне лет и с лечебной целью, чтоб успокоить нервы. Но уже выставлялся на двух выставках самодеятельных художников. Одна такая выставка сейчас открыта в музее.

Я обещаю непременно зайти в музей и посмотреть.

Женщины накрывают на стол, а мужчины томятся от духоты и пьют газированную воду из термоса. Наконец все понемногу рассаживаются. Тут возникают новые фигуры: двое людей неясного возраста, муж и жена, Сашины соседи по квартире, приглашенные, как видно, из соображений квартирного этикета (они весь вечер молча едят и пьют), и Лерина сестра Зинаида с детьми. Зинаида намного старше Леры, худее, морщинистей и простоватей, несмотря на то что в очках. У нее тоже длинные, семейные брови. Зинаида — учительница. Она так разговаривает с детьми, что можно не сомневаться в том, что она учительница.

Дети забавные, светловолосые, но смуглые, с черными туркменскими глазенками, мальчик лет семи и де-

вочка чуть старше: причудливый сплав славянской и тюркской крови.

Лере исполнилось сегодня тридцать.

Мы пьем за родителей, за мужа, за сына Васеньку, который отдыхает сейчас в детском лагере в Чули. Николай Евстафьевич провозглашает тост за «дочкины успехи в работе», за то, чтобы в наступающем семилетии она окончательно победила пустыню, превратив ее в цветущий и плодоносный сад. Саша преданно ухаживает за женой, и я даже вижу, как он гладит ее руку. Трогательная сценка. Лера что-то шепчет ему, делая строгие глаза, но на самом-то деле она довольна, радарадешенька,— ну конечно, женщины так ценят внимание.

Интересно, кого он таскал ко мне в номер? Наверное, какую-нибудь замухрышку из редакции. А Лера красивая женщина. И у нее характер. Она тут всеми скрыто командует, даже старшей сестрой и стариком.

Стоя с бокалом в руке, что-то долго говорит Аннаев. Он произносит торжественную и витиеватую, по-восточному лукавую речь. Я улавливаю, что он в чем-то не согласен с почтенным аксакалом, то есть с Николаем Евстафьевичем. Ай-ай, не надо испытывать судьбу, пустыня — плохое место для молодых женщин. В пустыне живут чабаны, которые месяцами видят женщин только во сне, это опасные ребята.

— Не клевещите на чабанов, Михаил Иванович,— говорит Лера.— Они чудные, добрые люди. Давайте выпьем за чабанов!

— Тогда уж лучше за мужа,— говорит Саша.— По вине жены, которая без конца в разъездах, муж сам превращается в чабана.

— Я, Сашенька, за тебя не волнуюсь. Ты не пропадешь.— Лера, смеясь, треплет его за волосы.— Ты все-таки в Ашхабаде.

— А Ашхабад, говорят, город любви,— добавляет Аннаев.

— Категорически я не утверждаю, что пропаду. Выходы, конечно, есть. Но и чабаны ведь тоже не пропадают, у них тоже есть какие-то выходы...

Аннаев в восторге от Сашиного остроумия; смеясь, он хлопает кончиками пальцев по Сашиной ладони — жест особенной признательности.

Приносят плов. Все с воодушевлением принимаются за еду. Над столом порхают обрывки бумажных сал-

феток. Одна из Лериных теток, не обращаясь ко мне прямо, но явно в мой адрес, говорит, что в Москве такого плова не поешь. В тридцать восьмом году она однажды поела плова в Москве, и потом весь день ее мутило. Она вновь вспоминает, что в тридцать восьмом году было дождливое лето.

Дождливое лето! Вдруг я вижу его, оно возникает с необыкновенной отчетливостью. Сначала долгая поездка на трамвае, очень долгая, на окраину города, на улицу Матросская Тишина. Там давали справки и принимали передачи. Там были маленькие черные домишки, булыжная мостовая, заборы и толпа людей, которая выстраивалась в бесконечную очередь — женщины, дети, старухи, все они стремились к окошечку. Сначала стояли на улице, потом влезали в помещение. До окошечка было невероятно далеко. Мне было двенадцать лет, я читал Вальтера Скотта, прислонясь плечом к засаленной черной стене, исцарапанной и исчерканной надписями. Сердце начинало колотиться, когда окошечко приближалось. Потом, получив справку, я выходил во двор и видел ту же толпу, на которую сеялся дождь. Да, да, было дождливое лето. Тогда было ужасно дождливое лето, я ни разу не купался в реке, и не было никакой дачи и никакого пионерлагеря, я жил у тети Оли на Остоженке и читал книги, как сумасшедший. Девятнадцать лет назад.

Я слышу голос, похожий на голос тети Оли:

— Что за семья — он там, она здесь? — Это говорит другая родственница Леры, не та, что вспоминала про Москву.— Подумайте, только приехала — и через две недели опять в пески! Ведь она, бедняжка, жизни не видит. Одна слава, что инженер, а годы-то идут...

Эта родственница, кажется, продолжает тему Аннаева. Она все приняла всерьез и всерьез отговаривает Леру от возвращения в пески.

Лера пытается отшутиться, но тетка непреклонна. Она требует ответа. Всем ясно, что разговор неуместен, начался с шутки и эта тема не для всеобщего обсуждения, но человек без чувства юмора обладает гигантской силой. Все вдруг начинают говорить всерьез. Николай Евстафьевич всерьез доказывает, что Лера занимается важной и большой работой: именно для такой работы она училась пять лет в Москве. Лера говорит пожилой тетке что-то нервное и резкое, и та обижается и через четверть часа встает из-за стола и со страдальческим

лицом, держась за виски, как будто у нее мигрень, прощается со всеми и уходит. Но свое дело она сделала. Саша вдруг заявляет Николаю Евстафьевичу, что никакой «важной и большой работы» не существует. Канал? Да ведь умные люди давно понимают, что тут больше шуму, чем дела. Эффект будет незначительный.

— Как глупо! — говорит Лера.— Когда ты злишься, ты всегда говоришь вздор.

— Я не злюсь. Чего мне злиться? Просто я говорю, что все это предприятие сильно раздуто. Твоя работа сама по себе интересна, но она прикладная.

— Нет, позволь-ка! — Николай Евстафьевич с волнением приподнимается.— Что именно раздуто?

— Где раздуто? — удивляется Аннаев.— Зачем так говоришь, Саша?

— Не спорьте с ним. Папа, не спорь. Он говорит нарочно.

— Ничего подобного.

— Тогда позволь: в своей же газете, где ты работаешь...

— За газету я не отвечаю. У меня свое мнение. Сегодня, кстати, напечатана статья инженера Хорева, из которой ясно, что там идут бесконечные склоки. До сих пор не могут уточнить профиль. А все дело в том, что каждый на этом канале ищет что-то для себя.

— И я тоже?

— Ну нет. Ну что ты! — Ухмыляясь, он ласково привлекает ее к себе.— А может, и ты... В конечном счете? Разве нет?

Лера слегка отодвигается от него, ее губы вздрагивают, как будто она хочет ответить, но она молчит.

— Прости, Лерхен, прости меня. Ты не обиделась, правда? — Саша берет ее руку и целует.— Ты совсем другое дело, я знаю. Я говорю про тех, кого видел на трассе. Ведь я жил не как ты, на одном месте и с одними людьми, я видел много разных людей. Самых разных. Исписал три вот таких блокнота,— он показывает двумя пальцами, какой толщины блокноты.— Есть такой экскаваторщик Нагаев, он был в Пионерном отряде у Фефлова, сейчас у Карабаша. Известный человек, о нем писали газеты, я сам писал, даже на радио толкнул очерк — вот через Нияза...

— Правильно,— говорит Атанияз своим замогильным голосом.— Был такой очерк. Очень посредственный.

— Неважно. Не хуже других. Так вот я Нагаева

спрашиваю: «Зачем, говорю, вы себя так дьявольски изнуряете?» Ведь работают, звери, без выходных, ночей не спят, жадность к этим самым кубам — лютая. «А что ж, говорит, пока рубль длинный, теряться не приходится». Понятно? У него, ребята сказали, тысяч примерно сто двадцать на книжке.

— Деньги не ворованные. Зазорного ничего нет,— говорит Николай Евстафьевич.

— Я говорю о стимуле.

— Саша, я ведь работал, как тебе известно, в Сагамете, в районной газете,— говорит Атанияз.— На трассе был много раз. И я с тобой не согласен. Потому что примеры можно приводить разные. На колодце Куртыш стояла партия геофизиков, у них был такой шофер, Дмитрий Васильевич Плющ. Человек уже немолодой, из Грозного, правда, совершенно одинокий, вдовец. Он крепко зарабатывал и всю получку тратил знаете как? Покупал в Кизыл-Арвате ящик вина, выезжал в пески, останавливался где-нибудь на дороге и всех встречных шоферов поил бесплатно. И не только шоферов, а всех, кто попадется.

— По-моему, какой-то идиот,— говорит Зинаида.— Спаивал людей.

Аннаев смеется.

— Ай нет, молодец! — Он тянется через стол и ударяет кончиками пальцев по ладони Атанияза.— Ай, хороший человек!

— И для этого своего удовольствия — сидеть в песках, на дороге, и поить незнакомых людей вином — он дни и ночи крутил баранку. Вот вам и Плющ. Возьмите его за рупь двадцать.

— Патология,— говорит Саша.— И потом — было, может, раз или два, а разговоров...

— Я к тому говорю, что стимулы у людей разные. И обогащение далеко не главный. Я знаю людей, которым наплевать на деньги, которые их в грош не ставят, и я имею в виду даже не таких, как Плющ или как Сашка Фоменко. Про Сашку Фоменко слыхали? Ну как же, это оригинал, на всей трассе знаменитый. Он десять месяцев в забое безвылазно, а два — гуляет, в Сочи, в Крыму, живет в лучших гостиницах и выдает себя то за какого-нибудь капитана, то за разведчика или полярного летчика. Тут театр, понимаете? Игра, представление — это совсем другое. Но есть десятки парней — и среди них много местных, туркмен,— которые пришли на стройку по-

тому, что понимают, что значит эта стройка для нашей республики.

Дети зевают, прикрывая смуглыми ладошками рот. Старик Николай Евстафьевич сидит с закрытыми глазами. Он задремал, слушая монотонный голос Атанияза.

— Ну и что? — говорит Саша и тоже зевает.— Правильно. Каждый ищет что-то для себя. Один — это, другой — то. Колхозники ищут одно, Нагаев — другое, Фоменко — третье. Один бежит от семьи, другой, наоборот, мечтает найти семью. Третий делает карьеру. И Хорев, который сегодня клепает на Ермасова, тоже преследует свои цели...

Аннаев собирается уходить.

— Не знаю, Саша, кто там что ищет,— говорит он, вставая.— Но мы, туркмены, ищем в канале только одно — воду. Вода, говорят, это жизнь. А? Разве не так?

Он тихонько смеется, похлопывая Сашу по плечу. Лера целуется с Зинаидой. Семилетний Боря совсем спит, Аннаев бережно поднимает его и, держа на весу, как барашка, кивает и улыбается всем сладостной улыбкой, и они выходят.

Я бы тоже хотел встать и выйти из-за стола, потому что невозможная духота, я обливаюсь пóтом, и тесно сидеть, и утомительно слушать разговоры насчет каких-то незнакомых людей. Но встать нельзя. Николай Евстафьевич, разбуженный уходом Аннаева, почувствовал прилив сил. Он вновь затевает спор с Сашей — по поводу статьи Хорева, с которой он не согласен. И свое решительное несогласие он высказывает, обращаясь почему-то только ко мне. Ему кажется, что я тут главный: я обычно молчу в больших компаниях, и вид у меня очень серьезный. И вот он, перегибаясь через стол и хватая меня за руку, чтобы я не отвлекался и слушал внимательно, разъясняет свою точку зрения на эту статью, из-за которой слетел мой очерк. Понять его трудно. Он делает какие-то ненужные движения языком, будто перекатывает во рту горячий комок теста, который ему обжигает нёбо. При этом он все время жует губами. Я разбираю несколько слов, которые он сердито выкрикивает:

— Ермасов — это человек! Да! И вы мне ничего не докажете!

— Вы, Николай Евстафьевич, все принимаете на веру,— говорит Саша, посмеиваясь.— Не умеете мыслить критически. Это странно, тем более в вашем возрасте.

Помните, как вы восторгались Главным туркменским каналом?

— Да ведь не я один!

— Но надо же мыслить самостоятельно...

— Перестань так разговаривать с отцом! — вдруг говорит Лера гневным, резким голосом и ударяет ладонью по столу. Лицо ее побелело.— Чтоб я не слышала этого тона!

Все обескуражены. Наступает молчание.

— Какого тона? — спрашивает Саша.

— Вот этого. Дурацкого, покровительственного тона. Мой отец умный, честный человек. Он всю жизнь честно трудился...

— Лера, Лера! Успокойся, что ты! — бормочет старик, привставая из-за стола.— Александр меня ничем не обидел, по-моему...

— Нет, но он разговаривает отвратительным тоном. Папа, извини! Я отвыкла от вас от всех...

Лера встает и делает попытку выйти из-за стола, но для этого нужно, чтобы Саша вместе со своим стулом отодвинулся от стены, освободив проход, а Саша сидит неподвижно, с окаменевшим лицом, и Лера вновь садится на место. Саша чертит концом вилки по скатерти. Лерина тетка с поспешностью начинает наливать всем чай. Взгляд Леры встречается с моим, и она вдруг улыбается как-то принужденно, невесело.

— Петя, извини. Я действительно отвыкла от цивилизованной жизни.

— Это заметно,— ворчит Саша.

— Лерочка, ты переутомилась,— говорит тетка.

— Разве он сказал мне хоть одно обидное слово? — спрашивает Николай Евстафьевич.

— Нет, нет! Ничего. Успокойся. Он тебя не обидел.

Молча пьем зеленый чай. Здесь все пьют зеленый чай, он отбивает жажду быстрее, чем черный. Атанияз, желая нарушить молчание и переменить разговор, обращается ко мне:

— Вот здесь говорили о Ермасове. А ты слышал про ермасовский рейд?

— Нет.

— Тогда я расскажу. Чтоб ты понял, что он за человек.

— А он уже понял,— говорит Лера,— со слов Саши. Он понял, что Ермасов, как и все, ищет на канале выгоду для себя.

— Ну нет! — возражает Атанияз.— Ермасов другой человек. Вот я расскажу...

— Не надо рассказывать,— говорит Саша.— Всем это известно. И то, что ты расскажешь, не будет настоящей правдой.

— Нет, я расскажу. Это правда. С чего началось? Ермасов предложил идею, которая резко противоречила всему проекту строить канал с двух сторон. Идти с водой от Амударьи и одновременно рыть посуху, со стороны Мургаба. Для этого он предложил забросить технику в пески. Это был дерзновенный план. Никто не поверил, что это возможно. Никто! Ведь проектировщиков целый институт, они работали над проектом год, а может, и два. И вдруг приходит строитель и все переворачивает вверх тормашками. Взрывает главную идею. Предлагает новую. И обещает колоссальную экономию в средствах и во времени...

— Ну, не совсем так,— говорит Саша.

— Проектировщики ни за что не желают менять проект. Управление их поддерживает. Никакие, говорят, механизмы не смогут пройти по барханам в глубь песков. Это нереально, убийственно для машин и людей. И тогда он решается на подвиг, а может, на преступление. Все было неясно, как обернется. На свой страх и риск бросает механизмы в пески: около ста машин, целую армаду!..

Это очень интересно и занимательно, но как-то не вовремя. Саша мрачно думает о чем-то своем, Лера глядит в окно. Один Николай Евстафьевич слушает Атанияза с радостным интересом.

— Я был там от газеты,— говорит Атанияз.— Прошел с ним весь путь. Стояла вот такая же жара, середина лета. Тракторами тащили экскаваторы, баки с горючим, с водой, хозяйства, столовые, будки для жилья. И Ермасов на своем газике носился вдоль колонны, как бешеный черт, выскакивал из машины, орал, матерился, нагонял на всех страху и глотал валидол. Я удивляюсь, как он не рухнул. Десять лет жизни он потерял там наверняка. А проектировщики и вся эта компания сидели в кабинетах и ждали: чем дело кончится? Мы прошли двести сорок километров по барханным пескам. Длилось все путешествие около трех месяцев. Закрепились на колодце Кизылча-Баба, сделали базу, а сейчас там большой поселок.

— Красиво рассказывает! Стопку водки ему,— говорит Саша и обращается ко мне: — Между прочим, тот же Ермасов с таким же рвением работал на Главном Туркменском. Который потом с треском завалился...

— Нет, нет! Это неверно! — возбужденно говорит Атанияз, хватая меня за руку.— Я в курсе дела! Я был на Тахиа-Таше. Как только умер Сталин, Ермасов написал в ЦК письмо о том, что строительство ГТК нерационально и его надо закрыть. Понял? Потому что ГТК шел по необжитым, пустынным местам, которые пришлось бы заселять людьми, а это дорого и сложно. И в апреле стройка была закрыта. Там одних бросовых затрат — обводной канал, мосты, бетонный завод — на полмиллиарда рублей.

— Почему же он раньше не написал такого письма?

— Ты что — маленький? Или дурака валяешь? Ведь это была его идея!

— Идея, кстати, принадлежала Петру Первому...

— Атанияз, милый,— говорит Лера,— не надо с ним спорить. Он считает, что все люди заняты своим собственным благоустройством, ну и пусть его. И раньше, и теперь, и всегда. Он считает, что Ермасов написал письмо в ЦК, чтобы отличиться и выдвинуться по служебной лестнице.

— Ну что ты! — Атанияз с испугом прижимает руки к груди.— Это совершенно неправильно! Ермасов абсолютно бескорыстный человек! На таких, как он, держится наше государство.

— Да неужели?

— Атанияз, ну что он может знать о канале и о Ермасове, если он месяцами торчит в Ашхабаде? Раз в год выезжает на трассу на три дня.

— Три дня — это мало?

— По-моему, это ничто.

— Для умного человека больше, чем нужно.

Они глядят друг на друга холодными, злыми глазами.

Николай Евстафьевич пытается приподняться и сказать речь, но его прерывает стук в дверь. Пришли гости: Жорка Туманян с букетом цветов, еще какой-то незнакомый парень и девушка. Всеобщая суета, перемена ритма, кто-то встает, кто-то садится, две пожилые тетки уходят навсегда, и, воспользовавшись минутой, я тоже встаю и пробираюсь в коридор.

Прибывших забрасывают тарелками, городят вокруг них блюда закусок, наливают штрафные. Но, в общем,

гости некстати. Саша тоже пробрался в коридор, ворчит мне на ухо:

— Жорка — подонок: обязательно в полночь, когда уже нет настроения...

— Кто это с ним?

— Наша знаменитость, Алик Сагаделян. Из ашхабадского «Буревестника». Левый инсайд.

— А девушка?

— Да это так одна, несчастненькая. Все ей помогают, все сочувствуют,— у нее мать больная, они откуда-то приехали...

К нам присоединяется Атанияз.

— Вот удостоились-то! — подмигивая, говорит он шепотом.— Сам товарищ Сагаделян...

— Не шути, брат: его Махачкала переманивает...

Мы переговариваемся вполголоса и сквозь открытую дверь смотрим на сидящих вокруг стола. Лера и Николай Евстафьевич всячески угощают гостей и развлекают их разговорами. Теперь говорят о каких-то пустяках. О сухумском джазе, о новом мебельном магазине. Пора уходить. Не дай бог, Жорка заведет разговор о футболе.

— Петя! Петька! — вдруг кричит Жорка. Это довольно непочтительно, и я не оборачиваюсь. Он младше меня на семь лет, сукин кот.— Петро! — кричит Жорка.— А ты был на новом стадионе в Лужниках?

— Нет,— говорю я.

— Как! И на первенстве мира по хоккею не был?

— Кажется, нет,— говорю я.— Не помню.

Я действительно не помню. Но, кажется, я был. Все это было черт знает как давно, на другом краю земли. Футболист в белой шелковой рубашке с янтарными запонками что-то рассказывает своей девушке. У нее пышные темно-рыжие волосы, рассыпанные по плечам, и тоненькое личико. И грустные глаза с черными, накрашенными тушью ресницами.

Внезапно я чувствую смертельное беспокойство. Это так сильно и внезапно, что похоже на удар. Мне кажется, я куда-то опаздываю, уже опоздал. Я пошатнулся. Но голова работает ясно.

— Я выйду на воздух,— говорю я Саше.

— Иди.

Ощупью спускаюсь по темной лестнице. Сейчас темно, а когда я поднимался, горела лампочка. На дворе светлее потому, что звезды. Но тоже темно. Очень темно. Я иду, протягивая вперед руки. Иду вбок, налево,

не знаю, почему именно налево, но иду уверенно, пока не натыкаюсь на что-то, похожее на скамейку. Да, скамейка. Я сажусь.

Я сижу долго, наслаждаюсь одиночеством. Беспокойство утихло, ушло куда-то вглубь, спряталось. Эти приступы мне знакомы. Мне кажется, они происходят от в р е м е н и. Обычно мы времени не чувствуем, оно протекает сквозь нас незаметно, но иногда оно зацепляется за что-то внутри нас, и на миг становится страшно: похоже на приближение смерти. Но потом это проходит, как приступ астмы.

Кто-то вышел из дверей и остановился на крыльце. Под подошвами на цементной плите крыльца скрипит песок. О чем-то шепчутся двое. Вот они целуются, вот опять шепчутся. Это футболист со своей девушкой. У нее такие грустные глаза с нарисованными ресницами. Нет, этих двоих не мучают приступы бегущего времени.

Он говорит чуть громче:

— Ну, пойдем.

И она отвечает:

— А Жорик?

— Оставим его... Пошли быстренько!

Я слышу, как он ее тянет силой, они борются, и смеются, и снова шепчутся, потом наступает тишина, только поскрипывает песок на цементной плите. Потом раздается громкий звук поцелуя. Такой протяжный, сосущий звук издает воронка ванной, когда в нее стекает последняя вода. И потом они медленно, очень медленно, должно быть обнявшись, идут через двор и выходят на улицу.

Утром сквозь полусон, сквозь дурную тяжесть в голове, стоя босиком, разговаривал по телефону с Сашей. Он разбудил меня, чтобы спросить, не могу ли я уступить ему номер, очень нужно. Я сказал, что могу, хотя в душе послал его к черту. Было уже поздно. Солнце стояло высоко, и вся комната была им залита и успела накалиться. Я снова лег на кровать, но уже не спалось от жары. По коридору, громко разговаривая, ходили люди, и на улице, под окном, тоже все время шаркали, ходили, смеялись, чувствовалось воскресенье.

Я встал под душ и минут пятнадцать обливался холодной водой. Потом побрился и вышел на улицу за газетами. Киоскерша продавала газеты возле самого

входа в гостиницу, на одном из крыльев бетонированной лестницы. По утрам здесь была тень, а киоск на противоположной стороне улицы стоял на солнце. Газеты, журналы, почтовые конверты, карандаши и покоробившиеся открытки с видами почему-то Кисловодска и Ялты были разложены на широкой брезентовой раскладушке, а киоскерша сидела рядом на табурете. Московские газеты уже все разошлись, но киоскерша оставляла для меня то, что я просил. Я взял газеты и пошел в ресторан завтракать.

Режиссер Хмыров кушал свои вечные сырники и пил чай. Он помахал мне рукой, приглашая сесть рядом. С тех пор как я работаю в газете, режиссер Хмыров стал ко мне внимателен. Иногда даже здоровается первый. Я сел за его столик и заказал сыр и бутылку пива.

— Ну-с, так что мы имеем? — спросил Хмыров и, не дожидаясь ответа, сказал: — Послушайте, вы можете дать информацию, хотя бы десять строк, о том, что худсовет киностудии вчера обсудил первый вариант нашего сценария. Дали поправки, но в общем прошло на «ура».

— Поздравляю вас.

— Спасибо. Ну-с, так что мы имеем? Как дела?

Я видел, что он уже сказал все, что хотел, и дальнейший разговор был ему малоинтересен. Мне очень хотелось пить. Когда принесли пиво, я выпил сразу всю бутылку.

Я сказал, что мои дела ничего.

— Где вы были вчера вечером? — спросил он.

— На именинах.

— Веселились?

— Как-то не понял.

— Завидую вам. А я работаю как проклятый, у меня даже нет времени включить радио и десять минут послушать музыку. Привет вам, и помните об информации! — Он улыбнулся, вставая из-за стола, и сделал приветственный ротфронтовский жест, подняв сжатый кулак.— Помните, что на Востоке говорят: «Доброе дело равняет человека с шахом». Так вы имеете шанс сделаться шахом!

В его фигуре было нечто старообразное и вместе с тем женственное: большой зад и узкие плечи. Людям с такой фигурой обычно везет в жизни. Это я заметил.

Я попросил еще одну бутылку пива и выпил ее так же быстро. Есть мне не хотелось. Прочитав газеты

(«Спартак» опять проиграл!), я вернулся к себе в номер, где была уже настоящая парильня и солнце, переместившись выше, заливало неубранную постель. Я сел за стол, чтобы кое-что записать. Из вчерашних впечатлений запомнились две истории: про то, как Ермасов перегонял технику, и про шофера, который всех угощал бесплатно. Было еще что-то, но я забыл. Про Ермасова — это интересно. Надо с ним познакомиться. Надо взять командировку на канал.

Зазвонил телефон. Лера интересовалась, встал ли я и как я себя чувствую. Я сказал, что чувствую себя отлично. У нее был грудной, глубокий голос, и я сразу вспомнил этот голос: давным-давно, когда я жил у тети Оли на Остоженке, Лера иногда звонила мне, узнавая про Сашку. Он жил в общежитии, и там телефона не было. Как Лера его любила! В те времена в ее голосе слышался трепет, которому я завидовал, а сейчас в нем было вежливое спокойствие и ничего больше. Лера сказала, что ей надо со мной посоветоваться, и просила зайти. Саши дома не было. По словам Леры, он уехал к Критскому играть в преферанс. Я сказал, что скоро приду. Неприятный звонок: неужели ей стало что-нибудь известно про Сашу? Судя по вчерашней вспышке, вполне возможно.

Только я положил трубку, как вошел Саша. Я сказал, что звонила Лера и что он, Саша, играет сейчас в карты у Критского.

— Ну да, там нет телефона,— сказал Саша.— И она туда в жизни не позвонила бы.

— Как дома? Мир наступил?

— Да. В общем — да. После обеда едем вместе в Чули, навестим Ваську. Старик, мне все надоело. Я так устал...— Он вздохнул и плюхнулся на постель так, что зазвенели пружины. Он сел в брюках прямо на простыню. Ничего удивительного: ради этой простыни он и приходил ко мне в номер и поэтому обращался с нею фамильярно.

Нет, мое раздражение вспыхнуло не оттого, что он сел в брюках на простыню, а оттого, что он сказал: «Я так устал».

Я взял свою соломенную шляпу и вышел.

В городском саду разгуливали одинокие парочки и солдаты, отпущенные по увольнительной. Было рано и жарко. Гулянье начнется часов с семи вечера, вот тогда здесь не протолкнешься.

Лера сидела во дворе в плетеном кресле и читала книгу. Я сел рядом с ней на низкую кирпичную ограду и стал обмахиваться шляпой, потому что здорово взмок, хотя шел нарочно очень медленно.

— Выпить хочешь? — спросила Лера.— Там осталось.

— Нет.

— Петя, мне надо с тобой посоветоваться.— Она закрыла книгу и вместе с креслом повернулась ко мне. Я прочитал на корешке: что-то научное, по ботанике.

Она стала рассказывать историю Дениса, которая была мне известна. Я удивился, откуда она ее знает: оказывается, встреча Дениса и Зинаиды уже состоялась, две недели назад. Зина держалась молодцом, с большим самообладанием. Михаил Иванович ничего не знает пока и лучше бы не узнал: он ведь вспыльчив и ревнив, как все восточные люди. Конечно, там все перегорело, прошло шестнадцать лет, но факт остается фактом: вернулся муж, отец мальчика. Михаил Иванович безупречный семьянин, уважает Зину, и она ни за что не хочет его огорчать. Но и Дениса ей жалко. Он такой несчастный, неприкаянный, нигде не работает. Борис Григорьевич хочет устроить его в газету. Он ведь фотограф, привез из Германии какой-то дорогой аппарат. Но устроиться в газету трудно. Надо хлопотать сообща. Надо, чтоб не один Борис Григорьевич, а кто-нибудь еще поговорил с редактором.

— Я могу,— сказал я.— Но я там человек новый. А Сашка?

— Вчера говорили с ним все утро и поругались. Вечером — это было продолжение. Вообще, вчерашний день лучше не вспоминать...

— Ну и что Сашка?

— Он не хочет хлопотать за Дениса. Говорит, что ему неудобно, потому что Денис наш родственник и это многим известно, и вообще это дело безнадежное: его не примут по анкетным данным. Но ведь Денис амнистирован! Он вернулся на Родину по амнистии! Сашка говорит, что это не играет роли. В газете особые требования. И ссылается на тебя: вот Петю, мол, с каким трудом удалось устроить, а у него отец не то что амнистирован, а полностью реабилитирован и посмертно восстановлен в партии. И то какая была волынка.

— Волынка была. Но я не уверен, что из-за отца, скорее всего, была самая обыкновенная, доброкачественная волынка.

— Вот я и сказала, что не верю, чтоб из-за отца. И назвала Сашку трусом. Он разозлился, разорался, кричал, что я дура, ничего не понимаю, отупела в песках. Может, я действительно чего-то не понимаю?

— В чем именно?

— Ведь если людей реабилитировали, амнистировали, то это серьезно и навсегда. Обратного пути быть не может.

— Верно, но не забывай такую вещь: не всем нравятся эти перемены. Раньше было просто: посмотрел в бумажку — и все ясно. Репрессированные не годятся, оккупированные не годятся, амнистированные не годятся, имеющие родственников не годятся и так далее. А теперь хлопот вагон: надо научиться в людях понимать и еще в деле разбираться.

— Значит, Сашка в чем-то прав?

— Он прав в том, что есть недовольные, есть встревоженные, есть люди, которые тормозят. Но надо действовать, надо бороться с перестраховщиками. Тут не в Денисе дело, а в принципе. Я, например, обязательно поговорю насчет него, хотя я там десятая спица...

Солнце поднялось в зенит, и на дворе не осталось тени. Мы пошли в дом. Лера рассказывала о Денисе, какой он был красивый: белокурый, глаза синие, совершенно нестеровский отрок. Поразительно был красивый. А сейчас такой старый, погасший, лицо жесткое, глаза жесткие. Все мы изменились, но он как-то страшно, непоправимо. Если ему не помочь, погибнет. Потом расспрашивал о моей жизни, о маме, о Наташе. Я рассказывал скупо. Чего рассказывать? Не люблю, незачем.

Потом пришел Николай Евстафьевич, он ходил сдавать бутылки. Сели обедать.

Саша все еще играл в преферанс. Мне вдруг стало противно, я сам себе стал противен. «Все-таки я подонок,— подумал я,— сижу у Леры в гостях, обедаю, она ко мне так добра, так сочувственно расспрашивает, а я устраиваю этому сукиному коту... Хватит! Крышка. Пусть только заикнется еще раз!»

Ни Николай Евстафьевич, ни Лера не заговаривали о Сашке.

Николай Евстафьевич предавался воспоминаниям. Рассказывал, как впервые приехал в Среднюю Азию в командировку двадцать лет назад, его тогда мучила астма, а здесь, в Туркмении, он неожиданно почувствовал облегчение. Врачи сказали, что надо переменить климат,

и он перевелся на Ашхабадскую дорогу, переехал сюда вместе с семьей, тем более что здесь с давних времен, еще с гражданской войны, жили его родственницы — две двоюродные сестры. Лерочка была тогда старшая школьница, Зина уже училась в педагогическом, и был еще младший, Валюша,— он погиб на войне. Вот так и стали они, коренные русаки, жителями солнечной Туркмении. И прижились, вросли корнями. Уже и мамочку тут похоронили. И даже после землетрясения не сбежали отсюда, как многие, хотя дом порушился, и все имущество, годами накопленное, пропало, и жизнь пришлось начинать заново.

Лера сказала, что встретила на трассе какого-то Алешу, с которым Валя учился в школе. Старик обрадовался, он помнил этого Алешу («Ну-ну, такой цыганистый, с челкой ходил!») и стал расспрашивать о нем, и просил, чтобы Лера обязательно позвала его в гости.

Я слушал их разговор, смотрел на отца с дочкой — они были похожи, оба рослые, черноглазые, с большими руками, но, странно, те же черты, что старику сообщали мужественность, ей придавали настоящую женственность — и думал о том, что Сашка идиот, лада в этой семье нет и Леру это мучает, хотя она, может быть, не знает всего. А какими счастливыми они были восемь лет назад! Все им завидовали. Даже я немного. Почему-то вспомнилась вчерашняя девушка, которая пришла с футболистом. Она сидела вот тут и смотрела с нежностью на своего футболиста. Самое главное — сохранить этот взгляд, радостный, излучающий так много всего.

И глаза Саши и Леры, холодные, из которых все вытекло. Невесело, когда видишь начало и конец.

— Петя, что ты делаешь вечером? — спросила Лера.

— Пока не знаю.

— Мы поедем с Сашей в Чули, проведаем сына. Я не видела его два с половиной месяца! Этот парень, которого привел вчера Туманян, оставил нам пропуск на футбол. Хочешь пойти?

— Ладно.— Я сунул пропуск в карман.— Спасибо. Николай Евстафьевич стал объяснять, как добраться до стадиона. Даже начертил план на оборотной стороне пропуска.

Голова все еще болела, я знал, что не смогу ни читать, ни писать, впереди был пустой вечер. И я поехал на стадион.

На автобусе доехал до конечной остановки и потом

долго петлял по жарким улицам, мимо глинобитных дувалов, мимо одноэтажных особняков с зарешеченными окнами. Стадион был маленький. На заборе висела нарисованная масляной краской и кое-где облупившаяся таблица розыгрыша первенства страны по классу «Б», где участвовал ашхабадский «Буревестник». Я ничего не понимал в этом второклассном футболе и остановился, чтобы выяснить, как идут ашхабадцы. Они шли неважно, третьими от конца. Сегодня им предстояло играть с челябинской командой «Энергия», которая, я тоже посмотрел, была где-то в середке.

У кассы стояла небольшая очередь, на трибунах было пустовато. Я прошел по моему пропуску в ложу, над которой был сделан навес. Остальные зрители пеклись на солнце. Очень трудно играть в такую жару. Ходить трудно, а не то что бегать. Я сочувствовал футболистам, особенно белобрысым уральцам: они уже к центру поля бежали тяжело, опустив головы, и вид у них был полусонный. Среди черных ашхабадцев я увидел своего вчерашнего знакомого с десяткой на спине. Он все время подпрыгивал и приседал для разминки. Я представил себе, какая духотища сейчас в моем номере в гостинице: там особенно жарко как раз в эти часы — в четыре, в пять. Нет, я хорошо сделал, что пришел сюда,— тут хоть тень и какое-то движение воздуха.

Лет восемь назад, в Москве, я ходил на футбол часто, болел за «Спартак», это было острое и даже страстное увлечение, которое потом прошло: ездить на матчи из-за города стало трудно и как-то не до того. За последние годы я попадал на футбол раз или два в сезон, и то случайно, за компанию, и было не то, что прежде. Таблицы я не вел, игроков не знал. Мне было скучно. Вот и сейчас я никак не мог заставить себя смотреть игру. То есть я смотрел, но ничего не понимал. Несколько дней назад Атанияз принес нам рецензию на книгу Махтума Максумова, старого туркменского поэта, который в прошлом году вернулся из дальних мест, с Колымы. Пробыл там девятнадцать лет. После разговора с нашим замом Лузгиным я понял, что пробить рецензию будет непросто. Лузгин сразу спросил: «А почему он несет к нам, а не в республиканскую газету?» Значит, есть причины, если не несет. Разговаривать с ним насчет Дениса будет тяжело. Надо достать книгу Максумова и прочитать самому, а то хлопочу, не зная существа дела. Хотя разве существо дела в книге?

Я оглянулся и увидел через два ряда надо мной ту девушку, что вчера была с футболистом. Ту, темно-рыжую, с маленьким личиком. Наверно, она посмотрела на меня, и поэтому я оглянулся. Я издали поздоровался с ней, она ответила кивком, и на этом наше общение кончилось. Но я почему-то не мог больше ни на чем сосредоточиться и теперь думал о том, что сзади сидит эта девушка,— забыл, как ее зовут.

Но что-то в ее неулыбающихся, немного кукольных, обведенных тушью глазах меня зацепило. Она так грустно и пристально смотрела на поле. Там бегал ее друг.

Сидевший впереди меня старичок в черно-белой узбекской тюбетейке вдруг обернулся и сказал:

— Давайте с вами заложимся, а?

— Давайте,— сказал я, разглядывая старичка. Он был похож на старого одессита. Может быть, он и был старый одессит, из тех, что эвакуировались сюда в сорок первом году и тут застряли.— Вы за кого?

— Я за уральцев. По четвертной, а?

— Ну давайте,— сказал я.

Первый тайм закончился ноль — ноль. Во время перерыва зрители встали и поспешили в тень, под деревья. Мимо ложи прошла мороженщица с ящиком. Я купил две плитки пломбира и подошел к темно-рыжей девушке.

Она посмотрела на меня удивленно.

— Спасибо. Только я не люблю мороженое.

— Как? Не любите мороженое? Такое жирное, сытное, полезное для здоровья и особенно для цвета лица...— Я болтал вздор, сам не помню что, садясь с нею рядом и разворачивая плитку пломбира. Другую плитку пришлось положить на скамейку.

Девушка объяснила: она не выносит ничего молочного! Она как будто обрадовалась тому, что я сел рядом и можно было поболтать. Я узнал, что ее зовут Катя, ей двадцать лет, она нигде не работает и живет одна. Совсем одна? Без папы, без мамы? О, это замечательно!

— Ничего замечательного,— сказала Катя, посмотрев на меня чуть свысока.— Папа не живет с нами одиннадцать лет, а мама болеет. Она сейчас в санатории, в Байрам-Али.

— Тяжело болеет? — спросил я.

— Очень.

Я вздохнул. Мы стали смотреть, как играют. Измученные, в мокрых майках, футболисты бегали по выби-

тому, пыльному полю, на котором кое-где островками росла исчахшая трава. На щите стояло «1 : 0» в пользу Челябинска. После некоторого молчания я спросил о молодом человеке с десяткой на спине: он кто — друг детства или жених?

— Почему жених? — Она снова посмотрела на меня высокомерно.— Если человек хороший товарищ, помогает другому, когда трудно, и вообще, значит, обязательно жених?

— Нет, конечно. Я просто спросил.

— Ах, просто спросили? — Она усмехнулась и пожала плечами.

Вновь наступило молчание. Меня угнетало мороженое. Оно текло по пальцам, я не знал, что с ним делать. Съесть его я не мог. Его можно было только лакать.

— Мне кажется, я видел вас раньше. Может быть, на телеграфе или на базаре,— сказал я, раздвигая колени и глядя себе под ноги, где образовалась молочная лужица.

Катя немного отодвинулась.

— Вряд ли,— сказала она.— На базар я хожу очень редко, а на телеграфе вообще не бываю.

После такого афронта я умолк окончательно. И поделом: не приставай к подругам футболистов.

Я положил остатки мороженого под скамейку, ногой затолкал их подальше вглубь и взял другое мороженое, еще не распечатанное, но уже тоже довольно мягкое. Я приложил его ко лбу. Катя посмотрела на меня и фыркнула.

— Что вы делаете?

— У меня болит голова.

— Ну и как — легче?

Она впервые смотрела на меня с интересом и улыбалась. Она очень мило улыбалась. На щеках ее возникли ямочки, и я увидел плотные, мелкие, белые зубы.

— Можно, я так посижу? Вы не возражаете?

— Нисколько.

— Я вас не шокирую?

— Нет, нет. Пожалуйста.

Она засмеялась. Я тоже засмеялся. У нас начиналось как будто что-то налаживаться, и вдруг зрители закричали. Сидевшие впереди нас вскочили на ноги. Я тоже встал и увидел, что один из футболистов лежит на земле, вокруг него собралась толпа и через поле бежит доктор с чемоданчиком.

— Алик! — вскрикнула Катя и схватила меня за руку.— Что с ним?

— Готов,— сказал старичок в тюбетейке.— По битому месту.

Зрители свистели. К боковой линии выбежал футболист в тренировочном костюме, стал быстро раздеваться. Алика подняли на руки и унесли с поля. Его положили на землю рядом с беговой дорожкой, и доктор согнулся над его коленом, и было видно, как Алик запрокидывает голову, корчась от боли. Новый футболист, подняв руку, чтоб видел судья, а другой рукой подтягивая белоснежные, чистенькие трусы, выбежал на поле, и игра продолжалась.

— Я пойду к нему... Можно? Ладно? — Она как будто спрашивала у меня разрешения.

Я не успел ответить, как она побежала вниз.

— Подождите! Я пойду тоже!

К Алику уже подходили с носилками.

— Куда вы, куда вы? — закричал старичок.

— Я вернусь, не волнуйтесь.

— Нет, позвольте! — кричал он.— Как это — вы вернетесь? Это не по-игроцки! Я иду с вами!

Мы спустились вниз и шли вдоль первого ряда, чтобы обогнуть поле и попасть на противоположную сторону, где был вход в подтрибунное помещение. На поле что-то происходило, стадион гудел, у ворот челябинцев была свалка. Мы проходили так близко, что слышали, как стучат, сталкиваясь, бутсы и как футболисты кряхтят и переругиваются.

Старичок бежал за мной по пятам, бормоча:

— Он вернется!.. А когда вернется — это вопрос...

Катя вошла в дверь, куда унесли ее приятеля на носилках, а я стал ждать. Через две минуты игра окончилась, и публика густой толпой пошла мимо нас к выходу. Многие бросали на землю газетные колпаки, которые надевали на время игры. У всех были красные, в воспаленных обводах, глаза и усталые лица. Я дал старичку его выигрыш и поздравил его.

Катя вышла минут через двадцать. Было похоже, что она плакала: под глазами черно от краски, которая натекла с ресниц. Катя аккуратно, кончиком платка, вытирала нижние веки.

— Что с ним?

— Берут в больницу. Опять травма колена. Бедненький, он все губы искусал... Морфий впрыснули... Ой!

Она зажмурила глаза. У нее даже лицо изменилось.

— Жалко парня,— сказал я.— Вот черт, не повезло.

Мне действительно было жалко его. Самое отвратительное в футболе — вот такие сцены.

Мы молча дошли до остановки, сели в автобус. Еще больше, чем Алика, мне было жалко Катю, она выглядела совершенно подавленной. Ветер трепал ее темную пышную шевелюру, волосы кидались на лоб, на глаза, она не поправляла их, сидела неподвижно, с застывшим лицом, и смотрела в окно автобуса. Скверная история! Отца нет, мать в санатории, друга увозят в госпиталь. Может, ей некуда идти? Внезапно я почувствовал, что не могу так просто расстаться, что несу ответственность за нее — по крайней мере, на сегодняшний вечер.

— Проводить вас домой, Катя?

Оторвавшись от окна, она посмотрела на меня долго и как-то с усилием, точно вспоминая: откуда взялся этот человек?

— А что делать дома? Я живу с одной девушкой, моей подругой. Ее сейчас нет. Она в экспедиции, на Челекене...

Молодые ребята в белых рубашках ехали в центр гулять. Было только половина восьмого. Автобус катился сквозь сиреневую вечернюю синеву.

Мы сошли там, где сошли почти все пассажиры, и остановились перед воротами в парк. Аллеи парка были набиты гуляющими. Теперь тут все кипело, все двигалось, все скамейки были заняты, возле всех киосков стояли очереди. Густой запах юга, лета, цветов, женского тела, табака, духов, листвы плыл над головами. Со стороны танцплощадки гремела музыка, и сквозь деревья была видна большая колыхающаяся толпа людей перед входом. Мальчишки смотрели на танцующих через решетку.

По боковой аллее мы вышли к летнему театру. Его каменная, покрашенная белой краской ограда казалась сейчас сиреневой. И белые платья женщин, белые брюки и рубашки мужчин тоже казались сиреневыми.

— Мы хотели сюда прийти после игры,— сказала девушка тихо.— Тут сухумский джаз сегодня.

— Да? — Мне было ее нестерпимо жалко.— Может, хотите послушать джаз?

Она робко подняла на меня глаза.

— Я не знаю... Сейчас который час?

— Через двадцать минут начало,— сказал я.

8

У Марютина случилось несчастье: полетел реверс на экскаваторе. Машину тягачом потащили в поселок, и Марютин вместе со сменщиком Амановым отправился туда же, чтобы помочь слесарям и ускорить ремонт. Марютин так пал духом, что не успел как следует о дочке подумать: не скучно ли ей будет оставаться одной с мужиками? Или, может, чересчур весело?

Уехал он на неделю. Дни стояли ветреные. Задувало с утра, песок летел весь день беспрестанно, и стихало лишь к ночи. К ночи становилось тихо, как по заказу. И это было удачно, потому что работали как раз ночью.

Через неделю Марютин не вернулся. Приехал с автолавкой Аманов и сказал, что ремонт затянется еще на неделю, а то и того хуже: в Мары придется отправлять, на ремзавод.

По утрам и вечерами перед сменой рабочие собирались вместе и в эти часы Марину обуревала жажда деятельности, нечто вроде того беспричинного возбуждения, какое бывает у детей по вечерам, перед сном. Начинались шумные разговоры, песенки и всяческие резвости с Иваном. Марине хотелось командовать и находиться в центре внимания. Ей очень нравилось, например, читать вслух газеты, особенно «Комсомольскую правду», где печатались статьи на моральные темы. Мужчины сидят кружком и смирно слушают, а она читает громко, ясно, как учительница.

В тот вечер у нее появился новый слушатель — Султан Мамедов, который возвращался порожняком из Маров и задержался у экскаваторщиков лишь затем, чтоб залить радиатор. Но тут его угостили чаем, потом стали расспрашивать, как начальники решили насчет озер,— он, конечно, ничего не знал, потому что только привез их и тут же назад, однако с важностью заявил, что делать будут по-ермасовскому, это уж точно,— потом Марина стала читать газеты, которые утром привезла автолавка, день повернул к вечеру, а Султан все сидел на песке, обняв колени темными волосатыми руками, и не думал вставать. Он мрачно слушал чтение и мрачно глядел на экскаваторщиков. Особенно тяжелым, немигающим взглядом он смотрел на Ивана Бринько.

Марина сидела по-туркменски, скрестив ноги, и читала громко, самоуверенно, но не очень внятно и к тому же запинаясь на трудных словах вроде «сосуществование».

Экскаваторщики слушали внимательно. Вот прочитала Марина длинную статью из «Комсомольской правды» о фестивале молодежи, который недавно закончился, потом фельетон про одного молодого человека, в каждом городе заводившего себе новую жену («Надо же, паразит!» — возмущалась Марина по ходу чтения), потом перешла к международным телеграммам, которые всегда вызывали обсуждение и разговоры. Старик Марютин и Беки Эсенов считались главными специалистами по международным делам, они часто спорили между собой, и Иван тоже вступал в эти споры. Хотя в его памяти плохо держались разные фамилии и иностранные названия, но зато он судил обо всем скоро и решительно.

Сейчас вместо старика Марютина с Беки завелся спорить Нагаев. Он тоже любил поговорить о политике. Заспорили вот о чем: кто больше виноват в прошлогоднем Суэцком кризисе? Англия, Франция или же Израиль? Беки говорил, что Англия, Нагаев напирал на Израиль. Спорили долго, приводили разные доказательства, сердились, ругались, и дело дошло до крика и ненавидящих взглядов. Иван успокаивал: «Ни хрена вы не мерекаете: там Америка виновата! Она кругом виновата».

Чары Аманов, чтобы отвлечь спорщиков, стал рассказывать анекдот про лектора, который приехал к чабанам, и как чабаны его в дураках оставили. Все смеялись, анекдот был смешной, хотя немного грубый. Один Султан Мамедов по-прежнему сидел мрачный.

— Ну, читать дальше или хватит? — спросила Марина.

Внезапно она повернулась и изо всей силы шлепнула Ивана по спине: наверно, он незаметно ущипнул ее.

— Мамочки! За что бьют? — завопил Иван и, схватив Марину за ногу у щиколотки, поволок ее по песку. Она била его другой ногой по рукам, вскрикивала будто бы с испугом, переворачивалась то на спину, то на живот, стараясь вырваться, а он гоготал, и вокруг них азартно прыгала и лаяла Белка, и все остальные наблюдали за этой возней смеющимися, внимательными глазами.

— Бросьте, ну вас...— проворчал Нагаев.

Ивану удалось схватить другую ногу Марины, тогда она стала кидать в него пригоршнями песок, но он не отпускал ее и продолжал волочить. Пылищи и шуму наделали много.

Вдруг Султан Мамедов поднялся и крикнул:

— Ты, охломон! Как с девушкой обращаешься?

Он крикнул это так неожиданно резко, что Марина умолкла, а Иван отпустил ее и спросил:

— А тебе что?

— Зачем, понимаешь, так издеваешься? — еще более зло закричал Мамедов.— За ноги таскаешь? Игрушка тебе, что ли?

— Да он в шутку делает,— сказал Беки.

— Какие шутки, слушай? За ногу взял и таскает, как телегу! Издевательство это, какие шутки!

— Ну ладно тебе, Султан...

— За такие шутки знаешь что? По морде бьют! — Он кричал это с такой яростью и негодованием, что Марина и вправду решила, что ее оскорбили. Повернувшись к мужчинам спиной и приводя в порядок волосы, она начала тихонько всхлипывать.

Иван с изумлением смотрел на Мамедова, потом подошел к нему и спросил:

— Ты, что ли, бить будешь? Дурачок...— И он не совсем уверенно взял Мамедова двумя пальцами за нос и потянул вниз.

В то же мгновение Мамедов, который был на голову ниже Ивана, молниеносно завел свою ногу за ноги Ивана и одновременно ударил его в грудь так, что тот упал как подрубленный. Сидя на песке, Иван ошалело глядел на своего победителя, а тот стоял несколько секунд со сжатыми кулаками, ожидая, что Иван вскочит и начнется настоящая драка. Но Иван не вскакивал. Тогда Султан Мамедов плюнул и сказал:

— Не учили тебя, как надо девушек уважать? Будешь теперь знать.

И, повернувшись, он пошел к своему газику, сел в кабину и включил мотор. Никто не успел ему ничего сказать. Газик рванул по раскатанной колее и скрылся за гребнем.

Было похоже, что только за этим — накричать на Ивана и сбить его с ног — Султан Мамедов и останавливался у экскаваторщиков. Нелепый этот случай переломил весь вечер.

Иван Бринько, сообразив, что на глазах у всех был жестоко унижен, проникся запоздалым гневом и кричал, что он ему, гаду, теперь житья не даст. Марина сперва язвила, посмеивалась, а потом стала плакать и сказала, что соскучилась по отцу и завтра же поедет в поселок.

Жара спадала, был седьмой час, но никто почему-то не пошел в забой. Лежа на животе, Нагаев читал газету. Не поднимая головы, он сказал:

— Это он из-за Фаинки. Давно на тебя зуб точит.

— Я ему поточу,— сказал Иван.— Последние вышибу. Падаль чернозадая.

Марина подошла к Нагаеву и легла с ним рядом.

— Вот Семеныч у нас хорошенький. Ни с кем не дерется,— сказала она и провела ладонью по его волосам.— Ой, песку-то!.. Работает и работает, денежки гребет. И никакими Фаинками не интересуется. Правда, Семеныч?

— Почитай-ка статью,— сказал Нагаев, подавая ей газету.— Тут про нас пишут. Ермасова критикуют.

Марина стала читать. В статье говорилось, что Ермасов создает культ собственной личности, ни с кем не считается, беспрерывно нарушает проект. Объяснялось это довольно наивно тем, что Ермасов долгие годы работал на стройках, где были заняты заключенные, и не привык выслушивать никакой критики. Работал он, например, на закрытой, не оправдавшей себя стройке канала Тахиа-Таш — Красноводск. Статья называлась «Отжившие методы». Написал ее Хорев, главный инженер «Востока».

— На той стройке Ермасов был невиноватый,— сказал Иван.

— Не знаю, кто виноватый, но я там погорел крепко,— заметил Нагаев.— В пятьдесят третьем приехал на Тахиа-Таш, аккурат месяц прошел, как он помер. Взял я машину, сидим в песках, работаем, ничего не знаем: а стройку, оказывается, закрыли. Ой, чего тут началось! Снабжение враз обрезали, начальство кто куда. Погорел я тогда крепко.

— А в чем то есть погорел? — спросила Марина.

— Вернулся пустой, да еще в дороге своих больше тыщи оставил. С желтым рублем вернулся. Ехал, как говорят, за шерстью, а приехал стриженый.

— Семеныч, ты здесь настриг много,— сказал Беки.— Без шерсти не останешься.

— А я чего говорю?

— Такой человек, как ты, всегда с шерстью останется.

В голосе Беки звучала угроза, он опять задирался. В нем тоже бродила нервность. Все были нервные в тот вечер.

Нагаев, сдерживаясь, повторил:

— Да-а, погорел я...

— Канал погорел, миллион денег погорел — тебе все равно. Лишь бы твои рубли заплатили, правда, Семеныч?

Аманов что-то сердито сказал по-туркменски. Нагаев перевернулся с живота на спину, сел и уставился на Беки прищуренными глазами.

— А ты как — не за рубли работаешь?

— Я? Нет! Не за рубли! — закричал Беки, вскочив и с силой колотя себя ладонью по голой груди.— Канал в мой колхоз придет! Мой отец эту воду ждет, моя мать ждет! Это мой канал!

— Твой канал,— усмехнулся Нагаев.— Эх, балда ты, балда...

— Беки, ты колхозник разве? — спросил Иван.— Небось забыл, как трудодни начисляют. Три года в армии да третий год на стройке...

— Я колхозник, да! Все равно в колхоз обратно вернусь, закончу техникум и вернусь. Только я знаешь когда вернусь? Когда воду в мой колхоз приведу! Сейчас от Амударьи до Мургаба дотянем, четыреста километров — так? Потом от Мургаба к Теджену, еще сто сорок, вторая очередь будет — так? И потом от Теджена до Ашхабада третья очередь, двести шестьдесят километров,— вот там и будет мой колхоз.

— А мой еще дальше, за Ашхабадом,— сказал Чары Аманов.— Но я так решил: до конца пойду, пока в Красноводск не приеду на своем экскаваторе!

— Еще не известно, может, на Челекен повернут,— сказал Иван.— До Красноводска дальше выходит.

Нагаев усмехнулся:

— Ближе, дальше. Чего считать, дурью мучиться? До вашего Челекена тыща километров. До Маров-то доползти — сто раз околеешь. И вот считают, насчитывают...

— Да, каждый день до воды считаем! Каждый километр считаем! — закричал Беки, вновь повернувшись к Нагаеву.— А ты одни кубы считаешь! Тебе какой черт, пойдет вода или не пойдет: взял свой чемодан — и айда. За то тебя не любят, Семеныч, никто не любит тебя! — последнюю фразу он выкрикнул с каким-то отчаянным наслаждением.

Аманов подошел к нему и ударил по плечу.

— Эй, пойди в забой,— сказал он.— Посмотри мой кумган, не знаю, где оставил.— И что-то добавил по-туркменски.

Поворчав, Беки нехотя, загребая ногами песок, пошел к забою. Подождав, пока он отойдет подальше, Аманов сказал:

— У туркмен так: старший сказал — младший должен делать. Всегда так. Даже поговорка старая есть: лучше быть щенком у собаки, чем младшим у туркмена. Ай, молодой, кричит...

— Да леший с ним,— сказал Нагаев.

Беки не вернулся. Прошло несколько минут, и из забоя донесся рев включенного мотора и лязг цепей.

Ушел в свою будку Иван: спать до смены. Потом ушел и Аманов. Нагаев и Марина остались одни возле потухшего очага, на котором недавно кипятился чайник. Угли давно истлели, но еще пахло горелым.

Наступил вечер, солнце село. В сумерках белела майка Марины. Марина сидела на корточках, изогнув спину и обняв колени руками, и что-то протяжно, без слов мурлыкала.

— Семеныч,— сказала она вдруг,— а ты чего не идешь работать?

— С тобой, может, хочу посидеть.

Марина продолжала заунывно мурлыкать. А потом вздохнула и сказала:

— А я знаю, отчего Бекишка на тебя ругается. Он и на Ваньку злится.

— Дурак, чего сделаешь! — сказал Нагаев.

— Нет... Слушай-ка!

— Ну?

— Тебя, верно, никто не любит. Почему так?

— Я не девка, чтоб любили.— Нагаев засопел носом.— Меня начальство уважает, я дело лучше любого-каждого знаю, а они обижаются. И вся любовь.

Он посидел немного, сопя сердито, потом сказал: «Пойти, пожалуй», встал и пошел в свою будку. Марина слышала, как он двигал койку, одевался, стучал рабочими башмаками. Потом он вышел с фонариком.

Проходя мимо Марины к забою, сказал:

— Иди, голубка, ложись.

— Сейчас.— Она вздохнула.— Только ночью и дышишь...

Петляя в темноте, удалялся фонарик Нагаева. А эсеновский экскаватор уже гремел вовсю, в его судорожном, рвущемся лязге как будто слышалось неутоленное раздражение. С грохотом отводил душу Беки Эсенов. Над гребнем отвала шаталось зарево четырех мощных

фар, прикрепленных одна к стреле, три другие к кабине. Причудливо озарялись изломы песка, и казалось, что где-то внизу, за черным гребнем, мечутся языки пламени.

Марина нацедила из цистерны воду в ковшик, залила рукомойник. Она всегда мылась перед сном. В темноте она стояла в трусах и плескала на себя пыльной, пахнущей нагретым железом водой.

Пробежав в будку, Марина легла на койку. Все было горячим, шершавым от пыли: полотенце, подушка, простыня, которой Марина укрывалась. Если б она жила одна, она бы, конечно, спала голая. Еще лучше было бы спать на воле, но там было чересчур ветрено, носило песок и фаланги наскакивали. А в будке хоть и душней, зато безопасно.

Полежала она минуты две-три, подумала о том, что тоска зеленая, мочи нет жить в песках, хоть вешайся,— и заснула.

Сквозь сон услышала: стукнула дверь.

В ясном, светлом от звезд проеме двери стоял кто-то черный, длинный, с раздвинутыми локтями. Нагаев. Он и раньше приходил иногда ночью, будил Марину шумом, она просыпалась и тут же засыпала опять, но сейчас в его приходе было что-то новое. Марина это почувствовала сердцем и испугалась. Он вошел слишком тихо. Он тихо шагнул и сел на койку Марины. Марина лежала затаив дыхание, с открытыми глазами.

Нагаев посидел, не двигаясь, потом стал шарить по краю простыни, отвисшей с койки, и вдруг положил ладонь на плечо Марины. Она молча ударила его по руке.

Он хмыкнул и, помолчав, сказал шепотом:

— А ты горячая. Как печка горишь.— И потянул за край простыни.— Зачем закуталась? Холодно разве?

— Тебя не спросила.— Она снова сильно шлепнула его по руке.

Некоторое время сидели молча.

— Ты почему пришел? Иди, иди, Семеныч! — сказала Марина.— А то ребята чего скажут...

— И так говорят. Сейчас пойду.

Рука его опять легла на плечо, но Марина на этот раз не ударила, а схватила крепко запястье и после секундной борьбы оторвала, оттолкнула. Неслышным голосом попросила:

— Уходи, Семеныч...

Он подошел к своему углу, долго там возился, хлопал

ладонью по койке. Зачиркал спичками, закуривая. У Марины страшно колотилось сердце.

Нагаев сказал, зевая:

— И то, надо идти... Я — за спичками, весь обыскался в кабине...

И ушел. Осталась открытой дверь, и в ней — серебряное, пустое небо.

Все было как всегда: ослепительная синева, ветер, то тихий, то порывчиками, и крохотные пылевые струи, вздувавшиеся над барханами. Вдруг Нагаев заметил из кабины, что в небе на юго-востоке появилась странная, войлочного цвета, полоса, похожая на плотно сбившееся облако пыли. Эта полоса изменялась на глазах. Она росла. Через минуту она превратилась в тучу и сделалась светлой, как песок.

Это был огромный вал песка, катившийся над пустыней с необыкновенной быстротой.

Впереди вала стремительно двигался, подскакивая и качаясь, тонконогий, наподобие чудовищного цветка, крутящийся песчаный столб.

«Как генерал скачет,— успел подумать Нагаев.— Сейчас по стреле шарахнет...»

Полнеба уже взбурело от поднятой в высоту пыли. Нагаев увидел, как Иван выпрыгнул из кабины и что-то закричал, размахивая руками, и стал карабкаться по откосу.

Нагаев тоже выключил мотор и начал снижать стрелу. Ему было тревожно. Он еще никогда не попадал в настоящий «афганец», и ему было тревожно за машину. Надо было как можно скорее опустить стрелу. Она, как назло, опускалась нестерпимо медленно! В последние секунды он уже не видел ковша: солнце исчезло. Стало темно, как в сумерках, от летящей песчаной мглы. Миллиарды песчинок трещали, колотясь о железо, лопнуло и вылетело стекло, кругом гудело, возник острый, удушающий запах, как будто одновременно выбивали пыль из множества старых ковров.

Нагаев спрыгнул на землю. Его тут же сбило с ног, и он пополз по откосу на четвереньках. До будок было шагов сто двадцать. Нагаев несколько раз падал, прежде чем добежал до ближайшей будки, где жили Беки, Иван и Чары Аманов.

— Во буранчик! Во дает, во дает! — по-дурацки хохоча, кричал Иван.

Аманов и Беки сидели, оцепенев, на корточках и с угрюмым равнодушием прислушивались к шуму бури. Будку трясло, она уже вся наполнилась пылью и удушливым запахом. Деревянная стена с одной стороны затрещала. Упираясь в стену плечами, Иван кричал:

— Во дает! Поехали, поехали в Мары без билета!

Будка в самом деле покачнулась и как будто немного сдвинулась. Нагаев с трудом распахнул дверь и, закрывая лицо рукавом, побежал к своей будке. Ему вдруг померещилось, что Марины нет дома, и он испугался.

Марины не было. Забившись под койку, трусливо скулила Белка.

— Где хозяйка? Куда ушла?

Нагаев сел на ящик. Белка вылезла из-под койки, и он почувствовал, как собака дрожит. Он машинально гладил ее, а она тихо взвизгивала, стараясь еще глубже сунуть голову меж его ног.

Внезапно оттолкнув собаку, Нагаев схватил свои мотоциклетные очки и выскочил из будки на волю. В пяти шагах ничего не было видно. Нагаев изо всех сил закричал: «Маринка-а!» — но голос его сразу унесся с песком и пропал. Больше кричать он не мог, в рот набилась пыль, он закашлялся.

Она ушла за дровами. Больше некуда. Обыкновенно она ломала саксаул в километре от лагеря: там был так называемый «как» — низинка, где скапливались весной дождевые воды, испарявшиеся к лету. Верно, там и захватил ее буран, там она и сидит. Или где-нибудь на дороге легла.

Нагаев двигался ползком, а как только он чуть выпрямлялся, ветер сшибал его с ног. Иногда он падал на песок и лежал, отдыхая, уткнувшись лицом в согнутую в локте руку, и ругался сквозь зубы. В нем все кипело от злости. Он ненавидел Марину. Ненавидел за то, что пошла, дура, не вовремя за дровами, и за то, что струсила и сейчас лежит где-нибудь в яме и ревет белугой, и за то, что надо искать ее, ползти, задыхаться от страха. Он ненавидел ее за то, что ему самому было очень страшно. Однако он продолжал двигаться. Потеряв всякую осторожность, он удалялся от лагеря все дальше. Он все время держался тракторного следа — это был единственный ориентир,— до тех пор, пока не начался крутой и долгий подъем и тракторный след повернул в обход, по склону бархана. Но Нагаев должен был перевалить через этот бархан и потом еще через один и по-

том пройти мимо большого куста черкеза, на котором висит консервная банка. И там уже близко, в тридцати шагах, была эта впадина.

Он отчетливо представлял себе весь путь, который надо проделать, но не верил в то, что найдет Марину. Его движение было перпендикулярно движению ветра, поэтому его все время сносило вправо, и он полз боком, левым плечом вперед, и это было похоже на плавание через реку с сильным течением. Но не видно было берега. Ни того, ни другого.

«Черт дурной! — ругал себя Нагаев.— Ребятам не сказал, сорвался! Теперь жри песок, подыхай, балда ослиная, каюк тебе тут...»

Тракторный след пошел по склону. Надо было отрываться от него: в сторону и вверх. Это значит отрываться от лагеря окончательно. Не задумываясь, Нагаев полез на четвереньках наверх. Кожа на его лице и на руках горела, как будто ее нахлестали веником.

Перед тем как подняться на второй гребень, Нагаев долго лежал в низине, собираясь с силами. Злоба его иссякла. Ему было слишком страшно, чтобы злиться. Он старался все делать не думая: просто отдыхать, а потом ползти, карабкаться по рыхлому, горячему склону, отворачивать лицо, дышать сквозь ладони, как сквозь маску, и потом катиться вниз, задыхаясь от пыли и выхаркивая пыль изо рта. Но в глубине сознания за всем страхом, болью, упрямством и озлоблением брезжила трезвая мысль: если за вторым барханом пусто, тогда — назад, немедля назад!

Через полчаса, когда стало совсем темно,— а было, наверно, не больше семи вечера,— Нагаев дотащился до впадины, и наткнулся руками на первое дерево саксаула, и стал кричать, и не удивился, когда ему ответил пронзительный вопль Марины и она выскочила вдруг из темноты, схватила его за руки, как будто боялась, что он может уйти, и от радости упала на колени, и он тоже упал, потому что силы его кончились.

— А я лежу и слезюсь... и слезюсь...— всхлипывая, шептала Марина.

Нагаев сел на песок. Ну вот, он догадался правильно: она лежала под деревом и ревела. Раздражение против нее вскипело в нем с новой силой, он встал и дернул Марину за руку:

— Вставай! Нечего тут...

Марина покорно поднялась, не выпуская руки Нагае-

ва из двух своих. Она даже прижала его руку, как какую-то драгоценность, к своей груди, это было уж слишком, и он вырвал руку и сказал:

— Ну, пошли, что ли?

— Семеныч! Сенечка ты мой родной! — вдруг заголосила она громко, рыдающим голосом и бросилась к нему на шею, и ему пришлось обнять ее, чтоб удержаться на ногах.— Спасибо тебе, Сенечка! Родной мой, спасибо! Спасибо! Тыщу раз тебе спасибо! Мильон раз тебе спасибо! — Она торопливо, жадно целовала Нагаева.— Я уж думала — конец мне приходит. Ни один, думаю, паразит не вспомнил, и папки нету. И вдруг — ты... Сенечка мой родной!

Она изо всех сил обнимала его, прижималась к нему мокрым, шершавым лицом. Нагаев, встряхнув Марину за плечи, слегка отстранил ее.

— Ладно... Кончай, ну!

— Хорошо, Семеныч...

— Айда. Держись за меня.

— Держусь!

И Марина держалась. Она держалась так крепко, что обратный путь показался Нагаеву втрое длинней. Она не отпускала его ни на метр. То она хватала его за руку, то висла на плече, то обеими руками цеплялась за ремень от брюк. Она объясняла, что держится за него потому, что боится открыть глаза, как бы песком не засыпало. «Афганец» стихал, песок мело реже, но было все так же темно, теперь уже не от песчаной мглы, а от вечернего сумрака, и приходилось останавливаться и отыскивать тракторный след.

Когда Нагаев хотел отойти от Марины в сторону, чтобы разглядеть след получше, она с криками цеплялась за него и принималась плакать, и Нагаев ругался последними словами. Марина висела на нем, как прикованная. Оторвать ее могла только смерть.

— Ой, боюсь, боюсь, боюсь! — причитала она хриплым, кликушеским голосом.

— Да чего боишься? Ведь здесь я! Вот дурища!

— Ой, боюсь, боюсь, боюсь...

— Тьфу, черт!.. По скуле тебе дать, что ли?

— Ой, боюсь, боюсь...

Несколько раз Нагаев пытался по-разумному втолковать Марине, что убегать от нее нет ему никакого резона, что он специально ушел из лагеря затем, чтобы найти ее и привести домой, а не затем, чтобы убегать от

нее, и что своим цепляньем она мешает соображать, тормозит движение и добьется того, что они застрянут до ночи и будут ночевать в песках. Марина как будто и понимала его слова, но страх был сильнее всякого понимания, и она твердила одно: «Ой, боюсь, боюсь...»

Наконец, обессиленный этой борьбой и усталостью, Нагаев сел на песок и сказал, что не знает, куда идти дальше, и в общем — каюк, придется тут куковать до света.

Марина смиренно опустилась с ним рядом, притерлась к нему боком и затихла. Для нее было, кажется, главное дело — не отпускать Нагаева. Рядом с ним она ничего не боялась. Она даже дремать пристроилась: голова ее легла на плечо Нагаева, и она вздохнула глубоко и покойно.

«Ну и дура девка! — думал Нагаев с тоской.— Ладно, погоди ж ты... Пересидим до утра...»

Но до утра им сидеть не пришлось. Через полчаса сквозь шум ветра прорвался чей-то крик. Марина вскочила на ноги и завопила тем пронзительным, визжащим голосом, каким она вопила, когда услышала Нагаева. В темноте мелькнули два фонаря. Первой ссыпалась по песчаному склону Белка, потом подбежали Иван и Беки, затормошили, задергали, подняли Марину на руки, а потом Иван оттолкнул Беки, сгреб Марину в охапку и понес один, как ребеночка. Нагаев, позабытый всеми, ковылял в потемках сзади. Одна Белка радостно прыгала вокруг него и тыкалась мордой в его ноги.

Идти оказалось недалеко. Лагерь был за барханом.

Сначала сидели в будке у Марины и Нагаева, пили холодный чай и при свете фонаря переживали заново все, что было. Марина весело рассказывала, как она хваталась за Нагаева, и передразнивала себя: «Ой, боюсь, боюсь!» Все были возбуждены, смеялись над Нагаевым: «Гляди, какой прыткий,— побежал спасать! Ай да Семеныч!» Белка крутилась волчком по полу, подпрыгивала и клала лапы то на одного, то на другого.

— Скажите Белке спасибо: она всю панику подняла, влетела к нам в будку и давай выть,— сказал Иван.— А то бы нам и невдомек...

Он сидел на койке рядом с Мариной, обнимал ее и одновременно растирал ей бок своей огромной ладонью под видом того, что она озябла и надо ее согреть. И Марина прижималась к нему. А когда он нес ее на руках, она обнимала его за шею. Все это не очень нравилось

Нагаеву. Не нравилось ему и то, что они сидели на койке рядом, говорили и смеялись громче всех, и выходило так, будто все сделал Иван, а он, Нагаев, вроде как бы посторонний.

И в рассказе Марины ему уже слышалась насмешка: «А Семеныч весь трясется, глаза злющие: отпусти, говорит, а то по скуле! Ой, умора!» Она заливалась хохотом. «А он, значит, выдергивается?» — спрашивал Иван. «Ага, психовал жутко. А я ни в какую: вцеплюсь, как пиявка!..»

Смеясь, все поглядывали лукаво на Нагаева, а он надувался все сильнее.

Когда гости ушли, стало слышно, как шумит ветер. Восточная стенка дала трещину, в щели свистело. Нагаев выключил фонарь. Подойдя к койке Марины, он так резко и грузно опустился на койку, что затрещал брезент. Нервность, раздражение и усталость многих часов переполняли его. Он не мог произнести ни слова: просто обхватил Марину за плечи, придвинул к себе, стиснул так, что она охнула. И Марина не оттолкнула его. Она тоже обняла Нагаева крепкими руками и прошептала: «Спаситель ты мой!»

Погодя минуту, оторвавшись от его жесткого рта, сказала дрожащим шепотом:

— Ой, Семеныч, я как чума грязная... Принеси ведро, вымоюсь.

Самолеты в Керки и вообще никуда на восток не вылетали, потому что оттуда шел «афганец». Пришлось сесть в автобус и возвращаться в город.

— Какая-то ересь,— ворчал Карабаш.— Абсолютно чистое небо. Нам лету-то полчаса...

Хорев молча смотрел в окно. Автобус остановился в центре города, рядом с базаром и почтой. Было около восьми вечера, базар давно обезлюдел. Несколько колхозников сидели, подложив под себя пустые мешки, на краю тротуара и разговаривали с милиционером. Они ждали загородного автобуса. Милиционер сидел рядом с ними на корточках.

Шофер аэродромного автобуса спрыгнул на землю и, подойдя к милиционеру, пожал ему руку и тоже присел на корточки. Они стали разговаривать по-туркменски. Шофер показывал на небо. Колхозники смотрели на небо, качали головами и цокали сочувственно.

— Что будем делать? Возвращаться к Степану Ива-

новичу неловко,— сказал Хорев.— Мы уже простились.

— Можно и вернуться,— сказал Карабаш.

Дело было не в неловкости, а в том, что Хореву не хотелось снова встречаться с Ермасовым. Два дня шло совещание, на котором обсуждался план Ермасова — Карабаша о создании озер и окольцовочных дамб. Карабаш прилетел только на второй день, его вызвали по радио. Его вызвал начальник политотдела Нури Гельдыев для того, чтобы немного попридержать расходившегося Ермасова: тот был настроен непримиримо. Особенно зло, на каждом слове, он резал Хорева. Накануне совещания появилась газета с хоревской статьей, но эффект этого появления был совсем не тот, на который рассчитывали тайные и явные ермасовские противники,— Ермасов как будто не заметил статьи. Не сказал о ней ни слова. Но холодная враждебность, с которой он держал себя с Хоревым, Баскаковым и их единомышленниками, говорила лучше всяких слов: Ермасов стоит прочно, защищаться не намерен и сочинителям не простит.

От своего плана окольцовки озер Ермасов не отступил ни на йоту. Его не смягчило даже то, что на совещание пришел секретарь обкома партии Эрсарыев со специальной целью урезонить и примирить противников. Баскаков уехал в Ашхабад со словами: «Это бесконечное мордование проекта мне надоело! Я снимаю с себя всякую ответственность»,— на что Ермасов ответил: «Штаны вы можете с себя снять, а не ответственность. Отвечать придется».

И наконец последним агрессивным действием Ермасова был его неожиданный приказ, согласно которому участок с 234-го километра по 260-й отнимался от «Восточного плеча» и передавался «Западному плечу». Это был участок, где находились будущие озера. Карабаш таким образом вышел из-под начальства Хорева.

Хорев сказал Ермасову:

— Проще было уволить одного Хорева, если ему нет доверия.

— Уволить тебя, Геннадий Максимович, было бы бесчеловечно,— сказал Ермасов серьезно.— Тебе ведь два года до пенсии.

Хорев побелел, но смолчал. После, когда Хорев вышел из комнаты, Карабаш рассказывал Ермасову о новых идеях насчет бульдозеров. Собственно, метод был уже найден. Он родился из совместных усилий механизаторов, механиков и инженеров. Теперь нужны маши-

ны — пятнадцать или хотя бы двенадцать машин, и тогда весь мир ахнет от чудес, которые натворят бульдозеры. Ермасов слушал настороженно, без сочувствия, ничего не обещал и сказал, что приедет сам и посмотрит. Внезапно он сказал:

— Самое подлое в его статейке знаете что? То, что он примазывает меня к той публике...

Все-таки его задело сильно. Он думал о хоревской статье все время. Карабаш сказал, что вряд ли эта статья произведет на кого-нибудь впечатление: она слишком не конкретная, общие места.

— Плевать я хотел! — рассердился Ермасов.— Она произвела впечатление на меня, и этого достаточно. Самое гнусное! Вы молодой человек, Алексей, вам трудно понять, как все это сложно переплелось. Да, я работал на стройках, где были заняты заключенные,— начать с того, что я сам одно время был заключенным,— и он тоже работал на таких стройках, но мы это делали по-разному. Понимаете? Он из тех, кому во все времена живется сытно,— в этом его тараканье счастье.

— И сейчас ему будет сытно?

— А что ж? Конечно. Ведь он занимает место, которое ни по своим талантам, ни по знаниям занимать не должен. Потому что дружки в управлении, старые связи в министерстве и наше с вами маханье руками: «А, черт с ним! Некогда возиться. Пускай сидит...»

— По-моему, ненадолго ему этот фарт,— сказал Карабаш.

— А неизвестно. Я ж сказал: тараканье счастье. Родиться тараканом — это, знаете, большое дело...

Потом Карабаш поехал в гостиницу, оттуда вместе с Хоревым на аэродром, и теперь они стояли на площади перед базаром и не знали, что делать.

— Пойдемте в гостиницу,— сказал Карабаш.— А то придет ашхабадский поезд и расхватают места.

— Ашхабадский приходит в десять,— сказал Хорев.

— А что делать?

— Выхода нет. Пойдемте...

Одно дело лететь полчаса в самолете, где можно не разговаривать и все время смотреть в окно, и другое — провести вместе целый вечер.

В гостинице им дали номер на троих на первом этаже, рядом с вестибюлем. Они спрятали портфели в шкаф, положили свои соломенные шляпы на кровати, застеленные с казарменной тщательностью, и вышли на

улицу. На каменных ступенях крыльца, где были вырезаны арабские буквы, стояли швейцар и парикмахер и смотрели в небо. Они уже знали, что люди вернулись с аэродрома, потому что идет «афганец». На улице дул порывистый ветер, несло пыль. Чья-то белая шляпа быстро катилась по тротуару, переворачиваясь на лету, как бумага.

Хорев, наверное, догадывался, что, когда он ушел из треста, Ермасов и Карабаш говорили о нем. Но он ничего не спрашивал, говорил о пустяках.

Он сказал, что у него тут была одна знакомая учительница, одна армяночка, которую он не видел два года. Можно навестить. Надо как-то убивать вечер. Если товарищ Карабаш не слишком изнурен совещанием...

Он говорил все это так вяло, скучно, зевая и глядя по сторонам, что было ясно: никакого попутчика, тем более Карабаша, ему не нужно и говорится это для того, чтобы оправдать свой уход и заодно побахвалиться. Карабаш усмехнулся, вспомнил: «Тараканье счастье» — и спросил серьезно:

— Интересная женщина?

— Ну, как вам сказать... Откуда тут взяться интересной? Между прочим, играет на пианино. Так пойдем, что ли?

— Да нет,— сказал Карабаш.— Я, знаете, тяжелая артиллерия.

— Правда? А у меня было другое впечатление. Ну, я пойду. Это недалеко, в соседнем квартале.

Он побежал через улицу, подпрыгивая от ударов ветра. По улице стеною несло пыль. В воздухе стало душно и сухо. Трещали деревья, тучами летели содранные с них листья.

Карабаш постоял немного, обдумывая последние слова Хорева. Они были неприятны. Что он имел в виду, сказав о «другом впечатлении»? Есть люди, которые умеют невзначай, вскользь говорить неприятные вещи, и потом ломай себе голову: случайно это сказано или преднамеренно? «Черт с ним»,— подумал Карабаш и вошел в вестибюль.

Было сумеречно, но света не зажигали. Карабаш вошел к себе в номер и повернул выключатель — электричество не работало. Карабаш сел на кровать и стал смотреть в окно. Он видел квадратный внутренний двор, обычный для построек персидского типа: до революции в этом здании был купеческий караван-сарай. Двор окай-

мляла деревянная галерейка, от которой в номерах было темно, а посреди двора стоял небольшой фонтанчик с круглым цементированным бассейном. «Он все наврал насчет армяночки. Для того, чтобы сказать мне последнюю фразу,— вдруг решил Карабаш.— И для того, чтобы смыться на целый вечер. Впрочем, хорошо, что он смылся».

Карабаш достал бумагу и начал писать письмо в Ашхабад, но было чересчур темно. Он уже послал одно письмо на главный почтамт, до востребования. Прошло всего пять дней со дня отъезда Валерии, и одиннадцать оставалось до ее возвращения. Он считал дни, потому что думал о ней все время. Он думал о ней даже тогда, когда, ему казалось, он думает о чем-то другом. С ним так никогда не было.

Карабаш лег на кровать и закрыл глаза.

Он вспоминал ее так медленно, так подробно, что у него забилось сердце и пересохло во рту, и он встал и подошел к столу, чтобы выпить воды. Здешняя вода отдавала гнилым деревом. Она была мутная, и даже сейчас, в потемках, был виден на дне графина темный осадок. И Карабаш подумал о другой воде, замечательной и сладкой, которую они тащили сюда с востока, из Амударьи. И которую он пил по ночам. И обливался ею.

Без стука открылась дверь и вошел какой-то человек. Это был третий жилец. Он держал в руке свечу и делал маленькие шажки, направляясь к своей кровати в углу.

Он поставил свечку на тумбочку, а сам сел на кровать.

— Что там со светом? — спросил Карабаш.

— Говорят, повреждение на станции,— сказал человек, половина лица которого была освещена свечой. У него почти не было подбородка.— Очень нежная станция. Чуть что — повреждается. Буфет открыт, не знаете?

— Не знаю,— сказал Карабаш.

— Уж очень нежная станция,— повторил человек без подбородка.— Весной, когда разлился Мургаб, тоже было повреждение. Я в кино сидел, смотрел картину, вдруг — бац, темнота, сеанс окончен. Тут это запросто. И даже денег за билет не вернули. Пойдемте взглянем: может, буфет открыт?

Они пошли. Буфет был открыт. На прилавке и на трех столах горели керосиновые лампы. Буфетчик сказал, что он пережидает буран, потому что ему далеко

идти домой. Весь вечер буфетчик щелкал на счетах и что-то писал.

Соседа Карабаша по номеру звали Игнатием Петровичем, он был биологом и работал на опытной лесной станции где-то на западе, в песках. Сюда он приехал в командировку. Подбородок у него был, но очень незначительный. Зато была пышная рыжеватая шевелюра.

Игнатий Петрович занимался проблемой закрепления песков. Аэросев саксаула, механические защиты и тому подобное. Он рассказывал о специальной машине для обескрыливания семян саксаула, изобретенной им, которую до сих пор не могут внедрить в производство.

Карабаш сумрачно жевал круглую сухую ковригу, называвшуюся пирожным, и запивал ее чаем. Вдруг он спросил:

— Вы знаете экспедицию Кинзерского?

— Конечно,— сказал Игнатий Петрович.— У нас общий шеф: Академия наук.

— Валерию Зурабову, биолога, тоже знаете?

— Знаю. А что?

Карабаш молчал. В самом деле: «А что?» Видя, что Карабаш молчит, Игнатий Петрович продолжал сам:

— Валерию Николаевну я знаю отлично. И всю их экспедицию знаю. Они сейчас на трассе канала, а полтора года назад стояли на Челекене, в районе Даганжика. Вот там я с ними познакомился. Ну как же! Валерия была там первый человек.— Он посмотрел на Карабаша как-то выжидательно.

— Почему первый человек? — спросил Карабаш.

— Нет, не по должности, а вообще, так сказать.

— Да?

— Ну конечно,— и он еще раз выжидательно взглянул на Карабаша.

— А сейчас как? — спросил Карабаш.

— Я не знаю. Вы с ней знакомы?

— Немного.

— Не знаю, как сейчас. Я ее не видел. Кинзерского тоже не видел, никого не видел. Я тут занят на заводе с моим обескрылывателем. Представляете, анекдот: три недели не могут сделать оси, потому что снабженцы перепутали накладные и наше железо попало в Чарджоу.

Карабаш не слушал его. За окном шумел ветер. Где-то ударила ставня, полетело стекло.

— Из-за своей крылатки семена саксаула имеют большой объем,— говорил Игнатий Петрович.— Что у

нас получается? В бак входит очень мало семян. Вот зачем требуется обескрыливание...

Отворилась дверь, и в буфет вошел Хорев.

— И затем, конечно, чтобы семя не гнало ветром...

Хорев подошел к столу, за которым сидели Карабаш и Игнатий Петрович. Лицо у него было грязное и брезгливое. Брови, губы и ноздри были темные от пыли.

— Дайте мне ключ от комнаты,— сказал он.

— Пожалуйста,— сказал Карабаш.— Я думал, вы придете поздно или уж утром.

— Нет. Спасибо.— Он взял ключ и ушел.

Когда через двадцать минут Карабаш и Игнатий Петрович вошли в комнату и зажгли свечу, Хорев уже спал или, может быть, делал вид, что спит. Он лежал на боку, закутавшись с головой в одеяло. Карабаш попробовал сесть написать письмо, но после получасового раздумья написал три строчки и порвал бумагу.

Он лег в постель и стал высчитывать, когда «афганец» домчится до Ашхабада. Скорость ветра была примерно двадцать пять — тридцать метров в секунду. Это около ста километров в час. Ночью, как правило, сила ветра снижается,— значит, остатки «афганца» докатятся до Ашхабада утром или, в крайнем случае, к полудню. Ему пришло в голову, что он мог бы с «афганцем» передать что-нибудь Валерии. Какую-нибудь записку, несколько слов. И он стал думать над тем, какие самые важные слова он должен сказать Валерии. Но это было уже во сне...

Я стоял на улице и ждал их минут сорок и очень разозлился. Наконец они подъехали. Темно-вишневый «Москвич» с запылившимися крыльями резко затормозил перед гостиницей, из машины выскочил Атанияз и побежал ко мне. Он стал поспешно оправдываться: по всему городу искали минеральную воду, потом заезжали за Катей, заправлялись горючим, а колонка возле базара закрыта, пришлось ехать на улицу Энгельса.

Когда я влез в машину, я увидел, что Кати нет. На заднем сиденье сидел Борис Литовко, а впереди, рядом с Атаниязом,— жена Атанияза Клара. Я не стал спрашивать про Катю, но когда мы выехали на проспект, Клара обернулась ко мне и сказала:

— А за Катей мы заезжали. Она не захотела ехать. Говорит, очень ветреный день.

— Ну и что? Ведь мы в машине.

— Она была в бане, вымыла голову и боится, что сильный ветер и пыльно...

— Умница,— сказал Борис.— Только кретины могут ехать в такой день в горы.

Атанияз хмыкнул за рулем. Эту поездку затеяли ради Бориса, чтобы его развлечь. По воскресеньям он превращается в желчного неврастеника. Клара поглядела на меня и на Бориса своими черными сверкающими глазами, спросила строго:

— Борис Григорьевич, а что бы вы делали дома?

Клара — наполовину туркменка, наполовину курдянка, она серьезная женщина, заканчивает аспирантуру в мединституте. Ее специальность — болезни почек.

— Читал бы книжку.

— Это два часа, три, а после?

— У меня есть дела, не волнуйтесь.

— Ну, а все-таки? А вечером?

— Зашел бы Денис. Что-нибудь рассказал бы.

— Петя, что ты там молчишь? — спросил Атанияз.

— У Пети испортилось настроение,— сказала Клара.— Из-за погоды. Посмотрите на горы: видите, какая пыль? Это ветром нанесло из пустыни.

Горы были заволочены желтой дымчатой пеленой.

Атанияз правил лихо, мы все время шли на восемьдесят — сто и в городе обогнали две «Волги». Но потом, на шоссе, они, конечно, обошли нас: они тоже ехали в Фирюзу. По воскресеньям тут все, кто может, едут в Фирюзу. Даже в такой день, как сегодня. Мы обгоняли велосипедистов и грузовики, где тесными рядами сидели любители коллективных прогулок; мы видели обдутые ветром, как бы застывшие лица, разинутые, поющие рты и треплющиеся волосы. За городом, на открытом месте, ветер жестоко усилился. Иногда налетала такая туча пыли, что мы ехали несколько секунд как в тумане. Атанияз сказал, что в пустыне прошел «афганец», песчаный буран, то же самое, что гармсиль, а также хамсин или шамсин.

Слева по шоссе лежали на холмах рыжие виноградники колхоза «Багир», справа была равнина, плоско уходившая на север. На равнине там и сям виднелись полуобрушенные глиняные стены. Через полчаса мы въехали в рощи орешника и алычи, и дорога начала виться и незаметно подниматься вверх, и скоро мы оказались на дне ущелья и опустили стекла на окнах, потому что пыли здесь совсем не было и в кабину вливался чистый горный воздух. Мы свернули с дороги и остановились

возле ивовых зарослей. Высоко и отвесно поднимались горы. Они были слоистые, желтовато-белые и голые, на них не было никакой зелени, ничего, кроме трещин и складок. Наверху, рядом с вершинами, сияло маленькое голубое небо, а внизу была каменная свалка, россыпи, пирамиды камней. Одни камни выломались из скалы недавно, другие уже обтерло время. От камней шел жаркий каменный запах. Под ивовыми зарослями текла речка Фирюзинка. Атанияз обвязал веревками горлышки бутылок с минеральной водой и осторожно спускал бутылки в воду. Борис и Клара расстилали на земле клеенчатую скатерть.

Я сел возле воды на землю, мягкую от травы. Давно я не видел травы. Она была негустая, но яркая, росла клочками, жадно торча отовсюду, даже из камней.

Никто не знал, что сегодня, в последнее воскресенье лета, мне исполнилось тридцать два. Прожита половина жизни. Странно: половина жизни, а ощущение такое, будто настоящего еще не было, главная жизнь впереди. Куда, собственно, я девал эти годы? Нет, настоящее было, но недолго, лет до одиннадцати, детство было настоящее, а потом все полетело кувырком: отрочество ни к черту, юность искалечена войной, а потом непрерывная борьба за то, чтобы быть человеком, несмотря ни на что. Всю жизнь я изо всех сил старался поправить непоправимое. И тысячи других занимались тем же самым. Пока вдруг не сломалось время — неожиданно, как ломается нож. Вот куда ушли эти годы: в ненастоящую жизнь. Но настоящее будет! Оно не может не быть! Оно придет, наверно, неслышно, как молодая трава, и мы даже не догадаемся сразу, что вот оно — здесь. А оно будет здесь. И уже кому-то другому, кто будет моложе нас, оно покажется недостаточно настоящим.

Подошел Атанияз и сел рядом со мной на камень.

— Это и есть Фирюза? — спросил я.

— Нет, Фирюза дальше. Тут просто ущелье.

— Как тут красиво, правда? — сказала Клара и с блаженным видом потянула носом.— И какой воздух, чувствуете?

— Да, конечно.

— Здесь замечательно красиво. А дальше будет еще красивей,— сказал Атанияз с гордостью.— Гораздо красивей, чем на Кавказе.

— Здесь красиво,— подтвердил я.— И, главное, тут растет трава.

Наутро Хорев был бодр, разговорчив, шутливо рассказывал о своих вчерашних блужданиях в бурю — совсем другой человек! Он позвонил из вестибюля гостиницы в аэропорт, узнал, что самолет отлетает в двенадцать, и сказал об этом Карабашу, который брился, сидя на кровати перед тумбочкой. Игнатий Петрович уехал, не попрощавшись, рано утром.

— Вот вы считаете меня консерватором. Признайтесь, ведь так? — сказал Хорев, садясь на кровать напротив Карабаша.— А я вовсе не консерватор.

— Разве нет? — спросил Карабаш, глядя в зеркало.

— Честное слово, нет. Я просто укорачиваю ваши загибы, усмиряю ваши завихрения.

Он улыбнулся благодушно и по-приятельски.

— Я, так сказать, осуществляю роль трения: торможу, сдерживаю движение и одновременно делаю это движение возможным. Понимаете?

— Почти.

— Вы, как инженер, должны понять. Поезд мчится по рельсам благодаря трению. Не будь трения, все полетит к черту, в тартарары! Так вот я и есть трение. Я выполняю эту благородную и, если хотите, жертвенную роль: роль Великого Противодействия.

Карабаш повернулся к нему намыленной щекой.

— Вы серьезно?

— Вполне. Если рассуждать диалектически,— ведь вы диалектик, марксист? — то в прогрессе в равной степени повинны те, кто его добивается, и те, кто ему противится. Это плод, так сказать, совместных усилий.

— Поздравляю вас...— пробормотал, не разжимая зубов, Карабаш, продолжая намыливать подбородок. Видеть и слышать улыбающегося Хорева было почему-то еще неприятнее, чем ощущать его враждебность.

Хорев встал и принялся ходить по комнате. Футбольным ударом он отбросил попавшую под ногу корзину для бумаг.

— Я, чтоб вы знали, невыносимый психопат. Вчера я был в ужасном настроении, мне все было противно, весь мир противен, и вы особенно. Я не мог видеть вашей физиономии. Знаете, в чем дело? На меня действовала погода, этот бесссмысленный ураган, пыль, тьма. А сегодня чудесный, спокойный день.

— И вы примирились со мной до полудня, когда наступит жара?

— Да, я примирился и даже нашел в вас достоинства: вы не храпите ночью.

— Геннадий Максимович, а вы знаете, что по вашей теории можно и Чингисхана причислить к деятелям прогресса?

— Можно, дорогой, можно. Как это вы сообразили? — Хорев вдруг засмеялся и потрепал Карабаша по плечу.— Нехорошо, стыдно! Вы молодой человек, двадцать семь лет, юноша, вы должны понимать юмор, должны быть легким, игривым, хватать на лету. Ай-ай, это плохо, если у вас этого нет. Ну, тогда пойдемте в буфет, опрокинем по рюмке чая...

За завтраком Хорев вдруг, без всяких предисловий, начал говорить о Ермасове, которого он называл Степаном. Оказывается, он считает Степана выдающимся самородком, крупнейшим инженерным талантом, самым крупным в республике, а может быть, и во всей Средней Азии. Оказывается, он безмерно уважает Степана. Преклоняется перед его размахом, смелостью, перед его сокрушительной энергией и мужицким упрямством. Любит его, как брата, несмотря на все его фокусы и невыносимый характер самодура.

— Можно любить самодура? — спросил Карабаш.

— Конечно! Спросите женщин, они вам скажут: да. Я восхищаюсь напором и силой, с какой он ломится напрямик, как слон через джунгли. И даже когда он топчет меня ногами, я восхищаюсь яростью, с какой он это делает.

— Разве он вас топтал когда-нибудь?

— Неоднократно. Вы не застали, это было раньше. Но сейчас я восхищаюсь его выдержкой: смотрите, он клокочет, как самовар, готов убить меня, расстрелять за мою статью и, однако, не говорит мне ни слова. Для него это героический поступок. Колоссальный сдвиг. Кстати, я вижу в этом заслугу моей статьи: я ведь как раз пишу там, что он криклив, невыдержан, взрывается от малейшей критики...

— И, однако, статейка вас не украсила.

— Согласен, согласен! Абсолютно! Я ведь хотел объясниться со Степаном, но чувствовал, что нарвусь на грубость. Объяснюсь, когда он остынет. Ведь тут какая ситуация: эти товарищи из Института гидромелиорации и Управления водными ресурсами — вы знаете, о ком я говорю,— до сих пор не могут простить Степану его идеи переброски механизмов в пески и таким образом

переворота всей идеи проекта. Вот кто истинные консерваторы! Но у них есть связи, и крупные. Потому что, когда ко мне обратились из газеты...

Карабаш думал: он рассказывает все это, чтобы я передал Ермасову. Сам трусит. Как трудно иметь с ним дело!

— Я сразу понял, что они в курсе моего выступления на июньском производственном совещании,— говорил Хорев,— помните, когда я впервые высказался против окольцовки озер? Но то, что они сделали с моим текстом,— это такая беспардонность, такое попрание...

Карабаш посмотрел на часы. Через сорок минут надо было ехать на аэродром. Неясное беспокойство томило Карабаша. Оно возникло, может быть, от раздражения против Хорева. Он поднялся.

— Пойдемте, нам пора ехать.— И вдруг сказал резко: — Но ведь, как ни крути, Геннадий Максимович, вы были против окольцовки озер? И против других отступлений от проекта? И против переброски механизмов тоже? Ведь это факт! Зачем вы сейчас оправдываетесь?

— Я не оправдываюсь. Подождите, садитесь! У нас час времени.

— Не час, а сорок минут. Пока дойдем до остановки автобуса...

— Но я не хочу разговаривать с вами на ходу, черт возьми! Садитесь, садитесь!

Карабаш сел. Хорев заговорил с поспешностью и азартом, его мясистое лицо покраснело.

— Да, я возражал Степану, и это не секрет. Я нисколько не оправдываюсь. И до сих пор считаю: зачем дразнить гусей? Зачем восстанавливать против себя и управление и весь штаб проектировщиков? Но я высказал свои соображения объективно, а в газете все это безобразным образом исказили, усугубили...

— Не в том дело: две фразы убрали, две фразы прибавили,— сказал Карабаш и снова поднялся. Хорев тоже встал.— Вы поступили некрасиво, понимаете? В самый острый момент, в разгар борьбы, ставите нам подножку. А ведь вы — наш, вы строитель. Причем — бессмысленно. Все равно Ермасов поступит по-своему.

— Товарищ Карабаш, вы забываете, что наступило другое время — время коллективного руководства, коллективного разума!

— Да, но главное — разума. А вы боитесь довериться разуму. Так что это время не ваше.

Карабаш быстро пошел к двери.

— Куда вы?

— Сейчас вернусь. Я хочу позвонить в трест.

— Какой трест? Сегодня воскресный день! Оскорбил, обозвал и помчался...

— В самом деле,— Карабаш остановился.— Меня тревожит буран. Вчера мои бензовозы ушли за горючим в Сагамет.

— Позвоните Степану домой. Если что-нибудь случилось, ему сообщат. Спросите, не икалось ли ему: говорим о нем целое утро...

Карабаш вышел. Хорев допил чай, расплатился с буфетчиком и побежал в номер. В возбуждении он стал ходить по комнате, что-то бормоча, размышляя вслух, и машинально собирал свои вещи: бросал в грузный, широкодонный, как саквояж, портфель из толстой свиной кожи полотенце, мыльницу, домашние туфли, журнал «Огонек» и свежие газеты. Потом он прилег на кровать, чтобы отдохнуть минут десять от нахлынувшего возбуждения, и в это время вошел Карабаш.

— Так вот,— сказал он.— В нескольких местах занесло Пионерную траншею. Особенно в районе двести двадцатого — двести двадцать шестого километров. В других местах меньше.

— Кто сказал? — с живостью вскочив и садясь на кровати, спросил Хорев. У него сделались круглые, испуганные глаза, как будто его внезапно, среди ночи, разбудили.

— Ермасов сказал. Он летит на трассу с четырехчасовым самолетом.

— Куда летит?

— К нам на Инчу.

— А кто ему сообщил?

Карабаш, не отвечая, быстрыми движениями приводил в порядок свою постель, собирал вещи, засовывал бумаги в портфель, потом взял со стола шляпу и нахлобучил ее.

— Сообщили,— сказал он.— Идемте.

— Сейчас, сейчас...— Хорев в волнении кружил по комнате. Он обдумывал внезапную, поразившую его новость и одновременно искал свою шляпу, найти которую было трудно. Наконец он увидел шляпу под кроватью Карабаша, схватил ее и выбежал на улицу.

Карабаш уже шагал, не оглядываясь, по направлению базарной площади, где была остановка автобуса. Полу-

чилось так, что в автобусе они сели на разные скамейки. На аэродроме тоже не удалось поговорить. И только в самолете, в маленьком, бутылочного цвета «Ан-2», где пассажиры сидели двумя рядами друг против друга, Карабаш и Хорев сели вместе. Оглушительно трещал мотор. Самолет трясся, покачивался и по временам точно сваливался с одной ступеньки на другую.

Все пассажиры сидели молча, и Карабаш и Хорев тоже молчали. Карабаш чувствовал, что Хорев давно хочет что-то сказать, но сдерживается. Он почти физически ощущал напряженное, скованное молчание Хорева. Было очень душно. Карабаш снял шляпу, пальцами стряхнул капли пота со лба и сказал:

— Вы должны радоваться, что мой участок передали «Западу». Теперь эта заваруха вас не касается.

— Как? — переспросил Хорев. Очень шумел мотор.

Карабаш повторил то же самое громче. Хорев повернул к нему лицо с тем отчужденным и брезгливым выражением, какое было у него вчера, когда он пришел в буфет за ключом.

— Меня это касается чрезвычайно близко! — сердито закричал он, брызгая в ухо Карабаша слюной.— Потому что я был один из тех, кто предупреждал об опасности! Но с Ермасовым невозможно спорить! Меня называли кетменщиком! Вот плоды ваших экспериментов, вашей инициативы! И вы еще слишком молоды, чтобы упрекать меня в некрасивых поступках,— понятно?

Лицо его покраснело, уши стали малиновые, он отвернулся. Он выкрикнул все, что хотел.

Карабаш засмеялся и не ответил. Он вытер ладонью ухо, повернулся к Хореву спиной и стал смотреть в иллюминатор. Внизу текла залитая полдневным жаром, безобразная, рябая пустыня. «Какая сволочь,— подумал Карабаш.— Какая огромная плоская и никому не нужная сволочь. Ну, погоди ж ты: мне бы хоть пятнадцать бульдозеров, и я из тебя дух вышибу, гадина!»

9

Прошла еще неделя — Марютин не возвращался. Аманов уехал за ним вдогонку и тоже пропал. Гусейн Алиев, шофер с автолавки, сказал, будто сменщики ремонт экскаватора вовсе забросили и собираются, по примеру Егерса, садиться на бульдозер. Каждый день в за-

бое рядом с поселком проводятся испытания: Карабаш и другие начальники там безвылазно.

А в лагере, где остались две машины и четыре человека, наступила тишина и перемена жизни.

Началось это после бури. И дело было даже не в том, что работы прибавилось, что ветром завеяло траншею, перемешало ра́шу — вынутый грунт — и пришлось спорить с прорабом и выяснять, где бриньковская раша, а где нагаевская, и сколько было вынуто, и куда что отвеялось, а в том, что изменился весь настрой жизни. Стало тихо и скучно. На рассвете молчком наливались чаем, вечерами разговоры были только насчет грунта, кубов, прораба. Да Иван с Беки еще ударились в учебу: собрались поступать в Сагаметский заочный техникум, накупили тетрадей, книжек, запирались после смены, а то и днем в будке, зубрили напропалую. Готовились к экзаменам, Байнуров помогал: сам недавний студент.

Когда приехал Марютин,— а приехал он с пятью бульдозерами, с цистерной горючего и с четырнадцатью рабочими, из которых было шесть машинистов, и среди них Мартын Егерс, четыре ученика, слесари и кладовщик,— в первую же минуту Марина ему сказала: так и так, мол, папа, мы с Семенычем поженились, и можешь нас поздравить.

Марютин, конечно, кое-какие слухи слыхал, но не придавал им значения, а теперь, услышав эдакое серьезное, совершенно растерялся. Некоторое время он стоял перед Мариной, блуждая глазами, мял в руке кепку и не мог вымолвить ни слова.

— Насчет поздравлений — что ж... Наше вам... Это да...— Наконец выдавил бессмысленное: — Расписались разве?

— Нет еще.

— Ну да, верно. Негде тут.

— Мы распишемся. Вот он возьмет три отгульных дня, поедем в Мары и распишемся.

— Ну да, ну да... Я вот про что: он тебе по годам в отцы годится. Меня чуть помлаже.

— Ой, папка! А ты забыл, что сам говорил?

— Что?

— Что ему самый возраст, чтоб семью заводить и все хозяйство. Забыл?

— Если с женщиной подходящей, это да, это правильно. Ладно, что толковать! Пошли в хату...

В «хату» Марютин вошел с некоторым страхом, хотя

вид на себя напустил важный и даже суровый. Нагаев курил, сидя на койке. Он был в белой, праздничной рубашке, в темно-синих брюках от нового костюма и в желтых модельных полуботинках. Мужчины поздоровались молча. Марютин сел на койку, а Марина — рядом с Нагаевым и, улыбаясь, подхватила его под руку и придвинулась к нему, как будто приготовилась фотографироваться.

Избегая глядеть на них, Марютин покашливал и собирался с мыслями. Поздравление комом стояло в горле. Нагаев смотрел насмешливо и нахально и никак не располагал к тому, чтобы отечески благословлять его, однако произнести что-нибудь требовалось.

— Значит, так,— сказал Марютин.— Что получается? Папаша за дверь, а вы — раз-раз и обкрутились. Здорово, молодцы!

Он засмеялся и почувствовал облегчение.

— Молодцы, ребята! — повторил он.— Значит, папаше и отлучиться нельзя? Так выходит?

— Долго ли умеючи,— сказал Нагаев и, вытащив из-под койки бутылку ашхабадской водки, поставил ее на ящик. Бутылку эту удалось под секретом и с изрядной наценкой достать у Гусейна Алиева.

— Нет, так выходит? — сказал Марютин.— Чуть папаша из дома, а тут, значит, готово дело. Это прямо здорово...— И он еще долго, пока разливали водку, резали хлеб и открывали банки с тресковой печенью и с компотом из абрикосов, мусолил эту мысль и сам смеялся, потому что шутка казалась ему очень смешной и удачной.

После первой стопки стало совсем просто. Нагаев принялся расспрашивать Марютина о работе, и они стали говорить о бульдозерах и проговорили на эту тему часа два, до тех пор, пока не прибежал Беки и не сказал, что прораб Байнуров созывает всех на собрание.

В котловине, где прежде стояли три будки, теперь раскидывался поселок. Среди новых механизаторов было несколько знаменитых на стройке имен: тракторист Сапаров, супруги Котович, которые раньше работали на скрепере, а теперь взяли бульдозер, и Богаэддин Ибадуллаев.

Богаэддин, или Богдан, как его называли попросту, попал на стройку в пятьдесят четвертом году, после амнистии. Тогда пришла большая группа бывших уголовников. Многие из них за три года отсеялись, не вынесли жары, труда, постной жизни, других пришлось выста-

вить со стройки силой, а некоторые получили специальность и стали работать. Те немногие, которые задержались и втянулись в рабочую жизнь, теперь работали отлично.

Богаэддин провел в лагерях четырнадцать лет. Если бы не амнистия, он бы сидел еще восемь. Он был настоящий, первостатейный вор, из тех, которые называют себя «вор в законе». Когда его освободили, ему исполнилось тридцать три года.

На Сагамете он пришел к Гохбергу:

— Хотел бы, гражданин начальник, работать в вашей конторе.

— Где вы сидели и сколько? — спросил Гохберг.

— Откуда узнали? Ах, черт... проговорился... Товарищ начальник.

Специальностей у Богаэддина было много, но все нетрудовые. Гохберг назначил его учеником на бульдозер. Выучился он удивительно быстро, за три месяца,— парень проворный, башковитый, и в руках железная сила — заводную ручку от легковушки без труда гнул. Некоторые из любопытства спрашивали: окончательно ли отбился от прежнего? Говорил — окончательно. Надоела, говорил, волчья жизнь.

Но про то, как вырвался из волчьей стаи, никому не рассказывал и не расскажет, наверно, еще долго.

В прошлом году Богаэддин поехал на родину, в Махачкалу, и там женился на учительнице. Сам он осетин, жену взял русскую. Она жила в Сагамете, преподавала в первых классах, а к мужу на Инче приезжала по субботам — когда на попутных машинах, а когда самолетом: двадцать минут.

Богаэддин, Сапаров со своими сменщиками, Марютин и Чары Аманов поселились в одной большой палатке, где стояли семь коек. На седьмой койке спал кладовщик-заправщик Терентий Фомич. На стройке совсем не было стариков и старух. Фомич считался стариком, хотя ему было всего лишь пятьдесят шесть, и волосы у него были не седые, а пегие и торчали клочками вокруг глянцевитой и крепкой, загорелой лысины. Фомич был деликатен, уступчив, обо всем рассуждал по совести и всему тихо удивлялся: «Неужто так и спите голяками? Ай-ай-ай! И гадюк не боитесь? Ну-ну! И неужто такие деньги громадные? Ай, господи...» Ему тут было все в новинку. Еще четыре месяца назад он жил на Брянщине и работал в какой-то заготконторе.

Работы у Фомича прибавлялось. Приползли пять новых бульдозеров, и, как сказал Карабаш, к концу месяца ожидалось еще семь машин.

Никто теперь не помнил, кто первый сказал, что бульдозер может самостоятельно рыть траншею. И кто первый залез с трактором в забой и по сыпучему откосу стал карабкаться наверх, толкая перед собой грунт. И кто первый стал кричать, что это напрасная трата времени, мартышкин труд и техническая безграмотность. И кто первый воскликнул, что бульдозер может и будет вынимать в месяц двадцать пять тысяч кубов. В это дело были замешаны многие: Егерс, Карабаш, Гохберг, Сапаров, Пирназаров и другие. И некоторые прорабы, как, например, Байнуров. И слесари из ремонтных мастерских. И сварщики тоже: они приваривали к бульдозерному ножу специальные щитки, которые должны были удерживать массу песка на ноже и не давать песку стекать на стороны. Потом эту идею отбросили.

Главных энтузиастов бульдозерного метода было двое: Карабаш и Гохберг. Они решали, что отбросить и что принять. Первый элемент метода не вызывал сомнений: бульдозеры должны идти не вдоль, а поперек русла, вырывая поперечные траншеи. Поэтому метод получил вначале название траншейного.

Трактор, как крот, вгрызался в грунт, прокапывал глубокую траншею-коридор — очень глубокий коридор, вот что замечательно! — но с единственным недостатком, который заключался в том, что по сторонам коридора образовывались песчаные стены. Достижением было то, что бульдозер мог, оказывается, делать такие глубокие выемки и взбираться с грунтом на крутой откос. Но как уничтожить песчаные стены, создававшие перемычки между коридорами? В одну из ночей Гохбергу или Карабашу пришла на ум такая мысль: нарезывать поперечные траншеи-коридоры несколько ниже проектного дна, а затем, направляя бульдозеры вдоль русла, разравнивать перемычки и таким образом восстанавливать проектную глубину.

Мысль была настолько проста, что показалась невероятной. Но однажды на рассвете Сапаров и Егерс в два ножа принялись кромсать траншею, а Карабаш, Гохберг и еще десяток людей стояли на откосе и смотрели, не отрывая глаз, как два бульдозера рычат и ярятся в облаках песчаной пыли, и кричали бульдозеристам что-

то неслышное из-за грома, а те высовывали темные лица из кабин и тоже кричали неслышное, и это длилось много часов, и в полдень, когда выяснилось, что бульдозеры отутюжили сорок метров великолепной траншеи, никто не кричал «ура» и не было поздравительных речей и слез радости, потому что все уже пережили победу, смертельно устали, валились с ног от усталости, а бульдозеристов пришлось вытаскивать из кабин и вести под руки.

Так родилось прозаическое название: траншейно-комбинированный метод.

Приехал Ермасов, посмотрел, как работают бульдозеристы, и с некоторыми оговорками сказал «добро». Это значило: даст тракторы еще. В этом новшестве, рожденном сообща, Ермасов не принимал близкого участия и потому относился к нему настороженно. Тут была доля ревности — не один он, выходит, способен совершать перевороты в строительном деле — и сказался недоверчивый характер Ермасова, который все любил делать сам, на свой собственный страх и риск.

Но талант инженера и чутье позволили Ермасову увидеть будущее — его уже видели Карабаш и Гохберг — за теми жалкими пятнадцатью тысячами кубов, которые с кровью и муками выдали в первый месяц Сапаров и Егерс. В августе Сапаров дал уже двадцать тысяч кубов, Егерс — двадцать три.

А в сентябре началось Великое Наступление Бульдозеров.

Карабаш и Гохберг спали по три часа в сутки. Остальное время они проводили в забое, сами сидели за рычагами или же ругались с бульдозеристами, объясняли все снова-здорово приезжавшим из Маров и Ашхабада любопытствующим и ревизорам, до смертной хрипоты спорили с начальником ПТО Смирновым. Великие преимущества бульдозеров были, к сожалению, не для всех очевидностью. Смирнов работал начальником ПТО еще при Фефлове. Этот молодой человек был начисто лишен фантазии и педантичен, как учитель чистописания. Профиль траншеи, вырытый бульдозерами, несколько отличался от проектного профиля: бульдозер не смог бы подняться по такому крутому склону, какой предусматривался в проекте. Разница была незначительная, но достаточная, чтобы ужасать Смирнова. Он отвечал за сдачу работ дирекции и оформление технической документации. Его идеалом были гладко за-

лизанные дамбы и профиль, выровненный по веревочке.

— Пойми ты, упрямая голова, что сзади нас идет вода, идут земснаряды,— говорил Смирнову Карабаш,— которые все равно будут крошить откосы, расширять русло. К чему же твоя скрупулезность? Нам надо идти вперед, и как можно скорее.

— Только не за счет качества,— отвечал Смирнов.

— А наша траншея — не качество? Она что — брак? В чем ее недостатки, давай рассуждать здраво!

— Для меня качественно то, что соответствует проекту.

— О черт! Да ведь проектировщики не знали, что в дело вступят бульдозеры...

Словом, это были тягучие и бесполезные споры. Переубедить Смирнова было немыслимо, ему можно было только приказать. И Карабаш приказывал. И он и Гохберг считали Смирнова недалеким, но честным служакой, из породы тех, которые хороши в сторожах при охране складов.

Они не знали, что этого симпатичного, преждевременно несколько обрюзгшего, лысоватого блондина снедает жестокое честолюбие. Когда снимали Фефлова, Смирнов надеялся занять его место. Он даже помог Ермасову в «фефловской операции»: когда приехала комиссия Управления водными ресурсами, показал, что Фефлов действительно ездил на охоту за джейранами, а не на рекогносцировку в поисках питьевой воды, как утверждал Фефлов и его защитники. Но Ермасов почему-то не назначил Смирнова начальником участка, а привез нового человека — Карабаша, и Смирнов почувствовал себя уязвленным. Этого, конечно, никто не знал. Это была его маленькая, сокровенная боль, одно из тех тайных разочарований души, которые изнуряют и гложут честолюбца, а для постороннего глаза незаметны.

Наперекор всему бульдозеры шли вперед.

С каждым днем они вели себя все смелей и увереннней в забое. Выработка бульдозеристов круто взвивалась. Многие экскаваторщики стали подумывать о переходе на трактор, и одним из первых был, конечно, Нагаев.

Пойти к Карабашу с просьбой было Нагаеву нелегко: слишком хорошо помнилась унизительная неудача с прогрессивкой. С того дня Нагаев избегал встречаться с начальником, но, конечно, встречаться приходилось —

Карабаш зачастил в лагерь чуть ли не ежедневно — и Нагаев держался с ним гордо и холодно.

Пришлось, однако, сделать над собой усилие и пойти на переговоры. Нагаев собирался дня три. Наконец улучив момент, когда Карабаш закончил все дела с бульдозеристами, Нагаев решился подойти и поговорить.

Был вечер. Нагаев вышел из будки, уже одетый для забоя. Издали он увидел, что возле большой палатки, где стоял легковой газик Карабаша, собралась толпа, и услышал крики. Оказывается, подрались Иван и Сережка Мамедов. Богдан Ибадуллаев держал Сережку сзади, обхватив его обеими руками за живот, и не пускал в драку, а Беки и Чары Аманов слегка сдерживали плечами Ивана, который, впрочем, не рвался в бой: он свое дело сделал. Из Сережкиной губы шла кровь, и левый глаз его заметно раздуло.

Между драчунами суетился Фомич, бормоча перепуганно:

— Ребятки, зачем же так допускать? Зачем такую безобразию — ай, господи...

— Кто кому чего? — спросил Нагаев.

Ему никто не ответил. Сережка ругался, пытаясь вырваться из рук Ибадуллаева, а Иван довольно спокойно и без злобы говорил: «Пусти, пусти его! Я ему еще дам».

В это время подошли Байнуров и Карабаш.

Им стали объяснять, что случилось. Объяснял Фомич, он «аккурат вышел из палатки и все видел прямо как в театре, из первого ряда». Иван подошел к Сережке Мамедову, который сидел за рулем и ждал начальника, и попросил подвезти на Инче. Сережка отказался. Иван ему резонно: не имеешь права отказывать, машина не твоя, а государственная,— а тот ему: кто за рулем, тот хозяин и еще чего-то,— и вдруг — драка. Первый Сережка ударил, а потом уж Иван его наградил так, что тот кувырком через голову. Ну, здесь ребята подоспели, растащили.

— Видимо, жар в голову вступил,— заключил Фомич,— большой жар в воздухе, товарищ Карабаш.

Из толпы мужчин неожиданно вытолкалась Марина.

— Неправда, Алексей Михайлович! Они из-за Фаинки дерутся. Которая в магазине продавщицей, знаете?

— Да я про Фаинку думать забыл,— сказал Иван.— Сказал просто: «В магазин нужно съездить», а он на меня кинулся. Что ж мне теперь, нельзя в магазин зай-

ти? Мне, например, чернила надо купить, потом еще тетрадь общую...

— Ты не так сказал! Ты другое сказал! — закричал Сережка.

Марина засмеялась.

— Во дурачки-то! Какую кралю нашли. Только наш Ванюша, правда, добродушный, а тот, черт, всегда к нему задирается.

— Тебя не спрашивают,— сказал Нагаев.— Две собаки дерутся, третья не встревай.

Фомич тем временем принес кружку холодной воды и полотенце и смачивал разбитый Сережкин глаз. Сережка как будто успокоился. Богаэддин отошел от него. Вдруг Сережка, оттолкнув Фомича, метнулся к Ивану. Марина завизжала, старик Фомич повалился на колени, а Иван от неожиданности отступил на шаг, но в следующее мгновение схватил Сережку за грудь и бросил его так ловко и с такой силой, что тот пролетел метра три и, ударившись спиной о радиатор газика, упал на песок. И остался лежать, не поднимая лица. Он плакал не от боли, а от стыда.

— Видите, Алексей Михайлович! — закричала Марина.— Кто первый лезет?

— Кто их разберет, в самом деле...— пробормотал Карабаш, явно растерявшийся. Но через секунду он уже заговорил своим обычным, резким и категорическим тоном: — Султан, что вы ревете, как баба? Если лезете в драку, нечего, понимаете, тогда уж и реветь. Вставайте, поехали! Мне надо сегодня поспеть к Чарлиеву.

Сережка послушно поднялся и, прикрывая рот ладонью, ни на кого не глядя, пошел к кабине.

— Простите, Алексей Михайлович... Только я сказал не повезу его,— значит, не повезу...— пробубнил он плачущим голосом.

— Хорошо. Садитесь. Я повезу.

Карабаш сел за руль, а Байнуров и Сережка полезли назад и скрылись за брезентовыми боковинами.

— Ну что, Бринько, едете? — спросил Карабаш.

Иван сделал шаг вперед, но кто-то из ребят дернул его сзади за рубаху, и он остановился.

— Да ладно, Алексей Михайлович... В другой раз...

— В другой раз,— сказал Карабаш,— не давайте кулакам воли. Ведь вы комсомолец, должны пример показывать своим поведением.

— Понятно, Алексей Михайлович...

Тут Нагаев хотел было подойти к начальнику и сказать быстренько два слова насчет бульдозера, но Карабаш уже включил зажигание и газик зафыркал и тронулся.

Богаэддин сказал:

— Зря ты, Иван, с ним вяжешься. Он, черт дурной, до железа дойдет...

— А, ничего не будет! — Нагаев небрежно махнул рукой.— Это все семечки. Не драка.

— Я его и бить сегодня не хотел,— сказал Иван.

Через два дня Иван с автолавкой поехал в поселок и благополучно вернулся, купив чернила и тетрадь. Про то, какой разговор был с Фаиной, никому не рассказывал, а Сережку он не видел.

В этот же день в лагерь приехал Карабаш с тремя бульдозерами, которые перегонялись на запад, за озера. И Нагаев пошел к начальнику второй раз.

Бульдозеристы сделали остановку в лагере, чтобы отдохнуть и заправиться горючим. Они сидели кружком и пили зеленый чай. Четверо из них были туркмены, один парень — русский. Карабаш сидел так же, как они, подвернув под себя ноги, и тоже пил чай. Все слушали парня, который стоял посредине кружка и что-то быстро рассказывал, жестикулируя обеими руками.

Когда Нагаев подошел ближе, он увидел, что парень, который рассказывает,— Бяшим. Нагаев присел на корточки рядом с Карабашем и, чтобы завязать разговор, спросил:

— А вы, Алексей Михайлович, значит, понимаете?

— Понимаю немного,— сказал Карабаш.— Вот слушаю: Мурадов объясняет, как держать нож, когда бульдозер идет в гору. Толковый малый.

Он смотрел на Бяшима, слегка улыбаясь. Видно было, что он слушает его с удовольствием. Нагаев знал, что его бывший ученик получил разряд и теперь работает вторым трактористом с Егерсом, но разговаривать с Бяшимом ему не приходилось и не было желания с ним встречаться.

— Толковый! — повторил Карабаш.— Так быстро освоить машину не каждый сумеет. Второй месяц получает вровень с Егерсом.

— Я знаю,— сказал Нагаев, хотя он этого не знал и болезненно удивился.

— А ведь совсем недавно пришел темным пастушонком, болта от гайки отличить не мог. Одно время его

даже из учеников поперли. Он ко мне приходил, плакался.

Нагаев косо посмотрел на начальника: нет, тот говорил всерьез, значит, не знал или позабыл.

— Это я его попер,— сказал Нагаев.

Они разговаривали вполголоса, так что бульдозеристы их не слышали. Бяшим продолжал что-то объяснять.

— Вы? Ах, да, вспоминаю. Мне еще Байнуров рассказывал. Ну что ж, ваш недоучка теперь работает здорово.

— Конечно, здорово,— сказал Нагаев.— Он жену выкупает. Ему денег много нужно.

Карабаш недоверчиво, прищурившись, взглянул на Нагаева.

— Точно,— сказал Нагаев.— Полкалыма заплатил, а тесть сполна требует.

— Из-за этого он так хорошо работает, вы считаете?

— А то из-за чего? Пети-мети нужны.— Нагаев быстро потер большой палец об указательный.— А их даром не дают.

— Это верно.

— Куда верней! Горбулю поломать надо...— и Нагаев хлопнул себя по загривку.

Бяшим уже сидел на земле, и туркмены что-то спрашивали у него наперебой. Вид у Бяшима был растерянный. Он сдвинул свою маленькую тюбетейку на глаза.

— А вам зачем пети-мети, Нагаев? — спросил Карабаш.— Вы, кажется, жену безо всякого калыма приобрели.

— Я? Вообще-то да...— Нагаев вдруг залился краской, скулы его потемнели.— Только я еще не женился. В загсе пока что не был.

— Ну что загс! Пустяки, формальность,— сказал Карабаш.— Мы вам будку отдельную дали, это прочнее всякого загса. Это уже значит железно.

Он говорил вроде бы шутливо, и вместе с тем в его словах и взгляде было что-то колючее, испытующее. Нагаев нахмурился. Он заметил, что русский парень-бульдозерист прислушивается к их разговору и один из туркмен тоже повернулся и слушает.

Нагаев не любил разговаривать про свою личную жизнь и терпеть не мог, когда кто-нибудь касался этой темы, поэтому он сразу перевел разговор на другое и

спросил у начальника то, что его интересовало,— о бульдозере. Карабаш спросил:

— Вы это серьезно? Ведь вы наш лучший экскаваторщик.

Нагаев сказал, что работал трактористом сызмальства, а на бульдозере два года отышачил в Сибири. Так что серьезно.

— Я гляжу: мы на месте сидим, а бульдозеристы все вверх и вверх лезут.

— Правильно! — вдруг засмеявшись, сказал Карабаш.— Ладно, Нагаев. Идет. Только одно условие — слышите?

— Какое?

— Берите ученика на бульдозер и учите как следует. Хватит вам дурака валять.— Карабаш говорил уже без улыбки, строго и холодно глядя Нагаеву в глаза. И Нагаев понял, что его прежний разговор про Бяшима не был случайным и он все помнил отлично.

— Ученика брать? — Нагаев помолчал, вздохнул.— Да ладно, возьму. Какое дело!

— Хорошо. На той неделе получаем четыре машины из ремонта, самый лучший бульдозер — ваш!

Нагаев кивнул и поспешно привстал с корточек. Желанного он добился, а продолжать разговор с начальником было как-то беспокойно. Но Карабаш остановил его.

— Подождите, Нагаев! Сядьте на минуту. Ребята, подвигайтесь поближе,— обратился он к бульдозеристам.— Вот Семен Нагаев сейчас просил перевести его с экскаватора на бульдозер. Как вы думаете: с чего бы это?

— Известно с чего!

— Заработать погуще.

— Мало ему...

— Да ведь и вы тоже понимаете, где погуще. Это сейчас все поняли. Только в Ашхабаде еще некоторые никак не поймут, говорят, что Карабаш, мол, и Гохберг идут на поводу у рвачей, любителей длинного рубля. Ну, мы их разубедим.

Рабочие слушали Карабаша с напряжением, стараясь угадать, к чему он клонит. Нагаев, хмурясь, глядел в сторону. Разговор ему все больше не нравился, не нравилось и то, что его посадили как бы для примера.

— Мы их разубедим, конечно,— повторил Карабаш,— потому что рвачей у нас очень мало. Есть, но

мало. Рвачи — это люди, которые не жалеют машину, калечат ее ради заработка.

Нагаев сказал:

— Таких уродов будь здоров сколько!

— Нет, товарищи, таких мало. И регулярная профилактика привилась. Но есть все же люди, которые ни о чем, кроме собственного кармана, не заботятся. Технику-то они берегут, но только потому, что она их кормит. А сделать что-нибудь бескорыстно, для души, помочь кому, выучить кого, на это у них кишка тонка. Вернее, сердца не хватает.

— Точно...— сказал один бульдозерист не особенно уверенно.

— Есть такие,— сказал другой.— Но ведь и то сказать... коммунизма у нас еще нету? Вы ведь тоже за зарплату работаете?

— Коммунизма еще нету, верно. Но не думайте, кстати, что коммунизм наступит сразу, наподобие воскресенья. То все будни, будни, пятница, суббота, а наутро вдруг — бац! — воскресенье, коммунизм наступил. Это не сразу будет.

— Точно, точно,— закивал первый бульдозерист.

Нагаев, немного успокоившись, вытащил пачку папирос, стал думать насчет ученика: кого брать?

— И люди при коммунизме будут, по-моему, не какие-то особенные,— продолжал Карабаш,— не чудо-богатыри, а просто хорошие люди, какие и сейчас попадаются. Вот товарищ Бяшим Мурадов, который так здорово объяснял вам работу на бульдозере, долгое время пробыл учеником у одного опытного механизатора, а тот так его ничему и не выучил. А потом он попал к Мартыну Егерсу и за два с половиной месяца стал дельным бульдозеристом. Знаете почему? Потому что Егерс ему доверял. Он его в свой забой поставил, хотя терял на этом часть заработка. Но он пошел на это. Они получали наравне, и какое-то время это было несправедливо, но сейчас это вполне законно. Так, Бяшим?

Бяшим Мурадов, насупившись, отводя глаза от Нагаева, молча кивнул. Туркмены заговорили с ним по-своему, он что-то ответил, но, видно, не про Нагаева. Никто не смотрел в сторону Нагаева, они не знали, что речь шла о нем. Карабаш тоже не смотрел на него.

И все же слушать начальника было невыносимо. Нагаев сделал попытку встать, бормоча:

— Пойти, што ль, а то дело стоит...

— Подождите! Дайте папиросу.— Карабаш потянулся к нагаевской пачке, и Нагаеву пришлось снова присесть и еще поднести начальнику горящую спичку.— Вот маленький пример: человек отказался от своей выгоды ради другого человека, не отца и не брата, просто ради молодого, неопытного, которому надо помочь, и ради общего дела. Ведь не затем же, черт возьми, мы тут ишачим, дохнем в этой жаре, чтобы только набивать карманы! Ведь и Бяшим Мурадов не затем пришел сюда, чтобы на калым набрать и выкупить у тестя жену! Верно, Бяшим?

Бяшим, бледнея, сказал тихо:

— Жена — корова, что ли?

— И про себя думаешь: зачем я сюда приехал? Работал на Урале, звали в Москву, с повышением. Нет, что-то нам и другое нужно!

— Оно так...

— С пустыни, то есть, нужно сделать сад, вот чего! — быстро проговорил парень, все время повторявший «точно, точно».

— Ай, про карман тоже не забывай,— засмеялся один из рабочих.

— Нет, ребята, нужно, нужно! — сказал Карабаш, вставая.— Честное слово, нужно и другое. Ну, прощайте пока что. Вон Байнуров появился, я его ищу.

И он ушел неожиданно.

Нагаев пришел в свою будку. Марина лежала на койке полураздетая и обмахивалась газетой — отдыхала. Ее отец сидел на ящике и ел густое варево из рожков, держа на коленях алюминиевую миску. С тех пор как Марина и Нагаев поженились и в лагерь приехали новые люди, Марина стала стряпать только на свою семью. Она готова была по старой дружбе кормить и Беки с Иваном и отцовского сменщика, но те отказались. Они столовались общим котлом с остальными механизаторами, и готовила им специально приехавшая из поселка повариха, тетя Паша, которой ребята платили по четвертной «с миски».

Нагаев сел на койку, вытащил мятую пачку папирос.

— Сеня, не закуривай, не закуривай! Сейчас обедать будешь. Бери тарелку, накладывай,— сказала Марина, продолжая лежать.

Нагаев, не отвечая, затянулся дымом и улегся, удобно подложив правую руку под голову. Марютин ел жадно, громко и ложкой подбирал что-то с бороды. Скоро

он заскреб ложкой по алюминию и наконец поставил миску на пол.

Нагаев курил и думал.

— Сень, ты будешь обедать или нет? — спросила Марина.

— Неохота. А ты что лежишь? Заболела?

— Нет...— Марина вздохнула, повернулась на бок.— Сенечка, на душе грустно. Соскучилась я чего-то, сама не знаю чего.

— Ну-ну,— сказал Нагаев.— А нам скучать некогда.

— Вот именно, что да! — засмеялся Марютин. Он налил холодного чая в кружку и стал пить.— Чего-чего, а скучать нам некогда.

— Я про то и говорю. Вам-то, конечно, некогда. Вы и ночь в забое, и день в забое, а мне что делать? Вот всю газету прочла два раза. К нам в Керки, пишут, артисты приехали из Ашхабада. В клубе играют...

— Ты теперь замужняя женщина,— сказал Марютин и, солидно кашлянув, посмотрел на Нагаева.— Так что дела у тебя немалые. И главное — за тобой хозяйство.

— Ой, папка, ну какое тут хозяйство? Абсолютно нечего делать. На курсы медсестер я, конечно, не поехала.

— И правильно. Куда же ехать от мужа! — сказал Марютин.— Куда иголка, туда и нитка. Загорай теперь с нами до победного конца. Ладно, пойду посплю, а то устал — невозможно...

Он поднялся и шагнул к двери. Его действительно слегка пошатывало. Нагаев спросил:

— Демидыч, сколько сегодня?

— Кто его знает? Думаю, так...— Марютин привалился плечом к косяку и с видимым удовольствием стал соображать, шевеля губами.— Кубиков, думаю, семьсот, не меньше.

— Плохо тебе?

— Неплохо. А никто не говорит.

Он ушел.

— Маринка, знаешь что? — сказал Нагаев.— Я тебя в ученики возьму.

— Меня?

— Ну да. Хочешь?

— Конечно! Ага, очень даже! — Марина вскочила с койки.— Сенечка, я давно хотела, только спросить боялась,— думала, откажешь. Мы с тобой весь день будем вместе, правда? Я тебя знаешь как буду слушаться!

Ой!..— Она даже взвизгнула от радости и, присев на край нагаевской койки, обняла Нагаева и приникла головой к его груди.— Я так рада, Сенечка! Я себе такой же синий комбинезон куплю с поясом, как у Дуськи Котович!

Уличный репродуктор «Октава», установленный возле клуба, молчал весь день: чтобы люди могли поспать. Четыре рупора начинали говорить вечером. Сентябрь был на исходе, но жара не спадала, и распорядок дня в поселке оставался летний.

«Кеплер Ашхабад...» — затрещал знакомый голос ашхабадского диктора, и Карабаш открыл глаза. Как всегда после дневного сна в жару, он просыпался несвежим, с тяжелой головой. Засыпание было сладостным и мгновенным, пробуждение мучительным.

Карабаш посмотрел на часы: он спал сорок минут.

В комнате за столом сидел Гохберг и что-то читал. Он, наверное, пришел, когда Карабаш спал, и не захотел будить.

— Что? — спросил Карабаш, садясь на койке.

— Ничего. Просто зашел. По дороге в столовую.— Гохберг перелистнул несколько страниц в книге, рассматривая их с преувеличенным вниманием. Вот это и показалось Карабашу подозрительным.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

— Я же сказал: ничего. Утром передавали по радио из Ашхабада, что мы закончили окольцовочные дамбы вокруг озер — по проекту инженеров таких-то, то есть нас с вами. И Степана Ивановича.

— Что ж, здорово. Хотя рановато...

— Почему? Работы фактически окончены. Видимо, Степан Иванович дал эти сведения.

Карабаш подошел к рукомойнику и, набирая воду пригоршнями, стал обливаться. Он был голый до пояса, в мятых полотняных брюках.

— Да! — сказал Гохберг.— Тут утром приходила Валерия Николаевна. Я сказал, что вы на трассе, приедете к обеду.

— А она что?

— Сказала, что уходит в «поле» — она уже была одета для «поля» — и вернется к вечеру.

— Но вечером мы едем на двести сорок восьмой...

— Я сказал. Она очень огорчилась и сказала, что ей нужно с вами поговорить.

Гохберг сурово поглядел на Карабаша. На его лице было отчетливо написано осуждение. Он был милый парень, и они по-настоящему и быстро сдружились за короткое время, оказавшись единомышленниками во многом: они одинаково относились к начальству и к рабочим, к своему труду, к карьере, к деньгам. А это было немало. И, однако, в их отношениях еще были области неясности и тумана: они познакомились слишком недавно.

— Хорошо,— сказал Карабаш.— Спасибо за информацию.

Он надел рубашку, взял шляпу, и они вышли. На улице к ним, как обычно, стали подходить люди, спрашивали о разных делах. Между ними осталось недосказанное, и они помнили об этом, разговаривая с подходившими людьми. В столовой они прошли в так называемый зал ИТР — комнату, отгороженную фанерными стенками, где стояли столы и можно было курить.

Карабаш сам пошел за подносом и принес два чайника с зеленым чаем, хлеб и сахар.

— У вас чрезвычайно озабоченный вид,— сказал Карабаш, которого подмывало говорить о Лере, хотя он и предчувствовал, что это грозит неприятностями.— Можно подумать, что вам, а не мне надо ломать голову: как встретиться вечером с Валерией Николаевной?

— Алеша, вы честный, хороший мужик,— сказал Гохберг голосом, дрожащим от искренности. Правую руку он приложил к сердцу.— Вы настоящий инженер, настоящий коммунист и руководитель. Словом, вы знаете, как я к вам отношусь. Скажите: зачем вам это нужно?

— То есть?

— Ну, вы знаете, о чем я говорю.

— Нет.

— А! — Гохберг нервно махнул рукой.— Вчера мне жужжал в уши Смирнов. Я, конечно, всячески отрицал и выгораживал вас, но безрезультатно. Я думаю, Смирнов парень безобидный, на подлость не способен, но вы видите — уже идут разговоры. А зачем вам это нужно?

Карабаш молча, с застывшей улыбкой слушал Гохберга. Тот продолжал, понизив голос до шепота и все еще прижимая правую руку к сердцу:

— Допустим, вы человек холостой, но ведь она замужняя женщина, и это всем известно. Ее мужа многие

знают, он бывал на трассе. Он работает корреспондентом...

«Зачем он это мне рассказывает? — думал Карабаш.— Так горячо, чуть ли не со слезами. Странный малый».

— Вы что, заботитесь о моей нравственности? — спросил Карабаш.— Или о том, чтоб у меня не было неприятностей с... с корреспондентом, что ли?

— И то и другое, Алеша. Просто мне это все не нравится. Говорю как друг.

— Понял. Спасибо.

— Вы, разумеется, вольны поступать как угодно, но я считаю долгом сказать вам свое мнение.

Он вытер платком потное лицо и после этого прямо и твердо посмотрел Карабашу в глаза. Взгляд его говорил: «Ты мне друг, но изволь выслушать правду, как бы она ни была горька».

Карабаш кивнул:

— Хорошо, Аркадий. Спасибо, что вы обо мне заботитесь, а теперь поговорим о чем-нибудь другом. Что будем делать с экскаваторами, которые в ремонте?

В это время в комнату вошел начальникреммастерских Ниязов и, как нельзя более удачно, вступил в разговор.

После ужина, когда они шли в контору, Карабаш сказал, что возьмет легковую и сам поедет на Восточный участок. Султан Мамедов уже четвертый день не работал: в драке с Бринько он повредил руку и бюллетенил. Гохберг с прорабом решили ехать на Западный участок, к озерам, на грузовике.

В сумерках Карабаш пригнал легковой газик к своему дому и стал ждать, когда придет Валерия. Вскоре он увидел из окна, как проехал грузовик с брезентовым верхом, похожий на старинную переселенческую фуру: биологи возвращались с «поля». Они сидели в кузове тесной кучей, мотаясь из стороны в сторону, толкая друг друга ящиками, сачками, гербарными сетками, и Валерия сидела там, такая же усталая и грязная, как все.

Однажды, когда она еще была в Ашхабаде и ему надоело ждать,— нет, не надоело, просто не было больше сил выносить ожидание — он пошел в барак на краю поселка, где жили биологи, и спросил начальника экспедиции Кинзерского. До этого они были бегло знакомы и почти никогда не разговаривали.

Кинзерский носил жокейскую шапочку и короткие

штаны — шорты. У него были сухие, жилистые ноги пятидесятилетнего теннисиста. Карабаш спросил: что слышно о Валерии и когда она приедет? Кинзерский сказал, что она приедет дней через пять, а может быть, через две недели. Он предложил Карабашу выпить чашку кофе. В комнате пахло свежесваренным кофе, и Карабаш согласился и сел на складной стульчик, который Кинзерский, по его словам, привез с собой из Ленинграда. Стены комнаты украшали вырванные из альбома листы, на которых были аккуратно нарисованы различные каракумские пейзажи. Карабашу рисунки показались неплохими. Сам он был бездарен по этой части, не мог нарисовать дома с трубой.

Он сидел на стульчике, держа на коленях чашечку с дымящимся черным кофе, и делал такие же маленькие глотки, какие делал Кинзерский. Они разговаривали о делах поселка. Вдруг Кинзерский спросил:

— Вы знакомы с мужем Валерии Николаевны?

— Нет,— сказал Карабаш.— Между прочим, Валерию я знаю с детства.

Кинзерский приложил пальцы ко лбу, точно пробуя, нет ли у него жара, и покачал головой.

— Господи, какой это жалкий пижон! Однажды он приезжал сюда, и я имел честь... Вы знаете, я был потрясен выбором Валерии Николаевны. Она ведь женщина умная, со вкусом, с душой.

— Да, я знаю. Я учился с ней в одной школе и очень дружил с ее братом. У нее был брат Валентин...

— Любой брак загадка, но в этом есть что-то возмутительное,— продолжал Кинзерский.— Словом, вкус Валерии Николаевны на мужчин меня решительно не удовлетворяет!

Он засмеялся, и рот его слегка сдвинулся вбок. У него было длинное, узкое лицо и большой нос в красноватых прожилках.

— Решительно не удовлетворяет! Никоим образом,— повторил он.— Не хотите еще чашку кофе?

— Нет, спасибо.

— Что «спасибо»? Пейте, не стесняйтесь. Вы ведь человек холостой, питаетесь в столовой, а это чудный домашний кофе.

— Большое спасибо,— сказал Карабаш.— Но мне надо идти.

Он был достаточно чуток, чтобы понять: взаимной симпатии не возникнет и после второй чашки. «Тут

дело нечисто,— подумал Карабаш.— Тот парень, который изобрел что-то для саксаула, намекал на Кинзерского и Валерию. Наплевать. Тем хуже для Кинзерского».

Они простились подчеркнуто вежливо и даже щелкнули каблуками, пожимая друг другу руки. И Карабаш почувствовал, что поджарый доктор наук в коротких штанах собрал все силы, чтобы пожать его руку как можно крепче. Карабаш пришел домой огорченный — не тайной недоброжелательностью Кинзерского и не его намеками, говорившими о том, что ему нечто известно, а тем, что Валерия приедет не скоро.

«Впрочем, он мог и наврать нарочно»,— подумал Карабаш.

Валерия приехала через два дня.

Это было время, битком набитое делами, штопали дыры, наделанные «афганцем», начинали окольцовку озер и вводили бульдозеры. Карабаш метался по трассе. После приезда Валерии они виделись дважды и сегодня должны были встретиться в третий раз.

Было уже восемь часов вечера. Не позже девяти он должен был приехать на участок гидромеханизации, чтобы застать там Чарлиева. Карабаш заставлял себя думать о предстоящем разговоре с Чарлиевым — важном разговоре, касавшемся заполнения водою озер, но у него ничего не получалось, потому что мысленно он все время видел Валерию, и он не мог видеть одно, а думать о другом, и волновался все сильнее, и даже погасил свет и вышел на улицу.

В темноте он услышал хрустящие по песку, быстрые шаги. Он оставил дверь открытой и вернулся в комнату.

— Алеша, почему здесь машина? — спросила она задыхающимся шепотом.

— Я должен ехать к Чарлиеву,— сказал Карабаш.

— Сейчас?

— Мы поедем вместе.

— Сейчас?

— Ну, не сразу. Но скоро...

Повернувшись, она затворила дверь и накинула крючок.

Они обнялись посреди комнаты, и он слышал, как стучит ее сердце, потому что она бежала, и волосы ее были сухие и горячие, и еще пахли пустыней, и слегка шевелились от своей легкости и сухости, щекоча лицо, хотя в комнате не было никакого ветра. Не разжимая

рук, они сели на койку, кошма с которой была снята и лежала на полу.

— Хорошо, что нет света, я такая страшная, грязная. Они не успели приготовить горячей воды, а я не стала ждать.

— И хорошо.

— У нас мало времени?

— Мало.

Он почувствовал, что руки, обнимавшие его, ослабли и ее губы уклоняются от его губ. И щеки ее стали влажными.

— Что с тобой? — спросил он.

— Я так рвалась к тебе из Ашхабада, поссорилась со всеми, чтобы уехать скорее. И мы совсем не встречаемся. То у тебя собрание, то ты на трассе, то еще что-нибудь. Алеша, я не знаю... Я не могу так...

— И я не могу. Знаешь, как я ждал тебя? Я просто с ума сходил, чуть не взял билет на самолет...

— Да, а когда я приехала...

— А что я могу поделать?

— Не ехать сейчас, например.

— Нет. Мы поедем потихоньку...

— Алешка, я так устала! Ведь целый день на жаре и в «поле». Тебе не жалко меня?

— Мы поедем потихоньку и будем разговаривать всю ночь. Ты можешь спать. Мы будем одни. Понимаешь? Совсем одни.— Он целовал ее мокрые глаза и губы, и она больше не отклоняла лица, и губы ее снова открывались навстречу, и он чувствовал сквозь свою рубашку, как дрожат и горят ее руки. «Мы поедем потом?» — спросила она чуть слышно. «Потом. Ты согласна?» — «Я согласна — потом...»

Она всегда говорила то, что думает, и всегда была естественна. Каждое ее движение было естественно, и каждое слово, и когда она говорила шепотом, и сжимала зубы, и плакала,— значит, она не могла иначе, потому что она была естественна во всем, и поэтому с ней было легко. Она не мазала лица, чтобы казаться красивее. И кожа у нее была гладкая и пахла сладким, молочным запахом кожи. И волосы ее пахли душно и сухо, как должны пахнуть волосы. И губы ее пахли губами.

Все в ней было естественно. Она была настоящая и лучшая из всех, какие встречались в его жизни. Теперь он знал это твердо. С ней было легко, как ни с кем. В этом и заключается счастье быть с женщиной: чтобы

было легко. И вся любовь, наверное, или то, что называется любовью,— стремление к самой высшей легкости, чтобы ничто не мешало, ничто-ничто. Чтобы никаких преград, окончательная свобода. Ведь даже между ними было что-то, о чем лучше не думать, и он не думал, он отбрасывал от себя все сложное, все тревоги, возникавшие от размышлений, и ему было легко.

Когда он открыл дверь и вышел на улицу, чтобы облиться водой, он увидел, что звезды поднялись высоко, и понял, что опоздал к Чарлиеву. И все же он решил ехать.

Они сели в кабину. Карабаш включил фары и осторожно повел газик по дороге из лагеря на Сагамет. Никто их не окликнул, хотя какие-то люди ходили в темноте и разговаривали, и только одна собака лениво залаяла и немного пробежала за ними, когда они проехали последний дом.

Карабаш держал руль левой рукой, а правой обнимал за плечи Валерию, и так они ехали до тех пор, пока дорога не стала нырять и пришлось взять руль обеими руками. Некоторое время они ехали молча, и он решил, что Валерия задремала. Он чувствовал ее неподвижное, теплое тело рядом с собой. Ее голова лежала почти невесомо у него на плече.

Ему было необыкновенно легко. Никогда в жизни не было так легко, как в эту ночь.

Валерия вздохнула, и он услышал ее голос — нет, она не спала,— быстрый, тихий, почти невнятный голос, каким молятся или разговаривают с собой:

— Господи, как хорошо... И неужели скоро все кончится? Я не увижу тебя даже так...

— О чем ты?

— Алеша, мы заканчиваем здесь все работы. Неизвестно, оставят ли нас на второй год. Ты бы хотел?

— А куда вас направят?

— Неизвестно. Кинзерский сказал мне сегодня: «Скоро ваша пастораль будет нарушена». Несчастный старый дурак! Алеша, ты мне не ответил.

— Что?

— Ты хочешь, чтоб мы остались здесь на второй год?

— По-моему, это глупый вопрос.

— Нет, это не глупый вопрос.— Она слегка отодвинулась.— Иногда я верю, что ты любишь меня, что для тебя все это не просто приключение в каракумских пе-

сках — «там, с одной биологичкой». А иногда у тебя бывает такой холодный, официальный голос и взгляд, и мы не встречаемся по четыре, по пять дней, и потом — ты мне прислал всего два письма, а я каждый день ходила на почтамт, иногда даже утром и вечером. И вот я начинаю терзаться. Иногда просто жить не хочется...

— Нет, ты глупая. Неужели ты не чувствуешь? — Он снова обнял ее одной рукой и придвинул к себе.— Я не знаю, может быть, любят иначе. Ты для меня лучше всех, вот и все.

— И вот я терзаюсь и думаю,— продолжала она,— конечно, думаю, я старше его на три года, у меня семья, сыну шесть лет... Чего я хочу? Что я требую? Что у нас может быть, кроме вот этого мимолетного, этой ночной пустыни, каких-то сумасшедших поездок...

— Ну, перестань. Я прошу.

— Хорошо.

— И разве это плохо? — спросил он.

— Ой, Алешенька! Так хорошо...— Она прижалась к нему и подняла лицо, и он поцеловал ее в губы, уже холодные, потому что в воздухе стало прохладно.

Они ехали быстро, в кабину залетал ветер. Слева была дамба готового участка, там была полная тьма, никаких работ больше не производилось. Машины и люди ушли оттуда. Если сейчас остановиться и вылезти из машины — глухая пустыня, ни одного звука, ни одного огонька кругом.

Дорога вдоль дамбы шла довольно ровная, и через четверть часа газик подъехал к лагерю Чарлиева.

Валерия осталась дремать в кабине, а Карабаш вышел. В нескольких палатках и в большом бараке, где помещалась контора, горел свет. Какие-то люди сидели у костра и пили чай. Из металлических кружек шел пар. Карабаш услышал запах густого чая.

— Здравствуйте,— сказал Карабаш.— А где Чарлиев?

— На водокачку уехал,— сказал один из сидевших у костра.

Другой сказал:

— Садитесь, товарищ Карабаш, пошуруйте чайку.

— Да мне некогда,— сказал Карабаш и все же присел на корточки.— Давно он уехал?

— С полчаса так.

— У кого есть папиросы, ребята?

Несколько человек протянули Карабашу портсигары и пачки. Он взял пять папирос, положил их в карман рубашки и встал.

— Спасибо. Поехал.

— У нас тут, знаете, спор, товарищ Карабаш,— сказал парень, предлагавший чайку.— Тут львы водятся?

— Нет,— сказал Карабаш.

— А тигры?

— Тоже нет. В горах, говорят, попадаются, и то редко. И то не тигры, а барсы.

— А я что говорил? — сказал кто-то радостно и засмеялся. Зубы у него были розовые и белки глаз тоже. У всех. кто сидел у костра, белки глаз были розовые. Тот, кто засмеялся, стал громко, хлюпая губами, пить чай. Четверо других молча смотрели в огонь.

Пронзительно, сладко и сухо пах горящий саксаул, и от этого запаха и дыма Карабаш снова почувствовал удивительную легкость, и на глазах его почему-то выступили слезы, и он сказал:

— А может, и водятся львы. Я ведь не профессор.— Он постоял еще немного.— Ну, я пошел, ребята. Загорайте.

Газик стоял в темноте с выключенными фарами, и Карабаш подумал, что Валерия спит в кабине. Садясь за руль, он старался все делать тихо. Но Валерия не спала и спросила, почему он вернулся так скоро. Он сказал, что надо ехать на водокачку, Чарлиев там, это километров шесть отсюда.

Было около часа ночи. Дорога пошла вправо, в сторону от трассы. Она была отлично видна под светом фар: раскрошенные колесами ветви саксаула и даже следы от покрышек. Привлеченные светом, на дорогу выскакивали песчанки и, пробежав несколько метров впереди радиатора, исчезали внезапно.

— Значит, Кинзерский в курсе наших дел? — спросил Карабаш.

— Нет, по-моему.— Она ответила не совсем уверенно.— Он ужасно подозрительный. Всех подозревает, а меня особенно.

— Почему тебя особенно?

— Потому что я ему нравлюсь.

— А! Я сразу понял: тут дело нечисто.

— Алешенька, к нему ты можешь не ревновать. Это исключено.

— Но что-то было?

— Нет.

— Совсем ничего?

— В общем — ничего. Но я была на грани.— Валерия засмеялась и, прижавшись к Карабашу, быстро поцеловала его в щеку.— Правда, Алешка, я чуть не изменила мужу с Кинзерским! Сейчас мне это кажется диким, а тогда — два года назад, в Дарганжике,— я так ненавидела мужа, что была готова это сделать. Просто ему назло. Кинзерский влюбился по-настоящему, оказывал всякие знаки внимания, причем ни от кого не скрывая: вся экспедиция знала, что начальник «присох». Его жена умерла пять лет назад, и он говорил, что ни на одну женщину не мог смотреть, я была первая...

— На кого он мог смотреть?

— Да. Но мне чего-то не хватало, чтоб он понравился до конца,— понимаешь? — хотя я и уважала его, потому что он умный, знающий и вообще неплохой человек. Это было как с кашей геркулес в детстве. Я знала, что это очень здоровая, полезная каша и даже сладкая — мама сыпала в нее много сахару,— и все же она стояла у меня поперек горла. Однажды, когда у нас был с Кинзерским решительный разговор, я ему рассказала про кашу.

— Не надо обижать старичков.

— Он не обиделся, а засмеялся. И сказал, что самое сильное мое качество — откровенность. В нем почему-то все время была уверенность, что он в конечном счете победит. Но он не победил.

— Нет?

— Нет, Алеша.

— Бедняга! — Карабаш рассмеялся, потому что он знал, что Валерия говорит правду, и обрадовался.

— Какое счастье, что я тогда остановилась! Ведь я встретила тебя...

— А ко мне ты пришла тоже кому-то назло?

— Нет.— Помолчав, она сказала серьезно: — Знаешь, почему нет? Потому что в последний год у меня не было никакой ненависти к Александру. Все исчезло. Не осталось никаких чувств: ни добрых, ни злых. Это странно и, может, даже безнравственно, но я чувствую себя свободной женщиной...

Карабаш притормозил, и газик стал вперевалку спускаться по склону бархана. Когда спуск окончился, Карабаш выключил зажигание, и газик остановился.

— Ты уже не свободная женщина,— сказал Карабаш.

Они сидели обнявшись в темной кабине и целовались. И потом, когда стало неудобно и тесно, они вышли и сели на песок. Песок затвердел к ночи. Он был остывший и жесткий. Сначала было прохладно, и они старались согреть друг друга, а потом стало жарко, очень жарко, так, как бывало днем, и песок стал мягкий и на нем было чудесно лежать, отдыхая и дыша его чистым, кремнистым запахом и глядя в небо. Ярко горели звезды. Их было очень много.

Карабаш подумал, что он уже не застанет Чарлиева, и это неважно, потому что это не главное, а главное — вот этот чистый, кремнистый запах песка и звезды, которых было так много. Они окружали со всех сторон, и от них рябило в глазах. Они были подобны мерцающей и бесконечно глубокой стене.

«Выше этого ничего нет и не будет,— подумал Карабаш.— Песок и звезды. Конец и начало всего».

— Зачем мне Чарлиев? — сказал он вслух.

— Алеша, люби меня всегда,— попросила она тихо.

— Почему так жалобно?

— Нет, я просто подумала... Нас ничто не связывает, кроме любви, ведь это так хрупко...

— Ничто другое и не должно связывать людей. Разве нет?

— Да...

Он встал и протянул обе руки. Она взяла его за руки, продолжая сидеть на песке. Тогда он нагнулся и поднял ее и понес к машине. Она была тяжелая, он шел, напрягая все силы.

Потом, включив фары, он побежал вперед, чтобы отыскать поворот на водокачку. Где-то за спуском должен был быть поворот. Увидев столб с указателем, Карабаш вернулся обратно, и газик медленно тронулся, доехал до столба и повернул налево.

В воздухе запахло водой.

Когда подъехали, Валерия снова осталась в машине, а Карабаш вылез и, нетвердо шагая в темноте, прошел к деревянному бараку, стоявшему рядом с кирпичным зданием водокачки. Возле барака стоял такой же «ГАЗ-67», как у Карабаша, это была чарлиевская машина: капот был открыт и трое мужчин ковырялись в моторе, светя лампой-переноской.

— Чарлиев! — издали весело крикнул Карабаш.— Долго, брат, я тебя по всей пустыне...

— Нет его здесь,— сказал кто-то.

— Разве это не его «козел»?

Карабаш подошел ближе.

— Его. Был «козел», да весь вышел,— сказал человек, державший лампу-переноску, и выругался.

Другой голос, принадлежавший туркмену, видимо, шоферу Чарлиева, сказал:

— Аман Бердыевич на земснаряд поехал. На грузовом транспорте. Вот только-только.

— А что с «козлом»?

Человек с лампой-переноской стал объяснять, грубо ругаясь после каждого слова.

— Не ругайтесь,— сказал Карабаш.— Я и так пойму.

— Чего «не ругайтесь»? Не мужик ты, что ли? Пошел ты, знаешь...

— Не ругайтесь,— повторил Карабаш.

Человек направил на Карабаша пучок света и замолчал. Карабаш вынул из кармана последнюю папиросу, табак из которой наполовину просыпался из-за тряски, и пальцами закрутил бумажный конец, чтоб не просыпалось остальное. Закурив, он сказал:

— Вот черт, придется на земснаряд ехать!

— А сами ругаетесь,— проворчал человек с лампой.

— Мне можно,— сказал Карабаш.— Кто шофер Чарлиева? Вы? Если разминусь, передайте ему, что приезжал Карабаш, начальник Пионерного. Да, ребята, скучно вы живете,— заключил он неожиданно.

— Как так — скучно? — спросил шофер.

— Глядите: южная ночь, звезды, такая красота, а вы с «козлом» шьетесь. И еще ругаетесь. Скучно, скучно живете!

Трое выпрямились и глядели на Карабаша с изумлением.

— Пока, братцы!

Он ушел, провожаемый молчанием.

Земснаряд находился в двух километрах к востоку. Было глупо возвращаться, не доехав двух километров, и Карабаш погнал машину на восток. Валерия заснула.

Она спала все время, пока машина стояла на берегу, рядом с земснарядом, и пока Карабаш разговаривал с Чарлиевым и потом вез Чарлиева до водокачки и там с ним прощался. Она проснулась на рассвете, от холода. Сумеречно синело небо. Справа была дамба готового участка, она бежала назад: голый песчаный скат, бледно сереющий. Слева было лицо Карабаша — серое, как песок, бессонное, с запавшими глазами, родное.

10

Мне поручили записать беседу с Ермасовым, начальником стройки канала, по поводу заполнения озер. Вообще-то тема канала идет по промышленному отделу, но там сейчас все в разъезде, поэтому поручают мне. Действовать надо немедленно: Ермасов пробудет в городе один день, завтра утром он летит в Москву и оттуда куда-то за рубеж.

Давно мне хотелось познакомиться с Ермасовым. Этот человек таил в себе нечто легендарное: я столько слышал о нем, но ни разу не видел. Атанияз говорил, что «на таких, как Ермасов, стоит наше государство». Но он всегда преувеличивает, восторженный малый. Зато Лузгин предупредил меня, что Ермасов человек неприятный, иметь с ним дело тяжело, он капризен, неуважителен, груб. А Боря Литовко сказал, что Ермасов — светлая голова. Вот и разберись тут.

В гостинице «Интурист», куда я прихожу с блокнотом и ручкой в заднем кармане брюк, мне говорят, что товарищ Ермасов просил извиниться, его срочно вызвали в управление. Как? Ведь с ним только что договорились, звонили из редакции!..

Бегу в управление. Сорок минут жду в приемной. Потом секретарша сообщает мне, что Степан Иванович извиняется вторично и просит меня прийти через два часа. Я возвращаюсь в редакцию, обедаю в шашлычной и часа через два прибегаю в управление, где узнаю, что Ермасов ушел пять минут назад.

Вот тут мне делается скверно. Мгновенно вижу разнос на летучке. Лузгин будет орать: «Я вас предупреждал! Я говорил, что это за тип,— вы обязаны были сторожить у двери!» И будет прав. Я прошляпил. Опоздал на пять минут, сукин кот.

— У него столько дел перед отъездом. Попробуйте через четверть часа позвонить в гостиницу,— сочувственно говорит секретарша.— Или, может быть, в столовую. Он обедает в столовой Совета Министров. Вот телефон...

— А нет ли у вас телефона бани?

— Зачем вам?

— Он мог зайти в баню перед отъездом.

Мне хочется говорить дерзости. Теперь я вижу, что Лузгин прав: Ермасов чинуша и бюрократ. Не мог подождать меня пять минут! Я произношу речь о чван-

стве, об уважении к человеку. Меня прерывает телефонный звонок: это Ермасов. Секретарша радостно тянет мне трубку, я хватаю ее и обрушиваюсь на Ермасова со словами о ленинском стиле работы, о том, что времена изменились и надо уважать любого работника, каким бы неважным и невидным он ни казался. Ермасов ничего не может понять. Он говорит так тихо, что я изо всех сил прижимаю трубку к уху, а другое ухо закрываю ладонью. Наконец разбираю еле слышную просьбу поскорее перейти к делу, так как ему крайне некогда. И тогда я тоже начинаю говорить тихим голосом и прошу дать мне аудиенцию хотя бы на десять минут, потому что катастрофа, горит номер. Нет, он не может. У него нет времени. Он отсылает меня к какому-то Смирнову, который приехал с трассы и находится сейчас в гостинице «Центральная». Вот и все, чем он может помочь. Большое спасибо. Горит номер. Горю я.

Надо бежать в «Центральную», чтобы не упустить хоть Смирнова, но тут из кабинета выходит человек в костюме цвета беж, с голубым галстуком, заместитель начальника управления товарищ Нияздурдыев, секретарша нас знакомит, и я, уж не знаю зачем — просто по слабохарактерности, потому что меня приглашают,— захожу в его кабинет. Нияздурдыев — элегантный мужчина с седыми висками, с маленькими седыми усиками. На его столе стоит белый фарфоровый чайник и три пиалки. Нияздурдыев ополаскивает одну пиалку, выплескивает воду в открытое окно, в сад, наполняет пиалку зеленым чаем и подвигает ко мне. Другую пиалку наливает себе. Его смуглые пальцы с аккуратно остриженными белыми ногтями двигаются легко и плавно. Я рассказываю, как целый день гоняюсь за Ермасовым.

— А зачем за ним гоняться? — улыбаясь, говорит Нияздурдыев.— Я дам вам все, что нужно. Недавно я был на трассе, так что вооружен всеми последними данными. Записывайте, пожалуйста.

Я вытащил ручку и блокнот. Какая удача! Милейший человек этот Нияздурдыев! Был бы я дурак, если бы побежал сейчас искать Смирнова. Я записываю километры, кубометры, метры в секунду, фамилии передовиков — все, что нужно. На шестьдесят строк с лихвой. Ну, я в порядке! Теперь можно не торопиться и допить чай.

— Открою вам одну тайну. Только «антр ну», как говорят французы,— подмигивает Нияздурдыев.— Сте-

пан Иванович не рвался с вами встречаться. Когда Маргарита Филипповна вошла сюда и сказала, что там ждет корреспондент газеты, Степан Иванович махнул рукой: «А ну их, трепачей!» А? Ха-ха! — Нияздурдыев добродушно и весело хохочет, сверкая золотыми зубами.— Вы уж его простите, старика. Он сердит на вас за статью Хорева. Но все же ждал вас до половины четвертого, я свидетель.

Я говорю, что, обидевшись на одну статью, вымещать обиду на всех сотрудниках — как-то неостроумно. Товарищ Нияздурдыев со мной согласен. Но надо знать Ермасова. Степан Иванович очень сложный, очень интересный человек. Он не считается ни с чьим мнением, кроме собственного. Решительно не признает коллективного руководства. Да, его стиль работы — это в какой-то степени стиль прежних времен, самоуправство, своя рука владыка и так далее...

Я изумлен.

— Как же вы так спокойно об этом говорите? Почему не снимете его?

— Во-первых, Степан Иванович — ценный работник, у него много достоинств. Во-вторых, он пользуется могучей поддержкой.

— Но как можно теперь — именно теперь! — мириться с самоуправством?

Нияздурдыев улыбается, пожимает плечами и вытирает лицо платком.

Очень жарко. Я тоже вытираю лицо платком. Нияздурдыев наливает в мою пиалку еще чаю. Вдруг без стука открывается дверь, и в комнату входит худой, с орлиным профилем молодой человек, похожий на студента-практиканта, на шофера или на рассыльного. Он держит в руках папку и кладет ее на стол Нияздурдыева. Они начинают разговаривать по-туркменски, изредка вставляя русские слова и обороты речи. Нияздурдыев, например, долго-долго говорит по-туркменски, потом слышу по-русски: «ставил вопрос неоднократно», потом снова долго по-туркменски, и вдруг опять русское: «в соответствии с решением», и опять по-туркменски. Через минуты две-три я догадываюсь, что молодой человек с орлиным профилем — это сам Атамурадов, начальник управления. Они разговаривают по-туркменски долго. Я чувствую, что пора уходить, встаю со стула, но Атамурадов вдруг подходит ко мне и пожимает руку.

— Здравствуйте,— говорит он.— Садитесь, пожалуйста.

Я сажусь, а Нияздурдыев, взяв чайник, вновь наполняет мою пиалку чаем, потом наливает Атамурадову и себе.

— Очень хорошо,— говорит начальник управления,— что вы даете статью о заполнении озер. Надо поддержать Степана Ивановича, правильно! Я пришел в управление недавно, пять месяцев назад, и знаю, как трудно заставить людей работать по-новому...

— Очень, очень трудно,— кивает Нияздурдыев.

— Приучить к инициативе, к тому, чтобы не боялись ответственности, риска. Ведь почти все, что предлагает Степан Иванович, встречается в штыки — даже в его собственном тресте, я уж не говорю о нашем управлении, где у него хватает противников, или об институте, где его терпеть не могут. А Степан Иванович — замечательный человек. Он руководитель нового типа. И сам умеет находить новых людей, деловых, инициативных, смело их привлекает...

— Он и раньше умел находить людей, это правильно,— говорит Нияздурдыев.

— Раньше у него не было таких возможностей, Сапар-ага. Он не был хозяином в собственном доме.

— Да, но каких новых людей он привлек? Карабаша? Неизвестно, что из него получится. Гохберга? Какой новый человек — семь лет в нашей системе!

— Но кем в нашей системе? Механиком на ремзаводе? И это человек с высшим гидротехническим образованием! Ведь глупость, безобразие!

— Э-э, ничего...

— Как «ничего»? Что значит «ничего»? — сердито говорит Атамурадов.— Столько у нас еще делается глупого, бесполезного, и все «ничего»! Раньше был страх, была боязнь ответственности, боязнь потерять голову неизвестно за что, теперь ведь этого нет, значит, надо перестраиваться,— верно? — надо находить толковых людей, а они есть, надо дать им настоящую работу. Каждого на свое место — вот что нам нужно!

— Это безусловная истина, не требующая доказательств, Караш Николаевич,— кивая и улыбаясь, говорит Нияздурдыев.— В этом, конечно, вся соль...

Я выхожу на улицу, несколько сбившись с толку. Ясно одно: в Управлении водными ресурсами, так же как в редакции, как повсюду, действуют противобор-

ствующие силы, кипят глубинные водовороты. В Атамурадове я чувствую какую-то страсть и тревогу, а его заместитель чересчур спокоен. Он как будто знает нечто важное, что дает спокойствие. Но, может быть, все наоборот: Атамурадов, может быть, по-настоящему и глубоко спокоен, а Нияздурдыева терзает безумная тревога, но он скрывает ее. Но то, что они антиподы, этого не скроешь. Как это любопытно, как наглядно! Водораздел пролег между всеми, сквозь все сердца.

Внезапно я останавливаюсь посреди улицы. Какой я идиот! Ермасов послал меня к Смирнову, я обязан был ехать к нему, а не выслушивать замначальника управления. Пускай Ермасов, чинуша и барин, не подождал меня пять минут, но я догадываюсь, чувствую сердцем — я с ним. К Смирнову, к Смирнову! Останавливаю такси и мчусь к «Центральной».

...Ключ от сорок четвертого номера у портье. Товарищ Смирнов рассчитался и уехал двадцать минут назад.

Когда мы устраивали в газету Дениса — месяца полтора назад,— у меня произошло первое столкновение с Лузгиным, заместителем главного. Бывают люди, с которыми непостижимо быстро, с первой же минуты, устанавливаются отношения взаимного холода. Сначала недосуг разобраться, в чем дело, а потом эти отношения вырастают в привычку и диктуют поступки. Причины, конечно, есть, и глубокие, но их понимаешь позже. Вот так получилось у нас с Лузгиным. Я сразу не понравился ему, а он мне. Не люблю раздражительных лысых мужчин, страдающих пулеметностью речи. В газете были неплохие ребята, с которыми я быстро сошелся: Критский, Жорка Туманян, Тамара Гжельская и другие. Дружил я с Борисом Литовко и с Сашкой, конечно. Я вообще легко схожусь с людьми. У меня и с редактором наладились не то что дружественные, но вполне корректные отношения, а вот с Лузгиным ни черта не клеилось. Мы как бы чуяли враждебный запах друг друга. Он был дельный администратор, но совершенно ничтожен как газетчик. Когда Лузгин изредка брался писать передовые, Витька Критский всегда его редактировал.

Оказывается, у Лузгина была своя кандидатура на должность фотокорреспондента, но Диомидов тянул дело с оформлением — он не очень-то хотел брать этого человека — и тут подвернулся Борис Литовко с предложением насчет Дениса, и Диомидов согласился неожи-

данно быстро. Саша, который боялся замолвить за Дениса слово, не скрывал изумления:

— Никогда б не поверил, что шеф возьмет его! С его-то осторожностью...

Лузгин узнал про Дениса все и тихо вредил. Он нашептывал Диомидову и секретарю партбюро про денисовский плен, про то, что Денис пьет, морально неустойчив, темная лошадка как фотограф.

Однажды я спросил у Лузгина:

— Артем Иванович, зачем вы вредите Кузнецову? Его и так дубасила жизнь, он все потерял — дом, семью...

— Что такое? — Лузгин заморгал своими маленькими черными глазками в толстых веках, красных от конъюнктивита.— Зато не потерял самую жизнь! Как другие, как другие, понимаете?

— Что ж, он виноват в том, что остался жив?

— Вы были на войне?

— А что?

— Тогда молчите! Ваше милосердие ни хрена не стоит. Таких, как этот Кузнецов, мы расстреливали без суда,— ясно вам, ясно?

— Я был на войне.

— Это не меняет дела.— Он посмотрел, прищурясь.— В общем, мой вам совет: не будьте таким активным в этих делах, не нужно, тем более вы...

Я не стал спрашивать, что значит «тем более вы», но примерно догадался.

Лузгинские разговоры подействовали: Диомидов заколебался и начал, по обыкновению, «тянуть резину». Денису говорили, что не могут его взять, потому что он не прописан, а для прописки нужна была справка с места работы, но наконец его прописали с помощью Витьки Критского, у которого был знакомый в гормилиции. Диомидов вел себя странно: ничего не обещал, но и не отказывал окончательно. Вообще Диомидов — туманный тип. Иногда он представляется мне совершенно закаменевшим чиновником, а иногда в нем проблескивает что-то живое, какие-то искры юмора, и тогда я думаю, что он совсем не тот человек, за кого себя выдает.

Для Дениса и для всех нас, кто хотел ему помочь, наступили дни безнадежности. Казалось, у него не было другого выхода, кроме одного: завербоваться в экспедицию простым рабочим или коллектором и уехать на полгода в пески. Эту возможность мы могли ему предоставить через наших приятелей-геологов. Но Денис не

хотел уезжать в пески. Ему нужны были постоянная работа и постоянный дом. Он набродяжничался вволю, до конца жизни. А потом вдруг, неизвестно почему, дела у Дениса поправились: его вызвал Диомидов и предложил место на полставки. На другую половину ставки приняли того парня, за которого хлопотал Лузгин. Лузгин перестал со мной здороваться.

Денис работал неплохо, у него был великолепный «ролльфлекс» с набором объективов — единственная ценная вещь, которую он привез с Запада,— и некоторый опыт газетного репортажа. За годы скитаний он перепробовал много профессий, одно время был репортером в какой-то спортивной французской газете; особенно здорово он снимал велосипед и футбол. В нашей газете, конечно, эти таланты не находили настоящего применения, но и в других жанрах Денис работал вполне профессионально, намного сильнее своего соперника Мирзоева и всех внештатных добровольцев, мальчиков, студентов, учителей физкультуры и почтовых служащих, мечтавших переменить профессию, которые приносили в редакцию большие желтые пакеты, набитые посредственными фотографиями на самой лучшей бумаге, и готовы были приплатить, лишь бы увидеть свое клише в полосе. Денис обладал одним талантом, который отсутствовал у большинства добровольцев,— талантом вкуса. Поэтому его работы значительно более приближались к настоящему искусству, чем работы всех его конкурентов и даже чем многие тассовские снимки, поступавшие из столицы.

Но у Дениса был недостаток, хорошо мне известный: он был разболтан, как старый штатив с ненадежными винтами.

Каждый день я боялся, что он сцепится с Лузгиным или с кем-нибудь еще, кто мог позволить себе намек или насмешку по его адресу: ведь в редакции непрерывно острят и подтрунивают друг над другом. Каждый день я боялся, что он придет на работу пьяный, и он действительно приходил раза три навеселе, но это было почти незаметно. Пока все шло благополучно. В редакции к Денису относились настороженно, с несколько боязливым интересом: все знали его прошлое и его настоящее, и это было занимательно, но все почему-то считали долгом сдерживать свое любопытство. Саша относился к Денису сдержанней всех.

В редакции у Дениса было пока что два товарища —

я и Борис Литовко, причем эта последняя дружба, старая и прочная, была для Дениса еще и очень полезной, потому что Борис, как секретарь редакции, мог давать ему интересные задания и чаще ставить в полосу. В общем, жизнь Дениса Кузнецова как будто начинала налаживаться. И однако... Что это была за жизнь? Ему было худо. Я видел. Он приехал в этот город не для того, чтобы поступить фотокором в газету, а для того, чтобы найти здесь потерянное: дом, сына, женщину, которую он когда-то любил. И не нашел ничего.

Все было на месте, и даже дом, как ни удивительно, уцелел — один из немногих домов в городе, но теперь все это было чужое. Во всем этом умерло то, что было когда-то частью его, Дениса Кузнецова, и место того, что умерло, заполнило чужое, беспощадное. И нельзя было ничего требовать,— что потребуешь у времени?

Сын по-прежнему думал, что его отца зовут Михаил Иванович. А у женщины была одна забота: как бы от вторжения «тогда» не нарушилось ее «теперь».

— Ну и что же? Вы нашли его?

Я рассказываю. Нет, не нашел. Он уехал в Мары. Да, я опоздал буквально на пятнадцать — двадцать минут. Да, я прошляпил это дело. Безусловно. Бывают такие дни, как будто заколдованные: не везет с утра. Нет, я ни на кого не сваливаю. Совершенно верно, тут дело не в везении, а в организации. Ну да. И в чувстве ответственности, конечно. Нет, я просто говорю: бывают такие дни...

Лузгин трет пальцами веки. Трет так сильно, что в глазницах что-то трещит.

— Что же делать? Придется вам разговаривать с Игорем Николаевичем. Эти сведения из управления мы могли взять в любой день...

Мы идем к редактору. Я рассказываю все сначала, добавляю только, со слов Нияздурдыева, что Ермасов сердит на газету и вовсе не горел желанием давать нам интервью.

— Вот что,— говорит редактор,— вы провалили это дело и не оправдывайтесь. Думайте, как выручать газету. Знаете что? Дадим вам командировку на трое суток в Мары. День туда, день оттуда и день там. Находите Смирнова, кого хотите, но чтоб во вторник была статья о канале: как готовятся к заполнению озер. Если проворонили здесь, езжайте на место, завтра же.

— А что ж? — говорю я.— И поеду.

— Вот и поезжайте.

Лузгин разочарован: он надеялся, что я пострадаю как-то более крупно. А я вовсе не пострадал. Наоборот, я доволен: наконец-то поеду на трассу. Мне тут же выписывают командировку, я получаю деньги на билет, суточные и ухожу домой. Поезд завтра утром.

Вечером, около шести, должна позвонить Катя, поэтому я не иду ужинать, а лежу на кровати в своем номере и читаю журнал «Техника — молодежи». Интереснейшая статья о кибернетике, но я никак не могу вникнуть, потому что Катя не звонит. До половины седьмого Катя все еще не звонит. Без четверти восемь звонит режиссер Хмыров и спрашивает, пойду ли я сейчас ужинать в ресторан. Я говорю, что пойду позже.

В открытое окно влетают обрывки музыки духового оркестра, который играет в парке. Каждый вечер играет одно и то же: «Караван», «Арабское танго» и еще две или три вещи. Иногда проезжает автобус и заглушает музыку. Иногда музыка затихает сама — оркестранты отдыхают, а танцоры в это время стоят друг против друга на цементном полу, томясь в ожидании. В тот вечер, когда мы с Катей в первый раз пришли в парк, было очень душно. Мы не достали билетов на концерт и весь вечер танцевали. Было тесно, жарко, мы обливались потом и все-таки танцевали почти без отдыха. Иногда, когда я вспоминал про футболиста с перебитой ногой, мне становилось неловко и даже немного стыдно, но потом я забывал о нем, потому что видел, что Катя тоже забывает. В сущности, я не делал ничего дурного, только развлекал ее в этот тяжелый вечер, и она была мне благодарна. Когда оркестранты ушли и публика стала расходиться, мы пошли в глубь сада, за баскетбольные площадки и за ресторан, в самый дальний конец, и отыскали одну скамейку в темной чаще, вдали от фонарей. Кате некуда было спешить и мне тоже. И мы сидели там до поздней ночи, она рассказывала о своей жизни, довольно грустной и чем-то напоминавшей мою: тоже безотцовщина. Катя приехала сюда год назад вместе с матерью. Отец их давно оставил, он живет в Ленинграде, а они жили в Минске. Катина мать тяжело больна: какое-то сложное заболевание почек, лечить которое можно только здесь, в жарком климате. Вот уже несколько месяцев Катина мать находилась в санатории Байрам-Али, а Катя жила в Ашхабаде, снимала вдвоем с подругой комнату недалеко от Русского базара. Она

осталась в Ашхабаде для того, чтобы поступить в университет, но провалилась на экзаменах. Одно время Катя работала воспитательницей в детском саду, была почтальоном, училась стенографии, а сейчас хочет поступить в Русский драматический театр: там открылась подготовительная студия, и есть возможность туда устроиться. Все это звучало как-то жалко и наивно. Непонятно было только, на какие средства она живет. Наверное, присылает что-нибудь отец. И так мы сидели, разговаривали, время было за полночь, уходить из парка не хотелось, и кончилось тем, что я ее поцеловал. Потом провожал ее домой, было нежное прощанье, мы никак не могли расстаться и еще долго целовались на улице перед ее домом.

Мы стали встречаться. Но мой первый успех, который обещал так много, оставался по-прежнему высшим пиком. Когда при следующей встрече я захотел обнять ее, она выскользнула и, погрозив пальцем, сказала: «Петя, не играйте с огнем!» Эту фразу, которую могла бы сказать записная кокетка, Катя, наверное, где-нибудь слышала или читала. Она повторяла ее потом часто, причем без юмора.

Порой она мне кажется наивной девочкой, которая мечется в этой трудной жизни, совершая нелепые поступки, и сама не знает, чего хочет, и тогда мне делается ее жалко, очень жалко. Она так же одинока, как и я, в этом городе. Но иногда я замечаю, что она хитра и расчетлива не по возрасту, и тогда я задумываюсь. Мне нравятся ее тоненькая, полудетская фигура, темно-рыжие волосы, и ее невзрачные кофточки и старенькие босоножки, и то, что, когда мы обедаем в столовой, она всегда ест с жадностью и пьянеет от лимонада.

В дверь сильно стучат. Я встаю с кровати и в носках подбегаю к двери, заранее зная, что это не Катя: она не будет стучать так сильно. На пороге стоит Денис.

— Здравствуй,— говорит он.— Ты ждал кого-то другого.

— Неважно. Проходи, садись.

Я сажусь на постель, а Денис садится на стул к моему столу. Он советуется о том, что делать с Лузгиным: набить ему морду в темном переулке или навредить как-нибудь похитрее?

— Что случилось?

— Его сын учится с моим Вовкой в одном классе, они товарищи и бывают друг у друга. Вот как получает-

ся в жизни. И вот позавчера, когда Вовка был у них в доме, этот милый папаша рассказал ему про меня. Понял?

— Вот сукин кот.

— Сегодня прибежала Зинаида, говорит: мальчишка сам не свой, плачет, хочет бежать из дома. От отчима они скрыли. Она уговорила Вову не показывать виду. Вот ведь страх перед мужем! Вышла замуж за туркмена и сама, понимаешь, превратилась в восточную женщину: муж — владыка!

Денис все время вертит в пальцах зажигалку. Зажигалка у него замечательная, с маленькой рулеткой.

— Конечно, рано или поздно надо сказать сыну, но это наше дело, ее и мое, а не чужой сволочи. Но это уладится. Жили без меня шестнадцать лет, будут жить дальше. А вот что делать с Лузгиным?

— Что делать?

— Надо что-то делать. Он гадит все время. Терять мне нечего, один удар в печень, и он — аут.

— И ты получаешь срок.

— Нет, серьезно, не могу его видеть, а то и правда ударю. Хочу уехать. Например, с тобой на трассу — возьмешь?

— Да я не на трассу. Я на один день в Мары.

— Пожалуйста, можно на один день. Мне интересно посмотреть. Я ведь помню разговоры насчет канала еще с довоенных времен. Поговоришь завтра с редактором? Борька меня поддержит.

— Надо, чтоб поддержал Лузгин.

— Фотограф тебе нужен?

— В том-то и беда, что не особенно. Но я поговорю. Попробуем.

Девятый час. Катя уже не позвонит. Ну что ж, сегодня у меня день неудач.

— Ладно, пошли ужинать,— говорю я.

Мы идем по длинному коридору, неярко освещенному электрическими лампочками без плафонов. Я отдаю ключ дежурной, мы направляемся через полукруглый зал вестибюля к дверям ресторана, и в это время в вестибюль входит Хмыров и с ним какой-то белобрысый, толстенький, в очках с прозрачной оправой.

— Салют! Салют! — увидев меня издали, говорит Хмыров и по-ротфронтовски поднимает кулак.— А я вам звонил со студии. Поздравьте нас: наше сочинение наконец принято. Прошу познакомиться: мой соавтор...

Авенир Павлович возбужденно рассказывает о том, как проходило заседание худсовета, а мы тем временем входим в полупустой зал ресторана и, миновав его, направляемся на террасу, где днем невозможно сидеть из-за жары, а сейчас прохладно, и слышен шум фонтана во дворике, и через деревянную загородку идет живой лиственный запах сада. Усаживаемся вокруг круглого стола. На нем стоит блюдце, где плавает ядовитая бумага от мух. Такие же блюдца, наполовину высохшие, а то и вовсе сухие, стоят по всему барьеру террасы и на других столах. Но мух очень много. Особенно густо они ползают почему-то по полу.

Авенир Павлович продолжает рассказывать. Денис недоволен появлением незнакомых людей. Он не смотрит на них, демонстративно зевает во время рассказа Авенира Павловича, и вид у него пренебрежительно-кислый, как будто он главный человек за столом, к которому подсели незваные гости. Вдруг он говорит:

— Значит, с вас магарыч. Ставьте бутылку коньяка.

Авенир Павлович, не обратив внимания, а может быть не расслышав, продолжает:

— Они, конечно, не ожидали, что дело примет такой оборот. Но когда стало ясно, что мы проходим на «ура»...

— Нет, сначала выступил тот, из министерства! — радостно говорит соавтор.

Подходит официант. Взмахнув полотенцем, сгоняет мух со скатерти. Вынимает огрызок карандаша и блокнот. Авенир Павлович и его соавтор заказывают суп, бифштекс рубленый, творожники, масло и две бутылки пива. Денис просит меня взять ему сто пятьдесят и какой-нибудь ерунды пожевать.

— Дорогой Петя! Петр! — говорит Авенир Павлович, трогая меня за рукав.— Позвольте так вас называть? Я ведь старше вас, Петр. Так вот, сценарий принят, и у вас есть шанс напечатать хороший отрывок. В вашей газете теперь есть «литературная страница», не так ли?

— Что ж, несите, несите.

— «Что ж, несите» меня не устраивает. Я хочу услышать: «Несите немедленно! Сейчас же! Нам страшно нужно!» — смеясь, говорит Хмыров.— Сценарий, кстати, у меня с собой.— Он достает толстую кожаную папку, которая лежала у него за спиной на стуле, отстегивает застежки и вынимает оттуда другую папку, картонную

и потоньше.— Вот, прошу. Читается одним духом, не оторветесь. Говорю совершенно объективно. Это же детектив. Я, собственно, вам и звонил по этому поводу.

— А вы деловой человек,— говорит Денис, который уже проглотил рюмку, и лицо его багровеет и становится шкиперским.— На Западе вы бы делали большие деньги.

— Простите, не понял.

— На Западе, говорю я, вы бы делали большие деньги. У вас есть хватка.

— Вы что — специалист по Западу? — с насмешливостью спрашивает Хмыров, впервые внимательно оглядывая Дениса, его мятую рубашку, его большие красные руки с не очень чистыми ногтями.

— Нет, я не гожусь,— говорит Денис.— Никуда не гожусь.

— Тогда вы нам неинтересны! — вдруг выпаливает соавтор Хмырова.

— Нет, ребята, это вы мне неинтересны. Потому что вы мне здорово надоели. Я все про вас знаю,— говорит Денис и с важностью грозит соавторам пальцем.— Я сейчас вернусь!

Он уходит.

— Что это за чучело? — спрашивает Хмыров.

— Фотограф из нашей газеты. Неплохой малый. В жизни ему досталось.

— Еще немного, и ему досталось бы дополнительно,— ворчит хмыровский соавтор и высовывает из белой манжеты маленький кулачок, покручивая им.

Хмыров спрашивает:

— Петр, когда вы прочитаете сценарий?

— Дней через пять.

— Вам очень не хочется, понимаю. Голубчик, а почему так долго? Почему не сегодня? Взял бы, лег на кровать и прочитал с ходу...

— Я еду завтра в Мары.

— Так то завтра. А я говорю про сегодня.— Хмыров смеется.— Шучу, шучу! Как говорят на Востоке: «Голодному и шкура леопарда кажется из лепешек».

— Не понял, к чему это? — спрашивает соавтор.

— Вы не поняли? Есть такая поговорка: «Что понимает верблюд в аромате цветов?..»

Они веселятся. У них чудесное настроение, они с жадностью едят рубленый бифштекс, подмазывая его горчицей и запивая пивом. Ну еще бы, они счастливцы,

жизнь им улыбается. У них такие узкие плечи и такие большие зады.

Взяв папку, я говорю, что отнесу ее в номер, чтобы не забыть в ресторане, и ухожу. Не зажигая света, сижу в своем номере и жду. Мне кажется, что сейчас должен быть звонок. Но звонка нет.

Потом я выхожу на улицу. Автобусом доезжаю до улицы, где живет Катя. Она снимает комнату в одноэтажном доме, ее окно — крайнее левое, завешенное шторой. Несколько раз негромко стучу в раму. Никакого отзвука. Стучу сильнее. По-прежнему тишина. Но в комнате кто-то есть, сквозь штору просачивается свет.

Предчувствие обмана охватывает меня. Вдруг штора отдергивается, за стеклом возникает лицо незнакомой женщины, потом я вижу лицо Кати, и штора падает. Через минуту Катя выходит во двор. Оказывается, неожиданно приехала из Челекена ее подруга Рая, совсем больная с дороги. И поэтому Катя не смогла позвонить.

— Ну что ж ты стоишь? Проходи в дом! — говорит Катя громко.

Я поднимаюсь по ступенькам крыльца и вхожу в комнату. Полутемно, на стеклянный абажур настольной лампы наброшен кусок красной материи. Стол придвинут к кровати, а на кровати сидит, полуприкрывшись халатом, белокурая скуластая девушка с узкими монгольскими глазами и смотрит на меня удивленно. Напротив нее за столом сидит футболист Альберт. Он потолстел, поздоровел, хотя пострижен по-больничному и несколько бледен.

Я знакомлюсь с Катиной подругой, пожимаю руку Альберту.

Катя наливает мне стакан чаю. Все немного смущены.

— Ну, я пошел,— говорит Альберт и встает.— Значит, ты позвонишь завтра?

— В котором часу? — спрашивает Катя.

— Я увижу его днем, позвони в четыре, в пять.

— Хорошо, Алик. Я тебя провожу.

— Приветик! — говорит футболист и выходит.

Катя идет вслед за ним. А я остаюсь и чувствую себя неловко. Катина подруга вовсе не выглядит больной, она заводит со мной бойкий разговор о литературе. Не могу ли я достать Дудинцева? А «Литературную Москву» номер первый? А выставку Пикассо я успел посмотреть?

Минут через двадцать прибегает Катя, запыхавшаяся, с виноватым лицом. Начинает преувеличенно за мной ухаживать: «Петя, что ж ты сидишь, как в гостях? Бери сыр, варенье! Рая, почему ты его не угощаешь?» Но Раю интересует Пикассо, «Оттепель», панорамный кинотеатр. И я начинаю говорить глупости, потому что злюсь все больше.

Панорамный кинотеатр? Да, это здорово. Я, правда, не был, но здорово. А в Лужниках мне очень нравятся буфеты. Замечательные буфеты. Не то что на «Динамо». Сам по себе стадион «Динамо» гораздо приятней Лужников, ближе поле, лучше видно, но буфеты — никакого сравнения! И уборные там отличные, намного лучше динамовских.

Рая смотрит на меня изумленно.

— Вы, наверное, считаете себя очень умным?

— Да, признаться. Я неглуп.

— Петя, что с тобой?

— У меня сегодня день неудач, а завтра я уезжаю. Надо пораньше лечь спать, но пока вас не было,— тут я обращаюсь к Рае,— я привык уходить из этой комнаты поздно. В час, в двенадцать...

— Зачем ты говоришь неправду?

— Ну, однажды около двух...

Катя вдруг встает и выбегает из комнаты. На дворе, где тихо по-ночному, фигура Кати быстро движется на экране побеленного известью глинобитного забора.

Я бегу за ней, догоняю ее, она прижимается к забору.

Поднялась луна: я чувствую ее фосфорический свет на своем лице. Осторожно беру Катю за плечи, придвигаю к себе. Я хочу видеть ее глаза. Она отворачивает лицо, и луна освещает белую открытую шею. И, как всегда, мне хочется поцеловать эту белую шею.

— Ты не пришла сегодня из-за футболиста,— говорю я.— Ведь правда?

Она кивает.

— Если началось вранье, значит, конец. Мне от тебя ничего не нужно, но только чтоб без вранья. Ладно? Роман без вранья.

— Петя, ты ничего не знаешь...

— Да что тут знать? Все ясно. Я исполнял роль дублера, но вот вернулся главный исполнитель...

Удар по щеке. Я бросаюсь за Катей вдогонку и успеваю поймать ее возле крыльца. Мы боремся в темноте.

Я хочу отвести ее от дома, а она рвется к двери: она очень крепкая, несмотря на то что тоненькая и небольшого роста.

— Пусти меня.

— Разве это неправда?

— Это подло! Гадко! Пусти, слышишь? — Ей удается освободить правую руку, и она изо всей силы упирается мне в грудь, стараясь оттолкнуть меня и вырваться. Но разве ей сдвинуть такого слона, как я? Ослабев, Катя опускается на ступеньку крыльца, и тогда я беру ее за локти, поднимаю и, держа почти на весу, отвожу от дома: каждую минуту на крыльцо может кто-нибудь выйти.

Мы садимся в углу двора на какие-то доски. С шипением выскакивают из-под них три кошки, одна за другой. Я молчу, а она плачет, вытирает пальцами щеки, и так мы сидим долго. Потом я спрашиваю:

— Ну, чего ты плачешь?

— Я не могу съездить к маме, потому что у меня нет денег на билет до Байрам-Али,— шепчет она.— А мама... Не знаю, проживет ли она зиму...

— Почему ты не сказала? Я бы нашел деньги.

— У тебя я не возьму.

— Почему, интересно?

— Не возьму — и все. Скоро меня зачислят на студию, и я получу стипендию...

— Да что стипендия! Тридцатого числа я дам тебе триста рублей, и на праздник поезжай к маме.

— У тебя я не возьму ни за что.

— А у Альберта взяла бы?

— Не знаю... Да у него никогда нет.

Луна поднялась высоко.

— Я — как вот эта луна в пустом небе,— говорит Катя.— И когда я встретила тебя, я подумала: кончилось, кончилось...

— Что?

— Одиночество. Вдруг поверила, что ты настоящий. И мне было так хорошо несколько дней, когда ты был спокойный, веселый и без всякой подозрительности. С Аликом у меня ничего нет и не было, просто он хороший товарищ.

«Но ведь ты целовалась с ним во дворе Сашиного дома,— думаю я.— Я видел. Я слышал, как скрипел песок под подошвами твоих босоножек, когда ты вставала на цыпочки, чтобы обнять его. И этот длинный звук

поцелуя. Но, может быть, все это считается «ничего». Со мной тоже было «ничего». Я обнимаю Катю, слегка придвигаю к себе, ладонью чувствую ее худую лопатку, а под пальцами бьется ее сердце.

Мы сидим молча и раскачиваемся, доска под нами поскрипывает. Вокруг бегают кошки, кричат из мрака детскими голосами. Наверное, около часу ночи. Она не уходит. Значит, ей нравится сидеть со мной на этих скрипучих досках, среди кошек и лунного света. А куда она может уйти? Некуда ей идти. Мне становится очень стыдно, у меня даже слезы выступают от стыда и от жалости к ней.

— Прости, я был не прав...

Ее руки слабо сопротивляются. Ее белая кожа при лунном свете кажется неестественно белой. Она отводит губы и шепчет, чтобы я не играл с огнем.

Хлопнула дверь. Кто-то сходит по ступенькам крыльца и медленно идет через двор. Мы замираем. Это Рая, в длинном, до пят, пятнистом халате, ярко освещенном луной. Она идет в глубь двора. Мы сидим очень тихо до тех пор, пока она не возвращается и не закрывает за собой дверь, и тогда мы встаем и выходим на улицу. В конце улицы, где поворот к Русскому базару, есть скамейка под карагачем: там автобусная остановка. Автобус давно не ходит, прохожих нет. Луна не достигает скамейки, ее свет гаснет в листве.

11

Мангышлакский туркмен по имени Ходжа Непес в 1714 году прибыл к царю Петру и сообщил, будто в реке Амударье есть золотой песок и что хивинские ханы, желая скрыть золото от русских, посредством плотины отвели реку в Аральское море, но течение по старому руслу легко восстановить, и тогда можно в изобилии добывать в реке золото. После азовской неудачи царь нуждался в деньгах. Но еще заманчивей золота показалась царю возможность отыскать водный путь в Индию.

В 1716 году Петр отправил к берегам Каспия экспедицию Бековича-Черкасского. Через шесть месяцев Бекович вернулся, потеряв половину людей. На другой год вышла вторая экспедиция Бековича, состоявшая из семи тысяч регулярного войска, яицких и гребенских казаков и ста человек драгун «с добрым командиром». Почти

все они погибли в каракумских песках от болезней и жажды или же были перебиты хивинцами. Погиб, обманутый ханом, и сам несчастный Бекович, бывший кабардинский бек Девлет-Кизден-Мурза, перешедший на службу к царю и ставший русским князем, капитаном гвардии Преображенского полка. Говорят, его кожи хватило на один небольшой барабан... Вот этот унылый жаркий простор, белесый от соли, с белесым небом без единого облачка, который торчит в окне неизбывный, как судьба, видели, умирая, бородачи Бековича. Тот же унылый простор открылся когда-то Александру Македонскому, когда он перевалил через горы. И царю стало скучно, и он повернул и ушел в Индию.

Моим соседом по купе оказался милейший человек, некто профессор Кинзерский. Он возвращался в свою экспедицию, которая работала в районе трассы, занимаясь проблемой борьбы с подвижными песками. Мы разговаривали о Бековиче, о Флорио Беневени, о капитане Муравьеве и бароне Каульбарсе, о Гедройце, Коншине и академике Бартольде — я как раз недавно прочитал несколько книг по истории Туркмении — и о том, что великие идеи от частого употребления на протяжении веков перестают казаться великими.

— Превратить пустыню в сад — это звучит достаточно банально,— говорил профессор,— но надо сделать усилие и понять смысл заново. Увидеть века, тысячелетия, сквозь которые пробивалась идея: я имею в виду поворот Амударьи в Каспий. Возьмите Панамский канал: его идея вынашивалась четыреста лет. А Суэц? Вы знаете, когда был построен Суэцкий канал? Ошибаетесь, не в прошлом веке, а три тысячелетия назад, при Рамзесе Втором. Потом он на столетия был заброшен, засыпáлся песком, его рыли заново при Дарии, при Траяне, и снова он приходил в негодность. Но идея продолжала жить, к ней возвращались арабы, венецианцы, Наполеон. Это один из неувядаемых соблазнов человечества, не менее древний, чем соблазн повернуть Аму в Каспий. Ходжа Непес высказал царю не свою собственную гениальную догадку, а мечту народа, мечту, уходившую черт знает в какие дебри, в Хорезм, в Парфию. А сколько копий было сломано вокруг загадки Узбоя! Сколько людей потратили жизни на то, чтобы открыть истину: что такое Узбой? Старое ли это русло, пролив или «вади»? И можно ли пропустить по нему амударьинскую воду?

— Я читал об этих спорах,— сказал я.— Мне кажется, прав академик Обручев: Узбой — типичная речная долина.

Дело в том, что три дня назад я закончил чтение популярной книжки, изданной Детгизом: «Загадка бешеной реки». Ободренный моими знаниями, Кинзерский продолжал:

— Да, написаны горы книг. И за ними стоят горы страданий, подвигов, героизма, разбитых жизней. Мой университетский друг погиб в песках в семидесяти километрах от Иолотани. Это была экспедиция про проекту Ризенкампфа, двадцать восьмой год. Все дневники экспедиции и приборы они зарыли в песках, поставили флаг, а сами отгребли верхний слой песка, докопались до более прохладного слоя и легли в эту яму. У них все кончилось: вода, силы, патроны. Я еще застал знаменитого Цинзерлинга, который провел двадцать пять лет в пустынях Мексики и Калифорнии. Он был автором проекта пропуска воды по Узбою через Сары-Камышскую впадину, с плотиной на Тахиа-Таше. Еще в восьмидесятых годах эту мысль развивал Глуховский, а за сто лет до него инженер-капитан Ладыженский, плававший по Каспию, а до Ладыженского — и так далее, вплоть до парфян. И вот сейчас идея переброски амударьинских вод в Каспий — пускай не в северном, а в южном варианте, через Келифский Узбой,— осуществляется. Делается великое дело. «То, о чем веками мечтал туркменский народ», как вы любите выражаться в газетах. И вот вы приезжаете в Мары, в трест, потом на трассу и встречаете людей, которые делают это дело... Вы первый раз на трассе?

— Первый,— сказал я.

— И что вы слышите? Разговоры о рыбных консервах, о том, что в магазин привезли тюль, что начальник участка такой-то купил четыре холодильника и отправил своим родственникам в Ташкент, слышите какие-то тупые споры о бульдозерах, запчастях. О боже, нет ничего ужаснее исполнителей!

— Но это лучше, профессор, чем без конца трещать о великой стройке, как было еще недавно. Мне как раз нравится то, что Каракумский канал, в отличие от Главного туркменского, строится без барабанного треска. Пусть говорят о тюле, но делают дело.

— Не надо разговаривать, надо иметь вот здесь,— он прижал огромную, с растопыренными паль-

цами ладонь к груди.— Я старый человек и помню людей, которые воевали с пустыней в тридцатые годы. Это были одержимые. Фанатизм науки и фанатизм революции — представляете эту смесь! К тому же они были нищи и бескорыстны, как дервиши. А нынешних молодых людей я наблюдаю довольно близко, ибо наша экспедиция имеет своим местоположением как раз поселок строителей. Эти построят канал, возьмут расчет и мгновенно забудут, что такое Туркмения. Другой коленкор. Простите, что я так говорю. Хотите чашку кофе?

Он вытащил из рюкзака термос, отвинтил крышку, запахло настоящим кофе.

Вечером мы приехали в Мары. Нас никто не встречал. Над сумеречным, раскаленным за день перроном еще плавал зной.

Мы провели ночь в гостинице, а утром профессор уехал. За ним прибыл легковой газик. Профессор прощался со мной, уже переодевшись для пустыни: он был в клетчатой рубашке, в коротких штанах — до колен, в защитного цвета панаме с дырочками, какие тут носят пограничники. Он был похож на воскресного туриста, пожилого, но полного сил.

— Ну, мы с вами еще встретимся,— сказал он.— Здесь пустыня, и все друг с другом встречаются...

Весь день я провел в душном помещении треста, бегая с этажа на этаж. Меня это злило, хотелось увидеть трассу, настоящее дело, бульдозеры в забое, а тут приходилось разговаривать со штабистами. Смирнов не успел уехать на трассу, я застал его в одной из комнат, где он любезничал с девушками, и мы тут же сели за свободный стол, и он дал мне все факты и цифры, касавшиеся заполнения озер. Смирнов мне понравился: живой парень, без фанфаронства и важности, хотя занимает довольно большой пост — начальник производственно-технического отдела Пионерной конторы.

Он посоветовал давать материал об озерах без особенной помпы. Потому что это острый инженерный эксперимент, результаты которого будут ясны не сразу. Экономия экономией, но время покажет.

Разговаривая со Смирновым об озерах, я краем уха слышал разговор девушек о жатом венгерском ситце, который появился в магазине. Потом еще несколько раз в течение дня мне вспоминался профессор. Редактор многотиражки «Каналстроевец» Искандеров, молодой человек, недавно окончивший Бакинский университет,

сердито перечислял недостатки и безобразия: не хватает запчастей, в особенности фракционов, третий месяц ремонтируют ледоделку, спортивной работы никакой, жена Хорева ведет себя в керкинском орсе как хозяйка, недавно получили швейные машины — рабочим не досталось ни одной...

У меня был один свободный день. Я решил вырваться на трассу и посмотреть все, что можно увидеть за один день, с таким расчетом, чтобы поспеть вечером к поезду. Мы поехали с Искандеровым. Он достал машину в политотделе. Добраться до воды нам, конечно, не удалось. Мы проехали Захмет, Десятый участок, строящийся Пятый водосброс, то есть большую часть «Марыйского плеча», где стройка шла по-сухому. К концу дня, разбитый жарой, гонкой, разговорами со множеством людей, уставший бесконечно — мы отмахали по пескам, наверное, километров двести,— с головной болью, я вернулся в Мары и еле успел вскочить в вагон.

Искандеров был со мной до отхода. Он оказался великолепным парнем. По его словам, его ненавидит все начальство, начиная с Ермасова и кончая снабженцами, за то, что он беспощадно, невзирая на лица, критикует недостатки и выкорчевывает безобразия.

Когда поезд тронулся, я вышел в коридор покурить. Окна были открыты, ночь летела навстречу, неся в духоте знакомую тлеющую горечь пустыни. Я привык к пустыне, она перестала удивлять меня. Я думал о людях, которые вихреобразно, в течение одного громадного дня, мелькнули передо мной, и о том, что говорил Кинзерский. Прав ли он? Мне трудно было судить, я видел слишком немного. Но мне казалось, что он не прав. Просто те, кто уходят, всегда сокрушенно глядят на идущих на смену: это закон. Кого я видел? Простых парней, недавних крестьян, солдат. Туркмен, русских, азербайджанцев, казахов. На Пятом водосбросе было много казахов. Видел ребят из Москвы, инженеров, они спрашивали, успел ли я побывать на открытии Дворца спорта и видел ли Венский балет на льду. Да, их очень интересовал Венский балет на льду. Это показалось бы странным людям тридцатых годов — странным и подозрительным.

О, тридцатые годы! Я любил тридцатые годы, особенно их начало, с молодым голубоглазым Кинзерским, тогда еще студентом-практикантом, с автомобильным пробегом, с «Пустыней» Павленко, со стихами Тихонова:

И — по коням... И странным аллюром,
Той юргой, что мила скакунам,
Вкось по дюнам, по глинам, по бурым
Саксаулам, солончакам...
Чтобы пафосом вечной заботы,
Через грязь, лихорадку, цингу,
Раскачать этих юрт переплеты,
Этих нищих, что мрут на бегу.

Изумительные тридцатые годы! Незабвенные тридцатые годы. Давно нет нищих, которые мрут на бегу, нет лихорадки. Но пустыня осталась. Потому что были вещи еще страшнее пустыни, и с ними столкнулись люди: например, война. Поэтому пустыня осталась, а люди стали другими. Они стали лучше, потому что они стали опытней. Опыт у людей теперь громадный, это точно.

Очерк был написан за один вечер и ночь. Треть его занимал разговор с Кинзерским, эта часть мне казалась наиболее интересной, но она выпала сразу. Лузгин сказал, что все это давно описано: Ходжа Непес, Бекович, Цинзерлинг... «Вообще, не залезайте в историю,— сказал он.— Вы не профессор истории, а мы не популярный журнал».

Мои отношения с Лузгиным еще более обострились после того, как он не отпустил со мной Дениса. Остальную часть очерка, страниц шесть, занимал рассказ о моей вылазке на трассу. Все это называлось «Один день».

«Первая встреча с каналом разочаровывает.

— Перед вами прорытое русло.

— Прорытое русло?

Я вижу длинную впадину с пологими склонами, напоминающую естественную пазуху между барханами. Она заросла травой, кустарником. В моем представлении прорытое русло должно выглядеть куда более торжественно.

— Конечно, это еще не готовое русло,— объясняет прораб.— Оно будет углубляться. Будут строиться дамбы. Но это русло уже может принять воду.

Стройка удивительно многообразна. У нее нет определенного пейзажа. Есть участки, где на нескольких километрах не встретишь ни одного человека, ни одного механизма. И есть места, где тесно от людей и машин. Есть одинокие будки экскаваторщиков, разбросанные по трассе, где люди живут на отшибе, не выезжая по

неделям и даже по месяцам. И есть бойкие, шумные поселки, настоящие «города» в песках, где имеются клубы, столовые, магазины, библиотеки, бани.

Один из таких «городов», выросших за последнее время,— так называемый Десятый участок. Еще недавно здесь была голая песчаная степь. Сейчас выстроились в линеечку жилые дома. Шумят на ветру деревца, еще слабенькие и тощие, страдающие от безводья. Робко зеленеет виноградник. В прошлом году он чуть не погиб от засухи. Вода здесь арычная, ее мало. Молодые посадки отчаянно борются за жизнь, им надо продержаться недолго, всего несколько месяцев, и вода придет — передовые бульдозеры Пионерной конторы уже недалеко...

Начальник участка, молодой инженер А. Н. Докукин, говорит, что на Десятом два больных места: мало воды и недостает транспорта. У самого начальника нет машины, и он не может, если бывает необходимость, срочно выехать на участок.

Воспользовавшись нашим присутствием, Докукин просит подвезти его до дальних механизмов. Едем вдоль трассы. Неумолчное железное рокотание то утихает, то грозно сотрясает воздух. Облака пыли дымятся над механизмами. Когда мы едем за дамбой, по этой пыли определяем, где работает трактор. Экскаваторы видны издалека: их высокие стрелы раскачиваются широко и стремительно. Работающий экскаватор кажется почему-то разгневанным. С сердитым лязгом, как надоевшую обузу, швыряет он наземь свой ковш, и секунды две ковш устало и безжизненно лежит на земле. К черту! Надоело работать! Но вот напрягается трос, и разинутая стальная пасть начинает медленно въедаться в грунт. Еще несколько секунд — и ковш, полный земли, угрожающе покачиваясь, взлетает в воздух — страшно стоять с ним рядом! — и вся огромная машина вместе с летящим ковшом вдруг поворачивается судорожно и резко.

У скрепера другой характер: он неуклюж и медлителен. В нем есть какая-то тупая беспомощность: ведь сам по себе он ни на что не способен. Он прицеплен к трактору и послушно тащится за ним. И так эти две железные махины, прикованные одна к другой, громыхают, толкаются и, кажется, ужасно раздражают друг друга.

А посмотрите-ка на бульдозер! Как яростно вонзает он свой могучий нож в грунт, как неудержимо и мощно его движение вверх, когда он толкает перед собой гору

земли! Недаром здесь говорят о том, что близится Великое Наступление Бульдозеров.

Двое молодых рабочих поднимаются ко мне по зыбкому склону. Это скреперисты Орун Ташлиев и Курбан Чарыев...

— Смотрите, как работает скрепер! — кричит один из них.

Здесь все кричат друг на друга, стараясь переорать гром машин.

— Он не удерживает и половины земли! Вся просыпается! Видите? Этот скрепер рассчитан на другой грунт, а в песках от него пользы мало!

— Для Каракумов нужен специальный скрепер! — кричит другой рабочий.

Так впервые я услышал критику в адрес землеройной техники...»

Ну, и дальше в таком же духе. Описывались разговоры со скреперистами, экскаваторщиками. Пятый водосброс, где уже бетонировались четыре огромных «окна», куда должны лечь трубы. В конце я дал сведения о готовящемся заполнении озер: то, что рассказал Смирнов.

Очерк получился не выдающийся, но вполне «на уровне», главное — сделан с фантастической быстротой. Меня хвалили ребята, очень хвалил Борис Литовко, я полностью реабилитировал себя за провал с Ермасовым. Очерк сразу был набран, но почему-то его не поставили ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу. Борис сказал, что что-то темнит Лузгин. В понедельник я пришел к Лузгину и спросил: в чем дело? Он начал вилять, стал говорить, что считает очерк моей удачей, хотя у него есть замечания,— например, много описаний, некоторый инфантилизм стиля и «яканье». Это нескромно: «я подумал», «я увидел», надо писать: «мы подумали», «мы увидели». Но это мелочи, очерк в общем удался и будет напечатан в ближайших номерах.

Очерк не прошел ни в среду, ни в четверг. С каждым днем его напечатание становилось все более проблематичным, потому что приближалось настоящее заполнение озер и уже надо было писать о нем, а не о подготовке к нему. Диомидов был в отъезде. Он собирался выйти на работу в понедельник, и мы решили в понедельник на летучке устроить Лузгину «бенц». Главное в такой операции — внезапность. Условились, что начнет Борис, потом выступит Сашка, потом Критский,

Жорка Туманян и я. Поводом для атаки должен был стать мой очерк, его зажим, но, конечно, разговор неминуемо развернулся бы крупно, у каждого из ребят были свои счеты к Лузгину.

Предложил все это Борис, причем я возражал, считал, что очерк мой не настолько великолепен, чтобы поднимать из-за него шум, но они стали кричать на меня, что дело не в очерке, а в принципе.

В воскресенье я пришел в парк, в шашлычную, обедать и встретил Критского. Настроение у меня было скверное оттого, что я сидел без денег, оставалось двадцать два рубля до получки и никаких перспектив. Правда, Сашка обещал одолжить рублей сто двадцать, но только во вторник. Из-за безденежья я не смог встретиться в этот день с Катей.

Было очень жарко, столы стояли под открытым небом на дворе, усыпанном песком, и над каждым столом возвышался круглый зонт из полосатой материи. Я ел шашлык, запивал пивом и думал: у кого бы одолжить денег? В это время вошел Критский.

Он близоруко оглядывался, ища свободное место. Я подозвал его, он подошел и сел, положив на стол толстую кожаную папку. Он всегда ходит с этой папкой, потемневшей и залоснившейся внизу от потных ладоней, набитой журналами и газетами, которые он покупает пачками.

— Шашлык годится?

— Ничего.

— А как пиво?

— Что вы спрашиваете? Ведь вы пиво не пьете.

Он ничего не пьет, ему нельзя. Он язвенник.

— А, плевать! — Он сделал отчаянно-молодцеватый жест.— Сегодня хочу напиться.

Подозвав официанта, он заказал салат из помидоров, шашлык и бутылку пива. Я спросил: что случилось сегодня? Обычно он обедает дома. Он сказал, что у него дурнейшее настроение, хочется сесть в поезд и уехать куда глаза глядят, хотя бы в Ташкент или в Красноводск. Поругался с женой.

— Ничего, завтра помиритесь,— сказал я.

— Нет. Это серьезно.— Он печально покачал головой.— Это серьезней, чем вы думаете.

Я чувствовал, что ему хочется рассказать, но мне не хотелось слушать. У него постоянные передряги с женой, это всем известно и малозанимательно. Денег у

него, наверное, не было. Да и неудобно было просить, раз он намеревался бежать из дома, во всяком случае говорил об этом.

— Да, это гораздо серьезней...— сказал Критский, которого разбирало желание поделиться.

— Что там у вас стряслось?

— Неохота рассказывать.

— Расскажите. Станет легче.

— Нет.

— Ну тогда не рассказывайте.

— Ей-богу, неохота...— Лицо его приняло скорбное, страдальческое выражение, он снял очки, протер стекла бумажной салфеткой и, выпив залпом бокал пива, вдруг начал рассказывать. Какая-то чепуха. Он купил книги, а жена требовала, чтобы он купил себе плащ, потому что она собиралась покупать себе что-то из тряпок, но отложила: надо покупать только необходимые вещи. Но ему лучше знать, чтó ему более необходимо — плащ или книги.

Я спросил, какие книги он купил. Собрание сочинений Гарина-Михайловского.

— Будете читать?

— Да. А что? Почему вы спрашиваете? — он взглянул на меня подозрительно.— Уж не считаете ли вы, что я покупаю книги «для мебели»? Я читаю очень много. Наверное, больше вас.

— Наверное.

— Понимаете, Петя, литература для меня не развлечение. Это мое дело, моя профессия.— В его голосе звучали чопорные нотки. По-видимому, я слышал фразы из разговоров с женой.— Пушкин пятую часть заработка тратил на книги.

— Но Пушкин зарабатывал гораздо больше вас. Ничего, завтра помиритесь.

— Ах, черт! Ужас таких историй в том, что они вышибают нас из колеи.— Он стиснул пальцами виски.— Мне надо писать статью для Атанияза, потом на мне висит рецензия, потом еще один перевод,— словом, работы до дьявола, а я не могу идти домой. Вот ситуация, вот кошмар! Пропал день, и вообще...

Я смотрел на его опущенную, с ранней лысиной, в венчике белокурых кудрей голову, на его худые, со следами чернил пальцы, нервно сжимавшие виски, и думал: бедный «литературный комбайн»! Ему действительно плохо. Надо кормить троих детей, двух мамаш, а он

так легко выбивается из колеи. Поспорил с женой, хлопнул дверью — и готов, разрюмился, ничего не может. И завтра от него не будет толку. Прав, что ли, Кинзерский: слабое племя, другой коленкор?

Он не заговаривал о завтрашней летучке, я тоже. Я спросил, что он пишет для Атанияза. Оказывается: на семейную тему, о феодально-байских отношениях.

— Если во вторник не сдам,— сказал он,— я не успею к ближайшей выплате.

— Кстати, вы не одолжите мне рублей сто? Или пятьдесят? — спросил я.

Он ел шашлык, зачем-то сняв очки, низко наклоняя лицо к тарелке. Сейчас он надел очки и, продолжая жевать, сунул руку в карман брюк и стал там шуршать бумажками. Пошуршав некоторое время, он вытащил три смятых бумажки, одну засунул обратно.

— Могу дать тридцать рублей,— сказал он.— Устроит?

— Устроит. Спасибо! — сказал я. Я очень обрадовался и подумал: нет, он парень ничего.

На другой день в двенадцать началась летучка. Закончилась она не в час и не в половине второго, как обычно, а в четыре. И все из-за моего очерка. Первым выступил, как и уговаривались, Борис и поставил общий вопрос: как это получается, что отличные материалы, посвященные самым острым и злободневным вопросам, маринуются неделями до тех пор, пока теряется нужда в их печатании? Кто в этом виноват? Давайте, мол, разберемся. Диомидов спросил, что он имеет в виду, и Борис как один из примеров привел историю с моим очерком. Он сказал, что трижды ставил очерк в полосу, но Артем Иванович под разными предлогами переносил его из номера в номер. И до сих пор очерк не напечатан.

Лузгин сейчас же стал возражать:

— Не создавайте впечатления, Борис Григорьевич, будто я выискивал какие-то специальные предлоги, чтобы переносить очерк Корышева...

Между ними возник спор.

Лузгин, как всегда, спорил грубо, крикливо, стремясь сразу подавить и оглушить противника, причем делал это при помощи громкого повторения одной какой-нибудь фразы. Сейчас, например, он выкрикивал фразу:

«Не надо передергивать! Не надо передергивать! Пе-ре-дер-гивать не надо!»

Диомидов не слушал спора и что-то читал. Наверное, мой очерк.

Теперь должен был вступить в дело Саша, но он почему-то медлил. Он, наверно, забыл, что его очередь после Бориса, и спокойно, даже с интересом как бы постороннего человека, слушал спор Лузгина и Бориса. Из-за этого наш сценарий нарушился. Диомидов спросил: «А что скажет автор?» Мне не хотелось выступать в первых рядах, о себе говорить неловко, но делать нечего, пришлось.

Я сказал, что, по-моему, главное, что должно быть между сотрудниками газеты и ее руководителями,— это ясность и доверие. От приемов плаща и шпаги пора отказаться. Почему очерк маринуется? Я так и не знаю. Нужно сказать честно, в чем дело, а не водить за нос и отделываться обещаниями.

Лузгин, побагровев, вдруг крикнул:

— Хотите честно?

— Конечно,— сказал я.

— Так вот, честно: вы написали посредственный очерк. И я удивляюсь вашим претензиям.

— Что ж, возможно,— сказал я, сразу сбившись с тона. Удар был под ложечку. Я тоже подозревал, что очерк вышел посредственный.— Но, по-моему, не хуже других...

— Это не аргумент! Что за критерий: не хуже других?

— Но почему же вы говорили, что очерк удался?

— Не передергивайте! Я не говорил этого! Я говорил об отдельных удачах и о крупных недостатках: например, вы без конца «якаете». Вообще, не надо было вам размахиваться на путевой очерк. Для путевых очерков редакция собирается послать на трассу другого человека, это надо делать основательно, а не так, кавалерийским наскоком, галопом по европам...

Внезапно я почувствовал, что выгляжу глупо.

— Ну хорошо,— пробормотал я.— Тогда надо было сказать это прямо. И вовремя...

Я сел. В самом деле, я выглядел глупо. Тут начался спор насчет очерка. Ребята защищали его. Снова выступил Борис, потом Критский, потом что-то мямлил в мою защиту Саша, потом зав промышленным отделом Сургакин сказал, что очерк надо было давать две недели

назад, а сейчас поздно, потом Жорка Туманян произнес гимн в мою честь: он сказал, что я совершил подвиг, за четыре дня сделать «подвал» по каналу, и меня надо приветствовать и величать как героя, а не мотать мне нервы. И добавил, что Лузгин занимается удушением инициативы. Тот взорвался: «Вы не имеете права! Это политическое обвинение!» Тогда Жорка сказал: «Артем Иванович, я знаю, почему вы маринуете очерк Корышева. Хотите скажу? Потому что этот очерк противоречит статье Хорева, которую вы продвигали!» Лузгин крикнул: «Это неправда!» Жорка стал говорить о статье Хорева, но Лузгин в своей «манере глухого», то есть не слушая оппонента, а говоря сам, продолжал кричать о моем очерке: «Это неправда! Были совершенно другие основания задержать очерк Корышева!» Критский спросил: какие же основания? Лузгин, разумеется, ничего не мог сказать, он только твердил туманно: «Были, были основания!»

И тут «литературный комбайн» вдруг встал, побледнев, как Иван Каляев перед метанием бомбы, и произнес речь. Даже Диомидов смотрел на него с изумлением. Критский сказал: довольно! Времена мистики кончились! Если Артем Иванович все еще живет воспоминаниями, то пора его разбудить. Какие таинственные силы зажимают очерк Корышева? Какие таинственные силы тормозят рецензию на книгу Махтума Максумова, написанную полтора месяца назад? Какие таинственные силы сняли мой фельетон об одном ответственном товарище из Чарджоуской области,— вы знаете, о чем речь? Какие таинственные силы всучили нам путаную, неправильную статью Хорева, после которой мы до сих пор не можем расхлебаться с неприятностями? Никаких сил нет! Есть инерция. Есть старые знакомства, есть старые привычки работать по-старому: ни с кем не советуясь, ничего не объясняя, самочинно, то есть антидемократически.

В этом месте Критский, видимо, от большого волнения, заглотнулся слюной, внезапно смолк и сел. Лузгин слушал молча, не сводя с Критского сощуренных глаз. Было похоже, что он немного ослаб и подавлен. Вместо него встал завотделом информации Вдовенко и начал корить Критского и всех нас за то, что мы неуважительно говорим о старом журналисте, нашем же товарище, и что главное — работать коллективно, потому что все мы винтики одной машины.

Вот эту фразу, которая застряла в его памяти с допотопных времен, ему не следовало говорить. Критский вдруг вскочил как ужаленный.

— Я не хочу быть винтиком! — закричал он.— Мне надоело! Хватит! Сколько можно? С винтиками никто не считается! Им можно ни черта не объяснять, перед ними не отчитываться — они ведь бессловесные! А я требую объяснения: почему лежит, как колода, рецензия Атанияза Дурдыева на книгу Максумова? Все мы знаем, что Максумов провел семнадцать лет в лагерях, вернулся больным стариком. Он полностью реабилитирован, недавно выступал по радио. В чем же дело, товарищи редакторы? Кто тормозит?

Лузгин, обрадовавшись тому, что разговор возвратился к частному вопросу, стал что-то объяснять насчет книги Максумова и статьи Атанияза: по его мнению, Атанияз написал недостаточно глубоко, книга заслуживает более квалифицированного анализа. Но Диомидов прервал его и сказал, что время позднее, пора браться за дела, а рецензию Атанияза надо обсуждать серьезно, не наспех, и мы это сделаем в ближайшее время. Мой очерк он успел прочесть. Очерк ему нравится, хотя злободневность утрачена («Она утратилась, дорогой товарищ Корышев, в тот день, когда вы прозевали Ермасова. С того дня, если уж говорить честно, и начались ваши огорчения...»), и поэтому он предлагает сократить очерк, оставить разговор с профессором («Это, по-моему, вам как раз удалось»), какие-то картины трассы, снять все насчет озер, потому что мы опоздали, и в виде этакого эссе, миленького отрывочка, дать в «Литературной странице».

И так все кончилось — ни тем ни сем. Впрочем, ничем конкретным все это и не могло кончиться. Но мы почему-то были довольны. Возбужденные, мы разошлись по своим комнатам. Через пять минут, как ни в чем не бывало, мы разговаривали с Лузгиным по поводу номера, полосы, сокращения двенадцати строк, и все-таки в глубине души мы чему-то непонятно радовались. Только Саша, когда мы остались втроем, сказал:

— Ни к чему все было, зря...

— Нет, не зря,— сказал Критский.— Не зря хотя бы потому, что сказали то, что думаем. Знаешь, как приятно говорить то, что думаешь! — И он засмеялся.

— А, ерунда! В стакане воды...

Я вдруг разозлился.

— Чего ты каркаешь? Ты ведь сдрейфил, молчал, как мышь, даже про Атанияза боялся пикнуть, а теперь каркаешь.

— Я не каркаю, а совершенно искренне высказываю свое мнение. Всей этой демонстрации копейка цена, понятно? Ничто в этом мире не изменится ни вот на столько! — он показал ноготь мизинца.— Пустая говорильня, махание кулаками по воздуху. А я не любитель участвовать в таких спектаклях.

— Ну конечно, легче сидеть в углу и ухмыляться.

— Да черт вас дери, олухи, неужели вы думаете, что вам удастся свалить Лузгина? Вы же идиоты! Вы караси-идеалисты, которых бьют палками по голове, а они кричат: «Ура, ура! Новые веяния!»

— Не мы валим Лузгина, а время, время! Мы только помогаем времени.

— Ладно, молчу. Блажен, кто верует.

— Сашенька, не оправдывайся, ты известный трус,— сказал Критский, смеясь.— С двумя тузами на висте всегда пасуешь!

Сашка обиделся и вышел из комнаты.

Потом мы тоже вышли в коридор, и нам навстречу попалась Тамара Гжельская, секретарша редакции, бежавшая зачем-то в аптеку. Оказывается, за валидолом для Артема Ивановича.

Сашка и Критский остались в газете до позднего вечера. Я шел домой с Борисом. Автобус «четыре», который проходит по нашей улице — он идет от базара через центр на вокзал,— как всегда в эти часы, был переполнен. Колхозники возвращались с базара. Гремели бортами порожние грузовики, где в кузовах сидели на корточках недавние торговцы дынями и виноградом. Седобородый аксакал промчался, раздувая полы халата, на мотоцикле.

Мы остановились возле винной лавки, на дверях которой висел листок с надписью карандашом: «Вино Бизмеин самый молодой 15 р.». Борис предложил зайти и выпить по стакану. Туркмен в папахе налил в стаканы из небольшой овальной бочки, стоявшей на прилавке. Вино было не просто молодое, а младенческого возраста: приготовлено на прошлой неделе. Оно заклеивало зубы кисловатой вязкостью, от него пахло козлятиной, и в общем оно было не очень вкусное. Мы взяли по куску белого сыра и еще по стакану. Вино было здорово кислое. Просто нам не хотелось расходиться. В нас еще не

иссякло дневное возбуждение, и мы разговаривали все о том же. Борис сказал, что поведение Сашки его не удивило: во-первых, это в Сашкином стиле, а во-вторых, он как раз тот «другой человек», кого собираются послать за путевыми очерками на трассу.

— Это его личное дело,— сказал я.— Меня волнует другое: прав он или нет, когда говорит, что никакого толку не будет?

— Толк будет,— сказал Борис.— Будет, будет, вот увидишь. Не сразу, конечно, может быть, через месяц или через полгода, но толк будет обязательно.

12

Идея «Литературной страницы» возникла или, вернее, возродилась — ибо в газетном деле ничто не возникает, а лишь время от времени возрождается — еще в начале лета. С тех пор как я попал в газету, я слышал разговоры: «Надо делать «Литстраницу»!» Но первая полоса вышла лишь в сентябре. Занимались этим делом Критский, Саша и я. Была у нас в редакции и своя поэтесса — толстая, очкастая Тамара Гжельская.

Мой очерк должен был идти в следующей «Литстранице», в конце сентября, но не прошел. Диомидов сказал: «Знаете, почему Артем Иванович засомневался в вашем материале? Нет, нет, это не так просто. Он опытный человек. Я называю его миноискателем: у него блестящая способность учуивать опасность. Ваши рассуждения о негодности скреперов могли вызвать взрыв: ведь там идет лютый спор между строителями и проектировщиками. Проект делался в расчете на скреперы и экскаваторы. Это больная тема, нельзя касаться ее походя. Видимо, он успел посоветоваться с кем-нибудь в управлении. Вы поняли? Попробуем вынуть разговор со скреперистами...» Я спросил: значит, Туманян прав? Мой очерк застрял оттого, что выражал позицию, противоположную статье Хорева? Диомидов сказал: «В какой-то степени».

— Игорь Николаевич, но неужели же я, журналист, не могу высказать свое мнение? Ведь я действительно говорил со скреперистами, и они действительно жаловались на то, что скреперы не годятся!

— Дорогой друг, вы новый человек, недавно в газете, вы не можете знать ситуацию так, как знает Артем Ива-

нович. Вы пробыли на трассе полдня, а люди потратили на нее годы жизни. Согласны?

Конечно, я был согласен. Что я мог возразить?

— Поэтому давайте вынем скреперистов. Это сложный вопрос, пусть его поднимают в республиканской газете. И поднимать его должны — учтите! — не журналисты, а люди, осуществляющие строительство...

Мы вынули скреперистов. Еще раньше был вынут разговор со Смирновым и сильно сокращен разговор с профессором Кинзерским. Очерк превратился в ужасный обрубок, и я сам его добил. Он был набран, стоял в полосе, но я его снял. Зато рецензия Атанияза на книгу Максумова была полностью напечатана через десять дней после знаменитой летучки. Мы все считали это нашей общей победой, и я не слишком огорчался неудачей с очерком, тем более что в середине октября прошел мой рассказ «Текинский орнамент»,— собственно, тоже не рассказ, а добротный очерк. В начале октября я был в командировке в Кизыл-Арвате и там, в ковровой артели, познакомился с одной ковровщицей, рассказавшей мне свою историю — довольно заурядную историю молодой девушки, бунтовавшей против самодурства родителей. Ее хотели насильно выдать замуж, она бежала из аула в город, поступила в ковровую артель и одновременно стала заниматься в кружке живописи: она оказалась способной художницей. Вот и все. Здесь не было никакого сюжета, но были подробности жизни.

Рассказ мой неожиданно всем понравился, его сразу же перевели на туркменский язык, читали по радио. Диомидов хвалил рассказ на летучке, употребляя при этом необычные для него хвалебные эпитеты (было даже слово «даровитый»), и в довершение всего вдруг поручил заведование «страницей» мне. Такой оборот дела несколько озадачил Сашку и Критского, считавших художественную литературу своей монополией в редакции, и они даже немного надулись на меня, но потом, увидев, что никаких преимуществ это заведование мне не дает и что, в сущности, от меня мало что зависит — я обязан был просто отбирать и подготавливать материал для шефа, который выносил окончательные решения,— они примирились с внезапным взлетом моей карьеры и стали помогать мне.

Сейчас я готовлю предпраздничную «страницу». Двадцать пятого Диомидов просил показать ему весь материал, сегодня уже двадцать второе, а у меня в портфеле

есть лишь несколько стихотворений, посредственных переводов с туркменского, фельетон Критского и больше ничего. Есть, правда, сценарий Хмырова, который я прочел две недели назад, но он не годится. Мне неловко перед ребятами за то, что я притащил его в газету.

Прочитав, я сразу позвонил Хмырову и сказал, что, к сожалению, подходящего отрывка не нашлось. Он начал предлагать разные варианты, которые я вежливо отклонял, после чего он сказал, что, если «не вытанцовывается» отрывок, можно дать сценарий целиком, в сокращенном виде, с продолжением. При этом он заметил, что сценарий высоко оценен в республиканском Министерстве культуры и уже идет разговор о повышении договорной суммы. Я слушал его с некоторым ошеломлением. Я ощущал энергию такой силы, что мне оставалось лишь завидовать и удивляться: откуда это у томного, женоподобного интеллигента, всегда усталого, с тихим голосом? По-видимому, он, как спортсмен, большую часть времени расслаблен, а в нужный момент умеет собраться и напрячь все силы. Я сказал, что передам рукопись редактору и пусть он решает. Ему это, как видно, не очень понравилось, потому что он сухо сказал: «Хорошо, действуйте, я попробую нажать с другого бока». Это прозвучало как уговор единомышленников и в то же время как угроза.

Сначала мне было неясно: зачем он так рвется печатать отрывки сценария в газете? Что это ему даст? Славы немного, деньги небольшие. И такое бешеное стремление, как у школьника, который грешит стишками, напечататься во что бы то ни стало! Я даже обсуждал эту загадку с Сашей, и он высказал остроумное предположение насчет того, что Хмырову, может быть, необходимо как можно скорее утвердить в печати свое авторство потому, что первоначально автором сценария был тот, второй,— Саша знает это точно от одного парня из сценарного отдела,— а Хмыров намечался в режиссеры, а потом он вдруг приклеился к сценаристу. Но я понял потом, что дело не в этом. Интриги интригами, они существуют отдельно, но тут дело не в них: дело в характере. Хмыров человек основательный, он все делает на совесть и доводит до конца. И когда он занят делом, когда он, подобно навозному жуку, неуклонно катит свой ком грязи по точно выбранной дороге, для него не существует ни самолюбия, ни ложной скромности, ни сомнений, ни колебаний, не существует больших денег

и маленьких денег, для него существует только результат, окончательная победа. Такие, как он, добиваются всего. Денис разгадал его суть: человек дела.

И я уже не удивлялся тому, что Хмыров стал ежедневно, утром и днем, звонить мне по телефону и, не обращая внимания на мой суховатый, унылый, ворчливый голос, спрашивал одно и то же: «Ну-с, так что мы имеем? Редактор прочел?» Он занимался делом, катил свой ком.

Редактор не читал долго. У него не было времени. И я уже стал надеяться, что он «забодает» Хмырова. И вдруг меня вызвал редактор и сказал, что надо подобрать кусок из хмыровского сценария.

Я чертовски расстроился. Почему-то я был уверен, что он его «забодает».

— А вы прочитали? — спросил я, беря папку с рукописью.

— Сценарий принят к постановке на нашей студии,— сказал Диомидов, по своей привычке глядя в стол и наставив на меня блестящее от бриолина черное темя.— Посмотрите ту сцену, где общее собрание строителей, где они берут обязательства. Я отметил красным карандашом. Выжмите строк четыреста.

— Игорь Николаевич,— сказал я,— а вам не кажется, что этот сценарий, мягко говоря, старомоден? Что он целиком и полностью относится к периоду бесконфликтности?

— Как? — Он вскинул на меня свои грифельные зрачки, в которых не было ни тени серьезности, ни капли интереса к моим словам, ничего, кроме должностного холода.

— Я говорю, что стыдно его печатать. Давайте откажемся.

— Откажемся?

— Конечно. Ей-богу, стыдно.

Он покачал головой.

— Нет, отказываться мы не будем. Я согласен, сценарий, как говорится, мало высокохудожественный, но где лучше на эту тему? Лучше нету. Писатели не пишут. А тема строительства Каракумского канала — важнейшая, кардинальная для нашей республики.

— Что ж получается: мы сами насаждаем халтуру?

— Да, да, и вы в первую очередь! — Он вдруг засмеялся и показал на меня пальцем.— Ведь вы принесли этот материал в редакцию? Вы, вы, не отказывайтесь!

А автор оказался бронебойный. Вчера мне звонили со студии, потом — Нияздурдыев из Управления водными ресурсами, он консультант будущего фильма...

Диомидов был прав: все началось с меня. Придя в свою комнату, я со зла вырубил из хмыровского сценария четыреста самых суконных, самых омерзительных строк и отнес на машинку. Чем хуже, тем лучше. Когда я снова вернулся в комнату, там шел разговор о Хмырове, о том, сколько он получит денег за этот фильм. Ведь он получит не только как сценарист, но и как режиссер. Два дурачка, Сашка и Жорик Туманян, люто спорили, называя разные суммы, каждый из них хотел показать себя знатоком в этой области. Они ведь тоже были кинодеятели: писали раз в год тексты для «Новостей дня».

Неожиданно раздался звонок от Лузгина. Меня и Критского требовали в секретариат. Страшнейшая накладка: оказывается, второй день идет конференция учителей сельских школ, а у нас об этом ни слова. В завтрашний номер надо дать отчет. Кровь из носу! Трамтарарам! Мы с Критским должны немедленно мчаться в Дом народного просвещения, где через полчаса будет выступать министр...

Еще пятнадцать минут назад, когда я разговаривал с редактором, все было тихо-спокойно. Что-то случилось за эти четверть часа. Вот что значит газета. Нам дали машину, и мы уехали.

В этот вечер я был дежурным по отделу. Виктор остался на конференции и должен был по телефону назвать фамилии тех, кто выступит на вечернем заседании,— отчет о дневном заседании, где выступал министр, мы сдали, и он уже набирался,— а я пообедал в столовой возле базара и вернулся в редакцию в семь часов, когда все разошлись.

Я сидел в нашей пустой большой комнате за столом Критского, читал свежую полосу, и в это время позвонил Хмыров. Он не узнал меня, спросил Корышева. И я вдруг сказал ему, что Корышева нет. Это вышло неожиданно, как-то само собой. Я сказал, что отрывок из сценария не будет напечатан в нашей газете по причине его малой художественности и потому, что он воскрешает худшие образцы литературы недавнего прошлого.

— Что, что? — крикнул Хмыров.

— Вы опоздали с этим сценарием на пять лет. Нельзя же, товарищ Хмыров, опять возвращаться к фальши-

вым, лакировочным произведениям, осужденным нашей партией. Или вы думаете, что здесь, на периферии, это проходит? Провинция, мол, все съест?

— Кто со мной говорит? — крикнул Хмыров.

— С вами говорит сотрудник отдела.

— А где товарищ Корышев?

— Его сейчас нет.

— Дело в том, что товарищ Корышев и товарищ Диомидов, ваш редактор, говорили мне обратное...

— Да, но мы тут обдумали, обсудили,— нет, печатать ваш сценарий было бы ошибкой. И я скажу больше, товарищ Хмыров: мы решили поднять вопрос перед Министерством культуры вообще о целесообразности постановки фильма по вашему сценарию.

Тут я понял, что попал в яблочко. На другом конце провода раздалось невнятное клокотание, совершенно птичье, нечленораздельное, я ничего не мог понять. Наконец я расслышал:

— А нельзя ли выяснить, когда будет товарищ Корышев?

Я сказал, что это неизвестно.

Через двадцать минут Хмыров позвонил снова. Потом еще раз, еще раз. По его голосу я чувствовал, какой тревогой он охвачен и как он уже не верит в то, что застанет Корышева в редакции, но инстинкт навозного жука заставлял его звонить и звонить непрерывно. В восемь часов сквозь град этих звонков прорвался звонок от Кати. Мы собирались пойти в кино. Я сказал, что задержусь надолго и кино переносится на завтра.

— А ты пойди домой, к Раечке,— сказал я,— и займись рукоделием. Повышивай гладью.

Она сказала холодно:

— Я уж найду, чем заняться. Спасибо за совет,— и повесила трубку. Обиделась. Вот чертовщина: совершенно лишена чувства юмора!

Снова затрещал телефон, и я схватил трубку, думая, что это Катя и я смогу объясниться, но звонил Виктор.

— Что происходит? Почему вы висите на телефоне? — кричал он.— Вы же знаете, что из города трудно дозвониться!

— Ладно, ладно,— сказал я.— Давайте фамилии.

Он начал диктовать фамилии, а я записывал. Я думал не о том, что записывал, а о том, что Катя обиделась, теперь пропадет на неделю. Ужасно обидчива.

А я каждый раз забываю об этом и неосторожно шучу. Куда теперь звонить? Где искать ее?

Я вставил фамилии, которые сообщил Виктор, в хвост нашего отчета, отнес в секретариат, и мне, собственно, больше нечего было делать. Вернувшись в комнату, я стал читать Плутарха. Уже второй месяц я в свободное время читал Плутарха и кое-что выписывал, особенно о парфянах. Недавно мы ездили с Атаниязом в Нису, на раскопки парфянской столицы. Но Плутарх шел туго, и вообще мои попытки начать глубокое и систематическое чтение вот уже в течение десяти лет ни к чему не приводят. Не хватает характера. Жизнь заполняется какой-то дребеденью: борьбой с Хмыровым, встречами с Катей, каждый вечер одни и те же разговоры, кино, танцплощадка, ужин в парке с салатом и пивом и потом тощая награда за всю эту дребедень, за убитый вечер.

Я вдруг вскочил из-за стола и стал ходить по комнате: вновь меня охватила безотчетная тревога, налетевшая как ветер. Мне казалось, что я куда-то опаздываю, от чего-то отстаю, гибну. Погиб! Если не начну немедленно что-то делать, работать по-серьезному — писать хотя бы о том, что знаю, о своей жизни, о Туркмении, о том, как ломается время, как приходят одни люди и уходят другие и как сам я вращаюсь в этом потоке, стремящемся куда-то в шуме и грохоте,— если не начну просто записывать, ежедневно записывать, я погиб, погиб!

Сегодня свободный вечер, Кати не будет, парка не будет, отличное время для работы. Плутарха — в ящик. Где моя толстая общая тетрадь? Надо только достать сигареты. Кончились сигареты.

Я выбегаю в коридор.

В дальней комнате, в конце коридора, сидел обычно дежурный литсотрудник, «свежая голова». Сегодня «свежаком» был Жорка.

— Почему не идешь домой? — спросил Жорка, протягивая мне пачку болгарских.

Я взял четыре сигареты и положил в карман брюк.

— Сегодня был крик из-за учительской конференции, мы делали отчет с Виктором,— а вдруг, мало ли что...

— Ничего не будет.

— Нет, подожду. Лузгин после той летучки на меня сильно обозлился. Так и караулит, чтоб я где-нибудь наложил.

— Ну, будь.— Жорка нагнулся к полосе.

Мне хотелось с ним кое о чем поговорить, например о футболисте и о Кате, ведь это были его друзья. Мысль о том, что Катя обманывает меня с футболистом, была не то чтоб мучительна, но неприятна. Может, там ничего и не было, но вполне возможно, что было. Я узнал, например, что дядя футболиста руководил той самой подготовительной театральной студией, в которую Катя недавно поступила. «А, черт! — разозлился я.— Опять дребедень лезет в голову!» И не стал у Жорки ничего спрашивать, ушел.

Дверь в комнату секретариата была открыта, и я, проходя мимо, заглянул и увидел Лузгина, склонившегося над столом. Левой, далеко откинутой в сторону рукой он размешивал ложечкой сахар в стакане чая. Рядом стояла вечерняя машинистка Мирра Ефимовна, держа в руке пачку бумаг. Выправленных полос еще не принесли.

Почувствовав мой взгляд, Лузгин поднял голову и сказал:

— Не уходите.

— Не ухожу,— сказал я и пошел по коридору дальше. «Вот сволочь,— подумал я.— Абсолютно ведь я не нужен».

Вернувшись в комнату, я сел к столу, зажег настольную лампу, развернул на чистых страницах общую тетрадь и вооружился ручкой «Ленинград. Союз». И задумался. Последняя запись в этой тетради была сделана двадцать два дня назад. Окно за моей спиной было открыто, и с улицы веяло прохладой и запахом яблок. За окном был сад. Я слышал голоса мужчины и женщины, говоривших по-туркменски, потом мужчина запел. Сад принадлежал артисту туркменского театра. Я подумал о том, что самое тяжелое позади: жара кончилась. А в Москве сейчас гнилая, промозглая осень, театры начинают сезон, в пригородах копают картошку, последние футбольные матчи проходят при полупустых трибунах, под моросящим дождем, а может быть, сухо, солнечно, по утрам подмораживает, и деревянные скамейки и стволы деревьев покрываются утром белым налетом инея, но часам к десяти иней стаивает и скамейки и стволы деревьев остаются сырыми, как после дождя. К полудню все высыхает на солнце...

Стук в дверь. В редакции ни у кого не было привычки стучать в двери, кроме самого Диомидова, который демонстрировал хорошее воспитание, поэтому я уди-

вился. Вошла Катя. От неожиданности и нечаянной радости — теперь уж хочешь не хочешь, а работать не удастся — я засмеялся. Катя сказала, что пришла меня проведать, и сказала, чтобы я не приходил завтра к Рае, потому что они поссорились.

Она протянула мне большой кулек с виноградом. Мы сели на диван. Я подвинул корзину, набитую грязной бумагой, окурками, использованной копиркой, и мы стали есть виноград и плевать косточки в корзину. Я спросил, крепко ли они поссорились. Оказывается, крепко. Катя даже не пойдет домой ночевать и будет ночевать у Розы Валиевой, одной девочки из театральной студии. Ее отец директор гастронома на улице Ленина. Я сказал, что, если хочет, она может переночевать у меня. Я сниму матрац, лягу на пол, а она ляжет на кровати.

— Ну нет! — Катя слегка отодвинулась и погрозила мне пальцем.— Товарищ Корышев, не занимайтесь фантастикой.

— Почему? Реальное дело: ты подходишь к моему окну с улицы...

— Нет уж, нет уж, Петенька! Раиса и так говорит про нас гадости. Я к тебе днем приходила и то чуть со стыда не сгорела. Мне казалось, что на меня все пальцем показывают.

— А что говорит Раиса?

— Всякие домыслы, и вообще. Сказала, например, что ты много воображаешь и что у тебя несимметричное лицо. Она очень злая, Раечка. Ведь она старше меня на четыре года, и до сих пор за ней никто не ухаживает, представляешь? Она ребятам почему-то не нравится. Я ее со многими знакомила, с Жориком, например, из вашей газеты, потом с одним парнем из студии, потом Алик приходил с товарищами,— ничего не выходит. Как мертвому припарки.

Вдруг Катя сбросила туфли и вспрыгнула на диван с ногами. Она села, вытянув ноги и аккуратно расправив юбку.

— Я сейчас уйду,— сказала Катя.— У меня жутко устали ноги: мы сегодня пять часов танцевали, разучивали выступление. Седьмого ноября будем выступать на площади.

— Приду обязательно.

— Я обещала Розе, что вернусь до двенадцати...

Мы почему-то разговаривали шепотом.

— Подожди,— сказал я.— А что будет дальше? Где ты будешь жить?

— Не знаю. Раиса меня очень обидела. Ведь я живу там, можно сказать, из милости,— зачем же мне так унижаться?

— Почему из милости?

— Это Раина комната. Она сама предложила жить с нею вместе, еще в прошлом году, и я согласилась, тем более что Рая часто в разъездах. Сначала мы жили дружно, но потом она стала показывать свои зубки. Она большая эгоистка и вообще очень деспотичная. Сколько я плакала из-за нее!..

— А почему тебе не уйти? Это ведь просто, если комната не твоя.

— Да, просто! А найти комнату в Ашхабаде, думаешь, просто? Вот и приходится плакать и терпеть...

По коридору кто-то быстро протопал, распахнулась дверь, и вошел Лузгин. В руке он держал полосу. У меня екнуло сердце от предчувствия. Не обращая внимания на Катю, которая не успела спустить ноги с дивана и так замерла в позе одалиски, вытянув вдоль дивана босые ноги, Лузгин стал кричать на меня:

— О чем я вас предупреждал? Дождались! Чистая случайность спасла нас от несчастья. Если бы Туманян не был с ним лично знаком...

— С кем?

— Вот, вот, вот, вы пишете: секретарь Векильского райкома партии Сахат Мурадов — отдельно, а надо писать вместе. Сахатмурадов, Сахатмударов, ясно вам? Это член ЦК, депутат Верховного Совета республики! Как же вы можете? Из-за вашей ошибки мы опаздываем с выходом.

— Мне диктовали по телефону...

— Что за оправдания? Вы газетчик, вы обязаны уметь записывать телефонограммы. Конечно, если в это время вы принимаете гостей...— Тут он взглянул на Катю, которая уже сидела на краю дивана и, опустив глаза, смирненькая, как провинившаяся школьница, старалась нашарить ногами босоножки.

— Эта девушка пришла сюда гораздо позже,— сказал я.

— Меня это не касается,— быстро ответил Лузгин.— Но задержка с выходом, и это в предоктябрьские дни, накануне сороковой годовщины, когда страна готовится к празднику...

Катя надела босоножки и на цыпочках пошла к двери.

— Катюша, не уходи,— сказал я.

— Я подожду там,— сказала Катя шепотом и вышла.

— Тысячи раз я твердил, что все наши беды, все накладки идут от оригинала. Типография виновата в редчайших случаях. Вот вы кричите о новом стиле работы. Новые времена, новый стиль! Доверие! Мастерство! Короткая фраза! А зачем все это, когда нет элементарного умения работать? Нет чувства ответственности за порученное дело!

— Артем Иванович, но я, ей-богу, не нарочно...

Он вдруг побагровел, как тогда, на летучке.

— Послушайте, мне все известно про вас! Не морочьте голову! Я все знаю! Вижу вас насквозь и знаю, чем все это кончится! А сегодня извольте сидеть в редакции до часу, до двух ночи, не знаю до каких пор — пока номер не будет подписан.

Наклонив голову, он ринулся к двери. С шуршанием неслась за ним газетная простыня. Хлопнула дверь. Через минуту тихо вошла Катя.

— Это я виновата, да, Петя?

— Нет. Виноват я.

— Петя, ты очень бледный. Ты не волнуйся.— Ее маленькие глазки в черных, густо натушеванных ресничках смотрели так преданно, так сострадательно.— Хочешь, я останусь с тобой? Хочешь? Я позвоню Розе...

— Останься. Хорошо. Нет, понимаешь, я виноват, но он не имел права так орать на меня. Я не мальчишка. И, главное, он все знает про меня. Что он знает?..

— Бедный мой мальчик! — Она порывисто шагнула ко мне и поцеловала в щеку.

Мы сели на диван. Наверно, я и вправду побледнел, но не оттого, что испугался его крика и каких-то неясных угроз, а оттого, что снова почувствовал, как он меня отчетливо, злобно не любит. Что он знает про меня? И чем, по его мнению, «все это» кончится? Ни черта он не знает, кроме того, что я не люблю его, точно так же отчетливо и навсегда.

13

Озябнув в своем коротком китайском плащике,— ночи стали холодные — Карабаш уже жалел, что пустился в автомобильное путешествие, а не полетел из

Сагамета самолетом. Султан мог в Сагамете переночевать и днем, по солнышку, спокойно докатился бы до поселка, спешить ему было некуда.

В песках ночью хорошо думается, особенно если свежо и тряско, что не дает дремать. Было очень свежо и очень тряско: иногда на ухабе Карабаша подбрасывало так, что он доставал головой до брезентовой крыши. Поездка на рембазу была удачной. Еще пять бульдозеров, полностью отремонтированных, готовы были отправиться в забой и только ждали машинистов. Но вместе с чувством удовлетворения — ремонтники сдержали слово, работали, не щадя сил, с пониманием момента — осталось ощущение чего-то неприятного, тревожащего. Жизнь, как всегда, подсовывала слоеный пирожок: как будто сладкий, а все же не без горечи.

Вместе с Карабашем на рембазу прибыл Хорев. Расположенная на территории «Восточного плеча», база формально подчинялась Хореву, хотя на самом деле ею командовал начальник и главный инженер стройки. Хорев держался мирно, благожелательно, не раз повторил, что новый бульдозерный метод, который прежде вызывал у него сомнения, теперь целиком завоевал его, и было только одно дельце, немного его смущавшее. На дворе рембазы стояло сорок пять скреперов, тракторы у которых были отняты и переделаны в бульдозеры, и это мертвое скреперное стадо слегка тревожило его, Хорева, главинженерскую совесть. А вдруг нагрянет ревизия? Найдутся дураки и напишут, что налицо, мол, разукомплектование механизмов. Что тогда? Как отбиваться?

Сказано это было мимоходом, и Карабаш сделал вид, что не принял этого предостережения всерьез, даже тут же забыл о нем, хотя, по правде, запомнил хоревские слова отлично и сейчас, в дороге, думал о них все время.

— Султан, давайте погреемся,— сказал Карабаш.— Остановитесь на минуту.

Мамедов затормозил и выключил мотор. Карабаш достал из кармана плоскую флягу с коньяком, отвинтил крышку и, попросив Мамедова зажечь спичку, чтобы не пролить в темноте, аккуратно наполнил круглую крышку коньяком. В нее входило ровно пятьдесят граммов. Мамедов выпил один раз и сказал, что больше не хочет. Опорожнив три крышки подряд, Карабаш почувствовал, что озноб исчез, и захотелось разговаривать. Как у человека мало и редко пьющего, у него возникло даже легкое опьянение.

Закурив, он спросил:

— Султан, что с вами происходит?

— Как «происходит»?

— Последнее время вы необыкновенно мрачны. Как голландская сажа. Был такой поэт, у него были стихи: «Я угрюм, как голландская сажа...»

Газик поехал. Мамедов долго не отвечал, держа обеими руками руль и глядя перед собой сквозь стекло, потом сказал:

— Я стихов мало учил, Алексей Михайлович. Вообще, хочу со стройки уходить.

— Почему?

— Так.

Это была новость! Карабаш не выказал удивления и не стал уговаривать остаться: он никогда никого не уговаривал. Он только спросил:

— Работа не устраивает или другие соображения?

— Зачем работа? Устраивает.

— Ну, а что же?

— Так.

— Да что так? Так, так! — с досадой сказал Карабаш.— Любовь у вас неудачная, что ли? К Фаине, что ли, из магазина?

Мамедов кивнул.

— Понятно.— Помолчав, Карабаш спросил: — Она вам серьезно нравится?

Мамедов снова кивнул.

— Так. Понятно. Это, как говорится, каждый решает сам. И все же бросать работу, которая вам интересна,— ведь интересна же? — по-моему, глупо.

— Работать тут можно, кто говорит...

— А там глядите. Я никого не уговариваю.

— Эх, Алексей Михайлович! Хорошо вам говорить, когда у вас...— Он вдруг замолчал.

— Что — у меня?

— Порядок.

Карабаш усмехнулся.

— Порядок,— повторил он тихо и больше не мог сказать ничего. Его как будто ударили. Всем, значит, известно про то, что у него «порядок». Ему сделалось больно и стыдно, и одновременно нахлынула нежность, такая радостная, внезапная нежность к Лере и такая сильная, что он замолчал и не замечал того, что молчит.

И так, в молчании, они доехали до поселка.

Гохберг еще не спал. Как обычно, он крутил ночью радио, слушая последние известия из Москвы в час и в два ночи. Уже все кончилось, передавали музыку. Карабаш спросил, что нового. Когда спутник пролетит над Марыйской областью? Гохберг сказал, что завтра опять неудачный день, пройдет значительно южнее: через Карачи, Вади-Хальфа, Лагос. Слушая музыку, Гохберг ухитрялся еще что-то писать при свете керосиновой лампы на маленьких, аккуратно нарезанных листках клетчатой бумаги. Карабаш заглянул через его плечо. «Анализ работы тракторов С-80, приспособленных для работы в пустыне. Выработка в $м^3$ на 1 моточас...»

— Нескладно: работа, работа, выработка,— Карабаш ткнул пальцем в бумагу.— И зачем вы корпите над этой справкой ночью? У нас еще куча времени.

— Мне хотелось дождаться вас.

— А! Сейчас все расскажу. Одну минуту.

Карабаш вышел на улицу, поплескался в потемках под умывальником и, вернувшись, вытирая лицо носовым платком и быстро расхаживая по комнате, стал рассказывать. Настроение его улучшилось. О словах Хорева он решил забыть и даже не упомянул о них Гохбергу: зачем тревожиться раньше времени?

Он рассказывал о ремонте, о бульдозерах, о том, что везде, в Сагамете и на рембазе, ждут пуска воды в озера. Все знают, что пуск намечен на праздники. И все понимают, что это успех, большой успех, если, конечно, заполнение озер пройдет благополучно, и что успех принесли бульдозеры. Гохберг протирал пальцами слипающиеся веки и зевал, поглядывая на Карабаша внимательно и как-то по-особенному, отчужденно.

Когда кончили говорить о делах, он сказал:

— Все хорошо, Алеша, кроме одного: приезжает Зурабов.

— Кто это? — Карабаш помолчал.— Муж Леры?

— Да. В командировку. Сегодня утром он был в Марах, его видели в конторе. Приедет дня через два, а может быть, завтра.

— Да? Ну что ж. Очень хорошо. А почему вы так возбуждены в связи с этим событием?

— Я? Нисколько! Почему я должен быть возбужден? — Он пожимал плечами, жестикулируя.— Но я хотел вас предупредить... Если вдруг завтра...

— Большое спасибо! — Карабаш поклонился и пожал руку Гохбергу.— Поэтому вы не ложились спать?

— Не только поэтому, разумеется...

— Зря, зря, Аркадий. Вы себя не бережете.— Он взял Гохберга за плечи, потушил лампу, и они вышли из конторы.— Ну, приедет муж Леры, ну и что? Он меня скушает, что ли? Или я его буду кушать? Да ничего подобного! Будем разговаривать о траншейном способе, о дамбах, о Ермасове. Потом он уедет, напишет статеечку «Стальные великаны покоряют пески», вот и все. Спокойной ночи!

В темноте они пожали друг другу руки и разошлись.

Карабаш спал плохо.

Утром, перед отъездом в поле, прибежала на минуту Лера и сообщила ту же самую новость.

— Боюсь, что Кинзерский выкинет какую-нибудь штуку,— сказала она, улыбаясь взволнованно и весело.— Он все время язвит меня.

— Ничего он не станет выкидывать, он интеллигентнейший человек. Лера, а ты хочешь?

— Что?

— Ты хочешь, чтобы я ему все сказал?

Перестав улыбаться, Лера смотрела Карабашу в глаза.

— А ты... хочешь?

Она сделала слабое движение рукой ему навстречу, и он взял ее руку. Они стояли перед открытой дверью, в которую глядело низкое желтое солнце. Было ветрено, дверь скрипела, по песку летели какие-то бумажки. Пробежала, опустив морду к земле, черная собака, и шерсть ее стояла дыбом от ветра. Карабаш гладил шершавую кожу женской руки и думал о том, как ответить Лере. Для этого надо было понять себя. Чего он хотел? Он хотел любить Леру. Он хотел любить ее всегда и хотел, чтобы исчезли неизвестность, и страх, и ложь, и все неудобства, отравляющие их жизнь. Он хотел сказать ее мужу всю правду, и сказать это как можно быстрее. Но не сегодня, не завтра, потому что у него не хватило бы сил на все сразу.

И так он сказал Лере.

— Я хочу,— сказал он.— Очень хочу, честное слово. Но только немного погодя, несколько дней, понимаешь? Вот пустим воду в озера, это большое дело, чтобы не все сразу, а то...

Лера улыбнулась. Напряженность исчезла из ее взгляда, она смотрела легко, сочувственно.

— А то что?

— А то, понимаешь, очень сложно. И так сложно, а будет уж чересчур. На праздники будем заполнять озера, наедет народ, колхозники, начальство, а он должен будет все это описывать... Некстати тут с ним говорить. Ты согласна?

— Согласна, Алешенька,— сказала Лера.— Ты очень предусмотрительный. Ах, счастлива будет твоя жена! Ну, поцелуй меня...— Она приблизилась к нему.

Карабаш поцеловал ее в губы, и Лера, быстро повернувшись, выбежала на улицу.

Три экскаватора — нагаевский, Чары Аманова с Марютиным и Беки с Иваном,— работавшие когда-то особняком, далеко впереди всех, обросли людьми и машинами и превратились в новый отряд, получивший название «Третий». Во главе Третьего стоял Байнуров, бывший прораб. За четыре дня до праздника в байнуровском отряде случилось нехорошее: кража денег. Одновременно пропали деньги у шести человек, живших в большой палатке: у Чары Аманова, Марютина, Богаэддина и Сапарова и у двух их сменщиков. Ребята только утром получили зарплату. В обед Чары глянул под подушку — пусто, он кинулся к Марютину, который работал в забое, узнать, не брал ли тот в шутку или для какой надобности,— тот не брал и, сам напугавшись, остановил машину и побежал смотреть, целы ли свои. У него под подушкой тоже было пусто. В один момент поднялась тревога: все, кто работал в забое, повыключали моторы и побежали смотреть у себя под подушками и под постелями. Деньги, которые не переводились на книжку, ребята хранили таким бесхитростным способом. Чемоданов и сундучков большинство тут не держало, потому что тут жили временно, семьи были в поселке, так что где было прятать — не в песок же закапывать.

Да и не было, правду сказать, ни у кого особенного страха насчет краж. Насчет этого давно стало тихо. Это в первые месяцы, когда налетела на стройку всякая шушера, случались иногда неприятности, и то редко. Отучили быстро. Одного вора Нагаев самолично измолотил до полусмерти: тот у него четвертак вынул в сагаметской столовой.

Все побежали из забоя проверять, цела ли зарплата, все, кроме Мартына Егерса, который сказал:

— Если он взял у меня,— значит, взял, а не взял,— значит, нет. Зачем я буду бежать?

Латыш даже не вылез из кабины и продолжал работать один во всем забое.

Скоро пришел его сменщик Бяшим Мурадов и сказал, что у Мартына все в целости и у него тоже. Деньги пропали только у шестерых, живших в большой палатке. Но всполошились, конечно, все жители лагеря, столпились вокруг палатки и, озадаченные и сердитые, неловкими шутками скрывая смущение друг перед другом, высказывали предположения и догадки. Кто-то намекал на ребят с летучки, приезжавших утром. Кто-то недобро поглядывал на Богаэддина, известного своим прошлым, и парень замечал это и бледнел, сжимая кулаки: у него самого четыре с половиной тысячи пропало. Никто не мог сказать ничего толкового. Вдруг Маринка крикнула:

— Стойте! А где Терентий Фомич?

И тут хватились, что старичка нету. Уйти из лагеря можно было в двух направлениях: к поселку Инче и на запад, в Мары. В пески не побежишь. Байнуров рассудил правильно: в поселок Фомич бежать побоится, а решит, наверно, пройти через целину на запад, по марыйской дороге. Как назло, в лагере не оказалось ни одной автомашины, ребята бросились догонять пешком.

Догнали через три часа. День был жаркий, безоблачный, несмотря на то что ноябрь в начале, на солнце было градусов тридцать. Фомич сидел посреди дороги, белый как покойник, и еле дышал, убитый жарой. Пустыня была ему в новинку. Бутылку воды, взятую из лагеря, он давно выпил, и теперь его мучили жажда и дикий, нечеловеческий страх. Поэтому он очень обрадовался, увидев ребят, и немедля вывалил из-за пазухи все деньги. Жалкий и глупый, сидел он на песке, раздвинув толстые ноги, и, гримасничая и ухмыляясь дурачком, бормотал несуразное. Богаэддин взял его за шиворот и поднял. Ноги у Фомича подгибались, он цеплялся за Богаэддина, чтобы не упасть, и бормотал:

— Ай, господи, как их в руках-то держать, такие страсти денег... Дай подержу, думаю... Хоть денек подержу, думаю, отродясь такие страсти денег не видал...

Сменщик Сапарова ударил Фомича в грудь и крикнул:

— Зачем так сделал, скажи?

— Вот зашибем тебя, гнида, и в песок зароем,— сказал Марютин, особенно обозлившийся; потому что у него пропала выручка за два месяца.— Гнида лысая! — Он тоже ударил Фомича в грудь.— И ни одна милиция не сыщет! — Второй раз он ударил Фомича в ухо, и тот упал.

— Бить не будем,— сказал Богаэддин, загораживая Фомича.— А то изувечим так, что придется на руках тащить, а пускай сам идет. Айда! Деньги чохом берите, там раздуваним...

В лагере Байнуров устроил товарищеский суд, на котором Фомич бормотал по-прежнему несуразное, чего никто не мог понять. Выходило, будто он взял деньги, двадцать две тысячи, вроде как бы для баловства. А зачем из лагеря побежал? Испугался. Чего же? Бить будут. «Я одну думку отвалил случайно, гляжу — пачка сотенных, другую отвалил — еще толщей, третью — еще того толщей, я и стал их, как грибы, сбирать. Хожу и сбираю, хожу и сбираю... Видимо, жар вступил и вышло помутнение... А как набрал кучу, не знаю, у кого сколько взял...»

Стали думать, что с Фомичом делать. В суд подавать — долгая песня, ближайший суд в двухстах километрах. В свидетели начнут таскать, кому охота. А в лагере без кладовщика и заправщика не обойтись. Приняли наконец такое решение: оставить Фомича в лагере, считать его проступок признаком отсталости и бескультурья (формулировку дал Байнуров) и прикрепить к нему для перевоспитания двух комсомольцев — Беки Эсенова и Ивана Бринько. Что должны были делать ребята с Фомичом, никто в точности не знал.

Сразу после «суда» Фомич пошел к своим цистернам и бочкам, а Беки с Иваном побежали в забой.

На другой день историю с Фомичом уже рассказывали как анекдот приехавшим из Маров корреспонденту ашхабадской газеты и фотографу. Фотограф сразу же снял Фомича за работой — старик отпускает топливо бульдозеристу Сапарову — и огорчился тем, что эту мирную сценку нельзя напечатать в газете под названием «Герои недавного переполоха» или «В Третьем отряде снова все спокойно».

Корреспондент Зурабов бывал на стройке раньше. Он знал Байнурова ещё прорабом. Часа два Зурабов сидел в байнуровской будке и записывал цифры выработки и фамилии механизаторов, потом все трое и приехав-

ший вместе с ними из Маров заведующий областным отделом культуры Курбан Кулиев пошли в забой, стояли на откосе и смотрели, как работают бульдозеры, а потом, спустившись вниз, разговаривали с машинистами.

Ашхабадцы были в белых шляпах, в темных очках, концы брюк у них были завернуты и засунуты в носки, и выглядели они оба чудаковато и некстати по-туристски. Зато Курбан Кулиев, в сапогах, в полувоенном костюме и в массивной белой фуражке с широким козырьком, выглядел солидно и боевито.

Никто с определенностью не мог бы сказать, чем занимается на стройке заведующий областным отделом культуры. Он обязан был, кажется, руководить библиотеками, устраивать какие-то лекции, посылать кинопередвижку на трассу. Все это в условиях пустыни было делом затруднительным, подчас невыполнимым, и поэтому то немногое, что делалось по этой части, было вполне под силу политотделу стройки и рядовым коммунистам,— оно и делалось рядовыми коммунистами в поселках и в отрядах, разбросанных по трассе. Когда в Инче, например, в клубном бараке устраивался концерт самодеятельности, то ставилась птичка красным карандашом не только в тетрадках комсорга Ниязова и не только в отчете механика Мухтарова, секретаря партийной организации Пионерного, но и в ведомости завоблкультурой Кулиева, который узнавал о концерте спустя месяц.

Курбан Кулиев гордился тем, что он тоже в какой-то степени, пускай косвенно и не на главном участке, принадлежал к руководителям стройки. Ему нравилось ездить на стройку, инспектировать, помогать советами и заодно охотиться в песках. В поездки он всегда брал с собой ружье.

Кулиев разговаривал с рабочими коротко, по-деловому, но с оттенком проникновенного внимания, которое было коротким и сдержанным лишь потому, что исходило от чересчур занятого человека. Особенно стремился Кулиев запоминать имена и фамилии рабочих.

— Как вас зовут, товарищ? — спросил он у сапаровского сменщика, который не очень охотно спрыгнул из кабины трактора на землю и стоял перед приезжим, смущенно крутя в пальцах папиросу, предложенную ему Кулиевым. Это был длинный, костлявый парень с маленькой головкой.

— Атабалы,— сказал парень.— Ярвалиев Атабалы.

— Почему не помню? Вы давно на стройке?

— Недавно. С армии пришел...

— Из какого колхоза?

— Из «Большевика».

— Женаты?

— Да.

— Жена — чья дочь?

— Реджепова.

Кулиев нахмурил брови, помолчал мгновение, как бы стараясь вспомнить.

— Как зовут жену?

— Аннагуль.

— Сколько классов она окончила?

— Откуда знаю? — Парень вдруг засмеялся.

Стоявшие рядом рабочие тоже засмеялись. Кулиев тоже засмеялся, но потом погрозил бульдозеристу пальцем и сказал строго:

— Как же вы не знаете? Надо поинтересоваться, спросить у жены.

Потом он стал спрашивать рабочих, как они готовятся к встрече Октябрьской годовщины и какие у них претензии к библиотеке. На сей раз поездка была посвящена проверке работы библиотек. Рабочие что-то отвечали. Кулиев записывал в книжечку. Зурабов тоже не терял времени зря, записывал.

Все машинисты, как и весь Пионерный отряд, ждали большого события: заполнения озер, что было намечено на пятое ноября. Рабочие собирались ехать отсюда на восток, к озерам, чтобы присутствовать при торжественной церемонии.

— О, какие люди! Какие люди! — весело заговорил Кулиев, увидев подходившего Нагаева.— Давно не виделись, Семен-ата! Как живешь? Во-первых, здравствуй! — Он протянул Нагаеву руку.

— Здравствуйте,— сказал Нагаев, вытирая руки концами. Он не очень торопился, вытирал основательно, а Кулиев стоял с протянутой рукой и, улыбаясь, смотрел на него.— Здравствуйте,— повторил Нагаев, сунул грязный нитяной ком в карман комбинезона и пожал руку Кулиева.

Лицо Кулиева было ему знакомо, но что это за начальник, марыйский или ашхабадский, он в точности не знал. Начальников хватает, всех не упомнишь.

— Знакомьтесь,— сказал Кулиев корреспонденту.— Это Семен Нагаев...

— А мы знакомы,— сказал Зурабов.— Я о вас в свое время очерк написал. Его еще по радио передавали. Помните меня?

— Помню,— соврал Нагаев.

— У товарища Нагаева большие перемены в жизни,— сказал Байнуров.— Во-первых, он сменил экскаватор на бульдозер. Во-вторых, женился.

— О! О! Замечательно, Семен-ата. Как зовут жену?

— Маринка. Маша вообще...— И Нагаев отодвинулся, и из-за его плеча появилась Марина в таком же черном комбинезоне, как у Нагаева, только поменьше, и в засученных брюках. Улыбаясь во все лицо, Марина энергично кивала, здороваясь с приезжими.

— И есть еще в-третьих,— продолжал Байнуров.— Наконец-то после долгого перерыва товарищ Нагаев взял ученика. И кого, как вы думаете?

— Я, кажется, догадался,— сказал Кулиев, подмигивая Марине.

— Ага! Точно! — засмеялась Марина.— Я уже знаете как хорошо работаю? Не хуже Семеныча! Только мне теорию нужно подучить. Я теорию, конечно, тоже знаю, но все же, потому что...

— Не трещи,— сказал Нагаев и, повернувшись к Кулиеву, на всякий случай спросил: — А насчет машин ничего там не слыхать? Продавать будут ай нет?

— Каких машин? Не знаю, Семен-ата, не в курсе этого вопроса. Ты обратись к вашим руководителям. Тебе, наверно, скоро автобус потребуется? — Кулиев сделал рукой жест, как бы трогая одну за другой детские головки.— Ты ведь передовик, всегда нормы перевыполняешь. Верно, товарищ Маша?

— Точно! — радостно сказала Марина.

— «Точно», «точно»,— проворчал Нагаев.— Тебя на смех спрашивают, а ты — «точно». Пошли работать, а то рада лалакать.

— Послушайте, Семен,— сказал Зурабов, подступая к бульдозеристу с блокнотом в руках.— Мне бы хотелось поговорить с вами — где и когда?

— А после смены,— кинул через плечо Нагаев.

— Ага, после смены заходите,— подтвердила Марина.— Вон наша домушка стоит, самая крайняя. В дверях белое, видите? Заходите, пожалуйста!

Она любезно, как истая хозяйка, улыбнулась Зурабову и побежала догонять Нагаева, который шлепал по песку, заложив руки за спину.

Зурабов решил переночевать в лагере, чтобы посмотреть ночную работу бульдозеров. Так он объяснил Кулиеву. На самом деле ему не хотелось приезжать в поселок ночью, не хотелось, чтобы Лера думала, что он очень уж торопится ей навстречу. Он торопился. Но она не должна была этого знать. Беспокойство томило его все последние дни, уже три недели он не получал от Леры писем,— отцу и Васеньке она прислала две открытки, а ему ничего,— правда, и он не писал ей, но ведь он жил в городе, а она в песках.

Вся эта поездка возникла от беспокойства. Было непонятно, откуда оно пришло: так, ни с того ни с сего. Однажды утром он проснулся и понял, что беспокоится. Проблема бульдозеров интересовала его очень мало, хотя он слышал о ней и в Ашхабаде, и в Марах и даже готовил какой-то материал в газету насчет нового метода. В общем, в его сознании сложилась знакомая схемка: стычка новаторов с консерваторами. Это годилось для любой статьи, очерка, киносценария, для чего угодно, но прежде надо было выяснить самую малость: почему новый метод, явно прогрессивный, встречает такое сопротивление?

Зурабов старался напустить на себя вид заинтересованного человека.

Байнуров объяснял, стоя на гребне откоса. Он ерошил свои черные, лохматые, как тельпек, волосы, нервничал и горячился, рассказывая длинную историю бульдозерной борьбы, причем в его рассказе было мало техники и много запальчивости и громких фраз.

Всех людей Байнуров делил на две категории: «прекрасных» и «отвратительных». «Прекрасными» были Ермасов, Карабаш, механик Мухтаров, еще какие-то деятели, о которых Зурабов слышал впервые, а в «отвратительные» попали бывший начальник Пионерного Фефлов, оба проектировщика, весь Институт гидромелиорации, половина Марыйского управления, почти все Управление водными ресурсами. «Прекрасные» и «отвратительные» враждовали между собой из-за тысячи самых разнообразных, важных и мелких, причин, и одной из форм этой вражды была борьба из-за бульдозеров. Но почему они враждуют? Какого рожна им нужно? Байнуров изумленно таращил глаза: неужели не ясно? Потому и враждуют, что одни из них «отвратительные», а другие «прекрасные». Какая-то мистика, идеализм, вековечная грызня добра со злом, но ничего, кроме такого

чепухового объяснения, этот малый, причислявший себя, разумеется, к лагерю «прекрасных», предложить не мог. Он не только объяснял, но и требовал вмешательства.

— Знаете, что вы должны подчеркнуть? — говорил он.— То, что мы пускаем воду на полтора месяца раньше срока, это не только заслуга вот этой самой идеи окольцовки озер, что, конечно, дало огромную экономию, но и заслуга бульдозеров. Подчеркните! Бульдозеров и еще раз бульдозеров. У нас хватает противников, и вы должны нам помочь...

Кулиев не присутствовал при разговоре, он присоединился позже, когда пришли из забоя в лагерь и сели обедать. Длинный, сколоченный из досок стол был укрыт от солнца брезентовым пологом, растянутым на четырех столбах и с одной, восточной, стороны опущенным до земли: для защиты от ветра. Тетя Паша поставила на стол хлеб местной выпечки — его привозили из Инче, где была пекарня,— воду в кувшинах и миски с вареными рожками, в которых были куски тушеного мяса из консервов. Все приезжие проголодались, жадно ели и мгновенно опустошили оба кувшина с водой. Кулиев и шофер разговаривали по-туркменски. Брезентовый полог надувался и шумел, как парус.

Зурабов слушал молодого начальника отряда рассеянно: он не собирался влезать в строительные междоусобицы. Газете нужно другое. Волнение, с которым тут ждали пуска воды, надо было очистить и высветлить — как мургабскую воду, в которой бродит осадок.

— Хорошо, хорошо,— говорил Зурабов.— Я помню. Я напишу о бульдозерах.

— Года три назад я работал на стройке канала в песках,— сказал фотограф.— Там была другая техника, в основном экскаваторы. Немецкие экскаваторы. Я сам был экскаваторщиком.

— Ты был экскаваторщиком? — спросил Зурабов.

— Недолго. Потом я удрал оттуда, потому что там началась страшная эпидемия дизентерии и все остановилось.

— Где это было?

— В Триполитании.

Никто, кроме Зурабова, не понял, где это было. Кулиев и шофер снова заговорили по-туркменски. Кажется, они совещались насчет охоты.

Быстро темнело, в воздухе становилось прохладно, и Зурабов пошел к машине, чтобы взять плащ. К столу

один за другим подходили рабочие, только что из забоя. Их сменщики торопливо глотали чай.

Немного погодя, когда стало совсем черно и в крайней будке загорелся свет, Зурабов пошел к Нагаеву.

Он вернулся через час. Фотограф курил, сидя перед входом в палатку, которую им дали для ночлега. Кулиев и шофер куда-то поехали на машине, сказав, что вернутся ночью.

— Тут самое интересное для меня — Нагаев,— сказал Зурабов.— Мне интересно, что он собирается делать со своими громадными деньгами.

— Какой это Нагаев?

— Такой худой, с маленькими глазками. Спрашивал у Кулиева насчет машин.

— А! У него много денег?

— Говорят — да. Когда он зачем-то вышел, я спросил у этой белобрысой, его жены, сколько у них денег на книжке. Она сказала, что не знает. Какая-то полудурочка. Но мне известно, что денег у него очень много.

— Деньги — дерьмо. У меня было много, я мог купить себе пять машин, так что я знаю, что говорю. Деньги — дерьмо.

— Только без проповедей, ладно? — сказал Зурабов.— Я сам парень принципиальный. Откуда у тебя были деньги?

— Были. Иногда. Я занимался кое-какими операциями, не совсем благородными с точки зрения закона. А что мне оставалось делать, когда ни одна собака не соглашалась взять меня на работу? Ведь я человек без паспорта, ничто, лагерная пыль. Я возил контрабанду из Танжера в Марсель. На моторной лодке. Несколько раз у меня были большие деньги, но разлетались быстро, и я опять голодал, изворачивался, клянчил пособие, писал письма: «К вам обращается русский интеллигент, превратностями судьбы заброшенный...» Какой-то бывший ублюдок из Испании, великий князь, что ли, прислал мне двадцать марок. А балерина Наталья Сопина, когда я пришел к ней в Риме,— по-русски она ни бумбум, и, вообще, чтоб ты знал, она не русская, а француженка,— передала через лакея сто лир. Но я знаю, что такое большие деньги. Я держал их в руках.

Зурабов слегка отодвинулся от фотографа и вздохнул.

— Я каждый раз забываю... Ты давно был в Риме?

— В прошлом году, в августе.

— Ну как там было?
— Очень жарко. Все ездили купаться на море, в Остию. Очень жарко было.

Он замолчал, раскуривая погасшую папироску. Зурабов тоже молчал. Со стороны забоя слышалось гудение многих моторов, иногда сквозь гул прорывался тонкий металлический лязг: как будто плакал ребенок.

Кто-то подходил к палатке, осторожно ступая в темноте. Человек остановился в трех шагах от сидевших на песке корреспондента и фотографа, и они увидели его темную фигуру на фоне звездного неба.

— Товарищ корреспондент, не спите? — спросил подошедший шепотом.

— Кто это? — спросил Зурабов.

— Заправщик я, Симеошин.

— Который деньги взял?

— Вот-вот! Я самый, ага! Я то хочу сказать: ребята говорят, вы на меня будто статью напишете...

— Вы сядьте для начала.

— Нет, я то хочу сказать: не надо, товарищ. Умолять вас буду...— Темная фигура вдруг исчезла со звездного неба, и раздался глухой стук повалившегося на землю тела. Старик на коленях пополз к Зурабову.

— Встаньте!

Тот вскочил на ноги.

— Вы что?

— Товарищ, нельзя про меня печатать, никак нельзя! Ей-богу! Послушайте!

— Встаньте!

— Послушайте: у меня дочка в Харькове, на третьем курсе учится, на инженера. Ведь прочитает... Я то хочу сказать: невозможно! Дело немысленное...

— О чем же вы думали, когда деньги крали? — спросил Зурабов.

— Через мою слабость у них всю жизнь страдания — это вы понимаете? Негодный я человек, скотина, урод последний. Ай, господи...— Старик продолжал то ли стоять на коленях, то ли сидеть на корточках. Слезливый шепот его шел снизу, от земли.— Если вам жизнь мою рассказать, вы целый роман напишете, не сходя с места. Почему я в пустыню убёг — первый вопрос?

— В другой раз расскажете,— сказал Зурабов.— Писать про вас я не собираюсь. Скажите только: вы что хотели делать с деньгами?

Старик поднялся, молча потоптался на песке.

— Не знаю, как и сказать...— Он снова присел на корточки.— Одна женщина попутала. У меня вся слабость через них. Из Маров одна...

— Это даже интересно. Но в другой раз, ладно?

— Можно, значит, быть в надёже?

— Можно, можно. Писать про вас не буду, не тот товар.

Заправщик ушел, и двое некоторое время сидели молча, потом Зурабов спросил:

— Когда ты был в Риме, у тебя было много денег?

— Совсем не было.

— Ну, как же ты?

— Ничего, неплохо. Как раз в Риме было неплохо.

— Да? — Зурабов встал, прошелся в темноте около палатки и снова сел на песок.— Старик, по-моему, врет насчет дочки и женщины. И все врут, ты тоже. Все врут, кроме Нагаева. А простофили, вроде нас с тобой, у которых никогда ничего нет, говорят, что деньги — дерьмо. И «в Риме было неплохо». Интересно, чем же неплохо? Тебя ни разу не били? Ни разу не хватала полиция? Или, может, тебя кормила макаронами какая-нибудь Анна-Мария?

Фотограф молчал.

— Я ни о чем не спрашиваю, можешь не отвечать,— сказал Зурабов.— Просто я хочу сказать, как все мы привыкли к вранью. Я вот ненавижу командировки, ненавижу эти ночевки где попало, на грязной земле, на чужих постелях, когда невозможно вымыться, все тело зудит и чувствуешь себя паршивым уличным псом. Зачем я еду? Затем, что у меня в столе пятьдесят рублей! И больше нет ни копья, одни долги. А мне нужно выкупать пальто, и нужно давать тестю на ребенка, и нужно тратиться на одну даму, с которой черт меня дернул связаться. Не говоря уж о том, что нужно есть и пить каждый день и платить карточные долги раз в месяц. И вот я надеюсь сочинить цикл, обязательно цикл, иначе нет смысла, очерков о стройке, подвалов на пять, это даст мне примерно тысячи две с половиной, и тогда я выкручусь. А ты говоришь, деньги — дерьмо.

Фотограф продолжал сидеть молча, папироса его потухла, и было неясно, слушает он Зурабова, или думает о своем, или, может быть, просто заснул.

— Теперь возьми нашу жизнь с Валерией. Ведь всю жизнь нам не хватает денег, из-за этого ссоры, дом не налажен, нет того, нет другого. Сейчас она мне не пи-

шет. В чем дело? Очередной психоз? Обиды? У нас сейчас, правда, ледниковый период, уже довольно длительный, очень затянулся, но все-таки надо давать знать о себе. А может, ей настучали на меня? — Он говорил тихо и невнятно, как будто сам с собой.— Все возможно. От добрых друзей всего можно ждать. Завтра узнаю. А ведь она меня любит, и я тоже к ней привязан,— да, конечно,— а жизнь как-то не получается...

Фотограф вдруг, зашевелившись в темноте, сказал:

— Я вспомнил, что было в Риме: встретил хорошего мужика.

— Правда?

— Да. Тебе даже не понять, какого хорошего.

— Почему не понять?

— Да так. Не понять. Таких, как ты, в Италии называют «буффоне». Это вроде, как бы сказать, шут гороховый.

— Что? — Зурабов кашлянул, заерзал на песке, собираясь встать, но не встал.

— Пойду заряжу пленку на завтра,— сказал фотограф и вошел в палатку.

14

Было уже около десяти, когда мы вычитали полосу, сократили, утрамбовали и сдали в секретариат. Номер подписывал Диомидов. Сегодня выходила наша праздничная «страница», поэтому мы решили подождать до финала. Как часто бывает, материал подвалил в последний момент. Жорка Туманян приехал из Челекена и привез отличный очерк о нефтяниках, о бригаде вышкостроителей. Написано это было так ярко и сочно — чего, по правде сказать, никто от Жорки не ожидал,— что мы с великой радостью сняли слабенький фельетон Критского и несколько стишков. Кроме того, со стройки канала самотеком пришла забавная рукопись «Записки прораба»: какой-то молодой парень, туркмен, по фамилии Байнуров, прислал отрывки из дневника, где с большой наблюдательностью рассказывалось о том, как возникало взаимное доверие между молодым прорабом и экскаваторщиками. Из этой рукописи мы взяли отрывок с описанием песчаной бури. В общем, наша «страница» окрепла, за нее можно было не волноваться. И главное — из нее вылетел Хмыров. После того вечера, когда

я разыграл его по телефону, он вдруг совсем перестал звонить: видно, испугался, что мы в самом деле обратимся в Министерство культуры, и счел за благо не рыпаться. А Диомидова мы сумели убедить перенести хмыровский кусок на декабрь. В общем, Хмыров, как говорится, «выпал на вираже», и я мог гордиться: это случилось благодаря моей мистификации.

Все рано ушли в тот вечер, остались мы двое — я и Тамара Гжельская. В ожидании, когда Диомидов напишет: «В печать», мы сидели в большой комнате, Тамара — на диване, а я — верхом на стуле, и разговаривали о землетрясении. Не помню уж, как зашел разговор. Кажется, так: мы заспорили по поводу какого-то стишка, я ругал его, а Тамара защищала, вернее, говорила, что он вполне «на уровне», не хуже других, и сказала, что у меня несносный, спорщицкий характер, выработавшийся от холостяцкой жизни, и мне, мол, надо поскорее жениться. Я сказал, что то же самое относится и к ней самой. Тамара продекламировала из Кедрина: «Мой жених крылами чертит страшный след на поле бранном...» Дмитрий Кедрин ее любимый поэт, она знает многие его стихи и поэмы наизусть. Жених Тамары погиб во время землетрясения. Вот так мы заговорили о землетрясении.

В этом городе не любят говорить о землетрясении, но если уж начинают рассказывать, рассказывают долго, с мучительными подробностями. Все рассказы чем-то похожи (те, кто остались в живых, говорят, что спаслись чудом), но в каждом — своя боль, своя ужасная, неповторимая подробность. Я слышал много таких рассказов. И так же, как ашхабадцы не любят рассказывать, я не очень люблю слушать, но слушать нужно и рассказывать нужно, потому что это страшная правда о земле, о людях, о жизни и смерти.

Тамара Гжельская попала в Ашхабад в сорок первом году, эвакуировалась из Тирасполя вместе с матерью и младшим братом. Отец воевал, в сорок третьем погиб. Тамара работала на текстильной фабрике, вечерами училась, потом, окончив школу, поступила в университет. Она была студенткой второго курса в тот год, когда случилось несчастье. Ее спасло то, что она в ту ночь легла спать не на свою кровать, а на диван: случайность, зачиталась Чернышевским и задремала на диване около часу ночи. После первого толчка она оказалась в дверях, под самой дверной перекладиной. И когда через

семнадцать секунд ударила вторая волна и все обрушилось, перекладина почему-то устояла. Всю комнату завалило, нечем было дышать, в рот набилась пыль. Тамару завалило до подбородка, она слышала, как кричала соседка: «Тамарочка, помогите! Откопайте моих детей!» А Тамара ей кричала: «Я не могу шевельнуть рукой!» Через час она кое-как выбралась из-под обломков. Она думала, что упала атомная бомба. Тогда многие так думали. Мать погибла, она лежала как раз на том месте, куда упали балки со второго этажа. Она не отзывалась на крики. Но умирать от горя было некогда: надо было спасать живых. Прибежала подруга Тамары, и они вдвоем стали откапывать соседских детей, потом побежали к университету. Брат Тамары ночевал в ту ночь у знакомых и тоже спасся, ему только немного повредило ногу, он до сих пор хромает. Сейчас ему семнадцать лет. Запомнилось такое: рухнули стены, этажи, все кругом в обломках, под ними люди, а посреди этих обломков, совершенно целенький, без единой царапинки, лежит большой стеклянный абажур. Каким чудом он уцелел? В годы войны мать Тамары купила его на барахолке, его везли оттуда с превеликой осторожностью, боясь случайно уронить. И вот он пережил маму, и дом, и весь город,— зачем, зачем? Эта дикая подробность почему-то особенно потрясла...

— А твой жених? — спросил я.— Он... как?

— Он — ужасно. Землетрясение его как раз пощадило, он спал на улице, в деревянной беседке. И его лишь ушибло доской. Но утром Игорь спасал людей из-под развалин, и внезапно обрушилась стена, и — тут же, на месте...

Она помолчала.

— Он был медик. Студент. Потом были трудные годы, самое трудное — воспитывать брата. Он был нервный, слабый, часто болел, и я все время думала уехать отсюда куда-нибудь на Украину, на запад, но у нас не было денег.

Лицо Тамары сделалось жестким и старым. Она сняла очки, быстро протерла их подолом юбки и вновь надела; большим и средним пальцем она держала очки за дужки, чисто мужской жест, и рука у нее была мужская, крупная, с длинными, широко расставленными пальцами.

Вдруг она улыбнулась. И глаза ее стали веселыми.

— Ты, кажется, считаешь, что любви не существует.

Что это наша выдумка. «Любовь — как воля и представление...»

Я смотрел на нее слегка обалдело.

— С чего ты взяла?

— Так, прочитала случайно. Возможно, ты и прав. Но сейчас, спустя девять лет, мне кажется, что я очень любила Игоря — очень, по-настоящему...

— Постой, что ты прочитала?

— Ну, извини меня, пожалуйста, случайно прочитала твой дневник, он лежал на столе раскрытый. Прочитала там про Наташу.

— Прочитала про Наташу? — Я пытался выиграть время и что-то сообразить.— Где ты прочитала?

— В твоей комнате.

— А!

— Прости, я не должна была, конечно...

— Ничего. Не страшно.

— Саша вышел в ресторан и пропал на полчаса, кого-то там встретил, и мне было тоскливо, а эта тетрадь лежала раскрытая, и я даже не поняла сначала, что это дневник.

— Пустяки, там ничего нет.

— Там есть занятное рассуждение насчет того, что у каждого есть свой излюбленный тип, от которого невозможно избавиться. Помнишь? — Она засмеялась.— Помнишь! Я спрашиваю у тебя, помнишь ли ты, что ты сам написал! Да, так вот ты пишешь, что все наши увлечения похожи, они одной масти, одного сорта и с одними и теми же изъянами. Верно? Это, может быть, не ново и пахнет мистикой, но я должна тебе сказать...

Она спокойно философствовала, а я почти не слышал ее. «Так вот что,— думал я.— Ну и ну!» Она считала, наверное, что Саша со мною всем делится, и моя совершеннейшая деликатность и умение не подавать виду казались ей замечательными.

И я подумал о том, что она молодая, полная сил, цветущая женщина и, если приглядеться, не такая уж нескладная. У нее сочный рот. И добрые, коровьи глаза. И она умница...

— Пусть! Ну и что ж? Пусть этот тип или образ создается в нашем воображении, что нам за дело, если он греет нас, приносит тепло и даже счастье?

Мне следовало что-то сказать, никак не обнаруживая своего изумления и растерянности, и я стал зачем-то рассказывать о том, что Атанияз нашел мне комнату

и после праздника я туда перееду. Это недалеко от гостиницы, на той же улице, только подальше от центра и на противоположной стороне. В квартире одного директора овощного магазина, родственника Атанияза. Там есть водопровод, телефон, окна выходят во двор, первый этаж...

Меня выручил звонок от Диомидова. Мы зашли в его кабинет. Он уже подписал полосы, выглядел вполне удовлетворенным, и теперь ему хотелось поговорить. Диомидов любил иногда поговорить о стихах, о литературе и, если бывал в хорошем настроении, экзаменовал авторов и сотрудников литотдела: «Вот вы, литераторы, поэты, а ну-ка, ответьте — чье это?» И читал какие-нибудь заковыристые строчки, которые никто не мог узнать, и глубокомысленно ухмылялся, не раскрывая тайны. В редакции подозревали, что это его собственные стихи, написанные в ранней юности, когда он был еще худ, лохмат и неосторожен... Потом оказалось, что он читал Агнивцева.

Но такие минуты откровенности и лукавства бывали у него редко.

Сегодня ему все как будто понравилось, за исключением стихов Котляра, которые он назвал дежурным блюдом. Странное дело, он всегда отзывался о Котляре иронически и регулярно его печатал! Зато мы услышали почти панегирик по адресу Туманяна: «Вот настоящий праздничный материал. Тут и коллектив чувствуется, и живые люди, и, главное, это на основную тему: о коммунистическом труде. Растет, растет Туманян!»

Потом он поздравил нас с наступающим праздником, и мы ушли. Редакционная «Победа» стояла возле ворот, ожидая нас, чтобы развезти по домам. Шофер спал в темной кабине. Но мы с Тамарой решили пройтись пешком.

Несмотря на поздний час, на улице чувствовалось предпраздничное оживление. Какие-то люди, стоя на крышах домов и на приставных лестницах, прикрепляли к стенам лозунги, флаги и большие портреты, обсаженные электрическими лампочками. Зеваки стояли внизу и давали советы. Магазины не торговали, но витрины были освещены и продавщицы возились за стеклами, расставляя цветы среди пирамид из фруктов, бутылок вина, пачек сахару, мыла и консервных банок, сложенных таким образом, что из них получалась юбилейная цифра или же слово «мир». Все спешили использовать

эту последнюю ночь перед праздником: завтра было воскресенье.

Я провожал Тамару домой.

— Я так жалею Сашу! Мне хочется помочь ему,— говорила Тамара.— Ах, если бы я могла отдать ему свою энергию, свою веру в жизнь, свою устойчивость в жизни! Ведь он неврастеник, он слабый, впадает в уныние от малейших неудач. В его характере много смешного и немужского, он в чем-то еще мальчишка, правда? Ведь ты знаком с ним давно? Ты согласен?

— Я знаком с ним давно. Но он стал каким-то другим.

— Да, он изменился. Он изменился даже за тот срок, что я его знаю. И виновата его жена, эта гадина. Я ее ненавижу.

— Почему гадина? Ты не знаешь ее.

— Нет, это ты не знаешь, а я знаю. Они живут кошмарно, бредово, в обоюдной ненависти. То есть это так страшно — их жизнь,— что ты не представляешь. И вместо того чтобы что-то исправить, как-то наладить жизнь, она убегает от семьи в пустыню, бросает ребенка на теток, на беспомощного старика отца, исчезает на месяцы, на полгода... Изменяет ему.

— Откуда ты знаешь?

— Я видела во сне. Она ему изменяет. Я не сказала Саше, чтобы не огорчать, но это правда. Не улыбайся, я верю снам — моя бабушка была цыганка, умела ворожить и научила меня разгадывать сны.

— Ну какой вздор ты говоришь!

— Вот увидишь, что я права. Она глупа, эта самая Лера, и не понимает того, что ее муж талантлив, он человек тонкой духовной организации и мог бы добиться очень многого, если бы правильно жил...

— Что значит талантлив? — спросил я.— В чем выражается его талант?

— Он талантлив,— сказала Тамара.— Но он ужасно ленив душой, у него нет вкуса к работе и к жизни, и виновата эта женщина. Его тылы разрушены. Ему холодно жить, все ветра продувают его насквозь. Ах, если бы он доверился мне, я бы поставила его на ноги, как Женьку, моего брата! Но он странный. Он очень странный, Саша, очень странный...

Последние слова она произнесла тихой скороговоркой.

Проспект был безлюден. Наши каблуки громко сту-

чали по асфальту тротуара, усыпанного сухими листьями. Тамара не отставала от меня и не просила идти медленнее, хотя мы шли скорым, солдатским шагом. Она энергично размахивала руками.

Я думал о том, как мы ошибаемся, разгадывая людей, и тут ничего не поделаешь. Та же история, что с любовью: мы придумываем. Вот она придумала Сашу, придумала его жену, и сразу ей стало легче жить, хотя она и страдает. Ее страдания радостны. Она написала, наверное, кучу стихов.

— Понимаешь, в чем дело,— сказал я.— Саша немного не такой, как тебе кажется. И Лера тоже. Ничего не поделаешь, мы все выдумщики, благо мы люди начитанные и с высшим образованием. Я тоже выдумщик.

Она посмотрела настороженно:

— По-твоему, все это не настоящее?

— Я не знаю. Бывает трудно понять, где выдумка и где настоящее.

— Ну нет.— Она помолчала, обдумывая про себя мысль, потом повторила уверенно: — Ну нет уж!

На перекрестке при свете «юпитеров» рабочие сколачивали деревянное сооружение, то ли трибуну, то ли какой-то огромный макет. На асфальте лежали куски красной материи, фанерные щиты, непонятно раскрашенные. Электрики тянули поперек улицы гирлянду лампочек. Внизу суетились какие-то люди, громко кричали, жестикулировали, командуя рабочими, которые поднимали большой круглый щит, изображавший земной шар.

Наконец земной шар, слегка покачиваясь, взгромоздился на положенное ему место. Рабочие тянули снизу другой щит, на котором был нарисован спутник. Вдруг Тамара взяла меня за руку:

— Посмотри, вон Борис Григорьевич стоит!

Поодаль от места стройки, прислонясь к ограде, стоял Борис Литовко и смотрел из темноты на работающих. Нас он не видел. Мы были на противоположной стороне улицы. И мы не подошли к нему, потому что было так необъяснимо то, что мы застали его ночью, одиноко, бессмысленно глазеющего на уличную жизнь.

Тамара даже ускорила шаги.

— Он мне жаловался, что совсем не спит,— сказал я.

— Я знаю. Я доставала ему лекарство. Вот что такое, когда человек остается один,— сказала Тамара.— И когда это не выдумка, а самое настоящее.

15

— Давай, Семеныч! Скорей, Семеныч! — слышался снизу, с дороги, здоровенный бас Ивана Бринько.

— Се-ня! Се-ня! — кричала Марина.

Нагаев, нисколько не торопясь, шнуровал ботинки, потом накинул куртку на плечи, взял папиросы, сунул в брюки пятьдесят рублей на всякий случай и вышел из будки. Степенно спускался по бархану. Водитель непрерывно сигналил. Нагаеву ехать не хотелось, но оставаться в лагере одному было, конечно, глупо.

Весь Третий отряд, с Байнуровым во главе, уже затолкался в кузов. Передние стояли, держась за крышу кабины, остальные сидели на корточках вдоль бортов и на досках, сложенных посредине кузова. Марина сидела сзади. Она подала руку Нагаеву, помогая ему перелезть через борт.

— Вот жена! — сказал Иван.— Мужа одной ручкой тянет — это да.

— Вся в Демидыча,— сказал кто-то.

Тут пошло веселье.

— А что? Маринка у нас дай бог!

— Сила! Молоток баба.

— Семеныч, а тебе частенько достается?

— Го-го!

— А вам завидно, завидно? Дурачки-то! — Марина, как всегда, пьянела от веселья, шуток, грубоватого мужского внимания. Очень ей хотелось ударить кого-нибудь из парней по спине, но она боялась, что это может не понравиться Семенычу. Он сидел молча, поджатыми губами мял мундштук папиросы.

Грузовик неожиданно рванул, передние попадали назад. «Ай, мамочки!», «Держись за землю!». Иван повалился спиной на Марину и на сидевшего рядом с нею Нагаева, и Марина сладко, изо всей силы, влепила ему ладонью по хребту.

— Эй, не дерись! Ты теперь замужняя, его бей!

Кое-как умялись, ухватились кто за что. Качаясь с борта на борт, набирая скорость, грузовик погнал по дороге на восток.

Все радовались празднику, нежаркой погоде и тому, что предстояло увидеть. Пронзительно, деревенским своим голосом Марина затянула песню «Ландыши», кто-то из стоящих впереди, чуть ли не сам Байнуров, запел другое. Из-за ветра и шума мотора понять, что он пел,

было трудно. Загудел басом Иван Бринько. Пели «Ландыши», «Подмосковные вечера», потом почему-то «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Встречный ветер летел с песком, отчего все отвернули головы назад и смотрели на горбы барханов, на сухую желтую пыль за грузовиком, которая, долго не оседая, стояла туманом в воздухе.

Нагаев огорчился еще вчера, когда узнал, что снимать перемычку назначили Мартына Егерса. Виду не подал, но огорчился крепко. Оттого и ехать и смотреть на всю эту свадьбу не хотелось. Для других невидаль, а он насмотрелся, сам дважды перемычки вскрывал, хотя и был экскаваторщиком и на трактор его приглашали сесть единственно из уважения.

Утром Марина принесла новость: у латыша разболелись зубы, и он чуть свет уехал в поселок, а оттуда в Мары, к доктору.

Нагаев в первый миг даже нехорошо как-то обрадовался, но предчувствие подсказало, что радоваться не надо. Взамен назначат кого-нибудь из молодых, это уж точно, Сапарова, например, или Богдана Ибадуллаева.

Когда подъехали к месту, там уже стояли грузовики из поселка, к бортам которых были прибиты красные полотнища с лозунгами, и легковой газик начальника. Зрители заполнили откосы готового участка. Тут были рабочие из Инче, многие из них приехали с женами и детворой, тут были гости из Ашхабада, из Маров и Сагамета, колхозники из примургабских колхозов и чабаны, пришедшие с севера, с дальних пастбищ. Некоторые усаживались на песок, другие перебегали с места на место; молодые парни, дурачась и хохоча, толкались и валили друг друга наземь, и тут же бегала ребятня и носились собаки, возбужденные скоплением людей и запахом воды. Белые и голубые рубахи рабочих, меховые шапки пастухов, пиджаки и шляпы городских приезжих колыхались пестрой стеной, все это двигалось, шумело, смеялось, трепетало на ветру.

В отдалении стояли верблюды, с которыми пришли чабаны. Как всегда, они стояли разрозненно, каждый сам по себе, и настороженно, боковым взглядом, наблюдали издали за толпой людей. А чабаны спустились по песчаному откосу вниз и, сидя на корточках, плескались в воде. Они наслаждались водой. Они играли ею, опускали и вынимали из воды кисти рук, шлепали ладонями по поверхности, вздымая волну, и легонько брызгали

друг в друга и, держа ладони ковшиком, бережно поднимали воду и мочили лицо. Мокрыми ладонями они проводили по глазам и губам, и было похоже, что они целуют воду.

Самый старый из них тихонько смеялся, открывая беззубый рот. Их было четверо. Они не замечали того, что на них смотрят сверху и рабочие-туркмены что-то кричат им по-туркменски.

На перемычке стояли скрепер с бульдозером, пока что без машинистов. Нагаев с Мариной, которая цеплялась за него, норовя идти с ним под руку, протолкались поближе к перемычке и сели на песок. Марютин встал сзади. Все трое лузгали семечки. Нагаев сделал равнодушное лицо и старался не смотреть на перемычку: его мучительно интересовало, кого посадят на бульдозер. Беки и Чары Аманов примостились в стороне, а Иван увидел в толпе Фаину и пошел к ней.

— Сюда идите! К нам, к нам! — закричала Марина, заметив Котовича с женой.— Тут семейные сидят! Мы тут всей семьей! Ага, к нам идите!

— Да ладно звонить...— проворчал Нагаев.

Дуся, жена Котовича, была в очень красивом голубом крепдешиновом платье в мелких цветочках, в соломенной шляпке, к которой были приколоты искусственные незабудки, и держала в руках большую лакированную сумку зеленого цвета. А сама Дуся была худая, большеносая, с красным шелушащимся лицом. Она с гордостью сказала, что платье и сумку ей подарил к празднику Котович. Марине на минуту взгрустнулось — Нагаев ничего не подарил ей к празднику,— но она сейчас же отбросила неприятные мысли, подумав о том, что она молодая и красивая и нравится ребятам, а Дуська Котович уже старуха, ей тридцать шесть лет, и она вся в морщинах.

Стоя на грузовике, начальник отряда Карабаш говорил речь. Он говорил о большой победе, которую одержали строители, завершив здесь работы на полтора месяца раньше срока, потом стал перечислять лучших механизаторов, награжденных по случаю праздника и досрочного выполнения работ премиями. Рабочие, постепенно окружившие грузовик, после каждой фамилии хлопали в ладоши, кричали «ура» и даже подсвистывали, потому что у всех было веселое настроение и хотелось шуметь. Нагаев слушал напряженно. Наконец, семнадцатым или восемнадцатым, его тоже назвали в списке

премированных, но премия его была меньше, чем первых шестерых, среди которых были Мартын Егерс и Сапаров, и снова толпа стучала в ладоши, кто-то радостно ткнул Нагаева в бок, кто-то крикнул «ура», а кто-то громко свистнул два раза. Нагаев краем глаза усмотрел свистуна: это был Беки. Через толпу к Нагаеву пробрался ашхабадский корреспондент, пожал ему руку и встал рядом.

После начальника выступал Сапаров, потом — один председатель колхоза, или, как их называли по-местному, «башлык», из Байрам-Алийского района, худой высокий старик с длинными, необычными для туркмена сивыми усами. Старик объяснял, что такое вода для туркмена. Он рассказывал, как было в старину. Раньше, например, богатые люди сидели в голове каналов, а бедняки в хвосте, и бедным всегда доставались остатки воды, а в засушливые годы они совсем погибали. Холостяк не имел права на водный пай, и отцы старались как можно раньше женить сыновей. «Башлык» говорил без бумажки, рассказывал попросту, как было дело. Может быть, он говорил о себе. Может быть, он вспоминал отца, сидевшего в хвосте канала. Все слышали нежность, звучавшую в его голосе, когда он произносил слово «сув» — вода: понижал голос почти до шепота и протягивал руку к откосу, держа пальцы горстью, как будто хотел зачерпнуть воды. И все слушали его тихо. Он рассказывал о прошлогоднем неурожае, когда пересох Мургаб, а будь к тому времени канал — амударьинская вода могла бы спасти поля.

Закончил «башлык» старой туркменской поговоркой:

— Счастлив народ, у которого есть пустыня и вода!

Потом опять вперед выступил начальник отряда Карабаш и объявил:

— Вскрыть перемычку поручается передовым механизаторам нашего отряда, скреперисту Шахназарову и бульдозеристу Мурадову.

Вот этого Нагаев не ожидал! Он даже вздрогнул. Марина захлопала в ладоши и закричала с восторгом: «Бяшимка, ура-а! Наш участок дает!» Шахназаров побежал по перемычке к скреперу, за ним не торопясь, важный, как гусь, зашагал Бяшим Мурадов.

Взревели моторы. Не прошло и двадцати минут, как машины растащили песок почти до уровня воды: перемычка была довольно узкая, в два бульдозерных ножа шириной. Ее нарочно делали из насыпного, а не из ма-

терикового грунта, чтобы она легче разрушалась водой. И вот уже вышли два пастуха с кетменями — один старик, другой помоложе, с черной бородой,— и несколькими ударами проделали в песке коридорчик для воды.

И вода пошла.

Сначала робко, тонким ручейком в два пальца, не видным издали, но с каждой секундой желобок в песке размывался все глубже и шире, вода бежала все быстрее, и, подхваченные движением, все бóльшие комья песка, крошась и разламываясь, неслись вместе с водой. В несколько минут перемычка растаяла. Коричневым, лавообразным потоком, толкая перед собой пухлые сгустки пены, амударьинская вода двинулась по сухому руслу готового участка.

В это время кто-то закричал озорным, залихватским голосом: «Даешь начальника!» — и несколько человек, подхватив Карабаша на руки, расталкивая толпу, тяжело засеменили к откосу. Начинался ритуал, которому дóлжно было подчиниться. Под визг женщин и дружное хоровое «ура» Карабаш полетел в воду. Следом за ним схватили Гохберга, который тоже не сопротивлялся, когда его несли к воде, но по дороге вынимал из карманов и раздавал документы.

— Ура-а-а! — Растопырив руки, полетел в воду Гохберг.

— Ура-а-а! — Раскачали и бросили Ниязóва.

— ...а-а! — Как ни отбивался упрямый Байнуров, как ни кричал, что не умеет плавать, кинули и его лохматой головой вниз. Потом тут же вытянули на берег.

А дальше пошла свистопляска сверх программы. Добровольцы кидальщики, среди которых свирепствовал Иван Бринько, стали хватать кого попало и швырять в воду. Некоторые прыгали сами, другие поспешно раздевались, а те, кто боялся воды, ринулись прочь от берега, но не убегали далеко, потому что всем хотелось посмотреть, как купают других. И все это сопровождалось хохотом и непрерывной музыкой аккордеона. Марина, легко поддавшись общему исступленному и на миг ставшему почти безумным веселью, вдруг закричала: «Сенечка, ура!» — и толкнула Нагаева так нерасчетливо сильно, что он слетел с откоса и бухнулся в воду почти до пояса.

— Ты что? Черт, корова! — разъяренно закричал Нагаев, выбираясь из холодной воды на берег. Весь мокрый, облепленный мокрой и грязной от приставшего пес-

ка одеждой, Нагаев погнался за Мариной, а та бросилась наутек, крича плачущим и смеющимся голосом:

— Ой, Сенечка, прости! Я же не нарочно!.. Ой, господи!

Нагаев догнал, схватил железными, как когти, пальцами за руку, рванул так, что она села на песок. Процедил сквозь зубы:

— Дурака из меня лепишь? Поехали домой!

— Ой, Сенечка, да я ж...

— Ну?!

— Сенечка, прости меня, золотой ты мой, драгоцененький! Я тебе брюки выстираю, выглажу — будут как из магазина. Ну что ты как волк? Надо же, разозлился... Сень, ну прости! Ну, честное слово, Сень!

— Поехали!

— А на чем поедем? Сейчас машин нет.

— Найдем.

Марина встала, пригладила волосы, заправила блузку, выбившуюся из-под пояса. Она уже не смеялась. Лицо ее приняло выражение растерянности и обиды. Нагаев выбрасывал из коробки на песок намокшие папиросы.

Подошел Марютин, заговорил не то чтоб строго, а так — для порядка:

— И зачем такое баловство делать? Кто его придумал — людей купать?

— Ну искупала, ну нечаянно, ну извинилась! — вдруг громко, с вызовом, обращаясь к отцу, закричала Марина.— Вон начальники мокрые ходят — и то ничего! Я ведь не хотела его купать, правда же? Я у него сто раз прощения просила, а он какой-то... Ну его!.. Чего ему надо? Домой я не поеду.

— Поедешь,— сказал Нагаев и взял Марину за руку.

Она вырвала руку.

— Не поеду! Я кино хочу смотреть. Я с ним сколько живу, еще ни одного кино не смотрела. Всем подарки к празднику, Дуське Котович вон какую сумку купили, а он меня домой тащит. Не поеду! Ни за что не поеду!

Они стояли на крутизне. Вокруг толкались, бегали, хохотали, внизу, у берега, барахталось человек двадцать. Некоторые из туркмен, не умевшие плавать,— откуда пустынным жителям такое умение? — кричали испуганно, колотя руками и захлебываясь на мелком месте, где достаточно было встать на ноги и выпрямиться. Несколько парней, переплыв канал, карабкались по пес-

чаному склону противоположного берега и гоготали там и прыгали, согреваясь после холодной воды.

— Не поеду,— еще раз тихо повторила Марина.

— Ладно,— сказал Нагаев.— Черт с тобой.

Повернулся, сжимая кулаки, и пошел. Он чувствовал себя оскорбленным безмерно, и не только Мариной, а всем сегодняшним днем. Он был такой же, как все, как эти веселящиеся, гогочущие. Такой же мокрый дурак, как они. Оставалось одно — напиться и послать всех куда подальше.

Марютин, суетливо и наспех, формальности ради, отчитав дочь, побежал вдогонку за Нагаевым.

Все это происходило на старом, заполненном водой участке, а по сухому руслу медленно продвигалась вода в хлопьях вязкой, кофейного цвета пены. Много людей шли с обеих сторон канала, сопровождая водное шествие, а некоторые, спрыгнув вниз, засучив брюки до колен, шлепали по воде и разбрызгивали босыми ногами пену, и первыми шли пастухи, которые то и дело нагибались, трогали воду и подносили руки к лицу. Вода пахла жирным амударьинским илом, рыбой, плодородием.

По случаю праздника в магазин завезли красное ашхабадское вино. Гулянье крепло час от часу. До темноты, пока нельзя было смотреть фильм, в клубе зарядили танцы, радиола гремела на всю округу, распугивая пустынное зверье и птиц, которые по запаху воды потянулись к каналу. Перед клубом, за врытыми в песок столиками, пожилые люди забивали «козла».

Карабаш и Гохберг обедали в столовой вместе с приехавшими на праздник гостями. Всего было человек пятнадцать: Хорев, Кулиев, представитель Управления водными ресурсами Давлетджанов, инженеры из Марыйского и Керкинского стройуправлений, три представителя колхозов, корреспонденты ашхабадской газеты. Среди них был муж Леры.

Карабаш познакомился с ним мельком еще утром, перед вскрытием перемычки. Они не успели сказать друг другу десяти слов. Муж Леры обедал за столиком вместе с Кулиевым, Смирновым и тем «башлыком», который говорил речь, и Карабаш, сидя к ним боком, почти не видел их, но все время чувствовал и помнил, что муж Леры сидит в двух шагах справа. Он слышал его голос и смех.

Он представлял себе мужа Леры гораздо старше и более плюгавым, а тот оказался довольно моложав, высок ростом, с курчавой шевелюрой; и у него была крепкая мужская рука, но глаза какие-то неопределенные, немужские, и зубы редкие, как у мальчика. Один раз он встал и, подойдя к столу, за которым сидели Карабаш с Гохбергом и Ниязовым, сказал:

— Вы знаете, у меня тут жена, в вашем поселке, а я ее еще не видел. Она в экспедиции Кинзерского.

— Почему же не видели? — спросил Ниязов.

— Она, говорят, вернется с поля к обеду.

Забавно было смотреть на Гохберга. Он сидел не шевелясь, и у него был такой вид, точно он ждет, что сейчас его ударят по голове.

Муж Леры вернулся к своему столику и сел на место. Второй корреспондент был фотографом. Он сильно налегал на вино. Утром, когда он приехал в поселок, и потом, во время пуска воды, он был неразговорчив и мрачен и показался Карабашу неприятным человеком. Почему-то он решил, что этот фотограф большой делец и выжига. Теперь, во время обеда, фотограф оживился, лицо его стало красным, он что-то непрерывно и бурно рассказывал своим соседям, инженерам. Потом вдруг подошел к Карабашу.

— У нас с вами есть общие знакомые. Вернее, были.

— Кто?

— Семенов Валентин.

— Валя? Это мой школьный товарищ.

— Я его знал позже,— сказал фотограф.— Еще по Ашхабаду, перед войной. Его сестра была моей женой.

Карабаш вспомнил: Лера рассказывала про этого фотографа. Какая-то темная, неудачная жизнь, плен, скитания, разбитая семья. В другой раз было бы занятно поговорить с ним, но сейчас, в эту минуту, он был на редкость некстати.

— Вот как? — сказал Карабаш.— Да, мой товарищ. Валька Семенов.

Фотограф продолжал стоять у стола, он чего-то не договорил. Вдруг он облокотился о стол и, наклонившись к уху Карабаша, заслонив рот ладонью, тихо, чтоб не слышали соседи, сказал:

— Моя жена, вы знаете, оказалась не Пенелопа. Я правильно сказал? Которая ждала этого самого... ну, как его?

— Правильно, Пенелопа.

— Да. Я все забыл. За последние сто лет я прочел, может быть, три книги. Она не виновата в прошлом, но теперь, когда я возник, она должна была иначе — понимаете? Не хватило духу. А Лера — другая.— Он зашептал в самое ухо Карабаша: — Лера отличная женщина! Можете мне поверить.

Он отошел к своему столу так же неожиданно, как появился. Никто не прислушивался к его бормотанию, потому что как раз в это время один из председателей колхозов, стоя со стаканом вина в руках, говорил тост. Было уже много выпито и много сказано поздравительных речей и тостов: в честь Октябрьской годовщины, в честь пуска воды, сдачи хлопка, победы над чарджоускими хлопкоробами, в честь первой чайки, прилетевшей вслед за водой в пустыню. «Башлык» предложил тост за здоровье Ермасова, которого ждали со дня на день: он возвращался из Америки, с конгресса мелиораторов. «Башлык» называл Ермасова Ермас-ата. Он рассказал удивительное, чего многие не знали.

Оказывается, тридцать лет назад Ермасов служил здесь в погранвойсках и воевал с Джунаид-ханом. «Башлыка» звали Сапар-Кули-ага, в то время он был молодым милиционером Туркмен-Калинского района, а Ермасов был молодым бойцом. Потом они не виделись много лет и встретились лишь два года назад в Марах, на бюро обкома.

Когда Сапар-Кули-ага закончил свой рассказ и все выпили за здоровье Ермасова, встал Хорев и предложил тост за то, чтобы «наш замечательный производственный эксперимент закончился благополучно, чтобы все было в ажуре». Это был неожиданный и ехидный тост. Большинство присутствовавших, увлеченные общим праздничным настроением, не поняли его смысла. Карабаш понял и промолчал. Однако запальчивый и простодушный Гохберг тут же вцепился в Хорева и потребовал объяснения. А тот словно только этого и ждал — и покатился спор! Все тот же безнадежный, безысходный, осточертевший, как пылюка, как ветер, как сушеная картошка, как холодные ночи: полезно или вредно нарушать проекты, одобренные Управлением водными ресурсами?

Представитель управления Давлетджанов жевал праздничный плов и вставлял изредка то словцо, то междометие в речь Хорева. А чего добивался Хорев? Ничего особенного, просто предупреждал о нежелательных

последствиях в процессе эксплуатации. Ведь дамбы, возведенные бульдозерами, отличаются от проектных...

— Боже мой! Какая дальновидность! — кричал Гохберг.— Спите спокойно, Геннадий Максимович: нежелательных последствий не будет.

Гохберг то и дело вскакивал с места и кричал, размахивая вилкой и делая ею колющие жесты в воздухе. Лицо Хорева покрылось пятнами. Инженеры Марыйского стройуправления и добродушный Кулиев убеждали спорщиков примириться и проникнуться торжественным духом дня.

— Не будем портить праздник!

— Забыто! Кончено!

— И вообще — не для столовой!..

Карабаш слушал и помалкивал, усмехаясь в душе. Он видел и чувствовал каждого из этих людей. Гохберг, Низов да, пожалуй, еще председатели колхозов и с ними многие другие, которых не было тут, радовались сегодняшней победе так же безоглядно и полно, как радовался Карабаш. Потому что она была делом их рук, делом их жизни. Но были здесь и зрители, сочувствующие, или равнодушные, или даже втайне враждебные, как Хорев, как Давлетджанов, ближайший дружок Баскакова.

Не стоило спорить с ними так шумно и яростно, как это делал Гохберг. Сегодня они в слабой позиции. Их удел — молча жевать плов или же заниматься туманными предостережениями. Благодаря застольному шуму, выпитому вину и некоторому общему утомлению, спор не разросся и праздничное настроение победило. Как ни крути, а в Пионерном сегодня именины! Закончили раньше срока. Могучая экономия. А дальше что ж? Вода покажет. Вода разрешит все споры. Вода — главный заказчик. Да! Именно! А как вы думали? Вода — самый строгий контролер, его не подпоишь...

В таком случае за здоровье воды!

Хорев от волнения начал вдруг жадно есть и за три секунды набил полный рот жареным мясом. Остальные тоже занялись едой, чокались остатками вина, потом кто-то предложил выйти на улицу и посмотреть, как молодежь играет в волейбол и соревнуется в туркменской борьбе гюреш. И все вдруг радостно встали и торопясь пошли к выходу.

На улице к Карабашу подошел Зурабов и опять сказал, что здесь живет его жена. Тут не было ничего на-

рочитого, просто он забыл, что уже говорил об этом. Он был заметно пьян.

Они остановились возле клуба. Забивальщики «козла» все еще стучали костями, но зрителей около них не было: все перекочевали на спортивную площадку, где состязались гюрешисты.

Наступил вечер, делалось холодно, и Карабаш чувствовал озноб. Но это был не столько озноб от холода, сколько от томящего нетерпения, возникшего неизвестно отчего. Что его томило? Навстречу чему он так нервно и непонятно спешил?

16

Нагаев и Марютин сели на корточки в первом ряду зрителей, Марина отстала от них давно. Кто-то видел, как она обедала вместе с Беки, Иваном Бринько и Фаиной, потом все четверо пошли куда-то за поселок, в сторону озер.

За обедом Нагаев и Марютин распили по бутылке ашхабадского, настроение у обоих взвинтилось, и они почему-то долго спорили на такую тему: могут ли животные мыслить? Разговор начался с собак, которые крутились в столовой,— лохматые туркменские псы с обрезанными ушами. Марютин говорил, что животные могут мыслить непременно, Нагаев утверждал обратное. Приводили разные примеры, вплоть до петухов. Потом пошли смотреть гюреш. И вот, когда сели на песок, сложив ноги по-туркменски, и задымили папиросками, Марютин впервые заговорил о дочке.

— Ты, Семеныч, не сомневайся,— сказал он.

— А что? — спросил Нагаев.

— Не сомневайся, говорю. И все.

— А чего сомневаться?

— Ну и все! У нас такого не водится, чтоб с парнями туда-сюда. Так что не сомневайся.

Нагаев поморщился:

— Ладно! Давай гляди...

На широкой кошме возились два босых туркменских парня в коротких халатах, подпоясанных кушаками. Вцепившись обеими руками в кушаки противника, они изо всех сил раскачивали друг друга, стараясь свалить, бросить наземь или хотя бы приблизить к себе, чтобы схватиться плотнее. Вокруг борцов прыгал по ковру

Байнуров со свистком во рту, следя за тем, чтобы парни держались за кушаки как следует, не нарушая правил.

Зрители кричали по-туркменски, подбадривая пальванов. В первом ряду сидели пастухи, среди них два белобородых старика, настоящие знатоки гюреша. Нагаев видел туркменскую борьбу и раньше, и она ему не особенно нравилась. Волынка какая-то. Ходят вокруг да около, за кушаки держатся и кряхтят. А для победы достаточно, чтобы противник коснулся ковра хоть рукой, хоть коленом,— какой интерес! То ли дело в России, где схватываются грудь о грудь, безо всяких кушаков, ломаются так, что кости трещат, и не расходятся до тех пор, пока один кто не припечатан к земле лопатками.

А здесь — вон они, молодцы! — в перерывах между схватками сидят по углам, отдыхают и даже чай пьют из пиалушек.

За спиною Нагаева двое рассуждали вполголоса:

— Тут не на силу, а на хитрость.

— Главное, как пояс завязать...

— Да я знаю! И армяны так борются, и азербайджаны. Татары тоже...

— Тут главное — ноги прячь, а то перекинет...

— Калмыки тоже...

— Какие калмыки? Калмы-ыки! — передразнил Нагаев, оглядываясь.— Мели, Емеля! Калмыцкая борьба совсем другая. Вперед узнай, потом говори.

— Да все одно...

— Калмыки, во-первых, в одних портках борются. Понял? Без халатов. Так что чего зря говорить!

Нагаев произнес это таким грубым, сварливым голосом, как будто незнакомый парень, заговоривший о калмыках, был его личным врагом, а его самого калмыцкая борьба волновала всю жизнь. На самом деле он лишь однажды видел, как борются калмыки (давно, до войны, где-то на Волге, в жаркий праздничный день на деревенском базаре), а сейчас ему просто хотелось поспорить. Нагаев пил вино редко, зная, что оно действует на него нехорошо: он не пьянел, не орал песен, не лез в драку, но настроение у него портилось, и он весь как бы наливался раздражением. Когда Нагаев бывал пьян, ему всегда хотелось спорить.

На кошму между тем вышли Султан Мамедов и тот самый чернобородый чабан, который кетменем рубил перемычку. Когда Султан Мамедов переодевался,— на всех пальванах было два короткололых халата и два по-

яса, лежавшие кучками по углам кошмы,— стало видно, как он чудовищно волосат. Его спина, грудь, ноги были мохнатыми и черными, и весь он был похож на медведя: низкий, плечистый, с кривоватыми, толстыми в икрах ногами.

— Вот черт страшный! — сказал кто-то.

— Сейчас Сережка даст прикурить,— сказал другой голос.

Туркмены кричали по-своему, обращаясь к чабану. Наверное, давали ему советы. Они хотели, чтобы он победил, потому что он был туркмен, а Султан Мамедов — азербайджанец.

Однако Султан расправился с чабаном быстро: бедняга был хоть и жилист, но худ и не очень проворен. Жизнь в песках располагает к медлительности. Чабан не успел и трех секунд потоптаться на кошме, как азербайджанец вдруг нырнул под него и, на миг оторвав от земли, приподнял над собой и кинул. Так же быстро он кинул на кошму и двух следующих противников.

Вокруг кошмы столпилось уже очень много зрителей. Помощники Байнурова, два молодых парня с повязками на рукавах, непрерывно отгоняли напиравших на ковер зрителей, которых в свою очередь толкали стоявшие сзади. Многие притащили из клуба скамейки и встали на них, чтобы смотреть поверх толпы. Стоявшие позади Нагаева зрители раздвинулись, и вперед протиснулись начальники: Карабаш, Гохберг, газетный корреспондент, еще какие-то чины в плащах и в шляпах. Карабаш присел рядом с Нагаевым на корточки и спросил:

— Ну, кто кого?

Нагаев понял по голосу, что начальник немного навеселе, и это как бы сравняло их, и он заговорил развязно:

— Да кто ж кого! Ясно, ваш Сережка всех лупит, потому что персона, начальника возит. С ним связываться кому охота...

— Поддаются, значит?

— Ка-а-нечно!

— Если уж моему шоферу поддаются, что тогда про меня говорить? Сейчас всех подряд буду класть!

Карабаш подошел к кошме, на которой топтались Султан Мамедов и Богаэддин Ибадуллаев, и обратился к Байнурову:

— Товарищ главный судья, можно записаться в очередь?

— Можно, можно! — серьезно ответил Байнуров.— Через две пары, Алексей Михайлович.

— Да я шучу, дорогой...

В это время на ковре произошло необычайное: зрители зашумели, засвистели, один из стариков побежал к Байнурову и возмущенно что-то доказывал, тряся своим посохом. Богаэддин применил недозволенный прием, и все требовали его дисквалификации. Что именно он сделал, понять было трудно. Байнуров пытался поднять руку Султана в знак присуждения ему победы, но Богаэддин не давал ему это сделать и кричал, что он не согласен и что по кавказским правилам он боролся законно. Тут все стали кричать наперебой, кроме Султана, скромно удалившегося в свой угол, и громче всех кричал Байнуров: «Поезжай на Кавказ! Поезжай на Кавказ!» — и еще что-то по-туркменски и яростно взмахивал рукой, приказывая Богаэддину уйти с кошмы. Но Богаэддин не уходил. Вся эта свара длилась минут пять, спорщики кричали то по-русски, то по-туркменски, то по-азербайджански, а Богаэддин иногда даже по-осетински, потом на ковер выскочила маленькая смуглая женщина в пуховом платке и в черных полусапожках — это была жена Богаэддина, учительница,— схватила своего мужа двумя руками и под общий хохот уволокла в толпу. Потом из толпы вылетели и упали на кошму халат и пояс.

И тут Нагаев увидел, как с другой стороны кошмы в ряду зрителей появились Иван Бринько с Фаиной, а немного погодя к ним пробрались и встали рядом Марина и Беки. Марина тоже заметила Нагаева и отца, сидевших на корточках, и, замахав им рукой, крикнула весело: «Эй, вы, братья-кролики!», из чего Нагаев заключил, что она не прочь помириться. Он сделал вид, что не видит ее. Марютин толкнул его коленом:

— Вот она!

— Не слепой, вижу,— сказал Нагаев.

Иван подошел к кошме и заговорил с Байнуровым: как видно, хотел бороться.

— Внимание, идет моя жена! — вдруг сказал Зурабов.— С каким-то господином в крупную клетку. Сейчас мы ее уличим и приведем сюда.

Карабаш прислушался к тому, как он пробирался через толпу, то и дело повторяя: «Виноват, простите». Прошло довольно много времени, прежде чем Карабаш

услышал за спиной движение толпы, оглянулся и увидел Валерию. Она пробиралась к нему. Он сразу увидел ее глаза: с жадным блеском, смеющиеся, глядевшие на него в упор.

У него сильно забилось сердце. Он кивнул и отвернулся. Он чувствовал, что покраснел. Это было глупо. Проходя за его спиной, Валерия шепнула чуть слышно: «Здравствуй, Алеша», а потом он услышал голос ее мужа:

— Знакомьтесь, моя жена... Вы знакомы, наверно?

— Да,— сказал Карабаш, оборачиваясь.

— Конечно, знакомы! — сказала Валерия и засмеялась. Глаза ее просто сияли. У нее был такой вид, точно она именинница.

— А это...— она взяла Зурабова под руку,— мой супруг, Александр Петрович. Журналист республиканского масштаба. Он же выдающийся игрок в преферанс.

— Мы знакомы,— сказал Зурабов.— Ты что?

— Что — я что?

— Ты выпила, что ли?

— Я? О боже! — Она расхохоталась.— Я не то что не выпила, я даже не обедала. Мы полчаса назад вернулись с поля. Спроси у Кинзерского. А вот ты выпил, это точно, я вижу по глазам. Когда ты выпиваешь, становится заметным твое косогласие — обычно оно почти не заметно... Ведь выпил, правда же? Признавайся!

Зурабов пробормотал что-то невнятное. По-видимому, он был ошеломлен так же, как Карабаш. Вслед за Зурабовым боком проталкивался Кинзерский в белой жокейской шапочке и в оригинальной, из толстого ворсистого материала, клетчатой куртке на «молнии». Он молча протянул Карабашу узкую сухую ладонь.

Валерия пробралась вперед. Она была в брюках и села прямо на землю в тесном ряду рабочих, как раз между Нагаевым и Марютиным. Рабочие о чем-то весело, в заигрывающем тоне, заговорили с ней. Она отвечала так же весело.

Она шла напролом, торопила события, и Карабаш понимал это, и ему это не нравилось. Нет, он не трусил, но ему это не нравилось. Все это делается не так. Он никогда *этого* не делал, но был убежден, что *это* делается не так.

Прежде всего надо сохранять хладнокровие.

Они стояли позади Валерии шеренгой: Карабаш, Кинзерский и муж. Кинзерский в своей дурацкой шапочке стоял посередине, сложив руки на груди, и вы-

глядел так, как будто он самый главный в этой троице, а Карабаш и муж его помощники. Они смотрели на борющихся на ковре людей и ничего не понимали. «Странно, я не испытываю к нему никакой вражды,— думал Карабаш.— Это потому, что я уже знаю, что я победитель. А он не знает. И поэтому стоять рядом с ним невыносимо. Я бы хотел сейчас уйти, но как это сделать?»

Сделать это было просто, но Карабашу почему-то казалось, что уйти невозможно, он пойман, должен выстоять до конца.

— Алексей Михайлович, вы будете бороться? — вдруг закричал Байнуров.— Ваша очередь!

Полчаса назад Карабаш шутил, а сейчас что-то словно толкнуло его — это был вызов его решимости, его готовности к публичному испытанию, и это было освобождение. Он машинально переступил через сидевших на корточках людей и подошел к кошме. Женский голос крикнул азартно: «Алексей Михайлович, мы за вас болеем!» Карабаш спокойно разделся, расшнуровал и снял ботинки, надел куцый, пропахший потом халат и подпоясался. К нему подошел Байнуров и сделал на поясе узел, какой полагается для гюреша. Карабаш знал, что проиграет,— перед ним стоял, переминаясь на огромных, бревнообразных ногах и улыбаясь во все лицо, Иван Бринько, весивший больше его килограммов на двадцать,— но отступать было поздно.

— Сейчас Ванюшка накажет вашего-то! — наклонившись к Валерии, сказал Марютин.

— Моего? — Валерия посмотрела на рабочего с удивлением.— Он ваш начальник, а не мой. Мой начальник товарищ Кинзерский...

Смеясь, она оглянулась назад и встретилась с холодными глазами мужа. Кинзерский по-прежнему стоял в наполеоновской позе, со сложенными на груди руками, и делал вид, что не слышит Валерии.

«Если Алеша победит,— думала Валерия,— тогда у нас все будет хорошо. Но он не победит. Зачем он вышел? Не могу видеть, как напряглись, как трясутся его руки, как побелело лицо...»

Восторженно шумели зрители:

— Каюк ему! Ха-ха... Держись, Михалыч!

— Хей, начальник! Ур! Ур!

— Бас, башлык! Ур! Ха-ха...

Для них, для этих кричащих, хохочущих, все это было цирком.

Сердце Валерии колотилось. Она отвернулась, когда рыжий парень, обладавший, как видно, лошадиной силой, вдруг рывком подкинул Алешу, и смуглые Алешины ноги мелькнули беспомощно, и туркмены закричали хором, но Алеша не проиграл, нет, он упал на пятки, он удержался, потому что все стали аплодировать, и, когда Валерия снова посмотрела на кошму, Алеша стоял на ногах, слегка присев. Его руки, намертво вцепившиеся в пояс рыжего парня, были белые в кистях. Он упал через минуту.

Возвращаясь к своему месту, Карабаш увидел красные от волнения и нежности глаза Валерии.

Все оборачивались к нему, все аплодировали, хотя он проиграл, и даже кричали ободряюще: «Хей, начальник! Якши! Говы, начальник!» Кинзерский сказал, что это ему напоминало схватку Давида с Голиафом, с той разницей, что Давид оказался без пращи. Потом подошел Гохберг. Уже по его глазам Карабаш понял, что главный инженер готовится произнести нечто товарищески осуждающее.

— Алеша, не могу вас понять: зачем вы это сделали? С какой целью?

— Ни с какой. Неприлично?

— Нет, не то что неприлично, а как-то несерьезно, не к месту. Я стоял рядом с Давлетджановым. Знаете, что он сказал? Вот, говорит, пример погони за дешевой популярностью.

— А ну его к черту!

— Я ему сказал примерно то же, но более вежливо. Однако должен признаться, я сам не совсем понимаю...

— У вас это бывает. Вы частенько не совсем понимаете,— сказал Карабаш и тут же пожалел об этом.

Гохберг, пожав плечами, промолчал и отошел.

Карабаш нарочно остановился не на прежнем месте, рядом с Кинзерским и Зурабовым, а немного поодаль, через два человека от них. Он слышал, что доктор наук и корреспондент газеты о чем-то непрерывно говорят в довольно повышенных тонах. Было похоже, что они крупно спорят. Валерия оглянулась и сказала:

— Товарищи, перестаньте пикироваться, смотрите борьбу.

Смотреть было трудно, потому что стало темно. На кошме боролась последняя пара, встречались два пальвана, не имевшие поражений: Султан Мамедов и Иван Бринько. Ход соревнований свел двух лютых соперни-

ков. Зрители понимали, что смотрят не просто схватку гюреша, а нечто более серьезное, и поэтому стояли молча и тихо, а борцы кряхтели, хрипло дышали, кто-то из них даже скрипел зубами, тяжело передвигали свои большие, каменные от напряжения тела, и в сумерках трудно было различить их лица. Карабаш смотрел на борцов и думал о том, чем кончится сегодняшний вечер. Сможет ли он поговорить с Валерией? Успокоить ее? Сказать, чтобы она сохраняла хладнокровие? Куда разместить гостей? Где будет ночевать ее муж? Все это решать должен был он, как начальник участка.

Карабаш подошел к Гохбергу:

— Аркадий, я был с вами резок, не обращайте внимания.

— Что? Чепуха! Я уже забыл! — с жаром заговорил Гохберг.— А что вы сказали? Разве что-нибудь обидное? Во-первых, если б вы сказали обидное, я бы уж как-нибудь ответил — да, да! Вы меня знаете, я в долгу не останусь...

— Конечно. Послушайте, где мы будем размещать всю капеллу? Давлетджанова, Кулиева и председателей можно в гостиницу, верно? Там как раз пять коек...

Они стали совещаться вполголоса.

И как раз когда они дошли до корреспондентов и Гохберг сказал, что муж, наверное, захочет соединиться с женой, так что его и фотографа можно передать в ведомство Кинзерского, в это время Карабаш увидел, что Валерия поднялась и стала пробираться через толпу, а за нею пошли Кинзерский и Зурабов.

Валерия спросила:

— Алексей Михайлович, пойдете с нами?

— Сейчас,— сказал Карабаш.— Аркадий, значит, вы распорядитесь? Я могу быть спокоен?

— Вопрос!

Подождав немного и поглядев на кошму, где все еще возились борцы, Карабаш тоже выбрался из кольца зрителей. Он догнал Валерию и ее спутников возле столовой.

— Мы валимся с ног от голода,— сказала Валерия,— а столовая закроется через пятнадцать минут.

— Я вам не попутчик,— сказал Карабаш.

— Ну посидите с нами! Выпейте чаю,— голос ее немного дрожал.

— Чаю? — он колебался.— Я недавно обедал. Как раз с вашим мужем...

— Ничего, пойдемте, посидим с ними,— сказал Зурабов.— Испортим им аппетит.

— Э, не удастся! — сказал Кинзерский.— Мы, биологи, люди здоровые, и аппетит у нас крепкий. И, что еще важнее, у нас есть аппетит к жизни!

Он засмеялся, подмигивая Карабашу, и рот его сдвинулся набок.

Карабаш вошел вслед за Валерией в столовую. Этого не надо было делать. Не надо было идти с ними. Но он уже не мог отклеиться, его тянуло к участию в этом квартете, и, главное, он чувствовал, что Валерия хочет, чтобы он был с нею.

Он и Зурабов взяли по бутылке пива. Первых блюд не было, плова тоже не было, остались рожки и рыбные консервы. Кинзерский съел подряд три порции рыбных консервов. Зурабов и он продолжали обмениваться колкостями.

Кончилось тем, что они стали вышучивать профессии друг друга.

— Саша! Евгений Николаевич! Перестаньте,— нервно и вместе с тем рассеянно успокаивала их Валерия.

Из соседней комнаты вышел фотограф. Он сидел в столовой с самого обеда, его лицо было совершенно томатного цвета. Он вел под руку подавальщицу Марусю, полную, очень загорелую женщину средних лет, поджимавшую губы, чтобы не прыснуть, и спрашивал, где здесь танцуют. Держался фотограф хорошо, и у него был тупой, аккуратный взгляд смертельно пьяного человека, который изо всех сил старается держаться хорошо. Вдруг он увидел Валерию и, забыв про Марусю, радостно бросился к ней.

Разговаривая с фотографом, Валерия то и дело смотрела на Карабаша, и выражение ее лица показалось ему умоляющим, глаза панические, широко раскрытые. Он испугался. Он подумал, что сейчас она сделает или скажет что-нибудь непоправимое. И это случится здесь, в столовой, на глазах у многих. Внезапно, повинуясь порыву, он поднялся — только немедленный уход мог спасти дело — и сказал, что его ждут в конторе.

Делая общий поклон, на миг он опять увидел ее паническое лицо. Она хотела что-то сказать, но не успела.

Он вышел, неся отвратительное ощущение испуга и малодушия. Через минуту на темной улице он уже жалел, что ушел, но возвращаться было нелепо.

Клуб был заперт, площадка, где соревновались борцы, тоже опустела. Над поселком гремели голоса киноактеров и музыка: все смотрели кино. Карабаш дошел до гаража, сел в газик и поехал к озерам.

Когда он доехал до того места, где еще утром была перемычка, звуки кино стали еле слышны, а огни поселка пропали вовсе. Карабаш вылез из машины и походил по берегу. На темном песке белели какие-то бумаги, обрывки газет. Тихо струилась вода. Стоя на откосе, можно было явственно услышать ее влажный, текучий шелест. Карабаш снова сел за руль и проехал вдоль дамбы на запад. Он обогнул все большое озеро до конца, до горловины, соединявшей его со вторым, меньшим озером, и там тоже остановил машину и вышел на землю.

И снова он услышал явственный влажный шелест воды, временами даже плеск. Вода прибывала. Она шла на запад, несмотря ни на что. Звездное небо чуть заметно покачивалось на ее поверхности. Несколько саксаулов стояли посреди воды, как острова.

Карабаш сел на песок и, дрожа от холода, смотрел на зыбкие звезды, слушал шелест воды, шорохи невидимой ночной жизни, которая уже зарождалась вокруг озер, и на душе у него становилось все покойней. И он даже подумал, что сегодня, в общем, радостный день и что когда-нибудь он будет вспоминать об этих минутах — ночных, тихих, у новорожденной воды — как о счастливейших в жизни.

А сейчас ему было просто холодно. Ему было очень холодно, несмотря на ватную Султанову телогрейку, которую он нашел в кабине.

Через полчаса Карабаш подъехал к своему бараку. Было около одиннадцати вечера. Кино уже кончилось, все стихло. Карабаш быстро разделся, с наслаждением растянулся на койке и закрыл глаза. Заснуть он не успел: в дверь постучали, и вошел муж Леры.

— Это я,— сказал он.— Извините, что поздно.

Карабаш зажег свет и сел на койке.

— Ничего,— сказал он, вновь натягивая рубашку. Он ждал всего — угроз, драки.— Я обычно ложусь поздно.

Зурабов снял плащ, повесил его на гвоздь в углу комнаты и сел на табуретку. Нет, он не собирался драться. Он сказал, что остался без ночлега. Фотограф куда-то исчез, жена живет втроем с подругами в тесной комнате, так что у нее остановиться нельзя, а к Кинзерскому

обращаться нет желания. Валерия посоветовала пойти к Карабашу. Он уже заходил полчаса назад, но Карабаша не было.

«Она прислала его нарочно, чтоб мы поговорили»,— подумал Карабаш.

— Сейчас я принесу койку,— сказал он,— тут есть лишняя у соседей.

Он вышел на улицу, разбудил стуком в окно своего соседа, заведующего снабжением, и попросил у него койку. Подушка и одеяло были одни на двоих, и Карабаш предложил их Зурабову как гостю. Тот отказывался, Карабаш настаивал, кончилось тем, что Карабаш взял подушку, а Зурабову отдал одеяло. Сам он накрылся кошмой. Все эти простые действия сопровождались неловким, отрывочным разговором. Оба чувствовали себя напряженно. Потом, когда Зурабов заговорил о стройке, что-то спрашивал по-деловому, записывал в блокнот, ощущение напряженности рассеялось.

Неожиданно Зурабов переключился на Кинзерского. Он заговорил о докторе наук со злобной яростью:

— Этот интеллигентный козел, эта рептилия, испортил мне весь сегодняшний день! Чего он лип? Что ему надо? Алексей Михайлович, хочу у вас спросить, только отвечайте откровенно...

— Пожалуйста.

— Я почему-то вам доверяю. Жена говорила о вас хорошо, я помню. Вы мне симпатичны. Я даже хочу начать свой первый очерк так: «Карабаш и Каракумы».

— Почему? — спросил Карабаш.— Что это значит?

— Ничего дурного. Наоборот, в высшей степени похвальное. Ваша фамилия хорошо ложится в заголовке, хорошо обыгрывается.

— Можно еще лучше: Карабаш, Каракумы и караваны,— сказал Карабаш.— Или так: Карабаш и карагач.

— Ха-ха! Верно, верно! — засмеялся Зурабов.— У вас мысль работает. Так вот, дорогой Карабаш, скажите мне честно: Кинзерский тут замешан?

— Где тут?

— Вы знаете. Если уж до мужа донеслось, то вам должно быть известно. Я имею в виду Валерию Николаевну. Ну, что вы щуритесь?

— Нет,— сказал Карабаш.

— Если это он, у меня будет повод побить ему завтра морду. Не потому, что я ревнив,— мне, в сущности, глубоко плевать,— а потому, что он уж больно проти-

вен. Это он, ей-богу, это он! Я вам не верю. Он как раз во вкусе Валерии Николаевны.

Зурабов вскочил с койки и стал ходить по комнате. Он говорил так громко, что за стеной проснулся и заворочался снабженец.

— Послушайте, давайте спать, а? — сказал Карабаш, почувствовав внезапный прилив ненависти к этому человеку и желание отделаться от него, забыть его, не слышать.

— Простите,— сказал Зурабов.— Простите, какое вам дело, конечно...

Он лег на койку, накрылся одеялом и затих.

Карабаш погасил свет, залез под кошму. Его обнял знакомый, животный запах шерсти, душный запах, которым он дышал каждую ночь. Этот запах приносил успокоение, но сейчас Карабаш не мог заснуть. Всплыли все тревоги, все мимолетные уколы души, все нервное напряжение прошедшего дня и еще то, что будет завтра и послезавтра. Давлетджанов, Хорев, пьяный фотограф, Гохберг с осуждающими глазами, Бринько, Кинзерский, муж Леры и сама Лера, ее паническое лицо,— в каждом из них была частица тревоги. Но было и что-то другое, радостное. Какой-то звук...

Сразу он не мог сообразить, потом вспомнил: звук текущей воды. Влажный, едва различимый шелест в ночной тишине.

Вдруг вчера на улице я встретил Айну — ту девушку с белыми зубами, такими поразительно белыми на смуглом лице, которая мелькнула когда-то давно, однажды. Есть лица, влетающие в нашу жизнь, как бабочки влетают в окно летней ночью, на секунду, и оставляют странный мгновенный след, иероглиф на дне души. Я не вспоминал об Айне ни разу. А сейчас все всплыло: как мы ходили по осыпающемуся склону, ее крепкие пальцы, запах полыни и чувства ошеломления и новизны, которые переполняли меня.

Она приехала в город на праздники, девятого возвращается обратно в Тоутлы.

Теперь мы ходили не по барханам в пустыне, а по людному городу, от одного книжного ларька к другому. Айна покупала все подряд: Томаса Манна, Вольтера, Галину Николаеву, стихи Слуцкого и «Персидские письма» Монтескье. Все новинки возбуждали ее жадность. Это было мне знакомо. Я тоже, возвращаясь по-

сле долгого отсутствия в город, в первую очередь накидывался на книги. Потом мы ужинали в столовой вблизи Текинского базара, где было много приезжих, стариков колхозников и женщин в красных накидках с серебряными украшениями и монетками. В ожидании машин и автобусов эти люди пили чай в столовой и ели мороженое. Один старик вез в аул штук восемь белых фарфоровых чайников и, связав их за ручки, держал на согнутой в локте руке, как вязанку бубликов.

Когда мы вышли из столовой, были уже сумерки. Я проводил Айну до дома и спросил, увидимся ли еще раз на праздники. «Иншалла! — сказала она, засмеявшись.— Если позволит аллах!»

Она пригласила меня на вечер, который должен быть сегодня в доме одного физика, преподавателя университета. Я не мог, я условился с Катей пойти в «Дарвазу», где еще позавчера мы заказали столик. Нет, ничего не выйдет. А может, все-таки выйдет? Попозже? Может, после двенадцати? Там такой открытый безалаберный дом. Там всю ночь курят, спорят, пьют, танцуют на веранде, увитой виноградом, и разговаривают о высоких материях. Ну что ж, если позволит аллах. Я взял адрес.

В «Дарвазе» было как всегда. Мне хотелось пойти к нашим, редакционным, они собирались сегодня у Витьки Критского, два дня суетились, договаривались насчет шашлыка, но Катю манил ресторан, люстры, танцы под оркестр, вся эта ерундовина, которая называется публичным весельем. Кроме того, она достала наконец белый кружевной воротничок, который добывала упорно в течение трех недель, и ей хотелось обязательно прийти в этом воротничке в ресторан. Мы ушли оттуда в первом часу, и, конечно, ни к каким физикам я не попал. Катя пришла ко мне. Ночью я проснулся: она спала рядом, не шелохнувшись, беззвучно. Мы много выпили, особенно я, а я всегда после этого просыпаюсь ночью, часа в два, в три, и не могу заснуть долго. Начинает мелькать прошедший день, разговоры, лица, слова, все это развертывается, как лоскутная лента, беспорядочно, рвано, находят разные мысли, воспоминания о прошлом, о неудачах, обо всем на свете. И так до утра. Моя слабость в том, что я уступаю, уступаю не кому-то, даже не самому себе, а потоку, который меня тащит, как щепку, крутит, мотает, выбрасывает на берег и вновь смывает и несет дальше. И я несусь, несусь!

И сейчас, ночью, лежа рядом со спящей Катей, которая видит во сне белые кружевные воротнички и танцы в зале под люстрами, я несусь в этом потоке и не в силах остановиться. А я бы мог тихо встать и уйти к физикам, к Айне, у нее твердые пальцы, у нее такое странное, широкое в висках, тонкое внизу, золотисто-смуглое, солнечное лицо, она читает Монтескье... Но я не встану. Меня несет поток. Кто-то мечтал о том, чтобы жить так, как хочется, а не так, как живется. Кажется, Ушинский. Как это невероятно тяжело! Самое трудное, что может быть: жить так, как хочется. Мне хотелось пойти к ребятам, но я пошел в ресторан. Вчера в ресторане подошел Хмыров, он улетал в Москву писать режиссерский сценарий и обязательно хотел со мной попрощаться. Благодарил неизвестно за что, чокался, тряс мне руку. А мне хотелось сказать ему напоследок все, что я о нем думаю, насчет навозного жука и так далее, слова вертелись на языке, и к тому же я был пьян, вполне мог сказать, но я ничего не сказал. Тряс ему руку и говорил невнятные любезности. Потому что меня несет поток, бросает на камни, и годы проплывают, как берега, поросшие редким лесом.

Среди ночи Карабаш проснулся. Свет луны заливал комнату. На койке храпел Зурабов.

Карабаш проснулся от внезапного сильного волнения, причину которого сразу не мог понять. У него даже билось сердце. Он сел на койке, посмотрел на светящийся циферблат ручных часов, лежавших на табурете поверх брюк и рубашки: было четверть третьего. Почему-то ему пришло в голову, что Лера не спит и думает о нем. Именно это и разбудило его.

Еще не понимая зачем, он начал поспешно одеваться. Он испытывал нечто похожее на то, что испытывает человек, напившийся до беспамятства и легший в таком состоянии спать, который потом вдруг просыпается среди ночи и, мрачный и трезвый, ужасается тому, что было вчера. Почему он бросил Леру, зачем поехал к озерам? Как он мог оставить ее? Почему ни слова не сказал ее мужу?

Карабаш смотрел на спящего с разинутым ртом Зурабова. Ему хотелось немедленно все решить. Зачем-то он надел пиджак, зашнуровал ботинки и толкнул Зурабова в плечо. Тот не проснулся, зачмокал губами и, сотрясая койку, повернулся на другой бок.

Барак экспедиции Кинзерского находился на западном краю поселка, за кибитками пастухов.

Быстро шагал Карабаш мимо темных будок, темных бараков, темных брезентовых палаток, мимо полусонных собак, которые утробно ворчали ему вслед, мимо кибиток, возле которых серыми неподвижными грудами высились спящие верблюды. Карабаш спешил. Он знал, что Лера не спит и ждет его прихода, или прихода мужа, или обоих вместе. Она правда не спала и вышла сейчас же, как только он стукнул в окно.

Карабаш рассказал, как он проснулся внезапно от стыда и от боли, и как он будил Зурабова, и тот не просыпался, и тогда он побежал сюда, потому что не мог ждать утра. Лера слушала его и плакала. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и Карабаш прикрывал ее плащом, стараясь согреть. Они оба дрожали от холода. Было очень холодно, дул ветер, и стало непроглядно темно, потому что луна пропала за тучей. Карабаш предложил пойти и разбудить Зурабова и сейчас же, ночью, все объяснить. «Как хочешь,— сказала Лера, и зубы ее стучали от холода.— Ты хочешь?»

Он сказал, что хочет. И Лера побежала в дом, надела пальто, и они пошли и разбудили Зурабова. И тот ничего не понимал, слушая объяснения Карабаша, который говорил, стоя перед его койкой и крепко держа Лерину руку, а Лера молчала, сидя на табуретке, а Зурабов продолжал лежать.

Потом Зурабов понял и сел на койке. Он попросил зажечь свет.

Карабаш зажег электрический фонарь.

— Я хочу посмотреть на вас,— сказал Зурабов и, взяв фонарь, осветил им лицо Валерии, потом Карабаша.— Я запомню ваши рожи на всю жизнь.

Он погасил фонарь и бросил его на пол.

— Почему вы хамите? — спросил Карабаш.

— Мы ничего от тебя не скрываем,— сказала Валерия. Голос ее дрожал, но мужчины говорили спокойно.

— Я догадывался, что ты с кем-то спуталась, но не знал с кем. Я думал — с тем старым болваном.

— Я спуталась когда-то с тобой, а Алешу я полюбила. Ну, что говорить! Мы шли к этому, ведь правда, Саша? И вот это случилось. Для тебя это не должно быть неожиданностью.

— Я, кажется, не возражаю.

— Но вы хамите,— сказал Карабаш.

— А что я должен делать? Как себя вести? Научите, я впервые в такой ситуации,— усмехнулся Зурабов, одеваясь в темноте.— Уйти из вашего дома? Сейчас уйду.

— Нет, идти вам некуда. Вы останетесь тут, а уйдем мы,— сказал Карабаш.— Вообще, разговор можно было перенести на утро, но нам хотелось...

— Я понимаю: чтоб было шито-крыто. Ночью никто не услышит. А утром можно делать вид, что все в порядке. Где фонарь? Я не разберу, какой ваш плащ, а какой мой.

— Саша, куда ты пойдешь ночью?

— Бывшая жена проявляет заботу. Мне противно тут находиться, ясно?

— Мы сейчас уйдем. Оставайтесь и спите!

— Бросьте руки! Не цепляйтесь за меня!

— Где вы будете спать?

— Идите к черту!

Все это происходило в темноте. Мужчины боролись, один хотел уйти, другой его не пускал, Лера шарила ладонью под койкой, пытаясь найти фонарь. Потом кто-то с размаху сел на койку, которая, загремев, отъехала по полу.

— Верно, куда я пойду? — пробормотал Зурабов.— Ведь я в пустыне... Я пойман, я пойман!

— Саша, не устраивай трагедий,— сказала Лера.— Ты не так уж убит горем, как хочешь показать. Меня ведь ты не обманешь. Ты не любишь и не любил меня, не дорожил мною,— тут может быть только вопрос самолюбия, а это мелочи, чепуха. Это быстро пройдет.

Помолчав, Зурабов сказал:

— Все это можно было сделать по-человечески, не будить ночью. Какая-то дурацкая сцена из Ильфа и Петрова...

— Да, да! — Карабаш вдруг усмехнулся.— «Волчица ты, тебя я презираю!» Вы извините, это я виноват. Я ведь впервые в роли Птибурдукова.

— Ладно, мне плевать... завтра дайте машину пораньше, часов в восемь. Я поеду на Сагамет и на Головное.

— Машина будет,— сказал Карабаш.

На улице была серая, предрассветная мгла, дул прежний холодный ветер с севера. Лера шла, крепко вцепившись в руку Карабаша, прижимаясь щекой к его плечу, и делала такие же большие шаги, как он.

Карабаш открыл ключом дверь, пропустил вперед

Леру, вошел сам и запер дверь изнутри. Они вошли в кабинет Карабаша, где тяжело пахло куревом. У стены стояло рядом три стула. Лера сразу подошла к этим стульям, села на средний и сказала:

— Господи, неужели все кончилось? Мы все сказали, и он все знает...— Она засмеялась тихо.— Сейчас буду спать как убитая...

Она легла на стулья боком, слегка согнув колени, подложив руку под голову. Ее ноги свешивались, она сбросила туфли. Карабаш подставил ей под ноги четвертый стул. С закрытыми глазами, почти засыпая, она сказала:

— Мой родной...

Карабаш снял пиджак, подложил под голову Леры, потом накрыл Леру плащом и, наклонившись, поцеловал ее. Она улыбнулась, не открывая глаз. Вот сейчас, глядя на ее бледное в темноте лицо, провалившиеся, усталые веки, тонкую шею, так беспомощно вытянувшуюся из воротника бедной и грубой кофты, он понял, что любит ее, как никого и никогда в жизни, и будет защищать ее, и не отдаст, и это навсегда,— это случилось сегодня, холодной праздничной ночью.

Он лег на пол. Через три часа в комнату должны были прийти люди, но теперь это уже не имело значения.

17

Утром было серо, дождливо, ничто не напоминало вчерашний солнечный день. Зурабов смог уехать только в десятом часу. Пропал Султан Мамедов: его искали по всему лагерю и не нашли. Оказывается, его схватка по гюрешу с Иваном Бринько — Карабаш видел ее начало — окончилась скандалом. После того как ни один из противников не смог осилить другого и Байнуров уже готов был объявить ничью, Султан вдруг схватил Ивана за голову — это было вопиющее нарушение правил! — и, стиснув под локтем, стал крутить самым бессовестным и примитивным способом, каким борются мальчишки на улице. Возмущенные зрители кинулись на кошму, там шла уже настоящая драка. Разняли драчунов еле-еле. У Ивана было разбито в кровь лицо от удара головой. Все зрители, особенно старики чабаны, ругали и позорили Султана, и тот убежал.

Не нашли его и утром, так что Зурабова повез шофер с грузовой.

Прощаясь с Карабашем, Зурабов говорил о посто-

ронних вещах. У него едва заметно дрожали опущенные кончики губ, и это придавало его несвежему, с набрякшими веками лицу выражение задавленного волнения. Когда к машине подошла Лера, он говорил о переменчивости здешней погоды и о том, что пора влезать в демисезонное пальто.

— Кстати, ты отдавала мое пальто в чистку и срезала пуговицы. Где они?

— Они в круглой желтой коробке.

— Которая на подоконнике, что ли?

— Да, в деревянной. Но ведь мы еще увидимся до твоего отъезда в Ашхабад?

Зурабов пожал плечами. Они разговаривали спокойно. Фотограф, не знавший о ночном разговоре, ничего не мог заподозрить. Он даже предложил, не без ехидства, сфотографировать Леру с мужем и Карабаша стоящими возле машины, и они согласились. Он сказал, что сделает к снимку такую надпись: «Кому подчиняется пустыня».

Пустыня дышала сырым, холодным песком. Невыносима жара, но еще более тягостно и уныло холодное ненастье в песках.

Сев в кабину рядом с шофером, Зурабов сказал:

— Знаете, к утру я согласился с Панглоссом: все к лучшему в этом лучшем из миров.

— С кем согласился? — спросил фотограф.

— С некиим Панглоссом. Тебе это неизвестно. Ты человек серый, приехал из провинции.

— Есть ресторан «Панглосс». Только не помню где: то ли в Марселе, то ли где-то еще на побережье.

— Я имел в виду как раз ресторан,— сказал Зурабов.— Ну, так вот: возможно, мы вернемся через неделю, если поедем обратно на машине, а возможно, махнем из Керков прямо домой. Самолетом.

— Правильно,— сказал Карабаш.— Там летает самолет через день, Чарджоу — Ашхабад.

— Вам очень не хочется видеть меня снова. Даже не можете этого скрыть.

— Почему? Я сказал просто так...

— Но тут сработало подсознание.

— Нет, Саша, он сказал совершенно без всякой задней мысли,— сказала Лера.

— Я думаю, что все же вернусь машиной,— сказал Саша.— Помните, как кончается «Разгром»? «Но надо было жить и исполнять свои обязанности». В том-то и

дело. И не смотрите на меня так скорбно, я еще не умер. Поехали!

Он произнес все это спокойно, даже улыбаясь, и при слове «поехали» наклонился через дверцу и выплюнул докуренную папиросу.

Потом был свободный, чистый, промытый дождем, долгий день. Они были вместе. Никто не мешал им. И ничто не мешало. И они наслаждались свободой, чистотой и нежностью друг к другу и завтраком в комнате Карабаша, за столом, застеленным синей калькой, на которой стояли банки тресковой печени, яичница на сковороде с луком и четыре бутылки пива, и наслаждались свежими газетами, только что привезенными из Маров, которые Карабаш читал вслух, и потом наслаждались радиоприемником «Урожай», ловили музыку, а ровно в двенадцать нашли Москву и слушали передачу с Красной площади, парад, демонстрацию, выступления поэтов и разговаривали, ходили босиком по деревянному полу, пили пиво, а Карабаш курил, и иногда к ним заходили люди, но быстро уходили, и они снова оставались вдвоем и наслаждались всем этим одни.

Потом пошли к озерам посмотреть, как идет вода, и наслаждались тишиной, запахом сырого песка, очищающим легкие, и одиночеством среди барханов, и тем, что дождь прекратился, и следами ящериц на твердых склонах, и еще тем, что после дождя дорога стала упругой и можно было ходить долго, не уставая.

В поселок вернулись к обеду. Еще вчера Гохберг пригласил Карабаша на праздничный обед. Там подготовлялось что-то, по здешним понятиям, грандиозное. Софья Михайловна, жена Гохберга, ездила с попутной машиной в Керки, покупала на рынке мясо, овощи, муку, что-то пекла, варила. Кажется, праздник совпадал с каким-то семейным торжеством.

Лера сказала, что ей не очень хочется идти к Гохбергам, с большим удовольствием она пообедала бы в столовой. Она вовсе не рвалась к Гохбергам, но Карабаш настоял, и Лера пошла в экспедиционный барак, чтобы переодеться: она все еще была в брюках. Карабаш ждал ее в своей комнате. На улице продолжалось гулянье. Репродуктор «Октава» оглушительно пел по-туркменски. Какой-то бахши надрывался, не жалея связок. Это громовое пение мешалось с музыкой аккордеонов, доносившейся со стороны клуба, и пронзительным, визгливым лопотаньем частушек.

Карабаш курил, лежа на койке, и думал о том, что в его жизни произошла перемена, которую, как ни странно, он ощущает больше разумом, чем сердцем. Наверное, потому, что он и раньше был счастлив с Лерой. Сегодня спала тяжесть, исчезла препона для чувства, но само чувство осталось прежним. А что дальше? Об этом он не задумывался. Сын Леры, судя по фотографии, кажется, неплохой мальчуган. Надо приучить его собирать марки. Можно вместе ходить на рыбалку. В общем, с ним будет все в порядке.

Карабаша больше занимало и немного тревожило то, что Давлетджанов не захотел остаться в поселке и вместе с Хоревым уехал в Керки. Оба попрощались как-то скомканно, впопыхах, и у них был такой вид, точно они чем-то обижены. Черт их знает чем! Может быть, их уязвило благополучное вскрытие перемычки? Есть люди, у которых портится настроение, когда у других все идет хорошо.

В дверь постучали, раздался голос: «Можно?» — и вошел Гохберг. Он был в новом костюме, в клетчатой рубашке с аккуратно отглаженным воротником и с шелковым, малинового цвета галстуком, заколотым шикарной, анодированной под золото булавкой. Карабаш видел эту булавку впервые. Гохберг сел на стул, поговорил о том о сем, о производственных делах, о Давлетджанове, потом сказал, что Соня приглашает через полчаса. Будут одиннадцать человек. Будут Кулиев, два инженера из Марыйского управления, хорошие ребята, и наши: Ниязов, Смирнов, Байнуров. Разговаривая, Гохберг все время трогал булавку и поправлял галстук.

— Алеша, не опаздывайте, а то остынет фирменное блюдо! — Гохберг поднял указательный палец.— Ну, ждем!

Он уже пошел к двери, но вдруг остановился и, густо покраснев, спросил:

— Вы придете один?

— Нет, почему же,— сказал Карабаш.— С Валерией Николаевной. А что?

Глядя в пол и становясь совершенно малиновым, как галстук, Гохберг сказал:

— Алеша, Софья Михайловна не хочет, чтобы вы приходили с Валерией Николаевной. Она меня просила предупредить вас. Что я и делаю.

— Почему Софья Михайловна не хочет?

— Алеша, у каждого свой взгляд на такие вещи. Софья Михайловна, может быть, чересчур прямолинейна, вам это покажется ханжеством, мне тоже. Но, в общем, это ее право. Я пытался как-то ей объяснить...

— Напрасно трудились. Тогда мой приход к вам, к сожалению, отпадает.

— Но почему же? — Гохберг схватил Карабаша за руку, его круглые глаза приняли отчаянно-умоляющее выражение.— Ее сейчас нет. Почему вы обязаны? Алеша, ну, будьте человеком! Одевайтесь, быстро!

— Нет, я не пойду.

— Но, Алеша! Сегодня двенадцать лет нашей семейной жизни...

— Поздравляю вас.

— Спасибо. Идемте же! Алеша!

— Нет! Тихо!

Карабаш увидел в окно Леру. Она вошла нарядная, надушенная, в белой блузке, в красивом светло-сером костюме, который надела, наверное, в первый раз за время жизни в песках. Плащ она держала на руке.

Привыкший видеть Леру в грязных, рабочих, полуспортивных нарядах, Карабаш, уставясь на Леру, растерянно молчал.

Радостно улыбаясь, она протянула Гохбергу руку и сказала: «С праздником! Мы, кажется, не виделись», на что Гохберг сконфуженно, как-то вдруг согнувшись, ответил: «И вас также. Вы чудно выглядите».

Затем его шатнуло к двери, он прокричал:

— Словом, ждем вас! Приходите непременно!

На пороге он споткнулся. Карабаш смотрел ему вслед. Помолчав, он сказал:

— Мы не пойдем к ним. Пойдем в столовую.

— Да? — Лера продолжала радостно улыбаться.— Почему не пойдем?

— Я не хочу там видеть одного человека. Ну, в общем, неважно.

— Ты с ним не поссорился? Он как-то странно отпрыгнул, когда я вошла...

— Немного. Он хороший парень, с ним ссориться трудно. Сейчас я оденусь.

Карабаш переодел рубашку, накинул пиджак.

— Дождя нет?

— Нет! Никакого. И, по-моему, стало теплее.— Лера все еще улыбалась, но уже менее радостно.— Мне все равно, пойдем в столовую. Я твоих мало знаю, мне с

ними немного неловко, поэтому я не хотела вначале, но потом уже настроилась. Тебе нравится этот костюм?

— Очень.

— Нет, правда нравится? — спросила Лера, и глаза ее засияли.

— Честное пионерское.— Он склонил голову набок и оценивающе осмотрел Леру.— Ты в нем здорово красивая.

— Знаешь, у Кинзерского есть киноаппарат, и он как раз сейчас снимает всю нашу экспедицию во время праздничного обеда. Я потому и задержалась, чтобы сняться со всеми. Они меня так уговаривали остаться! Даже неудобно было уходить.

— А может, пойти к твоим пообедать?

— К моим? — Лера посмотрела на Карабаша с некоторым удивлением.— Можно, конечно. Они обрадуются. Только я не знаю, правда...

— Да нет, не стоит,— сказал Карабаш.— Пошли в столовую.

На другой день вышло солнце и стало теплее. Барханы быстро утратили бурый от впитавшейся воды цвет, посветлели и высохли, хотя в ложбинках еще было влажно и парило.

Как гнетет в песках яростное, не знающее меры, каждодневное солнце, но нет его день — и скучно, пустыня становится настоящей пустыней, темной, бессмысленной, неизвестно зачем и для чего, и, не успев отдохнуть от солнца, люди радуются его появлению! И радостно дают себя жечь, терзать и калить.

Так думал Карабаш, сидя за рулем газика. Он ехал на Третий. Всего лишь день прожил он для себя, забыв о делах, оторвавшись от забот и волнений, изнурявших его ночи и дни, и вот уже снова тянуло его ко всей этой кутерьме. Он с удовольствием ехал на Третий, с удовольствием крутил руль и даже как будто ощущал то удовольствие, которое испытывали колеса от упругой после дождя дороги.

Султан Мамедов не появлялся вторые сутки. Кто-то сказал, что он в Сагамете, у своего дружка Гусейна Алиева, азербайджанца, пьет там с горя.

— Вашего Сережку придется уволить,— вдруг сказал, как будто прочитав мысли Карабаша, сидевший сзади Смирнов.

— Не обязательно.

— По-моему, просто необходимо. Гнать поганой метлой. В третий раз затевает драку, хулиганит, тип законченного бакинского бандита. Достаточно посмотреть на его физиономию!

— Не обязательно,— сказал Карабаш.

— Что не обязательно?

— Все это не обязательно. Вы говорите неточные вещи. Он, если хотите знать, отчаянный неудачник.

— Бросьте! Вы про Фаину, что ли? Грязная история, ничего больше...

Смирнов сердито захрюкал. У него был такой особый носовой звук, когда он сердился: он продувал нос, как будто забитый насморком. Карабашу вспомнилось давнее, мельком слышанное: Смирнов будто тоже искал благосклонности по этому адресу, но был отвергнут. Не надо судить людей чересчур сурово. А то скучно жить. Вчера, например, он бешено разозлился на Гохберга и его Софью Михайловну, так возгордившуюся своей высокой миссией насаждать нравственность в песках, но потом подумал-подумал и успокоился. Его любовь к Лере и Леры к нему не стала меньше оттого, что у Софьи Михайловны свои взгляды на «такие вещи».

— А как был шашлык из Гохбергов? — спросил он.

— Шашлык? Ах, шашлык из Гохбергов? Ха-ха! Очень даже неплохо. Жалели, что вас нет. А что с вами стряслось?

«Прекрасно, знаешь, что стряслось».

— Ничего не стряслось, были другие дела в это время.

— А! Ну да... А какие, собственно, дела в праздник?

— Дела личные.

— А! Ну да. Было очень даже ничего, вкусно, вина много. Вообще они нежадные, гостеприимные. Софочка, конечно, надо сказать, грязнуха: вся посуда была сальная...

Карабаш ухмыльнулся.

— Чему вы смеетесь?

— Да так...

— Нет, серьезно?

— Да ничего особенного.— Не сдержавшись, Карабаш рассмеялся громко.— Гость теперь пошел наблюдательный, верно?

Смирнов не ответил, и долгое время ехали молча. Газик взобрался на последний большой увал перед Третьим, и над дальним гребнем, в холодном, кубовой сине-

вы небе уже замаячили две стрелы экскаваторов — рокот моторов был не слышен за шумом автомобильного мотора,— когда Смирнов сказал пресным голосом:

— Если уж приглашаете гостей, то, по-моему, надо как-то постараться, чтоб...— Он умолк, хрюкнул два раза.— По-моему, так.

— Конечно,— сказал Карабаш.

Несмотря на второй день праздника, почти все механизаторы Третьего участка были в забое. Не хватало четверых, и в их числе Мартына Егерса, гулявших в Марах.

Карабаш и Смирнов совещались с Байнуровым о передвижке авангарда из трех бульдозеров и одного экскаватора вперед на восемь километров. Втроем поехали на газике смотреть удобное место.

Под вечер вернулись. Карабаш надеялся попасть в поселок пораньше — собирались с Лерой ужинать вместе,— но начались разговоры, разбирательство жалоб, споры с упрямым Байнуровым, дела цеплялись одно за другое, и все затянулось до темноты. Бяшим Мурадов просился в отпуск в аул. Жена Нагаева, бойкая молодуха Маринка,— подурнела заметно, лицо обтянутое, сухогубое, только в глазах прежний ярко-синий нахальный блеск,— жаловалась на мужа: никак его в Мары не пропрешь, расписаться чтоб в загсе. Все, говорит, успеется. Не горит, мол. Жалко, мол, рабочие дни терять. Пришлось вызывать Семеныча — а он только в восьмом часу зашабашил — и прочищать ему мозги насчет того, как к жене относиться. Которая тем более в том положении, когда нужна чуткость. Нагаев обещал это дело исправить. «Да хоть завтра! Делов вагон...»

Потом расследовали одну запутанную историю с прорабом Курунбаевым, заменившим в этой должности Байнурова, когда тот стал начальником Третьего. Этот Курунбаев, седоватый, коротконогий, маленький человечек, пришедший на стройку недавно, однажды «одолжил» супругам Котович десять тысяч кубов, то есть записал в наряде, что они десять тысяч передвинули, хотя этого не было. Котовичам зачем-то срочно нужны были деньги, и они его уговорили. Они обещали отдать в следующем месяце. Но не отдали. В то время они работали в районе резервной дамбы большого озера, а в следующем месяце их неожиданно перебросили на запад, и они не смогли выполнить обещание. Для того чтобы отдать долг, надо было вернуться назад. Дело это тяну-

лось два с половиной месяца. Маленький казах пожелтел от переживаний, никто не мог понять, что с ним происходит: он высыхал на глазах. Наконец он признался Байнурову.

Как надо было решать это дело? Котович, естественно, сказал, что прораб изо всего этого не выгадал ни копейки. Возможно, так оно и было. Возможно, Курунбаев сгорел на своей мягкотелости и слабом знании людей. Котович не собирался его обжуливать, он искренне желал отдать ему долг, но каждый месяц легкомыслие и привычка слушаться жену оказывались сильнее. И он откладывал расплату еще на месяц. «Вот как толкнем вдвоем шестьдесят кубов — вернусь назад и доделаю». Но «толкнуть» шестьдесят никак не удавалось. Так и тянулась волынка, пока Курунбаев не признался: от ежедневного страха перед ревизией.

Карабаш вполне имел право уволить Курунбаева, налицо была приписка. Увольнения требовали и Байнуров со Смирновым, но Карабаш не послушался. Он привык думать о людях в первую очередь хорошо, а потом уж, когда не оставалось другого выхода,— плохо. Ему было противно сознавать, что пожилой человек, отец троих детей, участник войны, мог взять деньги за поддельный наряд, и, так как не было никаких доказательств, он отбрасывал эту мысль, как отвратительную и негодную.

Было решено Курунбаеву и супругам Котович объявить приказом строгий выговор, прораба перевести на работу во Второй участок, а Котовичей в виде наказания лишить ноябрьской премии и обязать передвинуть десять тысяч кубов на резервной дамбе, где вообще-то работы временно не производились.

Рабочие остались довольны таким решением. Старый бульдозерист Марютин сказал Карабашу, что Курунбай мужик невредный, ду́ром попал, а «запутать всякого человека можно, хоть меня, хоть вас».

В Инче приползли поздно ночью.

Карабаш с трудом дорулил до поселка, борясь со сном всю дорогу. Смирнов благополучно храпел рядом. Он не умел водить. Иногда он наваливался всем телом на правый бок Карабаша, и Карабаш довольно сильно отталкивал его локтем, но Смирнов не просыпался.

Было холодно, разжигать печку не хотелось. Карабаш заснул, как следует не раздевшись. Чуть свет его разбудил Гохберг: вчера, пока Карабаш ездил на Третий,

в поселке случилось «чепе». Гусейн Алиев, приехав из Сагамета, сказал, что Султан Мамедов явился к нему позавчера и в тот же вечер ушел обратно на Инче, причем машины в сторону Инче не было, и он ушел пешком поздно ночью. Как Гусейн ни удерживал его, все было бесполезно. Султан был, конечно, сильно пьян и упал духом. Гусейн тоже был немножко пьян. Если бы он не был пьян, он бы никогда не отпустил бедного Султана одного, да тут еще жена, глупая женщина, тащила его в сагаметский клуб смотреть кино...

Гохберг вчера же днем радировал в Мары и в Сагамет и организовал поиски. Прилетел самолет из Керков, пошарил до темноты и, не найдя никого, вернулся, потом еще раз вылетел ночью в надежде увидеть костер — на стройке уже бывали случаи поисков заблудившихся в пустыне, и всегда их находили по кострам — и снова вернулся ни с чем.

Поселок взбудоражился. Гусейн кричал, что он не вернется домой, в Хачмас, если с его земляком случится нехорошее: он должен отомстить. И он знает кому! Люди из Хачмаса не могут терпеть позора. Гусейн кричал по-азербайджански, туркмены успокаивали его по-своему.

Ошеломленная Фаина весь день сидела в конторе, не зная, как ей себя вести: то ли отчаянно волноваться, то ли сохранять спокойствие. В общем-то, она была скорее сбита с толку, чем взволнована. Но когда ее подруга Нюра и другие женщины начали проявлять сочувствие, жалеть ее и успокаивать, Фаина вдруг раскисла и разревелась и стала, рыдая, говорить, что никто не любил ее так, как Сережка, и никто уж так не полюбит. Из Третьего примчался Иван Бринько и с ним трое парней, чтобы принять участие в поисках. Под глазом Ивана еще синел огромный кровоподтек, оставшийся после гюреша.

Ивану очень хотелось самому найти Султана Мамедова, спасти ему жизнь. Он не чувствовал к нему никакой вражды. И он действительно первым встретил Султана, когда чабаны везли его в поселок: они нашли его полуживого в тридцати километрах к северу от Инче, в пустынной солончаковой местности. То и дело теряя сознание, Султан качался на спине верблюда. Чабаны поддерживали Султана с обеих сторон, а Иван вел верблюда под уздцы.

Возле конторы шествие остановилось, и Иван, суе-

тясь и отводя протянутые руки, попытался один стащить Султана на землю, но тот оттолкнул его. Он слез сам, прохрипел сквозь зубы, ненавидяще уставясь в пыльную рыжую бороду Ивана:

— Еще будем драться с тобой. Ножами будем..

— А, будем, дорогой! Будем, абрек! — смеясь, кричал Иван.— Ай, возьмем ножики, будем резать — всегда пожалуйста!

18

Прошло немного времени, дней пять или шесть, и в марыйском ресторане «Мургаб» сыграли свадьбу Султана Мамедова и Фаины. На этой свадьбе гуляли все азербайджанцы, находившиеся в то время в городе Мары.

Был в Мары и Карабаш. Он приезжал на двухдневное совещание к Ермасову. Он тоже зашел на свадьбу и выпил бокал карачанаха за здоровье молодых. И вечером в своей жарко натопленной комнате рассказывал Лере про свадьбу, про то, как была одета невеста (белое шифоновое платье, всех потрясшее), и как держался жених, и какие тосты произносили гости. Лера сначала с интересом расспрашивала, потом вдруг погасла, погрустнела. Она сказала, что из всех праздников ей больше всего нравится свадьба, а у нее самой свадьбы не было: была не то что свадьба, а то ли вечеринка, то ли пикник какой-то на даче у Сашиного однокурсника в Тарасовке. Никто не знал, что это свадьба, все считали, что празднуется обыкновенное окончание экзаменов. Почему так получилось? Кажется, не было денег. Она все-таки хотела устроить свадьбу, а Саша протестовал и не хотел ни у кого занимать, и это была их первая ссора. Она первый раз тогда плакала. Собрались в складчину. Один только хозяин, Сашин приятель, знал, что они поженились, и устроил им уединенную комнату на втором этаже, в мансарде, где было холодно, и пахло сырыми досками, и всю ночь по голове барабанил дождь...

И вот снова — подпольная любовь, без свадьбы, без друзей, снова холодные ночи, бездомность. Все это неврастения. Лера сделалась очень нервной за последние дни. Оказывается, он не должен был два дня проводить в Марах. И тем более оставаться на свадьбу. Приехал Ермасов? Ну что ж, а здесь его ждет женщина, которая ради него порвала с мужем, оставила семью, пошла на

огромный риск, на жертвы. Это больше, чем Ермасов с его Америкой.

Он успокаивал ее, был нежен, но это действовало только в худшую сторону. Она расплакалась и, уже ничего не слыша, повторяла сквозь слезы:

— Я предчувствую, у нас не будет счастья... Нет, нет, Алеша, не будет, не будет!

Он растерялся. Молча укачивал ее, как ребенка. Он очень любил ее в эти минуты. И, однако,— поразительно устроен человек! — сквозь волны смятения и нежности, наперекор его воле, проникали в сознание совсем посторонние мысли. Его поразили рассказы Ермасова об Америке, о том, что на конференции в Лос-Анджелесе огромное впечатление произвел доклад Ермасова о бульдозерном методе.

Обнимая Леру, прижимаясь подбородком к ее мокрому лицу — она тихо всхлипывала, успокаиваясь понемногу,— Карабаш думал о том, что теперь никакие «кетменщики», никакие «антибульдозеристы» не посмеют пикнуть.

Неожиданно пришли гости: Ниязов, Гохберг и Смирнов. Всех волновал приезд Степана Ивановича. Они были так увлечены, с такой жадностью слушали Карабаша, что никто не заметил заплаканного лица Леры. А то, что они встретили Леру у Карабаша в поздний час, не удивило их, кажется, нисколько.

Лера вышла во двор, обмыла, дрожа от холода, лицо под рукомойником, привела в порядок волосы. Вернувшись, глазами спросила у Карабаша: уходить? Ей было стыдно своих слез, внезапной слабости и хотелось уйти, спрятаться, не видеть чужих людей, но она слишком любила Карабаша и хотела поступить так, как он скажет. Сдвинув брови, Карабаш потряс головой: нет, не уходи! Спокойным голосом, как будто она его жена и все знают об этом, попросил Леру соорудить что-нибудь вроде ужина и согреть чайку.

И ей стало легко. Она совсем успокоилась. И, не слушая, о чем говорят мужчины, взялась за приготовление ужина. Включила электроплитку, поставила на нее сковороду. Разбила яйца, нарезала луковицу, открыла консервным ножом банку тресковой печени, насыпала соль в солонку. Карабаш любил порядок, у него было все, что нужно, все на своих местах. Даже бумажные салфетки имелись, купленные в Марах еще летом,— десять пачек сразу.

Гохберг побежал к себе и принес одну закупоренную бутылку портвейна и другую неполную — то, что осталось от праздничного обеда. Мужчины пили, закусывали, спорили, дымили папиросами.

Лера сидела на койке, прислонившись спиной к стене, прикрыв ноги кошмой, и слушала. И даже не так слушала, как просто смотрела и думала. Ей нравилось смотреть на то, как Карабаш ест: быстро, с аппетитом, как-то особенно по-мужски, крепкими зубами рвет резиновый хлеб; как двигаются, напрягаясь, желваки на его скулах и, когда он говорит что-то ртом, набитым пищей, это не кажется неприятным, как у других, рот его остается аккуратным, собранным и упругим, как у юноши. Иногда Карабаш смотрел на Леру и чуть заметно улыбался. Она улыбалась ему в ответ. Мужчины предлагали ей выпить, поесть чего-нибудь, но ей не хотелось ни есть, ни пить; ей хотелось сидеть на койке, укрывшись теплой кошмой, смотреть и думать. Она вспоминала Сашу и его друзей. Они часто приходили в дом, и она тоже угощала их вином, жарила им яичницу, варила кофе, и они болтали, сплетничали, обсуждали кого-нибудь из знакомых, потом до часу, до двух ночи играли в преферанс, и это было мучительно скучно, и она клевала носом, сидя на кушетке с книгой в руках, и иногда даже при гостях засыпала. Потом они уходили, надо было очистить две пепельницы, полные окурков, проветрить комнату, помыть посуду. Если Саша проигрывал, он бывал раздражителен, плохо спал.

В картах Лера ничего не понимала, но знала, что Саша всегда уменьшает результат игры — и в случае проигрыша, и в случае выигрыша. Часто он говорил, что у него нет ни копейки, а Лера случайно находила деньги у него в столе, и тогда он говорил, что это «святые деньги» — карточный долг. Но в тот же вечер или вскоре после того он где-нибудь выпивал с приятелями, и Лера знала, что он пил на «святые деньги». Тоска была не в том, что он играл, проигрывал, утаивал деньги, когда Лера не всегда могла купить себе пару чулок, а Васенька нуждался то в одном, то в другом. Тоска заключалась в том, что эта игра была для Саши и его партнеров как бы целым миром, доставлявшим все горести, радости, удовольствия духа.

Невыносимо было слушать их разговор во время игры. Как однообразно, как пошло они шутили, как тоскливо издевались друг над другом! Не стесняясь Леры,

а особенно если она спала или делала вид, что спит, они рассказывали анекдоты, от которых хотелось не смеяться, а морщиться. Почти никогда они не говорили о литературе, о театре, о своей работе с таким же смаком, с каким обсуждали знакомых или говорили о пульке, о женщинах. При Лере они ограничивались намеками, но когда ее не было, распускали языки вовсю.

Гохберг легкими шагами бегал по комнате, говорил возбужденно:

— Но теперь их мнение должно измениться! А помните, как они кричали: «Вы идете на поводу у хапуг!»

— Теперь они в нокауте...

— А статью Хорева помните? Ай, статья, статья! — смеялся Ниязов.— Бульдозеры, говорит, приносят пользу одним бульдозеристам!

Белобрысый Смирнов, пошмыгав носом, сказал:

— Но мнение американских дельцов — это, знаете, не авторитет...

— Почему дельцов? И почему американских? Там были ирригаторы восемнадцати стран, инженеры, ученые. Какой ты, ей-богу, скучный, упрямый скептик! — кипятился Гохберг.— Неужели тебя не волнует, не наполняет гордостью то, что и в нашей области, ирригаторской, мы обогнали Америку? Я, конечно, не сравниваю с запуском спутника, пусть наше дело гораздо скромнее, но оно наше, наше, понимаешь? Вот мы все им занимались, ломали голову...

— Дорогой, не надо меня агитировать за Советскую власть. Я что хочу сказать? Меня убеждает существо дела, а не то, что кто-то где-то — за океаном — пришел в восторг.

Карабаш сузил глаза:

— Аркадий, он прав, вообще-то. Почему мы должны удивляться тому, что для американцев наш бульдозерный метод оказался открытием? Вся наша стройка — открытие. Мы делаем небывалое, поймите вы!..

Когда Карабаш сердился, его глаза делались узкими и желваки на скулах твердели, как литые. Он говорил негромко, зато Гохберг кричал и наскакивал на Смирнова, как петух. Этот Смирнов не нравился Лере. У него было лицо скопца: бесцветное, травянистое, неясного возраста. А говорили, что он самый молодой из инженеров, на год моложе Карабаша.

— И почему вы боитесь сравнить нашу стройку с запуском спутника? Да черт возьми, мы же строим вели-

чайший самотечный судоходный канал в мире! Императорский канал в Китае, который считался самым крупным,— всего пятьсот километров, а наш будет вдвое больше.

— Алеша, зачем вы читаете мне лекцию?

— Если быть точным,— сказал Ниязов,— то наш будет почти втрое больше. Тысяча триста в окончательном виде.

— Я не читаю лекций, я просто хочу напомнить. Мы забываем. Мы перестаем видеть целое потому, что нас окружают детали, нас душат подробности. А что на самом деле? Впервые в истории в таких гигантских масштабах меняется облик земли — создается целая страна. Вы знаете, какова площадь Туркмении? Почти пятьдесят миллионов гектаров, а орошается меньше одного процента всей территории.

Они говорили еще час, еще два часа, спорили, курили, расстилали на столе карту, у них кончились папиросы, Гохберг уходил куда-то и возвращался, потом Ниязов уходил тоже и возвращался с папиросами, и был уже третий час ночи, а они продолжали разговаривать. Лера слушала с изумлением. В ее экспедиции по ночам обычно спали в спальных мешках. Но ей спать не хотелось, она с интересом слушала споры о том, как снабжать водой Красноводск — прямым каналом из Небит-Дага или при помощи трубопровода, она участвовала в тут же, за столом, делавшихся расчетах будущего урожая хлопка, когда в зоне канала окажется полтора миллиона гектаров новых земель, она узнавала, что канал будет одним из самых дешевых путей сообщения между Европой и Азией и суда из Балтики смогут ходить в Афганистан. Наверно, она знала об этом и раньше, слышала где-нибудь, читала, но теперь ей казалось, что это открытие Карабаша...

Наконец все ушли. Никто не удивлялся тому, что она осталась сидеть на койке.

И вот они вдвоем — Лера и Карабаш.

— Алеша, а ты здорово любишь свою ирригацию?

— Да. Интересная штука. Я ведь не ирригатор по профессии, здесь познакомился.— Он сел на койку, положил руку на кошму, которой Лера прикрыла ноги.— А что?

Она покачала головой: ничего. Теперь глаза ее слипались, она чувствовала себя безмерно усталой.

— Что с тобой? Ты не сердишься? — спросил Карабаш.

Лера улыбнулась.

— Нет.

— А что с тобой?

— Алеша, а вдруг мы не будем счастливы...

— Да? Ну черт тогда с нами. Так нам и надо.— Он приложил свою ладонь к ее щеке.— Если мы такие дураки — верно? Туда нам и дорога!

Она засмеялась, прижала губы к его ладони.

...Зурабов прилетел из Керков самолетом. Он мог этим самолетом лететь дальше, в Мары, но сошел в поселке, и вместе с ним сошел фотограф. Карабаша в это время в поселке не было, он уехал к Чарлиеву. Лера была в поле.

Вечером, когда Карабаш и Лера возвращались — он случайно на своем газике встретил в песках крытый грузовик Кинзерского и пересадил Леру к себе,— они увидели возле столовой Кузнецова. Он разговаривал с подавальщицей Марусей. Карабаш сразу не узнал фотографа: тот отрастил небольшую бороду, отчего его худое, горбоносое лицо стало неожиданно интеллигентным. Фотограф сказал Карабашу, что хочет остаться на стройке. Ну да, работать. На бульдозере, на скрепере, на кипятильном титане, на черте в ступе. У него пять тысяч двести семьдесят пять профессий. Какие причины? Ему тут нравится.

Карабаш слушал фотографа рассеянно. Он думал: если приехал Кузнецов, значит, тут и Зурабов, и будет, наверное, предпринимать какие-то шаги. Для того и приехал.

— Саша здесь? — спросила Лера.

— В конторе. Разговаривает с каким-то вашим.

— Там Смирнов, наверное,— сказал Карабаш.

— Денис Ларионович, а чего вам у нас нравится? — играя бровями, кокетливо спросила Маруся. Лицо ее полыхало красным цветом, глаза блестели, и вообще она выглядела лет на пятнадцать моложе своих сорока пяти.— Харчи у нас незавидные, вина не дают...

— Да мне вашу водку ашхабадскую, отраву, даром не нужно.

— А работа тут знаете какая тяжелая? Ой, что вы! Это не аппаратом чикать. Ребята знаете как надрываются? Да вы не выдержите.

— Будете со мной рядом, Машенька,— выдержу...

— Ой, да ну вас...

Карабаш оставил их болтать и погнал газик по песчаной улице дальше. Он отвез Леру к ней домой, а сам подъехал на машине к конторе. Зурабов, Смирнов и прораб Второго участка — высокий, богатырского сложения туркмен Овезов — сидели в прокуренной комнате. Зурабов что-то рассказывал. Карабаш издали кивнул всем троим, ему не хотелось пожимать руку Зурабову, и он медленно подошел и стал слушать.

Зурабов сказал, что семьсот строк — о заполнении озер — он послал самолетом из Керков, теперь ему нужен некоторый дополнительный материал, для двух следующих очерков. Для этой цели он и заехал в Инче вторично. Почти все, что нужно, он уже выяснил у товарища Смирнова. Многое рассказал Геннадий Максимович Хорев. Он прожил у него три дня в Керках. Чудесный человек Геннадий Максимович! Какой интеллигентный, какой щепетильно порядочный во всех отношениях! И жена у него чудесная. Простая женщина, молоденькая, двадцать пять лет, никаких дипломов, никаких таких особенных профессий, хозяйка, домоседка, обожает мужа,— а что еще нужно? Старик счастлив. Говорит, что переживает вторую молодость. Его первая жена и дети живут в Ташкенте, он им, разумеется, помогает деньгами, человек он глубоко порядочный. Сын уже в институте...

Карабаш, Смирнов и прораб молча слушали этот подробный рассказ.

Потом Зурабов сказал, что ему необходимо еще несколько имен передовиков производства, коммунистов и комсомольцев. Для портретных зарисовок.

Карабаш попросил прораба сходить в ремmастерские за Ниязовым, секретарем парторганизации. Пришел Ниязов. Деловой разговор продолжался еще минут сорок, потом все побежали в столовую ужинать. Дул жесткий северный ветер, и на улице стоял легкий свист от летящего песка, как во время небольшого бурана. Бежали согнувшись, загораживая лица ладонями.

В столовой все как-то вдруг рассеялись: Зурабов увидел фотографа и подошел к нему, Ниязов подсел за стол к механикам, а Карабаша отвлекли разговором двое рабочих, он сел с ними, быстро выпил стакан чаю и ушел домой. Он думал, что Лера ждет его.

Но Леры не было.

Весь вечер Карабаш работал за чертежной доской. Прошло два часа, три, четыре,— к нему не заходил ни-

кто. Ни Аркадий, ни Лера, ни Зурабов — ни один человек. Это был странный вечер. В одиннадцатом часу вдруг пришел фотограф.

— Вы работаете? — спросил он, остановившись в дверях.

Карабаш сказал, что закончит работу через несколько минут, и пригласил фотографа зайти. Тот вошел, сел, молча курил, пока Карабаш, нагнувшись к столу, скрипел твердым чертежным карандашом по листу ватмана, приколотого кнопками к доске. Он не проявлял никакого интереса к тому, что делает Карабаш.

После долгого молчания и скрипения карандашом Карабаш спросил:

— У вас ко мне дело?

— Да вот насчет работы,— сказал фотограф.— Но вы заканчивайте, не хочу мешать.

— Вы серьезно? Я думал, вы баки забиваете нашей Марусе.

— Баки — само собой...

Потом они молчали до тех пор, пока Карабаш не кончил работы и не снял доски со стола. Фотограф сидел на табурете с сигаретой в зубах и, зажмурив правый глаз и склонив голову набок, чтобы избежать струйки дыма, забавлялся маленькой зажигалкой, в которой непрерывно что-то щелкало.

— Что это? — спросил Карабаш.

— Рулетка.

Карабаш взял зажигалку, повертел в руках. Они поговорили о рулетке, о картах и вообще об игре. Фотограф сказал, что игру уничтожить нельзя, люди будут играть всегда и везде. Потому что игра — это как бы разговор с судьбой. А каждому хочется попытать свою судьбу. Он имел в виду, конечно, такие игры, как рулетка или «очко», «скат», то, что немцы называют «глюкшпиль» — игра счастья. В Германии, сказал он, все играют в «скат».

Карабаш слушал его холодно. Фотограф неприятно смотрел на него в упор неподвижным взглядом когда-то голубых, вылинявших глаз.

— Какую работу на стройке вы имеете в виду?

— Да какую угодно. Дело не в том. Вот мы заговорили о судьбе, и я хочу вам сказать кое-что насчет этого. Судьба — серьезная штука. Она действует с разбором, одни ее почти не чувствуют, а другие просто дыхнуть без нее не могут. Стоит такая железная нянька и бьет

по голове костылем. И никуда не денешься. Я вас не задерживаю?

Карабаш смотрел на часы. Было ровно одиннадцать. Лера, видимо, уже не придет. Это волновало Карабаша. Он решил подождать до половины двенадцатого и потом пойти к ней.

— Немного погодя мы выйдем на воздух,— сказал он.— Минут через двадцать.

— Пожалуйста. Ну вот. Вы, например, отняли у Сашки жену, но он хоть знает, кто его обидчик, он может бороться, протестовать, биться с вами на кулачках или там жаловаться в местком...

— Может?

— Я бы на его месте не уступил. Я бы знаете как? Вызвал бы вас для разговора в пески и избил бы до полусмерти. Ногами в печень. Милиции тут нет, властей никаких.

— Власти тут есть, вы ошибаетесь.

— Ну, может быть. Я шучу. У меня ведь тоже жену отняли. Судьба отняла. С кого спрашивать, кому в печень давать?

Лицо фотографа потемнело, он умолк, отвернувшись к окну. Глаза его, по-прежнему неподвижные, блестели зло. Но как раз теперь Карабаш почувствовал, что его неприязнь к фотографу исчезает.

— Ну, так кем же вы хотите работать?

— Я сказал: кем угодно. Могу бульдозеристом, могу шофером на грузовике. Мне все равно. Мне сорок два года, а я начинаю жизнь на пустыре. Как Ашхабад после землетрясения. Вы знаете мою историю?

На улице, когда они вышли, все так же дул сильный ветер. Небо, размытое ветром, отчужденно сияло звездами. Скрипел песок. Они шли в темноте за лучом карманного фонарика Карабаша. Фотограф рассказывал свою жизнь. Это был путаный, небрежный и невнятный рассказ о том, как он жил в Москве, бросил, не доучившись, техникум, поехал зачем-то в Среднюю Азию, как встретил Зинаиду, а потом — война, Иран, Севастополь, ранение в голову, плен. А после плена? Да. В том-то и дело! Страх — вот что после плена. Борьба и страх. Он делал все, что мог: был чернорабочим, работал на стройке, мыл машины, хватался за все. «А когда работа кончалась или меня выгоняли, я изобретал что-нибудь, чтобы не околеть: спекулировал, обманывал дураков, играл в «тото», возил «раушмиттель» — наркотики — контра-

бандным путем из Танжера в Гамбург. Итальянские пираты, сволочи, налетали в море с пулеметами, отнимали «рауш», доллары, а то и лодку...»

Он умолк и потом спросил:

— Я вам сильно противен?

— Нет.— Они посмотрели друг на друга в темноте.— Почему вы спросили вдруг?

— Вы молчите, как кладбище.

— Я слушаю.

— Ну вот. Да, я мошенничал, вертелся среди подонков, сам стал подонком, но политики я не трогал. Они отскакивали от меня, как ошпаренные клопы. А пытались приобщить. Это меня и спасло, потому я и смог вернуться. Мама думала, что я погиб, и вдруг в пятьдесят третьем получила мое письмо из Берлина — случайно, через Восточный сектор,— и, начав читать, умерла от разрыва сердца. С письмом в руках. Мне соседи рассказали. Ну, комната в Москве пропала, вещи тоже; хотя какие там вещи у старухи — хлам, шурум-бурум...

Странный рассказ: он то вызывал сострадание и тепло, то обдавал холодом.

— Называйте как хотите: ошибки, трусость, судьба. Но это кончилось, ушло, понимаете? Все это — «рауш». Вся моя жизнь была «рауш»! Понимаете? Вам ясно? — Голос его прозвучал нервно, с вызовом.— Могу я забыть об этом? Могу к черту похерить, начать все снова?

— По-моему, можете,— сказал Карабаш.— Да.

— Да? По-вашему, да? Или вы не очень-то уверены?

— Почему я не уверен?

— Я не знаю. Но я вас понял.— Голос его звучал все более нервно и грубо.— Имейте в виду: я не слушаюсь ничьих советов. Я поступаю по-своему. Вам ясно? Только потому я и выжил...

— Тихо, тихо! Что вы горячитесь? — сказал Карабаш.

Они остановились напротив барака экспедиции. Карабаш вытащил сигарету и закурил. Он смотрел на темные окна барака. Все окна были темные.

— Что вы горячитесь? — повторил Карабаш.— Подождите меня тут.

Он подошел к двери, осторожно открыл ее. В коридоре был свет: горел электрический фонарь, стоявший на полу. Лера, в пальто, закутав платком голову, сидела на каком-то ящике в углу коридора. Рядом с ней, прислонившись спиной к стене, сидел на корточках Зурабов.

— Что тут происходит? — спросил Карабаш.

Зурабов встал и пошел к выходу. За спиной Карабаша хлопнула дверь.

— Что тут было? — спросил Карабаш.

— Говори тише, все спят...— шепотом сказала Лера. Она плакала и вытирала концом шерстяного платка щеки.— Мы говорили... Он рассказывал про Васеньку...

— Ну?

— Он говорил, что я преступная мать. Что я животное...

Карабаш сделал шаг к двери, но Лера схватила его за руку.

— Алеша! Да, да! Нет, подожди! Нет, я не забыла, я только не хотела, пока мы, пока у нас все... Я люблю сына больше тебя, больше всех. Ты должен это знать! Больше тебя! — бессвязно говорила она, сжимая его руку.— Алеша, ты будешь любить моего сына?

Карабаш сжал зубы. Вырвав руку из ее пальцев, он бросился к двери, выбежал, остановился, ища глазами. Увидел пустой черный холм под звездами. Зурабов уже скрылся, фотографа тоже не было.

19

В начале декабря, когда наступили холода, темные ночи, улицы на окраине города раскисли от грязи, выходить по вечерам не хотелось, а в комнате было сыро и тянуло со двора запахом кизячного дыма,— в это унылое время я много работал. Мне хотелось работать. Я написал три небольших рассказа по записным книжкам своих летних поездок. Один из этих рассказов понравился Борису, и он втайне от меня — потому что я не хотел этого — отнес его нашему редактору. И вот что из этого вышло. Рассказ назывался «Дети доктора Гриши». Я описал свою встречу на колодце Ясхан с одним старым ашхабадским доктором, который несколько лет назад переселился в пески и стал знаменитостью: его знали и любили все чабаны, верблюдчики, изыскатели, шоферы и буровщики, блуждающие на пространстве от Донаты до Казанджика. А сам доктор Гриша был горестно одинок. Вся его семья — два сына, дочь и жена — погибла в одну ночь во время ашхабадского землетрясения. Сюжет заключался в том, что доктора Гришу переводили куда-то назад, в город Кум-Даг или на Вышку, а чабаны воспротивились этому, даже устроили наивную

мистификацию — один из них притворился, что сломал ногу и не желал лечиться ни у какого другого доктора, кроме доктора Гриши, и кончилось тем, что доктор Гриша остался на Ясхане.

Диомидов, не успев прочитать, улетел в Москву, и рассказ попал к Лузгину.

На летучке Лузгин вдруг набросился на меня по совершенно неожиданному поводу: за то, что какую-то свою заметку, сто двадцать строк, я подписал не фамилией, а псевдонимом.

— Вы что — стесняетесь печататься в нашей газете? Третий раз ставите псевдоним! В чем дело? Откуда этот снобизм?

Спорить с ним было глупо. Он стал чрезвычайно раздражителен в последнее время: говорят, дни его сочтены, выводят на пенсию. А может, это и разговоры. Выдают желаемое за действительность.

Когда летучка кончилась, Лузгин попросил меня остаться и вытащил из ящика стола рассказ. Пространно и поучительно он стал толковать мне, почему рассказ не может быть напечатан,— общие фразы о чувстве современности, о героях, которым хочется подражать,— но я перебил его, сказав, что я и не собирался печатать этот рассказ и его передали ему без моего ведома. Он молча сунул мне рукопись, и я молча взял ее и вышел.

Я мало заботился о судьбе этого рассказа, но теперь мне захотелось его напечатать.

Редакцию потрясло неожиданное событие: женился Борис Литовко. Это было как снег на голову каракумским летом. Я не видел жены Бориса, а ребята, которые видели, высказывались неопределенно: одни говорили — ничего, другие — так себе, одни называли ее старухой, другие говорили, что моложавая, хотя, конечно, не первой молодости, годков за сорок. Работает художницей в «Гороформлении».

Я сразу вспомнил ту ночь перед праздником, когда мы с Тамарой увидели Бориса стоящим на улице и нас потрясло его одиночество. А он просто смотрел, как работает его жена. Они познакомились в прошлом году в Кисловодске, Борис пригласил ее в Ашхабад, и она приехала в октябре. Сначала жила в гостинице, сейчас — у него. Всех поразило не то, что Борис женился, а его скрытность. Он сказал, что на свадьбу нет денег и он будет приглашать друзей партиями «на рюмку чаю».

Меня он позвал вместе с Атаниязом и Сашкой, кото-

рый накануне вернулся из командировки. Сашка колебался. Он не особенно любил Бориса. Кроме того, он устал в поездке, вернулся больной, простуженный и в дурном настроении.

— Ладно, пойдем,— решил он.— Надерусь там, как шакал.

Борис сказал, что у него в гостях будет один местный писатель, редактор альманаха на русском языке, и мне не худо будет с ним познакомиться. Он даже посоветовал захватить рассказ про доктора Гришу и прочитать при случае. Я сказал, что это, по-моему, неудобно и рассказ не для свадьбы. «Какая свадьба? Забудь ты про свадьбу! — сказал он сердито.— Ты просто приходишь на рюмку чаю, я тебя знакомлю с моим другом...»

Как бы то ни было, я пошел в магазин подарков возле Русского базара и купил какую-то хрустальную штуку за восемьдесят рублей. Сашка взял две бутылки шампанского. В дверях, когда мы пришли к Борису, нас встретил Атанияз и зашептал предупреждающе:

— Только, ребята, без свадебных тостов и разных там «горько», поняли?

— Да пожалуйста,— сказал Сашка.— Как угодно.

Борис был в нарочито непраздничном виде: в ковбойке, в парусиновых штанах. На хрустальную штуку он уставился с недоумением: «Это что такое? Зачем это еще?» — и поставил ее на шкаф в прихожей. Его комнату было не узнать. Вместо кровати и раскладушки, на которой обычно спал Денис, стояла широкая тахта, покрытая черным узбекским паласом. Появились какие-то полочки, какая-то керамика, гравюры, изображавшие, на первый взгляд, непонятно что. И появились четыре очень больших фотографических портрета, висевшие в ряд,— погибшей жены и троих детей. Раньше этих портретов не было. Раньше маленькая фотография жены и общий детский портрет стояли на его столе.

Художница оказалась тщедушной, смуглолицей, с очень гладкими черными волосами, собранными сзади в пучок. Ее звали Ирина Васильевна. Она была в брюках, курила сигареты в обкуренном деревянном мундштуке и весь вечер тихонько кашляла. Все пришли из любопытства к этой женщине и сначала заговаривали с ней, стараясь выведать, что она такое, но она отвечала односложно или улыбалась бледно, одними губами, отмалчиваясь. И было как-то неловко. Борис нервничал. Но потом, когда выпили, неловкость пропала, и все стали разгова-

ривать громко между собой, забыв при Ирину Васильевну.

Кроме нас с Сашей пришли Атанияз, Тамара, наш завотделом писем Вдовенко, с которым Борис знаком с довоенного времени, и двое мне незнакомых: директор треста «Гороформления», пожилой туркмен, и тот самый редактор альманаха, о котором говорил Борис. Редактор держался внушительно, вступал в разговор, когда вздумается, перебивая других.

Рассказ про доктора Гришу я на всякий случай взял, но читать его было нелепо. Можно было просто передать рукопись, но это тоже казалось неуместным. Какая-то хмыровщина. В общем, я решил об этом не думать.

После того как осушили три бутылки сухого, Борис стал упрашивать Тамару почитать стихи. Она долго отнекивалась, потом стала читать. Из-за этих стихов и начался весь шум. Стихи, конечно, были слабые. Вроде того, что печатают в день Восьмого марта под рубрикой «Из лирической тетради». Но Платон Кирьянович — так звали редактора — обрушился на них совсем не за то, за что следовало. Он сказал, что в них мало современного, что такие стихи могли быть написаны пятьдесят лет назад. Я зачем-то начал с ним спорить. Делать это не нужно было. Я сказал, что его суждения попахивают рапповщиной тридцатых годов. Он вдруг вскипел. «Не трогайте тридцатые годы! Это наша молодость! Вот этими руками я строил Сазы-Кепринское водохранилище, а вечерами работал и посылал корреспонденции в «Зарю Востока». А Темка Лузгин, который сейчас замом в вашей газете, работал у нас бригадиром кетменщиков!»

Я сказал, что это здорово, но я не вижу связи.

— Как вы не видите связи? Сейчас, когда вам надо поехать в Кушку, вы спокойно садитесь в поезд и едете, а мы брали с собой винтовку! Теперь вы видите связь?

— Вы меня не поняли,— сказал я.— Я не имел в виду ничего дурного, говоря о тридцатых годах. В них было много чистого, романтичного. Но они ушли и никогда не вернутся. Слава богу, они не знали, что такое атомная бомба, тотальная война, лучевая болезнь, Освенцим, Майданек, они не догадывались о многом...

— Зачем же повторять то, что все знают без вас?

— Правильно! Конечно! — сказал старик Вдовенко, человек безобидный и недалекий.— Зачем, понимаете, жевать одно и то же? Давайте-ка поднимем бокалы за Борю! — И он запел:

Выпьем мы за Бо-орю,
Борю дорого-ого!

— Нет,— сказал Борис.— Постойте. Ты, Платон, мне друг, но истина, как сказано, дороже. По-твоему, просто з н а т ь — этого достаточно?

— Не этим, Боря, надо сейчас заниматься. Перед нами стоят громадные народнохозяйственные задачи. Возьми нашу республику: проблема орошения, вековечная жажда воды...

Тогда его начали перебивать:

— Никто не спорит!

— Есть жажда гораздо сильнее, чем жажда воды,— это жажда справедливости! Восстановления справедливости!

— Партия это и делает.

— Партия делает, а вы что же? А вы? — кричала Тамара, и глаза ее сделались маленькими и злыми.— Почему вы не хотите помогать партии?

— Вах, зачем так кричать? — сказал директор «Горофрмления».— Вы знаете, как туркмены утоляют жажду? Вот послушайте: сначала утоляют «малую жажду», две-три пиалки, а потом, после ужина,— «большую жажду», когда поспеет большой чайник. А человеку, который пришел из пустыни, никогда не дают много воды. Дают понемногу.

— Иначе ему будет плохо,— сказал Платон Кирьянович.

— Да не будет никому плохо! Чепуха это! Не верю! — говорила Тамара возбужденно.— Как может быть ч е р е с ч у р м н о г о правды? Или ч е р е с ч у р м н о г о справедливости? Скажите, а в принципе вы согласны с теми переменами, которые сейчас происходят?

Платон Кирьянович, внезапно покраснев всем лицом, произнес отрывисто:

— Я считаю ваш вопрос оскорбительным и прекращаю разговор.

Вскоре после этого он ушел, очень недовольный, едва попрощавшись. Борис был огорчен: «Зачем напали на старика? Он вовсе не догматик и мыслит точно так же, как мы с вами, но с некоторыми иллюзиями ему расставаться труднее, чем нам. Это связано с возрастом».

За столом между тем продолжался разговор о том, как наша жизнь будет развиваться дальше: один из тех бесчисленных разговоров, которые велись в тот вечер в домах Ашхабада, и в домах маленьких городков, приле-

пившихся к Копет-Дагу, и в тысячах других городов на востоке, где была уже глубокая ночь, но многие люди не спали и разговаривали, и на западе, и на севере, и в Москве, где лил холодный дождь, и шум Арбата доносился в комнату с лепным потолком, и у соседей играл телевизор, и люди сидели вокруг стола под дешевой немецкой люстрой, пили чай и разговаривали о том же самом.

Когда Ирина Васильевна зачем-то вышла из комнаты, Борис вдруг сказал тихо:

— Вы знаете, у Ирины все родные погибли в Освенциме. Она тоже была...

— Да что ты? — шепотом удивился Вдовенко.— Вот бы никогда не сказал!

— Ребята, сейчас Ирина Васильевна поставит чайник,— громко сказал Борис.— Будем утолять «большую жажду»!

Но все уже поднимались, было поздно, второй час ночи. Борис провожал нас по черному, как погреб, переулку. Мы с ним немного отстали от всех.

— Главное, Петя, ты здорово наладил отношения с Кирьянычем. Можешь смело нести рассказ.

— Я, кстати, не думал,— сказал я,— что среди твоих друзей есть такие мамонты.

— Да нет, он недурной мужик. Вы его не раскусили. Это был первый человек, который пригрел меня, когда я приехал сюда с Денькой двадцать лет назад. Он работал тогда знаешь кем? Следователем угрозыска. Ох, это было давно...

— А где Денис? — спросил я.

— Он, я думаю, у Полины. Он ведь только позавчера вернулся.— Борис помолчал. Полина была официанткой из «Дарвазы», знакомой Дениса.— Денис как-то не очень приветствует перемену в моей жизни.

— Мне Ирина Васильевна понравилась,— сказал я.

— Да, да.— Он тихо засмеялся.— В ней есть что-то такое, правда? И когда я с ней, меня ничто не гнетет...

Он стиснул мою руку и быстро пошел обратно. Сначала он шел быстрыми шагами, потом побежал. На проспекте от нас отстал директор «Горофомления», который всем велел записать его адрес и в следующую субботу обязательно прийти к нему на плов. Мы шли впятером посередине проспекта. Вдовенко вздыхал: «Да, Боренька наш спекся! Теперь уж у него не одолжишь денег». Ночь была холодная, Сашка протрезвел на воз-

духе и что-то нудно, ворчливо говорил Тамаре насчет ее стихов. Она обиделась. Он даже не пошел ее провожать. Возле кинотеатра «Ашхабад» она повернула налево, и вместе с нею пошел Вдовенко, который жил где-то рядом.

И мы остались втроем: Атанияз, Сашка и я. Наши ботинки дружно стучали по асфальту. Сашка шел притихший, пряча лицо в воротник плаща.

— Самое главное знаете что? Перестать барахтаться,— вдруг сказал он.

— В смысле? — спросил Атанияз.

— Ну, вот мы бьемся, барахтаемся, лезем вон из кожи, хотим протолкаться вперед, а зачем? Мне надоело...

— Можно совсем не жить,— сказал Атанияз.

— Нет, жить я хочу. Но я хочу наслаждаться жизнью. Хочу читать хорошие книги, умные статьи и не мучиться завистью, не спрашивать себя: а что ты сделал? Тебе уже тридцать пять, старому дураку, а что ты можешь? Чему научился? Писать отчеты о курултае хлеборобов? О да, лучше меня это никто не умеет... К чертям! Мне все надоело, я больше не барахтаюсь.

Минуты две мы молча стучали ботинками.

— Есть такой рассказ о композиторе Гуно,— сказал Саша.— Гуно говорил о себе: в двадцать лет я говорил: «Гуно!», в тридцать говорил: «Гуно и Моцарт!», в сорок — «Моцарт и Гуно!», и в пятьдесят лет я говорю: «Моцарт...» Вот и я говорю: Моцарт. Не надо быть Гуно, это не обязательно, надо просто сказать себе один раз тихо: «Моцарт» — и пусть все идет как идет.

Он ушел от нас на площади перед театром, сказав на прощанье, чтоб мы не барахтались.

Атанияз — очень молчаливый человек, и мы два квартала прошагали молча. Потом он вдруг заговорил. Он взял мою рукопись и сказал, что попробует протолкнуть рассказ на радио. Если не удастся на радио, он может перевести его на туркменский и отдать в туркменский журнал. Надо писать много рассказов, чтоб был выбор. Надо барахтаться изо всех сил. Работать, как прачка, у которой семь человек детей. Тогда будет интересно жить, будет хорошо на душе, и не надо валять дурака перед друзьями. Так сказал своим замогильным голосом Атанияз — восточный человек с неулыбающимися глазами, которого я полюбил в этом городе.

Он покинул меня на перекрестке возле гостиницы, где я жил прежде.

Мне нужны были деньги. Наступили холода, а я приехал без пальто, с одним плащом. Я мечтал купить пишущую машинку. В универмаге появились портативные немецкие «Эрики» — то, что нужно. Но они стоили дорого. Все, что я зарабатывал, я тратил на комнату и на обеды в «Дарвазе» или в диетстоловой, куда мы почти ежедневно ходили с Катей. А рассказ про доктора Гришу не прошел ни на радио, ни в туркменском журнале. Атанияз был удручен не меньше меня. Он сказал, что все дело в том, что местные деятели как огня боятся темы землетрясения. Не хотят вспоминать.

Мои приятели были уверены, что мы с Катей поженимся. Ни с кем из них я не говорил всерьез. Впрочем, каждый живет своей жизнью. Они только делают вид, что интересуются моими делами, сочувствуют, дают советы, а на самом деле им все равно, женюсь я или нет, на Кате или на ком-нибудь еще. У них хватает своих забот.

Сашка приехал с трассы злым неврастеником. Сначала он ничего не объяснял, потом признался: порвал с Лерой. Она там с кем-то сошлась.

Денис сказал, что хочет поступать на стройку шофером. Кто-то обещал ему место шофера на легковой. Я удивился: странный малый! С таким упорством добивался работы в редакции и, едва устроившись, рвется в пески — крутить баранку.

— Идея возникла там, на трассе,— сказал Денис.— Но сначала я думал об этом несерьезно, а когда вернулся, то понял, что это правильно. Ну что мне в городе? Родных у меня нет. Борька женился. Я, конечно, ушел от него, хотя он предлагал жить в его квартире, и Ирен тоже. Но я не мог. Честно говоря, я не очень верю в этот брак, основанный на взаимной жалости...

Люди кажутся странными, пока не влезешь в их шкуру.

Но то, что происходит у меня с Катей, никому не кажется странным. Несколько дней назад я встретил на улице футболиста Альберта. Мы оба стояли в очереди к газетному киоску на базаре. Это лучший газетный киоск в городе, продавец всегда оставляет мне то, что нужно.

Футболист стоял впереди. Я делал вид, что не замечаю его, но он взял газеты и сам подошел. Разговор вышел самый миролюбивый. Он поздоровался и попросил передать Кате, что ей достали то, что она просила. Я сказал, что передам.

— А то я давно ее не вижу,— сказал он.

— Я передам,— сказал я.

Я взял газеты, и мы вместе вышли через базарные ворота на улицу. Поговорили о футболе, он расценивал наши шансы в Швеции невысоко. Сказал, что у нас приличная защита, но никуда не годится нападение. Мы немного поспорили, у меня были свои соображения на этот счет. Я люблю поговорить о футболе. Это успокаивает. Алик сказал, что он проболел полсезона и лечится до сих пор. Ребята ездили в Афганистан на три игры, а он загорал, сдавал зачеты за прошлый год.

В конце разговора я спросил:

— Что Катя должна сделать: позвонить вам или как?

— Телефона у меня нет. Пусть зайдет.

Вечером я все передал Кате, надеясь, что она объяснит, что у нее за дела с футболистом, но Катя ничего не объяснила. А я не стал спрашивать. Но меня заело: почему она должна заходить к нему? Что за тайны? На другой день я все же спросил, в чем дело. Оказывается, ничего особенного: она просила приятелей футболиста достать в Афганистане нейлоновую кофточку.

Наше объяснение происходило в кино, перед сеансом. Мы сидели в буфете, пили сладкую айвовую воду и ели пирожные из серой муки, украшенные ярко-розовым кремом. От этого крема у меня заныли зубы.

Я сказал, что мне все это не нравится.

— Что не нравится? — спросила Катя.

— История с кофточкой. И то, что ты должна к нему заходить. Ты же говорила, что с ним все кончено?

Помолчав, она сказала:

— Да, все кончено. Но мне нужна нейлоновая кофточка — ты можешь ее достать?

— Ты у меня ни разу не просила.

— А что я у тебя вообще просила?

— Кажется, ничего.

— Не кажется, а так и есть: я у тебя никогда ничего не просила. А с его приятелями у меня деловые отношения. Никто не знает, как я выкручиваюсь, на какие хитрости иду, чтобы хоть как-то одеться, что-то приобрести. Так в чем дело? Что тебе не нравится?

Я налил в стакан остатки айвовой воды, хотя мне пить не хотелось, и выпил. Потом поставил стакан на стол и вытер губы бумажной салфеткой. Прозвенел звонок, и публика потянулась из буфета в фойе, а оттуда в зал. Мы продолжали сидеть. Вместе с нами за столом сидели два маленьких человечка, видимо муж и жена, оба в одинаковых зеленых плащах с капюшонами, отки-

нутыми на спину клетчатой подкладкой наружу. Эти двое тоже пили воду и с интересом прислушивались к нашему разговору. У них были коричневые, совершенно глиняные от многолетнего загара лица: наверно, приехали из песков, с какой-нибудь метеостанции. Они остались сидеть. Их интересовало, как люди ссорятся в больших городах.

— Мне не нравится вот что,— сказал я,— то, что этот парень... В общем, я не хочу, чтоб ты к нему заходила.

— Да?

— Да, да.

— А почему ты так говоришь? — Она встала и пошла к выходу. Я пошел за нею.— У тебя есть права так говорить? Разве ты мой муж?

Двое с глиняными лицами тоже встали — они оказались низенького роста, совсем коротышки — и пошли вслед за нами.

Вместе с толпой зрителей мы вошли в зал. Это был новый кинотеатр с просторным залом, удобными креслами. Несмотря на поздний час — был последний сеанс,— зал заполнялся быстро, некоторые садились на откидные стулья. Воздух был тяжелый по-вечернему. Я отыскал наши места возле прохода, мы сели, но потом несколько раз вставали, пропуская людей в середину ряда. Впереди сидели старик колхозник в бараньей шапке и две старые туркменские женщины, закутанные в платки. Все сидели на местах, когда в проходе появился опоздавший, с ошалелым лицом Витька Критский; за ним шла его жена Надя, сильно накрашенная и напудренная, в кожаном мужском пальто и с белой сумкой. Вырвались развлечься, детей кинули на бабушку.

Начался журнал «Новости дня». Я сказал тихо:

— По-моему, у меня есть какие-то права. По крайней мере, чтоб просить.

— Какие-то права? Чтоб просить? А я не хочу признавать «какие-то права»,— быстро прошептала она.— Это гадко, нечестно! Ты повсюду ходишь со мной, знакомишь со своими друзьями, я ночую в твоем доме, и все об этом знают...

Я взял ее кисть и сжал, чтобы она замолчала. Катина рука была сухая, теплая, а кончики пальцев, как всегда, холодные. Катя замолчала.

— Потом поговорим,— сказал я.

Катя отодвинулась.

— Зачем? Ты уже сказал про какие-то права...

Начался фильм «Утраченные грезы». Я видел эту картину еще в Москве, она мне очень понравилась. Были итальянские картины сильнее, например «Похитители велосипедов» или «Рим в одиннадцать часов», но эта была тоже прекрасна. Сначала я смотрел на экран, а думал о Кате, о том, что она, может быть, в чем-то права, но нельзя разрешать ей меня дурачить. Потом Сильвана Пампанини увлекла меня, и я на некоторое время забыл о Кате.

Я следил за печальной историей неаполитанской девушки Анны, и когда вдруг стало особенно жаль ее — она ехала на эскалаторе, а навстречу ехал тот тип с лошадиным лицом, директор рекламной конторы, который заставил Анну сойтись с ним, а потом уволил, он ехал с женой и с детьми, и она увидела его, и он тоже увидел ее, но не поздоровался и даже не кивнул, просто молча посмотрел на нее, как на незнакомого человека, потому что, видно, ужасно боялся своей жены, и так они молча разъехались в разные стороны,— тут я опять вспомнил о Кате. Директор с лошадиным лицом был не просто случайный совратитель, он был Неизбежный Мужчина, который встречается на пути каждой женщины. Неаполитанской девушке он принес беду, но мог и не принести беды. Все могло быть иначе. Гораздо благополучней. Он мог при встрече вежливо улыбнуться и даже приподнять шляпу. Дело в том, что он не принес любви. Он — Неизбежный Мужчина, Не Приносящий Любви.

У нас было все другое. Я не женат. Катя от меня не зависит, и я не принуждал ее ни к чему. И тем не менее я вдруг представил себе: когда-нибудь я тоже буду ехать с женой и с детьми на эскалаторе Московского метро и увижу Катю,— что будет? Я, конечно, поздороваюсь с ней, кивну или улыбнусь. Наши взгляды соединятся на миг, и мы разъедемся в разные стороны, чтобы не встретиться уже никогда в жизни. Я не сравнивал себя с тем, с директором. Я считал, что я лучше, гораздо лучше. Но между нами была какая-то общность. Мы были оба — Не Приносящие Любви.

Тем временем вернулся из плавания жених Анны, моряк. Дело шло к развязке. Моряк не простил Анне ее истории, любовь их разрушилась. Счастливые люди, им было что разрушать! Вот они прощаются в порту. Их разделяет высокая металлическая ограда. Анна бежит вдоль ограды, цепляясь за железные прутья,— как «Бесприданница», падающая на цепи...

Как одинока женщина, несчастная в любви! Ни мать, ни подруги, никто в целом свете не могут спасти ее от одиночества.

Я взял Катину руку. Она сжала пальцы в кулак, но не отняла руки. Так мы сидели несколько мгновений, пока не зажегся свет, и потом встали и, не глядя друг на друга, двинулись к выходу. Старухи туркменки заматывались в платки, попутно вытирая платками глаза. Толпа зрителей медленно продавливалась по проходу, все молчали, у многих были заплаканные глаза. Я шел впереди, держа за спиной в своей руке руку Кати. Я думал о Кате с грустью, думал о ее одиночестве, пустых надеждах, о ее жизни, наполненной мелкими, чепуховыми целями. В этом ее суть: страстное стремление к чепуховым целям. Какая-то мотыльковая целеустремленность. Так было с белым кружевным воротничком, теперь с нейлоновой кофтой. И она готова на все, чтобы добиться своей цели. Зачем только я начал разговор о кофте? Наверняка, что-нибудь жалкое, грошовое, купленное в Кабуле на рынке.

Мы вышли на улицу. Было тепло, звездно. Люди быстро рассеялись. Вскоре мы оказались одни на улице. Теплый ветер гнал по тротуару сухие листья.

Я спросил, хватит ли у Кати денег, чтобы взять эту самую кофту. Она сказала, что решила не брать ее. Если я не хочу, она не возьмет. Есть более необходимые вещи. Мы стали спорить, я убеждал ее взять, она упорствовала. Она вдруг заговорила о футболисте с таким презрением и ненавистью, что я удивился.

— Нет, нет! — говорила она, чуть не плача.— Я не возьму ни за что! Ни за что! И ты не уговаривай!

Был первый час ночи. Автобусы уже не ходили, такси, как назло, не попадались. Возле телеграфа я остановил какую-то машину: это оказался хлебный фургон. Мы влезли в кабину к шоферу. За пятерку он согласился довезти нас до текстильного комбината, а там было близко. В кабине было тесно, пахло свежими булками, и Катя сидела у меня на коленях в неудобной позе, пригнув голову.

Я встретил на улице отца Леры, Николая Евстафьевича, и он очень сухо со мной поздоровался. Потом на базаре я встретил одну из Лериных теток — она прошла мимо, сделав вид, что меня не знает. А раньше мы с ней

всегда приветливо раскланивались. Я понял, что тут знал больше других.

Об этом я рассказал Саше в ответ на его просьбу сходить к Николаю Евстафьевичу и что-то там прощупать, прозондировать.

Мы пили в моей комнате кофе. Очень сладкий, дымящийся, неимоверно сытный и питательный кофе: я делаю его сам при помощи кипятка и банки сгущенки. Окно было открыто, синело утро. В саду перебегали солнечные пятна, шуршал ветер, пахло просыхающей землей и весной — хотя какая весна в середине декабря? Но пахло весной.

— Вот поэтому,— сказал я,— мне неловко к ним идти.

— Ты тут ни при чем. Но и я тоже ни при чем. Это очень типично: когда человек обижает кого-то, делает зло, он потом избегает этого человека или же при встрече сам напускает на себя вид обиженного...

— А что я должен говорить?

— Сначала послушай, что тебе скажут. Я был у них после возвращения дважды. Первый раз прямо с аэродрома. Отец ничего не знал, обнимал, улыбался. Я его буквально ошеломил: так и так, мол, ваша Лерхен то-то и то-то, и потому я так-то и так-то. Он глаза вытаращил. А когда я пришел через три дня, он держался совершенно иначе, даже не пригласил к столу. Обычно он меня кормит, когда я прихожу. Видимо, получил письмо. Жалко мальчишку. Он привязан ко мне...

— В общем-то, что сказать-то?

— Скажи так...— Он обнял ладонью лоб. Его пальцы необыкновенно утончились, пожелтели, ногти были нечистые. Может, у него всегда были такие пальцы, но я только сейчас заметил? — Скажи, что я готов простить эту историю, черт с ними... Я могу.

— Скажу.

— Но только при условии, что она уйдет из экспедиции,— понял?

— Ладно.

— Только при таком условии. Никаких поблажек! Он помолчал, приосанился, пальцами мял лоб. Нависла пауза. Его хотелось ободрить, но что сказать? Я-то знал больше других.

Я спросил — как-то не пришло ничего умнее — про этого человека, из-за которого сыр-бор. Кто такой?

— Мальчишка, сукин сын! Двадцать семь лет. Я его

чуть не избил, подлеца — пожалел. Понять невозможно, что она в нем нашла, ну совершенно нельзя понять. Ничтожество, серый малый и больше ничего. Инженеришко...

Он говорил еще долго. «И я, конечно, не ангел, сам знаешь». Я знал. Я думал, что он-то, наверное, и виноват главным образом, но было его жалко, и я думал о Лере недобро.

Он спросил меня насчет своих очерков. Я сказал, что слышал, как кто-то хвалил их, это была правда. Кто-то хвалил, но я забыл кто. Он напечатал два очерка — о вскрытии перемычки и о Головном — и недавно еще производственную статью, очень толковую, о землеройных механизмах. Эта статья оказалась особенно удачной. В редакцию звонил Нияздурдыев из Управления водными ресурсами, благодарил и сказал, что там есть ценные мысли. Сашка вообще умеет работать. У него есть хватка, чутье, легкий слог. Но все, что он пишет, немного холодно, скучно и как-то со стороны.

Я улыбнулся горько, секундно. Мне вспомнились наши студенческие споры, наши мечты и то, что Сашка писал тогда в большой разлинованной тетради для конторских счетов, — был кризис бумаги, и Сашка любил писать на больших листах — острые, полные юмора, наблюдательности воспоминания о своей военной юности, эвакуации, жизни на Урале, в каком-то захудалом городишке. Все мы считали, что из Сашки вырастет блестящий очеркист, фельетонист, а может быть, и писатель. И вот теперь статья о землеройных машинах. И он доволен, считает эту статью большой удачей, и мы тоже так считаем.

Я подумал обо всем этом в течение двух мгновений. Он не заметил моей улыбки. Он что-то говорил насчет своей статьи и насчет этого парня, с которым спуталась Лера. За последнее время мы отдалились друг от друга, это началось после той летучки, когда он струсил. Виктор, Боря и даже Денис Кузнецов стали мне как-то ближе, чем он. Но ему было теперь здорово плохо.

Я сказал, что могу хоть сегодня пойти к Николаю Евстафьевичу. Сашка растрогался: «Спасибо, старик!» Мы вышли вместе. Он стал жаловаться на приятелей: пока немногие знали о его разрыве с Лерой (через неделю будет знать весь Ашхабад), но те, кто знал, не проявляли сочувствия, не выказывали даже удивления. Это его почему-то особенно заедало: никто не удивился, все

считали эту историю, поразившую его в сердце, вполне обыкновенной, в порядке вещей.

Я сказал, чтобы он ждал меня в шесть вечера в «Дарвазе».

По случаю воскресенья я застал всех в сборе: старика Николая Евстафьевича, обеих теток и мальчика, который в будни ходит в сад. Меня встретили настороженно, но без враждебности. Пригласили к столу, дали чаю с оладьями. Я сказал Николаю Евстафьевичу все так, как просил Саша. Старик слушал, тяжело дыша и отдуваясь, каждый его вздох сопровождался сложным, многоголосым сипением и клокотанием легких. Он заметно сдал за два месяца, что я его не видел.

Слушая меня, он кивал, кивал, потом сказал:

— Дорогой товарищ, я в их дела не вмешиваюсь. Лерочка как в Москву поехала двенадцать лет назад, так от нас отломилась. Еще мамка была живая, а она все равно никак, нипочем не советовалась...— Он передохнул, поскрипел легкими, потом, глубоко вобрав воздух, продолжал: — Мое мнение? Александр — муж не особенно плохой. И затем — ребенку нужен отец.

— Значит, если Саша простит Валерию...

— А я не знаю. Не понимаю я, кто чего простит...

Мне показалось, что он немного придуривается.

— Но вы же понимаете, что ребенку нужен отец. Значит, нужно сделать все, чтобы восстановить семью...

Он положил на мою руку свою легкую, старческую ладонь.

— Дорогой товарищ, это вы не мне внушайте, а им. Вот про Васеньку я все знаю, все могу объяснить, про себя тоже знаю, а про них — нет. Темна вода... Третьева дни звонила из Маров: не приедем ли мы с Васенькой к ней на Новый год? Тоскует, мол, хочет видеть и так далее. А как туда, в пески, малыша тащить? Я сам-то еле можахом, но я б еще кое-как и даже с удовольствием — мне в песках легче дышится. И у меня к тому же бесплатный проезд по железной дороге раз в году, так что есть расчет. Но как с малышом?

— Рискованно,— сказал я.

— Вот и я думаю. Потому что легкомыслие кругом. Я, конечно, сказал: посмотрим, будет видать...

Отворилась дверь, в комнату на миг зашла одна из теток, остро взглянула на нас и исчезла бесшумно.

— Еще вот что: очень по телефону Александра ругала. Какую-то статью подлую написал. Не знаете?

— Была недавно его статья о землеройной технике, но я не читал. Не знаю, что там подлого.

— Очень, говорит, подлая. Не статья, а донос. Я, говорит, Сашке этой статьи никогда не прощу.

— Надо будет прочитать.

— Я тоже отложил в стол газетку, да не соберусь никак, ведь, как свободное время, кисть в руки — и малюю...

— А я, наоборот, слышал, что статья дельная,— сказал я.

Николая Евстафьевича разговор о статье больше не интересовал, он встал и направился к стене, увешанной самодельными картинками в багетах, выкрашенных серебристой краской: такой краской красят ограды на железнодорожных вокзалах. Но прежде чем старик успел раскрыть рот, я встал и попрощался. В коридорчике ко мне подошла одна из теток — не та, что не узнала меня на базаре, а другая, менее сердитая.

Она сказала, что Николай Евстафьевич очень болен, астма его измучила, и они стараются не беспокоить его, оберегать от волнений, но дочка и зять совершенно не думают о старике. Им кажется, что их дела гораздо важнее его здоровья, которое ужасно. Сегодня ему немного лучше, потому что на улице тепло, а в холода он просто погибал. И, конечно, ни о какой поездке в пески не может быть и речи. Кто с ними поедет, со старым и малым? Вообще, Николая Евстафьевича надо оставить в покое...

Все это она проговорила шепотом, стоя на лестничной площадке и глядя на меня просительно. Мне сделалось неловко: я, что ли, не оставляю старика в покое?

Вечером я сказал Саше, что Николай Евстафьевич плох и надеяться на него нечего. О телефонном звонке Леры и разговоре насчет статьи я промолчал, но, придя после «Дарвазы» домой, отыскал номер со статьей и прочел. Ничего подлого я там не увидел. Обычная производственная статья с резкой критикой главного инженера Пионерного отряда Гохберга за варварское отношение к землеройной технике. Приводились факты. Местами была, наверное, репортерская натяжка, для красного словца,— что ж особенного? У нас это называется: «вставить перо». Газетчики — народ зубастый, иногда и перекусят там, где надо надкусить. Этому Гохбергу «вставлено», конечно, крепко.

И заголовок мне понравился: «Кладбище имени Гохберга» — лихо!

Статья А. Зурабова наделала много шуму, как в Пионерном, так и в Марах, и в Ашхабаде. Противники бульдозерного метода, «антиермасовцы» и «кетменщики» воспрянули духом. В обвинениях, выдвинутых газетой против руководства Пионерной конторы, они прочли подтверждение своим мыслям о том, что бульдозерный метод основан на преступной эксплуатации механизмов.

В статье было три главных обвинения: 1) в том, что руководители СМК «Пионерная» вместо того, чтобы ремонтировать тракторы, преждевременно вышедшие из строя, списали 31 трактор, среди которых были машины выпуска 1954—1957 годов; 2) в том, что руководители СМК, чтобы скрыть имеющуюся якобы недостачу тракторов, собрали 7 тракторов и этим покрыли недостачу; 3) в том, что перед приездом на трассу представителей управления водхоза те же руководители СМК собрали со всей трассы механизмы и «спрятали» их в стороне от трассы, на 185-м километре.

Последнее обвинение было особенно грозным. В то время как на трассе радовались удачному заполнению озер и тому, что бульдозерный метод себя превосходно оправдывает, газетчик сумел за всем этим торжеством увидеть незащищенное место и больно ударить. Формально критика была правильной. Да, на трассе скопилось большое количество непригодной техники. Одни механизмы нуждались в ремонте, другие (скреперы) оказались беспомощны в песках, третьи пали жертвой «раскулачивания». Да, было и «раскулачивание». А что делать, если стройка испытывала волчий, неизбывный голод в запчастях? Как удалось бы осуществить в сентябре Великое Наступление Бульдозеров, если бы пришлось отказаться от частичного «раскулачивания» скреперных тракторов и переоборудования их в бульдозеры?

Люди, отвечавшие за доставку техники на стройку, были против бульдозерной затеи. Они не желали давать ни одной лишней машины. В Пионерном было всего 8 бульдозеров и 58 скреперов, висевших на шее конторы мертвым грузом. За короткий срок удалось отремонтировать и переоборудовать из скреперных тракторов еще 34 бульдозера, и это решило успех строительства на самом трудном, барханном участке.

Памятником этому успеху было скопление травмированной техники на 185-м километре. Карабаш держал-

ся спокойно, но предвидел густые неприятности. Могло быть что угодно. Статья была пущена с дальним прицелом.

«Как же отчитываются,— спрашивал автор статьи,— за преждевременно угробленные механизмы Аркадий Моисеевич Гохберг и другие? Ведь эти механизмы указаны в балансе как основные средства... До каких пор будут царить безответственность и бесхозяйственность на великой стройке, какой является Каракумский канал?»

Ермасов говорил с Карабашем по рации в тот же день, как появилась статья. Он рычал: «Какого дьявола вы откровенничали с этими прохиндеями? Какой сукин сын возил его на сто восемьдесят пятый километр?» Слова «дьявол» и «сукин сын» были наиболее деликатными среди выражений, которыми Ермасов в тот день потрясал эфир Восточных Каракумов. Ермасова уже штрафовали однажды за излишнюю горячность по радио: специальная комиссия, сидевшая где-то в Узбекистане, строго следила за радиоразговорами и карала беспощадно.

«Сукин сын» вскоре обнаружился: Смирнов. На открытом партийном собрании, созванном через два дня после появления статьи, Смирнов сам признался, что возил корреспондента на рембазу. «Но я ему никаких фактов и цифр не сообщал. Он был полностью в курсе, я даже удивлялся». Ему не очень-то верили, но дело, собственно, было даже не в том, кто и что наболтал корреспонденту. Надо было защищаться. Теперь нагрянут комиссии, посыплются акты, заключения. Гохберг был подавлен случившимся. Его поразило то, что главный удар был нанесен по нему: как раз то, на что другие не обратили внимания. На партийном собрании он нервно оправдывался, попутно обвиняя автора статьи в демагогии и непартийном тоне.

— Вот он пишет...— Гохберг читал, держа газету. Его обычно громкий, резкий голос заметно сел и звучал неотчетливо.— «Перед приездом на трассу представителей Управления водными ресурсами и технадзора главный инженер СМК «Пионерная» Гохберг и другие руководители конторы единогласно «постановили»: объявить штурм и стащить ранее оставленные на произвол судьбы механизмы подальше от трассы...» Насколько мне не изменяет память, я ничего не «постановлял» и не «объявлял». Тогда оттащили один-единственный трактор С-80, который стоял при въезде в поселок...

— Правильно! — крикнул кто-то из рабочих. — Я его тащил...

— Дальше этот чудесный корреспондент пишет так: «Три дня и три ночи неустанно трудились штурмовики...» Откуда три дня и три ночи, откуда? Что за арабские сказки? Концентрация механизмов на сто восемьдесят пятом километре производилась в течение всего периода работы, это известно, простите меня, каждому верблюду из нашего туркмен-аула на Инче... «Заметая следы варварского...» Ах, боже!.. «Отношение к первоклассной технике, созданной заботливыми руками советских людей на заводах Челябинска, Костромы, Воронежа и других городов нашей Родины для строителей великой водной магистрали». Вы чувствуете? Нас обвиняют уже в каком-то злоумышлении против советских людей Челябинска, Костромы и Воронежа и чуть ли не против нашей великой Родины! Родины — с большой буквы!

На другой день приехал Ермасов, сразу отправился на 185-й километр и сам все осмотрел. Велел Гохбергу написать объяснительную записку и составить подробный перечень выбракованного оборудования. К вечеру перечень был готов. Среди двадцати трех тракторов, двух грейдеров и тридцати восьми скреперов было всего пятнадцать машин моложе 1952 года выпуска. Все они ждали капремонта.

Объяснительная записка была сочинена в тот же день, чтобы Ермасов мог захватить ее с собой в Мары. Комиссии начнут свою бурную деятельность, конечно, с Маров.

Ермасов не рычал, не гневался, не топал ногами, был неожиданно молчалив и сосредоточенно, глубоко расстроен. Усталый старик, глаза в темных мешках, он сидел за столом Карабаша и, чуть улыбаясь, читал «объяснение», написанное Гохбергом. Всегда казалось, что он чуть улыбается, но это была не улыбка, а гримаса напряженной мысли.

Прочитав, вздохнул.

— Знаете, что я вспомнил? Лет двадцать пять назад врачи сказали, что мне осталось жить один год. Злокачественная опухоль и всякая такая штука. Я был тогда летчиком-наблюдателем здесь, в Средней Азии. Ну, я демобилизовался, конечно, а что дальше? Как жить? Что делать? Решил я, не мудруя особенно, пойти учиться, тем более что парень я был не шибко грамотный. Хоть год,

думаю, а проучусь, займусь делом. Пошел в Институт ирригации. Вступительные экзамены сдавал с превеликими муками, но сдал, попал, стал учиться. И вот — жив, как видите.

В комнате были Карабаш и Гохберг, они угрюмо слушали.

— А что с опухолью? — спросил Карабаш.

— А леший ее знает. То ли врачи ошиблись, то ли как-то сама собой рассосалась. Я всегда вспоминаю этот момент из моей биографии, когда случаются разные неприятности. «Ну, думаю, и не то бывало! А все живой оставался». Это чтобы вы носы не вешали.

— Да мы не вешаем,— сказал Гохберг.— Но знаете, Степан Иванович, какой-то тон у этой статейки нехороший. Почему, например, он меня выделяет? Называет по имени-отчеству? По-моему, тут есть нехороший душок, как считаете?

— Бросьте вы, Аркадий. Нет тут ничего этого,— сказал Карабаш.— Вообще статья направлена не против вас, а против меня.

— Зачем же такое издевательское название: «Кладбище имени Гохберга»? Софья Михайловна очень правильно сегодня сказала: почему бы не просто — «Еврейское кладбище»?

— Аркаша, у вас больное воображение. Тут этого нет. Но тут есть другое, и вы знаете что. Эта статья направлена против меня, а вы — для ширмы. Отвечать все равно буду я, как начальник СМК.

— Голубчики, братцы мои,— сказал Ермасов,— вы ошибаетесь оба. Статья эта написана не против вас или вас, а против меня. Святая правда. Писал-то ее писака, а вдохновлял и придумывал совсем другой человек, и даже не один, а целая солидная компания. Из известного управления. Ну, посмотрим, что у них получится.

Ермасов встал, накинул кожаное пальто на плечи, взял со стола кожаный старенький картуз.

— У туркмен, между прочим, есть хорошая пословица: «Собаки лают, караван идет вперед». Вот и пойдем вперед. Подавай-ка, Михалыч, коляску, поехали на двести сороковой!

Двести сороковой — это был самый крайний, Западный пикет, до которого дошла Пионерная траншея. Вернулись оттуда глубокой ночью. В гостинице, где Ермасов остался ночевать, посидели немного, выпили по рюмке коньяку, чтобы согреться и развеять усталость. Все уста-

ли ужасно, и не столько от поездки, сколько от суеты, разговоров, волнений. Коньяк ничему не помог, только спать захотелось.

Карабаш подходил к своей будке, еле держась на ногах. Его шатало, как бульдозериста после смены. Приезды Ермасова всегда выматывали смертельно, он как-то умел вытягивать из людей последние силы. Карабаш настолько устал, что даже не удивился тому, что в его комнате горит свет в два часа ночи. Он обрадовался, увидев Леру.

— Ты здесь! Что ты делаешь?

Она сидела за столом и при свете керосиновой лампы, поставленной на стопку книг, и электрического фонаря что-то шила, делая энергичные движения правой рукой. Два раза Лера гладила Карабашу белые рубашки и оба раза палила утюгом ворот, а когда брала в руки иголку, то непременно колола пальцы. В общем, эти дела давались ей с трудом, но она упорно практиковалась на вещах Карабаша.

— Лер, милая, что это ты взялась среди ночи? — сказал Карабаш, стараясь говорить как можно более нежно.— Ну зачем? Ведь глупость: третий час ночи.— Он обнял ее, садясь на койку.

— Алешенька, мы уезжаем завтра в Мары. На три недели. А может, и на дольше. Я давно хотела переменить воротник на этой рубашке, тот был совершенно неприличный, ветхий, сыпался по сгибу. Четыре пары носков тебе заштопала...

— Ну зачем эти подвиги? Ведь я могу отдать тете Насте.

— Я тебе обещала и должна сделать. Почему подвиги? Мне это совсем не трудно. Ой! — Она уколола палец.— Не смотри на меня! Как только ты приходишь, я начинаю колоться. Сейчас я кончу...

— А зачем вы едете в Мары?

— Будем там камеральничать. Наш дорогой начальник сообщил нам только сегодня, а завтра днем уже придут машины. Я тебя жду с половины двенадцатого. Еще было электричество, я успела погладить тебе брюки и две рубашки.

— О боже! Громадное спасибо...

— Завтра ведь будет некогда. Вот! Получайте! — Она протянула Карабашу рубашку, воткнула иголку в лист ватмана на столе.— Алешка, я так расстроилась сегодня — просто ужасно. Все радуются, все счастливы,

что едут в город, а я одна не рада. Конечно, знаешь как все устали жить в песках? Я сама устала. Хочется и то и это, и в магазин, и в баню, но без тебя-то как же? — Последние слова она сказала шепотом и жалобно, искательно заглянула ему в глаза.

— Буду приезжать к тебе,— сказал Карабаш.— Могу каждую неделю. В сущности, это близко, наши машины ходят каждый день.

Он рассматривал рубашку. Воротник был пришит криво.

— Я буду приезжать.— Он поднял руку, чтобы обнять Леру, и она сразу вся потянулась к нему и пересела на койку. Он поцеловал ее. Лера спросила шепотом:

— А ты совсем не огорчен моим отъездом?

— Ни капельки.

— Я вижу. Готов приезжать раз в неделю, и тебя это устраивает. Ой, Алешка! — Она захныкала.— А я буду так скучать без тебя! Мне стыдно, но знаешь что? Я даже могу совсем бросить работу, чтобы остаться с тобой... честное слово... Хочешь? Ты меня не будешь презирать? Алеша! О чем ты думаешь?

Он думал о том, как стремительно все вдруг стало плохо: разлука с Лерой, эта сволочная статья, неизбежные комиссии, трепка нервов, старания доказать, что ты не верблюд. Ермасов молчалив и угрюм потому, что понимает, что дело плохо и может стать еще хуже.

Это была чистая случайность: мы встретились с Диомидовым в книжном магазине днем в воскресенье и потом долго шли вместе. Он шел домой, а я его провожал. Впервые за все время я разговаривал с редактором дольше пяти минут.

Диомидов взял в отделе подписных изданий новые тома Ключевского, Герцена, «Всемирной истории», еще что-то, нес в обеих руках по тяжелой пачке аккуратно упакованных книг, а я купил какой-то новый немецкий роман в бумажной обложке. Автобусы в сторону центра ехали переполненные, люди висели на подножках, поэтому мы шли пешком. Диомидову было довольно тяжело и неудобно, он часто останавливался, чтобы переменить руки, а я не предлагал ему помощи, чтобы он, не дай бог, не подумал, что я угодничаю. Это была глупость, но я не мог себя пересилить.

Впрочем, редактор не замечал жалких мук моего са-

молюбия и был весел и доброжелателен. Сначала говорили о книгах. Он вернулся недавно из Москвы, где купил много интересных книг в магазине стран народной демократии на улице Горького. По-немецки он читает свободно. Все деньги, какие были, убухал в Москве на книги. И еще — на бега. Вспомнил старое. Когда-то знал всех московских лошадников, жокеев, игроков, но теперь там не то, дубль отменен, играют только ординар, выдачи чепуховые...

Я удивлялся его разговорчивости. Ему что-то было нужно. Мы медленно шли по тротуару, то и дело встречая знакомых. По воскресеньям весь Ашхабад выходит на улицы, одни шныряют по магазинам и базарам, другие просто гуляют по проспекту и по торговому «пятачку» в районе универмага, разглядывая витрины, киоски, афиши, знакомых, их новые пальто, их шляпы, и тех, кто с ними прогуливается. У редактора знакомых было, конечно, больше, чем у меня, и все они здоровались с ним очень почтительно. Он же отвечал по-разному: одним едва заметно кивал, другим корректно кланялся, некоторым улыбался. Большинству он едва заметно кивал. И я чувствовал, что иду рядом с большим человеком и некоторая тень его внушительности отбрасывается даже на меня. Но однажды нам встретился какой-то полный, белолицый, очень важный туркмен в длинном, горохового цвета макинтоше, в зеленой велюровой шляпе, и Диомидов так заторопился пожать ему руку, что уронил пачку книг. Я поднял ее. Он даже не поблагодарил меня и не представил человеку в гороховом макинтоше, хотя тот познакомил его со своим спутником. Он просто мгновенно забыл о моем существовании. Они о чем-то заговорили. Говорил, собственно, один редактор, а тот только слушал и кивал. Я постоял немного и пошел дальше, решив, что прогулка с начальством благополучно завершилась. Однако через минуту сзади послышалось: «Подождите, Корышев!» Тогда я отчетливо понял, что у редактора есть какой-то разговор поважнее книг и бегов.

Он что-то говорил, оживленно жестикулируя, потом человек в макинтоше, улыбнувшись, протянул ему руку, приподнял шляпу, Диомидов низко склонился, пожимая ему руку, и они расстались. Он догнал меня молодецким шагом. Его лицо слегка покраснело, на щеках выступил пот. Разговор с макинтошем стоил ему напряжения. Я вдруг сказал:

— Игорь Николаевич, дайте мне одну пачку, а то вам тяжело.

— Да нет, ничего, спасибо! — сказал он с поспешностью.— Ну ладно, понесите немного... Спасибо.

Все вышло вполне достойно. Мы пошли медленнее, его лицо постепенно просыхало, бледнело, приобретало прежнее выражение непроницаемой солидности, и вскоре он окончательно стал самим собой и едва заметно отвешивал кивки знакомым. Он заговорил о моем рассказе «Дети доктора Гриши». К моему удивлению, он говорил тонкие и неожиданные вещи. Первый рассказ о ковровщице был, по его мнению, цельнее, свежее, а в этом была изощренность и некоторая литературщина, а значит, и неправда.

— О нет, там все правда! — возразил я.— Я описал живого человека, живую встречу.

— Одно из двух: или в вашем живом человеке была какая-то литературность, сиречь фальшь, или вы его испортили при обработке. Нельзя большое горе раскрашивать, как вазу. Есть магия непосредственной жизни, магия неправдоподобности, нелепости жизни, у вас она исчезла. Вы действительно играли с ним в шахматы?

— Нет, но я мог. У него в комнате я видел доску.

— Могли, видели — это не то. А что вы с ним делали?

— Да просто пили водку и разговаривали. Он рассказывал, как у него погибла семья.

— Ага! Вот это интересно. Спустя девять лет всем рассказывать одно и то же: как погибла семья. А вы прячете это в подтекст, вытаскиваете никому не нужные шахматы, тут-то и есть литературщина. И потом — где же водка? Ведь вы пили водку? Вы пишете, что у него «водянистые, в красноватых веках глаза», и читатель должен предполагать, что он день и ночь плачет. А он хлещет водку со страшной силой. Он спивается, бедняга. Он отказался уехать из песков в город не потому, что ему жалко расставаться с чабанами, а потому, что он уже не верит в свои силы, разучился работать, горе сломило его. В городе нельзя так жить, как в песках. В общем, он махнул на себя рукой. Похоже?

— Может быть, да. Но это уже другой рассказ.

— Да, другой. Который надо было написать. А вы вашего доктора облагородили и всех окружающих тоже. Горе не облагораживает людей, оно их калечит.

— Хорошо, допустим, я напишу рассказ так, как вы советуете. Вы напечатаете?

— Посмотрим, вы сделайте сначала. Но мой вам совет: вы должны использовать газету не для того, чтобы там печататься, хотя и печататься можно, а для того, чтобы ездить, смотреть, пожирать впечатления, вникать в жизнь. Это для вас важнее, чем напечатать двести строк, получить гонорар в три сотни и просидеть их с приятелями в «Дарвазе» за тарелкой гуляша. Писать вы будете, у вас пойдет. Но вы, по-моему, мало ездите. Месяца четыре последних никуда не ездили, правда? Не считая двух дней на трассе?

— Да.

— То-то вот. Плохо. А когда вы будете ездить много, вы начнете писать жадно, разнообразно. Вам даже трудно себе представить, о чем вы станете вдруг писать.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда...

Ахматова, волшебные стихи. Привез из Москвы ее новый сборник, только что изданный. А Гете, кстати, считал путешествия самым важным занятием в жизни...

Я смотрел на него с изумлением. Он ухмыльнулся своим булькающим, коротким смешком.

— Я вас чем-то удивляю? Не удивляйтесь, я господин грамотный, окончил, как и вы, Московский университет, правда, в ту пору, когда там преподавали несколько лучшие профессора...

Мы проходили мимо павильона, где продавали шампанское в розлив. Редактор предложил зайти. Сели за стол во дворике, огороженном легкой деревянной решеткой. Нам принесли по бокалу шампанского, такого холодного, что невозможно было понять его вкус. Пили маленькими глотками. Я не мог отделаться от ощущения, что все это неспроста и он еще не подошел к чему-то главному. Но — подходит. Приближается. Теперь, когда мы сидели за столом друг против друга и я видел его гладко зачесанные, черные, блестевшие от бриолина волосы, когда он наклонял голову, и его грифельные зрачки, когда он смотрел через стекло в упор, у меня возникало знакомое чувство некоторого оцепенения, которое бывало в редакторском кабинете.

Говорили о Москве, о каких-то выставках. Вдруг он спросил:

— Вы Кузнецова хорошо знаете?

— Какого Кузнецова?

В следующую секунду я догадался, что речь идет о Денисе, и подумал: «Вот это оно!»

— Нашего фотографа. Которому вы протежировали.

— А! Знаю, да. Здесь познакомился. А что?

— Что он за человек?

— Обыкновенный. Покалеченный войной...— Я помолчал. Мне было неловко потому, что это был вроде как бы допрос.— По-моему, он человек неплохой, хотя немного, что ли, легкомысленный и несчастный.

— У меня было такое же впечатление,— сказал Диомидов, крутя за ножку бокал с шампанским.— Но мне передали такую вещь: будто он всюду ходит и говорит, что якобы в наших газетах неинтересно работать, они все одинаковые и скучные, и так далее. Похоже на правду?

— Не знаю. Я не слышал. Кто вам сказал?

— Какая разница? Я вам сообщаю факт.

Диомидов чуть отхлебнул вина, причмокнул и поставил бокал на стол. «Это Сашка ему сказал»,— вдруг подумал я.

— Теперь вы видите, что значит протежировать малознакомым людям. Я помню, как вы и еще другие товарищи бегали ко мне в партбюро и, кажется, даже в отдел печати и требовали, чтобы этого Кузнецова приняли на работу. Два человека тогда возражали: Артем Иванович Лузгин, старый пограничник, и ваш друг Зурабов.

— Но ведь ничего, по-моему, не случилось?

— Случилось, случилось.— Он сделал ладонью успокоительный жест.— Уже случилось. Поступил сигнал,— значит, уже случилось.

«Вот сволочь, трепло,— подумал я про Сашку,— гробит мужика ни за что». Я не верил, что Денис ходит и рассказывает такую ерунду. Тут какое-то вранье.

— Кузнецов вообще-то сильно пьющий,— сказал я.— Мог в пьяном виде сболтнуть, не придавая значения...

— Возможно. Вполне допускаю. Я не намерен заниматься разбирательством этого дела, но я бы хотел вот чего: чтобы сей муж подыскал себе другую работу. Вы его надоумьте. И чем скорее, тем лучше. Зачем мне эта филантропия? Ей-богу, не нужна. И учтите: Артем Иванович пока еще ничего не знает об этих разговорах, но как только узнает, он сожрет вашего приятеля мгновенно.

«Он не такой уж мне приятель»,— чуть было не вырвалось у меня, но мне в тот же миг стало стыдно, и я вдруг сказал:

— Игорь Николаевич, а почему вы так боитесь Лузгина?

— Я боюсь? С чего вы взяли?

— Ведь Лузгин — человек прошлого. На чем он держался все эти годы? Не на знаниях своих, не на умении, таланте, а на страхе, который он непонятным образом внушил людям. Кроме этой способности не было ни черта. А сейчас их время кончилось, они голые короли! Вы согласны со мной?

Он посмотрел на меня странным, боковым взглядом.

— Вы все же намекните Кузнецову на то, о чем я просил. Видите ли, Лузгин человек злопамятный, и он не забыл того, что Кузнецова взяли вопреки его воле.

— Насчет Кузнецова не волнуйтесь: он сам хочет уходить из газеты.

— Да? Кто вам сказал? — обрадованно спросил Диомидов.— Куда?

— На стройку канала. Ему там очень понравилось. Он мне говорил об этом дней десять назад.

— О, это правильно! Очень правильно, очень разумно! Мы дадим ему рекомендацию... Хотя нет, рекомендацию мы дать не можем, он слишком недавно работает. Но это очень правильное решение.

Диомидов поднялся из-за стола с неожиданной и радостной легкостью. Подошел официант. Когда я вынул деньги, Диомидов сделал категорический жест, запрещавший мне даже думать об оплате, и заплатил за оба бокала. Мы вышли на улицу и снова медленно пошли по тротуару. Редактор взял меня под руку.

— Дорогой Корышев, а теперь — по делу...

«Черта с два,— подумал я.— По делу уже было...»

Он начал говорить про свой отъезд в Москву и про то, что в его отсутствие наломали дров в газете и надо что-то выправлять, но я плохо понимал, что именно, потому что думал о Сашке. У меня осталось отвратительное ощущение после того, что я услышал про Дениса и Сашку. И я думал о них обоих. Потом начал понемногу вникать в слова Диомидова. Он говорил, что в его отсутствие Лузгин напечатал материалы Зурабова, направленные против руководителей Пионерной конторы, а в конечном счете — против руководителей всей строй-

ки. Это было неосмотрительно. Ермасов написал письмо в ЦК республики с жалобой на газету, и сейчас над Лузгиным нависли большие неприятности. И над газетой, естественно.

— Над Лузгиным все время будут нависать неприятности,— сказал я.— Потому что он не умеет работать по-новому. Он привык ориентироваться не на суть дела, а на то, чтобы понравиться начальству. А сейчас он перестал понимать, что нравится начальству, а что нет.

Диомидов не возражал на мои выпады против Лузгина, но и не поддерживал их. Он как бы пропускал их мимо ушей.

Между Ермасовым и Управлением водными ресурсами, сказал он, происходит непрерывная свара, которая идет, может быть, на пользу делу потому, что обе стороны нещадно критикуют друг друга, а критика всегда полезна. Но газета должна быть гибкой и объективной. Нельзя только критиковать руководителей стройки, надо отмечать и то замечательное, что там делается, а делается там немало. Надо написать положительный очерк о стройке, упомянуть о Ермасове, о его поездке в Америку, связав это с таким событием, как досрочное заполнение Больших Озер: газета писала об этой победе строителей очень скупо.

— Возьмите командировку дней на десять, поезжайте в Мары, на Инче и дайте такой материал, чтобы строители сказали вам спасибо. Приходите завтра утром — нет, завтра утром я уезжаю в ЦК,— послезавтра утром, и мы поговорим подробнее. Вообще заходите запросто. Что вы дичитесь? Я в газете каждый день, в любое время — милости просим. Поездка будет полезной и для вас. Помните,— он наставил на меня указательный палец,— «из какого сора растут стихи, не ведая стыда...».

Он протянул мне руку с выражением неопределенной серьезности, а может быть, неопределенной улыбки. Мы подошли к дому.

На другой день я передал — разумеется, с купюрами — мой разговор с редактором Борису Литовко. Меня интересовало его мнение. Борька работает в газете тринадцать лет и знает Диомидова лучше, чем кто-либо. Он посоветовал не обольщаться редакторским благорасположением. Диомидов, сказал он, человек контрастов. Сегодня он тебя ласкает и поит вином, а завтра не узнает, как чаплинский миллионер.

Перед войной он здорово шел в гору в Москве. Будучи совсем молодым, уже котировался на пост редактора какого-то крупного журнала, но потом случилась осечка. Кажется, его напугал тридцать седьмой год. Сам он не пострадал, но у него атрофировались мускулы честолюбия, он сник, стушевался, постарался исчезнуть с видного места и покинуть Москву. Испуг и интеллигентность — как орел и решка одной монеты — сидят в нем до сих пор, хотя он провел войну в армейской газете, заслужил боевые ордена. До сих пор «исполняющий обязанности». Ни за что не соглашается стать главным, хотя ему предлагали и даже приказывали.

— Ну, это понятно,— сказал Борис.— Он уже немолод, и ему хочется спокойной жизни. Лузгина он не любит и презирает не меньше нас с тобой, но хоть бы раз поднял против него голос! А ведь он мог бы отделаться от него, мог бы взять себе дельного, умного помощника, сейчас время такое, что это можно и нужно делать, но боится, боится! Не верит, что пора лузгиных прошла окончательно...

Когда во вторник утром, как мы условились, я пришел к Диомидову поговорить относительно командировки, тот едва кивнул мне и, не приглашая сесть, сказал с холодным удивлением:

— А зачем вы пришли? Мы ведь обо всем договорились. Идите в секретариат, берите командировку на десять дней и поезжайте.

— Вы, по-моему, просили зайти, хотели что-то сказать еще...

— Что — сказать? — он вонзил в меня зрачки.— О чем? Надо ехать и делать. Да! Не забудьте: о Ермасове пишите потеплее, а руководителей Пионерной особенно поднимать не стоит, там сейчас работают комиссии, дело неясное.

Он стал что-то писать.

— До свиданья,— сказал я, идя к двери.

Он не ответил. Вот так закончился мой роман с редактором. Хотя закончился ли? Я думаю, что, если снова встречу его на улице, в книжном магазине или в бане, мы снова будем говорить о литературе и о стихах, которые растут черт знает из какого сора...

Командировке я был рад. Мы давно собирались вместе с Атаниязом поехать на трассу и заодно навестить родной аул Атанияза, расположенный где-то в районе канала. Атанияз просил меня заранее сообщить, на ка-

кой срок я возьму командировку в газете, чтобы на это же время взять командировку на радио. Я решил ехать третьего января, чтобы встретить Новый год в городе.

21

Снова впереди всех — два экскаватора и четыре трактора с бульдозерными ножами. Позади остался поселок Третьего, колодцы, кухня, тетя Паша, варившая борщи из консервов и каши, крутые и обжигающие, как горячий бетон. Позади осталось бесконечное лето. Позади — километры пыли, рев моторов, боль в руках, ночная работа и дневное томление в жару. Позади — готовые дамбы, маленькие клочки пустыни, к которым прикипали душой, счастливые дни, когда взрывалась перемычка и медленно катилась вода в хлопьях кофейной пены.

А что впереди?

Если подняться ночью на бархан и прислушаться, можно расслышать — при западном ветре — далеко-далеко едва различимое стрекотание. Где-то дышат моторы. И, может, это моторы Марыйского участка. Те, что ползут навстречу по-сухому. Марина услышала однажды стрекотание, вбежала в будку, завопила радостно:

— Папа, Сень! Скорей сюда, слыхать уже!

— Чего слыхать? — спросил Нагаев.

— Марыйских слыхать! Вот ей-богу!

— А! Я-то думал...

— А между прочим, свободная вещь,— сказал Марютин, поднимаясь с койки.— Пойти проверить.

Он начал поспешно обуваться, накинул телогрейку и вышел вслед за Маринкой на волю. Нагаев ужинал после смены. Подождав немного, он тоже вышел. Маринка с отцом стояли в темноте на бархане. В забое было тихо. С видом ленивым и скептическим Нагаев подошел к бархану и, ковыряя спичкой в зубах, остановился у подножия бархана и стал прислушиваться.

— Сень, ты сюда иди! Внизу не слыхать! — крикнула Марина сверху.

— Ладно. Услышим...

Помолчали минуту. Марютин сказал:

— Да нет ничего.— Еще помолчал и добавил: — Ни хрена не слышно.

— Почему? Слышно,— сказал Нагаев.— У тебя в ухе

волос, тебе и не слышно. Знаешь песню, Демидыч: старик старый, одни мощи... Ха-ха!

Последнее время Нагаев почему-то насмешничал над Марютиным.

Маринка обиделась за отца:

— Надо же — песня! Дурачок-то...

— Да нет, слыхать-то слыхать,— сказал Нагаев,— только то не марыйцы, а просто машина идет в Мары. Или от них к нам.

На новом месте жили тесно, утепленных для зимы будок было только три, поэтому Марина с Нагаевым поместились с Марютиным. В большой будке, составленной из двух, жили шестеро, и в той же будке собирались иногда все в кучу двенадцать человек: попить чайку вместе, почитать газету, послушать радиоприемник «Турист», который Мартын Егерс повсюду таскал с собой.

В тот вечер, за два дня до Нового года, провожали в аул Бяшима Мурадова. Нагаев и Марина вошли в теплое помещение, наполненное табачной гарью и сладким, щипавшим глаза саксаульным дымом от печки, сели на юртовый войлок, расстеленный на полу. Потом зашел Марютин, тоже присел. Бяшим что-то рассказывал тихим голосом.

— Он говорит: «Ты комсомолец, да? Разве комсомольцу можно быть жадным, да?» Я говорю, что не жадный, говорю: дело — принцип. «Какой, говорит, дело — принцип, если ты по четыре тысячи в месяц заработаешь,— мне, говорит, Бегенч сказал, на вашей стройке работает. Яз-Мухамед тоже сказал, на скрепер работает. Здесь, говорит, не дело — принцип, а ты, сволочь, богатый и жадный, как бай».

— Вот гад! — сказал Иван.

— Это кто, Бяшим? Про кого рассказываешь? — спросила Марина.

— Про брата моей жены. Два брата есть, такой сволочь оба. Давно в армии служить надо, а они дома сидят, комиссара обманывают — разные справки-мравки несут, больной там, трахом.

— Ну, ну! А ты чего? — спросил Иван.

— Ничего не сказал и пошел. Сказал только: сам ты сволочь. Тогда один меня догнал, Берды Аман, и по голове ударил. Я упал сразу. Тогда второй начинал меня ногой бить. Ну, я вскочил, начинал драться, но их три человека — два брата и еще один парень, Назар, такой

же сволочь, терьякеш, его отец в тюрьме сидит за то, что терьяк торговал, ну и он то же делает...

— Побили, значит? — спросил Иван.

— Нет, не побили. Потому что я домой убежал, схватил ружье и в воздух стрелял. Они убежали, как зайцы. Тогда я подошел к их дому, позвал их мать и сказал: «Огульджан — моя жена и живет в моем доме. А кто будет ее трогать или пугать, я стреляю с ружья. Всех твоих сыновей, сказал, застрелю с ружья и твоего мужа застрелю, а тебе только ноги перебью, чтобы ты была живая и мучилась за то, что родила таких пауков». Так я сказал. Их отца дома не было, сыновья убежали, но мать все слышала. И я пришел и сказал Огульджан, чтобы она жила спокойно.

— Хей, неправильно сказал,— пробормотал Чары Аманов.— Сколько отдать надо? Пять тысяч? Шесть? Хей, чепуха, какие деньги! Зато спокойно живи, и твоя Огульджан будет спокойна...— Он добавил несколько слов по-туркменски.

Беки Эсенов вдруг вскочил и закричал по-туркменски с такой дикой горячностью, что все засмеялись от неожиданности. Он кричал и тряс Бяшима за плечи. Бяшим отвечал неуверенно, но Чары Аманов вступил в спор, и вскоре все трое заговорили запальчиво, перебивая друг друга.

Никто не понимал их, кроме Марины.

— Ребятки, ребятки,— сказал Егерс, лежавший на боку с пиалкой чаю в руке.— Надо соблюдать закон вежливости и говорить по-русски, чтобы все могли понимать.

— Он говорит,— сказала Марина,— что эти люди торгуют в магазине сельпо и деньги им не нужны. Они богатые. Они хотели отдать Огульджан за этого Назара.

— Это как не нужны? — спросил Нагаев.— Брехня...

— Деньги, говорят, к деньгам,— сказал Марютин.

Туркмены продолжали ожесточенно спорить.

— Вот, значит, как: они хотели выдать Бяшимову жену за Назара и получить калым снова. Второй раз то есть,— пояснила Марина.— Вот твари паразитские! Бяшимка, миленький, а ты бы свою Огульджан сюда взял, на трассу. Пусть с нами живет.

— Я сам так думал. Но ей школу надо кончать, десятый класс. Она в учительский институт поступать хочет, в Марах. Нет, я правильно сказал: дело — принцип, но мне тоже деньги надо, потому что хотим свой дом

делать. Участок мне дают, матерьял дают, потому что я, когда канал кончу, в колхоз приду трактористом. Дом делать — денег много нужно. Зачем я буду отдавать? Дурак, что ли?

Он усмехнулся, подбадривая себя, но было заметно, что его решимость еще не созрела, и выражение его чистого смуглого лица было нетвердо: в черных глазах на миг мелькали испуг и неуверенность, а в следующий миг лицо напрягалось жестко, надменно, губы сжимались.

— Верно, верно,— сказал Иван.— Нема дурных — такие деньги кидать.

— Ка-анечно!

— Пускай тут поишачат за нас, погнут горбину...

Чары Аманов, цокая, мотал головой.

— Хей, глупый ты, молодой... Я этого Назара-терьякеша знаю и Джафаровых тоже знаю. Они нехорошие люди. Не надо с ними ссориться.

— Бяшимка, а что в письмах пишут? — спросила Марина.

— Отец на прошлой неделе писал. Все хорошо, писал, только приходил Берды Аман и сказал, что ждут моего возвращения к Новому году. Если, сказал, деньги не привезу — плохо сделает.

— Я поеду с тобой,— сказал Егерс.

— Хей, возьми меня тоже,— сказал Беки.

— Сагбол, дост. Сагбол, Мартын Карлович. Приезжай, дорогой гость будешь, я своему отцу про вас много писал, только помощь мне не нужна. У меня ружье есть, старший брат есть, шофером работает в Байрам-Али.

— Поеду с тобой,— повторил Егерс.— Объясню Байнурову, возьму отпуск на неделю.

— Спасибо, Мартын Карлович. Зачем поедешь — не знаю...

— Пускай, пускай, правильно! — сказал Иван.— Мужик здоровый, он там всю торговлю раскидает, если что. Я бы сам поехал, да на Новый год договорились тут...

— Когда Байнуров приедет? — спросил Нагаев.

— Завтра с утра,— сказал Егерс.— Завтра я ему скажу, поедем вместе. Ты теперь мой сынок, я тебя должен защищать.

Егерс захохотал и шлепнул Бяшима по спине. Нагаев сказал:

— У Байнурова насчет расценок спросить. Говорят, снижение с января, не то с февраля.

— Не говорят, а точно,— сказал Марютин.

— Кто сказал?

— Из конторы один.

— Ну и как же?

— Да как: резанут. Особенно, говорит, по бульдозеристам крепко.

— Эй, ребята! — сказал Егерс.— Не огорчайтесь! Мартын Егерс научил вас делать пятьдесят тысяч кубов на бульдозере. Никто не верил, а он сделал и вас научил. А вы, чертовы дети, даже спасибо не сказали. Но ничего! Мартын Егерс придумает что-нибудь новое...

На воле стояла лютая, холодная ночь. Ни единой звезды. Ветер с северо-востока летел с песком и пахнул снегом. Может быть даже, он нес вместе с песком снег, но в темноте не было видно. Снег еще не выпадал ни разу. Но его ждали.

Марютин, как молоденький, побежал вперед, чтобы растопить печку. Молодожены не спеша шли следом. Марина держала Нагаева под руку.

— А жалко, что Бяшим уезжает. На Новом году его не будет...— вздохнула Марина.— Как он свою жену-то любит!

— Ну и что такого?

— Просто говорю...

— Всем отсюда надо сматываться,— проворчал Нагаев.— Расценки срежут — нечего тут делать.

Пришли в будку. Нагаев сидел на койке, курил, пока Марютин возился у печки. Саксаул попался как камень. Нагаев давал советы:

— Не так кладешь, Хрен Иваныч... Под низ клади... Другим концом...

Наконец толстое, корявое дерево схватилось, огонь зашипел. Марина поставила на печку котелок с кашей для отца: Марютин любил поесть на ночь.

— Если правду говоришь, Демидыч,— сказал Нагаев,— и расценки сильно подрежут, я тут оставаться не стану. Нет расчету.

— Это точно,— закивал Марютин.— Нету, нету...

— А ты как?

— Да как я? Как все, так и я.

— А я сорвусь. Мне, Демидыч, не деньги нужны, а устаю я на одном месте. Как все равно гриб ко пню прирастаешь. Теперь ночами не работаем, а привычка

осталась — никак ночью не заснешь. И вот лежишь, думаешь-думаешь...

— Ага, всю ночь ворочается, окаянный,— сказала Марина.— Все бока мне протолкал.

— Думаешь насчет этого дела: как, мол, и что. Уехать надо отсюдова. Переменить пластинку.

— Сень! — голос Марины дрогнул.— Да ведь марыйцев уже слыхать! Честное слово, ведь близко же — а?

22

В день нашего приезда было особенно холодно, а вечером выпал снег. Он пролежал полдня. Туркменские мальчишки, ликуя, бегали по снегу босиком. Потом вышло солнце, пролился дождь, и все затопило грязью. День и ночь слышалось гудение тракторов: они не успевали вытаскивать погибающие автомашины.

Два сухих и холодных дня, наступившие затем, подморозили грязь, и распаханные колесами дороги изображали фантастический пейзаж: коричневые, окаменевшие лохмотья, чудовищные комья, воронки, рвы. Но опять проглянуло солнце, и все опять размягчело и потекло, ревели грузовики, утопая в грязи до крыльев, люди карабкались с камня на камень, цепляясь за деревья, жались к дувалам, и только верблюды, гордо вышагивая посередине улицы, месили грязь, не замечая ее, и тощие их ноги, заляпанные жижей, были как будто в чулках.

Аташияз сочинил такие строчки:

Зима! Текинец, торжествуя,
По грязи обновляет путь...

Смех смехом, а зима в разгаре: сегодня двенадцатое января. Уже три дня, как мы с Атаниязом приехали сюда из Ашхабада. Дела мои не двигаются. Ермасов, как на грех, в Ашхабаде,— на сессии Верховного Совета республики, он депутат,— и приедет только послезавтра утром.

Чтобы не терять времени, решаем съездить на денек в родной аул Атанияза. Тридцать пять километров на восток.

И мы вот трясемся в грузовике на каких-то ящиках, рулонах шерсти, пачках трикотажного белья, упакованных в толстую бумагу. Грузовик принадлежал магазину

сельпо. Завмаг оказался знакомым Аатанияза. Он сидит в кабине, а мы по-королевски расположились в кузове на пачках белья, глядим в небо и дышим холодным, пронзительно чистым и сырым воздухом зимней пустыни.

Атанияз — на редкость молчаливый парень. Иногда мы с ним молчим часами. Но это не мешает ни ему, ни мне, и даже наоборот, мы молчим продуктивно: он думает о чем-то своем, а я о своем.

Я вспоминаю о том, как мы встречали Новый год у одного Жоркиного приятеля, оператора с киностудии, у кого была большая квартира. Бесконечно длилась сумбурная ночь, в которой было больше нервности, чем веселья. Ни мне, ни Кате не хотелось идти. У Кати было похоронное настроение: с Нового года студия закрывалась, кое-кого перевели в труппу, а остальных отчислили. Катю отчислили. Я сказал, что будем что-нибудь придумывать. Но что я мог придумать? В общем, настроение было непраздничное. Вдобавок ко всему мне не очень-то хотелось видеть Сашку, да и Дениса тоже.

Но настало тридцать первое, и мы все-таки решили пойти. Тем более что уже отдали Жорке полтораста рублей.

Пришли позже всех, как аристократы. Катя три часа возилась с платьем, которое ей одолжила Раиса: они помирились, и Катя снова живет у нее. Платье было великолепное, из черной тафты. И Катя была в нем очень красивая.

Собралась большая компания, человек тридцать, не только редакционные, но и ребята с киностудии, какие-то знакомые Жоркиных знакомых, поэт Котляр и вновь появившийся Хмыров с целой свитой: вторым режиссером, директором картины и композитором. Хмыров недавно вернулся из Москвы. Он сказал мне, что совершенно заново переработал сценарий, теперь там действуют арабы из Египта, они приезжают в Туркмению для обмена опытом, и один араб влюбляется в туркменскую девушку. Сказал, что прошло на «ура». Хмыров был молчалив, держался важно, как генерал на свадьбе, а Жорка с Виктором валяли дурака, пели цыганщину, разные забавные пародийные песенки, и Жорка исполнял еще так называемые «блатные» — то, что любят захмелевшие интеллигенты. Потом пели нашу, журналистскую: «Годы пролетают очень быстро», которую кто-то привез из Москвы:

Годы пролетают очень быстро,
Деньги на деревьях не растут,
И всю жизнь мечтают журналисты
Заиметь свой собственный уют...

Бессвязно и глупо, но почему-то щемило сердце. Особенно трогательным был куплет:

В тридцать лет очки себе закажешь,
В тридцать пять катары наживешь,
В сорок лет «Адью, ребята!» скажешь,
В сорок пять — убьют или помрешь...

Тут у нас прямо слезы на глаза наворачивались: так было жалко самих себя. Эту песню с необыкновенным чувством пели все редакционные, даже те, у кого не было ни слуха, ни голоса.

Вдруг мирное и даже слегка сентиментальное течение вечера пошло наперекос. Виновницей была Надя, жена Виктора, которая ни с того ни с сего стала говорить Саше, как он замечательно поступил, расставшись с Лерой. О Лере старались не упоминать. Эта тема была табу. Сашка был молчалив, сидел рядом с Тамарой Гжельской и усиленно за ней ухаживал. Танцевал только с ней. Тамара была счастлива. Она не надевала очков,— наверное, чтобы казаться более женственной,— ее близорукие глаза блуждали, она никого не замечала и улыбалась кроткой, блаженной улыбкой. И вот Надежда, которая всегда отличалась заметным отсутствием ума и такта, начала своим громким хриплым голосом общественницы при домоуправлении восхвалять Сашку и поносить Леру. Она говорила про Леру, что та мелочна, эгоистична, лишена материнских чувств, что рано или поздно это должно было случиться потому, что «это» отвечало склонностям ее натуры.

Несколько раз мы пытались перевести разговор на другие рельсы, но Надя упорно возвращалась к той же теме. Она стала восхвалять себя, свою дальновидность:

— А кто первый ее раскусил? Кто предсказал, что это случится? Мой дурачок всегда со мной спорил: она культурный человек, у нее высшее образование, пятоедесятое! Ну и что? Кому нужно высшее образование, если человек — тьфу!

Виктор что-то неуверенно возражал, они заспорили, потом в разговор вступил Денис и сказал, что нельзя судить о людях по их поступкам.

Это замечание всколыхнуло весь стол, поэт Котляр начал читать какое-то стихотворение, но его перебива-

ли, все желали говорить. Тамара Гжельская с неожиданной пылкостью атаковала Дениса:

— Ваша теория ведет к оправданию всяческих мерзостей!

Хмыров, не знавший сути дела, тоже почел долгом высказаться:

— Друзья мои, один римский философ сказал: ненавидеть человеческие пороки — это значит не любить людей...

Сашка прервал его:

— Послушайте, нельзя ли перенести дискуссию?

Вдруг поднялся Денис, лицо его стало багровым и шкиперским как никогда.

— Я не позволю говорить о Валерии гнусности! Ясно? — Он ударил кулаком по столу.— Она замечательная, отличная женщина! И, кроме того, моя родственница, сестра моей первой жены, которая тоже отличная женщина. Ясно? И кто посмеет сказать о Валерии гнусность, будет иметь дело со мной!

— Ради бога! — засмеялась Надя.— Никто не спорит, что она замечательная.

— Не волнуйтесь,— сказала хозяйка.— Я тоже не допущу в своем доме...

Надя подмигивала:

— Нет, она в самом деле замечательная.

— Молчать! — гаркнул Денис и снова ударил кулаком по столу. Все замолчали. Я увидел Сашкины глаза: он сидел сгорбившись, сжав рот, и в глазах его был страх, самый обыкновенный, низменный страх.— Я не желаю выслушивать никаких гнусностей о Валерии! Чем вы гордитесь? Почему вы считаете себя лучше ее? Вот вы, например? — он кивнул на Катю, сидевшую рядом со мной.— Или вы? — ткнул пальцем в Тамару Гжельскую.— А вы? Или вот...

Хозяин дома внезапно включил радиолу на полную мощность, и конец Денисовой речи потонул в музыке. Хозяйка шепнула мне:

— Уведите его, он пьян!

Денис был, конечно, пьян, но не сильно. Он не сопротивлялся, когда мы с Атаниязом вывели его на улицу и потом привели на квартиру Атанияза и уложили спать. Клара, жена Атанияза, уже вторую неделю была в Москве, на какой-то медицинской конференции.

Я бы тоже с удовольствием лег спать. Мне не хотелось возвращаться в душную квартиру, но там была Катя

и надо было вернуться. Атанияз пошел со мной. Была теплая ночь. Мы гуляли в одних пиджаках и не мерзли. Атанияз говорил о Льве Толстом, о Пьере Безухове, о его разрыве с Элен.

Пьер винил себя за то, что женился на Элен без любви. В этом, казалось ему, состояло его преступление. У Сашки случилось наоборот: только сейчас, после разрыва, он понял, что любил Леру, что женился на ней по любви, но понял слишком поздно, когда любовь перегорела в его душе, превратилась во что-то совсем другое. Понять себя — что может быть невозможнее! Тем, которые любят, кажется, что они ненавидят, а ненавидящие не догадываются о том, что они больны любовью. А те, что полны самодовольства и сытости, не знают того, что они утешаются пустотой и что их сытость — это сытость верблюдов, вполне довольных верблюжьей колючкой.

Атанияз говорил о Пьере Безухове, а я думал о себе и о Кате. Все тот же поток, который нас несет. Невозможно остановиться. Понять себя — это и значит остановиться, плыть самому против течения. Понять себя — это всегда против течения.

Вокруг была ночь, пустынные новогодние улицы, и мы были погружены в себя и плохо понимали друг друга. Помню, меня охватил страх, ощущение беды: мне показалось, что я, как и Пьер, совершил преступление. Я должен расстаться с Катей! Чем дольше это будет длиться, тем мучительней будет разрыв. Мучительней для нее. Я не имел права мучить ее. Надо набраться сил и ринуться прстив течения.

Вернувшись в дом, я стал искать Катю. Ее не было ни в большой комнате, ни в кабинете, где танцевали, ни в саду. Кто-то сказал, что она в спальне. Я пошел в спальню и увидел Катю, хозяйку дома, Хмырова и хмыровского композитора, которые сидели на широкой супружеской кровати, застеленной шелковым покрывалом, и играли в дурачка. Я сел на пуф и смотрел, как играют. Катя кокетничала с Хмыровым, а со мной была холодна. Я спросил: «В чем дело?» Она ответила: «Поговорим после».

После — это было через два часа, на рассвете, когда мы пришли домой. Оказывается, мои друзья ей хамят, а я их не одергиваю. Когда это было? Да вот сегодня, например, фотограф сравнивал ее с Лерой и, показывая на нее пальцем, спрашивал: «А вы чем лучше?» Это было при всех, и никто его не одернул. Я тоже его не

одернул. Я сказал, что, по-моему, он тыкал пальцем во всех подряд и, кроме того, Лера вполне достойная женщина и сравнение с ней никого не может унизить, а в-третьих, я не могу отвечать за то, что наговорит пьяный фотограф.

— Нет, виноват только ты, потому что ты не внушил своим друзьям уважения ко мне!

— Да в чем оно проявилось, неуважение?

— В том, что меня сравнили с этой Лерой. В таком смысле, что... В общем, все поняли.

— В каком смысле?

— Ты знаешь.

— Да нет же!

— В том смысле...— Глаза ее наполнились слезами, она выпалила: — Что я развратная женщина, такая же, как она!

Я улыбнулся, едва заметно, невольно, но она заметила и стала плакать:

— Ты смеешься надо мной! Твои друзья тоже смеются. Конечно, я ведь тебе не жена, не невеста, неизвестно кто, нет — известно кто...

Чем я мог ее успокоить? Конечно, не тем, что я стал бы сейчас говорить о том, что нам надо расстаться. И я снова поплыл по течению, лег на диван и накрылся с головой одеялом. Но она не ложилась и продолжала разговаривать. Она ходила босиком по комнате и, плача, говорила, что разочарована во мне, поняла, что я такой же эгоцентрик, как другие, и что я не принесу ей счастья. Но она умоляет меня об одном-единственном одолжении: я должен поговорить с Хмыровым. Они ищут артистку на какую-то небольшую роль. Поговорить, больше ничего.

Я сказал, что поговорю. И после этого мгновенно заснул.

Мы спали до трех часов дня. Потом я сходил в магазин, принес пива, какой-то еды, сигарет, купил в киоске газету. За завтраком читал вслух новогодний фельетон Витьки Критского — порядочный, строк на четыреста. Смысл был такой: кого надо пускать в новый год, кого не надо. Обыгрывались фамилии. В этом заключался юмор. Прораба Приприскина, шофера Полторастова, продавщицу Недовескину пускать, конечно, не надо было. Я представил себе, какую тяжелейшую ночь провел «литкомбайн», придумывая три десятка фамилий! Он ведь к тому же выдал огромное новогоднее

радиообозрение: накануне мы его слушали, сидя за столом.

Катя сказала, что ей приснился зайчонок — такой серенький, хорошенький, которого она ловила, ловила и наконец поймала и сунула под кофту, чтобы он не убежал. Рассказывая, она смотрела на меня как-то странно. Честно говоря, рассказ про зайчонка мне не особенно понравился. Нет, не потому, что я чего-то испугался, а потому, что вдруг подумал, что она, возможно, хитрит. Я спросил, здорова ли она.

— А ты хочешь, чтоб я была здорова?

— Конечно.

— Не знаю... по-моему... может быть, я и не совсем...— Она снова посмотрела таинственно.

Вечером мы пошли в театр, но ни после театра, ни на следующий день Катя больше не заговаривала о своем новогоднем сне. А был ли сон? Может, никакого сна вовсе не было? Скорей всего, никакого сна не было, потому что Катю занимало другое: чтобы я поговорил с Хмыровым. Она твердила об этом с возрастающей настойчивостью, каждый день, а мне не хотелось обращаться к Хмырову с просьбами, вообще не хотелось иметь с ним дело. Кроме того, я знал, что это бесполезно: какая Катя актриса? Почему это ее будут снимать в кино, пусть даже по такому липовому сценарию, как хмыровский? Все это в мягкой форме я попытался ей внушить, что кончилось громадной ссорой. Она сказала, что я ужасный тип, что хуже меня она не встречала никого в своей жизни («Тебе трудно поговорить с человеком, который тебе чем-то немного не по душе, а для меня это жизненно важное дело! Какой ты жуткий эгоист!») и что она сама пойдет к Хмырову и всего добьется. Она привыкла всего добиваться сама. Я-то знал, что это вранье, ничего в жизни она не добилась сама: она всегда прилипала к кому-нибудь, вызывала жалость, притворялась несчастной и в конце концов действительно добивалась своего, но с чужой помощью. В общем, мы расстались неожиданно и, казалось бы, из-за пустяка: из-за того, что я отказался поговорить с Хмыровым. Но я не мог этого сделать!

Все это произошло восьмого января, а девятого я уехал со смутным чувством горечи и облегчения.

...Грузовик замедляет ход и останавливается. Я сажусь на пачки белья и гляжу по сторонам. Нет, это не колхоз. Мы стоим возле домика, сложенного из кизяч-

ных кирпичей, на нем вывеска: «Чайхана». Какая-то железнодорожная станция. Барханы до горизонта. С безоблачного неба светит солнце, и теперь, когда грузовик стоит, явственно чувствуется, как оно печет. Но ветер, налетающий порывами, холодный.

Атанияз задремал, я расталкиваю его, мы спрыгиваем на землю и идем в чайхану обедать. Завмаг и шофер уже там. Завмаг — его зовут Халдурды — хочет нас угостить, он считает нас гостями. Но угощать особенно нечем. Берем по тарелке мясного, с ливером, супа, банку рыбных консервов и просим нарезать лук. Хлеб местной выпечки, пресноватый и несдобный. Халдурды спрашивает, не хотим ли мы водки. Сам он не пьет, а шоферу нельзя. Нет, мы не хотим.

Халдурды лет пятьдесят с лишком, у него желтовато-темное скуластое лицо, глаза навыкате, в красноватых веках. На нем китель армейского образца, брезентовые сапоги, на лысой голове невысокая папаха из дорогого, золотисто-коричневого каракуля «сур». Для сельского жителя Халдурды одет богато. У него есть еще макинтош из серого габардина, изрядно поношенный и пропыленный, кое-где в пятнах, который он оставил сейчас в кабине грузовика. В Марах он расхаживал в этом макинтоше по улице, с портфелем в руке, и выглядел очень важным.

Сначала разговор идет о колхозных новостях. Завмаг упорно норовит говорить по-туркменски, но Атанияз столь же упорно перебивает его, заставляя говорить по-русски, чтобы я не сидел дураком. И все-таки они иногда забывают обо мне и начинают все трое бойко говорить по-своему, а я сижу и скучаю. Нет, не скучаю, а думаю о своих делах, о Ермасове, о газете.

Потом разговор переходит на канал: вода уже близко, километрах в восьмидесяти от аула, где живет Халдурды.

— Это будет великая победа,— говорит Халдурды.— Туркменский народ давно мечтал... Джейхун сделает из пустыни сад...

Он, видимо, считает, что с нами, газетчиками, надо разговаривать таким языком. Произнося фразу, он улыбается искательно, как приказчик, и во рту его открываются широкие желтые зубы. Он рассказывает историю про старого чабана, который подошел к каналу на готовом участке и, решив, что это арык, стал переходить его и утонул. Вах-вах, такой глупый яшули! Он не умел пла-

вать. Он не мог поверить, что в пустыню пришла река. Вах, это случилось недавно, к югу от колодца Теза-Кую...

— Вах-вах, какое время! Какое замечательное время! — Халдурды смеется.— Старый человек утонул в пустыне — вах, замечательное время.

Смеются все морщинки его желтого лица, смеются его желтые широкие зубы, но глаза в красных белках глядят серьезно. А потом он куда-то исчезает. Мы ждем его час, другой. Наконец он является и говорит, что был в гостях у своего дяди.

Мы приезжаем в аул ночью.

В доме родителей Атанияза, где все уже спали,— переполох, беготня женщин, куда-то уносят спящих детей, приносят подушки, сворачивают одеяла, расстеленные на ковре. По обычаю, снимаем обувь у порога и в носках входим в комнату, где еще густ запах спальни.

Садимся на ковер. Я разглядываю комнату, в которой живет учитель, отец Атанияза: две полки с книгами, большой портрет Махтумкули в самодельной рамке, радиоприемник «Беларусь», и вместе с тем это комната туркменского дома, где скатерть расстилается не на столе, а на полу, где на почетном месте возвышается гора одеял, а на ней гора подушек: чем больше подушек, тем богаче дом.

Женщины исчезли в глубине дома, отец и младший брат Атанияза расставляют на скатерти фарфоровые чайники, пиалушки, мелко наколотый сахар, лепешки хлеба и мотки сладкой сушеной дыни. Когда Атанияз говорит, что нас привез Халдурды, лица его слушателей вытягиваются. Отец что-то быстро и возбужденно рассказывает по-туркменски. Атанияз вскакивает на ноги. Я вижу, что он необыкновенно взволнован.

— Что случилось?

— Потом, потом! Ложись спать, я скоро приду...

Он одевается и уходит. За ним уходит отец.

На другой день я узнаю, в чем дело. Прошлой ночью в ауле произошло убийство: убили молодого парня, комсомольца. Он работал на стройке и приехал в аул на побывку. В убийстве замешаны сыновья Халдурды, а невольной виновницей стала его дочь Огульджан, которая была женой этого парня. Между родственниками Огульджан и этим убитым были какие-то счеты из-за калыма. Кажется, он что-то не доплатил или не хотел платить вовсе, и они стали его преследовать и старались разрушить его брак с Огульджан, чтобы выдать ее замуж вто-

рично. Убитого звали Бяшим, что в буквальном переводе значит «Мой пятый». Он был пятым сыном у отца.

Бяшим приехал в аул со своим другом, и сыновья Халдурды побаивались затевать ссору. Друг, говорят, был очень здоровый. Но как только он уехал, они устроили драку и крепко побили Бяшима, а Огульджан силой увели в свой дом. Это было три дня назад. А прошлой ночью Бяшима убили. Его нашли на рассвете, с перерезанным горлом, недалеко от дома Халдурды. Сыновья Халдурды убежали в пески, и вместе с ними исчез тот человек, которого они прочили в женихи Огульджан.

Вот что рассказывает Аттанияз. Надо выспросить все подробно, записать, запомнить смятенные лица, рыдающие голоса женщин, всю эту атмосферу пролетевшего ужаса, которая всегда сопровождает убийство. Запомнить холодную синь неба с рваными облаками и северный ветер, приносящий озноб. Он летит издалека. В нем чувствуется дальний разбег и холод русской зимы. Запомнить вчерашние глаза Халдурды в красноватых веках, как будто от мелких царапинок, и его зубы, плоские, как у зайца.

Следователь, молодой туркмен с красивым, женственным лицом, молча щелкает фотоаппаратом, измеряет шагами улицу. Возле дома убитого толпятся люди. Никто из колхозников не работает. Издали я вижу убитого: прозрачный вздернутый нос, шея замотана шарфом.

Потом мы с Атаниязом и с несколькими колхозниками забираемся в кузов трехтонки и едем в пески. Мы едем мимо хлопковых полей, пересекаем сухие арыки, вдоль которых с обеих сторон возвышаются земляные валы: горы ила, вынутого во время хошарных работ. Колхозники в кузове непрерывно разговаривают. Кажется, они спорят о том, в какую сторону ехать. Мы едем искать сыновей Халдурды и того, третьего, кого все считают убийцей.

Тот, третий, называет себя туркменом, но на самом деле он фарси. Только фарси, говорят мне, убивают людей таким способом: режут горло от уха до уха.

Грузовик останавливается у кромки песков. Бесплодно и долго мы месим стылый песок барханов. Под вечер возвращаемся в аул. Низкое солнце освещает толпу людей, сгрудившуюся вокруг открытого гроба. Говорят речи. Несколько молодых ребят, среди них двое совсем

подростков, что-то кричат громкими, взволнованными голосами. Аганияз объясняет: они дают клятву пойти на стройку и выучиться на машинистов.

Потом выходит маленькая женщина с лицом плоским, бледным, размытым слезами. Ее поддерживают под руки. Сначала я думаю, что это мать убитого, но, оказывается, это жена. Она произносит что-то еле слышное, несколько медленных слов. И тут вдруг толпа задвигалась, все начинают шуметь. Что она сказала? Почему кричат? Атанияза нет со мной рядом. Какой-то старик берется объяснять, с усилием подбирая слова. В общем, смысл такой: она сказала, что ни за что не вернется в дом отца.

Читают телеграмму со стройки канала, из поселка Сагамет.

— Требуем расстрелять злодеев! Точка! — читает один из парней, дававших клятву стать машинистами.— Общее собрание Третьего отряда Пионерной конторы решило присвоить отряду имя нашего дорогого, незабвенного товарища Бяшима Мурадова! Точка! Тут много фамилий: Байнуров, Егерс, Бринько, Эсенов, Ибадуллаев, еще много...

Стало совсем темно, я с трудом разбираю буквы, которые пишу в блокноте. Во всем этом горестном сюжете, раскрывшемся так ослепляюще и кратко, как картина ночи, вырванная на миг блеском молнии, есть какая-то глубинная суть, до которой не просто добраться. В чем истинные причины убийства? Любовь? Жажда обогащения? А может быть, нечто иное, скрытое от нас, понятное лишь Востоку?

Атанияз считает, что убийство носит политический характер. Вон он кричит и потрясает рукой, сжатой в кулак, и его доброе, совиное лицо с расширенными глазами кажется мне неузнаваемо жестким. Его глухой голос неестественно напряжен, он никогда так не кричал. Война этих лавочников с Бяшимом Мурадовым — это война пустыни с каналом. Они ненавидели Бяшима. Они ненавидят канал, который несет в пустыню не только воду, но и другую жизнь.

Он кричит то по-русски, то по-туркменски.

— Если расковырять их,— кричит Атанияз,— то среди их родни наверняка отыщется какой-нибудь бывший бай, владевший многими тысячами овец, или бывший мулла, который спас свою шкуру тем, что клеветал на честных людей. Да у них и сейчас есть, можно не сомне-

ваться, порядочная подпольная отара, которую их дальние родственники в роли наемных чабанов гоняют по глухим пастбищам где-нибудь на севере. Они станут говорить, что он не подчинился «туркменчилику» и за это они убили его. Но это ложь! Он не подчинился их самодурству, и они убили его. Он не подчинился их алчности, и они убили его. Но нет такого ножа, которым можно перерезать горло реке!

Никогда я не видел Атанияза в таком возбуждении. Несколько женщин начинают громко рыдать. Потом встает какой-то низкорослый, в кителе и говорит что-то, прижимая ладонь к груди. То, что он говорит, вызывает шум и движение. Его перебивают криками. Тот же старик объясняет мне, что человек в кителе сказал, что пока еще неизвестно, кто убил Бяшима Мурадова, и надо подождать окончания следствия. Но люди кричат ему, что все известно. В это время следователь садится в машину. Он едет в город и согласился взять меня в легковую. Завтра утром я должен быть у Ермасова.

Атанияз проталкивается ко мне, чтобы попрощаться. Он протягивает мне дрожащую руку.

— Теперь ты понял,— говорит он,— что канал в пустыне — это не только бульдозеры и песок...

Я крепко жму ему руку.

— Когда ты приедешь в Мары?

— Дня через три! Через пять!

— Меня уже не будет...

Водитель включает скорость, машина дергается, лицо Атанияза отлетает назад, и мы уносимся в ночь. И долго едем молча. Следователь не расположен разговаривать. Две черные головы, повернутые ко мне затылками,— следователя и шофера — покачиваются на фоне ветрового стекла, озаренного светом фар. «И по коням! И странным аллюром, той юргой, что мила скакунам....» — вот что меня преследует.

Следователь вдруг говорит:

— Ваш друг Дурдыев, как настоящий поэт, немного фантазирует. Боюсь, что в этом деле нет таких научных корней, какие ему мерещатся. Но насчет одного он сигнализировал верно...— Тут он поворачивается вполоборота, и я вижу его круглый, женственный лоб.— Насчет их родственников. Родственники у них имеются, и довольно сильные в масштабе нашей области, хотя, конечно, их время прошло. Теперь — законность на первом месте...

Человек, о котором я так много слышал и с которым только однажды говорил по телефону, оказался седым, коротконогим, лобастым стариком. В течение разговора его лицо легко меняло оттенки: то бледнело, то мгновенно наливалось краской. Он был плохо выбрит. Его голос был резок и тверд. На его больших, растянутых, как у лягушки, губах все время бродила недобрая усмешка, как будто он каждую минуту собирался сказать нечто ехидное.

Он был недоволен моим приходом и не скрывал этого. Сначала он грубым, презрительным тоном говорил о газете. Говорил, что наша газета не «острое оружие партии», а ружье с кривым стволом, чтобы стрелять из-за угла. Обрушился на Сашкину статью, сказал, что она написана идиотом, что мы проливаем «корокодиловы слезы по поводу скреперов, которые строители отбросили к чертовой матери, как негодную рухлядь». Я смиренно слушал. Он закричал вдруг:

— Вы что, проглотили язык?

— Я? Нет.

— Почему вы молчите? Почему не спорите, черт побери? Для чего вы пришли?

Я сказал, что пришел для того, чтобы услышать его соображения о канале, о положении дел на стройке, а не о нашей газете, деятельность которой мне в общих чертах знакома. Тут он разъярился и закричал:

— А, вам неинтересно говорить со мной о газете? А мне неинтересно говорить с вами о строительстве! Ясно? Идите в политотдел,там получите сведения. Мне некогда. У меня нет желания тратить на вас время.

Однако я не ушел. И правильно сделал. Ему самому не хотелось, чтобы я уходил. Он еще не договорил, не доругался, не вылил весь яд.

— Вы, конечно, посланы за матерьяльчиком? Как это называется: «По следам наших выступлений», так, что ли?

— Нет, не угадали. Просто еду на трассу. Хочу, кстати, попросить у вас машину...

— Ну, ясно, ясно. Это вы всегда просите. Так вот, значит: «По следам наших выступлений». Замначальника управления товарищ Нияздурдыев — тоже «крупный деятель» ирригации, не знаю, как его Атамурадов терпит,— третьего дня прислал бумагу: срочно сообщите, какие меры приняты по статье насчет землеройной техники. Знай, мол, что находишься в подчинении.

А какие меры? Вот мой приказ от шестого января сего года: «Приказываю! Параграф первый. Списать с баланса основных средств Каракумканалстроя по их первоначальной стоимости... столько-то тракторов и два грейдера... Параграф второй. Начальнику СМК «Пионерная» тов. Карабашу и начальнику Управления ремпредприятий тов. Хидырову немедленно организовать в мастерских на сто восемьдесят пятом километре разборку списываемых тракторов, с одновременной сортировкой деталей и узлов... и так далее... на три категории: а, б, в...»

В то время как Ермасов читал, в кабинет зашел сначала один человек в полувоенном костюме, с папкой, потом еще двое, остановившиеся возле дверей, и все они терпеливо слушали, как он читал, и посматривали на меня без особого интереса, но с некоторой, деликатно скрываемой, насмешливостью.

— «Начальнику Управления ремпредприятий тов. Хидырову,— читал Ермасов,— предлагаю договориться с Главвторчерметом об организации на трассе Каракумского канала (желательно в районе сто восемьдесят пятого километра) приемочного пункта... так, так... Расходы по доставке и сдаче металлолома произвести за счет Каракумканалстроя по смете...» и так далее... «Управляющий трестом — Ермасов». Число, дата. Все! Вот какие приняты меры.

Он швырнул листок приказа на стол и посмотрел на меня победоносно.

— Вот так-то! — сказал он.

— По-моему, очень толково,— сказал я.

— Да нет, ваши комплименты мне не нужны. Меры как меры. То, что считаю нужным. Но им-то надо другое, им хочется разнос учинить. Кому в зад коленом, кому в зубы, кому под дых...

Стоявшие возле двери засмеялись. Человек в полувоенном костюме спросил:

— О ком речь, Степан Иванович?

— Да вы знаете! — Ермасов отмахнулся.— Но я им — фигу. Понятно? Никому даже на вид не поставил. Теперь они новое затевают, с другого боку. Вот прохиндеи! Если б они свою настойчивость да изворотливость на дело обернули, тут такие каналы нарубать можно, такие горы своротить...

— Точно, Степан Иванович,— сказал один из тех, кто стоял возле двери.

Ермасов взял меня за пуговицу и, мигнув по-приятельски, спросил:

— А тот корреспондент, что статейку с чужих слов писал, он небось гонорар за нее давно уж пропил?

— Да, возможно,— сказал я.— Точно не знаю.

— Нет, я точно знаю: давно пропил. И давно забыл про нее. И газета та исчезла, нет ее, сгинула, только где-нибудь в библиотеке завалялась на нижней полке, в подшивке. А вот дело, что ею затеяно,— дрянное дело, вранье! — оно существует и живет себе дальше как ни в чем не бывало.— Лицо Ермасова вновь бурно залилось краской. Он спросил резко, задыхаясь: — Вы знаете, что Карабашу и Гохбергу грозит тюрьма?

Я молчал. Он глядел на меня с ненавистью.

— Третий день на Пионерном сидит комиссия, чего-то удят, вынюхивают, в бумагах роются. Но я предупреждаю! Я предупреждаю, товарищи! — Он стукнул костяшками кулака по столу.— Ничего из этого мероприятия не выйдет. Ясно? Я уже написал в ЦК республики, но, если надо, я в Москву полечу, но этих людей не дам в обиду! Я как лев буду драться, ясно?

— Вы говорите так, будто я главный злоумышленник...— сказал я, немного опешив от его крика и ненавидящего взгляда.

Он не слышал меня.

— Предупреждаю: я буду драться как лев!

Тут я подумал, что это выкрикивается, может быть, не только мне, но и кому-то еще, из тех, кто стоял возле двери или был за дверью. Я посмотрел на стоявших возле двери. Человек в полувоенном костюме усердно кивал.

Ермасов вдруг протянул мне руку.

— Спасибо за беседу. Простите, что задержал. Я говорю к тому, чтоб вы помнили, товарищ молодой человек, какое в ваших руках на самом деле острое и беспощадное оружие, и относились соответственно.

— Я понял. Спасибо. А как быть, Степан Иванович, с транспортом, чтоб на трассу...

— Вот к нему, к нему! Он сделает.

— Одну минуту,— сказал человек в полувоенном костюме и, подойдя к столу Ермасова, раскрыл свою папку.

Полчаса я прождал в приемной, пока человек в полувоенном костюме — он оказался начальником Марыйского участка Алимовым — вышел из кабинета Ермасо-

ва. Мы спустились с ним на первый этаж, в его кабинет. Он стал кому-то звонить, договариваться, потом сказал, что машина будет послезавтра утром.

— Старик вам дал ходу, а? Я слышал,— сказал он весело.— Ну, знаете, эта зурабовская статейка просто черт знает что!.. Итак, послезавтра утром, в восемь ноль-ноль, прошу вас к подъезду нашего управления. А на старика не обижайтесь.

— Да я нисколько,— сказал я.— Наоборот, ваш старик мне понравился.

Выехать послезавтра мне не удалось. Виною тому была Лера, которую я неожиданно встретил на почтамте: она посылала деньги отцу. Лера как-то изменилась, то ли похудела, то ли поблекла, сошел загар, она была небрежно причесана, в грубой мужской фуфайке, в лыжных штанах. Мы вышли из почтамта вместе и немного прошли по улице. Разговор не вязался, я чувствовал ее настороженность, даже некоторую враждебность,— ведь я был человек другого лагеря, Сашкин приятель!

О Сашке мы не говорили. Лера сказала, что у нее масса забот, болен отец, она должна ехать в Ашхабад, чтобы организовать лечение, а тут еще всякие другие неприятности, по работе и так. Одно за одним, как это бывает. Я сказал, что, видимо, существует такое специальное министерство неприятностей. Оно планирует выпуск неприятностей, следит за тем, чтобы неприятности вырабатывались дружно, серийно.

Лера даже не улыбнулась.

— Да, да,— сказала она,— у меня сейчас трудная полоса.

Когда прощались, я дал ей телефон гостиницы, просил позвонить, если что нужно, хотя знал, что звонить она не будет. Ей было не до меня.

Следующий день, накануне отъезда, я провел почти целиком в тресте. Разговаривал с Алимовым, с его заместителем, был в редакции многотиражки «Каналстроевец», у своего старого друга Искандерова, потом познакомился с инженером Хоревым, тем самым, кто напечатал у нас в газете статью, из-за которой шумели. Хорев возглавляет Керкинский участок, он приехал в Мары на совещание. Он был очень предупредителен, предложил быть моим шефом и гидом в делах стройки, но я вспомнил, что он приятель Лузгина, и уклонился. Больше других мне помогли Искандеров и Алимов, подаривший свою брошюрку, изданную республиканским

обществом по распространению политических и научных знаний: «Каракумский канал и его значение для республики». В общем, я провел день с пользой. А вечером в гостиницу неожиданно позвонила Лера и сказала, что ей необходимо со мной увидеться. Я сказал, что уезжаю утром.

— Тогда я прибегу сейчас! — сказала она.

Было около девяти вечера. Я вышел на улицу и ждал Леру перед входом в гостиницу. Она пришла очень скоро и сразу, еще не отдышавшись, спросила:

— Петя, ты можешь завтра не ехать?

— Не ехать? Завтра? Вообще-то я торчу тут уже шестой день...

— Петя, я тебя просто умоляю отложить поездку на два дня. До девятнадцатого. Сейчас я объясню. Но ты можешь, скажи?

— В принципе, конечно, да...

— Но очень не хочется?

— Не хочется потому, что надо наконец попасть на трассу. У меня и срок командировки кончается. А что случилось?

Мы прошли во двор гостиницы и сели на скамейку. Лера была взволнована. Она начала разговор как просительница, и это было так неестественно и не похоже на нее, что я тоже стал держаться неестественно и заговорил с ней как-то по-глупому сухо.

Лера сказала, что звонила мне сегодня весь день, каждый час, но меня не было в гостинице. Я должен помочь Алеше. Это тот человек, ради которого она оставила Сашку: Алексей Карабаш, начальник Пионерной конторы. Ну и что с ним стряслось? Восемнадцатого числа состоится заседание бюро обкома, где будут обсуждаться выводы комиссии о состоянии землеройной техники в Пионерной конторе. Эта комиссия была создана после Сашкиной статьи. Алеше может быть очень худо. Они хотят передать дело в суд. Все зависит от того, как пройдет заседание обкома, на котором я должен выступить и защитить Алешу. Да, да, защитить Алешу. Один голос может оказаться решающим. Я ведь представляю ту самую газету, которая напечатала статью против Алеши, так что мое мнение очень важно.

Все это звучало наивно. О чем я могу говорить на бюро обкома? И как я буду защищать этого самого Алешу? Кроме того, мне, конечно, очень не хотелось еще два дня торчать в городе. Командировка кончается,

а я до сих пор не могу попасть на трассу. Я приготовился все это объяснить.

Но Лера стала рассказывать об отце: как он плох, гаснет, а старые тетки бестолковы, беспомощны, ничем не могу помочь. Сейчас она поедет в Ашхабад, чтобы организовать лечение, нанять сиделку. Может быть, ей самой придется пожить с отцом, тогда она возьмет сына из детсада, потому что он оказался сейчас и без матери и без отца. Чтобы поехать к старику, она должна получить внеочередной отпуск, за свой счет, конечно, но дело в том, что экспедиция сейчас здесь, в Марах, занята очень срочными камеральными работами, и начальник уперся — и ни в какую. Алеша советует уйти с работы. Но она не знает. Все так сложно...

Я спросил:

— Когда ты едешь в Ашхабад?

— Завтра, ташкентским поездом. Алешу я не дождусь, а мне хотелось вас познакомить. Петя, я тебя очень прошу. Ты должен это сделать! — Она настойчиво, умоляюще заглядывала мне в глаза.— Тебе неловко, да? У тебя какие-то обязательства дружбы? Но ты пойми, что тут страдают невинные люди, ты должен встать на их защиту, это гораздо важней...

Я сказал, что меня смущает другое. Во-первых, как это я ни с того ни с сего приду на заседание бюро обкома? Меня никто не звал...

Она это устроит. Она поговорит с кем-то. Меня пригласят.

Во-вторых, я не член партии.

Да, но я официальное лицо: представитель газеты, который находится здесь в официальной служебной командировке! Я имею право присутствовать. Это несомненно. Это точно.

Для нее не существовало препятствий. Если б я лежал в горячке, с температурой сорок, она бы, наверно, нашла средства поднять меня с постели и заставить пойти.

— Ну и любишь ты своего Алешу,— сказал я.— Неужели он такой замечательный?

— Он-то замечательный, но дело не в этом. Он просто не виноват, понимаешь? И он, и Гохберг, и остальные хотели только сделать как лучше, ускорить темпы строительства — понимаешь? — а их обвиняют в том, что они нарочно искалечили технику. Это очень подло. Сводят с ними счеты. Я видела эту комиссию, куда на-

рочно подобрали старых специалистов, пенсионеров: их тут называют «кетменщики»...

— Но ведь Ермасов будет защищать Карабаша и Гохберга,— сказал я.— Он сказал, что будет драться за них как лев. Я сам слышал.

— Еще бы! Конечно, он будет защищать их. Не только их, но и самого себя. Ермасов — лицо заинтересованное. А вот если выступит представитель газеты... Петя, ты меня извини! Я так наседаю знаешь почему? Потому что меня страшно мучает одна мысль...

— Какая?

— О том, что, если б не я, ничего бы этого не было. Я понимаю, что это не так, что тут глубокие причины, производственные или какие-то другие, и все-таки ведь он написал эту статью в отместку за то, что случилось, правда ведь? Значит, я в какой-то степени виновата? Вот что меня мучает, и поэтому я мучаю тебя, а ты, как человек ленивый и нерешительный...

Она улыбнулась и взяла меня за руку.

— Что — я?

— Посылаешь меня, наверно, к черту и не знаешь, на что решиться. Но ты останешься, Петя. И выступишь. Потому что нельзя допускать, чтобы осуждали невинных людей.

— Это точно,— сказал я.— Это уж точно: нельзя.

23

Итак, я остался в этом городе еще на два дня. Лера уехала. Атанияз вернулся из аула и тоже сразу уехал: его зачем-то срочно, телеграммой, вызвали в Ашхабад. Днем я мотаюсь по коридорам и лестницам Марыйского управления, выцеживаю из сотрудников все новые факты, цифры, имена и рассказы о стройке, потом обедаю в ресторане «Мургаб», потом иду к Искандерову с намерением сыграть партию в шахматы, если он не занят срочной работой и жена не загружает его какими-нибудь хозяйственными делами, например купанием детей. У него двое детей. Он хочет уходить из многотиражки. Его мечта — переехать в Ашхабад и поступить в республиканскую газету.

Если Искандеров купает детей, я возвращаюсь в гостиницу и не знаю, чем заняться. На город обрушился снеговой ураган. Улицы завалены снегом, температура упала до минус одиннадцати. Ночью я мерзну под дву-

мя байковыми одеялами, накрываюсь пальто и даже, стыдно признаться, текинским ковриком, который висит на стене возле кровати.

Девятнадцатого мне говорят, что заседание бюро обкома отложили на два дня, то есть до двадцать первого. В песках произошло несчастье: снежным бураном отогнало на юг большую отару овец, несколько тысяч голов. Керкинский райком партии обратился к руководителям стройки с просьбой помочь колхозным машинам пробиться на юг. Всеми операциями по спасению овец занимается Пионерная контора. Если бы я выехал на трассу, как предполагал, шестнадцатого, за день до бурана, вся эта история развернулась бы у меня на глазах и я, наверное, сам увязался бы с каким-нибудь бульдозером на юг. Ведь это сюжет, это дорогого стоит: спасение овец в буране!

Настроение у меня мрачное. Утром девятнадцатого сажусь писать очерк о нашей поездке в аул и обо всех тамошних событиях. Но, написав три страницы — обед в чайхане, разговоры с Халдурды, его внешность, наш приезд в аул,— я вижу, что рассказ об убийстве зазвучит лишь тогда, когда возникнет характер убитого юноши, Бяшима Мурадова, его судьба, а это я узнаю на трассе, в отряде, который называется теперь его именем. Но за три дня, оставшиеся от моего командировочного срока, я, конечно, ничего не увижу и не узнаю.

Сообразив все это, я бегу на почту и заказываю разговор с Ашхабадом. Через полчаса слышу знакомый картавый говорок Бориса: «Старик, что с тобой стряслось? Почему не на трассе?»

Вдруг с удовольствием сознаю, как мне приятно слышать голос Бориса. Так и вижу его: стоит, ссутулившись, в напряженной позе, прижимая плечом трубку к уху, возле своего громадного секретариатского стола, весь в дыму, в бумагах, в заботах, делает правой рукой какие-то магнетические жесты Тамаре, а левой что-то записывает и одновременно улыбается мне в трубку: «Ну, что, что там у тебя?» Сейчас двенадцать часов. У Диомидова идет планерка, и Борис спешит договориться со мной, чтобы поспеть на планерку. А в большой комнате сейчас пусто, но через полчаса все вернутся сюда, закипит работа, начнется трёп, застучат машинки, потом прибежит Валечка из машбюро и сообщит, что в кинотеатре «Ашхабад» идет новый мексиканский фильм, и кого-то быстренько снарядят за билетами, по-

том Критский будет вслух читать свою рецензию, и между ним и Туманяном вдруг вспыхнет высоконаучный спор на бутылку шампанского, который придется разрешать у Даля или у Брокгауза, потом настанет обеденное время, и в буфете будет тепло и тесно, и тетя Клава будет кричать, чтоб не курили, и после обеда снова все завертится, пойдут посетители, будут звонки из бюро проверки, вызовы к Лузгину, срочно, немедленно, о чем вы думали, не надо перебарщивать, семь раз отмерь — один отрежь, спешка до добра не доводит, — и вдруг с невероятной быстротой наступит вечер. Господи, как я уже привык к этим людям, к этим комнатам, к этим разговорам, и к городу, и к автобусу номер четыре, который привезет меня поздним вечером домой! И мне тоскливо безо всего этого. Тут ничего не поделаешь.

Я кричу Борису, что застрял по неотложному делу в Марах и прошу продлить командировку дней на семь. Борис говорит, чтоб я слал «телегу», то есть телеграмму, чтоб был документ, и они сейчас же вышлют командировочные. И затем произносит сухим, официальным тоном:

— Старик, должен сообщить тебе одну неприятную новость: ты больше не подчиняешься товарищу Лузгину.

— В каком смысле?

— В том смысле, что товарищ Лузгин у нас больше не работает. Со вчерашнего дня.

— Да брось! Серьезно?

— Конечно. Сегодня уже есть приказ. Мы все, как ты понимаешь, чрезвычайно опечалены этим событием, в коллективе просто траур. Все-таки столько лет вместе...

Я хохочу, а он продолжает тем же тоном: тут сыграла роль зурабовская статья, из-за которой Ермасов писал в ЦК республики. Артем Иванович совершенно убит. Бедный старик, он так держался все эти годы! А кто на его место? Борис просит, чтоб я не падал в обморок: один товарищ из радиокомитета.

— Атанияз? — кричу я.

— Да, он. Мы уговаривали нашего дорогого Атанияза Непесовича два дня, этот негодяй отказывался наотрез. Говорил, что если пойдет в газету, то никогда не закончит своей диссертации.

— Когда все это произошло? Когда вы его уговаривали?

— Первый разговор был, кажется, перед вашим отъездом.

— Потрясающий человек! Мы жили пять дней бок о бок, и он не сказал мне ни слова...

Борис говорит, что ему некогда болтать по телефону, чтобы я немедленно слал «телегу», а завтра он постарается выслать телеграфом деньги.

Я выхожу из почтамта, переполненный новостями, в радостном настроении, но в кармане у меня восемнадцать рублей, и я должен дожить до завтра. Поэтому я иду обедать не в ресторан «Мургаб», а в столовую возле вокзала. На другой день в этой столовой я встречаю профессора Кинзерского, с которым когда-то ехал в поезде. Мы сталкиваемся у окошка, где выдают вторые блюда. Профессор держит поднос, заставленный тарелками и стаканами компота.

— А! — говорит он без всякого удивления.— Вот и вы! Я же сказал, что здесь пустыня и все друг с другом встречаются...

Мы садимся за один стол. Профессор очень быстро съедает две порции гуляша и, как сырые яйца, высасывает три стакана компота. При свете холодного зимнего дня загорелое лицо профессора кажется темно-красным, закопченным, как старая медь. Он спрашивает, видел ли я развалины старого Мерва. Нет, хотя слышал о них и читал. Они находятся в районе Байрам-Али.

— Как, вы не видели старого Мерва?! — переспрашивает профессор с изумлением.

— Нет.

— Это поразительно! Не видеть «Султана Санджара», который находится в нескольких километрах! Полчаса на машине! — Он хохочет и глядит на меня, как на диковинку.— Люди едут за тысячи километров, чтобы взглянуть на это потрясающее кладбище веков, на этот некрополь цивилизации, на мертвое сердце древней Азии — Мерв, столицу Маргианы! — а вы торчите в дрянной гостинице, ходите по разным канцеляриям, столовым, и вам не приходит в голову поехать и взглянуть на величайшие развалины! Вам не стыдно?

— Мне стыдно, профессор. Я, откровенно говоря, как-то забыл об этих развалинах. Я читал о них...

— Тем хуже! Тем отвратительней! Гарун-аль-Рашид нашел время приехать в Мерв из Багдада только затем, чтобы посмотреть на прославленный город и покопаться в его библиотеках, а вы, молодой журналист, томи-

тесь тут и не знаете, как убить время. Что вы за люди, дьявол вас побери? Что вас интересует? И интересует ли вас что-нибудь вообще?

Он уже не смеется, а глядит на меня неприязненно. Я говорю, что меня интересует очень многое. Даже чересчур многое. И как раз поэтому я не догадался поехать к развалинам.

После обеда мы вместе заходим на почтамт, и я узнаю, что могу получить деньги. Самочувствие мое великолепное, теперь я готов ехать не только к «Султану Санджару», но хоть в древний Хорезм или Бухару.

Единственное, что меня гложет,— это мысль о завтрашнем заседании. Я не люблю публичных выступлений, теряюсь, плохо говорю, особенно если приходится говорить перед незнакомыми людьми, но главная трудность не в этом, а в том, что я почти не знаю существа дела. Я сочувствую Ермасову, сочувствую этому Алеше и его товарищам, которым грозят какие-то беды, и мне не нравится Хорев, приятель Лузгина, и в общем я примерно все понимаю, но ведь ничего конкретного, никаких фактов у меня нет. А как говорить без фактов? Вот что меня тревожит и о чем я думаю, гуляя с профессором по улице. Он рассказывает что-то интересное о пустынях, которые сдавили землю кольцом: Ближний Восток, Африка, Мексика, Китай, Гоби, Средняя Азия. Он считает, что остановить пустыни могут только леса. Уничтожение лесов и истощение почвы привели к образованию пустынь, которые расширяются с угрожающей быстротой. Геродот писал о плодороднейших землях Вавилона и Ливии — теперь это бесплодные пустыни. Из опыта пятисот лет известно, что Сахара расширяется в южном направлении с довольно значительной скоростью. Озеро Чад неуклонно уменьшается по площади и глубине. А пустыня Каракум не менее быстро движется на запад: Каспий мелеет катастрофически, полуостров Челекен недавно, всего несколько десятков лет назад, был островом. Да и Европа не может считать себя в полной безопасности. Юг Европы уже испытывает на себе адское дыхание африканских пустынь, откуда дуют иссушающие ветры. Климат Италии за последние несколько столетий стал гораздо более жарким. Древние римляне часто жаловались на морозы и снегопады, а в нынешней Италии это почти невероятно. Превращение райских кущ в пустыни — вот что принесла цивилизация, истощившая почвы с ошеломляющей быстротой.

— Где же спасение?

— Спасение — в лесах. Только леса могут остановить вселенское истощение почвы. Эй! Бекмурад! Стоп! — Профессор вдруг бросается на середину улицы с высоко поднятой рукой и останавливает замызганный «ГАЗ-57» с латаным брезентовым верхом.— Это наша экспедиционная. Прошу садиться!

Я сажусь назад, профессор рядом с шофером, и мы едем в старый Мерв.

К мавзолею султана Санджара подъезжаем в густых сумерках. Он стоит в совершенном одиночестве на голой и плоской земле, которая кажется пустыней, но вблизи видно, что эта земля исхолмлена остатками древних фундаментов, стен, обрушенных до основания башен. Кое-где в рытвинах белеет снег. Ветер с шорохом перекатывает песок. Можно подойти к мавзолею Санджара, но еще лучше смотреть на него издали: поднимающаяся луна освещает его тупые каменные хребты.

Сидя в машине, мы пьем горячий кофе из профессорского термоса. Кинзерский рассказывает что-то об арабах, о Тули-хане, сыне Чингиса, который сровнял с землей столицу сельджуков, вырезав все население, несколько сот тысяч человек, и уничтожил все здания Мерва. И только мавзолей Санджара не смогли разрушить монголы.

— Хотите подойти поближе? — спрашивает профессор.— Вы увидите эти камни, ощутите движение веков.

— Как хотите. Но, по-моему, все ясно.

— Все ясно! Да, да... Замечательно сказано: все ясно...— Он усмехается и умолкает.

Мы едем обратно. Справа бежит тень машины, скользящая темной волной по белому от луны бугристому полю. Помолчав, я говорю, что мне никогда не удавалось взволноваться при виде старых камней и ощутить нечто торжественное, вроде движения веков, или движения лет, или даже просто движения времени. Но зато я ощущаю это при виде людей. При виде некоторых я вижу годы, десятилетия и даже иногда века. Вот недавно, например, на базаре я видел человека, который вполне мог быть одним из всадников Тули-хана. Он продавал орехи. Но у него были такие глаза и такие руки, что я сразу понял: он оттуда, от Тули-хана. Мой отец всю жизнь пронес на себе печать семнадцатого года. А есть люди конца двадцатых годов, середины тридцатых, и

люди начала войны, и люди конца войны, и они, как и мой отец, остаются такими до конца своих жизней.

— Вы согласны, профессор?

— Я согласен, но меня интересует, к какому году вы относите себя, мой славный аналитик? Про меня уж не спрашиваю: наверняка к какому-нибудь девятьсот шестнадцатому или тринадцатому.

— Мой год, я думаю, еще не наступил.

— А мой, мальчик? — Профессор смеется.— Мы все так думаем.

24

Сначала высокий очкастый старик читал заключение комиссии. Ничего страшного. Разные мелкие неполадки и незначительные грешки: площадка мастерских засорена деталями, отсутствуют навесы, нет заводских табличек с номерами...

Его напряженно слушали. Я сидел рядом с Искандеровым, который шепотом объяснял мне, кто тут кто. Меня, естественно, занимал Карабаш — тот, за кого следовало заступаться. Он оказался примерно моего возраста, а может быть, даже чуть моложе, худощав, смугл, невысокого роста. Держался спокойно. В его повадке, в движениях рук, в том, как он брал папиросу, потирал пальцами подбородок и крепкие желтые скулы, во взгляде его черных, редко мигающих глаз была какая-то восточная сосредоточенность и прочность. Хотя он был, кажется, не здешний, а с Севера.

Его сосед, инженер Гохберг, вначале очень нервничал, но потом успокоился. Я тоже успокоился. Все разворачивалось довольно благополучно.

Комиссия предлагала инженеру Гохбергу, как непосредственному руководителю ремонтных мастерских, упорядочить производство ремонта, прибрать территорию, соорудить навесы и так далее. Карабашу предлагалось организовать бесперебойную доставку продуктов и построить на территории мастерских столовую. Вот и все. Ничего похожего на громы и молнии, которые метала газета.

Ермасов ерзал на стуле и пытался сдержать улыбку.

Как только старик в очках с железной оправой закончил чтение и сел, немедленно попросил слово Хорев. Он сразу начал кричать, взмахивая руками, протягивая

их то к одному, то к другому из сидящих за столом, обращаясь за поддержкой ко всем по очереди, и один раз он обратился ко мне: я увидел выпуклые и как бы остановившиеся, напряженно-остекленевшие глаза.

Хорев кричал, что заключение комиссии — документ беззубый и непартийный. Замазываются недостатки. Желают спустить дело на тормозах. Но это не выйдет! Пришло время говорить откровенно, начистоту!

— А вы говорите, говорите,— сказал Ермасов.— Вы не лозунги выкрикивайте, а говорите по делу.

— А я скажу, Степан Иванович. Я вас не боюсь...

— Вот и говорите.

— Я и собираюсь. Во-первых, почему не указаны причины? Как возникло это безобразие?

— Что вы называете безобразием? — оглушительно рявкнул Ермасов.

— Товарищ Ермасов! Давайте по порядку...— Председательствующий, первый секретарь обкома Эрсарыев, постучал по столу карандашом.

— Нет, во-первых, объяснения причин,— продолжал Хорев,— откуда взялось такое количество поврежденной техники. Во-вторых, кто виноват в этом безобразии. Я называю это безобразием, не знаю, как другие. Устроили кладбище! Хоронят раньше времени драгоценнейшие государственные механизмы.

— Верно, безобразие,— сказал Ермасов.— Дальше, дальше! Рожайте мысль!

— Мысль простая: кто виноват и что делать? Два, как говорится, вечных вопроса...

Опять встал председатель комиссии, высокий старик в очках, и принялся объяснять. Хорев с ним спорил. Председатель комиссии объяснял деликатно, немного пришибленным тоном.

— Мы, собственно, не ставили задачей делать исторический анализ. Нам казалось, объективная картина...

— От вас ждали другого! — гремел Хорев.— От вас ждали принципиальной, партийной оценки явления, а вы ушли в кусты. Кого вы побоялись? Товарища Ермасова? Не хотели гладить против шерсти? А придется! Придется высказаться, товарищ Уманский...

— Да ты сам выскажись,— сказал Ермасов.— В чем причина, по-твоему?

Хорев помолчал, жуя губами, лицо его побледнело.

— Степан Иванович, я бы попросил не говорить мне «ты»,— это не украшает вас...

— Ладно, не буду, извиняйте. В чем причину вы видите?

— В том, что с самого начала строительства вы пошли по неправильному, порочному пути — нарушения проекта. Отсюда все качества. Отсюда армия ненужных, раскулаченных скреперов, отсюда эксплуатация механизмов на износ, отсюда это знаменитое кладбище. Вот о чем надо говорить прямо!

Затем вспыхнул спор между Хоревым и Гохбергом. Я не все понимал в этом споре — слишком много было техники, специальных слов, упоминаний вскользь о чем-то мне неизвестном,— но по мере того, как в водоворот втягивались новые люди, я все отчетливее видел, как размежевывались силы. С одной стороны были Ермасов и руководители Пионерной конторы, с другой — Хорев и приехавшие из Ашхабада работники управления, три человека, один из которых был мой знакомый Нияздурдыев.

Эрсарыев пока что молчал и внимательно слушал, изредка что-то записывая. Члены бюро обкома — среди них было несколько почтенных пожилых, с орденами на пиджаках, вероятно, председатели колхозов,— тоже держались молчаливо и непроницаемо, и непонятно было, на чьей они стороне. Скорей всего они, так же как и я, были не очень-то в курсе дела. Ермасов тоже был, кажется, членом обкома. Мне нравился Ермасов. В его лобастом, с мешковатыми щеками, курносом, старом лице была какая-то непередаваемая, наивная открытость: все чувства, едва родившись, мгновенно отпечатывались на нем. Такая открытость бывает у детей и людей, одержимых страстью. Когда Ермасов кричал на Хорева, тыча в его сторону кулаком: «А это принципиальность, по-твоему: соглашаться со всем, а потом — нож в спину?» — я видел, что гнев распирает его настолько, что, не будь тут стола, он бы схватился с начальником «Восточного плеча» врукопашную. И когда он притрагивался к сердцу ладонью и тут же испуганно отдергивал ее, боясь, что этот жест заметят, и на его лице мелькало выражение досады и боли, я видел, что все это неподдельное и что у него действительно болит сердце, и он стыдится своей старости и своей слабости. Когда, устав от крика, вытирая ладонью слезящиеся глаза, он сказал тихо, ослабшим голосом: «Да черт вас возьми, я ведь одного хочу: скорее вернуть народу его деньги, его миллионы. Понимаете? Скорей пустить воду»,—

меня эти слова как будто пронзили. Потому что я понял, что это на самом деле то, чего он больше всего хочет в жизни.

У меня тоже слезились глаза от табачного дыма. Все двадцать человек курили беспрестанно. За окном был темный, ненастный день, с утра сочился дождь. В синем стекле отражались горящие лампы под матовыми абажурами.

Иногда меня поражало ощущение странности всего происходящего. Споры были почти непонятны, хотя я слушал их с интересом. Но мне делалось неуютно от одной мысли о том, что я тоже должен вдруг встать и начать что-то говорить. Кому? Им, опытным инженерам, вождям стройки, спорящим о своем сложном, гигантском деле. Хуже всего было то, что присутствующие, очевидно, знали, что я корреспондент газеты, и не какой-нибудь случайной газеты, а той самой, что напечатала статью, с которой все началось. И они посматривали на меня с интересом и, конечно, ждали моего выступления.

Эрсарыев перед началом заседания поздоровался со мной и крепко пожал руку. Видимо, тоже рассчитывал на мое выступление, но в каком духе? Как я понимал, спор шел о вещах более крупных, чем положение дел в ремонтных мастерских. Ермасова и Карабаша обвиняли в том, что они, не считаясь с проектом, не считаясь с завезенной техникой, строили канал по-своему. Хорев и представители управления требовали жестокого наказания руководителей Пионерной конторы. Но спор шел, наверное, еще и о чем-то другом, гораздо более значительном. И вот я старался вникнуть в это «гораздо более значительное», уловить его, расслышать в потоках слов, потому что это было самое главное и понятное и то, что меня волновало, но было ли это здесь? Был ли тот водораздел, который разделяет людей по самому великому счету? Может, мне все это чудилось? Меня переполняла эта тема, я слышал ее повсюду, даже там, где не было ничего, кроме простенького мотивчика...

— Нет, нам не все равно, какой ценой выполняется план,— говорил Нияздурдыев.— И не всякое новаторство нас устраивает. Если это новаторство за счет угробления техники...

Карабаш и Гохберг читали что-то длинное, изложенное на многих страницах невероятно тяжелым инженерным языком: нечто вроде родословной каждого скрепера, экскаватора и трактора, которые находились в ма-

стерских. Они доказывали, что скреперы вовсе не годятся для песков, а тракторы и экскаваторы сделали свое дело и списаны законно. Хорев кричал грозно: «Значит, вы отметаете выступление партийной печати?!» Нацепив очки, он декламировал цитаты из Сашки:

— «До каких пор бесхозяйственность и безответственность будут царить...»

— Хотите уйти от ответственности, дорогие друзья? — спрашивал Нияздурдыев.

— Да за одно такое отношение к критике надо влепить им по строгачу! — воскликнул другой представитель управления.— И напрашивается вывод: а могут ли подобные руководители оставаться во главе?..

Карабашу и Гохбергу было худо. Я чувствовал, что настает мое время, но с чего начать? Реплика Хорева неожиданно подтолкнула меня:

— Товарищи, здесь присутствует корреспондент газеты, которого, конечно, интересует, какие выводы сделали мы, строители, из той справедливой критики...

Я вдруг встал с ненужной поспешностью и, прервав Хорева, заговорил:

— Корреспондент — это я! — Все обернулись ко мне. Я увидел внимательные, настороженные лица, а Ермасов смотрел откровенно злобно.— Видите ли, я не являюсь автором этой самой кладбищенской статьи, то есть не кладбищенской, естественно, а насчет, так сказать, кладбища механизмов имени товарища Гохберга — такое острое название... Но должен сказать следующее. Эту статью написал наш работник Зурабов. Он был на стройке, собрал большой материал и написал довольно интересно и вообще, так сказать, остро. Но! Тут есть одно «но»! — Я всегда ненавидел дурацкое выражение «есть одно «но» и издевался над ораторами, которые его применяют, и вдруг применил его сам, черт меня знает почему.— Это «но» заключается в том, что нельзя о большом явлении, большом деле, вот таком, например, как ваша стройка, писать односторонне, отмечая только недостатки. Такой односторонностью страдала статья Зурабова, и наш коллектив признал ее малоудачной и не вполне, ну, что ли, добросовестной... Передаю мнение и нашего редактора, товарища Диомидова, который был в отъезде, когда статья печаталась, а заместитель редактора понес полную и, так сказать, довольно тяжелую ответственность... Вот это я считаю долгом вам сообщить.

Я сел. Кажется, я всех удивил. На меня глядели озадаченно. Вдруг меня что-то подняло вновь, какой-то порыв, второе дыхание, я встал и заговорил:

— Товарищи, я не строитель, не ирригатор, но что я хотел еще сказать: давайте поглядим на конфликт, который мы разбираем сегодня, более широко и, так сказать, исторически. Ведь этот конфликт — тоже одно из следствий недавних больших событий в стране. Люди распрямились, люди стараются работать лучше, изобретательнее, идут на риск ради дела, а не ради своего благополучия. Нет ничего опасней догмы — религиозной, философской или даже догмы в виде проекта оросительного канала...

В таком духе я говорил минут десять. По-моему, я говорил очень спокойно. Меня слушали молча и внимательно, и после того, как я кончил, несколько секунд длилось молчание, и затем встал один из председателей колхозов и начал рассказывать, как много сделал Ермасов для местных колхозников: увеличил оросительную сеть, построил новые колодцы. Оказывается, Ермасов сконструировал какой-то особый колодец с оригинальным насосом, очень выгодный для песков. Каракумские скотоводы благодарят Ермасова.

Хорев крикнул:

— Но это не имеет отношения к вопросу!..

Я вынул платок и вытер вспотевшие щеки.

Дальнейшую часть заседания я слушал плохо, потому что все еще переживал свою речь. Мне казалось, что я говорил слишком длинно и общо и не произвел нужного впечатления. Потом выступили еще один председатель колхоза, директор ремонтного завода, потом один экскаваторщик с трассы, все они защищали Карабаша. И, наконец, взял слово Эрсарыев. Тут я немного пришел в себя и стал вникать в то, что говорилось.

— Как бы вы, товарищи, ни защищали Карабаша и Гохберга, как бы ни расписывали их достоинства и добродетели, я должен сказать, что считаю их виновными. Скреперы в сыпучих грунтах работать не могут, и поэтому, как вы помните, предполагалось сначала смачивать грунт, а потом уж вырабатывать его скреперами. Так?

— Совершенно правильно,— сказал замначальника управления.

— Вы помните, товарищи, как мы мучались с трубами для смачивания грунта? Водопровод шел впереди

фронта работ на десять — двенадцать километров. Чтобы таким, как говорится, макаром построить канал — сколько лет потребовалось бы, товарищ Ермасов?

— Лет восемь — десять,— сказал Ермасов.

— Меред Акбарович, это давно пройденный этап! — крикнул, приподнимаясь с места, Хорев.— Зачем вспоминать?

— Вспоминаю к тому, чтобы объяснить: нет, не в том вина Карабаша и Гохберга, что они поставили на прикол скреперы. И не в том, что использовали скреперы как могли и сняли их с тракторов. Надо было выручать стройку. Вина их вот в чем: нашли новое, прогрессивное — да? Родился в муках, в спорах какой-то новый удачный метод — так? Очень хорошо. Но что вы, как коммунисты, сделали для того, чтобы распространить опыт бульдозерной работы? Как пропагандировали его? Что сделали, чтобы бульдозеры работали не только в Пионерном отряде? Ничего не сделали. Не выступили ни в нашей областной, ни в ашхабадской газетах. С некоторыми товарищами из управления и Института водного хозяйства у вас, как известно, отношения натянутые. Но начальник управления товарищ Атамурадов сам мне жаловался: «Хочу, говорит, помочь Ермасову, знаю о его затруднениях, но он нас вовсе игнорирует. Норовит через нашу голову действовать. Поневоле, говорит, руки опускаются».

— А пускай он себе дельных работников подбирает,— проворчал Ермасов.

— Степан Иванович, но ведь и к нам в обком ты почти ни разу не обращался за помощью. На далекое путешествие, в Америку например, у Степана Ивановича времени хватило, а вот пройти два квартала пешком, из треста в обком партии, ему часто недосуг. Я понимаю, он большой человек, разговаривает прямо с Ашхабадом и с Москвой, но все-таки и свою родную область надо уважать немножко больше. Надо ставить в известность о положении дел. Здесь присутствует корреспондент газеты: я настоятельно рекомендую вам заказать Карабашу и Гохбергу большую статью, обобщающую опыт...

Вот так неожиданно все это кончилось.

Гохберг и Карабаш могли спокойно возвращаться в контору, им ничто не грозило, кроме необходимости писать большую статью. Я выскочил в коридор, нашел Искандерова.

— Ну, как я? Не очень замысловато?

— Ничего! — сказал он.— Здорово! Как Мочалов в роли Чацкого, с такой же страстью...

Искандеров шутил, подмигивал, милый парень, а мне хотелось бы знать всерьез. Я вернулся из коридора в комнату. Ермасов и Эрсарыев о чем-то спорили, стоя возле стола. А Карабаш и Гохберг смотрели на них издали, сидя за опустелым столом, на котором еще чадили окурки и валялись обломанные карандаши и исчерканные, изрисованные вкривь и вкось листы бумаги. Когда Эрсарыев ушел, Ермасов сел на его место. Я подошел к нему. Его лицо было мокро, воротник рубашки расстегнут, и петля галстука сползла вниз.

Я спросил, смогу ли я уехать завтра на трассу. Мне нужно уехать как можно скорее.

Он поглядел как-то косо, устало и усмехнулся.

— Машину подай, а потом напишете невесть что...

— Невесть что не будет,— сказал я.

— Тогда ладно. Договорились.— Он протянул мне руку и ухмыльнулся.— А здорово вы врезали насчет догматизма! Молодец! В половине девятого подходите к гаражу.

Карабаш и Гохберг смотрели на меня, странно улыбаясь. Я пожал им руки и пошел к выходу. Ермасов вдруг окликнул меня:

— Послушайте... как вас? Пойдемте ко мне пить чай? Хотите?

— Пойдемте,— сказал я.

— А вы как?

— Мы не можем, Степан Иванович,— сказал Карабаш.— Некогда, надо ехать.

— И, откровенно говоря,— сказал Гохберг, радостно улыбаясь,— настолько трещит и разламывается голова, что просто не до чая. До чего-нибудь другого — да! Но до чая — нет!

В машине, где было холодно и дождь лупил по крыше, по брезентовым боковинам, и брызги залетали внутрь, и то и дело подбрасывало, потому что сквозь ветровое стекло, залепленное дождем, шофер скверно видел дорогу, Карабаш и Гохберг возбужденно кричали, вспоминая заседание. Перед выездом они хлебнули коньяку, чтобы восстановить силы перед дорогой. Ехать предстояло много часов, может быть, всю ночь.

Карабаш и Гохберг кричали наперебой, как будто то-

ропясь ответить на вопрос шофера: «Ну что там было?» Но рассказывали они главным образом друг другу.

Они хохотали, как подростки, вспоминая всех по очереди. Их потряс корреспондент. Они говорили о нем с восторгом.

— И вдруг встает... Вы слишите? — Гохберг шлепал шофера по плечу.— Встает парень, такой невзрачный, в немецком гороховом пиджачишке, в ковбойке...

— Почему невзрачный? — сказал Карабаш.— С меня ростом.

— Да, но какой-то несолидный. В ковбойке. У нас машинисты лучше одеваются.

— Да разве в этом дело?

— Я понимаю! И говорит: мы, говорит, члены редколлегии, считаем эту статью неудачной...

— Нет, он сказал: недобросовестной.

— Да, да, недобросовестной! Выразился мягко, потому что нельзя же, честь мундира...

— Но у Хорева сразу челюсть отвисла!

— Ха-ха!

— Как его фамилия? — спросил шофер.

— Корешков,— сказал Гохберг.

— Нет, Коршунов,— сказал Карабаш.— Или, может быть, Кошелев.

— В общем, я его знаю,— сказал шофер.

— Ну и после него — пошло!

— Естественное дело! А как вы думали? — кричал Гохберг.— Ведь он выбил у них почву из-под ног! Одним ударом — бац,— и они дрыгают ножками. Денис, вы поняли?

Денис молча кивнул, глядя на дорогу, которая была чуть видна: радиатор толкал перед собой клубящееся, озаренное фарами облако дождя. Да, он понял: они спаслись. И не только спаслись, но выиграли дело и сейчас на седьмом небе от радости. Они выиграли дело. Вся штука в том, чтобы иметь дело, которое стоит выигрывать. Однажды в такую же гнусную ночь, в марте, он возвращался в Альтону после большого выигрыша — что-то около девятисот марок,— и у него было чудесное настроение, всю дорогу он слушал музыку, но был туман и видимость хуже сегодняшней, и на переезде случился карамболяж — четырнадцать машин наскочили одна на другую, как бильярдные шары. И он потерял машину, и девятьсот марок, и все, что у него было. На другой день он был нищ, как крыса. Вот где была пусты-

ня! Самая настоящая пустыня, набитая людьми. А еще через день он открыл газ в своем номере в пансионате «Каиро». Потому что жить было не на что и, главное, незачем. Его вытащили, но суть не в том. Суть в том, что надо жить для дела, не для делишек. Дело больше человека, больше его жизни. Дело — это для всех. Но там этого не знают. Там живут для делишек, иначе не могут. Делишки в двадцать марок или в два миллиона — какая разница?

А эти ребята не выиграли ни гроша, они выиграли общее дело, огромное дело. И радуются, как черти. Это здорово радостно, когда выигрываешь такое дело. Да он, собственно говоря, тоже радуется. А что же? Ему тоже интересно, чем кончится вся эта история с каналом. Ей-богу, это его дело ничуть не меньше, чем их. И он радуется тоже.

— Денис, вы поняли? — кричит Гохберг.

— Понял, понял,— сказал Денис.— Чего тут понимать?

Утром в половине девятого я подошел к гаражу треста. Машины на улице не было, и я зашел во двор. Диспетчер, рябой, с бабьим лицом азербайджанец, играл в нарды с рабочим, сидя под навесом. Дождь недавно кончился. Во дворе стояли лужи, черные от мазута. Диспетчер сказал, что где-то в районе озер прорвало дамбы и все свободные машины ушли на трассу. Машина «ГАЗ-57», на которой я должен был ехать вместе с работниками орса, ушла час назад.

Карабаш и Гохберг, отправив вперед Дениса, остались ночевать в Третьем. Когда на рассвете они примчались к озерам, брешь в юго-восточной части дамбы была уже значительной и вода залила большое пространство. Газик несчастного Дениса Кузнецова стоял в воде до крыльев. Его оттаскивали трактором. За рулем в кабине газика сидел незнакомый парень, а еще один, в ватнике, в казашьем треухе, стоял по колено в воде, возился с тросом, и они оба и тракторист отчаянно матерились. Что-то у них не ладилось. Срывался трос. На бархане, где было сухо, стоял Смирнов — без шапки, в расстегнутом плаще — и, размахивая руками, кричал: «Скажи, чтобы влево! Черт глухой! Выворачивай!» Лицо у него было шалое, глаза лихорадочные, проваленные.

Карабаш выскочил из машины.

— Где Кузнецов?

Шофер лежал на брезентовой полости на верху бархана. Вся его одежда и сапоги были насквозь мокрые, облеплены песком, и на брезенте было много воды, которая натекла с одежды. Лицо его уже посинело. Оттого, что кепка закрывала лоб и глаза, и еще оттого, что лицо было совершенно бескровным, оно показалось Карабашу неузнаваемым. Он смотрел на шофера с каким-то диким недоумением: несколько часов назад этот человек сидел с ним рядом!

Смирнов, подбежав, рассказывал: Гусейн с автолавкой выехал рано в Третий отряд и по дороге наткнулся на карабашевский газик, он вот тут же и стоял, а дамбу уже пробило. Гусейн — обратно в поселок, поднял тревогу. А то, что «козел» был пустой, без шофера, ему сразу и невдомек. Когда приехали, хватились: где Кузнецов? Глядят, а он в воде плавает, его волной вон куда снесло. Непонятно только, как его из кабины выбросило? Живой человек, почему не спасся?

Подошел парень в треухе:

— Может, пьяный был?

Карабаш смотрел на белые, обметанные смертью губы шофера, застывшие в том выражении, какое бывает у человека, когда он лишь открывает рот для крика. Левая рука Дениса была согнута и лежала ладонью вверх. Он кричал беззвучное, чего никто услышать не мог.

Смирнов бормотал трясущимися губами:

— Ниязов в Керках, вас нет... Пришлось взять команду... Делали искусственное дыхание, ложили на живот, воды совсем мало вышло, один песок. Тут темное дело... Я в Сагамет послал за милицией.— И вдруг, треснувшим голосом: — А теперь вы видите, Алексей Михайлович, что ваши окольцовочные дамбы...

Гохберг закричал:

— Дураки, о чем вы говорите? Этот человек спасал стройку, вы поняли? Вы поняли, что тут было? Он увидел, как рвет дамбу, бросил машину, подбежал, пытался заткнуть брешь,— ведь это кажется пустяком, начинается снизу, пузырится почва, а внутри уже все прорыто, все рухнуло,— и тут его накрыло с пяти метров. Вот что тут было!

«Половина ночи разделила нас,— думал Карабаш.— И вот я не могу его узнать, потому что он стал другим. Этот человек с синими руками, который лежит тут на

брезенте, совсем не тот, с кем я ехал несколько часов назад. Этот человек спасал стройку, а тот был не способен на такие дела. Этот человек — герой, а тот был темный неудачник».

Карабаш нагнулся, накрыл мертвого краем брезента.

— Понесли на машину...

Ветер пробил облака на востоке, и в проеме, в свинцовой синеве всплыло солнце: его зимний холодный свет зажегся на гребнях барханов, покрытых панцирем застывшего песка, заблестел на воде, разлившейся широким озером за дамбой. Вода уже залила дорогу. Она уходила в пески.

Только сейчас, глядя на это огромное, зловеще тихое, живое тело воды,— да, оно жило, двигалось, незаметно для глаз, но страшно, стремительно, с каждой секундой все больше набираясь мощи и все дальше вырываясь из-под власти людей,— только сейчас Карабаш ощутил вдруг всем существом, сжавшимся сердцем, спазмой, стеснившей горло, величину катастрофы. Рухнули усилия многих лет, тысяч людей. Вернуть воду немыслимо, она уже далеко за барханами, несется на юг.

Два трактора никчемно ворочались в воде, третий продолжал тащить газик. Разве это сейчас важно? Через два часа здесь будут Ермасов, Хорев, Нияздурдыев и все остальные.

Карабаш все еще держал край брезента, на котором лежало тело Кузнецова, и чуть было не выпустил брезент из рук. Смирнов подскочил, подхватил сзади.

— Что с вами?

Дениса положили в кузов грузовика, на котором Карабаш и Гохберг приехали из Третьего. Потом тут же, на бархане, устроили совещание: Гохберг, Карабаш, Смирнов и Байнуров. Вокруг стояли трактористы, угрюмо слушали.

Причины прорыва были пока неясны. Скорей всего строители не учли разгона волны на озере. Зимою тут сильные ветры, окольцовочную дамбу прорвало волной. Недостаточно пологие откосы. Кто виноват? Откосы закладывались согласно проекту. Почему согласно проекту? А как же: один к четырем. А ваши окольцовочные дамбы тоже согласно проекту? Дамбы нет, а откосы согласно проекту, один к четырем, а надо было закладывать один к десяти. Не время спорить! К черту

«кто виноват»! Что делать? Что делать? Кто виноват — разберемся после. Что делать?

— Нагнать бульдозеры и бросить к месту прорыва,— предложил Байнуров.

— Ничего не даст. Вода снесет песок, сейчас уже поздно,— сказал Гохберг.— Надо перекрывать канал.

— Да, придется перекрывать,— сказал Карабаш.— Другого выхода нет. Вот здесь, примерно на двести восемнадцатом, есть удобное место.— Карабаш ткнул пальцем в карту.— Для того чтобы ослабить напор, можно найти лощину и сделать отвод...

— Тут есть отличная лощина на двести шестом! — сказал Гохберг.

Так на бархане, на ледяном ветру, было принято это молниеносное решение. Смирнов сейчас же помчался в поселок, а Байнуров — в Третий отряд, для того чтобы срочно выслать бульдозеры. Пока они сюда доползут, пройдет много часов. Смирнов уехал на машине, которая повезла Дениса, а Байнуров — на газике Карабаша.

— Что будем делать, Алексей Михайлович? — спросили трактористы. Их было четверо. Они оказались поблизости случайно, работали на резервной дамбе. Все четверо были молодые ребята, два русских, два туркмена. Лица были знакомые, но фамилий Карабаш не помнил.

Они глядели преданно, с сочувствием и в то же время с каким-то жадным испугом.

— Тут делать нечего,— сказал Карабаш.— Ползите на двести восемнадцатый, там будем перемычку сыпать. Чего вы так смотрите? Испугались?

— Да нет, чего пугаться,— сказал один из трактористов.— Мужика жалко...

— Да. Жалко.

— По пьянке?

— Не иначе...

— Нет,— сказал Карабаш.— Твердо вам говорю: нет. Потому что ехал вместе с ним из Маров и знаю. Все, между прочим, считали, что он некудышный человек, алкоголик, а он вон какой оказался.

— Свою жизнь не жалел,— сказал тракторист-туркмен.

— Это да, конечно,— сказал первый парень.— Но то, что алкаш,— это точно. В запрошлое воскресенье сам видел, как он в Сагамете набухался...

Они пошли к своим машинам, продолжая рассуждать

о шофере, которого они жалели искренне и горько. Солнце поднималось все выше. Пустыня светлела. Мощным потоком, все шире размывая дамбу, выкатывалась густая и тяжелая, блестевшая на солнце амударьинская вода, с бессмысленной злобной поспешностью устремляясь в пустыню, а Карабашу казалось, что это кровь хлещет из его жил, и нельзя остановить ее, и он слабеет, безнадежно слабеет, теряя такую массу крови, у него кружится голова, ноги подгибаются...

Он сел на песок. Второй раз сегодня эта дурацкая слабость.

Подошел Гохберг, взял его руку.

— Алеша, вам плохо?

— Нет. Я в порядке,— сказал Карабаш, помотав головой.— Я просто сел. Вы тоже можете сесть...

Гохберг тоже сел рядом. Он все еще держал его руку.

— Мне представилась такая вещь,— сказал Карабаш,— что вот через четыре месяца здесь опять будет лето, сушь, голые барханы и ни капли воды. Как тыщу лет назад. А, весело?

— Чепуха. Кошмар какой-то,— сказал Гохберг и вытащил из кармана фляжку с коньяком.— Выпейте, Алеша! Вы неважно выглядите...

Карабаш отхлебнул коньяку и посидел две секунды, покачиваясь, с зажмуренными глазами, потом поднялся — резко, одним движением.

Слово «прорыв» неслось по трассе с быстротой «афганца». Оно гремело в палатках, в забоях, бушевало в эфире. К 218-му километру мчались с востока и с запада машины, летело начальство на вертолетах, ползли бульдозеры с поднятыми ножами — как пехотинцы, готовые к штыковому бою. Из Третьего отряда Байнуров распорядился бросить на прорыв все наличные бульдозеры, кроме двух машин. С каждым трактором должны были отправиться два сменщика, чтобы машины работали бесперебойно, днем и ночью.

Ребята одевались потеплее, брали чемоданчики, заплечные мешки со сменой белья, с табаком, едой. В большую будку, где жили шестеро, вошел Нагаев.

— Ну, кто едет?

— Все едем. Вон Сапарыч уже в забой побежал! — сказал Беки.

— А вы с экскаватором своим потащитесь, что ли?

— Нам Байнуров трактор дает,— сказал Иван.— С экскаватором там делать нечего. Сейчас прямо до поселка, берем трактор с ножом — и на двести восемнадцатый, айда! Я его за грудь взял: «Товарищ, говорю, Байнуров, если вы нас с Бекишкой на прорыв не кинете, отставите в сторону, будет вам провал и разоренье! Без нас, говорю, даже не мыслите...»

Беки смеялся, влезая в огромные ватные штаны. Все двигались суматошливо, нервно кидали вещи, переругивались беззлобно. Нагаев глядел на эту суету, перекатывая в желтых зубах окурок.

— Ты что стоишь? — спросил Егерс.

— Я вот что: как оплачивать будут? Ведь тут дней пять, не менее.

— А кто их знает!

— Оплатят, не боись...

— Не за спасибо ж...

Отвечали рассеянно. Иван орал:

— Эй, турки, кто мою фуфайку упер?

— Мое мнение такое,— сказал Нагаев.— В связи, значит, что работа сверхурочная, в тяжелых условиях, и мы не обязаны,— верно?

— Чего не обязаны? — спросил Иван.

— Не обязаны вообще.

— Ну, ну?

— Пускай наряды по высшей расценке выписывают. По полтиннику за куб.

Иван махнул рукой:

— Ничего не выйдет.

— Ни к чему такие дела,— сказал Егерс.

— Выйти-то выйдет,— сказал Нагаев и выплюнул окурок.— Потому что они схвачены, у них исхода нет. Они и больше дадут, только зачем уродничать? Лишнего мне не надо. А по полтиннику — законно.

— Почему ж у них исхода нет? — спросил Богаэддин.

— Потому что дров наломали со своей окольцовкой, вот почему. А теперь им знаете какая кара грозит? Ха-ха! — Он присвистнул.— Неужели ж они будут в таком случае копейку беречь? Тем более государственную? Их сейчас того гляди захомутают.

Суета в будке приостановилась. Все вдруг замерли и уставились на Нагаева. Иван сказал хмуро:

— Ежели захомутают, значит, выручать надо.

— Кого выручать? Ты за них не волнуйся.

— Надо, надо выручать,— сказал Егерс.— Ты не болтай, Семеныч.

— Ну и выручайте, аллах с вами. А я свой труд ценю. Нема дурных зазря шею ломать.— И Нагаев вышел из будки.

Когда он скрылся за дверью, оказалось, что за его спиной стоял Марютин. Он перешагнул порог и, пригнувшись как бы затем, чтобы сесть на корточки, но, не садясь, заговорил нетвердо:

— Семеныч дело говорит... Вопрос сурьезный...

— Да брось трепаться! — со злобой прервал его Беки.— Какой тут вопрос? Ясно, нажиться задумали за счет прорыва. Зараза, кусошники паразитские. Беги отсюда, а то...— И, проворно подскочив к Марютину, схватил того правой рукой за ворот.

— Пусти, уйди... черт, чечмек! — забормотал Марютин, обеими руками стараясь стряхнуть руку Беки.— Я что говорю? Аманыч! Ты слышь?..— Наконец ему удалось освободиться, вернее, Беки отпустил его, но Марютин не бросился бежать вон из будки и не стал отвечать на оскорбления, а, опустившись на корточки, заговорил довольно мирно, обращаясь к сменщику: — Аманыч, ты как? Я человек неспорный, ты мне сразу скажи... Собираться, что ли?

Но тут и говорить было нечего: Чары Аманов уже собрался, был в меховой шапке, в рукавицах, в брезентовом длинном плаще с капюшоном, надетом поверх ватника. В руке он держал хурджун — небольшую сумку, из которой торчало горлышко медного чайника.

— Пошли, Демидыч,— тихо сказал он и, не глядя ни на кого, вышел из будки.

Марютин встал и вышел за ним.

Бульдозер Сапарова грохотал, выбираясь из забоя. Один за другим ребята выходили на волю, где дул ледяной ветер и тяжелый зимний песок летел с шипением.

К ребятам подбежала Марина:

— Эй, вы! Знаете, Семеныч ехать отказывается.

— Ну и черт с ним,— сказал Иван.

— С Байнуровым чего-то заспорил насчет нарядов, вот дурачок-то! Ребята, вы скажите ему...

— А чего с ним говорить?

— Пошел он куда подальше...

Байнуров стоял возле грузовика «ГАЗ-63», на котором приехал утром, а сейчас собирался везти Ивана и Беки в поселок, и кричал издали:

— Скорей, скорей!

Сменщики побежали к машине.

Бульдозер Сапарова выбрался из забоя и теперь на полном ходу шел по нижней дороге, огибающей бархан, к поселку. Марина смотрела на уходящий трактор, на сапаровского сменщика, долговязого туркмена, который, выглядывая из кабины, махал рукой в большой черной рукавице, и недоброе, тревожное чувство, близкое к смятению, охватило ее. Тревога возникла с утра, с той минуты, когда приехал Байнуров и раздалось слово «прорыв». Но то была тревога всеобщая, жутковатая и чем-то веселящая душу, как приближение грозы, а эта, возникшая сейчас, была совсем особая и по-настоящему страшная, потому что она касалась ее одной. И она испугалась. Она почувствовала свое одиночество в этой суматохе и беготне мужчин, как будто охваченных паникой. Никто не хотел ее слушать. Никто не мог понять того, что происходило между нею и Семенычем, этим чертом упрямым, ненормальным. Его упрямство делало ее бешеной. Они подрались, мгновенно вспыхнув: ей хотелось поехать с ребятами на прорыв, а он говорил — нет, не поедешь. Потому что он поругался с Байнуровым. Ну и что ж? Не ее ума дело. Ее дело молчать в тряпочку, потому что она еще не машинист, а сопля голландская, а рычагами двигать и обезьяну научить можно. И тогда она крикнула ему, чтобы он, жмот, подавился своими деньгами и книжками (это была неправда, она знала, что он не такой, но все говорили про него так, и он приходил в ярость, когда слышал), и он ударил ее ногой не очень сильно, но оскорбительно. Она ему покрепче, ну и он еще, и она еще, отец разнимал. Потом Нагаев с отцом ушли куда-то, а она осталась в будке и чуть не плакала от досады. Из-за чего подрались? С какой радости? Она могла бы, конечно, и не ехать с ребятами, не в том дело, а только обидно: почему всегда по его и никогда по ее?

Байнуров сел в кабину грузовика, захлопнул дверцу, а Иван и Беки уже забирались сзади, карабкаясь через скаты, в кузов.

Марина побежала к машине. Если бы она замешкалась на минуту, не кинулась к Байнурову, не остановила машину — шофер уже включил зажигание,— все могло быть иначе. Вся жизнь Марины сложилась бы, наверно, иначе.

Она забарабанила в стекло, и Байнуров открыл дверцу. Она спросила:

— Николай Мередович, вы говорили с моим? Знаете, что он не едет?

— Да, знаю, знаю,— сказал Байнуров нетерпеливо.— У меня времени нет. Вы понимаете, что значит прорыв дамбы? Понимаете, что под угрозой судьба стройки и дорога каждая минута?

Он захлопнул дверцу. Марина рванула ручку.

— Я понимаю,— сказала она,— но вы тоже поймите, что если он такой баран, такой упрямый, как чурка, вы должны ему мозги вправить...

— Некогда мне его мозгами заниматься! — закричал Байнуров.— Он, во-первых, не баран, а мелкий собственник и шкурник. Решил руки погреть! Я его давно понял! И не желаю с ним разговаривать! Один бульдозер здесь остается, пускай будет ваш. А вам что нужно?

— Мне нужно...— Лицо Марины до корней волос залилось краской и стало вдруг таким глупым, девчачьим, каким было когда-то.— Я хочу на прорыв с ребятами. Можно бульдозер взять?

Из будки вышел Нагаев и стал медленно спускаться по склону. Байнуров вылез из кабины, заговорил громко:

— Вот это правильно решили, Марютина. Это по-комсомольски. Дадим опытного сменщика...

— Куда это? Кому? — спросил Нагаев.

— Сень, ну, поедем с ребятами! Ну прошу тебя...— дрогнувшим голосом заговорила Марина. Еще пять минут назад она клялась себе, что никогда не заговорит с ним первая: так его ненавидела. А сейчас вдруг увидела, как он спускается по бархану, такой одинокий, худющий, лицо темное, ни на кого не глядит, и сердце ее сжалось. Ведь не такой же он, как думают, не такой! — Сень, неужто в тебе совести нет? Вот и отец с Аманычем в забой побежали...

— Зачем шуметь? Зачем крик подымать? — сказал Нагаев, угрюмо глядя на Марину, а остальных словно не видя. Но говорил-то он, обращаясь к остальным, а не к Марине, и чем дальше говорил, тем все более глухо ожесточался.— Ну, спросил насчет расценок — имею право. Потому что свой труд ценю. Что особенного? Я от работы сроду не бегал, хоть ночью, хоть когда. Зачем такое дело делать — криком кричать?

Он схватил Марину за локоть.

— Пошли! Нечего тут лалакать...

— Нет, Сеня, я наш бульдозер возьму.

— Не будет этого.

— Почему не будет? — крикнул Беки, прыгая через борт на землю.

За ним спрыгнул Иван. И тут же подошли откуда-то Мартын Егерс с Богаэддином.

— Сука позорная,— сказал Богаэддин, подходя вплотную к Нагаеву.— Думает, что его бульдозер! Твой бульдозер, что ли? Собственный?

— Эх, Семеныч! — сказал Егерс.

— Ребята, ребята! — крикнул Байнуров из кабины.— У нас времени нет!

— Ведь мы тебя до забоя не допустим, понял? — сказал Богаэддин.— Из кабины выкинем, понял?

Кажется, Нагаев начал понимать. Он должен был что-то ответить, но не мог заставить себя разжать зубы.

— Выкинуть его! — крикнул Беки.— Не давать ему бульдозер!

— Отнять у него бульдозер!

— Пускай в другой отряд валится. Гнать его, куркуля!

Все это кидали злобно, открыто ему в лицо. Нагаев смотрел в яростные глаза своих бывших приятелей, тех, кто уважал его, кто слушал его советы, кто занимал у него деньги, кто завидовал ему, кто пил с ним вино, и видел, что пощады не будет, и сердце его колотилось, и он знал, что надо повиниться, упасть, унизить себя, крикнуть отчаянно: «Братцы, да я хоть сейчас готов! Не нужны мне деньги! Что ж я, сволочь, не понимаю, какое дело? Ну болтанул по глупости, по жадности, простить-то можно?..» Но вместо этого, что было правдой, что он действительно кричал, раздирая легкие, но беззвучно, но так, что никто не слышал, вместо этого он процедил побелевшими губами:

— Если кто к машине подойдет, убью.

И, отпихнув плечом Богаэддина, пошел к забою. Но Богаэддин догнал его, и на пути его встал Иван Бринько, а здоровенный латыш приставил ладонь к его груди и сказал:

— Стоп.

Нагаев оглядел всех троих, увидел подбегающую Марину, усмехнулся:

— Проститутки, все на одного...

Марина схватила его за правую руку. Боялась, что начнет драться. Он оттолкнул ее.

— Ну, все! — сказал Богаэддин.— До забоя тебя не допускаем!

— А леший с вами! — Нагаев повернулся и быстро, размахивая руками, побежал к своей будке. Поднявшись на несколько шагов, крикнул: — Иди вон вещи укладывай! Сегодня расчет берем!

— Ой, дурак, ой, дурак...— плачущим голосом сказала Марина и закрыла ладонями глаза.

Так простился со стройкой Семен Нагаев. Он уехал через полтора часа на попутной машине, которая мчалась из Маров, везя на прорыв какое-то начальство. На бывшем нагаевском бульдозере уехали Иван Бринько с Беки Эсеновым — Нагаев обогнал их по дороге,— а Марина тряслась в кабине грузовика «ГАЗ-63», рядом с Байнуровым, и, отвернувшись, смотрела в окно на темные холмы песка, темные кустики, убегающие назад, и слезы душили ее, она вытирала ладонями щеки, и жизнь казалась ей искалеченной, разбитой навсегда.

Ермасова в тресте не было. Я побежал к нему домой. Он собирался на аэродром, а оттуда на трассу, вертолетом. Мария Никитична, его жена, черноглазая, худенькая старушка с восковыми ручками, со слабым голосом, чем-то очень больная,— я познакомился с нею вчера и пил чай с абрикосовым вареньем ее приготовления — смятенно, по-старушечьи спотыкаясь, носилась по комнате в поисках чего-то. На полу стоял раскрытый саквояж. Ермасов тоже что-то искал в своем столе, чертыхался, выбрасывал из ящиков бумагу.

Оказывается, пропало лекарство, которое нужно в дороге. Мне дали рецепт, я побежал в аптеку.

Вчера мы сидели со стариком до двух ночи, он рассказывал свою жизнь. Не знаю, чем я его пронял. Над ним, он сказал, всю жизнь бушевали грозы, но молнии его щадили, и поэтому он считает себя счастливым. Он был на войне и уцелел. Врачи обрекли его на смерть, но он выжил.

Я спросил, не встречался ли ему на тех, довоенных стройках, такой Корышев, Андрей Александрович? Инженер-строитель, строил мосты. Нет, такого не помнит. Не встречал.

Ни с кем я тут не делился, не откровенничал и вообще не люблю говорить об этом — так же, как ашхабадцы

о землетрясении,— и вдруг с этим стариком, которого вижу второй раз в жизни, меня разобрало. Я стал рассказывать об отце, о своей жизни без него и без матери, о том, как я воспитывался у тетки и это было несладко, но все же лучше, чем детский дом, о том, как мытарился после университета. Маленькая старушка смотрела на меня печальными черными глазами и едва заметно покачивала головой. Она не говорила ни слова, только пододвигала ко мне то блюдечко с вареньем, то пирожки, начиненные тем же самым вареньем. Я видел, что старик немного томится моим рассказом. Все это было ему знакомо до боли и не очень интересно. Кроме того, он любил говорить сам. Но я не мог остановиться. Я как будто пьянел от этого абрикосового варенья.

Он спросил:

— Ты член партии?

Я не был членом партии.

— Это неправильно,— сказал он.— Ты должен быть коммунистом. Тем более, что и твой отец был коммунистом.

Я сказал: да, верно. Но раньше, до реабилитации отца, меня, наверное, не приняли бы в партию, а сейчас пока совестно подавать: я ничего не добился. Но я еще добьюсь чего-нибудь, например, напишу книгу о пустыне.

И тогда он сказал, что если нет дела, которое любишь, которое больше тебя, больше твоих радостей, больше твоих несчастий, тогда нет смысла жить.

— Возьми хоть нашу стройку,— сказал он,— сколько мы ругаемся, спорим, топчем друг друга, обижаем смертельно! И сколько вокруг мелких страстишек, сколько несправедливостей мы терпим и сами творим, и ошибаемся, и черт еще знает что, но канал строится, и вода идет на запад, пускай медленно, тихо, но идет, идет! Несмотря ни на что. И вот для этого — для того, чтобы шла вода,— надо жить.

Так он говорил, ухмыляясь своим большим ртом, а глаза глядели проницательно, глубоко. Мне виделась его жизнь: пустая квартира в Москве, где фикусы, пыль в диване, давно не натиравшийся паркет, и живет какой-нибудь племянник, студент Бауманского училища, который приходит только ночевать и завтракает на кухне, где кисло пахнут бутылки из-под кефира и повсюду натыканы окурки и обгорелые спички. Я увидел взрослых детей: они шлют телеграммы. Я увидел старость.

И я увидел дело, огромное, гораздо больше старости, больше разлук, и болезней, и всего остального, что приходится испытать человеку. Вот что я увидел вчера, внезапно, в тесной комнате, где стояли две кровати и круглый стол, покрытый клеенкой, и на стене висела фотография каких-то детей, двух мальчиков и девочки с большими ртами.

А сейчас я с ними прощался. Он сидел в кабине, держа саквояж на коленях, и смотрел на жену, все время пристально смотрел на жену, пока машина не тронулась, а меня как будто не замечал. Меня он как будто немного позабыл со вчерашнего дня.

25

На двести восемнадцатом перемычка не удалась: быстроток сносил грунт, который сбрасывали бульдозеры. Не помог и отвод воды в лощину. К вечеру выбрали новое место для атаки, на четыре километра выше. Бульдозеры шли, выстроившись двумя колоннами — одна навстречу другой,— и непрерывно швыряли под откос горы песка.

Стремительно текла ночь. Люди не замечали ни мороза, ни звезд. Они не слышали друг друга, оглохнув от железного грома. Они сидели в кабинах, цепенея от однообразных движений, от яростного желания делать все то же самое, что они делали каждый день, но только гораздо лучше, во много раз быстрее. Они сидели в кабинах до состояния мертвецкой усталости, потом выпрыгивали на морозный песок, садились, вытягивали ноги или даже ложились, и от их лиц и рук, когда они сдергивали рукавицы, валил пар, и сменщики сразу же вскакивали на их места в кабины бульдозеров, а они, мертвецки уставшие, посидев немного на песке, вставали и шли в палатку, где давали горячую еду и по стопке коньяку. Коньяк давали через каждые три часа. Его пили все бульдозеристы, даже Марина, один Мартын Егерс отказывался. Но люди пьянели не от коньяка — что там одна стопка! — а от лютого напряжения.

И те, кто сидел на рычагах, и инженеры, наблюдавшие за борьбой, не смыкавшие глаз вторые сутки, знали, что́ решается в эти часы. Об этом не стоило говорить. И они не говорили. Они не заглядывали вперед, не старались представить себе даже на минуту, что произойдет, если вырвавшийся поток не будет остановлен в бли-

жайшие два дня, не задумывались над тем, чем это кончится для стройки и для каждого из них лично. Они видели только черную, как руда, лавину воды, которая неслась, кипя, крутя воронки, вздыбливаясь от непомерного количества песка, которое ей впихивали, кидали в жадную пасть, мчащуюся, ненасытную пасть, и она надувалась, и бурлила, и пожирала бесследно, пожирала до последней крупицы, пожирала мгновенно, и могла пожрать еще столько же и гораздо больше того, и неслась дальше, пожирая.

Бульдозеристы выводили машины на самый край откоса, чтобы как можно скорей и полней сваливать с ножа грунт. В ночи, освещенной движущимся светом фар, когда все металось перед глазами, все было зыбко, нетвердо, все делалось на отчаянной скорости, повинуясь не столько опыту, сколько интуиции и какому-то дикому, бесшабашному азарту,— казалось почти чудом то, что бульдозеры удерживаются на краю откоса и не валятся вниз.

Ниязов и Гохберг работали наравне с машинистами, подменяя уставших. Карабаша томил жар, он чувствовал, что с ним неладно, но, как все люди, редко болеющие, не прислушивался к себе и только вдруг удивлялся, когда ощущал внезапную слабость или головокружение. Почти всю ночь он провел на ногах, рядом с Ермасовым. То они сидели в палатке, то мчались к месту прорыва, потом возвращались на двести восемнадцатый, но больше всего часов провели на откосе возле того места, где сыпалась перемычка.

Ермасов не говорил ни о чем, что не касалось бы ближайшего дела. Лишь однажды он сказал Карабашу тихо, усмехаясь как-то странно, секретно:

— А знаете, дорогой начальник конторы, что нынче решается наша с вами судьба?

Карабаш знал это, но посмотрел на Ермасова удивленно. Тот продолжал так же тихо:

— И почему я это заключил— знаете? Потому, что никто сюда не едет: ни замначальника управления, ни Хорев, ни товарищи из технадзора. Они ждут, чем кончится дело.

В середине ночи приехал Алимов с корреспондентом ашхабадской газеты.

Я спрыгиваю на землю, тракторный грохот окружает меня. Какие-то люди бегут навстречу. Алимов с ними здоровается. В потемках никого не могу узнать и меня

не узнает никто. Потом я вижу Карабаша, он закутан до подбородка шарфом, меховой треух низко надвинут на глаза. Карабаш пожимает мою руку, не снимая рукавицы, и тут же куда-то исчезает вместе с Алимовым.

Вот они спешат к палатке. Я слышу голос Алимова:

— Текст был такой: прорыв дамбы на озере, как результат нарушения утвержденного проекта...

— Куда телеграмма? — спрашивает голос Ермасова.

— В управление и в ЦК партии республики.

— И что дальше?

— Дальше прогноз: на ликвидацию прорыва уйдет не меньше двенадцати дней...

— Вот как пугают, черти! Ну, это поглядим!

В палатке я нахожу свободный ящик и сажусь. Посредине на таком же ящике стоит керосиновая лампа. Всем дают чай. Мне тоже дают жестяную кружку, которая почему-то пахнет одеколоном. Я пью чай и думаю о Денисе. Шофер грузовика, на котором мы ехали с Алимовым, рассказал о его гибели. Это страшная новость, и мне так горько от нее, так мучительно грустно. Ну что мне Денис? Не родственник и не друг, просто я сочувствовал его неясной судьбе — чего он, собственно, хотел от жизни? — и вдруг такой конец. Такой торжественный и такой нелепый. Как грустно! Он как будто захотел освободить всех от себя. Всех, кому он мешал, кого пугал своим прошлым, кого раздражал своей мутностью — тем, что он не такой прозрачный, как другие.

И вот он показал, что там было, под мутностью. Мне вспомнились его слова: «Нельзя судить людей по их поступкам». Но я буду судить о нем только так.

Люди в палатке произносят слова с панической быстротой. Я вижу, что им не до меня. О Денисе они тоже забыли. Им ни до кого, и даже не до себя. Прорыв произошел в результате того, что не учли разгона волны на озере, где в это время года, в январе, дуют сильные юго-западные ветры. Окольцовочная дамба закладывалась с чересчур крутыми откосами — как того требовал проект,— поэтому быстро разрушилась от ударов волн. Надо было закладывать гораздо более пологие откосы. Вот что я успеваю понять из разговоров.

Кстати, и войну против бульдозеров проектировщики вели под тем флагом, что бульдозерам не под силу выбирать столь крутые откосы. Но теперь они используют прорыв в своих целях, если его не ликвидировать в фан-

тастически короткий срок. Теперь все зависит от машинистов, от этих ребят в черных промасленных комбинезонах, которые входят в палатку, шатаясь от усталости.

Вот вваливается мужчина здоровенного роста, с широким, темным от багрового румянца лицом и начинает на что-то жаловаться Карабашу. Голос у него тонкий, бабий, и говорит он со странным акцентом. Он почему-то требует бутылку коньяку. Оказывается, бульдозеристам через каждые два-три часа дают по стопке, а этот здоровяк выдерживал характер и теперь желает получить бутылку целиком.

Карабаш выходит вместе с ним из палатки. И вскоре все выходят из палатки, и я тоже, и мы идем в сторону воды, где грохочут бульдозеры и блуждают огни фар.

Через короткое время я начинаю разбираться в ночной суматохе: мне становится понятно, куда идут бульдозеры, чего хочет вода и чего добиваются люди. Бульдозеры с двух сторон сдавливают горловину потока. Перемычка возводится очень узкая — в два ножа. Вперед тракторы идут на первой передаче, назад — задним ходом на третьей. И скорость у них довольно большая, примерно, я думаю, десять — двенадцать километров. Тут нужна смелость! Главное, что ночь, ни черта не видно, фары мотаются и создают какое-то судорожное световое мелькание. Бульдозеристы, подходя к костру, трут ладонями шеи. Ну да, шею ломит еще больше, чем руки и ноги: все время оглядываются, крутят головой. Когда-то подростком, в первый год войны, я научился в колхозе работать на тракторе. И меня вдруг охватывает желание сесть на бульдозер, ворваться в этот поток работы, в его суть, в его накал, объединяющий всех людей и все движение этой ночи. Но я не смогу работать на такой скорости. И, наверное, я все забыл.

— Степан Иванович,— говорю я,— мне хочется что-то делать. Что мне делать?

Он не слышит. Мы стоим чересчур близко от бульдозеров. Один бульдозер разворачивается в трех шагах от нас, я вижу в кабине женщину-машиниста; молодое, застывшее в напряжении лицо.

Ермасов не может понять, чего я от него хочу. Он морщится нетерпеливо и с неудовольствием. Наконец он понял и говорит, чтобы я шел к палатке.

Возле палатки, где кухня, хозяйничает коротконогий, пожилой мужичонка, Терентий Фомич. Он руководит костром, едой, отпускает коньяк по мерке, следит за тем,

чтобы ребятам после смены — кому надо поспать — было место в палатке.

Он дает мне топор и посылает в саксаульник за дровами. Это недалеко от палатки, за барханом, но свет туда не достигает, и я работаю на ощупь. Саксаул — невыносимо крепкое дерево, а на морозе он превращается в совершенное железо. Рубить его в темноте чертовски трудно. Наконец, бросив топор, начинаю ломать сучья руками. Проходит полчаса, пока мне удается набрать охапку дров, и я бегу с нею, роняя по дороге ветки, из тьмы и одиночества — на свет, к костру.

Возле огня стоят, греясь, несколько человек. Я узнаю женщину, которую видел в кабине бульдозера: она полная, широкая в бедрах и кажется еще шире от грузных брезентовых штанов, а лицо совсем молоденькое, курносое, довольно миловидное, но очень усталое. Она вдруг легко, точно падая, опускается на песок. Двое мужчин наклоняются к ней. Терентий Фомич дает ей кружку с водой, и она пьет, сидя на песке. Потом ее поднимают под руки и ведут в палатку. Ей сделалось плохо. Она что-то говорит, качая головой. Нет, она не хочет, чтобы ее вели под руки, и отталкивает своих сопровождающих — это два туркменских парня в черных меховых шапках,— и сама проходит в палатку и ложится.

Через некоторое время я захожу туда и вижу, что она спит, накрывшись кошмой. Лицо ее серо, сухой, обожженный ветром рот некрасиво, одним боком, открыт. Она мне кажется измученной матерью пятерых детей.

— Ай, господи, мужики-то с копыт валятся...— бормочет Терентий Фомич. Он кидает мне пустые ведра.

Я бегу за водой. Ермасов нисколько не удивляется, когда я пробегаю мимо него с ведрами. Кажется, он принимает меня за кого-то другого. Жажда участия в общем деле переполняет меня. Я еще несколько раз бегаю за дровами, приношу воду, потом Терентий Фомич исчезает надолго — едет куда-то за горючим,— и я один заведую костром, согреваю чай, открываю ножом консервные банки и всячески суечусь. Меня уже все знают, ко мне привыкли. Обращаются ко мне так: «Эй, але!» И я тоже постепенно всех узнаю. Тут работают бульдозеристы из отряда имени Бяшима Мурадова — того парня, которого убили в ауле.

Я им рассказываю, как ехал в грузовике с тестем Бя-

шима, и как потом ловили убийцу, и как происходили похороны, и как читали вслух телеграмму от строителей канала... Каждый новый человек, подходящий к костру, просит рассказать все снова, и я рассказываю. Они любили этого парня. И получилось, будто я тоже знал его, и любил, и привез последний привет от него.

Так проходит остаток ночи. На рассвете Карабаш и Ермасов садятся возле костра на землю, и по тому, как они просят чай и разговаривают о погоде, о том, что небо очистилось и будет солнечный день, я вижу, что у них отлегло от сердца. Да, перемычка растет! Теперь это ясно. Место по рельефу выбрано правильно.

Карабаш чудовищно исхудал за последние сутки: щеки впали, глаза блестят, как у больного.

Первый успех всем прибавляет силы. Никто в эти рассветные часы не спит, и даже Марина, отдыхавшая, может быть, три часа, рвется на бульдозер и пытается вытолкнуть из кабины своего сменщика.

Но вдруг происходит событие, которое грозит свести на нет все усилия ночи. Один за другим выключаются моторы тракторов. В наступившей тишине слышу, как люди что-то кричат. Мы все, кто были у костра, бежим к перемычке: оказывается, свалился бульдозер. Вон он внизу, наполовину в воде. Машинист успел выпрыгнуть из кабины и выплыть, еще бы немного — и крышка. Долговязый туркмен стоит, дрожа от ледяной воды, весь мокрый, без шапки, хрипло дышит и озирается с диким и бессмысленным выражением.

— Где его сменщик? Где Сапаров? — кричит, мечась по берегу, какой-то молодой, заросший черной щетиной туркмен из начальников.— Сапаров брал трос!

— Дайте ему коньяку! Где горячий чай?

— Несите трос!

— Надо спасать машину!

— Надо перемычку спасать! Вода смоет весь грунт, пока будем его вытаскивать!

— Засыпать его песком! Пожертвовать им!

Все это выкрикивается наперебой, в течение нескольких секунд. Трактор уже глубоко погрузился, над поверхностью торчит одна кабина. Вода, как бы ободренная внезапным смятением людей и тем, что песчаная бомбардировка прекратилась, с удвоенной скоростью проносится мимо берега и разрывает тело перемычки, ее основание, созданное с таким трудом. Пока инженеры и машинисты лихорадочно советуются, как быть,

один из рабочих начинает вдруг раздеваться. Это русый бородатый парень, его зовут Иван. Вот он уже в трусах и в рубашке, на белых ногах остались черные скрученные носки, и он бежит к откосу.

— Давай трос! — кричит он.

Ему протягивают металлический трос. Он прыгает в воду. Ныряет в ледяное нутро. Он пропал. Его не видно, его нет, его все еще нет. Его нет, наверное, уже минуту. В такой воде может быть судорога. Но вот он! Выскочил! Всклокоченная голова с разинутым ртом, хватающим воздух. Ему что-то кричат, но он не слышит. Он снова ныряет, и опять его долго нет. Трактора тоже нет. Вода поглотила его, и на том месте, где трактор исчез, кипит водоворот.

Снова выныривает всклокоченная голова и, отвечая на все вопросы с берега, мотает отрицательно: нет, нет, нет! Из толпы стоящих на берегу раздается крик:

— Ваня, я здесь! — Еще один парень раздевается и, мелькая смуглым худым телом, соскакивает с откоса и как-то неумело, боком, но решительно плюхается в воду. Это туркмен, сменщик Ивана.

Теперь они выныривают по очереди. Пока один набирает в легкие воздух, другой работает под водой с тросом. Надо зацепить трос за крюк. Наконец после шестого или седьмого ныряния это им удается. Они выбираются на берег посиневшие, на подгибающихся ногах. Их подхватывают, набрасывают на них кошмы и ведут к костру. Туркменский малый не может вымолвить ни слова, стучит зубами и таращит глаза — шутка ли для туркмена броситься в ледяную воду! — и лицо его ужасно испуганное, как у человека, который думает, что он вот-вот умрет, а Иван гудит невнятное, то ли хочет засмеяться, то ли рассказать что-то, но губы его не слушаются, и он только отдувается и встряхивает головой, и с бороды его летят брызги.

Ребятам дают коньяку и по полулитровой банке горячего чая.

— Корреспондент! Где корреспондент? — кричит Ермасов, приближаясь к костру. Как всегда, он движется стремительно, кожаное пальто распахнуто.

— Здесь,— говорю я.

— Что же вы не пишете? Не скребете пером? Вот герои наших дней.— Он треплет за волосы окоченевших ребят.— Черти, почему головы не сушите? К огню к огню! Сушить немедленно! А вы заряжайте ручку...

— Сделаем, Степан Иванович.

— А то насчет угробленной техники горазды, а вот насчет спасенной...

Он проносится дальше, в палатку.

Через четверть часа Иван и его сменщик отогреваются и готовы вновь садиться за рычаги. Сапаровский бульдозер выволочен на берег. И снова грохочут, выстроившись в колонну, бульдозеры, с шумом обрушивается песок и взбухает вода над местом будущей перемычки. И никто не замечает того, что на востоке встало желтое, как янтарь, солнце и небо в той стороне алое, а наверху, где еще мерцают две-три звезды, редеет прозрачно-зеленый сумрак. Никто не замечает чистоты и прозрачности неба, никто, кроме меня.

Еще день, и ночь, и еще один день ревут, не затихая, моторы бульдозеров и горит костер на берегу. На третью ночь перемычка воздвигнута. Вода остановилась. Теперь можно восстанавливать дамбу.

Люди, не спавшие трое суток, впервые получают удовольствие от затяжки папиросой и горячего чая. Они вспоминают о том, что кончился январь и скоро весна, и сладко вдыхают запах дыма, солярки, мазутных тряпок, горящих в костре, и подмороженных кошм, которые медленно сыреют, отогреваясь возле огня, и чудесно пахнут бараньей шерстью.

Вечером третьего дня Карабаша нашли в палатке, лежащим без движения. У него был жар. Он потерял сознание от высокой температуры. На газике Ермасова его повезли в поселок, и он не видел, как ночью, закончив перемычку, ликовали у костра бульдозеристы, и как во время этого ликования прибыли на трех машинах высокие гости из Ашхабада — один был, кажется, из управления, другой чуть ли не автор проекта Баскаков, и с ними свита человек пять,— и Ермасов иронически благодарил их: «Спасибо, товарищи, что вы так вовремя приехали! Большое спасибо за помощь! Но сейчас все у нас слава богу...»

Гости осмотрели место прорыва, разрушенную дамбу, где уже шли восстановительные работы, и перемычку и не могли скрыть своего ошеломления. Они были рады, разумеется, и все-таки ошеломлены. Им казалось, что тут работы еще дней на десять. Они прибыли спасать стройку от катастрофы, вооружившись для этой цели чрезвычайными полномочиями и программой самых крутых мер. Вплоть до смены руководства.

Все это рассказал Ермасову под секретом старик Уманский, тот самый, что возглавлял комиссию по проверке реммастерских. Я стоял рядом и слушал: старик считал, что я единомышленник Ермасова. Он шептал взволнованно:

— Степан Иванович, но каким образом удалось?..

— Народ выручил! Ребята ночей не спали.

— Подвиг, подвиг, Степан Иванович! И нам, строителям, это ясно, но чиновники, конечно, свои следствия выводят. Паника произошла громадная. И уж приказ готовился, и на ваше место подыскивали. Даже фамилию называли...

— Ну, понятно,— сказал Ермасов.— Как же без фамилии?

Но так и не спросил, какая фамилия. Приезжие покрутились около часу, Ермасов уговаривал их остаться переночевать в палатках — места много, и спальные мешки есть,— но ашхабадцы уехали в Сагамет.

В конце ночи произошло еще одно событие: заболела Марина. Сначала она лежала на кошме и тихо стонала, потом стала кричать от боли. Все сбежались в палатку. Никто не мог ей помочь, даже Ермасов, которого я впервые видел в растерянности. Мы думали, что начались роды, но отец Марины, пожилой бульдозерист, сказал, что она на четвертом месяце и это, должно быть, не роды, а преждевременное, то есть выкидыш. Успокаивая кричащую дочь, он бормотал какую-то чепуху насчет мамки-покойницы, у которой была «такая же петрушка» — повредилась через сильную работу, и ничего, обошлось. А что обошлось? Бедную девку ломало и корчило на кошме. Лицо ее стало как земля. Она совсем обезумела от боли. То она просто кричала: «А-а!», то, когда боль чуть отпускала ее, проклинала кого-то с бешеной силой.

Мы вышли из палатки и стояли возле костра, оцепенев от этих ужасающих воплей, и не знали, что делать. Ребята говорили про того парня, от которого она ждала ребенка. Говорили, что хорошо бы его, гада, сюда и пусть бы послушал.

Ермасов вдруг набросился на Гохберга:

— Кто разрешил ей сесть на бульдозер?

— Я! Я! — заросший черной щетиной Байнуров стучал себя в грудь.

— Вы что — идиот? Нечего ждать, надо везти в больницу! Доставайте машину! Где хотите!

Машин не было. На ермасовском газике увезли Карабаша, а газик самого Карабаша ушел утром в Мары: кассир поехал за деньгами. Байнуров погнал в Инче трактор и через четыре часа вернулся оттуда с машиной. Был уж светлый день, солнце стояло высоко, освещая бурые горбы барханов, дамбу, наполовину опустевший временный лагерь бульдозеристов.

Почти все бульдозеристы ушли к месту прорыва, на двести тридцатый. Ермасов уехал туда же. А я остался в палатке, где лежала Марина и было еще несколько человек: ее отец, Иван со своим сменщиком Беки, Гохберг. Марина лежала притихнув, боясь пошевелиться, ей стало немного легче. Отец, держа ее за руку, все спрашивал: «Ну как?» Марина молча едва кивала: «Лучше, лучше»,— и улыбалась смутно, а в глазах ее стояли слезы. И было в ее глазах, мелких, темных и сузившихся от слез, что-то такое далекое и женское, чего мы не могли понять. Но она не плакала.

Марину посадили рядом с шофером. В кузов сели ее отец и Беки, который любил ее, и все это видели. Когда мы стояли возле костра и слушали ее крики, он вдруг сорвался и убежал куда-то. Не мог слушать, как она кричит.

Они уехали, а мы с Гохбергом кое-как умостились на тракторе Ивана и поползли на двести тридцатый. Я провел с бульдозеристами еще три дня, пока не закончили восстановление дамбы и потом вскрыли перемычку, и вода смирно потекла по руслу, как ей полагалось. Все это было при мне. И я даже два последних дня сам работал на бульдозере. Ребята сказали, что я парень ничего, «молоток», вполне могу сделать разряд и работать в отряде хотя бы на бульдозере Семена Нагаева, знаменитого «кита», которого прогнали со стройки. Он-то и был мужем Марины, хотя они жили нерасписанные.

Эту историю мне рассказали, и я записал ее подробно. Я исписывал каждый день по пятнадцать — двадцать страниц. И все мне казалось — мало, мало!

Мне пришло в голову, что я могу остаться на канале и работать в многотиражке «Каналстроевец». Искандеров твердо решил перебираться в Ашхабад и подыскивал заместителя. Я раздумывал об этом всерьез. Мне вдруг представилось, что это замечательная мысль, наилучший выход и решение всех проблем. Здесь я ощущал огромное дело, я видел его и делал.

И здесь, казалось мне, я напишу книгу о пустыне.

У нас был долгий разговор с Ермасовым в Инче, в комнате Карабаша, за несколько часов до моего отлета в Мары. Карабаш еще не оправился после болезни. У него была какая-то местная лихорадка с высокой температурой, и он лежал худой, с шафроново-желтым лицом, как китаец, и молча слушал нас. Ермасов сказал, что я не должен уходить из газеты. Зачем? Там тоже огромное дело, и свой канал, и свои прорывы, и свои хоревы и баскаковы, которых надо выворачивать, как трухлявые пни. Они крепко цепляются, у них могучие корни, но выворачивать их можно. Время идет, как вода, тихо-тихо и незаметно, но попробуй останови его! А ему, сказал он, было бы скучно жить, если бы рядом не было таких хоревых и баскаковых, которых надо выворачивать корнями наружу.

— Сейчас они поднимут шум из-за прорыва,— сказал Гохберг.

— Это как пить дать,— сказал Ермасов.

— Начнут говорить, что в результате нарушения проекта...

— А мы будем говорить свое, не в этом дело. Дело в том, чтобы подняться однажды и посмотреть сверху — и увидеть, как движется вода. Вы поняли? Как она движется, медленно, но гораздо быстрее, чем они предполагали. Вдвое быстрей того. Это самое главное — увидеть сверху...

С высоты пятисот метров, из окна почтово-пассажирского, пропахшего отработанным бензином и нещадно трещавшего самолетика, я увидел пустыню, которая раскачивала внизу свое пупырчатое серо-желтое тело. Я увидел бескрайнюю песчаную голь, старость земли, ее мертвенный облик через тысячи лет, когда мы сами, и наши предки, и все, что жило на земле и еще будет жить, превратится в этот легкий, крошащийся на ветру серо-желтый песок. Миллиарды миллиардов песчинок покроют материки, поглотят леса, города, атомные заводы, зальют собою весь наш маленький земной шар, и в каждой из этих песчинок будет заключена чья-то угасшая жизнь. Так будет, если человек сдрейфит. Если не хватит сил победить пустыню.

Пассажиры трещащего самолетика сидели спиною к окнам. Их было восемь человек. Все это были люди стройки, они летели по разным делам и думали об этих делах и, озабоченные мыслями, не смотрели в окна. Вид

пустыни с высоты пятисот метров не занимал их. Одна старая туркменка, мать или жена кого-то из пассажиров, закрыла лицо платком, чтобы случайно не посмотреть вниз и не испугаться. А внизу тянулась бесконечная, в полуруньях барханов, песчаная степь, которую пересекал странный узкий рубец. Я не сразу понял, что это канал. Это был канал! Впервые я увидел, какой он в самом деле. Он был поразительно прямой и блестел под солнцем, как тонкий стальной рельс.

26

Мало кому было известно, чем занимался Нагаев эти восемь месяцев. Говорили, что он долго болтался в Марах, проводил время в ресторане «Мургаб» в окружении разной голытьбы и прихлебателей, которые норовят выпить за чужой счет, потом купил подержанную «Победу» и кто-то подбил его махнуть к чабанам за шкурками — был как раз март, период окота,— но чем это кончилось, неизвестно. Говорили, что вернулся он без шкурок и без машины и вскоре исчез из Маров надолго. Не появлялся всю весну и лето. Работал будто в России, а кто говорил — где-то на Алтае. Но факт тот, что осенью он вдруг явился в Мары, в трест, и сказал, что хочет вернуться на стройку. Он-то думал, конечно, что его примут с распростертыми объятиями, старое, мол, давно забыто, а опытные машинисты нужны позарез, потому что первую очередь завершили, амударьинская вода пришла в Мургаб, и теперь тянули вторую очередь, от Мургаба до Теджена. А ему сказали: ладно, работай, только сначала не машинистом, а слесарем в ремонтных мастерских, за восемьсот целковых в месяц. Это было обидно, но он согласился. Ему хотелось доказать, что он первым сделает на бульдозере пятьдесят тысяч кубов. И что-то еще хотелось ему доказать. Но пока он работал целый год слесарем в Захмете, и потом получил бульдозер, и пришел на Тедженский участок, тех, кому он хотел доказывать, уже не было на стройке.

27

Газик остановился на гребне между двумя барханами. Атанияз выключил мотор, и мы вышли. Впереди за зелеными увалами блеснула вода. Там были озера.

— Не будем задерживаться, ладно? — сказал Атанияз.— А то опоздаешь на самолет.

— Ладно,— сказал я.— Давай подъедем.

Мы снова сели в машину и медленно, вперевалку, поползли вниз. Под колесами трещали кусты черкеза, мялась трава, распространяя душный и горький запах. В низинке въехали в заросли тюльпанов. Все было красно от них. При заходящем солнце здесь, внизу, стоял легкий сумрак, и тюльпановое поле было темноватым, винного оттенка. Атанияз вел машину по старой, видимо прошлогодней, колее, забитой травой. Здесь давно никто не ездил. Среди красных тюльпанов попадались желтые, мелькали какие-то сиреневые и лиловые цветы, лужайками росли ромашки. Как все это густо, жадно цвело! Как яростно торопилось куда-то! И как пахло! От тюльпанов поднимался сладковатый запах, но его перебивал куда более сильный запах ромашки, и надо всем реял одуряющий лекарственный дух полыни. Пустыня навсегда останется для меня соединенной с запахом полыни.

Старая колея вошла в саксаульник. Он сильно поредел. Два с половиной года назад, в морозную ночь, я ломал тут сучья, обдирая кожу. А вот тут стояли палатки, здесь был очаг и горел костер.

Атанияз остановил машину возле дамбы и закурил, оставшись сидеть за рулем. А я выпрыгнул на землю и подошел к воде. Течение здесь было быстрое. Большая рыба бултыхнулась на середине, и по воде побежали круги. Мне вспомнилась та первая январская ночь и потом мой приезд весной, и летом, и еще раз прошлым летом, и прошлой осенью. Прошлой осенью Степан Иванович уже сдавал дела. Вторую очередь начали без него, хотя он опять наделал шуму, выдвинув какой-то встречный проект. Снова были споры, газетная дискуссия, и в конечном счете он, кажется, победил, но потом вдруг уехал на Тянь-Шань. Уехал строить гигантское водохранилище и многих забрал с собой: Гохберга, Алимова, Егерса, еще кого-то из механизаторов. Кажется, и Марина с отцом уехали. Но прежде он сделал дело, а это главное. Разъехались люди, ушли машины на запад, и остались пустынные дамбы и вода, которая журчит там, внизу, и пахнет рыбой.

— Ну что? — крикнул Атанияз.— Будем ночевать?

Он нервничал, потому что это он затеял поездку на канал, достал газик и договорился о катере, который

ждал нас в Инче. Он боялся, что по его вине я опоздаю на самолет Керки — Ашхабад. Я летел в Москву, прощался с Туркменией. И не мог делать это наспех.

Но уж очень он нервничал.

— Сейчас едем,— сказал я.

— Садись. Что ж ты стоишь?

— Сейчас. Поехали.— Я сел в машину и захлопнул дверцу.— Это было так недавно, и вот уже все кончилось. Канал построен. И я издал книжку очерков. И даже снят фильм об этом канале, где, кстати, играет одна наша знакомая. Помнишь такую, Катю? Все самое невероятное случилось.

— И даже то, что ты уезжаешь,— сказал Атанияз.— Я думал, что ты не уедешь.

— Я сам так думал,— сказал я.

Становилось темно, мы ехали навстречу мгле, из которой слабо, едва побеждая эту мглу, выблескивали первые звезды. Барханы уже налились чернотой. По каналу протарахтела моторная лодка, потом мы обогнали большую самоходную баржу: в домике на корме горел свет. Атанияз включил фары.

— И все-таки твой Карабаш важничает,— сказал Атанияз.

— Почему?

— Важничает, важничает! Отпустил бороду зачем-то. Валерия тоже изменилась, что-то в ней стало такое домашнее, самодовольное,— мне было вчера скучно, ей-богу.

— Не знаю. А мне нет,— сказал я.

Вчера мы были у них в гостях, в той самой комнате на окраине Маров, где когда-то жил Степан Иванович. Они купили недавно радиолу «Люкс», и Лерин сынишка весь вечер крутил ее, ставил пластинки, и мы даже танцевали. Нет, мне не было скучно. Просто возникло какое-то томящее чувство надежды и желание заглянуть вдаль.

Так бывает, когда расстаешься надолго, навсегда, и впереди маячит новая жизнь, а старая остается как бы за стеклянной дверью: люди двигаются, разговаривают, но их уже почти не слышно.

1959—1962

СОДЕРЖАНИЕ

Трифонов Ю. В.

Т 69 Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 1. Студенты: Повесть; Утоление жажды: Роман/Редкол. С. Баруздин, Ю. Верченко, Ф. Кузнецов и др.; Вступ. статья Ф. Кузнецова.— М.: Худож. лит., 1985.— 751 с., портр.

В первый том войдут повесть «Студенты», удостоенная Государственной премии СССР, и роман «Утоление жажды» о строительстве канала в пустыне.

Т $\frac{4702010200-341}{028(01)-85}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ТРИФОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Редактор **О. Я. Афанасьева**

Художественный редактор **Е. А. Енепко**

Технический редактор **Л. И. Витушкина**

Корректоры **М. Миримская, М. Сафронова**

ИБ № 3558

Сдано в набор 11.01.85. Подписано в печать 19.06.85. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Банниковская». Печать высокая. Усл. печ. л. 39,48+1 вкл.=39,53. Усл. кр.-отт. 39,53. Уч.-изд. л.43,93+1вкл.=43,99. Тираж 130 000 экз. Изд. № III-1455. Заказ № 648. Цена 3 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28

